РИЧАРД ПАЙПС

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1917 БОЛЬШЕВИКИ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ 1918

Ричард Пайпс

Русская революция

Книга 2

Большевики в борьбе за власть

1917–1918

Россия завоевана большевиками

Ленин. Март 1918 г.

[Большевики ставили] себе целью перевернуть мир…

Троцкий. Преданная революция

ГЛАВА 1

ЛЕНИН И ИСТОКИ БОЛЬШЕВИЗМА

Он далеко пойдет, поскольку верит в то, что говорит.

Мирабо о Робеспьере

Нет нужды верить, что историю делают «великие люди», чтобы признать огромное значение личности Ленина и его влияние на ход русской революции и на создание особого политического строя. Дело не только в том, что сосредоточенная в его руках власть позволяла ему решительно воздействовать на течение событий, но и в том, что политическая система, родившаяся в октябре 1917 года, стала как бы воплощением его личности. Партия большевиков была ленинским детищем; как ее творец, он создавал ее по своему образу и подобию и, подавляя всякое сопротивление извне и изнутри, вел по пути, который определил сам. Партия, в свою очередь, захватив власть в октябре 1917 года, немедленно упразднила все соперничающие партии и группировки и стала, таким образом, единственной политической силой в России. Коммунистическая Россия с момента своего появления была диковинным отображением сознания и воли одного человека: его биография и история слились и растворились друг в друге.

Несмотря на то, что редко о ком из исторических деятелей писали так много, как о Ленине, достоверные

сведения о нем крайне скудны. Ленин был настолько не склонен отделять себя от своего дела, настолько не мыслил себя вне его, что почти не оставил автобиографических свидетельств: он жил жизнью партии. В глазах последователей он был личностью исключительно общественной. Индивидуальные черты, которые традиционно приписываются ему в коммунистической литературе, образуют стандартный ряд добродетелей, свойственный агиографическому жанру: самозабвенная преданность делу, скромность, самодисциплина, великодушие.

Хуже всего представлен период формирования Ленина как политического деятеля. Архив, относящийся к первым двадцати трем годам его жизни, состоит в основном из прошений, удостоверений и других официальных документов[1]. Нет ни писем, ни дневников, ни статей, — словом, ничего, что обычно свидетельствует о росте и развитии молодого интеллектуала. Либо таких материалов вовсе не существует, либо, что более вероятно, они не выпускаются наружу из советских архивов, поскольку представили бы молодого Ленина совсем не таким, каким его обычно рисуют в официозной литературе. [О первичных и вторичных источниках о молодости Ленина, содержащихся в закрытых советских архивах, см.: Revolutionary Russia/Ed, by R.Pipes. Cambridge, Mass., 1968. P.27, note 2]. Биографу Ленина не на что опереться, если он хочет представить интеллектуальное и духовное развитие его в период примерно с 1887-го по 1893 год, когда из молодого человека без политических убеждений и даже интересов он вырос в революционера-фанатика. Факты, которыми мы располагаем, дают в основном косвенные сведения и

знание от противного: чего Ленин не сделал, хотя сделать мог. Реконструируя образ молодого Ленина, приходится аккуратно и последовательно устранять слои лакировки, год за годом наносившиеся официозным культом. [Попытка нарисовать картину ранней интеллектуальной и духовной эволюции Ленина на основании доступных нам документов сделана в нашей книге «Revolutionary Russia». Большинство сведений, приведенных ниже, взяты из этой работы и из двух других: Струве: левый либерал. М, 2001; Social Democracy and the St. Petersburg Labor Movement. Cambridge, Mass., 1963. Из вторичных источников самым ценным представляется книга Н.Валентинова: The Early Years of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1969].

Ленин, Владимир Ильич Ульянов, родился в апреле 1870 года в городе Симбирске, в обыкновенной, прилично обеспеченной семье служащего. Отец его, школьный инспектор, достиг к концу жизни в 1886 году чина действительного статского советника, что в табели о рангах соответствовало генеральскому званию и давало право на наследственное дворянство. Он был человеком консервативно-либеральных взглядов, симпатизировал реформам Александра II и верил, что в просвещении — залог прогресса России. Трудился он не покладая рук и, говорят, за шестнадцать лет своей деятельности в качестве инспектора учредил несколько сот школ. Мать Ленина, урожденная Бланк, была дочерью врача еврейского происхождения, ее фотографии напоминают портреты кисти Уистлера. Это была счастливая, дружная семья, добродетельно соблюдавшая обряды и праздники православной церкви.

Семья Ульяновых в 1887 году пережила трагедию: в Санкт-Петербурге был арестован старший брат Ленина,

Александр. При нем была найдена бомба, предназначавшаяся для убийства царя. Страстный ученый, Александр не выказывал интереса к политике до конца третьего года обучения в Санкт-Петербургском университете. Начитавшись трудов Плеханова и Маркса, он выработал эклектическую политическую идеологию, в которой программа «Народной воли» обретала некоторые черты социал-демократии. Признавая за промышленным рабочим классом ведущую роль в революции, он рассматривал политический террор как средство, а немедленный переход к социализму — как цель революции. Эта своеобразная смесь марксизма и народовольчества предвосхитила программу, которую Ленин выработал независимо несколькими годами позже. Арестованный 1 марта 1887 года, в шестую годовщину убийства Александра II, Александр Ульянов предстал перед судом и был казнен вместе с другими заговорщиками. На суде и во время казни он вел себя с исключительным достоинством.

Казнь Александра, состоявшаяся вскоре после смерти Ульянова-старшего, глубоко потрясла семью, в которой и не подозревали о его революционной деятельности. Но нет никаких свидетельств, что это повлияло на образ жизни Владимира. Спустя много лет младшая сестра Ленина Мария будет рассказывать, что, узнав о смерти брата, Ленин будто бы воскликнул: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти»[2]. Не говоря о том, что Марии Ульяновой было в год трагедии всего девять лет, факт этот представляется сомнительным, поскольку к моменту казни брата Ленин не имел еще абсолютно никакого представления о политике. Цель этой очевидной выдумки — показать, что еще в семнадцатилетнем возрасте гимназист Ленин был

склонен к марксизму, а это противоречит всем имеющимся данным. Более того, по воспоминаниям членов семьи, братья не были близки и Александр терпеть не мог постоянной грубости и заносчивости Владимира.

В Ленине-юноше удивляет как раз то, что, в отличие от большинства своих современников, он не выказывал никакого интереса к общественной жизни[3]. В воспоминаниях, вышедших из-под пера одной из его сестер до того, как железная лапа цензуры легла на все, что писалось о Ленине, он предстает мальчиком чрезвычайно старательным, аккуратным и педантичным, — в современной психологии это называется компульсивным типом[4]. Он был идеальным гимназистом, получал отличные оценки практически по всем предметам, включая поведение, и это год за годом приносило ему золотые медали. Его имя было в начале списка окончивших курс гимназии. Ничто в скудных сведениях, которыми мы располагаем, не говорит о бунте — ни против семьи, ни против режима. Федор Керенский, отец будущего политического соперника Ленина, бывший директором гимназии в Симбирске, которую посещал Ленин, рекомендовал его для поступления в Казанский университет как «замкнутого» и «необщительного» молодого человека. «Ни в гимназии, ни вне ее, — писал Керенский, — не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение»[5]. Ко времени окончания гимназии в 1887 году у Ленина не было «определенных» политических убеждений[6]. Ничто в начале его биографии не изобличало в нем будущего революционера; напротив — многое свидетельствовало о том, что Ленин пойдет по

стопам отца и сделает заметную служебную карьеру. Именно благодаря этим чертам он сумел поступить в Казанский университет, что было бы в ином случае затруднительно из-за дурной политической репутации его семьи.

В университете товарищи-студенты привлекли его, как брата известного террориста, к участию в нелегальной группе «Народная воля». Организация эта, возглавляемая Лазарем Богоразом, устанавливала контакты с единомышленниками в других городах, включая Санкт-Петербург, очевидно с намерением довести до конца дело, за которое были казнены Александр Ульянов и его сподвижники. Нет определенных сведений о том, насколько группа продвинулась в осуществлении своих планов и какова была роль Ленина в ней. Вся группа была арестована в декабре 1887 года, после университетских беспорядков. Ленин, которого видели бегущим, кричащим и машущим руками, был подвергнут кратковременному аресту. По возвращении домой он написал прошение об отчислении из университета, но попытка предотвратить таким образом исключение не удалась. Он был исключен в числе тридцати девяти других студентов. Подобные суровые наказания, обычно применяемые правительством Александра III в борьбе с независимостью и «непокорством», периодически снабжали революционное движение новыми добровольцами.

Возможно, Ленину и позволили бы через определенное время восстановиться в университете, но в процессе полицейского следствия были выявлены его связи с кружком Богораза и то, что брат его был террористом. Он был внесен в список

«неблагонадежных» и отдач под полицейский надзор. Прошения о восстановлении в университете, подаваемые им и его матерью, раз за разом встречали отказ. Ленин не видел для себя будущего. Четыре года после исключения он провел в вынужденном безделье, проживая пенсию матери. Он впадал в отчаяние и, судя по одному из прошений его матери, склонялся к самоубийству. Воспоминания современников рисуют Ленина этого периода как человека высокомерного, саркастичного и недружелюбного. Несмотря на это семья Ульяновых молилась на него как на растущего гения и воспринимала его суждения без критики[7].

В течение описываемого периода Ленин много читал. Он штудировал «прогрессивные» журналы и книги 1860-1870-х годов, особенно труды Н.Г.Чернышевского, которые, по его собственным словам, отказали на него решающее влияние[8]. Это было трудное время для всех Ульяновых: симбирское общество бойкотировало их, поскольку связи с семьей казненного террориста могли привлечь нежелательное внимание полиции. Видимо, этот горький опыт сыграл немалую роль в формировании ленинских взглядов. К осени 1888 года, когда они с материю переехали в Казань, Ленин был уже законченным радикалом, исполненным бесконечной ненависти к тем, кто порушил его многообещающую карьеру и отвернулся от его семьи, — к царскому режиму и «буржуазии». Отличительной чертой типичных русских революционеров — в том числе и Александра Ульянова — был идеализм; основным политическим мотивом Ленина стала ненависть. Взращенный на этом чувстве, социализм Ленина являлся изначально и всегда оставался доктриной разрушения. Ленин мало задумывался о мире будущего, потому что был слишком

поглощен — интеллектуально и эмоционально — разрушением мира настоящего. Именно эта навязчивая страсть к разрушительству завораживала и отталкивала, вдохновляла и ужасала русскую интеллигенцию, склонную колебаться между гамлетовской нерешительностью и донкихотовской одержимостью. Струве, часто общавшийся с Лениным в 1890-х годах, говорит, что «в соответствии с преобладающей чертой в характере Ленина… его главной установкой — употребляя популярный ныне немецкий психологический термин Einstellung — была ненависть.

Ленин увлекся чтением Маркса прежде всего потому, что нашел в нем отклик на эту основную установку своего ума. Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, стремящейся к конечному уничтожению и истреблению врага, оказалось конгениально его эмоциональному отношению к окружающей действительности. Он ненавидел не только существующее самодержавие (царя) и бюрократию, не только беззаконие и произвол полиции, но и их антиподов — «либералов» и «буржуазию». В этой ненависти было что-то отталкивающее и страшное; ибо, коренясь в конкретных, я бы сказал даже, животных, эмоциях и отталкиваниях, она была в то же время отвлеченной и холодной, как самое существо Ленина»[9].

* * *

Официальная версия жития Ленина в том виде, как она сложилась к 1920-м годам, списана в ее основных чертах с жизни Христа. Главный герой изображается неизменным и неизменяемым, живущим во исполнение судьбы, предопределенной к моменту его рождения.

Официальные биографы Ленина не допускали, что он мог когда-либо менять свои взгляды. По их словам, Ленин был убежденным ортодоксальным марксистом с того самого момента, как впервые заинтересовался политикой. Легко показать, насколько это неверно.

Для начала следует заметить, что термин «марксизм» обозначал во времена юности Ленина по крайней мере две вещи. Классическая марксистская доктрина относилась к странам с развитой капиталистической экономикой. Это для них Маркс писал научную теорию развития, предсказывая как неизбежный исход крах и революцию. Учение это чрезвычайно импонировало русским интеллигентам-радикалам, поскольку претендовало на научную объективность и обещало безусловное осуществление прогноза. Маркс стал популярен в России еще до того, как там появилось русское социал-демократическое движение: в 1880 году он хвалился, что у «Капитала» больше читателей и поклонников в России, нежели в любой другой стране[10]. Но, поскольку капитализм (как бы расширительно мы ни употребляли этот термин) в России к тому времени еще не сложился, русские последователи Маркса приспосабливали его теории к местным условиям. В 1870-х годах была создана теория «особого пути», согласно которой Россия должна была развить свои собственные формы социализма, опираясь на сельскохозяйственную общину, и перейти к социализму, минуя капитализм[11]. Подобная идеология была характерна для русских радикальных кругов 1880-х годов, в частности ее положила в основу своей программы группа «Народная воля», в которую входил брат Ленина.

Знания об интеллектуальном окружении, в котором рос Ленин, проливают свет на то, как происходила его эволюция и формировалась идеология. В 1887–1891 годы Ленин не был и не мог быть марксистом социал-демократического толка, так как эта версия марксизма не была еще известна в России. Все факты неопровержимо свидетельствуют, что в период с 1887-го по 1891 год Ленин — типичный последователь «Народной воли». Он устанавливал тесные связи с членами этой организации, сначала в Казани, затем в Самаре. Он прилежно отыскивал старейших членов этого движения (многие из них осели в волжских областях после освобождения из тюрьмы или ссылки) и получал от них сведения об истории движения и его практической организации. Полученные знания крепко в нем укоренились: уже став одним из лидеров русской социал-демократической партии, Ленин заметно отличался от своих соратников твердой верой в необходимость хорошо дисциплинированной, конспирированной профессиональной революционной партии и тем раздражением, которое вызывали в нем программы, учитывавшие прохождение капиталистической фазы развития. Как истый народоволец он презирал капитализм и «буржуазию», в которой видел не попутчика социализма, а его заклятого врага. Небезынтересно, что, когда в конце 1880-х годов в непосредственной близости от Ленина начал действовать кружок, в котором к Марксу и Энгельсу подходили в «немецком», то есть социал-демократическом духе, Ленин к нему не присоединился[12].

В июне 1890 года власти смягчились, и Ленину позволили экстерном держать экзамены на адвоката. Он сдал их к ноябрю 1891 года, вслед за чем посвятил себя

не адвокатуре, а чтению экономической литературы, особенно статистических отчетов по сельскому хозяйству, издававшихся земствами. Целью этого занятия, по словам его сестры Анны, было выяснение «возможности социал-демократии в России»[13].

Время было самое благоприятное. В Германии легализованная в 1890 году социал-демократическая партия пользовалась поразительным успехом на выборах. Превосходная организованность и способность сочетать работу среди рабочих с широкой либеральной программой приносили ей раз от разу все больше мест в парламенте. Неожиданно появилась вероятность, что в самой индустриально развитой стране Европы социализм может победить без опоры на насилие, демократическим путем. Этот успех так вдохновил Энгельса, что незадолго до своей смерти, в 1895 году, он признал: революционных восстаний, предсказанных им и Марксом в 1848 году, может и не быть, а за социализм можно бороться у избирательной урны, а не на баррикадах[14]. Пример социал-демократической партии Германии оказал сильное воздействие на русских социалистов и дискредитировал отчасти теории «особого пути» и революционного государственного переворота.

Одновременно с распространением этих идей Россия переживала период бурного промышленного развития, в результате которого число промышленных рабочих за десятилетие, 1890–1900 годы, удвоилось. Ни одна страна в тот период не имела такого высокого показателя экономического роста. Налицо были все признаки, что России не удастся миновать капитализма (даже Маркс считал это вероятным) и придется повторить путь Запада.

Обстановка менялась, и социал-демократическая теория приобретала все больше последователей в России. Г.В.Плеханов и П.Б.Аксельрод в Женеве, П.Б.Струве в Санкт-Петербурге считали, что Россия придет к социализму в два этапа. На первом этапе в ней возникнет развитой капитализм, что значительно увеличит численность рабочих и одновременно даст ей «буржуазные» свободы, в частности парламентскую систему, пользуясь которой русские социалисты, подобно немецким, смогут получить политическое влияние. Как только «буржуазия» разделается с самодержавием и с «феодальным» экономическим устройством, очистится путь для следующей фазы исторического развития, перехода к социализму. К середине 1890-х годов эта теория завладела воображением интеллигенции и практически вытеснила идею «особого пути», которую Струве презрительно окрестил «народничеством»[15].

Ленин менял свои взгляды медленно — отчасти потому, что, живя в провинции, почти не имел доступа к социал-демократической литературе, отчасти потому, что прокапиталистическая, пробуржуазная философия, в ней содержавшаяся, плохо уживалась с тем, что Струве называл его «основным Einstellung», или установкой сознания. В 1892–1893 годах, прочтя Плеханова, он занял позицию на полпути от народовольческой идеологии к социал-демократической теории, исповедуя взгляды, подобные тем, которых придерживался его брат пятью годами раньше. Он оставил идею «особого пути» и признал то, что уже невозможно было игнорировать: Россия шла именно тем путем, о котором он читал в «Капитале» еще в 1889 году. Одной вещи он, однако, признать не хотел: а именно, что России, прежде чем созреть для революции, следует пройти фазу

капиталистического развития, при которой, в течение неопределенного времени, у власти будет стоять «буржуазия».

Вышел он из положения, объявив Россию уже капиталистической. Эта своеобразная точка зрения, которую не разделял ни один из известных нам исследователей русской экономики, опиралась на весьма вольную интерпретацию статистических данных по сельскому хозяйству. Ленин убедил самого себя, что русская деревня переживает процесс «классового расслоения», в результате которого меньшая часть крестьянства превращается в «мелкую буржуазию», а большинство — в безземельный сельский пролетариат. Выкладки эти, позаимствованные у Энгельса, занимавшегося изучением немецкого крестьянства, имели мало общего с русской реальностью, но для Ленина они служили обоснованием того, что Россия не должна была откладывать революцию на неопределенное время, ожидая, покуда созреет в ней капитализм. Сообщая, что индустриализация России уже состоялась, поскольку 20 % сельского населения в некоторых губерниях превратилось в «буржуазию», Ленин взял на себя смелость заявить в 1893–1894 годах, что «капитализм уже в настоящее время является основным фоном хозяйственной жизни России» и что «по сущности, порядки наши не отличаются от западноевропейских»[16].

Объявив «капиталистической» страну, четыре пятых населения которой составляло крестьянство, причем в большинстве своем общинное и малоземельное, Ленин получил возможность утверждать, что она созрела для революции. Более того, поскольку «буржуазия» уже «захватила власть», она превращалась из союзника в

классового врага. Летом 1894 года Ленин в одном предложении сформулировал политическую философию, которой он, за исключением кратковременного отступления (в 1895–1900 гг.), оставался верен всю жизнь: «русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»[17].

Несмотря на то, что фразеология употреблялась марксистская, здесь устами Ленина говорила «Народная воля», — и действительно, впоследствии он признавался Карлу Радеку, что хотел соединить народовольчество с марксизмом[18]. Русский рабочий, которому «Народная воля» также приписывала роль революционного авангарда, должен был совершить «прямое» нападение на самодержавие, свергнуть его и на его обломках воздвигнуть коммунистическое общество. Ни одного слова о роли капитализма и буржуазии в разрушении политических и экономических основ старого строя. Подобная концепция была, по сути, политическим анахронизмом, поскольку в то время, когда писались эти слова, в России нарастало социал-демократическое движение, отвергавшее устаревшую интерпретацию теории Маркса.

* * *

К моменту приезда в Санкт-Петербург — город, который со временем станет носить его имя, — двадцатитрехлетний Ленин был уже сложившейся личностью. Впечатление, которое он производил на

людей при первом знакомстве, тогда и впоследствии было скорее неблагоприятным. Приземистая плотная фигура, преждевременная плешивость (он практически полностью облысел еще до тридцати лет), раскосые глаза и широкие скулы, бесцеремонная манера вести разговор и частые вспышки саркастического смеха отвращали от него многих. Современники практически в один голос свидетельствуют о его нерасполагающей, «провинциальной» внешности. А.Н.Потресов говорил, что он «настоящий типичный торговец средних лет из какой-нибудь северной, Ярославской губернии»[19]. Брюс Локкарт, английский дипломат, сравнил его с «провинциальным бакалейщиком». Анжелика Балабанова, поклонница Ленина, считала, что он походит на «провинциального учителя».

Но этот непривлекательный человек излучал такую внутреннюю силу, что люди быстро забывали о первом впечатлении. Поразительный эффект, который производило соединение в нем силы воли, неумолимой дисциплины, энергии, аскетизма и непоколебимой веры в дело, можно описать только затасканным словом «харизма». По словам Потресова, этот «невзрачный и грубоватый» человек, лишенный обаяния, оказывал «гипнотическое воздействие»: «Плеханова — почитали, Мартова — любили, но только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собою, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатическую веру в движение, в дело, с неменьшей верой в себя»[20].

Основным источником силы Ленина и его личного магнетизма было именно то свойство, о котором вскользь сказал Потресов, — идентификация себя с делом, неразрывное их слияние в одном человеке. Явление это не было совершенно новым в социалистических кругах. Робер Михельс в исследовании политических партий специально выделяет главу, которая называется «Партия — это я». В ней он анализирует сходные установки немецких социал-демократов и профсоюзных деятелей, среди них — Бебеля, Маркса и Лассаля, «Бебель всегда стоит на страже интересов партии и считает своих личных противников врагами партии», — цитирует Михельс одного из поклонников Бебеля[21]. Сходное наблюдение делает Потресов, говоря о будущем лидере большевизма: «В пределах социал-демократии, или за ее пределами, в рядах всего общественного движения, направленного против режима самодержавия, Ленин знал лишь две категории людей: свои и чужие. Свои, так или иначе входящие в сферу влияния его организации, и чужие, в эту сферу не входящие и, стало быть, уже в силу этого одного трактуемые им как враги. Между этими полярными противоположностями, между товарищем-другом и инакомыслящим-врагом, для Ленина не существовало всей промежуточной гаммы общественных и индивидуально-человеческих взаимоотношений»[22].

Троцкий оставил нам интересные воспоминания о проявлении ленинского склада ума. Рассказывая, как навещал Ленина в Лондоне, он пишет, что когда Ленин показывал ему окрестности, то постоянно адресовался к ним как к «ихним», имея в виду «не английские», но — «вражеские»: «Этот оттенок, выражающийся больше в тембре голоса, был у Ленина всегда, когда он говорил о

каких-либо либо ценностях культуры или новых достижениях… *умеют* или *имеют, сделали* или *достигли* — но какие враги!»[23].

Обыкновенная дихотомия «я/мы — ты/они», переведенная в застывший дуализм «друг—враг», что в ленинском случае принимало экстремальный характер, повлекла за собой два важных исторических последствия.

Думая таким образом, Ленин с неизбежностью пришел к восприятию политики как войны. Ему не нужна была социология Маркса, чтобы военизировать политику и относиться к разрешению любого несогласия одним-единственным образом: несогласный подлежал физическому уничтожению. К концу жизни Ленин прочел Клаузевица, но еще задолго до этого являлся клаузевицианцем интуитивно, в силу всей своей психофизической организации. Подобно немецкому стратегу, он видел в войне не антитезис мира, но его диалектическое продолжение; подобно ему же, он был заинтересован исключительно в победе, а не в том, что из нее можно извлечь. Взгляд Ленина на жизнь был смесью идеологии Клаузевица и социального дарвинизма: когда однажды, в редкий момент откровенности, Ленин сообщил: «история показывает, что мир есть передышка для войны», — он непредумышленно приоткрыл перед нами самые глубокие тайники своего сознания[24]. Такой склад ума делал Ленина абсолютно неспособным ни к какому компромиссу, за исключением тактического. Как только Ленин и его соратники захватили власть в России, подобная установка не замедлила автоматически сказаться на новом режиме.

Другим следствием ленинского психологического склада была нетерпимость к любому несогласию, будь то организованная оппозиция или частная критика. Поскольку любой индивид или группа, находившиеся вне его партии или не под его личным влиянием, воспринимались им ipso facto как враги, из этого делался вывод, что их следует подавить и заставить замолчать. Эту черту его мышления Троцкий отмечал еще в 1904 году. Сравнивая Ленина с Робеспьером, он к нему относил слова якобинца: «Я знаю только две партии — плохих граждан и хороших граждан». «Этот политический афоризм, — заключал Троцкий, — начертан в сердце Максимильена Ленина»[25]. Здесь коренятся первые ростки террора как метода управления, тоталитарного стремления установить полный контроль над общественной жизнью и общественным сознанием.

Это ленинское свойство имело и положительную сторону, а именно лояльность и щедрость по отношению к «хорошим гражданам», распространявшиеся на его приверженцев и служившие изнанкой его враждебности к чужим. Отождествляя оппозицию с аутсайдерами, «чужими», он проявлял поразительную терпимость к несогласию внутри партии. Ленин не преследовал несогласных, но пытался их переубеждать; как к крайнему средству он прибегал к угрозам отойти от руководства партией.

Другим привлекательным свойством полной идентификации Ленина с делом революции была специфическая форма личной скромности. Несмотря на то что последователями был создан практически религиозный культ его личности, они здесь во многом исходили из собственной заинтересованности: не будь

Ленина, движение утратило бы сплоченность. Ленин сам не поощрял создания культа, поскольку не мыслил своего существования вне «пролетариата»: подобно Робеспьеру, он считал в буквальном смысле, что «он — это народ». [В 1792 г. Робеспьер воскликнул в избытке чувств: «Я не слуга народа, не его судья, не его трибун, не его защитник — я сам народ!» (Cobban A. Aspects of the French Revolution. Lnd., 1968. P. 188)]. Его «неприятие выделения себя как личности вне общего движения» было скромностью, но скромностью, коренящейся в таком самовозвеличении, которое превосходило многократно обыкновенное тщеславие. Отсюда и его нелюбовь к мемуаристике: никто из вождей русской революции не оставил меньше автобиографического материала[26]. [Постепенно Ленин смирился с культом собственной личности, поскольку, как он объяснил Анжелике Балабановой, это было «полезно и Даже необходимо». «Наш крестьянин подозрителен; он не умеет читать, ему, чтобы поверить, нужно увидеть. Когда он увидит мой портрет, он поверит, что Ленин существует» (Impressions of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1964. P. 5–6)].

Ленин был абсолютно чужд нравственных колебаний и напоминал римского папу, который, по словам немецкого историка Л.Ранке, был «наделен такой совершенной уверенностью в себе, что муки сомнения или страх перед возможными последствиями его собственных действий были ему абсолютно неизвестны». Это качество Ленина делало его крайне привлекательным для определенного типа русских псевдоинтеллигентов, многие из которых впоследствии вошли в партию большевиков, поскольку она давала им опору и определенность в эпоху социальных сдвигов и

политических катаклизмов. Особенно же оно импонировало молодым полуграмотным крестьянам, покидавшим деревню в поисках работы и попадавшим в чужой, холодный мир промышленного города, где привычные им межличностные взаимоотношения вытеснялись деперсонализированными экономическими и социальными связями. Ленинская партия давала им чувство принадлежности: привлекали ее сплоченность и простота лозунгов. Ленин проявлял ярко выраженную склонность к жестокости. Легко показать, что он был принципиальным сторонником террора: издаваемые им декреты обрекали на смерть огромную массу ни в чем не повинных людей, и при этом он не чувствовал ни малейшего раскаяния по поводу смертей, которые были целиком на его совести. В то же время необходимо подчеркнуть, что он не извлекал удовольствия из страданий других и что его жестокость не была садизмом. Скорее, она происходила из полного безразличия к этим страданиям. Максим Горький составил из разговоров с Лениным впечатление, что «ему почти неинтересно индивидуально-человеческое, он думает только о партиях, массах, государствах». В другом месте Горький замечает, что «рабочий класс для Ленина это то, что для кузнеца руда»[27] — иными словами, сырой материал для социального эксперимента. Это свойство Ленина проявилось уже в 1891–1892 годы, когда Поволжье, где он жил, поразил голод. Создавались комитеты помощи голодающему крестьянству. По сведениям, полученным от друга семьи Ульяновых, один Ленин (естественно, при поддержке всей семьи) выступил против такой помощи на том основании, что голод, который снимал крестьян с земли и гнал в город, где они формировали резерв «пролетариата», был

явлением «прогрессивным»[28]. Относясь к «человеческому материалу» как к «руде», из которой ковалось новое общество, он посылал людей на смерть перед расстрельным взводом так же бестрепетно, как генерал шлет войска под вражеский огонь. Горький приводит слова одного француза: Ленин — это «мыслящая гильотина». Не отводя этого обвинения, он пишет дальше о ленинской мизантропии: «Он, в общем, любил людей, он их любил самозабвенно. Его любовь смотрела далеко вперед, сквозь пелену ненависти»[29]. Когда после 1917 года Горький просил сохранить жизнь тому или иному из приговоренных к смертной казни, Ленин каждый раз бывал неподдельно удивлен, почему его беспокоят по таким пустякам.

Как это часто бывает (это может быть отнесено и к Робеспьеру), оборотной стороной жестокости Ленина была трусость. Несмотря на то что, существует множество свидетельств об этом качестве ленинской личности, в литературе оно затрагивается редко. Ленин проявил недостаток мужества, еще будучи студентом, когда пытался избежать наказания за участие в студенческих волнениях, подав прошение об отчислении из университета. Как мы покажем позже, он не признался, что являлся автором текста, за который его товарищ получил два дополнительных года ссылки. Его неизменной реакцией на ситуацию физической опасности было бегство: он обладал непревзойденной способностью исчезать при угрозе ареста или перестрелки, даже если для этого требовалось бросить своих. Татьяна Алексинская, жена предводителя большевистской фракции во Второй государственной думе, наблюдала бегство Ленина от опасности: «Впервые я встретила Ленина летом 1906 г. Мне не хочется

вспоминать об этой встрече. Ленин, которым восхищались все левые социал-демократы, казался мне до этого легендарным героем… Никогда его не видев, поскольку он до революции 1905 г. жил за границей, мы представляли его себе революционером без страха и упрека… Какое же острое разочарование постигло меня, когда я увидела его на митинге на петербургской окраине (в 1906 г.). Не одна только его внешность производила неблагоприятное впечатление: он был лыс, с рыжеватой бородой, монгольскими скулами и неприятным выражением лица. В основном это было его поведение во время последовавшей демонстрации. Когда кто-то, увидев, как кавалерия наехала на толпу, закричал: «Казаки!», Ленин первым бросился бежать. Он перескочил через забор. Его котелок упал, открыв лысый череп, потный и блестевший на солнце. Он упал, поднялся и снова побежал… У меня было странное чувство… Я понимала, что нечего было делать, надо было спасаться. И все-таки…[30].

Эти неприятные личные качества были хорошо известны товарищам по партии, которые сознательно их игнорировали ради уникальных ленинских достоинств: поразительной способности к дисциплинированному труду и полной преданности делу революции. По словам Бертрама Вольфа, Ленин был «единственным порожденным русским марксистским движением, человеком с талантом теоретика, который одновременно с этим обладал способностью и желанием заниматься детальной организационной работой»[31]. Плеханов, который при первом знакомстве в 1895 году отнесся к Ленину как к человеку небольшого ума, оценил его впоследствии и стал более снисходительным к его недостаткам, поскольку, как пишет Потресов, «видел

значение нового для него человека совсем не в идеях, а в инициативности и талантах партийного организатора»[32]. Струве, которого отталкивали ленинские «холодность, презрительность и жестокость», признает, что «боролся» с этими неприятными чувствами ради сохранения отношений, ибо считал их «морально обязательными для себя и политически необходимыми для нашего дела»[33].

Ленин прежде и более всего был интернационалистом, считавшим государственные границы реликтовыми остатками другой эпохи, а национализм — отвлечением от классовой борьбы. Он в принципе был готов вести революцию в той стране, где представится возможность, и даже скорее в Германии, нежели в своей родной России. Более половины своей взрослой жизни он провел за рубежом (с 1900-го по 1917 год, за исключением двух лет — с 1905-го по 1907-й), и ему не довелось хорошо изучить свою отчизну: «Я плохо знаю Россию — Симбирск, Казань, Петербург, ссылка — вот и все»[34]. О русских он был невысокого мнения, считая их ленивыми, безвольными и не слишком умными. «Умный русский, — сказал он Горькому, — это почти всегда еврей или человек с еврейской кровью в жилах»[35]. Хотя Ленин не чужд был чувства тоски по родине, Россия стала для него случайным местом первого революционного восстания, трамплином для настоящей революции, эпицентром которой ему виделась Западная Европа. В мае 1918 года, объясняя территориальные уступки, сделанные немцам в Брест-Литовске, он писал: «Мы утверждаем, что интересы социализма, интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства»[36].

Культурный багаж Ленина был чрезвычайно скромен для русского интеллигента его поколения. Его сочинения выдают очень поверхностное знакомство с русской классической литературой (не считая Тургенева), по большей части относящееся, вероятно, ко времени обучения в гимназии. Татьяна Алексинская, работавшая в тесном сотрудничестве с Лениным и его женой, отмечает, что они никогда не ходили на концерты и в театр[37]. Знание истории, помимо истории революций, также было у Ленина неглубоким. Он любил музыку, но предпочитал подавлять в себе это чувство, повинуясь аскетизму, который так впечатлял и одновременно настораживал его современников. Он говорил Горькому: «Я не могу слушать музыку, она возбуждает мои нервы. Мне хочется говорить глупости и ласкать людей, которые, живя в этом грязном аду, могут создавать такую красоту. Но в наше время нельзя никого ласкать: тебе откусят руку. Надо крушить головы, без всякой жалости крушить головы, даже если в идеале мы против любого насилия»[38].

Потресов обнаружил, что с двадцатипятилетним Лениным можно было обсуждать только один предмет: «движение». Ничто другое его не интересовало, и ни о чем другом он не мог сказать ничего интересного. [Potresov A.N. Posmertnyi sbornik proizvedenii. Paris, 1937. P. 297. С ним согласна Татьяна Алексинская: «Для Ленина политика вытесняла всё и не оставляла места ни на что другое»]. В общем, он не был тем, что принято называть многосторонней личностью.

В этой ограниченности был еще один источник силы Ленина, преимущество его как лидера, поскольку, в отличие от интеллигентов, получивших лучшее образование, он не держал в голове лишних идей и

фактов, которые могли в определенной ситуации сыграть роль тормоза и лишить его решимости действовать. Подобно своему наставнику Чернышевскому, он отметал противоречивые мнения как «чушь» и отказывался относиться к ним иначе, чем как к объекту насмешки. Труднообъяснимые факты он игнорировал или перетолковывал в соответствии со стоящей задачей. Если его противник был в чем-то неправ, он становился неправ во всем: Ленин никогда не признавал за противной стороной никаких достоинств. Его манера спорить была чрезвычайно воинственной: он буквально воспринял слова Маркса, что критика — «не скальпель, но оружие; объект критики — враг, которого желательно не опровергнуть, но уничтожить»[39]. Ленин использовал слова как оружие, чтобы уничтожать своих оппонентов, зачастую путем жесточайших выпадов относительно их личных свойств и мотивов. Он даже признался, что не видит ничего плохого в использовании клеветы и обмане рабочих, если это служит его политическим целям. Когда в 1907 году он объявил, что меньшевики предали рабочий класс, и должен был предстать перед социалистическим трибуналом по обвинению в клевете, он с бесстыдной наглостью заявил: «Именно эта формулировка как бы рассчитана на то, чтобы вызвать у читателя ненависть, отвращение, презрение к людям, совершающим такие поступки. Эта формулировка рассчитана не на то, чтобы убедить, а на то, чтобы разбить ряды, — не на то, чтобы поправить ошибку противника, а на то, чтобы уничтожить, стереть с лица земли его организацию. Эта формулировка действительно имеет такой характер, что вызывает самые худшие мысли, самые худшие подозрения о противнике, и действительно, в отличие от

формулировки убеждающей и поправляющей, она «вносит смуту в ряды пролетариата»… То, что недопустимо между членами единой партии, то допустимо и обязательно между частями расколовшейся партии»[40]. Таким образом, он постоянно занимался тем, что Огюст Кошен, один из историков французской революции, называл «сухим террором»; а от террора «сухого» до «кровавого террора» был, разумеется, лишь короткий шаг. Когда один из товарищей-социалистов предостерег как-то Ленина, что его невоздержанные нападки на противника (Струве) могут надоумить какого-нибудь рабочего убить объект нападок, тот невозмутимо ответил: «Его и надо убить». В зрелые годы Ленин был личностью цельной и бескомпромиссной. С того момента, когда в тридцать с небольшим лет он сформулировал теоретически и практически доктрину большевизма, вокруг него как бы сомкнулась невидимая стена, за которую не могла проникнуть ни одна чуждая мысль. Вследствие этого ничто не могло изменить его мнения. Он относился к той категории людей, о которых маркиз де Кюстин сказал: они понимают все, кроме того, что им говоришь. С ним нужно было либо соглашаться, либо бороться; любое несогласие вызывало прилив разрушительной ненависти, стремление стереть противника с лица земли. В этом была его сила как революционера и слабость как государственного деятеля: неукротимый в бою, он не имел качеств, необходимых, чтобы понимать людей и руководить ими. В конце концов этот изъян подорвет его попытку построить новое общество, поскольку мысль о том, что люди могут жить в мире и согласии, была ему недоступна.

* * *

Осенью 1893 года Ленин переехал в Санкт-Петербург, якобы для того, чтобы приступить к адвокатской практике, на самом же деле, чтобы установить связи с радикальными кругами и начать революционную деятельность[42]. Социал-демократам, с которыми Ленин сошелся по приезде, он показался слишком «красным», то есть слишком горячим приверженцем «Народной воли». Вскоре Ленин обзавелся новыми знакомствами, войдя в кружок блестящих интеллектуалов и социал-демократов, душой которого был двадцатитрехлетний Петр Бернгардович Струве. Как и Ленин, он был сыном высокопоставленного чиновника, но, в отличие от Ленина, уже много путешествовал на Западе, был хорошо осведомлен во многих областях и являлся космополитом. Сверстники много спорили. Основные несогласия возникали вокруг отношения Ленина к «буржуазии» и его упрощенного представления о капитализме. Струве объяснял, что Россия не только не достигла уровня развития экономики по западному образцу, но еще едва сделала первый шаг на пути к такому развитию, что Ленин в этом убедится, если увидит Запад собственными глазами. Он пытался также убедить оппонента, что социал-демократия может пустить глубокие корни в России только при условии, если средний класс, побуждаемый трудящимися, даст стране свободу печати и свобод образования политических партий. Ленин с этим согласиться не мог.

Летом 1895 года он выехал за границу и встретился с Плехановым и другими китами социал-демократического движения. Ему объясняли, что

отказываться от союза с «буржуазией» — глубочайшая ошибка. «Вы поворачиваетесь к либералам спиной, — сказал ему Плеханов, — а мы — лицом»[43]. П.Б.Аксельрод убеждал Ленина, что в совместной борьбе социал-демократы не упустят контроля над «либеральной буржуазией», поскольку сохранят «гегемонию» в этой борьбе и будут управлять и руководить своими временными союзниками, чтобы двигаться в направлении, отвечающем их собственным интересам.

На Ленина, который преклонялся перед Плехановым, это подействовало убеждающе. Насколько глубоким оказалось впечатление, определить трудно, но показательно, что по возвращении в Санкт-Петербург осенью 1895 года он выступил в роли ортодоксального социал-демократа и отдал много сил организации рабочих на борьбу против самодержавия в едином фронте с «либеральной буржуазией». Перемена была разительная: летом 1894 года Ленин писал, что социализм и демократия несовместимы, теперь же утверждал, что они нераздельны[44]. Россия в его глазах перестала быть страной капиталистической и стала страной полуфеодальной; главным врагом пролетариата была уже не буржуазия в союзе с самодержавием, но само самодержавие. Буржуазия — во всяком случае, ее прогрессивная часть — превратилась в союзника рабочего класса: «русская социал-демократическая партия, не отделяя себя от рабочего движения, будет поддерживать всякое общественное движение против неограниченной власти самодержавного правительства, против класса привилегированных дворян-землевладельцев и против всех остатков крепостничества и сословности, стесняющих свободу

конкуренции»[45]. Он отказался — за ненадобностью — от идеи заговора и государственного переворота. Важно помнить, однако, что изменение взглядов на роль «либеральной буржуазии» основывалось непосредственно на предположении, сформулированном Аксельродом, что в борьбе против самодержавия революционеры-социалисты будут руководить, а буржуазия — подчиняться.

По возвращении из-за рубежа Ленин установил эпизодические контакты с рабочими кружками, действовавшими в столице подпольно. Иногда он преподавал марксистскую теорию, но в общем занимался просветительской работой не много и совсем отказался от нее, когда однажды рабочий, изучавший под его руководством «Капитал», унес его пальто[46]. Ленин предпочитал организовывать рабочих на массовые выступления. В этот период в Санкт-Петербурге действовал кружок интеллигентов социал-демократов, который установил контакты как с отдельными рабочими, так и с Центральным рабочим кружком, который рабочие создали сами с целью взаимопомощи и самообразования. Ленин вошел в этот кружок, но активно участвовать в его деятельности стал позднее, в конце 1895 года, когда тот принял на вооружение метод «агитации», изобретенный еврейскими социалистами в Литве. Чтобы преодолеть нежелание рабочих заниматься политикой, «агитационный» метод рекомендовал организацию промышленных забастовок, направленных на удовлетворение экономических (то есть не-политических) нужд рабочих. Считалось, что, увидев, как правительство и силы правопорядка неизменно берут сторону владельцев предприятий, рабочие осознают: экономические нужды невозможно удовлетворить в

рамках данной политической системы. Это прозрение должно было политизировать рабочую среду. Ленин, перенявший «агитационный» методу Л.Мартова, включился в распространение агитационных материалов среди питерских рабочих. Брошюры разъясняли рабочим, какие права гарантированы им законом, и показывали, как законы нарушаются нанимателями. Результаты этой деятельности оказались скудными, а степень воздействия агитации на рабочих сомнительной; однако, когда в мае 1896 года 30 000 рабочих ткацкой промышленности начали спонтанную забастовку, социал-демократы посчитали это своей победой.

К тому времени Ленин и его соратники были арестованы за подстрекательство к забастовкам и помещены в тюрьму (аресты происходили зимой 1895/1896 годов). Тем не менее Ленин был убежден, что «агитационный» метод борьбы оправдал себя. «Борьба рабочих с фабрикантами за их повседневные нужды, — писал он, когда началась забастовка ткачей, — *сама собой и неизбежно* наталкивает рабочих *на вопросы государственные, политические»*[47]. Задачу партии Ленин определял следующим образом: «Русская социал-демократическая партия объявляет своей задачей — помогать этой борьбе русского рабочего класса развитием классового самосознания рабочих, содействием их организации, указанием настоящей цели борьбы… Задача партии состоит не в том, чтобы сочинить из головы какие-либо модные средства помощи рабочим, а в том, чтобы *примкнуть* к движению рабочих, внести в него свет, помочь рабочим в этой борьбе, *которую они уже сами начали вести»*[48].

В ходе следствия, предпринятого после его ареста, Ленин отказался признать авторство данной рукописи, которая была ошибочно приписана полицией его подельнику, П.К.Запорожцу, и тот в результате этой ошибки получил два дополнительных года тюрьмы и ссылки. Ленин провел три года ссылки, к которым был приговорен, в Сибири, в относительном комфорте и постоянном общении с товарищами по партии (1897–1900). Он читал, писал, переводил и активно занимался гимнастикой. [Чтобы гражданская жена Ленина, Н.К.Крупская, могла последовать за ним в Сибирь, ему пришлось зарегистрировать с ней брак. Русское правительство не признавало гражданских браков, и поэтому им пришлось обвенчаться в церкви, что и имело место 10 июля 1898 г. (McNeal R.N. Bride of the Revolution: Krupskaya and Lenin. Ann Arbor, Mich., 1972). Впоследствии ни Ленин, ни Крупская никогда не упоминали в своих трудах об этом эпизоде их жизни.].

По мере того как срок ссылки истекал, Ленин получал из дома все более тревожные вести: движение, которое к моменту его ареста переживало успех за успехом, подошло к кризисному моменту, наподобие того, который переживался революционерами в 1870-е годы.

Агитационный метод, по предположениям Ленина, должен был радикализировать рабочих, но дал неожиданный результат: экономические требования, выдвинуть которые он согласился лишь с целью стимуляции политического самосознания рабочих, превращались в самоцель. Рабочие боролись за улучшение экономического положения и не обращали никакого внимания на политику, а «агитаторы» оказались втянутыми в пресное профсоюзное движение.

Летом 1899 года Ленин получил в Шушенском документ, называвшийся «Кредо» и написанный Е.Д.Кусковой. В нем социалистов призывали передать борьбу с самодержавием буржуазии и сосредоточить усилия на улучшении социального и экономического положения русского пролетариата. Кускова не была вполне определившимся социал-демократом, но ее сочинение отражало тенденцию, возникшую в рядах социал-демократии. Ленин обозвал эту унылую ересь «экономизмом». Он был далек от мысли превращать социалистическое движение в служанку профсоюзов, которые по самой своей природе стремились приспособиться к «капитализму». Информация, получаемая им из центра, свидетельствовала о том, что рабочее движение выходило из-под опеки социал-демократической интеллигенции и отворачивалось от политической борьбы — то есть от революции.

Вслед за первой ересью очень скоро появилась другая — ревизионизм. В начале 1899 года некоторые ключевые фигуры русской социал-демократии, следуя за Эдуардом Бернштейном, потребовали ревизии социальной теории Маркса в свете событий последних лет. В том же году Струве опубликовал анализ социальной теории Маркса, в котором обвинил ее в непоследовательности: исходя из марксовых предпосылок, следовало бы прийти к выводу, что социализм может быть только следствием эволюции, а не революции[49]. Далее Струве последовательно критиковал центральное для экономического и социального учения Маркса понятие стоимости и в результате анализа приходил к выводу, что «стоимость» — категория не научная, а метафизическая[50]. Ревизионизм не так

напугал Ленина, как экономизм, поскольку не давал немедленных практических последствий, но его возникновение означало, что упущено что-то серьезное. По воспоминаниям Крупской, летом 1899 года Ленин стал беспокойным, терял в весе и страдал бессонницей. Он направил всю свою энергию на анализ причин кризиса в русской социал-демократии и на поиск путей его преодоления.

Прежде всего он решил создать в содружестве с теми, кто оставался верен традиционному марксизму, печатный орган, наподобие немецкого «Sozialdemokrat», чтобы бороться с возникающими в движении отклонениями и, особенно, с экономизмом. Новую газету назвали «Искра». Но ленинская мысль шла дальше, и он начал подумывать, не превратить ли социал-демократическую партию в конспиративное, закрытое общество по типу «Народной воли»[51]. Эти размышления положили начало духовному кризису, который разрешился только годом позже — намерением создать собственную партию.

После возвращения из ссылки в 1900 году Ленин пробыл некоторое время в Санкт-Петербурге, ведя переговоры со своими коллегами и со Струве, который, хотя номинально и оставался социал-демократом, отходил постепенно к либералам. Струве должен был сотрудничать в «Искре» и в большой степени материально обеспечить ее издание. Позже в том же году Ленин переехал в Мюнхен, где совместно с Потресовым и Л.Мартовым основал «Искру» как орган «истинного» — то есть антиэкономистского и антиревизионистского — марксизма.

Чем дольше Ленин наблюдал поведение рабочих в России и вне ее, тем сильнее утверждался в мысли, что, несмотря на тезис марксизма о «пролетариате» как классе революционном, рабочие, предоставленные сами себе, скорее удовлетворятся большей долей в доходах капиталиста, чем начнут свергать капитализм. Это же имел в виду и С.В.Зубатов, когда писал о полицейском профсоюзном движении. [См. в первом томе настоящего издания]. В основополагающей статье конца 1900 года Ленин проговаривается: «Оторванное от социал-демократии рабочее движение… необходимо впадает в буржуазность…» Из этого поразительного утверждения можно было сделать только один вывод: если рабочим классом не станет управлять социалистическая партия, независимая от него и к нему не принадлежащая, он предаст свои классовые интересы. Только не-рабочие — то есть интеллигенция — знали, якобы, в чем состояли эти интересы. Совсем в духе модных в то время теорий Моска и Парето о политической элите Ленин утверждал, что пролетариат должен, ради его собственной пользы, подчиняться избранному меньшинству: «Ни один класс в истории не достигал господства, если он не выдвигал своих политических вождей, своих передовых представителей, способных организовать движение и руководить им», «надо подготовлять людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю жизнь»[52]. [Позже Бенито Муссолини, итальянский социалист на десять лет моложе Ленина, пришел независимо от Ленина к такому же выводу. В 1912 г. он писал, что «просто организованный рабочий становится мелким буржуа, который руководствуется непосредственным интересом. Всякий призыв к идеалам оставляет его глухим»

(Mussolini B. Opera omnia. V. 4. P. 156). В другом случае Муссолини говорил, что рабочие по своей природе «пацифисты» (Rossi A. The Rise of Italian Fascism, 1918–1922. Lnd., 1938. P. 134).]. Естественно, поскольку рабочим приходится зарабатывать, они не могут посвятить «всю свою жизнь» революционному движению, следовательно, руководство рабочим делом должно лечь на плечи социалистической интеллигенции. Это извращает самый принцип демократии: воля народа — не то, чего хотят живые люди, а то, что другие определяют как его «истинный» интерес.

Размежевавшись с социал-демократами в вопросе о рабочем классе, Ленин легко разошелся с ними и в вопросе о буржуазии. Став свидетелем зарождения мощного и независимого либерального движения, которое вскоре должно было объединиться в «Союз освобождения», Ленин потерял веру в способность более бедных и менее влиятельных социалистов стать «гегемонами». В декабре 1900 года, после длительных и бурных споров со Струве о сотрудничестве либералов с «Искрой», Ленин решил: бесполезно ожидать от либералов, что они отдадут социалистам ведущую роль в борьбе против самодержавия, — они станут бороться самостоятельно и преследуя свои собственные цели не-революционного характера, а революционеров используют как орудие[53]. «Либеральная буржуазия» ведет лицемерную борьбу против монархии и является поэтому классом «контрреволюционным»[54]. Отрицание прогрессивной роли буржуазии означало отход Ленина на позиции «Народной воли» и завершало его разрыв с социал-демократами.

* * *

После того как Ленин пришел к выводу, что промышленный рабочий класс по природе своей не-революционен и даже «буржуазен», а буржуазия «контрреволюционна», перед ним открылись две возможности. Первая состояла в том, чтобы вообще отказаться от идеи революции. Этого, однако, он сделать не хотел по причинам психологического порядка, описанным нами ранее: революция для Ленина была не средством достижения цели, но самой целью. Вторая заключалась в том, чтобы провести революцию сверху, путем заговора и государственного переворота, без учета пожеланий масс. Ленин избрал вторую. В июле 1917 года он напишет: «В революционное время недостаточно выявить «волю большинства», — нет, — надо оказаться сильнее в решающий момент в решающем месте, надо победить. Начиная с средневековой «крестьянской войны» в Германии… вплоть до 1905 года мы видим бесчисленные примеры того, как более организованное, более сознательное, лучше вооруженное меньшинство навязывало свою волю большинству, побеждало его»[55].

За образец партийной организации, которая могла бы справиться с такой задачей, Ленин взял «Народную волю». Народовольцы держали в тайне все, что касалось структуры их партии и проводимых ею операций, и по сей день многое в этом отношении остается невыясненным[56]. Ленину удалось, однако, получить немало сведений такого рода из первых рук — из разговоров с бывшими народовольцами в Самаре и Казани. «Народная воля» была выстроена иерархически и действовала полувоенным образом. В отличие от

организации «Земля и воля», из которой она произошла, «Народная воля» отвергала принцип равенства членов, заменив его командной структурой, во главе которой стоял всемогущий Исполнительный комитет. Чтобы удостоиться членства в Исполнительном комитете, требовалось не только безусловно принимать его программу, но и отдаться делу телом и душой: устав комитета предписывал «безусловное принесение каждым членом на пользу организации всех своих сил, средств, связей, симпатий и антипатий и даже своей жизни»[57]. Решения Исполнительного комитета, принимаемые большинством голосов, становились обязательными для всех членов. Новые члены в него кооптировались. Комитету подчинялись специальные органы, включая Военную организацию, и региональные, или «вассальные», организации; последние должны были выполнять распоряжения Комитета без всяких возражений. Поскольку члены Исполнительного комитета были профессиональными революционерами, большинство из них существовали на деньги, получаемые партией от доброжелателей.

Эти организационные приемы и практические принципы Ленин перенял полностью. Дисциплина, профессионализм и иерархическая организация были прямым наследием «Народной воли», которое он сначала хотел привить социал-демократической партии, а когда это не удалось, взял на вооружение в своей большевистской фракции. В 1904 году он утверждал, что «организационный принцип революционной социал-демократии… стремится исходить сверху, отстаивая расширение прав и полномочий центра по

отношению к части»[58], что могло быть буквально списано с устава «Народной воли».

Ленин, однако же, отошел от практических методов «Народной воли» в двух существенных отношениях. «Народная воля», хотя и была иерархически организована, не допускала личного руководства: Исполнительный комитет работал коллегиально. Это явилось теоретическим обоснованием создания большевистского Центрального Комитета, в котором не было должности председателя, но на практике Ленин руководил его заседаниями, и Центральный Комитет редко принимал какое-либо важное решение без его одобрения. Далее, «Народная воля» никогда не имела намерения стать правительством освобожденной от гнета царизма России: ее миссия должна была завершиться созывом Учредительного собрания[59]. Для Ленина, напротив, свержение самодержавия было только прелюдией к «диктатуре пролетариата», осуществляемой его партией.

Свои взгляды Ленин обнародовал в работе «Что делать?», вышедшей в марте 1902 года. Народовольческая идея была подана на социал-демократическом языке и в осовремененном виде. Ленин призывал к созданию дисциплинированной, централизованной партии профессиональных революционеров, задачей которой будет свержение царского режима. Он отказался от понятия партийной демократии и от мысли о том, что рабочее движение, в ходе естественного развития, осуществит народную революцию: рабочее движение само по себе было способно только на тред-юнионизм. Социализм и революционный пыл следовало привнести в рабочую

среду извне: «сознательность» должна была возобладать над «стихийностью». Поскольку рабочий класс в России немногочислен, русским социал-демократам надо привлекать для совместной борьбы временных союзников в лице других классов. В «Что делать?» во имя «истинности» были отвергнуты основные положения марксизма, а из социал-демократии был выхолощен демократический элемент. Несмотря на это работа произвела огромное впечатление на русских интеллигентов-социалистов, старшее поколение которых все еще жило воспоминаниями о традициях «Народной воли» и которых выводила из терпения выжидательная тактика Плеханова, Мартова и Аксельрода. Тогда, как и позднее, в 1917 году, привлекательность программы Ленина заключалась в том, что он облекал в простые слова и переводил в план действий те идеи, которые его соперники-социалисты, не имеющие такой же силы убеждения, сопровождали многочисленными оговорками.

Своеобразие ленинских тезисов породило много споров в 1902–1903 годах, в период, когда социал-демократы готовились к очередному, II съезду партии, — съезду, который, несмотря на его название, должен был быть для партии учредительным. Возникали ссоры, в которых личная борьба за власть либо рядилась в идеологическую дискуссию, либо примешивалась к ней. Ленин при поддержке Плеханова призывал к созданию более централизованной организации, в которой рядовые подчинялись бы центру, в то время как Мартов, будущий лидер меньшевиков, выступал за относительно свободную структуру, в которую мог быть допущен любой, кто регулярно участвовал в партийной работе «под руководством одной из партийных организаций»[60].

Съезд открылся в Брюсселе в июле 1903 года, на него приехали сорок три делегата с правом голоса, уполномоченные представлять пятьдесят один голос. [В конце того же месяца съезд был перенесен в Лондон из-за повышенного внимания со стороны русской и бельгийской полиции.]. О четырех делегатах говорится, что они были рабочими, остальные принадлежали к интеллигенции. Мартов, лидер оппозиции Ленину, постоянно получал большинство, но, когда он присоединился к своему сопернику в голосовании против предоставлении еврейскому Бунду автономного статуса в партии и пять бундовцев покинули съезд, а за ними последовали два делегата-экономиста, Мартов большинство временно потерял. Ленин немедленно воспользовался этим, чтобы захватить влияние в Центральном Комитете и обеспечить себе преимущество в его органе, газете «Искра». Бесцеремонность и интриганство Ленина вызвали значительные трения между ним и другими лидерами партии. Несмотря на то, что и тогда и впоследствии предпринималось множество попыток сохранить видимость единства, разрыв был необратим, и не столько вследствие идеологических расхождений, которые еще можно было бы примирить, сколько из-за личной неприязни. Ленин воспользовался этой ситуацией и для того, чтобы присвоить своей фракции наименование «большевики». Это название он сохранил за собой даже тогда, когда представители фракции оказались в меньшинстве, что случилось вскоре после закрытия II съезда. Оно позволяло Ленину выдавать себя за лидера наиболее популярной группировки в партии. Все это время он играл роль единственного «правоверного» марксиста, что не могло не нравиться в стране, где религиозная традиция

полагала любую ортодоксальность наивысшей добродетелью, а любое отклонение от нее — отступничеством.

Следующие два года в истории партии были отмечены обилием интриг, которые не представляют большого интереса, но проливают некоторый свет на характеры действующих лиц. Ленин намеревался подчинить партию своей воле; когда ему это не удалось, он вознамерился создать под прикрытием партии параллельную организацию, подчиняющуюся лично ему. К концу 1904 года он уже создал по существу собственную партию с подобием Центрального Комитета, называвшимся «Бюро комитетов большинства». За это он был исключен из законного Центрального Комитета[61]. Этот метод подрыва законных институтов, в которых он оказывался в меньшинстве, путем создания неправомочных параллельных организаций, состоящих из его приспешников и носящих такое же название, как и первые, Ленин впоследствии (в 1917–1918 годы) использовал применительно к другим институтам власти, особенно к Советам.

Ко времени начала революции 1905 года большевистская организация была готова к бою и представляла собой «дисциплинированный отряд профессиональных заговорщиков, объединенный вокруг группы конспираторов, которые были повязаны отношением личной преданности предводителю, Ленину, и готовы следовать за ним на любую авантюру, лишь бы руководство оставалось достаточно экстремистским и радикальным»[62].

Противники Ленина обвиняли его в якобинстве: Троцкий отмечал, что, подобно якобинцам, ленинцы

опасались «стихийности» масс[63]. Ничуть не смущенный подобными обвинениями, Ленин с гордостью стал сам именовать себя якобинцем[64]. Аксельрод считал, что ленинизм — даже и не якобинство, а «упрощенная копия или карикатура бюрократическо-самодержавной системы нашего министра внутренних дел»[65].

* * *

Ни большевики, ни меньшевики не оказали значительного влияния на ход революции 1905 года, за исключением, пожалуй, ее завершающего этапа. Жестокости 1905 года захватили социал-демократов врасплох, и большую часть года они занимались выпуском прокламаций и подстрекательством к мятежу, который впоследствии вышел за пределы их влияния. Только к октябрю 1905 года, когда был сформирован Петроградский Совет рабочих депутатов, меньшевики смогли принять в революции более активное участие; до этого ведущая роль принадлежала либеральным деятелям и либеральным программам.

Ленин не принимал участия в событиях, поскольку, в отличие от Троцкого и А.Л.Парвуса, предпочел следить за ними с безопасного расстояния и находился в Швейцарии; он благоразумно вернулся в Россию только в начале ноября, после объявления политической амнистии. Ему представлялось, что январь 1905 года обозначил начало общей революции в России. Хотя начальный импульс исходил от либеральной «буржуазии», этот класс должен был с неизбежностью капитулировать на полпути и пойти на сделку с царизмом. Социал-демократам предстояло поэтому взять всю полноту ответственности на себя и привести рабочих

к окончательной победе. Несмотря на то, что Ленин всегда питал пристрастие к тому, что Мартов называл «анархо-бланкизмом»[66], для выработки программы действий ему все же необходимо было теоретическое обоснование. Он нашел его в основополагающем сочинении Парвуса, написанном в январе 1905 года под первым впечатлением от Кровавого воскресенья. Теория «непрерывной» (или «перманентной») революции, выдвинутая Парвусом, являлась удачным компромиссом между традиционным учением русской социал-демократии о революции в два этапа, при которой социализму предшествует ярко выраженная фаза «буржуазного» правления, и анархистской теорией «прямого действия», которая больше соответствовала ленинскому темпераменту, но плохо увязывалась с марксизмом. Парвус допускал «буржуазную» фазу, но настаивал, что никакого интервала, отделяющего ее от социалистического этапа, быть не должно и что последний войдет в силу последовательно и постепенно. [Впервые Парвус сформулировал теорию «непрерывной», или «перманентной», революции (не употребляя, однако, ни одно из этих названий) в предисловии к памфлету Троцкого «До девятого января» (Женева, 1905. С. III–XIV. Датировано: Мюнхен, 18(31) января 1905 г.). На эту же тему см.: Deutscher I. The Prophet Armed: Trotsky, 1879–1921. N.Y; Lnd., 1954. P. 112–114, 118–119, 149–162; Zeman Z.A.B., Scharlau W.B. The Merchant of the Revolution: The Life of Alexander Israel Helphand (Parvus). Lnd., 1965. P. 76–79. Концепция «революции в непрерывности» была коротко развита Марксом в 1848 г. (см.: Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. N.Y., 1960. P. 77).]. Согласно этой схеме, «пролетариату» (читай: социал-демократической партии) следовало

немедленно брать власть в свои руки, как только разразится революция против самодержавия. Оправданием для создания этой теории послужило то, что в России не сложился еще радикализированный ремесленный класс, который в Западной Европе поддерживал и поощрял буржуазию. Русская буржуазия, находившаяся в более уязвимом положении, не довела бы революцию до конечной цели, а остановилась бы на «полпути». Социалистам следовало подготовить и организовать массы для гражданской войны, которая должна была последовать за падением царизма. Одной из предпосылок успеха было сохранение единства партии и сохранение четкой дистанции между ней и ее союзниками: «бороться вместе, идти порознь». Концепция Парвуса имела большое влияние на русских социал-демократов, особенно на Ленина и Троцкого: «впервые в истории русского движения был выдвинут тезис о том, что пролетариат должен немедленно захватить политическую власть и… сформировать Временное правительство»[67]. Вначале Ленин отверг теорию Парвуса, просто потому, что поступал так всякий раз, когда кто-нибудь, предложив новую идею или тактику, бросал вызов его первенству в движении. Но через некоторое время передумал. В сентябре 1905 года он уже вторит Парвусу: «Сразу после демократической революции мы начнем двигаться, в той мере, в какой это позволят наши силы… к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути. [Ленин. Поли. собр. соч. Т. 11. С. 222. И Вольф (Three. P. 291–294), и Шапиро (Communist Party. P. 77–78) полагают, что подобное утверждение со стороны Ленина было оговоркой, поскольку впоследствии он писал много раз, что Россия

не может миновать «капиталистическую» и «социалистическую» фазы. Но, как покажет его поведение в 1917 г., рассуждения о «демократической» революции останутся голыми словами: ленинская стратегия требовала немедленного перехода от «буржуазной» демократии к «диктатуре пролетариата».].

Социалистическая революция, по мнению Ленина, могла осуществиться только одним путем: через вооруженное восстание. Он углубился в изучение истории партизанских войн в городских условиях, чтобы постигнуть их стратегию и тактику; на первом месте стояли мемуары Гюстава Клюзере, руководителя обороны Парижской коммуны. Усвоенные при чтении сведения сообщались соратникам в России. В октябре 1905 года Ленин советовал формировать «отряды революционной армии», которые должны вооружаться «сами кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии) и пр., и т. д.)… Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль: 1) руководя толпой; 2) нападая при удобном случае на городового, случайно отбившегося казака (случай в Москве) и т. п. и отнимая оружие; 3) спасая арестованных или раненых, когда полиции очень немного; 4) забираясь на верх домов, в верхние этажи и т. п. и осыпая войско камнями, обливая кипятком и т. д… Убийство шпионов, полицейских, жандармов, взрывы полицейских участков»[68].

Одним из видов вооруженной борьбы был терроризм. Хотя большевики формально придерживались социал-демократической платформы и отвергали

терроризм, на практике они участвовали в террористических актах эсеров, в том числе максималистов, а также организовывали их самостоятельно. Как правило, операции эти проводились секретно, но были случаи и открытого призыва к терроризму. Так, в августе 1906 года, приводя в пример то, как польская социалистическая партия постреляла полицейских в Варшаве, большевики призывали к уничтожению «шпионов, активных черносотенцев, начальствующих лиц полиции, войска, флота и так далее, и тому подобное». [Пролетарий. 1906. 21 авг. № 1. Цит. по: Спиридович А.И. История большевизма в России. Париж, 1922. С. 138. Охранка, чьи агенты тщательно собирали все сведения об активности большевиков, докладывала незадолго до февральской революции, что Ленин был не против террора, но считал, что эсеры придают ему слишком большое значение (Донесение от 24 дек. 1916 (6 янв. 1917 г.). См.: Hoover Institution, Okhrana Archives. Index № XVIId. Folder 5. № R. Как нами будет показано, ленинская организация снабжала эсеров взрывчаткой для их террористических акций.].

Возникновение Советов Ленин наблюдал со скепсисом, поскольку они мыслились как «непартийные» рабочие организации и как таковые были вне контроля политических партий: зная его мнение о «приспособленческом» характере рабочего класса, можно понять, что ни он, ни его соратники не считали Советы надежным институтом[69]. В период образования Советов некоторые большевики в Петрограде призывали рабочих бойкотировать их на том основании, что, ставя рабочую организацию над социал-демократической партией, они тем самым принижали «сознательность

пред стихийностью»[70], другими словами, ставили рабочих над интеллигенцией. Ленин вел себя более гибко, хотя так никогда и не решил окончательно, что должны делать Советы и в чем их польза. В конце концов, после 1906 года, он решил, что их можно использовать для оказания помощи «революционной армии». Советы могли быть использованы в революции («восстании»), но самостоятельной ценности они не представляли[71]. Он также отрицал роль Советов как органов самоуправления, — они должны были служить «инструментами» восстания, проводимого дисциплинированными вооруженными отрядами.

С началом революции 1905 года Ленин решил, что пришла пора отделиться от основной партии и открыто сформировать собственную организацию. В апреле 1905 года он созвал в Лондоне неправомочный III съезд РСДРП; все делегаты (38 человек) были членами его фракции. Крупская сообщала: «На 3-м съезде не было рабочих — по крайней мере, не было ни одного сколько-нибудь заметного рабочего… Зато «комитетчиков» на съезде было много. Тот, кто упустит из виду эту физиономию 3-го съезда, многого в протоколах съезда не поймет»[72]. В этом дружеском кругу Ленину было нетрудно утвердить все те резолюции, которые правомочная социал-демократическая партия не одобрила бы, что видно, например, из решений, принятых в следующем году в Стокгольме. III съезд обозначил начало формального раскола в социал-демократической партии, который завершился в 1912 году. Возвратившись в Россию в начале ноября 1905 года, Ленин стал вдохновителем московского восстания следующего месяца, но исчез, как только начали стрелять. В тот самый день, когда в Москве возводились

баррикады (10 декабря 1905 г.), он и Крупская укрылись в Финляндии. Они возвратились только 17 декабря, после подавления восстания.

В апреле 1906 года две части РСДРП предприняли вялую попытку воссоединения на конференции в Стокгольме. Ленин снова попытался получить большинство в Центральном Комитете, но это ему не удалось. Он потерпел поражение и по ряду практических вопросов: конференция осудила создание вооруженных отрядов и идею вооруженного восстания, а также отвергла его аграрную программу. Ленина это не смутило, и он сформировал, втайне от меньшевиков, нелегальный тайный «Центральный Комитет» (по стопам «Бюро») под собственным руководством. Состоявший вначале, по всей видимости, из трех членов, комитет разросся к 1907 году до пятнадцати человек[73]. В течение и сразу вслед за революционным 1905 годом ряды социал-демократической партии возросли во много раз, в нее влились десятки тысяч новых членов, значительную часть которых составляла интеллигенция. К этому времени обе фракции приобрели отчетливые очертания[74]. Большевики насчитывали, по оценкам 1905 года, 8400 членов, примерно столько же было у меньшевиков и бундовцев. Считается, что на стокгольмскую конференцию РСДРП в апреле 1906 года съехались делегаты, представлявшие 31 000 членов партии, из них 18 000 меньшевиков и 13 000 большевиков. В 1907 году численность партии выросла до 84 300 человек (что примерно соответствовало числу членов в конституционно-демократической партии), из них 46 100 были большевики, 38 200 — меньшевики. К тому же к ней примыкали 25 700 польских социал-демократов, 25 500 бундовцев и 13000

латвийских социал-демократов. Это был апогей: в 1908 году начался выход из партии, и в 1910 году, по оценкам Троцкого, численность членов РСДРП сократилась до 10 000 и менее[75]. Меньшевистская и большевистская фракции различались по социальному и национальному составу. В обеих непропорционально большую часть составляли дворяне — 20 % по сравнению с 1,7 %, которые дворяне составляли от общей численности населения (на самом деле у большевиков их было немного больше — 22 %, а у меньшевиков — немного меньше — примерно 19 %). У большевиков было больше представителей крестьянства: они составляли 38 % членов фракции, у меньшевиков — 26 %[76]. Это были не единоличники — те поддерживали эсеров, — а деклассированные, оторвавшиеся от земли крестьяне, подавшиеся в город в поисках работы. Социально переходный элемент впоследствии поставлял много кадров в партию большевиков и оказал значительное влияние на формирование ее политического менталитета. Меньшевики привлекали больше мещан, квалифицированных рабочих (например, типографских рабочих и железнодорожных служащих), интеллигентов и представителей свободных профессий.

Что касается национального состава обеих фракций, к большевикам шли преимущественно великороссы, а к меньшевикам — нерусские, по большей части грузины и евреи. На II съезде партии основную поддержку Ленин получил со стороны делегатов от центральных — то есть великорусских — губерний. На V съезде (1907 г.) почти четыре пятых (78,3 %) большевиков были великороссами, у меньшевиков же они составляли всего одну треть (34 %). Примерно 10 % большевиков были евреи; у меньшевиков они составляли в два раза

больший процент[77]. [Обстоятельство это не ускользнуло от внимания Сталина. Он писал о V съезде, делегатом которого был: «Статистика показала, что большинство меньшевисткой фракции составляют евреи (не считая, конечно, бундовцев)… Зато громадное большинство большевистской фракции составляют русские… По этому поводу кто-то из большевиков заметил шутя (кажется, тов. Алексинский), что меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская, стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром». Сталин И.В. Лондонский съезд РСДРП: (Записки делегата). Гл. 1. Состав съезда //Соч. Т. 2. М.: ОГИЗ, 1946. С. 50–51].

Таким образом, для партии большевиков в период ее формирования было характерно следующее: 1) большую часть ее составляли выходцы из деревни, рядовые ее члены были «в значительной мере из тех, кто родился в деревне и все еще имеет связь с деревней»; 2) подавляющее большинство ее членов были великороссами, происходили из центральных губерний России[78]. Другими словами, и социально, и с географической точки зрения корни партии уходили в те слои населения и в те регионы, где крепче всего принялось в свое время крепостное право.

У двух фракций были и общие черты, и самая главная из них — слабая связь с промышленным рабочим классом, той социальной группой, которую они якобы представляли. Уже с момента зарождения социал-демократического движения в России в 1880-х годах отношение рабочих к социалистической интеллигенции было неоднозначным. Неквалифицированные и полуквалифицированные

рабочие совершенно ее избегали, считая, что интеллигенция — аристократы и «белоручки» — хочет использовать их для сведения личных счетов с царем. Они остались нечувствительны к влиянию социал-демократической партии. Лучше образованные, более квалифицированные и политически сознательные рабочие часто видели в социал-демократах друзей и помощников, но не были готовы идти за ними: как правило, они предпочитали тред-юнионизм партийной политике[79]. В результате число рабочих, входивших в социал-демократические организации, было ничтожным. По оценкам Мартова, в первой половине 1905 года, когда революция уже шла полным ходом, у меньшевиков в Петрограде было от 1200 до 1500 активных сторонников из числа рабочих, а у большевиков — «несколько сотен» — и это в самом большом промышленном городе империи, где рабочих насчитывалось более 200 000[80]. В конце 1905 года в обе фракции в целом в Санкт-Петербурге входило до 3000 рабочих[81]. Можно, следовательно, сделать вывод, что и меньшевистская, и большевистская фракции были организациями интеллигентскими. Опубликованные в 1914 году размышления Мартова по этому поводу предвосхищают ситуацию, которая сложилась после февральской революции:

«В таких городах, как Петербург, где в течение 1905 года фактически открылась возможность активной деятельности на широкой арене… в партийной организации остаются лишь рабочие — профессионалы», выполняющие центральные организаторские функции, и рабочая молодежь, вступающая в партийные кружки в целях саморазвития. Более зрелый политический слой рабочих остается формально вне организации или только

числится в нем, что самым отрицательным образом отражается на связи организации и ее центров с массами. В то же время массовый прилив интеллигенции к партии, при большей приспособленности форм ее организации к условиям быта интеллигентов, по сравнению с рабочими (больший досуг и возможность затрачивать значительное количество времени на конспирацию, жизнь в центральных частях города, более благоприятных для ускользания от надзора), делает то, что все верхние ячейки организации… заполняются именно интеллигенцией, что, в свою очередь, питает психологическую их оторванность от массового движения. Отсюда — непрерывающиеся конфликты и трения между «центрами» и «периферией» и растущий антагонизм между рабочими и «интеллигенцией»[82].

В действительности, несмотря на то, что меньшевики любили отождествлять себя с рабочим движением, обе фракции предпочитали руководить движением без вмешательства со стороны рабочих: большевики из принципа, меньшевики — по жизненной необходимости[83]. Мартов правильно подметил это явление, но не сделал из него того очевидного вывода, что в России демократическое социалистическое движение, не только представляющее интересы рабочих, но и руководимое ими, было попросту невозможно.

Принимая во внимание описанные нами моменты сходства между большевиками и меньшевиками, можно было бы предположить, что они объединят свои усилия. Но этого не произошло: несмотря на возникавшие время от времени периоды близости, они расходились все дальше друг от друга, движимые той страстной враждой, которая возникает между членами разных сект внутри

одной и той же церкви. Ленин не упускал ни одной возможности отойти еще дальше от меньшевиков, шельмуя их как предателей дела социализма и интересов рабочего класса.

Эта жестокая вражда была скорее следствием личной неприязни, чем идеологических расхождений. К 1906 году, на спаде революции, меньшевики согласились принять ленинскую программу создания централизованной, дисциплинированной и конспиративной партии. Тактические принципы, которых придерживались обе фракции, тоже не сильно различались. Например, обе они одинаково поддержали скороспелое московское восстание в декабре 1905 года. В 1906 году обе единодушно осудили как нарушение партийной дисциплины заявление Рабочей конференции, поддержанное Аксельродом[84]. При всех незначительных, хотя и часто возникающих, теоретических расхождениях между двумя фракциями принципиальным препятствием к воссоединению была ленинская всепоглощающая жажда власти, которая делала возможным сотрудничество с ним не иначе как в роли подчиненного.

* * *

В период между 1905-м и 1914 годами Ленин выработал революционную программу, которая отличалась от принятой другими социал-демократами по двум важным пунктам: по вопросу о крестьянстве и по вопросу о национальных меньшинствах. Корень различия лежал в том, что меньшевики мыслили в ключе поисков решения, тогда как Ленина интересовала исключительно тактика: он желал выявить источники недовольства и использовать их как движущую силу революции. Как мы

уже отмечали, еще до 1905 года он пришел к выводу, что ввиду немногочисленности русского пролетариата социал-демократы должны привлекать к борьбе и вести в бой любую социальную группу, противостоящую самодержавию, кроме «буржуазии», которую он считал «контрреволюционной»: после победы, считал он, найдется время для того, чтобы свести счеты с временными попутчиками.

Традиционный взгляд социал-демократов на крестьянство был усвоен ими от Маркса и Энгельса и состоял в том, что за исключением безземельного пролетариата оно являлось реакционным («мелкобуржуазным») классом[85]. Тем не менее, наблюдая поведение русского крестьянства в период деревенских волнений 1902 года и, что еще более существенно, в 1905 году, и отмечая связь между разорением помещичьей собственности и вынужденной капитуляцией царизма, Ленин пришел к мысли, что мужик был естественным, хотя и временным, попутчиком промышленного рабочего. Чтобы привлечь мужика, партии пришлось выйти за пределы уже заявленной аграрной программы, в которой крестьянам обещались так называемые отрезки — наделы, которые, согласно указу об освобождении 1861 года, они могли получить бесплатно, но которые составляли только часть требующихся им земель. Ленин почерпнул много сведений о складе мышления русского крестьянина из долгих разговоров с Гапоном после бегства последнего в Европу, последовавшего за Кровавым воскресеньем: как сообщает Крупская, Гапон был хорошо осведомлен о нуждах крестьянства и Ленин так увлекся этим человеком, что попытался обратить его в социализм[86].

В результате Ленин сформулировал неортодоксальную точку зрения: социал-демократы должны пообещать крестьянину всю помещичью землю, несмотря на то, что это означало бы подкрепление крестьянских «мелкобуржуазных» и «контрреволюционных» наклонностей; социал-демократы, таким образом, должны были принять аграрную программу эсеров. В его новой программе крестьянин занял, в качестве главного союзника «пролетариата», место либеральной «буржуазии»[87]. На III съезде своих сторонников он выдвинул и провел пункт о захвате крестьянством всех помещичьих земель. После того как программа была проработана детально, большевики выступили за национализацию всей земли, частной и общинной, и раздачу ее в пользование крестьянам. Ленин выдвигал эту программу несмотря на открытые протесты Плеханова, что национализация земли укрепит «китайские» традиции в русской истории, в силу которых крестьянин воспринимал землю как собственность государства. Эта аграрная платформа оказалась очень полезной, когда большевикам потребовалось нейтрализовать крестьянство в конце 1917-го — начале 1918 года, в переломный момент борьбы за власть.

Ленинская аграрная программа противостояла столыпинской реформе, которая обещала (или, в зависимости от принимаемой точки зрения, угрожала) создать класс независимого и консервативного крестьянства. Ленин, всегда бывший реалистом, писал в апреле 1908 года, что, если столыпинская аграрная реформа завершится успехом, большевикам придется отказаться от их аграрной платформы: «Было бы пустой и глупой демократической фразеологией, если бы мы

сказали, что в России успех такой политики «невозможен». Возможен! <…> Что, если, несмотря на борьбу масс, столыпинская политика продержится достаточно долго для успеха «прусского» пути? Тогда аграрный строй России станет вполне буржуазным, крупные крестьяне заберут себе почти всю надельную землю, земледелие станет капиталистическим и никакое, ни радикальное, ни нерадикальное, «решение» аграрного вопроса при *капитализме* станет невозможным»[88]. В этом утверждении содержится занятное противоречие: если, по Марксу, капитализм нес в себе зародыш собственной гибели, — капиталистическое развитие русского сельского хозяйства, с его разрастающейся массой безземельного пролетариата, должно было сделать «решение» «аграрной проблемы» более простым, и отнюдь не невозможным, именно для революционеров. Но, как нам теперь известно, страхи Ленина оказались безосновательными, поскольку столыпинская реформа не изменила сущности землевладения в России и вовсе не затронула образа мыслей мужика, который оставался определенным противником капитализма.

Аналогичным образом Ленин попытался извлечь пользу из национального вопроса. В социал-демократических кругах было принято за аксиому, что национализм — это реакционная идеология, отвлекающая рабочих от классовой борьбы и приводящая к распаду больших государств. Но Ленин отлично понимал, что добрая половина населения Российской империи была нерусской, что некоторые народности имели сильно развитое национальное самосознание и что подавляющее их большинство стремилось к большей территориальной и культурной независимости. Официальная программа партии,

принятая в 1903 году, уделяла этой проблеме так же мало внимания, как и вопросу о крестьянстве: она предлагала национальным меньшинствам гражданское равенство, обучение на родном языке, местное самоуправление и то, что туманно называлось «правом всех наций на самоопределение», но более ничего[89].

В 1912–1913 годах Ленин пришел к выводу, что этого недостаточно: несмотря на то, что, предположительно, национализм был реакционной силой и анахронизмом в эпоху возрастающих классовых противоречий, необходимо все же было признать возможность его эпизодических проявлений. Социал-демократы должны были, следовательно, быть готовыми использовать его, условно и временно, совершенно так же, как в случае передачи земли крестьянам в частную собственность: «<…> это — поддержка союзника против данного врага, причем социал-демократы оказывают эту поддержку, чтобы ускорить падение общего врага, но они ничего не ждут для себя от этих временных союзников и ничего не уступают им»[90]. Отыскивая программную формулировку, Ленин отверг популярные среди социалистов Восточной Европы идеи федерализма и культурной автономии — первую, потому что федерализм приводил к дезинтеграции крупных государств, вторую, поскольку культурная автономия закрепляла на уровне гражданского законодательства этнические различия. В 1913 году, после долгих колебаний, Ленин наконец сформулировал программу большевиков по национальному вопросу. Она основывалась на своеобразном толковании пункта о «национальном самоопределении» из программы социал-демократов: в ленинской интерпретации «право нации на

самоопределение» значило только и исключительно право любой этнической группы на отделение от империи и формирование суверенного государства. Когда соратники стали возражать, что подобная формулировка создаст почву для партикуляризма, Ленин их успокоил. Во-первых, развитие капитализма, прогрессивно объединяющее различные части Российской империи в одно экономическое целое, подавит сепаратистские тенденции и сделает в итоге сепаратизм невозможным; во-вторых, право «пролетариата» на самоопределение всегда возобладает над правом наций, что означает: если нерусские народности отделятся — даже вопреки всякому ожиданию, — их силой вернут назад. Предлагая нацменьшинствам выбор между всем и ничем, Ленин игнорировал тот факт, что практически все они (за исключением поляков и финнов) хотели чего-то промежуточного. Он с определенностью полагал, что национальные меньшинства не отделятся, но сольются с русским населением[91]. Эту демагогическую формулировку Ленин с успехом использовал в 1917 году.

* * *

Одним из наиболее важных — и одновременно одним из наименее изученных — аспектов истории партии большевиков в период до революции 1917 года является финансирование партии. Деньги нужны любой политической организации, но требование, чтобы каждый член партии работал на партию и только на нее, ставило большевиков в исключительно тяжелое финансовое положение, поскольку значило, что большевистские кадры, в отличие от находящихся на самообеспечении меньшевиков, зависели от партийной

казны. Средства требовались Ленину также и для того, чтобы обходить соперников-меньшевиков, у которых, как правило, было больше приверженцев. Большевики доставали деньги разными путями, как общепринятыми, так и абсолютно «нетрадиционными».

Одним из источников пополнения казны были пожертвования богатых доброжелателей. Например, эксцентричный промышленник-миллионер Савва Морозов вносил в большевистскую казну по 2000 рублей ежемесячно. Когда на французской Ривьере он покончил жизнь самоубийством, большевикам через жену Максима Горького, которая являлась душеприказчицей Морозова[92], было передано 60 000 рублей из его наследства. Находились и другие жертвователи, в числе прочих Горький, агроном по имени А.И.Ерамазов, А.Д.Цюрупа, управляющий поместьями в Уфимской губернии (в 1918 году он станет в правительстве Ленина наркомом продовольствия), вдова сенатора и некогда близкий друг Струве Александра Калмыкова, актриса В.Ф.Комиссаржевская и многие другие, сведениями о которых мы не располагаем и по сей день[93]. Все эти покровители из чистого снобизма финансировали предприятие, совершенно противоречащее их собственным интересам: в то время, пишет близкий соратник Ленина Л.Б.Красин, «считалось признаком хорошего тона в более или менее радикальных или либеральных кругах давать деньги на революционные партии, и в числе лиц, довольно исправно выплачивавших ежемесячные сборы от 5 до 25 рублей, бывали не только крупные адвокаты, инженеры, врачи, но и директора банков, и чиновники государственных учреждений»[94]. Большевистская касса была независима от общей социал-демократической, и управление ею

находилось в руках большевистского «центра», сформированного в 1905 году и состоявшего из трех человек: Ленина, Красина и А.А.Богданова. Сам факт существования партийной кассы хранился в тайне от рядовых членов партии.

Пожертвований сочувствующей буржуазии, однако, не хватало, и с начала 1906 года большевики стали прибегать к менее изысканным способам, идею которых позаимствовали у «Народной воли» и эсеров-максималистов. Значительная доля большевистских средств добывалась с этого времени уголовными методами, преимущественно вооруженным грабежом, известным под красивым названием «экспроприация». Совершая хорошо организованные налеты, большевики грабили почтовые и железнодорожные кассы, поезда и банки. Во время знаменитого ограбления государственного банка в Тифлисе в июне 1907 года они выручили 250 000 рублей, большую часть суммы в банкнотах по 500 рублей, серийные номера которых подлежали регистрации. Выручка от ограбления была внесена в большевистскую казну. Впоследствии несколько лиц, пытавшихся обменять в Европе украденные 500-рублевые банкноты, были арестованы — все они, в том числе будущий советский министр иностранных дел М.М.Литвинов, оказались большевиками[95]. Сталин — один из организаторов налета — был исключен из социал-демократической партии[96]. Несмотря на резолюцию об осуждении подобных видов деятельности, вынесенную съездом партии в 1907 году, большевики продолжали прибегать к ограблениям, иногда в сотрудничестве с эсерами. Таким образом удалось собрать значительные средства, которые дали им

большие преимущества перед вечно нуждавшимися меньшевиками[97]. По свидетельству Мартова, постоянная практика подобных преступлений позволила большевикам посылать в Санкт-Петербург и Москву местным организациям по 1000 рублей и 500 рублей в месяц соответственно, в то время как законные поступления социал-демократической партии за счет членских взносов составляли не более 100 рублей в месяц. Как только приток этих средств был приостановлен, что случилось в 1910 году, когда большевикам пришлось передать их деньги на хранение трем доверенным лицам из немецких социал-демократов, российские «организации» исчезли как дым[98].

Верховное руководство этими секретными операциями находилось в руках Ленина, но главным боевым командиром и казначеем являлся Л.Б.Красин, глава так называемой Технической группы[99]. Инженер по профессии, Красин вел двойную жизнь: почтенный служащий (он служил у Морозова и в таких немецких фирмах, как «AEG» и «Siemens-Schuckert»), в свободное время он руководил большевистским подпольем. [Служба Красина в немецкой фирме по производству электронной аппаратуры могла и не быть случайностью. По сообщениям, сделанным в 1917 г. главой русской контрразведки, Сименс использовал свои агентства с целью шпионажа, что привело к закрытию его конторы на юге России (См.: Никитин Б. Роковые годы. Париж, 1937. С. 118)]. Он работал в секретной лаборатории, где собирали бомбы, — одна из таких бомб была использована при ограблении Тифлисского банка[100]. В Берлине он руководил операцией по изготовлению фальшивых трехрублевок. Красин принимал участие и в контрабандных перевозках оружия — иногда из чисто

коммерческих соображений, чтобы пополнить большевистскую кассу. В ряде случаев Техническая группа вступала в сговор с обыкновенными уголовниками — например, известной банде Лбова, действовавшей на Урале, было продано оружия на сумму в сотни тысяч долларов[101]. Подобная деятельность с неизбежностью привлекала в ряды большевиков сомнительные элементы, которым «рабочее дело» давало предлог, оправдывавший ведение преступной жизни.

Насколько далеко Ленин был готов зайти, чтобы выручить средства для своей организации, видно из так называемого дела Шмита[102]. Н.П.Шмит, богатый владелец мебельной мануфактуры и родственник Морозова, покончил с собой в 1906 году, когда должен был выступить ответчиком на суде по делу о предоставлении средств на закупку оружия для декабрьского московского восстания. Шмит не оставил завещания, но устно сообщил Горькому и другим знакомым, что хотел бы передать свое состояние в 500 000 рублей социал-демократам. Это сообщение не имело ценности в глазах закона, поскольку партия, будучи нелегальной, не могла стать бенефициарием наследства. Деньги перешли, таким образом, к ближайшему родственнику умершего, его младшему брату. Большевики исполнились решимости не дать наследникам растратить наследство или передать его в казну социал-демократов и на собрании под председательством Ленина постановили захватить его любой ценой. Юного брата-наследника быстро уговорили отказаться от наследства в пользу двух сестер, на которых, согласно плану, двое большевиков должны были затем жениться. Младшая из девушек, несовершеннолетняя, была обвенчана с негодяем-большевиком по имени Виктор Таратута; чтобы

ввести полицию в заблуждение, ее выдали замуж вторично, фиктивно, за почтенного обывателя. 190000 рублей, полученные ею в результате замужества, были переданы в большевистскую кассу в Париже[103].

Вторая часть наследства Шмита находилась в руках мужа старшей сестры, социал-демократа, симпатизировавшего большевикам. Он, однако, обнаружил намерение оставить деньги себе. Спор был вынесен на социалистический арбитражный суд, по решению которого большевикам причиталась всего треть или половина наследства. Со временем муж наследницы под угрозой физической расправы вынужден был передать все деньги Ленину. Таким образом Ленину удалось прибрать к рукам от 235 000 до 315 000 рублей из Шмитовского наследства[104].

Когда Мартов обнародовал эту грязную финансовую аферу, большевики в социалистических кружках России и зарубежья возмутились, и Ленин был вынужден согласиться на передачу фондов партии доверенным лицам из немецких социал-демократов. Деньги являлись основным предметом спора между двумя фракциями в течение десяти лет, предшествовавших революции 1917 года. Крупская в качестве секретаря Ленина поддерживала непрерывную переписку с большевистскими агентами в России, используя невидимые чернила, шифровки и прочие хитрости, чтобы держать полицию в неведении относительно ее содержания. По сообщению Татьяны Алексинской, помогавшей Крупской в этой работе, в большинстве писем Ленина содержалось требование денег[105]. [Важность денежных поступлений подчеркивалась Лениным в письме к потенциальному жертвователю,

написанном в декабре 1904 г.: «Наше дело грозит прямо-таки крахом, если мы не продержимся при помощи чрезвычайных ресурсов по меньшей мере полгода. А чтобы продержаться, не сокращая дело, необходимы minimum две тысячи рублей в месяц <…>» (Полн. собр. соч. Т. 46. С. 433)].

В 1908 году социал-демократическое движение в России пошло на спад, отчасти потому, что религиозный пыл, с которым к нему относилась интеллигенция, поостыл, отчасти в связи с тем, что вездесущая полицейская агентура сделала практически невозможной подпольную работу. Служба безопасности пронизывала социал-демократические организации сверху донизу, и члены их выявлялись и арестовывались еще до начала всяких активных действий. Меньшевики реагировали на ситуацию, выработав новую стратегию, основной упор в которой приходился на легальную деятельность: публикации, создание профсоюзов, работу в Думе. Некоторые меньшевики думали о том, чтобы превратить социал-демократическую партию в Рабочую партию. Они не хотели окончательно отказываться от нелегальной деятельности, но программа их склонялась в сторону демократического тред-юнионизма, при котором партия не столько руководила рабочими, сколько служила их интересам. Ленин предал анафеме меньшевиков, поддерживавших эту стратегию, и назвал их «ликвидаторами» на том основании, что их предполагаемой целью была ликвидация партии и отказ от революции. В его устах «ликвидатор» звучало как «контрреволюционер».

Самому Ленину, однако, тоже приходилось приспосабливаться к трудностям, создаваемым полицейской слежкой. Он справился с этой задачей,

используя полицейских агентов, проникших в его организацию, для собственных целей. Несмотря на отсутствие источников, можно полагать, что именно этим объясняется загадочная история с агентом-провокатором Романом Малиновским, который некоторое время (в 1912–1914 гг.) представлял Ленина в России, а затем являлся председателем большевистской фракции в Думе. Этот случай полицейской провокации, по мнению В.Л.Бурцева, превосходит даже более знаменитый случай Евно Азефа[106].

Ленин призывал своих соратников бойкотировать выборы в Первую Думу, меньшевики же оставили решение на усмотрение местных организаций, большинство которых, за исключением грузинской, тоже выступили за бойкот. В результате этого Ленин тут же переменил решение и в 1907 году, несмотря на протесты большинства своих соратников призвал большевиков принять участие в выборах. Он хотел использовать Думу как форум для обнародования своей программы. И Р.В.Малиновский сослужил ему в этом большую службу.

Поляк по происхождению, кузнец по профессии и вор по призванию, Роман Малиновский к этому времени отбыл три тюремных срока за воровство и кражи со взломом. Движимый, по его собственному признанию, политическим честолюбием, которое было невозможно удовлетворить из-за наличия судимостей, вечно нуждающийся в деньгах, он предложил свои услуги полицейскому управлению. По требованию последнего он вышел из фракции меньшевиков и в январе 1912 года прибыл на пражскую конференцию большевиков. Ленин, на которого он произвел самое благоприятное впечатление, описывал его как «парня хорошего» и

«выдающегося рабочего лидера»[107]. Он направил новобранца в российское отделение большевистского Центрального Комитета с правом набирать новых членов по собственному усмотрению. По возвращении в Россию Малиновский воспользовался этим правом, чтобы кооптировать в ЦК Сталина[108].

По приказу министра внутренних дел уголовное досье Малиновского было изъято, что позволило ему баллотироваться в Думу. Избранный туда не без помощи полиции, он использовал свой парламентский иммунитет, чтобы произносить гневные речи против «буржуазии» и социалистов-«оппортунистов»: все эти речи предварительно просматривались, а некоторые и подготавливались службой безопасности. Несмотря на то, что в социалистических кругах высказывались сомнения в лояльности Малиновского, Ленин безоговорочно его поддерживал. Одной из величайших услуг, оказанных Малиновским Ленину, была помощь в основании — с разрешения полиции и, по всей видимости, при ее материальном содействии — большевистской газеты «Правда». Малиновский при этом заведовал газетной кассой, а редактором стал другой агент охранки, М.Е.Черномазов. Партийный орган, выходивший под покровительством полиции, дал большевикам гораздо лучшую, чем была у меньшевиков, возможность распространять свои взгляды на территории России. Для соблюдения пристойности власти иногда облагали «Правду» штрафом, но газета продолжала выходить, публикуя речи Малиновского и других большевиков, произнесенные в Думе, а также другие большевистские материалы: один Ленин опубликовал в ней за 1912–1914 годы 265 статей. С помощью Малиновского полиция основала в Москве другой

большевистский ежедневный печатный орган — «Наш путь»[109].

Занимая указанные должности, Малиновский регулярно выдавал полиции секреты партии. Как мы увидим, Ленин верил, что больше выигрывает, чем проигрывает, идя на такую сделку.

Карьера Малиновского в качестве двойного агента неожиданно прервалась в мае 1914 года, когда заместителем министра внутренних дел был назначен В.Ф.Джунковский. Профессиональный военный, не имевший опыта контрразведывательной деятельности, Джунковский вознамерился «очистить» жандармский корпус и положить конец его политической активности: он был бескомпромиссным противником любых форм полицейской провокации. [Падение. Т. 5. С. 69; Т. 1. С. 315. Он упразднил систему полицейского надзора в армии и средней школе на том основании, что нехорошо было военным и учащимся доносить друг на друга. С.П.Белецкий, директор департамента полиции и непосредственный начальник Малиновского, считал, что эти меры расстроили работу полицейской контрразведки (там же. Т. 1.С. 70, 71, 75). Белецкий был расстрелян ЧК в сентябре 1918 г., в первую волну красного террора.]. Когда, вступив в должность, он узнал, что Малиновский является агентом полиции и что, таким образом, полиция через него проникла в Думу, Джунковский испугался крупного политического скандала и конфиденциально сообщил Родзянко, председателю Думы, об известном ему факте. [Было высказано предположение, что Джунковский избавился от Малиновского, поскольку опасался действия, которое зажигательные речи последнего в Думе могли произвести на рабочих в то время, как в России

проходила новая волна промышленных забастовок. См.: Elwood P.C. Roman Malinovsky. Newtonville, Mass., 1977. P. 41–43]. На Малиновского было оказано давление, в результате чего он вышел из Думы и, получив 6000 рублей, свое жалованье за год, выехал за границу.

Внезапное и необоснованное исчезновение лидера большевиков из Думы должно было положить конец политической карьере Малиновского, однако Ленин встал на его защиту, ограждая от нападок меньшевиков и осыпая, бранью «ликвидаторов». [В 1915 г. Малиновский вступил добровольцем в армию и воевал в составе русского корпуса на территории Франции. Получив ранение и попав в плен к немцам, он вел пронемецкую агитацию среди русских военнопленных. Именно тогда он вступил в постоянную переписку с Лениным (см.: Падение. Т. 7. С. 374; Elwood. Malinovsky. P. 59; Аронсон Г. Россия накануне революции. Нью-Йорк, 1962. С. 52–54]. Можно допустить, что в данном случае личная привязанность Ленина к ценному сотруднику на время лишила его способности рассуждать, но это кажется маловероятным. На суде, состоявшемся в 1918 году, Малиновский заявил, что информировал Ленина о своем уголовном прошлом; поскольку ни один гражданин России не смог бы при наличии такого прошлого баллотироваться на выборах в Думу, сам факт, что министерство внутренних дел не использовало информацию, которой располагало, чтобы помешать Малиновскому пройти в Думу, должен был навести Ленина на мысль о его связях с полицией. В.Л.Бурцев, основной русский специалист по проблеме полицейских провокаций, поговорив с бывшим чиновником царской полиции, дававшим показания на суде над Малиновским, пришел в 1918 году к выводу, что, «судя по словам

Малиновского, Ленин понял и никак не мог не понять, что его [Малиновского] прошлое не просто было связано с прямой уголовщиной, но что сам он был в руках жандармерии — и провокатор»[110]. Причина, по которой Ленин мог захотеть оставить полицейского осведомителя в своей организации, была сформулирована генералом А.И.Спиридовичем, высокопоставленным чиновником царского охранного отделения: «История русского революционного движения знает несколько крупных примеров, когда руководители революционных организаций разрешали некоторым из своих членов вступать в сношения с политической полицией в качестве секретных осведомителей, в надежде, что, давая полиции кое-какие несущественные сведения, эти партийные шпионы выведают у нее гораздо больше полезных сведений для партии»[111]. Давая показания комиссии Временного правительства в июне 1917 года, Ленин намекал, что он, возможно, использовал Малиновского именно таким образом: «Я не верил в провокаторство здесь и потому, что, будь Малиновский провокатор, от этого охранка не выиграла бы так, как выиграла наша партия от «Правды» и всего легального аппарата. Ясно, что, проводя провокатора в Думу, устраняя для этого соперников большевизма и т. п., охранка руководилась грубым представлением о большевизме, я бы сказал, лубочной карикатуры на него; большевики не будут устраивать вооруженное восстание. Чтобы иметь в руках все нити, стоило, с точки зрения охранки, пойти на все, чтобы провести Малиновского в Думу и ЦК, а когда охранка добилась и того и другого, то оказалось, что Малиновский превратился в одно из звеньев длинной и прочной цепи, связывавшей нашу нелегальную базу с «Правдой». [Вестник Временного

правительства. 1917. 16 июня. № 81(127). С. 3. Показания Ленина по делу Малиновского не опубликованы в собраниях его сочинений.]. Хотя Ленин и отрицает здесь, что знал о связях Малиновского с полицией, все рассуждение звучит как попытка извиниться за привлечение полицейского агента к достижению партийных целей, то есть за максимальное использование легальной работы для обеспечения себе поддержки масс в то время, когда никакие другие средства не могли быть употреблены. [Татьяна Алексинская вспоминает, что, когда был поднят вопрос о возможном присутствии в Центральном Комитете полицейского осведомителя, Зиновьев сказал: «В хорошем хозяйстве даже мусор пригодится» (La Grande Revue. V. 27.1923. Sept. N. 9. P. 459).]. Когда в 1918 году Малиновский предстал перед судом, обвинитель от большевиков оказывал давление на свидетелей из числа царских полицейских, добиваясь подтверждения своей версии, будто Малиновский принес больше вреда царским властям, чем большевикам[112]. Малиновский по собственному желанию вернулся в советскую Россию в ноябре 1918 года, когда красный террор был в самом разгаре, и потребовал свидания с Лениным. Это сильный аргумент в пользу того, что он ожидал реабилитации. Но у Ленина больше не было в нем нужды, и, явившись в суд, он не дал показаний. Малиновский был казнен.

Малиновский оказал Ленину много ценных услуг. О его участии в основании «Правды» и «Нашего пути» уже сказано. Кроме того, выступая в Думе, он зачитывал тексты, написанные Лениным, Зиновьевым и другими большевистскими лидерами (перед этим, однако, он относил тексты С.Е.Виссарионову, заместителю директора департамента полиции, для правки)[113]. Таким

образом большевистские обращения звучали на всю страну. Но главной заслугой Малиновского было то, что он прилежно предотвращал все попытки объединения ленинских приверженцев в России с меньшевиками. Во время созыва Четвертой думы обнаружилось, что семь меньшевистских и шесть большевистских депутатов действовали более согласованно, чем хотелось бы Ленину или полиции: они вели себя как единая социал-демократическая делегация, что обычно случалось в отсутствие Ленина, когда некому было сеять раздор. С точки зрения полиции, было делом высочайшей важности развести их в разные стороны и, следовательно, ослабить; по словам Белецкого, «Малиновскому были даны указания, чтобы он, по возможности, способствовал разделению партий»[114]. В этом случае интересы Ленина совпадали с интересами полиции. [Помимо Бурцева, уверенность в том, что Ленин был осведомлен о связях Малиновского с полицией, высказывает S.Possony в его кн.: Lenin: The Compulsive Revolutionary. Chicago, 1964. P. 142–143. Биограф Малиновского отвергает эту гипотезу на том основании, что от Малиновского большевики узнали гораздо меньше о полиции, чем полиция узнала о большевиках (Elwood. Malinovsky. P. 65–66). Но он не принимает во внимание ни рассуждений Ленина, ни заявления Спиридовича об использовании двойных агентов, которое мы приводим выше.].

Полное отсутствие щепетильности и диктаторские методы, к которым прибегал Ленин, отвращали самых последовательных его сторонников. Устав от скандалов и интриг, поддавшись преобладавшему в интеллигентской среде того времени тону спиритуализма, некоторые из видных большевиков стали искать утешения в религии и

идеалистической философии: в 1909 году доминирующей тенденцией в их рядах стало богостроительство. Движение это, возглавлявшееся А.А.Богдановым, будущим главой Пролеткульта, и А.В.Луначарским, будущим наркомом просвещения, было своеобразной социалистической версией богоискательства, популярного в среде нерадикальной интеллигенции. В работе «Религия и социализм» Луначарский представляет социализм как вид религиозного опыта, «религию труда». В 1909 году сторонники этой идеологии основали школу на острове Капри. Ленин, отнесшийся к новому движению с нескрываемым отвращением, основал две контршколы, одну в Болонье, другую в Лонжюмо, неподалеку от Парижа. Последняя, открывшаяся в 1911 году, стала чем-то вроде университета, в котором рабочие, присланные из России, получали систематическое образование по общественным наукам и политике; в преподавательскую группу входили Ленин и два его самых лояльных соратника, Зиновьев и Каменев. Неизбежный полицейский информатор, на этот раз наряженный студентом, докладывал, что обучение в Лонжюмо «свелось к неосмысленному запоминанию слушателями школы отдельных отрывков зачитанных им лекций, носивших в произношении своем форму и характер неоспоримых догм и совершенно не располагавших к критическому обследованию и разумно-сознательному их усвоению»[115].

К началу 1912 года, после того как Мартов предал огласке нечистоплотные финансовые операции Ленина и то, как незаконно полученные средства использовались для захвата власти, обе фракции оставили всякие попытки быть единой партией. Меньшевики сочли, что

действия большевиков компрометируют социал-демократическое движение. На собрании Международного социалистического бюро в 1912 году Плеханов открыто обвинил Ленина в воровстве. Меньшевики осуждали Ленина как «политического шарлатана» (Мартов) и никогда не скрывали отвращения, какое им внушала способность Ленина легко прибегать к преступлению и клевете. Сам Ленин признавал, что намеренно вводил рабочих в заблуждение относительно меньшевиков. Несмотря на это не было предпринято ни единой попытки исключить его из партии; в то же время Струве, единственным грехом которого было сочувствие «ревизионизму» Эдуарда Бернштейна, был исключен в один момент. Неудивительно, что Ленин не воспринимал их всерьез.

Окончательный разрыв между двумя фракциями произошел в январе 1912 года на ленинской пражской конференции, после чего они никогда уже не собирались вместе. Ленин сам определил состав центрального органа, — в него вошли только прямые большевики, — и присвоил ему название «Центральный Комитет». Наверху разрыв был полным, однако рядовые меньшевики и большевики на территории России продолжали относиться друг к другу по-товарищески и чаще работали сообща, чем порознь.

* * *

Два года, предшествовавшие первой мировой войне, Ленин провел в Кракове, откуда ему легко было устанавливать контакты с соратниками в России. Либо непосредственно перед, либо сразу после начала войны он наладил отношения с австрийским правительственным

агентством, «Союзом за освобождение Украины», которое в благодарность за поддержку украинских национальных настроений дало ему денежную дотацию и поддержало его революционную деятельность[116]. Союз этот, получавший субсидии как из Берлина, так и из Вены, действовал под присмотром австрийского министерства иностранных дел. Одним из активно действующих его членов был Парвус, который в 1917 году сыграл решающую роль в операции по обеспечению Ленину проезда через Германию в революционную Россию. В отчетном докладе Союза, датированном 16 декабря 1914 года и составленном в Вене, имеется, в частности, следующее сообщение: «Союз предоставил помощь фракции большинства Российской социал-демократической партии в виде денег и содействия в установлении связей с Россией. Лидер этой фракции, Ленин, не враждебен к требованиям Украины, что следует из прочитанной им лекции, текст которой представлен в "Ukrainische Nachrichten"»[117].

Эти связи оказались крайне полезными, когда Ленина и Г.Е.Зиновьева, как подданных враждебного государства, арестовала австрийская полиция (26 июля (8 августа) 1914 г.) по подозрению в шпионаже. За них немедленно вступились влиятельные лица из австрийских и польских социалистических кругов, в числе прочих — Яков Ганецкий (известный также как Фюрстенберг), служащий предприятия Парвуса и близкий соратник Ленина. Пятью днями позже губернатор Галиции получил во Львове телеграмму из Вены, в которой ему рекомендовали не задерживать Ленина, поскольку он был «врагом царизма»[118]. 6(19) августа военный прокурор Кракова телеграфировал в суд города Новы Тарг, где Ленин содержался под арестом,

приказывая немедленно его освободить[119]. 19 августа (1 сентября) Ленин, Крупская и ее мать выехали по пропуску, полученному от австрийской полиции, из Вены в Швейцарию на австрийском военном почтовом поезде — необычном для простых подданных враждебной страны виде транспорта[120]. Зиновьев с женой последовали за ними через две недели. Обстоятельства освобождения Ленина и Зиновьева из австрийской тюрьмы и отъезда Ленина из Австрии свидетельствуют о том, что Вена считала их ценным приобретением.

В Швейцарии Ленин немедленно занялся анализом краха Социалистического интернационала и разработкой его антивоенной платформы.

То, что интересы рабочего класса не знают государственных границ и что пролетариат ни при каких обстоятельствах не должен проливать кровь в борьбе капиталистов за рынки сбыта, всегда было основным принципом международного социалистического движения. Конгресс Социалистического интернационала в Штутгарте, собравшийся в августе 1907 года на пике международного кризиса, уделил большое внимание вопросам милитаризма и угрозы войны. В результате оформились две точки зрения на войну — одну выразил Август Бебель, и она состояла в том, чтобы противостоять войне, а если она начнется, бороться за ее «скорейшее прекращение». Вторую представляли три делегата от России — Ленин, Мартов и Роза Люксембург, которые, опираясь на опыт 1905 года в России, призывали социалистов использовать начало войны в своих интересах и провоцировать международную гражданскую войну[121]. Под давлением последних конгресс принял резолюцию, что, в случае начала

военных действий, рабочим и их парламентским представителям следует «бороться за их скорейшее прекращение и прилагать все усилия к тому, чтобы использовать экономический и политический кризис военного времени, чтобы поднять массы и приблизить свержение господства капиталистов»[122]. Это положение было не чем иным, как оформленным на бумаге соглашением между правым большинством и левым меньшинством. Но Ленина такой компромисс не удовлетворил. Используя все ту же тактику, которая была им отработана на русском социал-демократическом движении, он вознамерился отколоть недовольных компромиссом и желающих использовать будущую войну в революционных целях левых от более умеренного большинства Социалистического интернационала. Он выступал против пацифистской политики, направленной на предотвращение военных действий, которой придерживались большинство европейских социалистов: Ленин страстно желал начала войны, ибо это давало уникальную возможность начать революцию. Поскольку такая позиция была непопулярна и для социалиста неприемлема, Ленин избегал говорить о ней открыто. Но иногда он проговаривался, как, например, в письме к Горькому, написанном в январе 1913 года во время очередного международного кризиса: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие»[123].

Как только началась война, парламентарии-социалисты и Четверного согласия, и Четверного союза изменили своим обетам. Если летом 1914 года они страстно выступали за мир и выводили

массы демонстрантов на улицы в знак протеста против надвигающейся войны, то с началом военных действий присмирели и стали голосовать за военные бюджеты. Особенно болезненным оказалось предательство немецких социал-демократов: у них была самая сильная партийная организация в Европе и они составляли костяк Второго интернационала; то, что их парламентская группа единогласно проголосовала за военные кредиты, оказалось оглушительным и почти смертельным ударом по Социалистическому интернационалу.

Русские социалисты отнеслись более серьезно к своим обязательствам перед Интернационалом, так как, в отличие от западных товарищей, не пустили еще глубоких корней в своей родной стране, не испытывали патриотических чувств и знали к тому же, что у них нет другого способа захватить власть, чем воспользовавшись «экономическим и политическим кризисом, созданным войной», как о том говорилось в резолюции Штутгартской конференции. За исключением таких патриархов социал-демократического движения, как Плеханов и Л.Г.Дейч, а также ряда социалистов-революционеров, в которых бряцание оружием вызвало патриотический подъем (Савинков, Бурцев), большинство светил русского социализма остались верными антивоенным резолюциям Интернационала. Депутаты от социал-демократов и трудовиков продемонстрировали это, когда единогласно проголосовали в Четвертой государственной думе против военных кредитов, — никто из европейских парламентариев, кроме сербов, так не поступил.

Немедленно по приезде в Швейцарию Ленин набросал программное заявление, которое называлось «Задачи революционной социал-демократии в

европейской войне»[124]. Обвинив лидеров немецкой, французской и бельгийской социал-демократии в предательстве, он предложил бескомпромиссно радикальную платформу. Статья шестая «Задач» содержала следующее положение: «С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск, угнетающих Польшу, Украину и целый ряд народов России и разжигающих национальную вражду для усиления гнета великорусов над другими национальностями и для укрепления реакционного и варварского правительства царской монархии». [Ленин. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 6. То, что Ленин придает столько значения «угнетению» Украины Россией, может объясняться, хотя бы частично, его финансовой зависимостью от австрийского правительства. Он не требовал освобождения Украины из-под австрийского владычества.]. Ни один из европейских социалистов не высказывал публичного пожелания, чтобы его страна потерпела поражение в войне. Выступление Ленина в пользу поражения России в войне неизбежно навлекло на него обвинение в том, что он агент немецкого правительства. [Именно в этом его обвинял жандармский генерал Спиридович, обычно очень хорошо осведомленный. Он заявлял, не приводя доказательств, что в июне и июле 1914 года Ленин дважды ездил в Берлин для выработки совместно с немцами плана подрывной деятельности в тылах русской армии, за осуществление которого ему должны были заплатить 70 млн. марок (Спиридович. История большевизма. С. 263–265)].

Практические выводы ленинского заявления о войне содержались в седьмой, заключительной статье тезисов.

В ней он призывал к усиленной агитации и пропаганде в среде военных и гражданских служащих воюющих сторон с целью развязывания гражданской войны против «реакционных и буржуазных правительств всех стран». Тиражи этого текста были тайно ввезены в Россию, что дало повод царскому правительству закрыть в ноябре «Правду» и арестовать большевистскую фракцию в Думе. Одним из адвокатов, защищавших большевиков по этому делу, был А.Ф.Керенский. Обвинение в государственной измене, которое могло стоить большевикам жизни, им предъявлено не было, их приговорили к ссылке, что практически вывело партию из игры вплоть до февральской революции.

Основой упор в своей программе Ленин делал на то, что социалисты должны были не добиваться прекращения военных действий, но использовать их в своих интересах: «Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война»[125]. Так он писал еще в октябре 1914 года и оставался верен этой формулировке до самого конца войны. Конечно, для него, жившего в нейтральной Швейцарии, это было куда безопаснее, чем для его соратников на территории воюющей России.

Немцы, зная о военной программе лидера большевиков, очень хотели использовать ее в своих интересах: призыв Ленина к поражению царской армии был равносилен пожеланию победы Германии. Основным связующим звеном между Лениным и правительством Германии был Парвус — один из вождей Санкт-Петербургского Совета в 1905 году, создатель теории «непрерывной революции», а в последнее время еще и сотрудник «Союза освобождения Украины». Один

из самых выдающихся умов русской революции, Парвус одновременно являлся и одним из самых нечистоплотных ее деятелей. После краха революции 1905 года он пришел к выводу, что революция в России может победить только с помощью немецкой армии: самостоятельно русские неспособны были, по его мнению, справиться с царизмом. [Позже он полагал, что результаты его оправдали. В 1918 году он писал о революции 1917 года, что «прусские пушки при этом сыграли большую роль, чем большевистские листки. Думаю, в частности, что русская эмиграция до сих пор еще мыкалась бы за границей и жарилась в собственном соку, если бы немецкие полки не продвинулись до Вислы» (Извне. Стокгольм. 1918. 22 янв. № 1. С. 2)].

Обзаведясь при помощи своих политических связей значительным состоянием, Парвус предоставил себя в распоряжение правительства Германии. В начале войны он жил в Константинополе. Там он обратился к послу Германии и обрисовал ему в общих чертах возможность использования русских революционеров в интересах Германии. Поскольку, говорил он, русские радикалы смогут достичь своих целей только при условии падения царизма и развала Российской империи и поскольку подобное положение дел устраивало бы также и Германию: «интересы немецкого правительства совпадают с интересами русских революционеров». Парвус просил денег и санкции на вступление в контакт с русской левой эмиграцией[126]. С благословения Берлина в мае 1915 года он установил в Цюрихе связь с Лениным, положение которого в среде левой русской политической эмиграции было ему хорошо известно. Парвус был уверен, что стоит ему завоевать Ленина — и вся русская левая антивоенная группировка последует за ним[127].

Первая попытка закончилась неудачей. Дело было не в том, что Ленину не хотелось вступать в сговор с немцами или что он считал неприличным для себя брать у них деньги, — он не хотел вступать в переговоры с Парвусом — предателем дела социализма, ренегатом и «социалистическим шовинистом». Биографы Парвуса считают, что причина заключалась не столько в личной неприязни Ленина к Парвусу, сколько в страхе, который Ленин мог испытывать при мысли, что Парвус, если с ним заключить соглашение, может «прибрать к рукам русские социалистические организации и, при его финансовых возможностях и умственных способностях, обойти других лидеров партии»[128]. Сам Ленин никогда об этой встрече не упоминал.

Отвергнув заигрывания Парвуса, Ленин тем не менее установил политические и денежные отношения с немецким правительством через эстонца Александра Кескулу (Keskula). [О нем см.: Futrell M//St. Antony's Papers. № 3. Lnd., 1962. P. 23–52. Автору представилась редкая возможность говорить с этим эстонцем, но, к сожалению, он отнесся к его рассказам на редкость некритично.]. В 1905–1907 годы Кескула был самым активным большевиком в Эстонии. Затем он превратился в страстного эстонского националиста, боролся за независимость своей страны. Придя, как и Парвус, к выводу, что свержение царизма в России не может произойти без помощи немецкого оружия, он предложил свои услуги немецкому правительству и стал работать на немецкую разведку. Кескула обосновался в Швейцарии и Швеции и оттуда, получая немецкие субсидии, собирал сведения о внутреннем положении в России и нелегально переправлял в нее большевистскую антивоенную литературу. С Лениным он познакомился в октябре 1914

года и заинтересовался им как врагом царского режима и возможным освободителем Эстонии. [Фотрелл (Soviet Affairs. С. 47) утверждает, что это была его единственная встреча с лидером большевиков, но нам это представляется маловероятным.]. Много лет спустя Кескула утверждал, что не давал денег большевикам непосредственно, но делал опосредованные взносы в их кассу и финансировал издательскую деятельность. Даже и в этом случае для обедневших большевиков это была бы существенная поддержка, но есть вероятность, что Кескула давал Ленину деньги и просто так.

В сентябре 1915 года Ленин представил Кескуле, видимо, по требованию последнего, любопытную программу, состоявшую из семи пунктов и касающуюся условий, на которых революционная Россия согласна была бы подписать мирный договор с Германией. Документ этот был обнаружен в архиве министерства иностранных дел Германии после окончания второй мировой войны. [Текст воспроизводится в телеграмме, отправленной немецким министром графом Ромбергом из Берна в Берлин канцлеру Бетман-Гольвегу 30 сентября 1915 г. (Hahlweg W. Lenins Rukkehr nach Russland, 1917. Leiden, 1957. S. 40–43)]. Сам факт составления подобного документа свидетельствует о том, что Ленин видел в Кескуле не только эстонского патриота, но и представителя правительства Германии. Помимо нескольких пунктов, касающихся внутренних проблем России (провозглашение республики, конфискация больших поместий, введение восьмичасового рабочего дня, автономия национальных меньшинств), в документе оговаривалась возможность подписания сепаратного мира с Германией при условии, что Германия откажется от аннексий и контрибуций (исключение могли

составлять буферные государства»). Там же Ленин выдвигал предложение о выводе русских войск с территории Турции и о начале военных действий против Индии. Безусловно, немецкое правительство помнило об этих предложениях, когда полтора года спустя позволило Ленину проехать через территорию Германии в Россию.

На средства, полученные из Берлина, Кескула организовал в Швеции издание работ Ленина и Бухарина, и большевистские курьеры перебрасывали их в Россию. (Одна из таких очередных субсидий была украдена большевистским агентом[129].) Ленин отвечал любезностью на любезность, пересылая Кескуле донесения своей агентуры из России о положении в стране, которым немцы, по понятным причинам, живо интересовались. В донесении от 8 мая 1916 года, представленном служащим генерального штаба Германии лицу, возглавлявшему в министерстве иностранных дел отдел подрывной деятельности на Востоке, сообщается: «В течение последних месяцев Кескула установил ряд новых связей с Россией… Он также наладил чрезвычайно ценный контакт с Лениным и передал нам содержание конфиденциальных донесений агентов Ленина из России о положении дел в стране. Кескуле, следовательно, и в будущем должны предоставляться все необходимые средства. Принимая во внимание крайне неблагоприятный обменный курс, считаем, что 20 000 марок в месяц будет совершенно достаточно». [Ганс Штайнвахс. Политический отдел. Генеральный штаб Германии. Министру Диего фон Берген. Министерство иностранных дел (Zeman. Germany. P. 40). Содержание документа наводит на мысль, что Кескула дезинформировал Футрелла, когда сообщил ему, что

получал эти донесения, проникнув в ленинскую шведскую группу (Futrell//Soviet Affairs. P. 24)].

За всю свою жизнь Ленин ни разу не упомянул об отношениях с Кескулой и Парвусом; это и понятно — они могли расцениваться только как государственная измена.

* * *

В сентябре 1915 года по инициативе итальянских социалистов в швейцарской деревне Циммервальд недалеко от Берна собралась тайная конференция Интернационала. Россия была представлена многочисленными делегациями от обеих фракций социал-демократической партии и партии эсеров во главе с их лидерами. Конференция быстро раскололась на две группировки — более умеренную, желавшую сохранить связи с теми социалистами, которые поддерживали войну, и левую, настаивавшую на немедленном разрыве с ними. Последнюю возглавлял Ленин, и в нее вошло восемь делегатов из 38. Большинство отвергло ленинский проект постановления о превращении «империалистической» войны в гражданскую, поскольку он был одновременно и невыполним и опасен: как отметил один из делегатов, все подписавшие подобное постановление по возвращении домой должны быть приговорены к смертной казни, в то время как Ленин в Швейцарии находился в полной безопасности.

Конференция также отвергла требование Ленина о немедленном разрыве с Интернациональной социалистической комиссией, находившейся под влиянием социалистов-патриотов. Нельзя, однако, утверждать, что Ленин потерпел полное поражение в

Циммервальде[130], поскольку в официальном манифесте конференции ему были сделаны некоторые уступки, осуждены социалисты, поддержавшие свои воюющие правительства, и сформулирован призыв к рабочим всего мира объединиться в «классовой борьбе»[131]. Циммервальдская левая выпустила собственное заявление, которое звучало более радикально, но не призывало, как того хотел Ленин, народы Европы к восстанию[132]. Разногласия между двумя группировками происходили в основном из их отношения к патриотизму — большинство европейских социалистов были пламенными патриотами, а большинство русских ими не были вовсе.

В продолжение Циммервальдской конференции в апреле 1916 года собралась конференция в Кинтале, в кантоне Берн. Конференция была созвана Интернациональной социалистической комиссией для определения отношения к войне, которая шла уже третий год. Участники Кинтальской конференции, представлявшие пацифистское крыло Интернационала, отказались поддержать циммервальскую левую, но на деле гораздо больше сблизились с ней, чем год назад. В резолюции «Отношение пролетариата к вопросу о мире» конференция, осудив капитализм за ведение войны, заявила, что ни «буржуазный, ни социалистический пацифизм» не может спасти мир от надвигающейся трагедии: «Если капиталистическое общество не может создать условия для долговременного мира, тогда такие условия создаст социализм <…> Борьба за долговременный мир может поэтому быть только борьбой за осуществление социализма»[133]. Из этого делался практический вывод, что «пролетариат должен требовать немедленного перемирия и мирных переговоров». Здесь,

как и прежде, нет призыва к восстанию и обращению оружия против буржуазии, но можно сказать, что подобная мысль не исключалась резолюцией и даже скрыто в ней присутствовала.

Ленин, как и в Циммервальде, выдвинул заявление левого меньшинства, которое заканчивалось призывом к пролетариату: «Сложите оружие, обратите его против общего врага! — капиталистических правительств». [Ленин. ПСС. Т. 19. С. 437. «Кому объективно выгоден призыв к миру? — писал в это время Ленин. — Конечно, не революционному пролетариату. Не идее использования войны для скорейшего краха капитализма». Процитировав эту мысль, Адам Улам замечает: «Он просмотрел то обстоятельство, что миллионам человеческих жизней также мог быть «выгоден» призыв к миру» (The Bolsheviks. N. Y., 1965. P. 306)]. Из сорока четырех присутствовавших на конференции делегатов под ленинским воззванием подписались двенадцать, причем Зиновьев взял на себя ответственность представлять в этом случае Латвию, а Радек — Голландию.

Заключительная резолюция Кинтальской конференции по вопросу о «Международном социалистическом бюро», проект которой был составлен Зиновьевым, вполне удовлетворяла требованиям левых в том, что осудила эту организацию, обвинила ее в «соучастии политике так называемой «защиты родины» и гражданского мира» и заявила, что «Интернационал как определенная политическая сила может оправиться от обморока только в той мере, в какой пролетариат способен освободить себя от всех видов империалистического и шовинистского влияния и вернуться на путь классовой борьбы и массовых военных

действий»[134]. Несмотря на то что идея Ленина о расколе в Интернационале снова не была поддержана, представитель правых С.Грумбах заявил после окончания конференции: «Ленин и его друзья играли важную роль в Циммервальде и решающую роль в Кинтале»[135]. И в самом деле, резолюции Кинтальской конференции заложили основу Третьего Интернационала, который был образован Лениным в 1919 году.

Своему успеху в Циммервальде и Кинтале в 1915–1916 годах и позднее в России в 1917 году Ленин был обязан тем, что ловил социалистов на слове и требовал, чтобы они поступали согласно их собственным заявлениям. Этим он завоевал поддержку немногочисленной, но преданной группы соратников в иностранных социалистических кругах. Что еще более важно, это парализовало его противников и не давало им объявить ему открытую войну, поскольку, заняв такую позицию, он как бы захватил моральные высоты социалистического движения. Лидеры Интернационала презирали Ленина за клевету и интриганство, но не могли осудить его, не осудив при этом самих себя. Эта тактика позволила Ленину постепенно оттеснять международное социалистическое движение влево, пока ему не удалось отделить от него собственную фракцию, что он уже проделал с русской социал-демократией.

Следует, однако, помнить, что годы войны были для Ленина и Крупской временем суровым и тяжелым, периодом бедности и изоляции от России. Они жили в районах, граничащих с трущобами, ели в обществе преступников и проституток, теряли старых друзей. Даже некоторые бывшие соратники начинали относиться к Ленину как к сумасшедшему, «политическому иезуиту»,

исчерпавшему себя человеку[136]. Однажды к Красину, когда-то близкому ленинскому соратнику, ведущему обеспеченную жизнь служащего военной промышленности, обратились с просьбой о помощи для Ленина; он вытащил из кармана две пятирублевые банкноты и сказал: «Право, Ленин не стоит того, чтобы его поддерживать. Это вредный тип, и никогда не знаешь, что, какая дикость взбредет ему в его татарскую башку, черт с ним!..»[137]

Единственным светлым моментом ленинской ссылки была его связь с Инессой Арманд, родившейся во Франции в семье артистов мюзик-холла, женой состоятельного русского. Начитавшись Чернышевского, она порвала с мужем и присоединилась к большевикам. С Лениным и его женой она познакомилась в Париже в 1910 году. Вскоре она при молчаливом согласии Крупской стала возлюбленной Ленина и верным его соратником. Бертрам Вольф видел в ней «преданную романтическую героиню», но Анжелика Балабанова, много раз встречавшаяся с Инессой, описывала ее как «идеального — абсолютно пассивного — исполнителя [ленинских] приказаний», «прототип идеального большевика, со способностью неуклонного, безусловного подчинения»[138]. Представляется, что она была единственным человеческим существом, с которым Ленин смог установить близкие личные отношения.

Хотя Ленин никогда не терял надежды на свершение общей европейской революции, реальные сроки отодвигались все дальше. Царское правительство успешно преодолело военный и политический кризис 1915 года и к 1916-му оказалось готово начать наступательную кампанию. Иногда получая от своего

агента в Петрограде, А.Г.Шляпникова, сведения об ухудшающемся положении в России и массовом росте недовольства в городах[139], Ленин не придавал этому большого значения, видимо, считая, что царское правительство способно справиться с этими трудностями. Обращаясь к собранию молодых социалистов в Цюрихе 9(22) января 1917 года, он говорил, что, хотя революция в Европе и неизбежна, «мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции»[140]. Эти слова были произнесены Лениным за восемь недель до падения царизма.

ГЛАВА 2

БОЛЬШЕВИКИ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ

Современность дала нам прекрасное средство заставить людей идти за нами: нужно убедить их, что, исполнив наш замысел, они поступят как деятельные, критичные, независимые и свободолюбивые существа; поступив же иначе, останутся пассивными и зависимыми. Каким же бараном нужно быть, чтобы безнадежно запутаться в этой сети.

Кеннет Майног

Несмотря на то что принято говорить о двух русских революциях 1917 года — февральской и октябрьской, — только первая из них вполне заслуживает названия революции. В феврале 1917 года Россия пережила настоящую революцию в том смысле, что восстание, положившее конец царизму, возникло стихийно, хотя и не без толчка со стороны, а образованное в результате него Временное правительство получило единодушную всенародную поддержку. Не так было в октябре 1917 года. События, приведшие к свержению Временного правительства, развивались не спонтанно, но стали

следствием заговора, задуманного и осуществленного хорошо организованной группой конспираторов. Заговорщикам потребовалось три года гражданской войны и массового террора, чтобы подчинить себе большинство населения. В октябре произошел классический государственный переворот, захват государственной власти меньшинством, проведенный в угоду демократическим условностям того времени, с видимостью поддержки и участия в нем большинства населения, но на деле без привлечения масс. Это привнесло в революционную деятельность методы, более пригодные для войны, чем для политики.

Большевистский переворот пережил две фазы. В течение первой, продолжавшейся с апреля по июль, Ленин пытался захватить власть в Петрограде с помощью уличных демонстраций, подкрепленных вооруженной силой. Его намерением было довести эти демонстрации, по примеру февральских восстаний, до массового мятежа, который передал бы власть сначала Советам, а затем, незамедлительно, его партии. Стратегия эта потерпела поражение: третья попытка, предпринятая в июле, чуть было не закончилась разгоном партии большевиков. К августу большевики пришли в себя и накопили достаточно сил, чтобы возобновить борьбу за власть, но на этот раз они использовали другую стратегию. Троцкий, принявший на себя руководство делами на то время, что Ленин скрывался от полиции в Финляндии, избегал уличных демонстраций. Чтобы замаскировать приготовления к большевистскому перевороту, он незаконно созвал непредставительный съезд Советов, в то время как специальные ударные части готовились к захвату стратегических центров. Номинально захват власти был осуществлен как

временная мера и от лица Советов, в действительности же постоянную власть получала партия большевиков.

* * *

Начало февральской революции застало Ленина в Цюрихе. Оторванный от родины с момента начала войны, он с головой ушел в швейцарскую социалистическую политику, привнося в нее чуждый ей дотоле дух нетерпимости и вздорность[1]. Дневниковые записи, сделанные им зимой 1916/1917 годов, свидетельствуют о маниакально активной, но не систематической деятельности: то он издавал полемические брошюры, то интриговал против отступников из числа швейцарских социал-демократов, то читал Маркса и Энгельса.

Новости из России дошли до Швейцарии с опозданием в несколько дней. О беспорядках, происходивших в Петрограде, Ленин узнал неделю спустя из репортажа в «Neue Zuricher Zeitung» от 2(15) марта. В репортаже, полученном из Берлина и помещенном на второй полосе, между донесениями с театра военных действий, сообщалось, что в русской столице произошла революция и что Дума арестовала царских министров и захватила власть[2].

Ленин решил немедленно вернуться в Россию, он упрекал себя в том, что не «рискнул» переехать в Скандинавию в 1915 году, когда это еще было возможно[3]. [Вероятно, он имел в виду предложение, сделанное ему А.Л.Парвусом во время их встречи в 1915 г.]. Но каким образом это сделать теперь? Единственный путь в Россию лежал через Швецию. Чтобы добраться до Швеции, ему следовало пробираться через союзные территории, то есть Францию, Англию и

Голландию, либо пересекать Германию. Ленин поручил Инессе Арманд выяснить со всеми возможными подробностями, какова была для него вероятность получить визу Великобритании, но возлагал на это мало надежд, поскольку англичане, имевшие сведения о его пораженческой программе, должны были в визе отказать. Затем ему пришел в голову фантастический план въезда в Стокгольм по подложному паспорту: он попросил своего агента в Швеции Фюрстенберга-Ганецкого найти шведа, документами которого он мог бы воспользоваться; им было выставлено условие, чтобы человек этот не только напоминал его внешне, но, поскольку Ленин не знал шведского языка, был бы еще и глухонемым[4]. Ни один из этих планов, конечно же, не осуществился. Поэтому Ленин ухватился за идею, высказанную Л.Мартовым в Париже группе эмигрантов-социалистов 6(19) марта того же года: просить немецкое правительство через швейцарского посредника о разрешении на транзитное пересечение территории Германии для въезда в Швецию в обмен на немецких или австрийских интернированных лиц[5].

Неистовствуя в Цюрихе, по словам Троцкого, как дикий зверь в клетке, Ленин тем не менее не упускал из виду политическую ситуацию дома. Ему было важно, чтобы его соратники в России придерживались правильного политического курса до тех пор, пока он сам не появится на сцене. Особенно его волновало, как бы они не последовали «оппортунистической» тактике меньшевиков и эсеров и не поддержали «буржуазное» думское правительство. В телеграмме, отправленной 6(19) марта в Петроград через Стокгольм, он обрисовал свою тактику: «Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; Керенского

особенно подозреваем; вооружение пролетариата — единственная гарантия; немедленные выборы в Петроградскую думу; никакого сближения с другими партиями»[6].

К тому моменту, когда Ленин телеграфировал своим соратникам эти распоряжения, Временное правительство было у власти в стране всего неделю и едва ли имело уже возможность обнаружить свое политическое лицо. Как бы то ни было, находясь далеко от места событий, получая сведения о них из вторых и даже третьих рук через западные телеграфные агентства, Ленин не мог основательно судить ни о намерениях, ни о действиях нового правительства. То, что он настаивал на «полном недоверии» и отказе в поддержке правительству, не могло, следовательно, быть результатом неодобрения проводимой им политики, — скорее в этом нашло отражение заведомое решение отстранить его от власти. Требование не сближаться с другими партиями свидетельствовало о настойчивом желании заполнить образующийся вакуум власти исключительно партией большевиков. Приведенный краткий документ говорит о том, что всего через четыре дня после получения известия о февральской революции Ленин уже замышлял большевистский государственный переворот. Его приказ «вооружать пролетариат» позволяет думать, что он планировал этот переворот как вооруженное восстание.

В марте 1917 года большевистская партия вряд ли могла осуществить этот грандиозный план. Полицейские преследования и аресты в продолжение войны, достигшие кульминации 26 февраля 1917 года, когда самая главная партийная группа, Петроградский комитет, была арестована, обезглавили ее аппарат[7]: все вожаки

находились либо в тюрьме, либо в ссылке. В донесении Ленину в начале декабря 1916 года Шляпников описывает деятельность большевиков на фабриках и в гарнизонах, проходившую под лозунгами «Долой войну» и «Долой правительство» в течение нескольких предшествующих месяцев; при этом он вынужден признать, что в рядах большевиков множество» полицейских информаторов и любая нелегальная партийная деятельность просто невозможна[8]. Позднейшие заверения большевиков, что это они организовали и вдохновили февральскую революцию, являются поэтому абсолютно безосновательными. Большевики в этом смысле сначала плелись в хвосте у стихийных демонстрантов, а затем — у меньшевиков и меньшевистских Советов. Число их сторонников в восставших военных гарнизонах было близко к нулю, а в среде промышленных рабочих того времени они имели меньше сочувствующих, чем меньшевики и эсеры. Во всех февральских событиях деятельность большевиков сводилась к выпуску листовок и манифестов; в крайнем случае их привлекали к изготовлению знамен, которые несли революционные солдаты и рабочие на демонстрациях 25–28 февраля.

Большевики, однако, там, где не могли взять числом, брали организаторским талантом. 2 марта Петроградский партийный комитет, только что выпущенный из тюрьмы, образовал бюро, состоявшее из трех человек: А.Г.Шляпникова, В.М.Молотова и П.А.Залуцкого[9]. Три дня спустя это бюро осуществило под редакцией Молотова первый выпуск возрожденного органа партии — газеты «Правда». 10 марта был учрежден Военный комитет (позднее переименованный в Военную организацию) под управлением

Н.И.Подвойского и В.И.Невского для ведения агитации и пропаганды в войсках Петроградского гарнизона. Для своей штаб-квартиры большевики выбрали роскошный особняк в стиле модерн, принадлежавший балерине М.Ф.Кшесинской. При содействиидру-жественных войск здание было реквизировано, несмотря на протесты владелицы. В нем до июля 1917 года официально располагались Центральный Комитет партии большевиков, Петроградский комитет и Военная организация.

Будучи оторваны от своего руководства, большевики, находившиеся в России в марте 1917 года, проводили курс, практически не отличавшийся от курса меньшевиков или эсеров. Резолюции Центрального Комитета, принятые в этом месяце, называли Временное правительство агентом «крупной буржуазии» и «землевладельцев», но не призывали оказывать ему сопротивление. 3 марта Петроградский комитет, самая влиятельная большевистская организация, встал на позиции меньшевиков и эсеров, призывая к поддержке правительства, «постольку-поскольку» оно осуществляло интересы «масс»[10]. И в теории и на практике большевистские вожди в Петрограде проводили линию, диаметрально противоположную ленинской. Вряд ли поэтому им доставили удовольствие советы, содержавшиеся в пришедшей с опозданием на неделю ленинской телеграмме от 6 марта: в опубликованных протоколах заседаний Петроградского комитета не воспроизводятся дискуссии, возникшие при ее получении.

Променьшевистская ориентация Центрального Комитета еще более усилилась с прибытием из ссылки в Петроград трех его членов — Л.Б.Каменева, Сталина и

М.К.Муранова, которые, по праву старшинства, взяли на себя руководство партией и редактирование «Правды». Все трое в своих статьях и публичных выступлениях отвергали позицию, занятую Лениным в Циммервальде и Кинтале: вместо того чтобы превращать войну народов в войну гражданскую, они призывали социалистов агитировать за немедленное открытие мирных переговоров[11]. 15 или 16 марта большевики Петрограда созвали партийную конференцию; ни протоколы ее, ни резолюции не были опубликованы, и это заставляет предположить, что многие ее участники приняли антиленинскую позицию по ключевым вопросам об отношении к правительству и войне[12]. Известно, однако, заявление Каменева на закрытом заседании Петроградского комитета 18 марта о том, что, хотя Временное правительство безусловно «контрреволюционно» и его следует свергнуть, спешить с этим не годится: «Не важно — взять власть, важно — удержать»[13]. В таком же духе Каменев выступал и на Всероссийском совещании Советов в конце марта[14]. В этот период большевики всерьез задумывались о воссоединении с меньшевиками: Петроградский комитет провозгласил 21 марта, что считает «и возможным и желательным» объединение с теми меньшевиками, которые приняли Циммервальдскую и Кинтальскую платформы. [Куделли Н.Ф. Первый легальный Петербургский комитет большевиков. М.; Л., 1927. С. 66; Шляпников А.Г. Семнадцатый год. М.; Л., 1925. С. 179–188. Шляпников заявляет, что большевики Петрограда были введены в заблуждение политической линией, которую им навязывали Каменев, Сталин и Муранов, но, памятуя, какой линии они сами придерживались до появления трех старейших

большевиков в Петрограде, можно сделать вывод, что причиной смятения было скорее всего нежелание играть вторую скрипку.].

Принимая во внимание преобладавшие настроения, можно понять, недоумение и недоверие, с каким восприняли петроградские большевики появление А.М.Коллонтай с первым и вторым ленинскими «Письмами издалека». В них Ленин разъяснял указания, данные в телеграмме от 6(19) марта, — никакой поддержки Временному правительству, вооружение рабочих[15]. Программа показалась совершенно фантастической, выдуманной в отрыве от ситуации в России. После нескольких дней колебаний первое из «Писем издалека» было опубликовано в «Правде», но с изъятием тех мест, в которых Ленин нападает на Временное правительство[16]. Вторую и последующие части печатать не стали.

На проходившей в Петрограде между 28 марта и 4 апреля Всероссийской конференции большевиков Сталин выдвинул, а делегаты поддержали, предложение взять «под контроль» Временное правительство и сотрудничать с другими «прогрессивными силами» в целях борьбы с «контрреволюцией» и «расширения» революционного движения. [Стенограммы этой конференции, никогда не публиковавшиеся в России, можно найти в кн.: Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификации. Берлин, 1932. С. 225–290. Цитированная нами резолюция находится на с. 289–290.]. «Небольшевистское» поведение большевиков в период, когда они были предоставлены сами себе, и быстрая перемена, происшедшая в них с приездом Ленина, наглядно показывают, что их действия не

основывались на принципах, которые члены партии могли, усвоив, применять на практике, а направлялись в каждом случае волей их вождя. Иначе говоря, большевиков связывало воедино не то, во что они верили, но преклонение перед тем, за кем они шли.

* * *

Немецкое правительство имело свои виды на русских радикалов. Война зашла в тупик, и немцы поняли наконец, что единственный шанс ее выиграть — это разобщить вражеский союз, предпочтительно выведя из войны Россию. Осенью 1916 года размышления кайзера вылились в следующие строки: «Со строго военной точки зрения, очень важно отделить одного из членов Антанты, заключив сепаратный мир, с тем, чтобы обрушить всю нашу мощь на остальных... Мы можем строить наши военные планы, следовательно, только в той мере, в какой внутренняя борьба в России оказывает влияние на подписание мира с нами»[17]. Потерпев поражение в попытке вывести Россию из войны в 1915 году военными средствами, Германия предпринимала теперь политические шаги, обращая себе на пользу межпартийную борьбу в революционной России. Временное правительство всецело и преданно поддерживало союзников: его лояльность наводила некоторых лиц в Германии на мысль, что февральская революция была организована Великобританией[18]. Официальные заявления министра иностранных дел П.Н.Милюкова о задачах России в войне давали Четверному союзу мало оснований для оптимизма. Единственная возможность отделить Россию от Четверного согласия состояла поэтому в поддержке

радикальных экстремистов, которые выступали против «империалистической» войны и желали ее превращения в гражданскую, — иными словами, надеяться можно было только на Циммервальдско-Кинтальских левых, признанным лидером которых был Ленин. Возвратясь в Россию, Ленин мог создать бесконечные трудности Временному правительству, разжигая классовую ненависть, играя на чувстве усталости народа от войны или даже пытаясь захватить власть.

Самым активным сторонником «ленинской карты» был Парвус. В 1915 году он уже пытался подобраться к Ленину, но тот отказался от сотрудничества; теперь же ситуация существенно переменилась. В 1917 году Парвус жил в Копенгагене, где, для прикрытия своей разведывательной деятельности, руководил компанией по импорту. Он также владел фиктивным научно-исследовательским институтом, который служил базой для шпионажа[19]. Деловым поверенным Парвуса в Стокгольме был Яков Ганецкий, доверенное лицо и сотрудник Ленина. Близко знакомый с кругами русской политической эмиграции, Парвус возлагал большие надежды на экстремистов типа Ленина. Он убедил посла Германии в Дании, графа У.Брокдорф-Рантцау, что, если дать свободу действий антивоенно настроенным левым, они разовьют такую анархию, что через два или три месяца Россия сама будет вынуждена выйти из войны[20]. Парвус привлек особое внимание посла к Ленину, как к «гораздо более буйно помешанному», чем Керенский или Чхеидзе. Со сверхъестественной проницательностью Парвус предсказал, что как только Ленин вернется в Россию, он свергнет Временное правительство, захватит власть в стране и безотлагательно заключит сепаратный мир[21]. Он хорошо видел, что Ленин рвется к власти, и

верил: тот непременно пойдет на сговор, чтобы проехать через немецкую территорию в Швецию. Вполне убежденный Парвусом, Брокдорф-Рантцау телеграфировал в Берлин: «Мы теперь безусловно должны стремиться создать в России по возможности наибольший хаос… Мы должны делать все возможное, чтобы обострить различия между умеренными и экстремистскими партиями, поскольку наш наивысший интерес заключается в том, чтобы последние взяли верх, так как вследствие этого революция станет неизбежной и примет такие формы, что будет непременно нарушена стабильность российского государства»[22]. Посланник Германии в Швейцарии Г. фон Ромберг давал аналогичные рекомендации, опираясь на сведения, полученные от местных экспертов по делам России. Он привлек внимание Берлина к тому обстоятельству, что приверженцы «Лехнина» сеют разногласия в Петроградском Совете, призывая к началу немедленных мирных переговоров и отказываясь сотрудничать как с Временным правительством, так и с Другими социалистическими партиями[23].

Уступив этому натиску, канцлер Германии Теобальд фон Бетман-Гольвег дал Ромбергу распоряжение начать переговоры с русскими эмигрантами о проезде в Швецию. Переговоры эти проходили в конце марта (начале апреля — по новому стилю) при содействии швейцарских социалистов — поначалу Роберта Гримма, а потом Фрица Платтена. Ленин выступал от лица русских. Симптоматична близорукость немецкого командования: пускаясь в это рискованное политическое предприятие, они не побеспокоились получить сведения ни о самом Ленине, ни о его программе; им было важно только, что большевики и все, стоявшие на

Циммервальдско-Кинтальской платформе, стремились вывести Россию из войны. Историк, занимавшийся немецкими архивами, не обнаружил в них ни одного документа, который свидетельствовал бы об интересе к большевикам; два номера ленинского журнала «Сборник социал-демократа», присланные в Берлин посольством в Берне, сорок лет пролежали в архиве неразрезанными[24].

Во время переговоров о проезде через Германию Ленин приложил максимум усилий, чтобы обеспечить условия, при которых на эмигрантов не могло пасть обвинение в сотрудничестве с врагом. Он настоял на том, чтобы поезду был присвоен экстерриториальный статус, чтобы в поезд никто не мог войти без разрешения Платтена и чтобы пассажиры не подлежали паспортному контролю[25]. То обстоятельство, что убогий беженец чувствовал себя вправе диктовать условия правительству Германии, может значить только одно: он очень хорошо понимал, какие услуги сможет оказать немцам впоследствии.

Со стороны Германии переговоры вели гражданские власти при активной поддержке министерства иностранных дел, и особенно его главы Рихарда фон Кюльмана. Впоследствии сложилось мнение, что операцией по переправке Ленина в Россию руководил Эрих Людендорф, однако генерал во всей истории играл роль второстепенную, сводившуюся к предоставлению средств передвижения[26].

1 апреля (по новому стилю) Платтен сообщил условия Ленина посольству Германии в Швейцарии. Два дня спустя до его сведения довели, что условия приняты. К этому времени министерство финансов Германии дало положительный ответ на требование министерства

иностранных дел выделить пять миллионов марок на «работу в России»[27]. То, как поступала Германия в отношении России, было частью более широкого замысла: «Относительно каждого из своих врагов, Франции, Великобритании, Италии и России, Германия давно уже выработала план, состоявший в опоре на внутреннюю измену. Все планы были в основных чертах схожи: вначале беспорядки, вызываемые деятельностью леворадикальных партий; затем пораженческие пацифистские статьи в газетах, написанные лицами, прямо или косвенно находящимися на содержании у Германии; наконец, установление доверительных отношений со значительной политической фигурой, которая в результате должна взять верх над ослабленным вражеским правительством и потребовать подписания мира»[28].

В Великобритании немцы опирались на ирландца сэра Роджера Кейзмента, во Франции — на Жозефа Кайо, в России — на Ленина. Кейзмент был расстрелян как изменник, Кайо заключен в тюрьму, и только Ленин оправдал израсходованные на него деньги.

В 15 часов 20 минут 27 марта (9 апреля) тридцать два русских эмигранта выехали из Цюриха по направлению к границе с Германией. По достигнутому соглашению, Германия не должна была интересоваться личностями тех, кто садился в поезд, и списком пассажиров мы не располагаем; известно, однако, что в их числе было девятнадцать большевиков (включая Ленина, Крупскую, Г.Е.Зиновьева с женой и ребенком, Инессу Арманд и Карла Радека), а также шесть членов Бунда и три троцкиста[29]. По пересечении границы в Готтмадингене они пересели в немецкий поезд,

состоявший из двух вагонов — одного для русских, другого — для немецкого сопровождения, поезд не был опломбирован[30], хотя впоследствии была создана такая легенда. Проехав через Штутгарт и Франкфурт, прибыли в середине дня 29 марта (11 апреля) в Берлин. Там, облепленный немецкой охраной, поезд простоял двадцать часов. 30 марта (12 апреля) выехали в балтийский порт Засниц, где погрузились на шведский пароход, отправлявшийся в Треллеборг. По приезде пассажиры были встречены мэром Стокгольма. Затем все направились в столицу Швеции[31].

Среди прочих там их уже ожидал Парвус. Он стал добиваться встречи с Лениным, но осторожный вождь большевиков отказался от этой чести в пользу Радека, который был австрийским подданным и не мог быть обвинен в государственной измене. Радек провел с Парвусом большую часть дня 31 марта (13 апреля). Что происходило между ними, неизвестно. Расставшись с Радеком, Парвус немедленно выехал в Берлин. 20 апреля (нового стиля) состоялась его неофициальная встреча с Государственным секретарем Германии Артуром Циммерманом. Об этой встрече тоже не сохранилось никаких сведений. Затем Парвус возвратился в Стокгольм[32]. Несмотря на отсутствие каких бы то ни было документальных свидетельств, — как это обычно бывает, когда секретные операции проводятся на высшем уровне, — в свете последовавших за тем событий можно смело утверждать, что Парвус выработал с Радеком условия и технику финансирования деятельности большевиков в России и представлял на этих переговорах интересы правительства Германии. [Австрийский подданный, Радек для Временного правительства был гражданином враждебной державы.

Ему отказали во въездной визе в Россию, и он оставался в Стокгольме вплоть до октября 1917 г., выполняя задания Ленина.].

Русское консульство в Стокгольме уже подготовило въездные визы для вновь прибывших. Временное правительство, по-видимому, вначале колебалось, давать ли право на въезд активным поборникам мирных переговоров, но затем приняло положительное решение в надежде, что Ленин скомпрометирует себя как политик, проехав через вражескую территорию[33]. Вся компания выехала из Стокгольма в Финляндию 31 марта (13 апреля) и три дня спустя, 3(16) апреля, в 23 часа 10 минут была в Петрограде. [Впоследствии еще несколько групп русских эмигрантов проехали в Россию через территорию Германии.].

Ленин прибыл в Петроград в заключительный день Всероссийской большевистской конференции. На нее съехалось много большевиков из провинции, и они подготовили своему вождю встречу, по театрализованности превосходившую все когда-либо виденное в социалистических кругах. Петроградский комитет согнал рабочих на Финляндский вокзал; вдоль путей выстроились солдаты и военный оркестр. Когда Ленин появился на подножке поезда, оркестр грянул «Марсельезу», а гвардейцы взяли на караул. Прибывших приветствовал Чхеидзе, от лица Исполкома выразивший надежду, что социалисты сомкнут ряды для защиты «революционной свободы» от внутренней контрреволюции и иностранной агрессии. Выйдя из здания вокзала, Ленин взобрался на подсвеченный прожектором броневик и произнес короткую речь, после

чего в сопровождении большой толпы отправился в особняк Кшесинской[34].

Благодаря Н.Суханову мы располагаем воспоминаниями очевидца о том, что происходило в продолжение этой ночи в штаб-квартире большевиков: «Внизу, в довольно большой зале, было много народа — рабочих, «профессиональных революционеров» и девиц. Не хватало стульев, и половина собрания неуютно стояла или сидела на столах. Выбрали кого-то председателем, и начались приветствия — доклады с мест. Это было в общем довольно однообразно и тягуче. Но по временам проскальзывали очень любопытные для меня характерные штрихи большевистского «быта», специфических приемов большевистской партийной работы. И обнаруживалось с полной наглядностью, что вся большевистская работа держалась железными рамками заграничного духовного центра, без которого партийные работники чувствовали бы себя вполне беспомощными, которым они вместе с тем гордились, которому лучшие из них чувствовали себя преданными слугами, как рыцари — Святому Граалю. Что-то довольно неопределенное сказал и Каменев. И, наконец, вспомнили про Зиновьева, которому немного похлопали, но который ничего не сказал. Приветствия-доклады, наконец, кончились…

И поднялся с «ответом» сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских

расчетов, — носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников»[35].

Главный смысл полуторачасовой речи Ленина заключался в том, что в течение нескольких месяцев необходимо осуществить переход от «буржуазно-демократической» к «социалистической» революции. [Стенографической записи этой речи не сохранилось, но заметки, подготовленные Лениным, опубликованы: Ленинский сборник. Т. 21. С. 33; см. также: Ленинский сборник. Т. 2. С. 453–454; Раскольников Ф.Ф. На боевых постах. М., 1964. С. 67.].

Это означало, что всего через четыре недели после свержения царизма Ленин выносил смертный приговор правительству, пришедшему ему на смену. Предложение это находилось в таком противоречии с чувствами большинства присутствовавших, казалось таким безответственным и «опрометчивым», что бурные дебаты шли до четырех часов утра.

В течение следующего дня Ленин зачитал группе большевиков, а затем, особо, совместному собранию большевиков и меньшевиков статью, которую, предвидя возражения, он подал как частное мнение. В статье, названной впоследствии «Апрельские тезисы», обрисовывалась программа действий, которая должна была казаться слушателям оторванной от реальности, если не вполне безумной[36]. Ленин предлагал следующее: никакой поддержки идущей войне; немедленный переход ко «второй» фазе революции; никакой поддержки Временному правительству; передача всей власти Советам; роспуск армии и образование народной милиции; конфискация всей помещичьей земли и ее национализация; слияние всех банков в единый

Национальный банк, контролируемый Советами; контроль Советов за производством и распределением товаров; созыв нового Социалистического интернационала.

Редакционный совет «Правды» отказался печатать ленинские «тезисы» якобы из-за механической поломки в типографии[37]. Собрание большевистского Центрального Комитета вынесло по ним 6 апреля отрицательную резолюцию. Л.Б.Каменев утверждал, что аналогия, проводимая Лениным между современной ситуацией в России и Парижской Коммуной, ошибочна; Сталин находил, что «Тезисы» — «это схема, в них нет фактов»[38]. Но тем временем Ленин и Зиновьев вошли в редакционный совет «Правды», оказали давление, и 7 апреля «Тезисы» появились в печати. Статья Ленина сопровождалась редакционным комментарием, в котором написавший его Каменев сообщал, что редакция не разделяет выраженных в ней взглядов. Ленин, писал Каменев, «исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной» и рассчитывает на «немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую». Но, продолжал он, Центральный Комитет думает иначе, и большевистская партия будет следовать его резолюциям. [См.: Каменев // Правда. 1917. 8 апр. № 27. С. 2. Каменев ссылается на резолюцию большевистской конференции, проходившей 28 марта.]. 8 апреля для обсуждения статьи Ленина собрался Петроградский комитет. Его реакция была почти однозначно негативной: два голоса «за», тринадцать «против», при одном воздержавшемся[39]. Реакция в провинциальных городах была такой же: большевистские организации в Киеве и Саратове отвергли ленинскую программу,

последняя — на том основании, что автор жил долгое время в отрыве от ситуации в России[40].

Какое бы мнение ни сложилось у большевиков по поводу публичных заявлений своего вождя, Германия была им довольна. 4 (17) апреля немецкий агент в Стокгольме телеграфировал в Берлин: «Возвращение Ленина в Россию успешно. Он работает совершенно так, как мы того желаем»[41].

* * *

Ленин был очень скрытным человеком: несмотря на то, что он много писал и говорил, что собрание его сочинений составляет пятьдесят пять томов, и речи его и статьи являются по большей части пропагандой и агитацией, предназначенными для завоевания новых сторонников и уничтожения известных противников, а не для выражения сокровенных дум. Даже близким соратникам он редко давал понять, что у него на уме. Как верховный главнокомандующий в глобальной классовой войне, он держал свои планы при себе. Поэтому, чтобы проследить его замыслы, приходится двигаться вспять, от известных поступков к скрытым намерениям.

При решении основных вопросов — например, кто является врагом и как с ним следовало поступать, — Ленин бывал довольно откровенен. Саму цель — «программу» — он в целом доводил до общего сведения; тактики своей не открывал никому. Поэтому-то и трудно распознать его намерения. Как однажды Муссолини, сам немалый специалист в искусстве государственного переворота, доверительно посоветовал Джованни

Джолитти, «государство нужно защищать не от программы революции, а от ее тактики»[42].

Ленин отвергал теорию меньшевиков и эсеров о двухфазной революции и, как следствие ее, о двоевластии; при первой же возможности он намеревался свергнуть Временное правительство и захватить власть. Обостренное политическое чутье — дар, необходимый удачливому полководцу, — подсказывало ему, что это возможно. Он хорошо знал истинную цену либеральной и социалистической интеллигенции — «тигров-вегетарианцев», по словам Клемансо, — которые, несмотря на все свои революционные разглагольствования, смертельно боялись политической ответственности и не могли бы взять ее на себя, даже если бы она была им предложена. В этом отношении мнение Ленина совпадало с оценкой Николая II. Кроме того, Ленин хорошо понимал, что национальное единство и всенародная поддержка Временного правительства были всего лишь видимостью, что в стране вызревали мощные разрушительные силы, которые, если их поддержать и умело направить, могли свалить беспомощную демократию и привести его, Ленина, на вершины власти: в городах не хватало продовольствия, в деревне было неспокойно, нарастали национальные проблемы. Чтобы добиться своего, большевикам следовало решительно отмежеваться и от Временного правительства, и от других социалистических партий, заявив о себе, как о единственной силе, которая может взять под контроль положение вещей. Следуя данной логике, Ленин по возвращении в Россию решительно призвал своих соратников отказаться от примиренческой позиции по отношению к Временному правительству и от намерения слиться с меньшевиками.

Ввиду необыкновенной популярности демократических лозунгов Ленин не мог открыто призывать к передаче власти партии большевиков, несколько никто ни вне партии, ни внутри нее не поддержал бы такого призыва. Именно поэтому в течение всего 1917 года он, не считая одного краткого отступления, призывал к передаче всей власти Советам. Тактика эта может вызвать недоумение, поскольку до наступления осени 1917 года большевики были в Советах в меньшинстве и на деле осуществление этой программы означало бы передачу власти меньшевикам и эсерам. Но большевики были настолько уверены в себе, что не считали ни тех, ни других серьезной помехой. И.Г.Церетели, у которого из всех меньшевистских лидеров было менее всего иллюзий относительно политических соперников, писал, что большевики надеются отобрать верховную власть в стране у большинства в Советах, не встретив сильного сопротивления[43]. Временное правительство, с точки зрения Ленина, было более опасным противником, чем демократы-социалисты, поскольку располагало значительными вооруженными силами и пользовалось известной поддержкой среднего класса и крестьянства; воззвав к национальным чувствам, оно могло выставить против большевиков многочисленную армию. Пока Временное правительство хотя бы номинально оставалось у власти, сохранялась опасность сдвига всей страны вправо. Поставив же на место законной власти Советы, можно было продолжать смещать политическую атмосферу влево, при необходимости припугивая нерешительных социалистов «контрреволюцией».

Манера Ленина двигаться к цели — то есть к захвату власти — непосредственно вытекала из

освоенного им курса военной истории и военной науки. Истинные политики, даже политики авторитарные, стремятся определенным образом ужиться и с другими претендентами на власть, и с населением страны в целом, позволяя управляемой ими массе проявлять инициативу. Ленин же, для которого политика была всегда только войной классов, мыслил в терминах Клаузевица: целью политики, так же, как и целью военной стратегии, он считал не примирение с противником, но его полное уничтожение. Первым и главным делом было разоружить противника: 1) лишив его военной силы; 2) разрушив гражданские институты власти. Но противника можно было уничтожить и физически, как на поле битвы. Когда о «войне классов» говорили европейские социалисты, они подразумевали борьбу, ведущуюся ненасильственными средствами, при помощи голосований и промышленных забастовок, которые могли, конечно, в определенные моменты заканчиваться баррикадами. Ленин был, пожалуй, единственным, кто понимал «классовую войну» буквально, то есть как войну гражданскую — войну, при которой все средства хороши, если они приводятся к стратегическому уничтожению и, при необходимости, истреблению противника и дают победителю безусловное господство над спорной территорией. Революция, с этой точки зрения, становилась войной, ведущейся иными средствами, с той разницей, что бились друг с другом не государства и народы, а социальные классы, и фронтовая линия шла не горизонтально, а вертикально. Существенным источником ленинского успеха была именно милитаризация политики, поскольку те, кого он считал своими врагами, никак не могли поверить, что можно

всерьез превращать политику в битву, в которой никто не просит и не ждет пощады.

Ленинский взгляд на политику коренился в особенностях его личности, в соединении стремления к превосходству с патриархальными политическими установками, свойственными политическому укладу России в эпоху Александра III. Теоретическое оправдание и культурное обоснование своим психологическим импульсам Ленин нашел в работах Маркса о Парижской Коммуне. Труды Маркса, посвященные этому вопросу, произвели на него огромное впечатление и стали руководством к действию. Исследуя взлет и падение Коммуны, Маркс отмечал, что основной ошибкой всех революционеров было то, что они захватывали существующие институты власти, не догадываясь их разрушить. Оставляя нетронутыми военные, политические и общественные структуры классового государства и ограничиваясь сменой персонала, они создавали питательную среду для контрреволюции. Революционерам будущего надлежит действовать иначе: «не передать из одних рук в другие бюрократически-военную машину, а *сломать* ее»[44]. Слова эти глубоко врезались в память Ленину: он повторял их при каждом удобном случае и выстроил вокруг них свой основной политический опус — «Государство и революция». Они служили оправданием его разрушительным инстинктам и обосновывали желание создать новый («тоталитарный») строй, пронизывающий все стороны жизни.

Ленин всегда мыслил о революции как о явлении мировом; русская революция была для него не более чем эпизодом, случайным разрывом слабейшего звена «империализма». Он не интересовался перспективой

преобразования России; покоренная Россия должна была стать трамплином для революций в промышленных странах и колониях. Уже будучи диктатором России, он не перестал относиться к 1917 году и его последствия с этой точки зрения: не «русская революция» произошла, а случилось так, что мировая революция началась с России. В речи, обращенной к шведским социалистам и произнесенной за день до отъезда на родину, он настоятельно подчеркивает эту мысль: «Русскому пролетариату выпала на долю великая честь *начать ряд* революций… Не особые качества, а лишь особенно сложившиеся исторические условия сделали пролетариат России на известное, может быть очень короткое, время застрельщиком революционного пролетариата всего мира. Россия — крестьянская страна, одна из самых отсталых европейских стран. Непосредственно в ней не может победить тотчас социализм. Но крестьянский характер страны… может придать громадный размах буржуазно-демократической революции в России и сделать из нашей революции пролог всемирной социалистической революции, ступеньку к ней»[45].

Сдержанность, с которой Ленин говорит о всемирной социалистической революции, была отчасти вызвана нежеланием посвящать противника в свои намерения, а отчасти связана с теми преимуществами, которые эта сдержанность могла ему дать, если бы его замысел не осуществился — при таком повороте событий он всегда мог (а на деле так и поступил) отрицать, что у него вообще были подобные планы, и избежать таким образом позора поражения. Можно, однако, обрисовать в общих чертах имевшийся у него план, исходя из распоряжений, отданных весной и в начале лета 1917 года, когда он лично руководил силами большевиков.

По всей видимости, опыт февраля убедил Ленина, что Временное правительство может быть свергнуто при помощи массовых уличных демонстраций. Вначале, как это было сделано в 1915–1916 годах, следовало подготовить почву, организовав безжалостную кампанию по дискредитации правительства в глазах народа. С этой целью надо было обвинять правительство во всем, что было дурного: в политических беспорядках, нехватке продовольствия, инфляции, военных поражениях. Его надо было обвинять в заключении сговора с Германией о сдаче ей Петрограда и одновременных попытках создать видимость его обороны, в тайном сотрудничестве с генералом Корниловым при публичном обвинении его в измене. Чем нелепее были наговоры, тем более им склонны были верить политически неграмотные рабочие и солдаты: жизнь обратилась в хаос, и причину этого следовало искать необычную, из ряда вон выходящую.

Вместе с тем уличные демонстрации — и в этом было отличие от февраля — следовало жестко контролировать: Ленин ни в коей мере не полагался на стихийность, хотя и признавал необходимость придавать своим хорошо рассчитанным мероприятиям видимость стихийных. Ленин перенял у Наполеона и применил к гражданской войне принцип tiraillerie, или разведки боем, который некоторые военные историки считают главным вкладом Бонапарта в военную науку[46]. При ведении боевых действий Наполеон обычно разделял свои силы надвое: на профессиональную гвардию и отряды новобранцев. Как правило, при начале боя вперед высылались новобранцы, которые вызывали на себя огонь неприятеля; это давало возможность оценить вражескую диспозицию. В ответственный момент в бой посылалась гвардия, которая прорывала вражескую

линию в слабейших точках и обращала врага в бегство. Ленин применил этот принцип к войне в условиях города. Чтобы вызвать реакцию правительства и обнаружить его сильные и слабые стороны, на улицы высылались толпы с подстрекательскими лозунгами. Если толпам удастся смять силы правительства, то большевистский аналог наполеоновской гвардии — вооруженные рабочие и солдаты, входящие в состав Военной организации большевиков, — берут власть. Если толпы побегут, — что ж, можно все-таки утверждать, что народные массы хотят перемен и что выступающее против них правительство является антидемократическим». Затем надо дожидаться следующей возможности. Основным принципом тут было наполеоновское «on s'engage et puis on voit» — «сначала надо ввязаться в бой, а там уже видно будет»[47]. Ленин предпринял три попытки устроить путч — в апреле, июне и июле 1917 года, но сам каждый раз держался в тени и, высылая толпы на улицы, всегда делал вид, что следует воле «народа», а не направляет его. После провала каждой попытки он упорно отрицал какие бы то ни было революционные намерения и даже создавал видимость, что его партия делала все возможное, чтобы сдержать бушующие массы. [Тактика эта ввела в заблуждение даже некоторых историков: поскольку большевики не заявляли открыто, говорят они, что стремятся к власти, они к ней и не стремились. Но в октябре 1917 г. большевики заявляли, что действуют под давлением снизу, хотя такого давления не было. Двойственность средств, к которым прибегали большевики и их подражатели, была впервые отмечена Curzio Malaparte в его книге «Coup d'Etat». Участник группы Муссолини по захвату власти, Малапарте понял то, что упустили многие из его современников и

историков: в процессе революции большевики и их последователи действовали на двух определенных уровнях, один из которых был явным, а другой — скрытым, но на нем-то и наносился смертельный удар по жизненно важным центрам существующего режима.].

Ленинская тактика революции требовала управления толпой. Трудно сказать, инстинктивно или намеренно, но он следовал теории поведения толпы, сформулированной впервые французским социологом Гюставом Ле Боном в книге «La Psychologic des Foules» («Психология толпы») в 1895 году. [Согласно Б.Баженову, один из секретарей Ленина называл труд Ле Бона среди книг, которыми тот пользовался чаще всего (Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Париж; Нью-Йорк, 1983. С. 117).]. По Ле Бону, индивид, становясь частью толпы, теряет индивидуальность и растворяется в так называемой «коллективной личности», которой присуща специфическая психология. Основные ее черты — пониженная способность к логическому суждению и соответственное гиперболизированное ощущение «несокрушимой мощи». Уверенная в своей непобедимости, толпа жаждет действия, поэтому ею можно манипулировать: «толпа находится в состоянии выжидающего внимания, и это делает ее доступной для внушения». Особенно отзывчиво реагирует толпа на призыв к применению насилия, лишь бы в нем присутствовала ассоциация слов и идей, вызывающая «грандиозные и туманные образы», облеченные «загадочностью», такие, как «свобода», «демократия», «социализм». Толпы идут за фанатиками, которые непрестанно возбуждают их сильными повторяющимися образами. Поэтому, заключает Ле Бон, сила, ведущая толпы, сродни религиозной вере, «она

требует божества прежде всего», вождя, которому толпа приписывала бы сверхъестественные достоинства. Религиозное чувство толпы очень просто: «Поклонение тому существу, которому приписывается превосходство, страх перед той силой, которой он якобы обладает, слепое повиновение его приказам, неспособность критически отнестись к его мнениям, желание всячески распространять их и наклонность считать врагом каждого, кто их не разделяет»[48].

Более современный исследователь поведения толпы привлекает внимание к динамике масс: «Как только толпа оформилась, она начинает быстро расти численно. Трудно переоценить напор и решительность, с какими она распространяется вширь. Покуда толпа ощущает свой рост — например, в революционной ситуации, когда вначале зарождается небольшая, но сильно возбужденная толпа, — она воспринимает все, что мешает ее росту, как оковы… Толпа подобна осажденному городу и, словно во время осады, противостоит врагу — как за стенами, так и внутри их. В процесс борьбы она привлекает все больше и больше сторонников с прилегающих территорий»[49].

В редком порыве откровенности Ленин однажды сообщил своему соратнику П.Н.Лепешинскому, что хорошо понимает принципы массовой психологии: «В конце лета 1916 г. В.И. в интимной беседе довольно уверенно предсказывал поражение революции и намекал на необходимость готовиться к отступлению. Если же он, несмотря на такое пессимистическое настроение, продолжал все-таки держать курс на напряжение революционных сил пролетариата, то это, по-видимому, из тех соображений, что революционная актуальность

масс никогда не помешает. Если еще выпадет какой-нибудь шанс на победу или даже на полупобеду, то в значительной мере именно благодаря этой актуальности»[50]. Другими словами, массовое действие, даже при неуспехе, оставалось ценным средством поддержания толпы на высоком уровне напряжения и боевой готовности. [См. Eric Hofler: «Действие — момент объединяющий <…> Все массовые движения прибегают к массовому действию в целях объединения. Конфликты, которых массовое движение ищет и которые оно возбуждает, служат не только победе над врагом, но и помогают освободить его последователей от индивидуальности и растворить их в коллективной среде» (The True Believer. N.Y., 1951. P. 117).]. Три месяца после возвращения в Россию Ленин прожил на одном дыхании, пытаясь свалить Временное правительство путем массовых выступлений. Он подвергал и само правительство, и социалистов, которые его поддерживали, бесчисленным словесным нападкам как предателей революции, последовательно призывал население к гражданскому неповиновению: армию — игнорировать приказы правительства, рабочих — брать управление фабриками в свои руки, общинное крестьянство — захватывать частные земельные владения, национальные меньшинства — бороться за свои национальные права. Четкого плана действий у него не было, но в том, что успех рано или поздно придет, он не сомневался, потому что каждая вылазка обнаруживала нерешительность противника и его неспособность к действию. Если бы во время июльского путча у Ленина не сдали нервы, он вполне мог взять власть уже тогда, а не в октябре.

Несмотря на то, что тактика Ленина (а затем и Троцкого) была сильно военизирована, она парадоксальным образом не приводила к частому применению физической силы. Это должно было прийти позже, уже после захвата власти. Целью пропаганды и словесной трескотни, провоцирования массовых демонстраций и уличных беспорядков было внедрить в сознание противника и всего народа общее чувство неизбежности: наступает время перемен, предотвратить которые невозможно. Как впоследствии его ученики и подражатели Муссолини и Гитлер, Ленин на пути к власти стремился первым делом сломить дух тех, кто стоял у него поперек дороги, убедить их, что они обречены. Победа большевиков в октябре была на девять десятых победой психологической: привлеченные силы были ничтожны — всего несколько тысяч человек на страну со стопятидесятимиллионным населением, и не было сделано практически ни одного выстрела. Вся операция целиком служила подтверждением поговорки Наполеона: «Битва выигрывается или проигрывается в умах людей прежде, чем она началась».

* * *

Первую попытку захватить власть большевики предприняли 21 апреля, воспользовавшись военным кризисом, в котором тогда оказалась Россия.

Вернемся к тому, как в конце марта 1917 года Исполком оказывал давление на Временное правительство с тем, чтобы оно дезавуировало претензию, заявленную Милюковым на австрийские и турецкие территории. Чтобы усмирить социалистов, правительство выпустило 27 марта декларацию, в

которой, не тратя много слов на отказ от аннексионистских претензий, объявляло целью России «длительный мир», основанный на «самоопределении наций».

Сделанная уступка восстановила порядок, но очень ненадолго. Проблема снова оказалась предметом спора, когда в апреле в Россию вернулся В.М.Чернов. Предводитель партии эсеров провел годы войны на Западе, большей частью в Швейцарии, где принимал участие в Циммервальдской и Кинтальской конференциях и издавал, предположительно на средства Германии, революционную литературу для русских военнопленных в Германии и Австрии[51]. Возвратясь в Петроград, он немедленно развернул кампанию против Милюкова, призывая к его отставке, и потребовал от правительства передать декларацию от 27 марта главам союзных государств в качестве формального заявления о целях России в войне. Милюков возражал против выполнения этого требования на том основании, что союзники могли принять формальное отречение России от обещанных ей территорий за намерение выйти из войны. Кабинет, однако, с его мнением не посчитался: Керенский проявил здесь особое рвение, поскольку это могло подорвать позиции Милюкова, главного соперника, и усилить его собственные позиции в Советах[52]. Мало-помалу был достигнут компромисс. Правительство соглашалось передать союзникам декларацию от 27 марта, но только в сопровождении ноты, поясняющей, что у России нет намерения выйти из войны. По словам Керенского, проведенная Милюковым и одобренная кабинетом нота «должна была удовлетворить самых яростных критиков Милюкове — кого империализма»»[53]. В ней заново утверждалась решимость России бороться за «высокие

идеи», разделяемые союзниками, и «вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников»[54]. 18 апреля (1 мая по западному календарю) оба документа были отправлены телеграфом в посольские представительства России за границей для передачи властям союзников.

Когда 20 апреля правительственная нота появилась в русских газетах, она привела в бешенство социалистическую интеллигенцию. Недовольство было вызвано не заявлением о войне вплоть до победы, что, за исключением незначительного меньшинства, признавали своей задачей все социалистические партии, а двусмысленностью языка, которым говорилось об «аннексиях и контрибуциях». Исполком в тот же день выдвинул на голосование постановление, в котором говорилось, в частности, что «революционная демократия не допустит лить кровь ради… завоевательных целей». Россия, по мнению социалистов, должна была продолжать войну, но только до того момента, когда воюющие стороны смогут подписать мир без аннексий[55].

На совместном совещании правительства и Исполкома конфликт этот мог быть легко разрешен, поскольку правительство, по всей вероятности, сдало бы свои позиции. Но компромисс еще не был найден, когда возмущение охватило бараки и рабочие кварталы, связанные невидимыми нитями с Исполкомом.

Уличные беспорядки 20–21 апреля возникли стихийно, но большевики очень быстро овладели ситуацией. Молодой офицер, социал-демократ лейтенант Теодор Линде, принимавший в свое время участие в выработке текста Приказа № 1, расценил

правительственную ноту как измену демократическим идеалам революции. Он созвал представителей Финляндского полка, в котором служил, и потребовал, чтобы они выводили своих людей на демонстрацию против Милюкова. Затем он обошел другие части гарнизона, призывая их к тому же[56]. Страстный патриот, Линде считал, что Россия должна продолжать войну; он погиб вскоре после описываемых событий, став жертвой самосуда, учиненного над ним на линии фронта, где он агитировал войска не складывать оружие: «немецкое» звучание имени навело солдат на мысль, что Линде был вражеским агентом[57]. Как и многие русские социалисты, он думал, что воевать надо за «демократические» идеалы. Ему, видимо, не приходило в голову, что призывать войска на политическую манифестацию равносильно возбуждению мятежа. Начиная с трех часов дня несколько военных отрядов в полном вооружении проследовали к Мариинскому дворцу, где располагалось правительство, и криком потребовали отставки Милюкова[58]. Первым шел Финляндский полк.

Из-за недомогания А.И.Гучкова кабинет в тот день собирался не в Мариинском дворце, а в канцелярии военного министерства. Внезапно на заседание явился генерал Л.Г.Корнилов, который, как командующий Петроградским военным округом, нес ответственность за спокойствие в столице. Он испрашивал разрешения разогнать мятежников с применением военной силы. Как вспоминал Керенский, кабинет ему единодушно отказал: «Мы все были убеждены в мудрости нашего курса и чувствовали уверенность, что население не допустит никаких актов насилия по отношению ко Временному правительству»[59]. Так в первый, но отнюдь не в последний раз Временное правительство, столкнувшись с

открытым вызовом своей власти, уклонилось от применения силы — факт, не ускользнувший от внимания ни Корнилова, ни Ленина.

Вплоть до этого момента большевики не имели никакого отношения к беспорядкам и даже были захвачены ими врасплох. Но они не преминули тут же ими воспользоваться.

Действия, предпринятые высшим руководством большевиков в тот момент, до сих пор остаются не вполне ясными, поскольку соответствующие документы все еще не опубликованы. Официальная партийная версия гласит, что Центральный Комитет не одобрил антиправительственных демонстраций, происходивших в Петрограде вечером 20-го и в течение 21 апреля: те большевики, которые вышил на улицы с плакатами «Долой Временное правительство!» и «Вся власть Советам!», выполняли якобы распоряжения низшего большевистского руководства, в частности С.Я.Багдатьева. [Очерки истории Ленинградской организации КПСС. Т. 1. Л., 1961. С. 481. В действительности Петроградским комитетом партии большевиков Багдатьеву была поручена организация первомайской демонстрации, приходившейся на 18 апреля, день, в который правительственная декларация и нота о целях России в войне были переданы союзным правительствам (см.: Куделли. Первый. С. 82).]. Однако представляется невероятным, что в такой централизованной партии, как партия большевиков, мелкий функционер мог утверждать тексты революционных лозунгов без ведома Центрального Комитета, — предположение, становящееся еще более нелепым, если принять в расчет, что Багдатьев не одобрял занятой Лениным позиции противостояния

Временному правительству, чему есть документальные подтверждения[60]. Неправдоподобная эта версия была выдумана, чтобы замаскировать позорное поражение, которым закончилась первая попытка большевиков организовать путч. Стараясь вконец запутать картину, коммунистические историки стали выдавать постановления, принятые партией после событий, за свидетельство намерений большевиков *до* возникновения этих событий и отнесли написанные Лениным распоряжения к «невыясненным источникам».

Во второй половине дня 20 апреля, в то время как вызванные Линде войска скапливались на Мариинской площади, большевистский Центральный Комитет собрался на чрезвычайное совещание. Оно приняло резолюцию, которую Ленин набросал еще утром этого дня после прочтения ноты Милюкова и которая послужила основой для демонстраций, организованных затем большевиками. В ранних изданиях сочинений Ленина авторство этой резолюции не обозначено; оно было признано только в пятом издании ленинских работ, вышедшем в 1962 году[61]. Ленин описывает Временное правительство как «насквозь империалистическое» и находящееся под влиянием как внутреннего, так и англо-французского капитала. Такой режим по самой своей природе не мог отказаться от аннексий. Ленин критиковал Советы за поддержку правительства и призывал их взять власть в свои руки. Само по себе это еще не было прямым призывом к свержению правительства, но не требовалось долгих раздумий, чтобы сделать такой вывод из ленинских слов. И уж конечно, это давало демонстрантам основание нести лозунги «Долой Временное правительство!» и «Вся

власть Советам!», хотя Ленин впоследствии и отрицал свою причастность к этому эпизоду.

Нам неизвестно, какие тактические решения принял Центральный Комитет на этом совещании: опубликованные версии протоколов заседаний Петроградского комитета, который нередко участвовал в совещаниях Центрального Комитета, отражают только банальные организационные решения. В них опущены сведения обо всех позднейших заседаниях вплоть до 3 мая[62]. Можно, однако, с уверенностью предположить две вещи. Во-первых, Ленин занимал крайнюю позицию в смысле призыва к открытому выступлению и к оппозиции Временному правительству: это видно из дальнейшего развития событий, когда он подвергся сильной критике со стороны своих сподвижников, особенно Каменева. Во-вторых, демонстрации были задуманы как начало полнокровного путча, воскрешение 26–27 февраля, когда восставшие рабочие и мятежные солдаты свергли царское правительство.

Вечером 20 апреля, после того как войска, принимавшие участие в дневной демонстрации, вернулись в казармы, на улицах появились новые группы рабочих и солдат, несшие антиправительственные лозунги: это были передовые отряды возбужденной большевиками толпы. Вскоре образовалась контрдемонстрация с лозунгами «Долой Ленина!» На Невском проспекте обе демонстрации столкнулись. Стараниями Исполкома толпу удалось усмирить.

Большевистский Центральный Комитет вновь собрался утром 21 апреля, чтобы принять постановления на текущий день[63]. Одно из них предписывало агитаторам отправиться в казармы и на фабрики,

оповестить рабочих и солдат о запланированной на день демонстрации и призывать присоединиться к ней[64]. Во время обеденного перерыва агитаторы появились на многих предприятиях Выборгской стороны, рабочие которых были известны революционными настроениями. Призыв к рабочим покинуть фабрики и присоединиться к антиправительственной демонстрации встретил холодный прием, по всей вероятности оттого, что присутствовавшие меньшевики и эсеры из Исполкома нейтрализовали ситуацию, Большевистские резолюции были приняты рабочими только на трех небольших заводах; в сумме это составляло не более тысячи человек[65], то есть 0,5 % всех трудящихся Петрограда. Крупные предприятия, в том числе Путиловский и Обуховский заводы, игнорировали большевиков.

В планы большевиков входили вооруженные действия; это подтверждается тем, что 21 апреля Н.И.Подвойский, возглавлявший Военную организацию, потребовал, чтобы с военно-морской базы в Кронштадте в Петроград прислали отряд надежных матросов[66]. Кронштадтские матросы были известны в Петрограде своей грубостью и готовностью к применению силы: находясь под сильным влиянием анархистов, они с энтузиазмом отзывались на призывы бить и грабить «буржуев». Их присутствие в городе неизбежно должно было вылиться в погромы. Приказ о доставке их в город полностью обесценивает ленинское заявление, будто 21 апреля большевики хотели провести «мирную разведку».

В середине дня колонны, несущие антиправительственные лозунги и предводительствуемые отрядами большевистской «фабричной милиции», имевшей при себе ружья, двинулись по Невскому к

центру города. Несмотря на то, что в этом шествии не принимали участие ни солдаты, ни матросы, оно стало первым вооруженным выступлением против демократического правительства. Подойдя в Казанскому собору, демонстрация оказалась лицом к лицу с другой процессией, кричащей: «Да здравствует Временное правительство!» Возникла давка, раздались одиночные выстрелы, три человека были убиты. Так произошло в Петрограде первое с февраля уличное столкновение.

Ленин, отправив своих соратников на улицы, благоразумно предпочел отсидеться дома[67].

Корнилов, в очередной раз приняв решение восстановить порядок, приказал вывести из казарм войска и выставить артиллерию. На этот раз его осадил Исполком, утверждавший, что толпу можно успокоить средствами словесного убеждения. Из Исполкома позвонили в Генеральный штаб с просьбой отменить приказания Корнилова. Затем Корнилов встретился с представителями Исполкома. Последние приняли на себя ответственность за восстановление порядка, и Корнилов отменил отданные ранее приказы и велел войскам не выходить из казарм. Чтобы обеспечить условия, при которых ни правительство, ни большевики не взялись бы за оружие, Исполком выпустил прокламацию, обращенную к солдатам Петроградского гарнизона: «Товарищи-солдаты, без зова Исполнительного комитета в эти тревожные дни не выходите с оружием в руках. *Только Исп. комитету принадлежит право располагать вами.* Каждое распоряжение о выходе воинской части на улицу (кроме обычных нарядов) должно быть отдано на бланке Исполнит, комитета и закреплено его печатью и подписано не меньше, чем двумя из следующих лиц: Чхеидзе, Скобелев, Бинасик, Соколов, Гольдман,

Филипповский, Богданов. Каждое распоряжение проверяется по телефону 104.06»[68]. Инструкции эти сделали крайне двусмысленным положение командующего Петроградским округом. Не видя возможности исполнять свои обязанности, Корнилов попросил освободить его от должности и отправить на фронт. В начале мая он принял командование над Восьмой армией.

В тот же день Исполком принял решение запретить все демонстрации на 48 часов. Он объявил всякого, кто выведет вооруженных людей на улицы, «изменником делу революции»[69].

В Москве 21 апреля прошли большевистские демонстрации под такими же лозунгами.

К вечеру 21 апреля беспорядки в Петрограде пошли на спад из-за недостатка народной поддержки: демонстранты, выступавшие за правительство, оказались в такой же мере воинственными и гораздо более многочисленными, чем сторонники большевиков. В Москве большевистские выступления продолжались и в течение следующего дня и закончились тем, что разъяренная толпа окружила демонстрантов и вырвала у них антиправительственные лозунги.

Как только стало понятно, что путч провалился, большевики сняли с себя всякую ответственность за него. 22 апреля Центральный Комитет принял резолюцию, в которой говорилось, что «мелкобуржуазные массы» после некоторого колебания выступили на стороне «капиталистических» сил; антиправительственные лозунги были осуждены как преждевременные. Перед партией ставилась задача вести разъяснительную работу среди народа

относительно истинной сущности правительства. Следовало подчиняться распоряжениям Совета и не выходить на демонстрации. Резолюция, автором которой был, по всей видимости, Каменев, означала для Ленина, которого он назвал «авантюристом», полное поражение. В нескладной попытке защититься Ленин свалил вину за антиправительственный дух демонстраций на Петроградский комитет, обвинив его в непредусмотрительности. Но, защищаясь таким образом, он невольно приоткрыл свои истинные намерения: «Это была попытка прибегнуть к насильственным мерам. Мы не знали, сильно ли масса в этот тревожный момент колебнулась в нашу сторону... Мы желали произвести только мирную разведку сил, но не давать сражения»[70]. Как увязать признание в том, что апрельские восстание были «попыткой прибегнуть к насильственным мерам», с заявлением, что они были задуманы как «мирная разведка», Ленин не объяснил. [Американский историк А.Рабинович, принимающий тезис большевиков о том, что апрельские демонстрации имели мирный характер, вынужден был, чтобы избежать противоречия, выпустить слова о «насильственных мерах», цитируя приводимый нами отрывок из Ленина (см.: Prelude to Revolution. Bloomington; Lnd., 1968. P. 45).].

Тем временем массы слушались Исполкома и, при его посредничестве, правительства. В этом контексте становится понятно, почему социалистическая интеллигенция выступала против применения силы. Но толпа переменчива, а основным уроком апреля было не то, что слаба партия большевиков, а то, что ни правительство, ни предводители Советов не были готовы выйти сила на силу. Подводя несколько месяцев спустя итоги апрельских дней, Ленин пришел к выводу, что

ошибкой большевиков была «недостаточная революционность» их тактики, а это могло означать только одно: им следовало попытаться захватить власть[71]. Но все же первая разведка боем его сильно воодушевила: по словам Суханова, в апреле «его надежды окрылились»[72].

* * *

Апрельские восстания положили начало первому серьезному правительственному кризису. Всего через два месяца после свержения царизма интеллигенция обнаружила, что страна разваливается прямо на глазах, — но в этом нельзя было больше винить ни царя, ни бюрократию. 26 апреля правительство опубликовало слезное воззвание к стране, в котором заявляло, что не может более управлять и хочет привлечь к руководству «представителей тех активных творческих сил страны, которые доселе не принимали прямого и непосредственного участия в управлении государством», то есть социалистическую интеллигенцию[73]. Исполком, все еще боясь скомпрометировать себя в глазах «масс», 28 мая отверг это предложение правительства[74].

После отставки Гучкова с поста военного министра, последовавшей 30 апреля, Исполкому пришлось изменить точку зрения. В мемуарах Гучков пишет, что Россия стала неуправляема: единственным средством оставалось привлечение в правительство «здоровых» сил в лице генерала Корнилова и предпринимательских верхов[75]. Поскольку, по мнению социалистической элиты, это было невозможно, он сложил с себя полномочия. По словам Церетели, отставка Гучкова и, вслед за этим, просьба Милюкова об отставке свидетельствовали о

кризисе таких масштабов, который невозможно было преодолеть полумерами[76]. «Буржуазия» стала покидать правительство. 1 мая Исполком сменил курс и, не испросив мнения пленума Советов, проголосовал (44 голоса — «за», 19 — «против», при двух воздержавшихся) за предоставление его членам права занимать правительственные должности[77]. Против голосовали большевики и меньшевики-интернационалисты (последователи Мартова), которые хотели, чтобы вся власть перешла к Советам. Церетели пояснил позицию большинства. Правительство, сказал он, признало свою неспособность уберечь страну от надвигающейся катастрофы. В этих условиях «демократические» силы должны вмешаться и спасти революцию. Советы не могут взять власть и руководить страной от своего имени, как того хотят Мартов и Ленин, потому что они таким образом толкнут в объятия реакции ту огромную часть населения (крестьянство), которая, хотя и не стремится к демократии, готова сотрудничать с демократическими силами. Более откровенно ту же мысль высказал другой меньшевик, В.С.Войтинский, выступая за коалицию с «буржуазией» и, косвенно, против лозунга «Вся власть Советам» на том основании, что крестьянство «правее» Советов и не должно признать правительство, в котором само оно не представлено[78].

Соглашаясь войти в коалиционное правительство, Исполком выставил ряд условий: пересмотр соглашений с союзниками, скорейшее прекращение войны, дальнейшая «демократизация» вооруженных сил, аграрная политика, создающая условия для распределения земли среди крестьян, немедленный созыв Учредительного собрания. Правительство, со своей стороны, требовало, чтобы

Исполком признал его единственной властью в стране, могущей в случае необходимости применить силу, и единственной инстанцией, командующей вооруженными силами. Представители правительства и Исполкома провели несколько дней в начале мая в переговорах об условиях коалиции. Окончательное соглашение было достигнуто в ночь с 4 на 5 мая, и новые члены кабинета вступили в должность. Спокойный и безвредный князь Львов остался на посту премьер-министра; Гучков и Милюков формально ушли в отставку. Портфель министра иностранных дел достался кадету М.И.Терещенко — выбор странный, поскольку Терещенко, молодой предприниматель, был неопытен и никому не известен. Все, однако, знали, что он, как и Керенский, принадлежал к масонам: высказывались подозрения, что он получил назначение благодаря масонским связям. Керенский возглавил военное министерство. Он тоже не обладал достаточным для этой должности опытом, но был в Советах видной фигурой, а его ораторские способности должны были воодушевлять войска при подготовке к летнему наступлению. В коалиционное правительство вошли шестеро социалистов и среди них Чернов, получивший портфель министра земледелия, и Церетели, ставший министром почт и телеграфов. Кабинет этот просуществовал всего два месяца.

Майские соглашения отчасти сгладили ненормальности двоевластия, при котором народ не мог разобраться, кто же осуществляет верховную власть в стране. Принятие этих соглашений указывало не только на растущее чувство безнадежности, но и на возмужание социалистической интеллигенции, и в этом смысле было симптомом положительным. Объединившее «буржуазию»

и «демократию», новое правительство обещало стать более эффективным, чем старое, в котором обе группировки противостояли друг другу. Но соглашения создали и новые проблемы. Войдя в правительство, ведущие социалисты лишились возможности находиться в оппозиции. Теперь они, как члены кабинета, автоматически несли ответственность за все, что происходило в стране. Одновременно большевики, отказавшиеся участвовать в коалиции, очутились в положении стражей русской революции. Поскольку же под управлением безнадежно некомпетентных либералов и социалистической интеллигенции дела шли все хуже, большевики казались единственно мыслимыми спасителями России.

Временное правительство оказалось в классически двусмысленном неприятном положении умеренных революционеров, перехвативших бразды правления из рук слабеющей власти. «Мало-помалу, — писал, проведя сравнительный анализ революций, Крейн Бринтон, — умеренные начинают терять то доверие, которое они приобрели как противники старого режима; все более и более недовольства вызывают они как наследники старого режима. Вынужденные стать в оборону, они совершают ошибку за ошибкой, отчасти потому, что не привыкли обороняться». Неспособные вынести самое мысль, что они «отстают в революционном процессе», не в силах порвать со своими противниками слева, умеренные не могут никого удовлетворить и вынуждены уступить дорогу лучше организованным, лучше укомплектованным, более целеустремленным соперникам[79].

* * *

В мае и июне 1917 года партия большевиков с трудом могла претендовать на третье место среди социалистических партий: на Первом всероссийском съезде Советов в начале июня ее представляли 105 делегатов против 285 делегатов от эсеров и 248 — от меньшевиков. [Chamberlin W.H. The Russian Revolution. V. 1. N. Y., 1935. P. 159. На Первый всероссийский съезд крестьянских депутатов прибыло более тысячи человек, из них — 20 большевиков (Вопросы истории. 1957. № 4. С. 26).]. Но события начинали складываться в ее пользу.

У большевиков оказалось много преимуществ. Помимо их исключительного положения как единственной альтернативы Временному правительству и наличия целеустремленного, рвущегося к власти руководства, можно отметить еще два.

И меньшевики, и эсеры выдвигали социалистические лозунги, но в следовании им никогда не доходили до логического конца. Это сбивало с толку их избирателей и играло на руку большевикам. И те и другие утверждали, что в феврале 1917 года в России установился «буржуазный» режим, который они контролировали через Советы; но если это было так, почему они не устранили буржуазию и не передали всю власть Советам? Социалисты называли войну «империалистической» — если это так, почему они не призвали сложить оружие и разойтись по домам? В лозунгах «Вся власть Советам» и «Долой войну», несмотря на их непопулярность весной и летом 1917 года, была некая неоспоримая логика — они имели смысл в контексте тех идей, которые социалисты насаждали в

сознание народа. В том, с какой смелостью большевики делали из общих социалистических предпосылок очевидные выводы, социалисты никогда не смогли бы с ними сравняться: для них это было бы равносильно самоотрицанию. Раз за разом приверженцы Ленина бросали в борьбе за власть наглый вызов демократическим процедурам, и раз за разом социалисты пытались их от этого отговорить, стремясь в то же время обезоружить и правительство. Невозможно было бороться с большевиками только на том основании, что в стремлении к общей цели они пользуются более откровенными средствами: во многих отношениях Ленин и его соратники являлись истинной совестью революции. Интеллектуальная безответственность и нравственная трусость социалистического большинства создавали психологическую и идеологическую ситуацию, в которой большевистское меньшинство с успехом росло и множилось.

Но самым выдающимся, величайшим преимуществом большевиков перед соперниками было их абсолютное безразличие к судьбе России. Консерваторы, либералы и социалисты по-своему пытались сохранить Россию как единое государство вопреки тем частным, общественным и локальным, высвобожденным революцией центробежным силам, которые раздирали страну на части. Они призывали солдат соблюдать дисциплину, крестьян — терпеливо дожидаться земельной реформы, рабочих — не покидать производство, национальные меньшинства — отложить борьбу за самоуправление. Лозунги эти не вызывали симпатии, так как отсутствие в стране развитого чувства государственности и народности поощряло центробежные силы и приводило к преобладанию

частных интересов над интересами целого. Большевики же, для которых Россия была не более чем трамплином для скачка к мировой революции, обо всем этом не думали. Их вполне устраивало, что стихийные силы могли «развалить» существующие институты власти и разрушить Россию. Поэтому они в полной мере поощряли любую разрушительную тенденцию. А поскольку эти силы, высвобожденные в феврале, было трудно сдержать, большевики продвигались вперед на гребне нарастающей волны: отождествляя себя с неизбежным, они, казалось, контролировали ситуацию. Позже, придя к власти, они моментально отреклись от своих обещаний и выстроили такое автократическое централизованное государство, какого не знала ни одна страна; но вначале это безразличие к будущему России оказало им огромную, если не главную, услугу.

Быстро нарастающий развал в России, вызванный отсутствием полновластного руководства, ослабил все государственные институты, включая те, которыми управляли социалисты; это дало большевикам возможность обойти меньшевистское и эсеровское руководство Советов и большинства профсоюзов и выдвинуться вперед. Марк Ферро отмечает, что после формирования коалиционного правительства авторитет Всероссийского Совета в Петрограде стал падать, а авторитет местных Советов — расти. Сходный процесс шел в профсоюзном движении, где все больший вес приобретали местные «фабричные комитеты»[80]. И местные Советы, и фабричные комитеты находились в ведении политически неопытных людей, которыми с легкостью манипулировали большевики.

Влияние большевиков в ведущих общероссийских профсоюзах было слабее, — там преобладали

меньшевики. Но по мере того как разруха затрагивала транспорт и средства связи, центральные профсоюзы, помещавшиеся в Москве и Петрограде, теряли контакт со своими членами, разбросанными по огромной стране. Рабочие стали покидать профсоюзы и переходить в фабричные комитеты. Все это происходило несмотря не небывалый рост профсоюзов в 1917 году. Фабричные рабочие организации, или фабзавкомы, быстро набирали силу и влияние. Впервые они возникли в февральскую революцию на государственных оборонных заводах, после того, как управляющих перестали назначать сверху. Затем эту практику переняли частные предприятия. 10 марта Петроградское общество фабрикантов и заводчиков подписало соглашение с Исполкомом о введении фабзавкомов на всех заводах столицы[81]. В апреле их официально признало Временное правительство — как полномочных представителей рабочих[82]. Первоначально фабзавкомы занимали умеренную позицию, сосредоточившись на повышении производительности труда и улаживании конфликтных ситуаций. Затем они радикализировались. Нарастала инфляция, недостаток топлива и сырья приводил к закрытию заводов, и фабзавкомы обвиняли нанимателей в спекуляциях, бухгалтерских махинациях, применении локаутов. То тут, то там они изгоняли владельцев и управляющих и начинали самостоятельно распоряжаться на фабриках. Они требовали большего участия в управлении. Меньшевики смотрели на этот анархо-синдикализм без особого восторга и мечтали о соединении всех фабзавкомов в общегосударственные профсоюзы. Но общая тенденция развивалась в направлении прямо противоположном, поскольку повседневные заботы рабочих теснее связывали их с

теми, кто трудился бок о бок с ними, чем с представителями той же профессии на других предприятиях. Большевики нашли в фабзавкомах идеальное средство нейтрализации меньшевистского влияния на профсоюзы[83]. В целом они не одобряли синдикалистской идеи «рабочего контроля» и ликвидировали фабзавкомы сразу же после прихода к власти, но весной 1917 года их рост сыграл большевикам на руку. Большевики помогали организовывать фабзавкомы по всей стране. На созванной ими Первой петроградской конференции фабрично-заводских комитетов, которая открылась 30 мая, большевики опирались по крайней мере на две трети делегатов. Предложение дать рабочим право решающего голоса в управлении производством и право доступа к ученным книгам было принято подавляющим большинством голосов[84]. Фабзавкомы стали первым органом самоуправления, на который распространилось большевистское влияние. [Соперничество между профсоюзами и фабричными комитетами возродилось через двадцать лет в США, где заводские профсоюзы, связанные с CIO, бросили вызов профессионально ориентированным союзам AFL. Здесь, как и в России, коммунисты отдали предпочтение первым.].

Поскольку Ленин представлял захват власти как действие насильственное, ему требовались собственные военные отряды, не подчинявшиеся ни правительству, ни Советам и подотчетные исключительно Центральному Комитету. Основным пунктом его программы государственного переворота было «вооружение рабочих». Во время февральской революции толпа разграбила арсеналы: пропали десятки тысяч ружей, часть из них была спрятана на фабриках. Петроградский

Совет организовал «народную милицию» взамен разогнанной царской полиции, но Ленин отказался ввести в нее большевиков: ему требовались собственные вооруженные силы[85]. Желая избежать обвинения в том, что он создал орудие переворота, Ленин придал своей личной армии, вначале названной «рабочей милицией», вид безобидной охраны, защищающей фабрики от разграбления. 28 апреля эта милиция была преобразована в большевистскую «Красную гвардию», перед которой ставились дополнительные задачи «охраны завоеваний революции и борьбы с контрреволюционными попытками». Протесты, заявленные по этому поводу Советом, большевики игнорировали[86]. В конце концов Красная гвардия не оправдала возложенных на нее надежд, поскольку либо тяготела к роли банальной гражданской полиции, либо мешалась с народной милицией, в любом случае не достигая того боевого классового духа, который Ленин хотел в ней воспитать[87]. Когда в октябре в красногвардейцах явилась нужда, они предназначенную им роль сыграть не смогли.

Готовясь к перевороту, большевики развернули пропагандистскую кампанию в войсках Петроградского гарнизона и прифронтовых частях. Ответственность за ее проведение была возложена на Военную организацию, у которой, согласно одному коммунистическому источнику, были агенты и ячейки примерно в 75 % частей гарнизона[88]. От них поступала информация о настроениях в частях, через них велась антиправительственная и антивоенная пропаганда. У большевиков было мало прямых сторонников среди военнослужащих, но они вполне успешно раздували недовольство в войсках, что могло и должно было

снизить готовность солдат выступать против них, выполняя приказы правительства или Совета. По словам Суханова, даже самые недовольные среди солдат не поддерживали большевиков, «были равнодушны, нейтральны», но это же делало их восприимчивыми к антиправительственным воззваниям. В таком именно настроении находилось самое большое формирование гарнизона — Первый пулеметный полк[89].

Усиленная пропаганда велась большевиками через печать. К июню «Правда» достигла тиража в 85 000 экземпляров. Учреждались провинциальные газеты, издания, адресованные отдельным социальным группам (работницам, национальным меньшинствам), выпускалось множество брошюр. Особое внимание уделялось военнослужащим. 15 апреля вышел первый номер «Солдатской правды», тираж которой достиг со временем 75 000 экземпляров. За ней последовала газета для моряков «Голос правды» и газета для прифронтовых частей «Окопная правда», издававшиеся, соответственно, в Кронштадте и Риге. Весной 1917 года в войска отправлялось 100000 экземпляров газет в день, что означало ежедневную доставку одной газеты в каждую роту — в России в то время под ружьем находились 12 млн человек. В начале июля общий тираж большевистской прессы составлял 320 000 экземпляров брошюр и листовок[90]. Принимая во внимание, что еще в феврале 1917 года у большевиков прессы не было, одно это уже можно признать поразительным достижением.

Все эти издания разносили ленинские призывы, но в завуалированной форме. Пропагандистская пресса не говорит читателю, что ему нужно делать (это задача «агитации»), но насаждает в его сознании идеи, из

которых он сам должен извлечь желательный политический вывод. К примеру, в воззваниях к войскам большевики не подстрекали к дезертирству, поскольку за это их стали бы преследовать по закону. Г.Е.Зиновьев писал в первом выпуске «Солдатской правды», что задача газеты — установить нерушимые связи между солдатами и рабочими с тем, чтобы войска пришли к пониманию своих «истинных» интересов и не позволяли использовать себя в «погромах» против рабочих. Говоря о войне, он высказывался еще осторожнее. «Мы не за то, чтобы сейчас бросить винтовки. Так войны нельзя кончить. Сейчас иная задача: понять и растолковать всем солдатам — из-за чего начата война, кем начата война, кому нужна война»[91]. Под «кому» подразумевалась, конечно, буржуазия, против которой солдатам следовало обратить оружие.

Бурная организаторская и публицистическая деятельность большевиков требовала больших денег. Если не все средства, то основная их часть поступала из Германии.

Имеется несколько документальных свидетельств подрывной деятельности, которую вела в России Германия весной и летом 1917 года. [В 1918 г. объявился пакет документов, так называемый «Sisson Papers», который призван был доказать непосредственное участие Германии в событиях 1914–1917 гг. в России. Документы эти были опубликованы в США Комитетом по общественной информации (Committee on Public Information) (см.: The German-Bolshevik Conspiracy // War Information Series. 1918. Oct. № 20). Правительство Германии немедленно заявило о том, что документы поддельные: Zeman Z.A.B. Germany and the Revolution in Russia, 1915–1918. Lnd., 1958. P.X. Для дополнительной

информации см.: Kennan G. // The Journal of Modern History. V. XXVIII. № 2. 1956. June. P. 130–154. Результатом этих публикаций было то, что сама мысль о финансовой и политической поддержке, оказанной Германией ленинской партии, была дискредитирована на долгие годы.].

Доверенные люди в Берлине, используя надежных посредников, переправляли деньги большевистским агентам через нейтральную Швецию, причем никакие письменные документы — ни запросы, ни чеки — не оформлялись. После окончания второй мировой войны архивы министерства иностранных дел Германии были открыты, и это дало возможность подтвердить, что большевики получали дотации от Германии, и даже приблизительно оценить объем сумм, однако каким именно образом расходовались получаемые из Германии деньги, остается неясным. По словам верховного зодчего пробольшевистской политики Германии 1917–1918 годов, министра иностранных дел Рихарда фон Кюльмана, германские субсидии шли в основном на партийную организационную и пропагандистскую работу. В конфиденциальном сообщении, сделанном 3 декабря 1917 года, Кюльман оценивал вклад Германии в большевизм следующим образом: «Главную цель нашей дипломатии в войне составляло разрушение Антанты и последующее создание приемлемой для нас политической конъюнктуры. Россия, как нам представлялось, была слабейшим звеном во вражеской цепи. Поэтому нашей задачей стало постепенное ослабление и, по возможности, удаление этого звена. Таковы были цели подрывной деятельности, которую мы вели в России в тылу, — развитие сепаратистских тенденций и поддержка большевиков. Только получая от

нас существенную постоянную помощь (по разным статьям и через разные источники), большевики смогли создать свой главный орган — газету «Правда» — и вести через него энергичную пропаганду, а значит, расширить изначально узкую социальную базу своей партии»[92].

Общая сумма средств, выделенных Германией в 1917–1918 годах большевикам для захвата, а затем и удержания власти, оценивалась Эдуардом Бернштейном, имевшим хорошие связи в правительстве Германии, в «более чем 50 млн немецких марок золотом», [Цифры, приводимые Бернштейном, подтвердились, когда были открыты архивы министерства иностранных дел Германии после второй мировой войны. Обнаруженные там документы свидетельствуют: до 31 января 1918 г. правительство Германии выделило на «пропаганду» в России 40 млн. немецких марок. Сумма эта была израсходована к июню 1918 г., и было принято решение о выделении дополнительных 40 млн. немецких марок, хотя выплатили из них только 10 млн., и не все большевикам. Немецкая марка в то время соответствовала 4/5 царского рубля и приблизительно двум рублям 1917 г., т. н. «керенкам» (Baumgart W. Deutsche Ostpolitik, 1918. Vienna; Munich, 1966. S. 213–214. Note 19).]. что в то время соответствовало 6-10 млн долларов, то есть стоимости более чем 9 тонн золота[93]. Часть этих средств поступала через германские каналы большевистским агентам в Стокгольме, в основном — Якову Фюрстенбергу-Ганецкому. Ответственность за установление связей с большевиками была возложена на специалиста по русским делам посольства Германии в Стокгольме Курта Рицлера. По сведениям управления контрразведки Временного

правительства под командованием полковника Б.Никитина, предназначавшиеся для Ленина деньги помещались в Diskontogesellschaft в Берлине, откуда перемещались в Nye Bank в Стокгольме. Ганецкий для якобы деловых надобностей снимал деньги со счета в Nye Bank и помещал их на счет в Сибирском банке в Петрограде; счет был открыт на имя родственницы Ганецкого Евгении Суменсон, представительницы столичного полусвета. Вместе с одним из приспешников Ленина, поляком М.Я.Козловским, Суменсон держала в Петрограде фиктивное фармацевтическое производство, служившее крышей финансовым операциям Ганецкого. Передача германских денег Ленину была, таким образом, замаскирована под законное предпринимательство[94]. Арестованная в июле 1917 года, Суменсон показала, что передавала деньги, которые снимала со счета в Сибирском банке, Козловскому, члену большевистского Центрального Комитета[95]. По ее признанию, сумма, снятая ею с этой целью со счета в банке, достигала 750 000 рублей[96]. Суменсон и Козловский вели со Стокгольмом закодированную деловую переписку, часть которой была перехвачена правительством с помощью французской разведки. В качестве примера можно привести текст телеграммы: «Стокгольм из Петрограда Фюрстенберг Гранд Отель Стокгольм. Нестле не присылает муки. Хлопочите. Суменсон На-деждинская 36»[97].

Для субсидирования большевиков Германия использовала и другие средства, например, в Россию был организован тайный ввоз фальшивых десятирублевых банкнот. Большое количество этих фальшивых денег

было изъято у сочувствующих большевикам солдат и матросов, арестованных в связи с июльским путчем[98].

Ленин старался держаться в стороне от этих дел и поручал ведение финансовых операций с Германией своим подручным. Однако в письме, написанном Ганецкому и Радеку 12 апреля, он сетовал, что не получает денег. 21 апреля он сообщил Ганецкому, что Козловский передал ему 2 тыс. рублей[99]. По данным Никитина, Ленин связывался непосредственно с Парвусом, вымогая у того еще «побольше материалов». [Никитин Б. Роковые годы. Париж, 1937. С. 109–110. По словам автора, Коллонтай также участвовала в переправке денег Ленину из Германии, (с. 107–108). Несмотря на изобилие немецких источников, свидетельствующих о получении Лениным денег от Германии, некоторые исследователи до сих пор считают этот факт недоказанным. Среди них такой эрудированный специалист, как Борис Суварин (Souvarine B.//Est and Ouest. 1980. № 641. June. P. 1–5).]. Три таких послания были перехвачены на финской границе[100].

* * *

Керенский, убежденный, что судьба демократии в России зависит от сильной и дисциплинированной армии и что ослабший было армейский дух ничто не возродит так, как успешное наступление, с похвальным рвением принялся за выполнение обязанностей министра обороны. Генералы тоже полагали, что армия совсем развалится, если еще немного пробудет в бездействии[101]. Министр надеялся повторить чудо французской армии, которая в 1792 году остановила и обратила в бегство прусские войска и сплотила нацию вокруг

революционного правительства. В соответствии с обязательствами, принятыми Россией перед союзниками еще до февральской революции, на 12 июня было запланировано генеральное наступление. Изначально оно мыслилось как чисто военная операция, но теперь приобретало и политическое значение. Успешное наступление могло спасти престиж правительства и возродить в народе патриотизм, что, в свою очередь, позволило бы легче отражать нападки как слева, так и справа. Терещенко сообщил французам, что, если наступление пройдет успешно, правительство примет меры для подавления мятежных элементов в столичном гарнизоне[102].

Готовясь к наступлению, Керенский провел в армии реформы. М.В.Алексеев, быть может, лучший стратег в России, произвел на него впечатление пораженца, и он заменил его на А.А.Брусилова, героя кампании 1916 года. [По утверждению Брусилова, уже принимая командование, он знал, что в русской армии не осталось боевого духа и что наступление провалится (Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.; Л., 1929. С. 216).]. Он усилил воинскую дисциплину, дав офицерам широкие полномочия для борьбы с непокорными войсками. Подражая институту commissaires aux armes, введенному во французской армии в 1792 году, он послал на фронт комиссаров, чтобы они подняли боевой дух солдат и служили посредниками между солдатами и офицерами; этим нововведением большевики впоследствии стали широко пользоваться в Красной Армии. Большую часть мая и начало июня Керенский провел на фронтах, произнося зажигательные патриотические речи. Его выступления оказывали возбуждающее действие: «Слова «триумфальное шествие» недостаточно сильны, чтобы

описать поездку Керенского по фронтам. По силе возбуждения, которое она оставляла после себя, ее можно было сравнить со смерчем. Толпы выжидали часами, чтобы бросить на него один взгляд. Повсеместно путь его был усыпан цветами. Солдаты бежали мили за его автомобилем, стараясь пожать ему руку и поцеловать край его одежды. На встречах с ним в московских собраниях публика доходила до пароксизма энтузиазма и обожания. Трибуны, с которых он говорил, закидывали кольцами, браслетами, часами, военными медалями и банкнотами, которые его поклонники жертвовали на общее дело» [103]. Очевидец сравнивает Керенского с «вулканом, изрыгающим снопы всепоглощающего пламени», и пишет, что для него были «невыносимы никакие помехи между ним и аудиторией… Он хочет присутствовать перед вами целиком, с головы до ног, чтобы между ним и вами оставался только воздух, наполненный незримыми, но мощными потоками его и вашего взаимного притяжения. По этой причине он и слышать не хотел ни о трибунах, ни о кафедрах, ни о креслах. Он сходит с кафедры, взбирается на стол; когда он протягивает к вам руки — нервный, гибкий, пламенный, весь дрожащий в охватившем его молитвенном порыве, — вы чувствуете, как он дотрагивается до вас, сжимает вас своими руками, непреодолимо притягивает вас к себе»[104].

Воздействие речей Керенского, однако, испарялось, как только он покидал сцену: кадровые офицеры окрестили его «верховным уговаривающим». Как он потом вспоминал сам, в июне перед началом наступления состояние прифронтовых частей произвело на него двойственное впечатление. Немецкая и большевистская пропаганда не успела еще оказать

сильного влияния: к ней прислушивались в основном гарнизонные части и так называемые третьи дивизии — резервные части, укомплектованные новобранцами. Но повсеместно бытовало мнение, что революция делала бессмысленным продолжение войны. «После трех лет жестоких страданий, — писал Керенский, — миллионы уставших от войны солдат спрашивали себя: «Почему я должен умирать теперь, когда дома начинается новая, более свободная жизнь?»[105] Советы, институт, которому солдаты больше всего доверяли, не давали им ответа на этот вопрос, потому что социалистическое большинство приняло характерную для него противоречивую точку зрения: «Если прочитать любую типичную резолюцию, принятую меньшевистским и эсеровским большинством [Советов], в ней обязательно отыщется выражение крайне негативного отношения к войне как империалистической, требование скорейшего по возможности ее прекращения, а также пара ненавязчивых фраз, вставленных туда по настоятельному требованию Керенского, сомнительно логичных и не вызывающих в любом случае положительного отклика, о том, что, стремясь ко всеобщему миру, русским солдатам хорошо бы продолжать воевать»[106].

Большевики, не хуже правительства осведомленные об инертности и деморализованности гарнизонных частей, решили воспользоваться этим обстоятельством. 1 июня Военная организация проголосовала за проведение вооруженной демонстрации. Поскольку этот орган подчинялся Центральному Комитету, можно с уверенностью утверждать, что решение было принято с одобрения и, возможно, по инициативе последнего. 6 июня Центральный Комитет обсуждал возможность вывести на улицы 40 тыс. вооруженных солдат и

красногвардейцев, которые должны были нести лозунги, обличающие Керенского и коалиционное правительство, и в удобный момент «перейти в наступление»[107]. Что это значило на деле, сообщает Суханов, узнавший о планах большевиков от председателя Военной организации В.И.Невского:

«Ударным пунктом манифестации, назначенной на 10 июня, был Мариинский дворец, резиденция Вр. правительства. Туда должны были направиться рабочие отряды и верные большевикам полки. Особо назначенные лица должны были вызвать из дворца членов кабинета и предложить им вопросы. Особо назначенные группы должны были, во время министерских речей, выражать «народное недовольство» и поднимать настроение масс. При надлежащей температуре настроения Вр. правительство должно было быть тут же арестовано. Столица, конечно, немедленно должна была на это реагировать. И в зависимости от характера этой реакции, Центральный Комитет большевиков, под тем или иным названием, должен был объявить себя властью. Если в процессе «манифестации» настроение будет для всего этого достаточно благоприятно и сопротивление Львова—Церетели будет невелико, то должно было быть подавлено силой большевистских полков и орудий». [Суханов Н. Записки о революции. Т. 4. Берлин, 1922. С. 319. Суханов не указывает источник информации, но Борис Николаевский, занимавшийся историей меньшевиков, пришел к выводу, что она могла быть получена только от Невского (Соц. вестник. 1962. N99/10. С. 135, примеч.). Церетели обращает внимание на то, что в 1922-м, когда Суханов опубликовал свои мемуары, все участники событий были живы и могли опровергнуть его

сообщение, но никто из них не сделал такой попытки (Церетели И.Г. Воспоминания о февральской революции. Т. 2. Париж; Гаага, 1963. С. 185).]. Среди прочих демонстранты должны были нести лозунг «Вся власть Советам!», но, поскольку Советы отказались провозглашать себя правительством и запретили вооруженные демонстрации, лозунг этот, как справедливо отмечает Суханов, мог означать только одно: что власть должна была перейти к большевистскому Центральному Комитету[108]. Демонстрация совпала по времени с Первым всероссийским съездом Советов, который открылся 3 июня, поэтому можно думать, что большевики собирались поставить съезд перед свершившимся фактом и затем либо заставить его против воли взять власть, либо захватить власть самостоятельно — от имени съезда. Ленин и не делал секрета из своих намерений. Когда Церетели заявил на съезде, что в России нет партии, желающей взять власть, Ленин выкрикнул с места: «Есть!» Этот эпизод стал легендарным в коммунистической агиографии.

За четыре дня до начала запланированной большевиками демонстрации, 6 июня, большевистское руководство собралось, чтобы сделать последние приготовления. О происходившем на этой конференции мы можем судить только по урезанным протоколам, из которых тщательно вымарана самая существенная часть — ленинские реплики[109]. Идея путча встретила мощное сопротивление. Оппозицию возглавил Каменев, который еще в апреле критиковал Ленина за «авантюризм». Операция, сказал он, наверняка провалится, вопрос же о передаче власти Советам следует оставить на рассмотрение съезда. В.П.Ногин, представлявший

московское отделение Центрального Комитета, выразился еще определеннее: «Ленин предлагает революцию. Можем ли это сделать? Мы в стране в меньшинстве. Наступления в два дня не подготовляются». К оппозиции присоединился и Зиновьев, заявивший, что планируемая операция ставит партию в крайне уязвимое положение. Активно поддержали предложение Ленина Сталин, секретарь Центрального Комитета Е.Д.Стасова и Невский. Аргументация Ленина до нас не дошла, но по ответам Невского можно с уверенностью заключить, чего тот добивался.

Петроградский Совет и съезд Советов, от лица которого должна была проводиться демонстрация, пребывали в полном неведении.

9 июня большевистские агитаторы отправились в казармы и на фабрики, чтобы проинформировать солдат и рабочих о назначенной на следующий день демонстрации. «Солдатская правда», орган Военной организации, опубликовала подробные инструкции для участников демонстрации. Редакционная статья заканчивалась словами: «Война до победного конца против капиталистов!»[110]

Съезд, заседавший все это время, был увлечен прениями, и там ничего не знали о приготовлениях большевиков вплоть до того момента, когда что-либо предпринимать было уже поздно. Впервые участники съезда прочли о готовящемся мероприятии в середине дня 9 июня в листовках, расклеенных большевиками. Представители всех партий, за исключением, конечно же, большевиков, немедленно проголосовали за постановление об отмене демонстрации и выслали

агитаторов в рабочие кварталы и казармы, чтобы сообщить об этом.

Вечером того же дня большевики собрались, чтобы осмыслить ситуацию. В результате дискуссии, о которой не осталось никаких письменных свидетельств, они решили покориться воле съезда и демонстрацию отложить. Кроме того, они согласились принять участие в мирной (то есть невооруженной) манифестации, назначенной Советами на 18 июня. Очевидно, большевистская верхушка сочла несвоевременным бросать вызов руководству Советов.

Большевистский переворот был предотвращен, но победа, одержанная Советами, была сомнительна, поскольку у них недостало мужества сделать из происшедшего необходимые выводы. 11 июня около ста интеллигентов-социалистов, представлявших в Совете все партии включая большевиков, собрались для обсуждения событий двух предшествовавших дней. Выступивший от лица меньшевиков Ф.И.Дан подверг большевиков критике и выдвинул проект резолюции, запрещавшей каким бы то ни было партиям проводить демонстрации без ведома Советов и разрешавшей привлекать вооруженные отряды только там, где демонстрацию организовали сами Советы. Наказанием за нарушение этих правил должно было быть выведение из Советов. Ленин в тот день предпочел отсутствовать, и от имени большевиков выступил Троцкий, который незадолго перед тем вернулся в Россию и, хотя и не был еще формально членом партии, стоял очень близко к большевикам. В ходе дискуссии против резолюции Дана, которая показалась ему слишком робкой, выступил Церетели. Бледный, дрожащим от возбуждения голосом он выкрикивал: «То, что произошло, является не чем

иным, как заговором, заговором для низвержения правительства и захвата власти большевиками, которые знают, что другим путем эта власть им никогда не достанется. Заговор был обезврежен в момент, когда мы его раскрыли. Но завтра он может повториться. Говорят, что контрреволюция подняла голову. Это неверно. Контрреволюция не подняла голову, а поникла головой. Контрреволюция может проникнуть к нам только через одну дверь: через большевиков. То, что делают теперь большевики, это уже не идейная пропаганда, это заговор. Оружие критики сменяется критикой оружия. Пусть же извинят нас большевики, теперь мы перейдем к другим мерам борьбы. У тех революционеров, которые не умеют достойно держать в своих руках оружие, нужно это оружие отнять. Большевиков надо обезоружить. Нельзя оставить в их руках те слишком большие технические средства, которые они до сих пор имели. Нельзя оставить в их руках пулеметов и оружия. Заговоров мы не допустим». [Правда. 1917. 13 июня. Заседание было закрытым, и других записей не сохранилось. Церетели, однако, подтвердил, что приведенная цитата из «Правды» правильно передает его речь, с некоторыми незначительными упущениями (Церетели. Воспоминания. С. 229–230).].

Кое-кто поддержал Церетели, но большинство выступало против. Разве он располагал доказательствами, говоря о большевистском заговоре? Большевики представляют собой истинно массовое движение — зачем их разоружать? Неужели он хочет оставить «пролетариат» безоружным?[111] С особенной яростью обрушился на Церетели Мартов. На следующий день социалисты проголосовали за мягкую резолюцию Дана, обозначив тем самым, что они не собираются

разоружать большевиков и ликвидировать их подрывной аппарат. Это было пагубным малодушием. Ленин бросил открытый вызов Советам, а Советы уступили. Большинство предпочитало оставаться в убеждении, что большевики — настоящая социалистическая партия, правда, пользующаяся сомнительными средствами, а не контрреволюционная группа, рвущаяся к захвату власти, как считал Церетели. Так социалисты упустили возможность объявить большевиков вне закона, лишить их мощного политического оружия — права утверждать, что они действуют от лица и в интересах Советов и против общего врага.

Большевики тут же воспользовались этим малодушием. На следующий день после провала резолюции Церетели «Правда» поставила Советы в известность о том, что большевики не намерены ни в настоящем, ни в будущем подчиняться их приказам: «Мы считаем необходимым заявить, что, входя в Совет и борясь за переход в его руки всей власти, мы ни на минуту не отказывались в пользу принципиально враждебного нам большинства Совета от права самостоятельно и независимо пользоваться всеми свободами для мобилизации рабочих масс под знаменем нашей классовой пролетарской партии. Мы категорически отказываемся налагать на себя такие антидемократические ограничения и впредь. *Если бы даже государственная власть целиком перешла в руки Совета,* — а мы за это стоим, — и Совет попытался бы наложить оковы на нашу агитацию, это могло бы заставить нас *не пассивно подчиниться,* а пойти навстречу тюремным и иным карам во имя идей интернационального социализма, которые нас отделяют от вас»[112]. Это было настоящее объявление войны

Совету, утверждение себя вправе действовать независимо от Совета, даже если он станет правительством.

* * *

16 и 17 июня русская армия, щедро укомплектованная на средства союзников ружьями и патронами, вела артиллерийский обстрел и вслед за этим перешла в наступление. Главная сила удара русских пришлась на Южный фронт и была нацелена на Львов, столицу Галиции. Отличилась Восьмая армия под командованием Корнилова. Вспомогательные и наступательные операции были проведены на Центральном и Северном фронтах. Как и рассчитывало правительство, наступление вызвало рост патриотических настроений. В этой атмосфере большевики не осмелились выступить против проведения этой кампании: ни Ленин, ни Троцкий не осудили резолюций в ее поддержку, принятых июньским съездом Советов[113].

Операция русских против Австрии активно разворачивалась в течение двух дней, но затем произошла заминка, поскольку войска, считая, что они уже выполнили свой долг, отказались подчиняться приказам и идти в атаку. Вскоре началось повальное бегство. Немцы, в очередной раз пришедшие на выручку своим попавшим в затруднительное положение австрийским союзникам, предприняли 6 июля контратаку. Русские войска при виде немецких мундиров стали беспорядочно отступать, мародерствуя и сея панику. Июньское наступление было последним вздохом русской армии.

После июля 1917 года старая русская армия не участвовала в значительных операциях, и поэтому здесь уместно подвести итог потерям, понесенным Россией в первой мировой войне. Из-за низкого уровня русской военной статистики трудно определить с достаточной точностью число человеческих жертв. Данные, приводимые в любом расхожем источнике, говорят, что Россия понесла больше потерь, чем любая из воевавших сторон: Кратвелл, например, утверждает, что Россия потеряла 1,7 млн убитыми и 4,95 млн ранеными. Это несколько превосходит потери Германии и много выше потерь Англии и Франции, хотя последние находились в войне на шестнадцать месяцев дольше, чем Россия. Другие иностранные источники оценивают число убитых в 2,5 млн человек[114]. Эти цифры сильно завышены. Официальные русские источники оценивали число военных потерь 775 400 человек. Позднейшие русские исследования обозначают число потерь более высокой цифрой: 900 тыс. убитых на поле брани и 400 тыс. умерших от ран, итого 1,3 млн. жертв, что равнозначно потерям Франции и Австрии, но на треть меньше, чем потери Германии[115].

Россия оставила в руках врага несравненно большее число пленных, чем любое другое государство. В лагерях для военнопленных в Германии и Австрии содержались 3,9 млн. русских, что в три раза превосходило общее число пленных (1,3 млн.), оставленных армиями Великобритании, Франции и Германии[116]. Только австро-венгерская армия, потерявшая 2,2 млн. солдат пленными, выдерживала сравнение. На каждую сотню русских, павших в боях, приходилось 300 сдавшихся в плен. В английской армии на 100 убитых приходилось 20 пленных, во французской — 24, в немецкой — 26[117].

Другими словами, русские солдаты сдавались в плен в 12–15 раз чаще, чем западные.

Провал июньского наступления стал личной катастрофой для Керенского, который рассчитывал с его помощью объединить разобщенную страну вокруг себя и правительства. Проиграв все, он сделался подозрительным, раздражительным, испытывал все большую растерянность. В таком состоянии он начал совершать непростительные ошибки, и это превратило его из обожаемого вождя в козла отпущения, одинаково презираемого и левыми и правыми.

В атмосфере деморализации и отчаяния, вызванной провалом июньского наступления, Ленин и его соратники предприняли еще одну попытку устроить путч.

* * *

Ни о каком другом событии русской революции не сказано и не написано столько преднамеренной лжи, сколько об июльском восстании 1917 года, и все потому, что восстание это было самым грубым ленинским промахом, ошибкой, которая чуть не привела к уничтожению партии большевиков: по масштабу это можно приравнять к Пивному путчу Гитлера в 1923 году. Чтобы снять с себя ответственность и представить июльский путч стихийной демонстрацией, которую они якобы старались направить в мирное русло, большевики не останавливались ни перед чем.

События 3–5 июля были ускорены решением правительства отослать части Петроградского гарнизона на фронт в связи с ожидающимся контрнаступлением. Вызванное главным образом военными соображениями,

решение это позволяло одновременно вывести из столицы части, наиболее сильно поддавшиеся большевистской пропаганде. Большевикам это сулило беду, поскольку угрожало лишить их тех сил, на которые они рассчитывали опереться при следующей попытке захватить власть[118]. В ответ на события они организовали яростную пропагандистскую кампанию в частях гарнизона, нападая на «буржуазное» правительство, обличая «империалистическую» войну и призывая солдат отказываться идти на фронт. Ни одна страна даже с демократическими традициями не потерпела бы подобного призыва к мятежу во время войны.

Основную поддержку большевики рассчитывали получить со стороны Первого пулеметного полка — самой большой части гарнизона, насчитывавшей 11 340 рядовых и около 300 офицеров, в значительной части принадлежавших к «левой» интеллигенции. Многие из них были переведены в этот полк из других частей за несоответствие должности, некомпетентность и неповиновение[119]. Размещенный на Выборгской стороне, вблизи фабрик с радикально настроенными рабочими, полк находился на грани мятежа. Военная организация большевиков опиралась в нем на ячейку из тридцати человек (в их число входили и младшие офицеры), которых регулярно обучали методам агитационной работы[120]. В полк часто приезжали с выступлениями большевики и анархисты.

20 июня в полк поступил приказ отправить на фронт 500 пулеметных расчетов. На следующий день войска собрались на митинг и приняли резолюцию (судя по содержанию, подсказанную большевиками), что отправятся на фронт, если война будет носить

революционный характер, а из правительства будут выведены все «капиталисты» и власть перейдет к Совету. Если, говорилось далее в резолюции, Временное правительство попытается раскассировать полк, он окажет сопротивление[121]. В другие части гарнизона были разосланы люди с просьбой о подкреплении.

Большевики, игравшие основную роль в этом мятеже, опасались, что преждевременные действия могут вызвать взрыв патриотического негодования. У них было достаточно врагов, готовых активизироваться при первом же удобном случае: по словам Шляпникова, «нашим единомышленникам нельзя было показаться в одиночку на Невском, не рискуя своей жизнью»[122]. Поэтому тактика большевиков должна была совмещать наглость с осмотрительностью: чтобы поддерживать высокий уровень напряжения, они вели усиленную агитацию среди солдат и рабочих, но одновременно сдерживали всякие импульсивные действия, которые могли выйти из-под их контроля и повлечь за собой антибольшевистский погром. 22 июня «Солдатская правда» обратилась к солдатам и рабочим с призывом воздерживаться от демонстраций без прямых указаний со стороны партии: «К выступлению Военная организация не призывает. Военная организация, в случае необходимости, призовет к выступлению в согласии с руководящими учреждениями нашей партии — Центральным Комитетом и Петербургским комитетом»[123]. Советы даже не упоминались. Эти призывы к сдержанности, которые впоследствии коммунистические историки любили приводить как свидетельство того, что партия большевиков не несла никакой ответственности за июльские восстания, ничего, конечно, не доказывают:

они всего лишь свидетельствуют, что партия хотела держать события под своим жестким контролем.

Первая волна недовольства в полку была погашена тем, что большевики отговорили его от демонстрации и Совет отказался утвердить его резолюцию. Смирившись, полк выделил 500 пулеметных расчетов для отправки на фронт[124].

Тем временем правительство совместно с Советом занималось подавлением нарождающегося недовольства в Кронштадте. Гарнизон этой военно-морской базы находился под сильным влиянием анархистов, но политическую его ориентацию определяли большевики во главе с Ф.Ф.Раскольниковым и С.Г.Рошалем [125]. Моряки предъявляли свои претензии к правительству, — в частности, оно силой выдворило анархистов из особняка бывшего министра П.Н.Дурново, который те захватили и превратили в свой штаб после февральской революции. Анархисты так бесчинствовали в особняке, что 19 июня были посланы войска очистить здание от непрошенных квартирантов и арестовать буянов[126]. Подстрекаемые анархистами, матросы угрожали выступить 23 июня на Петроград и освободить пленников. Объединенными усилиями Совета и большевиков их также удалось усмирить.

Несмотря на то, что Первый пулеметный полк держали в узде, в нем непрестанно велась распаляющая пропаганда. Большевики призывали передать всю власть Советам, а затем провести перевыборы в Советы, после чего там водворятся исключительно большевики; это, по их обещанию, должно было способствовать немедленному заключению мира. Они также призывали к «уничтожению буржуазии». Анархисты же подстрекали

войска «громить милюковские улицы Невский и Литейный»[127].

* * *

По воспоминаниям В.Д.Бонч-Бруевича, вечером 29 июня на его даче в Ниволе неподалеку от финского города Выборг, куда можно было легко добраться пассажирским поездом из Петрограда, появился неожиданный гость. Это был Ленин. Он объяснил, что, «по конспиративной привычке» ехал кружным путем, чрезвычайно устал и нуждается в отдыхе[128]. Поведение Ленина было странным, для него нехарактерным. Ему не было свойственно устраивать себе каникулы посреди важных политических событий, даже когда у него имелось больше оснований чувствовать себя усталым, например, зимой 1917/1918 годов. Объяснение выглядело вдвойне подозрительным, если учесть, что через два дня должна была открываться конференция Петроградской большевистской организации. И можно было только строить предположения, почему Ленин не хотел на ней присутствовать. «Конспиративное» его поведение тоже представляло загадку, так как у него не было видимой причины скрывать свои передвижения. Очевидно, причину его внезапного исчезновения из Петрограда следует искать в другом: наверняка до него дошли слухи, что правительство, имея достаточно сведений о его финансовых отношениях с Германией, намерено его арестовать.

Капитан французской разведки Пьер Лоран передал 21 июня в русскую контрразведку четырнадцать перехваченных сообщений, свидетельствующих о сношениях большевиков Петрограда с агентурой в

Стокгольме и об их сговоре с врагом; чуть позднее он представил еще пятнадцать документов[129]. Правительство отложило арест большевиков, так как рассчитывало захватить главного агента Ленина в Стокгольме — Ганецкого — во время его следующего приезда в Россию с обличающими документами[130]. Однако поведение Керенского после мятежа позволяет предположить, что за медлительностью правительства стояло нежелание ссориться с Советами.

Несмотря на все проволочки, к концу июня правительство располагало достаточным числом улик для возбуждения дела, и был отдан приказ об аресте в течение недели двадцати восьми главных большевиков[131].

Кто-то из членов правительства предупредил Ленина об опасности. Скорее всего, здесь можно подозревать того самого поверенного Петроградской судебной палаты Н.С.Каринского, который, по сообщению Бонч-Бруевича, 4 июля предупредил большевиков, что министерство собирается сделать публичное заявление о предъявлении Ленину обвинения в шпионаже в пользу Германии[132]. Ленина могло также напугать, что 29 июня агенты разведки начали следить за Суменсон[133]. Ничем иначе нельзя объяснить неожиданное исчезновение Ленина из Петрограда и тайное бегство в Финляндию, где он становился недоступен для русской полиции. [Ленину было известно уже в середине мая, что правительство перехватывает его переписку со Стокгольмом. На страницах «Правды» 16 мая он поддевал «слуг кадетов», которые, хотя и «хозяйничали на русско-шведской границе», все же, по его словам, не всегда перехватывали письма и

телеграммы (Ленин. ПСС. Т. 32. С. 103–104. Ср.: Зиновьев // Пролетарская революция. 1927. № 8/9. С. 57).].

Ленин скрывался в Финляндии с 29 июня до раннего утра 4 июля, когда разразился большевистский путч. Роль его в приготовлениях к июльским событиям установить нельзя. Но отсутствие Ленина на месте событий вовсе не означает, что он в них не принимал участия: осенью 1917 года он тоже будет скрываться в Финляндии и все-таки сыграет самую активную роль в принятии решений, приведших к октябрьскому перевороту.

Июльскую операцию ускорило то, что в Пулеметный полк поступили сведения о решении правительства раскассировать его и всех людей отправить на фронт. [Лучше всего роль полка в июльских событиях представил, опираясь на архивные документы, П.М.Стулов в «Красной летописи» (1930. № 3(36). С. 64–125; Ср: Trotsky L. The History of the Russian Revolution. V. 2. N.Y., 1937. P. 17).]. 30 июня Совет пригласил представителей полка для обсуждения их проблем с военными властями. В продолжение того же дня полковые «активисты» проводили собрания. Настроение людей, уже и до того напряженное, достигло истерического накала.

2 июля большевики организовали в Народном доме совместное заседание с полком[134]. Все выступавшие не от полка ораторы были большевиками, среди них Троцкий и Луначарский; Зиновьев и Каменев были также заявлены в программе, но не появились, возможно, как и Ленин, боясь ареста[135]. Обращаясь к аудитории более чем в 5000 человек, Троцкий поносил правительство за июньское

наступление и требовал передачи власти Советам. Он не смог привести убедительных аргументов, объясняя войскам, почему не следует подчиняться правительству, но Военная организация настояла, чтобы собрание приняло резолюцию именно в этом духе: в ней говорилось, что Керенский «воскрешает старые приемы Николая Кровавого», и содержалось требование передать власть Советам[136].

Солдаты вернулись в казармы в сильном возбуждении. Споры шли всю ночь. Многие высказывались за переход к насильственным действиям: один из заявленных лозунгов был «Бить буржуев»[137].

Погром надвигался. Несколько растерявшиеся большевики собрались в доме Кшесинекой, чтобы решить, присоединиться к бунту или попытаться его остановить. Некоторые считали, что войска уже не удержишь и большевикам надо их возглавить, другие утверждали, что поднимать мятеж рано[138]. И тогда и потом большевикам трудно было сделать выбор между желанием прийти к власти на волне массовых выступлений и страхом, что стихийное насилие спровоцирует враждебную реакцию народа, первой жертвой которой станут они сами.

Ротные и полковые комитеты Пулеметного полка провели 3 июля еще несколько встреч; атмосфера их напоминала деревенскую сходку накануне крестьянского восстания. Говорили в основном анархисты, самым видным из которых был И.С.Блейхман — «с расстегнутой на груди рубахой и разметанными во все стороны курчавыми волосами»[139], призывавший войска выходить на улицы с оружием в руках и поднять вооруженное восстание. Цели этого действия анархисты не объясняли:

«Цель покажет улица»[140]. Выступавшие вслед за анархистами большевистские агитаторы не спорили с ними и только настаивали, что, прежде чем начать действовать, полк должен испросить инструкции у большевистской Военной организации.

Однако войска, твердо решившие уклониться от фронтовой повинности и до исступления взвинченные анархистами, уже не хотели медлить: единогласно было принято решение выходить на улицы при полном вооружении. Для проведения демонстрации был избран Временный революционный комитет под председательством большевика лейтенанта А.Я.Семашко. Все это произошло между двумя и тремя часами дня.

Семашко и его подручные, часть из которых входила в Военную организацию, выслали в город патрули, чтоб выяснить, принимает ли правительство контрмеры. Одновременно им поручалось конфисковывать автомобили. Семашко направил людей на фабрики, в казармы и в Кронштадт.

Реакция на появление посыльных Семашко была неоднозначной. Несколько подразделений гарнизона согласились выступить: это были подразделения первого, третьего, сто семьдесят шестого и сто восьмидесятого пехотных полков[141]. Остальные выступить отказались. Преображенский, Измайловский, Семеновский гвардейские полки объявили «нейтралитет»[142]. В Первом пулеметном полку многие роты, несмотря на угрозы применить физическое насилие, проголосовали за то, чтобы выждать и не выступать сразу. В результате только половина состава полка, около 5000 человек, приняла участие в путче. Воздержались от выступления и многие фабричные рабочие.

Мы не располагаем документами, необходимыми, чтобы судить о реакции большевиков на развитие событий. В конце того же месяца Сталин в докладе VI съезду партии заявил, что в 4 часа пополудни 3 июля ЦК выступил против проведения вооруженной демонстрации[143]. Троцкий подтверждает заявление Сталина[144]. Действительно, вполне возможно, что большевистские вожаки вначале выступали против, опасаясь, что такая демонстрация, проведенная под их лозунгами, но без их прямого участия и руководства, окончится провалом. К тому же в тот момент они были лишены ленинской поддержки. Трудно, однако, прийти к окончательному выводу, не ознакомившись с текстами протоколов.

Как только Исполком узнал о предполагаемой демонстрации, он призвал солдат от нее отказаться[145]: у него не было ни малейшего желания свергать правительство и принимать власть, которую большевики так настойчиво пытались ему вручить.

Тем же вечером в Исполнительный комитет Кронштадтского Совета явились два депутата-анархиста от Пулеметного полка — дикой наружности и, по всей видимости, неграмотные[146]. Они поставили Совет в известность, что их полк, совместно с другими воинскими частями и фабричными рабочими, выходит на улицы требовать передачи власти Советам, и просили вооруженного подкрепления. Председатель Исполнительного комитета ответил, что матросы не станут принимать участия в демонстрации, не одобренной Петроградским исполкомом. Тогда посланные заявили о намерении обратиться непосредственно к матросам. Слух разошелся, и от 8000

до 10 000 матросов собрались, чтобы выслушать истерический рассказ о том, как правительство преследует анархистов[147]. Матросы склонялись выступить на Петроград: цель пока не была определена, но очевидно, что мысль бить и, попутно, грабить буржуев их посещала. Рошалю и Раскольникову удалось задержать матросов на некоторое время и связаться с большевистским штабом. После телефонных переговоров со штабом Раскольников объявил матросам, что партия большевиков приняла решение участвовать в вооруженной демонстрации, и присутствующие моряки единодушно проголосовали за присоединение к ней. [Раскольников// Пролетарская революция. 1923. № 5(17). С. 60. Рошаль был убит антикоммунистами в декабре 1917 г. Раскольников, член партии с 1910 г. и зампред Кронштадтского Совета с 1917 г., занимал в 1920-х и 1930-х гг. различные дипломатические посты за границей. Вызванный в Москву в 1939 г., отказался вернуться и отправил Сталину открытое письмо, вслед за чем был объявлен врагом народа. Умер в том же году во Франции при загадочных обстоятельствах.].

Делегаты пулеметчиков отправились на Путиловский завод, где им удалось привлечь на свою сторону многих рабочих[148].

К семи часам вечера те части Пулеметного полка, которые проголосовали за участие в демонстрации, собрались в казармах. Передовые группы в конфискованных автомобилях с установленными на них пулеметами уже были рассредоточены в центре Петрограда. В восемь часов солдаты подошли к Троицкому мосту, где слились с мятежными отрядами других полков. В десять вечера мятежники перешли

мост. В этот момент их видел В.Д.Набоков: у них были, говорит он, «те же безумные, тупые, зверские лица, какие мы все помним в февральские дни»[149]. Перейдя мост, войска разделились на две колонны, одна из которых направилась к Таврическому, другая — к Мариинскому дворцу, где располагались, соответственно, Совет и правительство. По дороге случилось несколько беспорядочных выстрелов, в основном в воздух, и несколько случаев ограбления.

Руководство большевиков — Зиновьев, Каменев, Троцкий — одобрило решение об участии партии в восстании что-то около полудня 3 июля, то есть в тот момент, когда солдаты Пулеметного полка приняли резолюцию выходить на демонстрацию. В это время все трое находились в Таврическом дворце. В их планы входило взять под контроль рабочую секцию Совета, от ее имени объявить о передаче Совету власти и поставить Исполком, солдатскую секцию и Пленум перед свершившимся фактом. Поводом должно было послужить непреодолимое якобы давление со стороны масс[150].

Следуя плану, большевики в тот же день организовали мини-путч в рабочей секции. Здесь, как, впрочем, и в солдатской секции, они были в меньшинстве. Потребовав от Исполкома незамедлительного созыва чрезвычайной сессии рабочей секции на три часа дня, большевистская фракция не оставила времени, чтобы оповестить членов секции от эсеров и меньшевиков. Сами же они, конечно, явились все как один, что и обеспечило им временное большинство. Зиновьев открыл заседание требованием к Совету принять на себя всю полноту правительственной власти. Присутствовавшие меньшевики и эсеры

возражали ему и требовали, чтобы большевики помогли остановить Пулеметный полк. Когда большевики отказались это сделать, меньшевики и эсеры покинули заседание, оставив своих противников распоряжаться по их усмотрению. Последние избрали Бюро рабочей секции, а оно незамедлительно одобрило предложенную Каменевым резолюцию, которая начиналась так: «Ввиду кризиса власти рабочая секция считает необходимым настаивать на том, чтобы Всер, съезд СРС и К. Деп. взял в свои руки всю власть»[151]. Всероссийского съезда, конечно, не существовало даже на бумаге. Призыв был ясен: Временное правительство должно быть свергнуто.

Покончив с этим, большевики отправились в дом Кшесинской для встречи с Центральным Комитетом. В десять часов вечера, когда совещание уже должно было начаться, подошла колонна мятежных войск. Как пишут коммунистические источники, Невский и Подвойский вышли на балкон и призывали солдат вернуться в казармы, за что были освистаны. [Владимирова В. // Пролетарская революция. 1923. № 5(17). С. 11–13; Свердлов Я.М. // История СССР. 1957. № 2. С. 126. Донесения правительственной комиссии, назначенной для расследования июльского мятежа, опубликованы Д.А.Чугаевым (Революционное движение в России в июле 1917 г. М, 1959. С. 95–96). Приведенные там речи большевиков свидетельствуют, что они вели себя воинственно.]. Большевики все еще колебались. Им не терпелось выступить, но тревожила возможная реакция на переворот прифронтовых частей: несмотря на усиленную пропаганду, большевикам удалось вызвать симпатии только в нескольких полках, в первую очередь — в Латышском стрелковом. Большая часть боевых сил сохраняла верность Временному правительству. Даже

настроение Петроградского гарнизона было далеко не очевидно[152]. Тем не менее рост беспорядков и информация о том, что тысячи путиловских рабочих с женами и детьми собрались перед Таврическим дворцом, заставили их побороть свои сомнения. В 11 часов 40 минут вечера, когда восставшие войска разошлись по казармам и в городе был восстановлен порядок, Центральный Комитет принял резолюцию, призывающую к свержению Временного правительства с помощью оружия: «Обсудив происходящие сейчас в Петербурге события, заседание находит: создавшийся кризис власти не будет разрешен в интересах народа, если революционный пролетариат и гарнизон твердо и определенно немедленно не заявит о том, что он за переход власти к С. Р. и Кр. Деп. С этой целью рекомендуется немедленное выступление рабочих и солдат на улицу для того, чтобы продемонстрировать выявление своей воли»[153].

Цель большевиков была недвусмысленна, но тактика, как всегда, отличалась осторожностью, и наготове был запасной ход, чтобы спасти лицо. Участник событий М.И.Калинин писал: «Перед ответственными партийными работниками встал деликатный вопрос: «Что это — демонстрация или что-то большее? Может, это начало пролетарской революции, начало захвата власти?» В то время это казалось очень важным, и они очень донимали [Ленина]. Он отвечал: «Посмотрим, что будет, сейчас сказать ничего нельзя!» <…> Это было в действительности смотром революционных сил, их числа, качества, активности <…> Этот смотр мог оказаться и решительной схваткой, все зависело от соотношения сил и от целого ряда случайностей. На всякий случай, как бы страховкой от неприятных неожиданностей, решением

командующего было: посмотрим. Это вовсе не закрывало возможности бросить полки в бой при благоприятном соотношении или, с другой стороны, отступить с наименьшими, по возможности, потерями, что и случилось 4 июля». [Калинин М.И. // Красная газета. 1920. 16 июля. Поскольку Ленин в описанных событиях участия не принимал, Калинин, видимо, пересказывает разговор следующего дня. Ср. рассуждение, приведенное Раскольниковым (Пролетарская революция. 1923. № 5(17). С. 59). Тактическая уловка большевиков не ускользнула от меньшевиков. Церетели описывает инцидент, произошедший днем 3 июля после того, как Сталин выступил в Исполкоме с сообщением, что большевики делают все возможное, чтобы не допустить выхода солдат и рабочих на улицы. Улыбаясь, Чхеидзе повернулся к Церетели: «Теперь положение довольно ясно». «Я его спросил, — продолжает Церетели, — в каком смысле он считает положение ясным». «В том смысле, — ответил Чхеидзе, — что мирным людям незачем заносить в протокол заявлений об их мирных намерениях. Очень похоже, что нам придется иметь дело с так называемым стихийным выступлением, к которому большевики примкнут, заявив, что нельзя оставлять массы без руководства» (Церетели. Воспоминания. Т. 1. С. 267).].

Центральный комитет вверил руководство операцией, назначенной на 4 июля, Военной организации во главе с Подвойским[154]. Всю следующую ночь Подвойский и его помощники провели на фабриках и в сочувствующих большевикам воинских частях, побуждая к участию в намеченном мероприятии и давая распоряжения относительно маршрутов. Из большевистского штаба в доме Кшесинской звонили в

Кронштадт с просьбой прислать вооруженное подкрепление[155]. Вооруженная манифестация была назначена на десять часов утра[156].

4 июля «Правда» вышла с большим незапечатанным пятном на первой странице, наглядно доказывающим, что статья Каменева и Зиновьева, призывающая массы к сдержанности, была ночью из номера изъята[157]. Если Ленин и принимал важные решения в эту ночь, мы о них ничего не знаем. Большевистские историки утверждают, что в тот момент он наслаждался тишиной и покоем финской деревни и ни малейшего понятия не имел о том, что делают его коллеги. Считается, что о предпринятых большевиками действиях Ленин впервые узнал от курьера в шесть часов утра, после чего немедленно отбыл в столицу в сопровождении Крупской и Бонч-Бруевича. Если учесть, что сторонники Ленина никогда не предпринимали ничего важного без его личного одобрения, версия эта кажется малоубедительной, тем более, что данное действие было связано с грандиозным риском. Известно также от Суханова (см. ниже), что в ночь перед восстанием Ленин написал в «Правду» статью по этому вопросу; это была, вероятно, статья «Вся власть Советам», опубликованная 5 июля[158].

* * *

О замыслах большевиков Временному правительству стало известно уже 2 июля. 3-го оно обратилось в штаб Пятой армии, расквартированной в Двинске, с просьбой прислать войска. Но войска выделены не были — отчасти потому, что социалисты из Совета, чье согласие было необходимо, не решались прибегнуть к силе[159]. Рано

утром 4 июля командующий Петроградским военным округом генерал П.А.Полов-цев вывесил объявления, запрещающие вооруженные демонстрации и «предлагающие» воинским частям «приступить немедленно к восстановлению порядка»[160]. Штаб армии попытался собрать силы, достаточные для подавления уличных беспорядков, но выяснилось, что опереться не на кого: 100 человек из Преображенского гвардейского полка, одна рота из Владимирской военной академии, 2000 казаков, 50 инвалидов — вот все, что удалось набрать. Остальные части гарнизона не выразили ни малейшего желания противостоять мятежным войскам[161].

День 4 июля начинался мирно, но жутковатая тишина пустынных улиц вызывала нехорошие предчувствия. В одиннадцать часов утра солдаты Пулеметного полка и красногвардейцы в автомобилях заняли ключевые точки города. В это же время в Петрограде высадилось от 5000 до 6000 вооруженных кронштадтских матросов. Командовавший высадкой Раскольников удивлялся позже, что правительство не попыталось остановить высадку силой, накрыв один-два корабля из береговых орудий[162]. Моряки получили инструкции сразу после высадки на пирс возле Николаевского моста отправляться к Таврическому дворцу. Но когда они уже выстроились на набережной, посыльный большевиков сообщил, что приказ изменили и им надлежит отправляться к дому Кшесинской. На протесты присутствовавших там эсеров никто не обратил внимания, и эсерка Мария Спиридонова, собиравшаяся говорить перед моряками, осталась без слушателей. Вытянувшись в длинную колонну с военным оркестром во главе, с лозунгами «Вся власть Советам!», моряки пересекли Васильевский остров и по Биржевому мосту,

через Александровский парк направились к большевистскому штабу. Там к ним обратились с балкона Я.М.Свердлов, Луначарский, Подвойский и М.М.Лашевич. Ленин, прибывший в дом Кшесинской незадолго до появления моряков, не выказал никакого желания выступить, что было ему несвойственно. Вначале он отказался появляться перед матросами, сославшись на плохое самочувствие, но потом дал себя уговорить и обратился к собравшимся с коротким приветствием. Он говорил, как «счастлив видеть то, что происходит, как теоретический лозунг, брошенный два месяца тому назад, о переходе всей власти Советам рабочих и солдатских депутатов, претворяется сейчас в жизнь»[163]. Даже эти осторожно подобранные слова не оставили ни в ком сомнения, что большевики осуществляли государственный переворот. С этого момента и вплоть до 26 октября Ленин больше публично не выступал.

Матросы отправились к Таврическому дворцу. Суханов так передает рассказ Луначарского о происходившем в штабе большевиков после их ухода: «Ленин в ночь на 4 июля, посылая в «Правду» плакат с призывом к мирной манифестации, имел определенный план государственного переворота. Власть, фактически передаваемая в руки большевистского Ц.К., официально должна быть воплощена в «советском» министерстве из выдающихся и популярных большевиков. Пока что было намечено три министра: Ленин, Троцкий и Луначарский. Это правительство должно было немедленно издать декреты о мире и о земле, привлечь этим все симпатии миллионных масс столицы и провинции и закрепить этим свою власть. Такого рода соглашение было решено между Лениным, Троцким и Луначарским. Это состоялось тогда, когда кронштадтцы направились от дома

Кшесинской к Таврическому дворцу <…> акт переворота должен был произойти так. 176-й полк, пришедший из Красного Села, тот самый, который Дан расставлял в Таврическом дворце на караулы, должен был арестовать ЦИК. К тому времени Ленин должен был приехать на место действия и провозгласить новую власть». [Суханов. Записки. Т. 4. С. 511–512. После того как Суханов в 1920 г. опубликовал свои воспоминания, Троцкий выступил с яростными опровержениями, а затем, подстрекаемый Троцким, то же сделал и Луначарский. Последний отправил Суханову письмо, в котором оценивал его сообщение как абсолютно безосновательное и предупреждал, что публикация эта может иметь для Суханова, «как для историка, неприятный результат» (Там же. С. 514–515). Суханов, однако, отречься от написанного не захотел, настаивая, что правильно привел сказанные ему Луначарским слова. В том же году Троцкий и сам признал во французском коммунистическом издании, что июльские события были задуманы как захват власти — т. е. учреждение большевистского правительства: «Мы ни на мгновение не усомнились, что эти июльские дни были прелюдией к победе» (Bulletin Communiste. Paris. 1920. № 10. 20 May. P. 6; Drachkovitch M.M., Lazitch B. Lenin and the Comintern. V. 1. Stanford, Calif, 1972. P. 95).].

Матросы, предводительствуемые Раскольниковым, двигались вниз по Невскому. К ним присоединились низшие чины сухопутных и красногвардейцы. Впереди, по бокам и позади колонны ехали броневики. Люди несли полотнища с лозунгами, подготовленные большевистским Центральным Комитетом[164]. Когда колонна повернула на Литейный, в сердце «буржуйского» Петрограда, по ней были сделаны первые

выстрелы. Колонна в панике рассыпалась во все стороны, ведя беспорядочный ответный огонь (некто, наблюдавший эту сцену из окна, сделал фотоснимок, ставший одним из редких фотосвидетельств насилия в русской революции). Когда стрельба прекратилась, демонстранты перегруппировались и вновь двинулись к Таврическому дворцу, но шли, уже не сохраняя строя, держа ружья наизготовку. К Совету прибыли к четырем часам пополудни и были встречены громким ликованием солдат Пулеметного полка.

Большевики привели к Таврическому дворцу путиловских рабочих (их численность оценивается по разным источникам в 11–25 тыс. человек). [Никитин (Роковые годы. С. 133) приводит более низкую цифру; «История Путиловского завода, 1801–1917» (М, 1961. С. 626) называет цифру более высокую. Оценка, данная Троцким, — 80 тыс. (History. V. 2. P. 29) является чистой фантазией.]. К толпе присоединялись рабочие с других фабрик, отряды военных, и постепенно она разрослась до нескольких десятков тысяч человек. [Большевистские источники приводят цифру в 500 тыс. и более демонстрантов (Владимирова В. // Пролетарская революция. 1923. № 5(17). С. 40), но она сильно преувеличена: принимавшая участие в демонстрации толпа не превышала одной десятой от этого числа. Анализ поведения гарнизонных частей, принимавших участие в событиях, показывает, что активны были 15–20 % войск или менее (см.: Кочаков В.И. // Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та. 1956. № 205. С. 65–66; Соболев Г.Л. // Ист. зап. 1971. № 88. С. 77). Большевики и тогда и позднее сильно преувеличивали число демонстрантов, чтобы подтвердить свое заявление, что не они вели «массы», но последние оказывали на них давление (см.

воспоминания очевидца: Соболев А. // Речь. 1917. 5 июля. № 155 (3, 897))]. События происходили как бы стихийно, но вся масса жестко направлялась и управлялась большевистскими агентами, смешавшимися с народом. Милюков так описывал разворачивавшуюся перед дворцом картину: «Таврический дворец сделался настоящим центром борьбы. В течение целого дня к нему подходили вооруженные части, раздраженно требовавшие, чтобы Совет взял, наконец, власть. В 2 часа началось заседание солдатской секции, но оказалось, что из 700 членов собралось только 250 человек. Заседание не успело закончиться, когда (в 4 часа дня) зал потребовался для соединенного заседания Советов. Как раз к этому времени подошли к Таврическому дворцу кронштадтцы и пытались ворваться во дворец. Они требовали министра юстиции Переверзева для объяснений, почему арестован на даче Дурново кронштадтский матрос Железняков и анархисты. Вышел Церетели и объявил враждебно настроенной толпе, что Переверзева нет здесь и что он уже подал в отставку и больше не министр. Первое было верно, второе неверно. Лишившись непосредственного предлога, толпа немного смутилась, но затем начались крики, что министры все ответственны друг за друга, и сделана была попытка арестовать Церетели. Он успел скрыться в дверях Дворца. Из дворца вышел для успокоения толпы Чернов. Толпа тотчас бросилась к нему, требуя обыскать, нет ли у него оружия. Чернов заявил, что в таком случае он не будет разговаривать с ними. Толпа замолкла. Чернов начал длинную речь о деятельности министров-социалистов вообще и своей, как министра земледелия, в частности. Что касается министров — к.-д., то «скатертью им дорога». Чернову

кричали в ответ: «Что же вы раньше этого не говорили? Объявите немедленно, что земля переходит к трудящемуся народу, а власть — к Советам». Рослый рабочий, поднося кулак к лицу министра, исступленно кричал: «Принимай, с. с, власть, коли дают». Среди поднявшегося шума несколько человек схватили Чернова и потащили к автомобилю. Другие тащили ко дворцу. Порвав на министре пиджак, кронштадтцы втащили его в автомобиль и объявили, что не выпустят, пока Совет не возьмет всю власть. В зал заседания ворвались возбужденные рабочие с криком: «Товарищи, Чернова избивают». Среди суматохи Чхеидзе объявил, что товарищам Каменеву, Стеклову, Мартову поручается освободить Чернова. Но освободил его подъехавший Троцкий: кронштадтцы его послушались. В сопровождении Троцкого Чернов вернулся в залу». [Милюков. История второй русской революции. Т. 1. София, 1921. С. 243–244. Другие версии инцидента с Черновым см.: Владимирова В. // Пролетарская революция. 1923. № 5 (17). С. 34–35; и Раскольников. С. 69–71.].

Ленин тем временем без помех добрался до Таврического дворца, где и затаился, готовясь, смотря по тому, как сложатся события, либо принять власть, либо объявить всю демонстрацию стихийным взрывом народного негодования и исчезнуть. Раскольникову показалось, что он был доволен[165].

События разворачивались не только у дворца. Пока толпы сходились к местоположению Советов, небольшие вооруженные отряды под руководством Военной организации оккупировали стратегически важные пункты. Шансы большевиков резко возросли, когда на их сторону перешел гарнизон Петропавловской крепости,

числом до 8000 человек. Моторизованные отряды большевиков заняли типографии некоторых антибольшевистских газет; самая откровенная, «Новое время», была занята анархистами. Другие отряды взяли под контроль Финляндский и Николаевский вокзалы; на Невском и прилегающих улицах были установлены пулеметные гнезда, что отрезало штаб Петроградского военного округа от Таврического дворца. Один вооруженный отряд атаковал отделение контрразведки, в котором хранились материалы о сношениях Ленина с Германией[166]. Ни один из этих отрядов не встретил сопротивления. По мнению газеты «Наш век», в этот день Петроград перешел в руки большевиков[167].

Все было подготовлено для формального переворота: по видимости — от лица Советов, в действительности — в пользу большевиков.

В преддверии этого венчающего события большевики отобрали делегацию «представителей» пятидесяти четырех фабрик, которые должны были обратиться в Таврический дворец с прошением о передаче власти Советам. Несколько делегатов прорвались в комнату, где заседал Исполком. Некоторым из них дали слово. Мартов и Спиридонова поддержали высказанное ими требование, причем Мартов заявил, что это воля истории[168]. В тот момент, казалось, восставшие готовы были захватить помещение Совета. Совет не мог противостоять этой угрозе: вся его охрана состояла из шести часовых[169].

И все же большевики не нанесли последнего удара. Почему — из-за неорганизованности, нерешительности, или того и другого вместе, — сказать трудно. Б.В.Никитин объясняет неспособность большевиков в тот

момент взять власть плохой подготовкой: «Восстание произошло экспромтом, оно не было подготовлено, что видно положительно из всех действий противника. Полки и большие отряды не знали своих ближайших задач даже на главном пункте. Им говорили с балкона дома Кшесинской: «Идите к Таврическому дворцу, возьмите власть». Они пошли и, пока ждали обещанного дополнительного приказания, ряды их смешались между собой. Наоборот, 10–15 человек на грузовиках, броневики, маленькие команды на автомобилях сохраняли полную свободу действий, имели господство в городе, но также не получили конкретных задач, чтобы захватить опорные пункты, как вокзалы, телефонные станции, продовольственные магазины, арсеналы, все двери которых были открыты настежь. Улицы заливались кровью, но руководства не было…». [Никитин. Роковые годы. С. 148. Невский говорит, что Военная организация, учитывая возможность поражения, специально держала половину своих сил в резерве (Красноармеец. 1919. Окт. № 10 (15). С. 40).].

Однако по здравом размышлении становится ясно, что большевики потерпели неудачу вовсе не из-за недостатка сил или плохой подготовки: современники событий в один голос уверяют, что город можно было взять голыми руками. Скорее, причиной послужило то, что «верховный главнокомандующий» в последнюю минуту занервничал. Ленин попросту не мог прийти ни к какому решению; по словам Зиновьева, бывшего с ним бок о бок все эти дни, он постоянно размышлял вслух, пора или не пора «попробовать», и в конце концов решил, что не пора[170]. По какой-то причине у него недостало мужества для последнего шага; возможно, его сдерживала мысль о нависшей над ним опасности в связи

с выявлением его сговора с Германией. Позднее, когда Троцкий и Раскольников оказались соседями по тюремной камере, Троцкий проронил слова, которые Раскольников принял за косвенную критику в адрес Ленина: «Пожалуй, мы сделали ошибку. Следовало бы попытаться захватить власть» [171].

* * *

В то время, когда происходили эти события, Керенский находился на фронте. Напуганные министры ничего не предпринимали. Ревущая многотысячная вооруженная толпа перед Таврическим дворцом, вид мчащихся в неизвестных направлениях машин с солдатами и матросами, понимание того, что гарнизон взбунтовался, — все это наполняло их чувством безысходности. П.Н.Переверзев вспоминал, что правительство фактически оказалось в плену: «Не арестовал же я 4 июля до опубликования документов главарей восстания только потому, что они в этот момент фактически уже арестовали часть Временного правительства в Таврическом дворце, а кн. Львова, меня и заместителя Керенского могли арестовать без всякого риска для себя, если бы их решимость хотя бы в десятой доле равнялась их преступной энергии»[172].

В этой отчаянной ситуации Переверзев решил опубликовать часть имеющейся в его распоряжении информации о связях Ленина с Германией, надеясь, что это вызовет в войсках резкую антибольшевистскую реакцию. Он уже две недели пытался предать эти сведения гласности, но кабинет препятствовал ему на том основании, что (как было сказано в меньшевистской газете) «необходима была осторожность, когда речь шла

о лидере большевистской партии»[173]. Позднее Керенский обвинял Переверзева в «непростительной» ошибке, которую тот допустил, опубликовав материалы о Ленине, но сам он, узнав 4 июля о волнениях, побуждал Львова «ускорить опубликование сведений, имеющихся в руках министра иностранных дел»[174]. Предварительно посовещавшись с полковником Б.В.Никитиным и генералом П.А.Половцевым, Переверзев пригласил в свою канцелярию более восьмидесяти представителей находящихся в городе и под Петроградом воинских частей и журналистов. Было пять часов вечера, возбуждение вокруг Таврического дворца достигло критической точки, и большевистский переворот, казалось, случится с минуты на минуту. [Новая жизнь. 1917. 7 июля. № 68. С. 3. Воспоминания Переверзева о событиях содержатся в его письме в редакцию «Нового времени» (1917. 9 июля. № 14 (822). С. 4). Известно также, что он опубликовал свои воспоминания в «Последних новостях», 31 окт. 1930 г., но этот номер газеты мне достать не удалось.]. Приберегая самые ценные свидетельства для возможного будущего процесса над лидерами большевиков, Переверзев представил только часть имевшихся у него доказательств, самые неубедительные. Выступил лейтенант Д.Ермоленко, не очень уверенно рассказавший, как, будучи в немецком плену, слышал, что Ленин работает на Германию. Эти показания с чужих слов дискредитировали правительство, особенно в глазах социалистов. Переверзев представил также часть информации о большевистских финансовых отношениях с Берлином, осуществляемых через Стокгольм. Неблагоразумно он поступил и обратившись к Г.А.Алексинскому, когда-то скомпрометированному

большевистскому депутату Думы, с просьбой подтвердить истинность слов Ермоленко[175].

Сотрудник министерства юстиции Н.С.Каринский, сочувствующий большевикам, немедленно предупредил их о планах Переверзева[176], после чего Сталин обратился в Исполком с требованием остановить распространение «клеветнической» информации о Ленине. Чхеидзе и Церетели послушно обзвонили редакции петроградских газет, требуя от имени Исполкома воздержаться от публикации правительственного сообщения. Так же поступил кн. Львов; то же сделали М.И.Терещенко и Н.В.Некрасов. [Живое слово. 1917. 8 июля, № 54 (407). Ср.: Ленин. Поли. собр. соч. Т. 32. С. 413. Львов предупреждал редакторов, что преждевременное разоблачение может позволить виновному скрыться.]. Все газеты кроме одной выказали послушание. Исключение составила многотиражная газета «Живое слово», вышедшая на следующее утро с аншлагом «Ленин, Ганецкий и К° — шпионы», под которым помещалось сообщение Ермоленко и подробности, касающиеся денежных сумм, посылаемых немцами Козловскому и Суменсон через Ганецкого[177]. Под статьей стояла подпись Алексинского. Плакаты с текстом того же содержания были расклеены по всему городу.

Весть о разоблачении связей Ленина с Германией была разнесена по частям представителями полков, побывавшими у Переверзева, и сильно поразила войска: их мало интересовало, кто будет править Россией — Временное правительство совместно с Советом или один Совет, но к сотрудничеству с врагом они относились принципиально иначе. То, что Ленин проехал через

вражескую территорию, усугубило подозрения и крайне восстановило против него войска; солдаты так возненавидели Ленина, рассказывал Церетели, что ему пришлось просить защиты у Исполкома.

Первыми к Таврическому дворцу прибыли части Измайловского гвардейского полка, за ними подошли отдельные отряды Преображенского и Семеновского полков; семеновцев сопровождал военный оркестр. Появились казацкие части. Увидав приближающиеся войска, толпа перед Таврическим дворцом стала в панике разбегаться, некоторые искали прибежища в самом дворце.

Тем временем во дворце шла дискуссия между Исполкомом и представителями фабрик. Меньшевики и эсеры тянули время, надеясь, что им на помощь подоспеет правительство. Внезапно во дворец ворвались лояльные законной власти военные отряды и вышвырнули большевистских ходатаев вон[179].

Насилия применено было мало, поскольку восставшие разбегались сами. Раскольников выделил 400 матросов для охраны дома Кшесинской, а остальным приказал возвращаться в Кронштадт. Поначалу моряки уходить отказывались, но, когда их окружили численно превосходящие и враждебно настроенные лояльные Временному правительству войска, уступили. К полночи площадь возле Таврического дворца была от толпы очищена.

Неожиданный поворот событий привел большевиков в полное смятение. Ленин из Таврического бежал еще до появления войск — как только услыхал от Карийского о действиях Переверзева. По его отбытии большевики, посовещавшись, решили путч прекратить[180]. Еще в

полдень они делили министерские портфели, а шестью часами позже пришлось думать, как спасти свою жизнь. Ленин считал, что все потеряно. «Теперь они нас перестреляют, — говорил он Троцкому. — Самый для них подходящий момент»[181]. Следующую ночь он провел в доме Кшесинской под защитой матросов Раскольникова. На рассвете 5 июля, когда уличные торговцы начали разносить свежие номера «Живого слова», Ленин и Свердлов выскользнули из особняка и укрылись в частной квартире, принадлежавшей их приятелю. В течение следующих пяти суток Ленин был в подполье, меняя местоположение дважды на день. Другие лидеры большевиков, за исключением Зиновьева, оставались на виду, рискуя быть арестованными, а в некоторых случаях даже требуя, чтобы их арестовали. 6 июля правительство издало приказ об аресте Ленина и его десяти сообщников по обвинению их в «государственной измене и организации вооруженного мятежа». [Kerensky A. The Crucifixion of Liberty. N.Y., 1934. P. 324. Аресту подлежали: Ленин, Зиновьев, Коллонтай, Козловский, Суменсон, Парвус, Ганецкий, Раскольников, Рошаль, Семашко, Луначарский. Троцкий в списке не значился, по-видимому потому, что не был еще членом большевистской партии (он присоединился к ней только в конце июля). Его арестовали позже.]. Сразу были задержаны Суменсон и Козловский. В ночь с 6-го на 7 июля солдаты пришли к Стеклову и стали угрожать выломать дверь и избить его. Стеклов позвонил в Исполком, прося помощи, и для его охраны было выделено два броневика. Керенский также выступил в его защиту[182]. В ту же ночь солдаты появились в квартире Анны Елизаровой, сестры Ленина. Пока они обыскивали комнату, Крупская кричала им: «Жандармы!

Совсем как при старом режиме!»[183] Охота за большевистскими вожаками шла несколько дней. Отрядом, досматривавшим частные автомобили, был задержан Каменев: назревавший самосуд остановил командующий Петроградским военным округом Половцев: он не только освободил Каменева, но дал ему машину, чтобы добраться до дома[184]. В конце концов около 800 участников мятежа были взяты под стражу. [Зарудный // Новая жизнь. 1917. 15 авг. № 101. Никитин в «Роковых годах» (с. 158) утверждает, что арестованных было более 2000 человек.]. Насколько можно судить, ни один большевик не пострадал физически. Однако большевистскому имуществу был причинен значительный ущерб. 5 июля были разгромлены редакция и типография «Правды». Штаб большевиков в доме Кшесинской был разогнан, матросы разоружены, — они не оказали при этом сопротивления. Петропавловская крепость сдалась.

6 июля Петроград был окончательно усмирен войсками гарнизона и солдатами, только что вернувшимися с фронта.

Центральный Комитет большевиков опубликовал 6 июля категорический протест против обвинения Ленина в государственной измене и потребовал расследования[185]. Исполком пошел навстречу, назначив специальную комиссию из пяти человек. Но случилось так, что все пятеро оказались евреями, и поскольку это могло бросить на комиссию тень подозрения в том, что ее состав был подобран в интересах Ленина, и вызвать неудовольствие «контрреволюционеров», ее вообще распустили, а другой не назначили.

Надо сказать, что Совет так и не проявил интереса к предъявленным Ленину обвинениям и ничто не

помешало ему вынести окончательное решение в пользу обвиняемых. Несмотря на то, что ленинский путч был направлен в равной мере и против Совета и против правительства (поскольку с мая они были тесно связаны), Исполком так и не смог взглянуть правде в глаза. Как писала кадетская газета, хотя социалистическая интеллигенция и называла большевиков предателями, «в то же время, как ни в чем не бывало, они оставались для нее товарищами, она продолжала с ними совместно работать и всячески их улещивала и урезонивала»[186]. И тогда, и вначале, и позже большевики оставались для меньшевиков и эсеров заблудшими друзьями, а противники большевиков — контрреволюционерами. Они опасались, что обвинения, выдвинутые против большевиков, станут предлогом для нападок и на Совет, и на все социалистическое движение. Меньшевистская газета «Новая жизнь» приводит слова Дана: «Сегодня изобличен большевистский комитет, завтра под подозрение возьмут Совет Рабочих Депутатов, а там и война с революцией будет объявлена священной»[187]. Газета скопом отвергала все обвинения, выдвинутые правительством против Ленина, обвиняла «буржуазную печать» в «гнусной клевете» и «диких воплях». [4 августа Церетели предложил, а Исполком утвердил заявление протеста против преследования лиц, принимавших участие в июльских событиях, — на том основании, что такое преследование полагало начало «контрреволюции» (Новая жизнь. 1917. 6 авг. № 94).].

Она призывала выставить к позорному столбу тех (подразумевая, очевидно, Временное правительство), кто прибегает к «заведомо и сознательно лживому ошельмованию видных вождей рабочего класса»[188].

Среди социалистов, бросившихся защищать Ленина и называющих выдвинутые против него обвинения «клеветой», был и Мартов. Все заявления социалистов нисколько не основывались на фактах: Исполком ни разу не обратился к правительству с просьбой представить доказательства обвинений и не проводил собственного расследования.

Больше того, Исполком приложил невероятные усилия, чтобы вывести большевиков из-под удара правительства. Уже 5 июля делегация от Исполкома отправилась в дом Кшесинской обговорить с большевиками условия мирного завершения дела. Сошлись на том, что против партии не будет проводиться никаких репрессий и будут отпущены на свободу все арестованные в связи с событиями последних двух дней[189]. Затем Исполком потребовал от Половцева воздержаться от штурма большевистского штаба, хотя это являлось его непосредственной обязанностью[190]. Также была принята резолюция, воспрещавшая публикацию каких бы то ни было правительственных сообщений, содержавших обвинения против Ленина[191].

Ленин написал в свою защиту несколько коротеньких статей, в письме, опубликованном в «Новой жизни» и подписанном им совместно с Зиновьевым и Каменевым, он клялся, что не получал «ни копейки» от Ганецкого и Козловского ни для себя лично, ни для партии. Вся история была выставлена новым делом Дрейфуса или Бейлиса, сфабрикованным Алексинским с подачи контрреволюционеров[192]. 7 июля Ленин заявил, что отказывается предстать перед судом, поскольку в складывающихся обстоятельствах ни он, ни Зиновьев не ждут к себе справедливого отношения[193].

Ленин всегда был склонен переоценивать решительность своих противников. Он был убежден, что партия погибла и, как Парижская коммуна, обречена лишь вдохновлять будущие поколения. Он подумывал, не перенести ли снова партийный центр за границу — в Финляндию или даже в Швецию[194]. Каменеву на хранение было отдано теоретическое завещание — рукопись работы «Марксизм и революция» (позднее положенной в основу «Государства и революции») — с указаниями опубликовать ее, если автор будет убит[195]. После того как поймали и едва не убили Каменева, Ленин решил больше не рисковать. В ночь с 9-го на 10 июля он сел в поезд на маленькой пригородной железнодорожной станции и в сопровождении Зиновьева отбыл в деревню, где и спрятался.

Побег Ленина в тот момент, когда партии грозило полное уничтожение, многими социалистами был воспринят как дезертирство. По словам Суханова, «исчезновение Ленина под угрозой ареста и суда есть факт сам по себе заслуживающий внимания. В Ц.И.К. никто не ожидал, что Ленин «выйдет из положения» именно таким способом. Его бегство вызвало в наших кругах огромную сенсацию и обсуждалось горячо и долго на все лады. Среди большевиков находились тогда единицы, которые высказывали одобрение поступку Ленина. Но большинство советских людей отнеслось к нему с резким порицанием. Мамелюки и советские лидеры громко кричали о своем благородном негодовании. Оппозиция хранила свое мнение про себя. Но это мнение сводилось к решительному осуждению Ленина — с точки зрения политической и моральной. <…> бегство пастыря в данной обстановке не могло не явиться тяжелым ударом по овцам. Ведь массы,

мобилизованные Лениным, несли на себе все бремя ответственности за июльские дни <…> А «действительный виновник» бросает свою армию, своих товарищей и ищет личного спасения в бегстве!»[196]

Суханов добавляет, что побег Ленина выглядел особенно предосудительно оттого, что ни жизни его, ни личной свободе ничто не угрожало.

Керенский, возвратившийся в Петроград 6 июля, страшно разгневался на Переверзева и подписал приказ о его отставке. Переверзев, с его точки зрения, «навсегда потерял возможность установить в окончательной мере измену Ленина и подкрепить ее документальными свидетельствами»[197]. В этом заявлении видится попытка Керенского найти себе оправдание, так как сам он по возвращении в Петроград также не смог предпринять решительных действий против Ленина и его приспешников. То, что не было сделано никакой попытки «установить в окончательной мере измену Ленина», можно объяснить желанием успокоить социалистов, вставших на его защиту; это было «соглашением между Советом и правительством, которое уже потеряло поддержку кадетов и не могло себе позволить выступить теперь против Советов». [Abraham R. Alexander Kerensky. N.Y., 1987. P. 223–224. Переверзев был снят с должности по инициативе Некрасова и Терещенко на рассвете 5 июля, но еще два дня исполнял свои обязанности.].

Соображение это определило поведение Керенского и в июле, и в последующие месяцы.

Керенский теперь замещал Львова на посту премьер-министра, оставаясь одновременно военным и морским министром. Он повел себя как диктатор и, чтобы подчеркнуть свое новое положение, переехал в Зимний

дворец, где спал на постели Александра III и работал за его письменным столом[198]. 10 июля он предложил Корнилову принять командование над вооруженными силами. Затем он приказал разоружить и раскассировать части, принимавшие участие в июльских событиях; гарнизон предполагалось сократить до 100 тыс. человек, остальные должны были отправиться на фронт. Были приняты меры, чтобы «Правда» и другие большевистские издания не доходили до частей на фронте.

Однако, несмотря на проявленную решимость, Временное правительство не сделало того единственного шага, который только и мог уничтожить партию большевиков: не устроило публичного процесса, на котором можно было представить все имевшиеся в его распоряжении свидетельства изменнической деятельности большевиков. Для подготовки судебного дела была назначена комиссия под руководством нового министра юстиции А.С.Зарудного. Комиссия прилежно собирала материалы (объем их к началу октября составлял уже восемьдесят томов), но судебное преследование так и не было возбуждено. Произошло это по двум причинам: из-за боязни контрреволюции и нежелания выступать против Исполкома,

После июльского путча у Керенского зародилась навязчивая идея, что правые сделают попытку воспользоваться большевистской угрозой для монархического переворота. Обращаясь к Исполкому 13 июля, он призывал его отмежеваться от элементов, которые «своими действиями внушают силу контрреволюции», и заявлял, что «всякая попытка восстановить в России монархический образ правления будет подавлена самым решительным, беспощадным

образом»[199]. Известно, что его, как и многих социалистов, скорее напугало, чем обрадовало рвение, с которым лояльные войска подавляли июльский мятеж[200]. С его точки зрения, большевики являли собой угрозу лишь в той мере, в какой их лозунги и поведение провоцировали монархистов. Очевидно, руководствуясь именно этими соображениями, 7 июля он принял решение отправить царскую семью в Сибирь. В сопровождении ближайшего окружения, состоявшего из пятидесяти придворных и слуг, ночью 31 июля, соблюдая при этом строжайшую тайну, Романовых вывезли в Тобольск. К этому городу не подходила железная дорога, и оттуда было мало возможности бежать[201]. Момент, в который решение было принято — через три дня после большевистского путча и через день после возвращения Керенского в Петроград, — свидетельствует о том, что Керенский пытался предотвратить возможную попытку правых элементов использовать ситуацию в своих интересах и восстановить на троне Николая II. Таково было мнение посланника Великобритании[202].

К первому соображению тесно примыкало второе — Керенский не хотел ссориться с Исполкомом, где большевиков все еще считали достойными доверия членами, а все нападки на них — происками «контрреволюции». Меньшевики и эсеры в Совете неустанно обвиняли правительство в организации против Ленина «клеветнической кампании», требовали снять с большевиков все обвинения и выпустить на свободу арестованных.

Терпение, проявленное Керенским по отношению к большевикам, едва не свергшим его и его правительство, резко контрастировало с той запальчивой манерой,

которую он обнаружил в следующем месяце в отношении генерала Корнилова.

Возмущение большевиками, вызванное сообщением Переверзева, улеглось в результате полной пассивности и правительства и Исполкома. Боясь выдуманной контрреволюции «справа», они упустили уникальную возможность расправиться с настоящей контрреволюцией — слева. Большевики же вскоре оправились и возобновили борьбу за власть. По словам Троцкого, когда на съезде Третьего Интернационала Ленин признал, что партия наделала немало глупостей в борьбе с врагом, «он имел при этом в виду преждевременность военного выступления» в июле 1917 года. «К счастью, — добавлял Троцкий, — нашим врагам не хватало еще ни такой последовательности, ни такой решимости»[203].

ГЛАВА 3

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Хищники должны обладать более высоким интеллектом,

чем животные, на которых они охотятся: это закон природы.

Из учебников естествознания

В то время опасность для нас исходила только с одной стороны [справа].

Александр Керенский[1].

В сентябре 1917 года, когда Ленин скрывался от полиции, руководство силами большевиков перешло к Троцкому, примкнувшему к партии двумя месяцами раньше. Игнорируя настойчивые требования Ленина немедленно осуществить захват власти, Троцкий избрал более эффективную в данных обстоятельствах стратегию, маскируя реальные намерения большевиков лозунгом передачи власти Советам. В совершенстве владея современной техникой государственных переворотов (которая, на самом деле была его изобретением), он твердо вел большевиков к победе.

Троцкий идеально дополнял Ленина. Он был способнее, ярче как личность, лучше говорил и писал,

мог повести за собой толпу. Ленин же был способен увлечь главным образом своих сторонников. Но Троцкий не пользовался популярностью в большевистской среде — отчасти из-за того, что поздно примкнул к партии, а до этого долгие годы обрушивался на большевиков с критикой, отчасти — из-за своего невыносимого высокомерия. В любом случае еврей Троцкий вряд ли мог рассчитывать на роль национального лидера в стране, где, независимо от любых революционных событий, евреи считались чужаками. В период революции и гражданской войны он был alter ego Ленина, его неизменным соратником. Но как только победа была достигнута, Троцкий стал помехой.

* * *

Событие, благодаря которому большевикам удалось оправиться от разгрома, пережитого в июле, составило один из наиболее странных эпизодов российской революции, известный как «дело Корнилова». [Найдется еще не много тем, привлекавших столь пристальное внимание исследователей русской революции. Соответственно, по этому предмету существует обширная литература. Основные источники опубликованы в кн.: Революционное движение в России в августе 1917 г.: Разгром Корниловского мятежа / Под ред. Д.А.Чугаева. М., 1959. С. 419–472; Авдеев Н. и др. Революция 1917 года: Хроника событий. Т. 4. Воспоминания Керенского см. в кн.: Дело Корнилова. Екатеринослав, 1918; воспоминания Бориса Савинкова — в кн.: К делу Корнилова. Париж, 1919. Из вторичных источников

назовем тенденциозную, но содержащую много документального материала книгу Е.И.Мартынова «Корнилов» (Л., 1927), «Историю второй русской революции» П.Н.Милюкова (Ч. 2. София, 1921) и Katkov G. The Kornilov Affair. Lnd.; N.Y., 1980.].

Генерал Лавр Георгиевич Корнилов родился в 1870 году в сибирской казацкой семье. Отец его был крестьянин и солдат, мать — домохозяйка. Своим плебейским происхождением Корнилов резко отличался от Керенского и Ленина, отцы которых принадлежали к высшему слою служилого дворянства. Юные годы его прошли среди казахов и киргизов, и он на всю жизнь сохранил привязанность к Азии и азиатам. Выйдя из военного училища, он поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил с отличием. Служба его началась в Туркестане, где он возглавил экспедиции в Афганистан и Персию. Корнилов овладел языками среднеазиатских народов и стал экспертом по проблемам российского пограничья в Азии. Он любил окружать себя телохранителями из текинцев, которые ходили в красных халатах. Он говорил с ними на их родном языке, а они называли его Уллу Бояр — Великий боярин. Корнилов участвовал в русско-японской войне и после этого был назначен военным атташе в Китае. В апреле 1915 года, командуя дивизией, он был серьезно ранен, попал в плен к австрийцам, однако бежал и вернулся в Россию. В начале 1917 года Временный комитет Думы обратился к Николаю II с просьбой назначить его командующим Петроградским военным округом. Этот пост он занимал до апреля, затем начались организованные большевиками волнения, и, отказавшись от должности, он уехал на фронт.

В отличие от большинства русских генералов, которые являлись прежде всего политиками, Корнилов был настоящим боевым офицером. О его отваге ходили легенды. При этом он имел репутацию тупицы, и М.В.Алексеев отозвался о нем как о человеке «с сердцем льва и мозгами барана», однако это несправедливо. Корнилова отличали живой практический ум и здравый смысл, хотя, как многие солдаты такого склада, он невысоко ставил политику и политиков. Говорили, что он придерживается «прогрессивных» взглядов, и у нас нет оснований сомневаться, что он презирал царский режим[2].

Еще в начале военной карьеры Корнилов выказывал склонность к неповиновению приказам начальства, что особо отчетливо проявилось после февраля 1917 года, когда он стал свидетелем развала русской армии и убедился в бессилии Временного правительства. Позднее его противники скажут, что он проявлял диктаторские замашки. Обвинение это можно принять только с определенными оговорками. Корнилов был патриотом, он готов был служить любому правительству, которое стало бы заботиться об интересах России, особенно во время войны, когда необходимо поддерживать порядок и делать все для победы. В конце лета 1917 года он пришел к заключению, что Временное правительство более не действует самостоятельно, ибо стало заложником социалистов-интернационалистов и вражеских агентов, окопавшихся в Совете. Будучи в этом убежден, он поддался на уговоры принять диктаторские полномочия.

После июльского путча Керенский обратился к Корнилову в надежде, что тот сможет восстановить дисциплину в армии и отразить контрнаступление немцев. В ночь с 7 на 8 июля он поручил Корнилову

командование Юго-западным фронтом, на который должен был прийтись главный удар противника, а три дня спустя, следуя совету своего помощника Бориса Савинкова, предложил ему пост Верховного главнокомандующего. Корнилов не торопился принимать это предложение. Он не видел смысла в том, чтобы брать на себя ответственность за ведение военных действий, пока правительство не возьмется всерьез за решение проблем, ставивших под вопрос судьбу всей военной кампании. Проблемы эти были двоякого рода: чисто военные и более широкие — политические и экономические. Проведя консультации с другими генералами, он нашел, что все они в общем согласны в определении мер, необходимых для восстановления боеспособности и военной мощи. Следовало распустить или существенно ограничить в правах армейские комитеты, введенные Приказом № 1; вернуть командирам дисциплинарные права; восстановить порядок в тыловых гарнизонах. Корнилов потребовал, чтобы в армии вновь была введена смертная казнь за дезертирство и мятеж — как на фронте, так и в тылу. Но он не остановился на этом. Зная о планах мобилизации в других воюющих странах, он потребовал такого же плана для России. Он также настаивал на необходимости подчинить военному командованию оборонную промышленность и транспорт — отрасли, во многом определяющие успех военных действий. Требуя полномочий, которых не имели его предшественники, он следовал примеру генерала Людендорфа, получившего в декабре 1916 года по сути диктаторские права, дававшие ему власть над экономикой Германии: благодаря этому можно было мобилизовать для победы все хозяйственные ресурсы страны. Программа, разработанная Корниловым

вместе с начальником Генерального штаба генералом А.С.Лукомским, стала главным источником конфликта между ним, как представителем всего офицерского корпуса и убежденным противником социализма, и Керенским, который вынужден был действовать под неусыпным надзором Совета. Конфликт этот был заведомо неразрешим, ибо представлял собой столкновение несовместимых начал: интересов России и интересов международного социализма. Как сказал Савинков, хорошо знавший обоих, Корнилов «любит свободу… Но Россия для него первое, свобода — второе. Как для Керенского… свобода, революция — первое, Россия — второе»[3].

19 июля Корнилов сообщил Керенскому условия, на которых он готов принять командование: 1) он будет отвечать только перед собственной совестью и перед народом; 2) он будет совершенно независим, отдавая приказы и производя назначения; 3) дисциплинарные меры, которые он обсуждал с правительством, включая смертную казнь, будут действовать также и для тыловых частей; 4) правительство примет предложения, выдвинутые им прежде[4]. Эти требования настолько рассердили Керенского, что он поначалу хотел взять назад свое предложение, но по зрелом размышлении решил отнести их на счет политической наивности генерала[5]. Он чрезвычайно нуждался в помощи Корнилова, ибо без армии власть его была эфемерной. Конечно, первое из четырех условий, выдвинутых Корниловым, граничило с дерзостью. Его, однако, можно объяснить желанием генерала избавиться от вмешательства Совета, который в Приказе № 1 заявил о своем праве отменять военные инструкции. Когда комиссар Керенского в ставке главнокомандующего эсер

М.М.Филоненко сказал Корнилову, что это требование «может вызвать серьезные опасения», если только «ответственность перед народом» не подразумевает ответственность перед Временным правительством, Корнилов ответил, что именно это он и имел в виду[6]. Тогда, как позднее, вплоть до окончательного разрыва с Керенским, «неповиновение» Корнилова относилось к Совету, но не к правительству.

Условия, на которых Корнилов соглашался принять командование вооруженными силами, просочились в печать, вероятно, не без помощи его офицера по связям с общественностью В.С.Завойко. Публикация их в «Русском слове» 21 июля произвела сенсацию, сделав Корнилова необыкновенно популярным в не-социалистических кругах и вызвав к нему столь же сильную ненависть со стороны левых[7].

Переговоры министра-председателя с генералом затянулись на две недели, и Корнилов приступил к новым обязанностям лишь 24 июля, получив заверения, что требования его будут удовлетворены.

В действительности, однако, Керенский не мог выполнить своих обещаний Корнилову, да и не стал бы их выполнять. Не мог он этого сделать, так как не был свободен в своих действиях, а должен был исполнять волю Исполкома, который рассматривал любые меры, направленные на восстановление армейской дисциплины (особенно в тылу) как «контрреволюционные» и отклонял их. Пойти на эти реформы означало поэтому для Керенского порвать с социалистами, которые были его главной политической опорой. Кроме того, он и сам не стал бы держать слова, ибо вскоре увидел в Корнилове опасного соперника. Попытка проникнуть в

мысли конкретного человека для историка всегда небезопасна, и все же, анализируя действия Керенского в июле и августе, трудно отделаться от впечатления, что он сознательно провоцировал конфликт со своим Верховным главнокомандующим, желая избавиться от единственного человека, угрожавшего его статусу лидера России и хранителя революции. [Такого же мнения придерживается и генерал Мартынов, который наблюдал эти события вблизи и изучал архивные материалы: Корнилов. С. 100. Ср.: Головин Н.Н. Русская контрреволюция в 1917–1918 гг. Т. 1. Ч. 2. Таллинн, 1937. С. 37.].

Борис Савинков, исполняющий обязанности военного министра, человек идеально подходивший в этой ситуации на роль посредника, поскольку был близко знаком и с Керенским, и с Корниловым, составил в начале августа проект программы из четырех пунктов, предполагавшей распространение смертной казни на тыловые части, милитаризацию железнодорожного транспорта, введение военного режима на предприятиях оборонной промышленности и восстановление дисциплинарных прав офицеров с соответствующим урезанием полномочий армейских комитетов[8]. По его словам, Керенский обещал подписать документ, но все откладывал это, пока, наконец, 8 августа не сказал, что «никогда и ни при каких обстоятельствах не подпишет законопроекта о смертной казни в тылу»[9]. Чувствуя, что его обманывают, Корнилов бомбардировал министра-председателя «ультиматумами», которые так раздражали Керенского, что он был готов уже сместить их автора[10]. Поскольку Корнилов знал, что Керенский заинтересован в возрождении армии, его бездействие убеждало генерала в том, что министр-председатель не

свободен, а является орудием в руках социалистов, часть которых, как было известно со времени июльского путча, состояла в сношениях с врагом.

Наскоки Корнилова ставили Керенского в сложное положение. С мая ему удавалось поддерживать неустойчивое равновесие в отношениях между правительством и Исполкомом: он предоставил последнему право законодательного вето и всеми правдами и неправдами старался с ним не конфликтовать, продолжая вместе с тем энергично вести войну, что обеспечивало ему поддержку либералов и даже умеренных консерваторов. Корнилов же хотел заставить министра-председателя совершить то, чего тот хотел бы любой ценой избежать: сделать выбор между левыми и правыми, между интересами международного социализма и интересами российского государства. Иллюзий на этот счет у Керенского не было: уступка требованиям Корнилова означала разрыв с Советом. 18 августа пленум Совета обсуждал по запросу большевиков предложение о восстановлении в армии смертной казни. Абсолютным большинством примерно в 850 голосов против 4 (Церетели, Дан, М.И.Либер и Чхеидзе) пленум принял резолюцию, отклонявшую введение во фронтовых частях смертной казни как «меры устрашения солдатских масс в целях порабощения их командным составом»[11]. Не было никаких шансов, что Совет одобрит распространение смертной казни на части, находившиеся вне зоны военных действий, не говоря уж об установлении военной дисциплины для работавших на транспорте и в оборонной промышленности.

Теоретически Керенский мог махнуть рукой на Совет и сделать ставку на либералов и консерваторов. Но такой вариант был для него невозможен, поскольку его

популярность в этих кругах, и так невысокая, особенно упала после июньского наступления и в результате той нерешительности, которую он выказал во время июльского путча. Когда 14 августа он появился на Московском государственном совещании, его приветствовали только левые, а правые встретили гробовым молчанием, припасая овации для Корнилова[12]. Либеральная и консервативная печать отзывалась о нем с нескрываемым презрением. Таким образом, у него не было выбора: он вынужден был опираться на левых, прислушиваясь к мнению социалистов-интернационалистов в Исполкоме и одновременно пытаясь — со все меньшим успехом и меньшей уверенностью — учитывать национальные интересы России.

Его желание задобрить левых проявилось не только в отказе подписать проект армейских реформ, но и в том, что он не принимал решительных мер против большевиков. Имея в руках множество убийственных свидетельств, он все же не стал преследовать руководителей июльского путча из уважения к мнению Исполкома Совета, считавшего обвинения против большевиков «контрреволюционными». Столь же тенденциозно отреагировал он и на предложение военного министерства арестовать «саботажников» военной кампании в России — как левых, так и правых. Он утвердил список на арест правых, но заколебался, перейдя ко второму списку, из которого вычеркнул более половины фамилий. Когда этот документ подали министру внутренних дел эсеру Н.Д.Авксентьеву, подпись которого тоже была необходима, тот утвердил первый

список, а из второго вычеркнул все оставшиеся фамилии, кроме двух — Троцкого и Коллонтай[13].

Керенский был крайне честолюбив и свое предназначение видел в том, чтобы стать вождем демократической России. Осуществить эту миссию он мог, лишь оперевшись на левые демократические силы — меньшевиков и эсеров, а для этого приходилось потворствовать их навязчивым страхам перед «контрреволюцией». Он не просто видел, — он не мог не видеть в Корнилове фигуру, вокруг которой сосредоточились все антидемократические силы. И хотя он прекрасно знал, что большевики намеренно устраивали вооруженные «демонстрации» в апреле, июне и июле, и мог легко уяснить, что замышляют в ближайшем будущем Ленин и Троцкий, тем не менее он убедил себя, будто российской демократии угрожает опасность не слева, а справа. Поскольку его нельзя заподозрить ни в глупости, ни в плохой осведомленности, остается предположить, что это устраивало его политически. Назначив Корнилова на роль российского Бонапарта, он отнесся некритично — даже и с излишним энтузиазмом — к слухам о широком контрреволюционном заговоре, якобы составленном друзьями и сторонниками Корнилова[14].

Шли драгоценные дни, а проект армейской реформы оставался неутвержденным. Зная, что немцы планируют вскоре возобновить наступательные операции, и надеясь сдвинуть преобразования с мертвой точки, Корнилов потребовал встречи с кабинетом министров. Он прибыл в столицу 3 августа. Обратившись к министрам, он начал с обсуждения положения дел в армии и хотел перейти к проблеме реформ, но Савинков прервал его, сказав, что

военное министерство уже работает над этим вопросом. Тогда Корнилов описал ситуацию на фронте и стал было рассказывать об операциях, которые готовил против немцев и австрийцев, но наклонившийся к нему Керенский шепотом предупредил его, чтобы он был осторожен[15]. Через минуту он получил такое же предупреждение от Савинкова. Этот инцидент потряс Корнилова и полностью подорвал его доверие к Временному правительству: впоследствии он неоднократно к нему возвращался, оправдывая этим свои действия. Предостережения Керенского и Савинкова он справедливо расценил как намек на то, что одного или нескольких министров подозревали в разглашении военных секретов. Возвратись в Могилев и все еще не оправившись от возмущения, Корнилов рассказал о происшедшем Лукомскому и спросил, что за правительство, на его взгляд, управляет Россией[16]. Он пришел к заключению, что министром, которого следовало опасаться, был В.М.Чернов: имелись подозрения, что тот передает конфиденциальные сведения своим товарищам в Совете, включая большевиков[17]. С этого дня Корнилов считал Временное правительство недостойным управлять страной. [Его убеждение, что в правительстве засели нелояльные элементы, а может быть, и вражеские агенты, подкреплял и тот факт, что в печать попал секретный меморандум, переданный им в это время правительству. Левая печать опубликовала отрывки из этого меморандума и развернула кампанию против Корнилова. См.: Мартынов. Корнилов. С. 48].

Вскоре после этих событий (6 или 7 августа) Корнилов отдал распоряжение генералу А.М.Крымову, командующему Третьим кавалерийским корпусом,

передислоцировать подчиненные ему части с румынского сектора на север и, приняв под командование дополнительные силы, занять позиции в Великих Луках, городе, находившемся на одинаковом расстоянии от Москвы и от Петрограда. Третий корпус состоял из двух казачьих дивизий и так называемой Дикой дивизии с Кавказа. Эти части были недоукомплектованы (Дикая дивизия насчитывала всего 1350 человек), но считались надежными. Удивленный этим решением Лукомский заметил, что Великие Луки находятся слишком далеко от линии фронта, чтобы можно было использовать эти части против немцев. Корнилов сообщил о своем намерении держать эти войска наготове для подавления возможного большевистского путча в Москве или Петрограде. Дивизии эти, заверил он Лукомского, не будут использованы против Временного правительства, а при необходимости части Крымова разгонят Совет, повесят его лидеров и расправятся с большевиками, — будь то с согласия правительства или без оного[18]. Он также сказал Лукомскому, что России нужна «твердая власть», способная спасти страну и армию: «Я не контрреволюционер. Я ненавидел старый режим, который тяжко отразился на моих близких. Возврата к старому нет и не может быть. Но нам нужна власть, которая действительно спасла бы Россию, которая дала бы возможность с честью закончить войну и довела бы Россию до Учредительного собрания… Среди нашего теперешнего правительства есть твердые люди, но есть и такие, которые губят дело, губят Россию; главное же — у нас теперь нет власти и надо эту власть создать. Возможно, что мне придется оказать некоторое давление на правительство; возможно, что если в Петрограде будут беспорядки, то после их подавления мне придется

войти в состав правительства и принять участие в создании новой, сильной власти»[19]. Лукомский, не раз слышавший, как Керенский говорил Корнилову о себе как о стороннике «сильной власти», решил, что Корнилов с министром-председателем договорятся без труда[20].

Корнилов вернулся в Петроград 10 августа — по настоянию Савинкова, но вопреки желанию министра-председателя. Так как ходили слухи о готовящемся покушении на его жизнь, он прибыл со своей текинской охраной, которая у входа в резиденцию Керенского поставила пулеметы. Требование Корнилова собрать кабинет Керенский отклонил и встретился с ним в присутствии Н.В.Некрасова и М.И.Терещенко — своего «домашнего кабинета». Настойчивость генерала объяснялась полученными им сведениями о наступлении немцев, которое должно было вот-вот начаться в районе Риги и могло угрожать столице. Он вновь завел речь о реформах в армии — восстановлении смертной казни на фронте и в тылу (включая смертную казнь для русских, работавших на иностранные державы) и милитаризации военной промышленности и транспорта[21]. Керенский нашел большинство требований Корнилова «нелепыми», но согласился с необходимостью укрепить дисциплину в войсках. Корнилов заявил министру-председателю, что знает о грозящей ему отставке, но «советует» не делать этого шага, чреватого беспорядками в армии[22].

Четыре дня спустя Корнилов неожиданно для всех появился на Государственном совещании, которое Керенский, стремясь заручиться общественной поддержкой, созвал в Москве. Поначалу Керенский не хотел разрешать Корнилову выступать перед участниками совещания, но затем сдался ~ на условии,

что генерал коснется только военных вопросов. Когда Корнилов прибыл к Большому театру, его встретила и понесла на руках толпа. Делегаты от правого крыла шумно его приветствовали. И хотя в своей достаточно сухой речи Корнилов не сказал ничего, что можно было бы расценить как политический выпад против правительства, весь этот эпизод стал для Керенского переломным в его отношениях с генералом. Оказанный Корнилову восторженный прием он воспринял как личное оскорбление. Как он признавался впоследствии, «после Московского совещания для меня было ясно, что ближайшая попытка удара будет справа, а не слева»[23]. Это убеждение со временем превратилось в idee fixe: что бы затем ни происходило, рассматривалось как ее подтверждение. Уверенность Керенского в готовящемся заговоре правых сил подкреплялась и телеграммами офицеров и частных лиц с требованием сохранить Корнилова на посту Верховного главнокомандующего, и тайными донесениями из Ставки о заговорах среди офицеров[24]. В атаку на Керенского и его правительство пошла консервативная пресса. Типичной была, например, передовая статья в «Новом времени», утверждавшая, что спасение России — в беспрекословном подчинении авторитету Верховного главнокомандующего[25]. У нас нет сведений, подтверждающих причастность Корнилова к организации этой политической кампании, но, будучи ее главным героем, он автоматически оказывался под подозрением.

Если трезво взглянуть на взлет популярности генерала Корнилова, можно прийти к выводу, что она была скорее выражением недовольства Керенским в качестве лидера, чем симптомом «контрреволюции». Страна призывала твердую власть. Но социалисты

оказались нечувствительными к этим настроениям: более сведущие в истории, нежели в практической политике, они считали консервативную («бонапартистскую») реакцию неизбежной. [В частной беседе с автором Керенский признал, что в своих действиях в 1917 г. он в значительной мере руководствовался примером Французской революции.]. 24–25 августа, еще до начала каких-либо событий, социалистическая печать писала о контрреволюции как о чем-то свершившемся. 25 августа меньшевистская «Новая жизнь» под заголовком «Заговор» объявляла, что таковой в полном разгаре, и выражала надежду, что правительство подавит его по крайней мере с таким же рвением, с каким преследовало большевиков[26].

Итак, сценарий заговора был готов. Оставалось найти главное действующее лицо.

* * *

В середине августа началось наступление немцев на Ригу, о котором предупреждал Корнилов. Недисциплинированные, политизированные русские войска не смогли ему противостоять и 20–21 августа сдали город. Для Корнилова это было последним подтверждением того, что русская армия требует незамедлительной реорганизации, — в противном случае судьбу Риги в ближайшее время может разделить Петроград. Анализируя обстоятельства зарождения корниловского мятежа, нельзя упускать из виду плачевного положения дел на фронте, ибо, хотя

большинство современников так же, как и историки, рассматривали конфликт между Керенским и Корниловым исключительно как борьбу за власть, для самого Корнилова это была прежде всего последняя отчаянная попытка спасти Россию от военного поражения.

В середине августа Савинков получил из надежных французских источников информацию, что большевики намереваются организовать в начале сентября еще один путч. 19 августа это сообщение опубликовала газета «Русское слово». [№ 189. с. 3. Газета писала, что, по мнению правительства, это будет решительный удар большевиков.].

Предполагаемая дата путча совпадала, по сведениям Ставки, с датой начала немецкого наступления на Петроград[27]. Источник этой информации неизвестен, а само сообщение, судя по всему, было фальшивкой, так как в большевистских источниках ничто не указывает на подготовку путча к этому времени. Савинков предупредил Керенского, но того информация как будто не обеспокоила: министр-председатель по-прежнему считал большевистский заговор плодом воображения своих оппонентов[28]. Однако он сразу понял, что эти сведения можно использовать как предлог, чтобы обезвредить Корнилова. По его распоряжению Савинков отправился в Могилев со следующей миссией: 1) ликвидировать офицерский заговор в Ставке, о котором сообщал М.М.Филоненко; 2) ликвидировать политический отдел при Ставке; 3) добиться согласия Корнилова, чтобы Петроград с окрестностями, где предполагалось объявить военное положение, перешел из-под его командования в подчинение напрямую правительству; 4) «испросить у ген[ерала] Корнилова конный корпус для

реального осуществления военного положения в Петрограде и для защиты В [ременного] Правительства] от каких бы то ни было посягательств, в частности от посягательства большевиков, выступление которых уже имело место 3–5 июля и, по данным иностранной контрразведки, готовилось снова в связи с германским десантом и восстанием в Финляндии»[29]. На этот последний, четвертый, пункт следует обратить особое внимание, так как впоследствии утверждение Керенского, что Корнилов послал кавалерийские части в Петроград с целью свержения Временного правительства, послужило основанием для обвинения того в государственной измене.

Целью поездки Савинкова в Могилев была ликвидация якобы созревавшего там контрреволюционного заговора, а предлогом — необходимость принятия мер против большевистского путча. Как впоследствии уклончиво признал Керенский, он потребовал передать под свое командование некоторые воинские части (то есть Третий кавалерийский корпус), чтобы «в военном отношении» быть независимым от Ставки[30]. Той же цели служило и выведение Петроградского военного округа из подчинения Корнилову.

Савинков прибыл в Могилев 22-го и оставался там до 24 августа[31]. Первый разговор с Корниловым он начал с того, что, несмотря на все разногласия между Верховным главнокомандующим и министром-председателем, им необходимо действовать сообща. Корнилов согласился: пусть Керенский слаб и плохо исполняет свои обязанности, но все же он нужен. Он добавил, что Керенскому стоило бы расширить

политическую базу своего правительства, введя в него генерала Алексеева и кого-нибудь из патриотически настроенных социалистов, например Плеханова и А.А.Аргунова. Обсуждая вопрос о реформах в армии, предложенных Корниловым, Савинков подтвердил намерение правительства приступить к их осуществлению и показал последний вариант проекта реформ. Корнилов нашел документ не вполне удовлетворительным, поскольку там предусматривалось сохранение института армейских комитетов и комиссаров. Генерал поинтересовался, как быстро можно ожидать введения реформ. Савинков ответил, что правительство пока не хотело бы их обнародовать, опасаясь мощного противодействия со стороны Совета. Тут он сообщил Корнилову, что, по сведениям правительства, большевики готовят на конец августа или начало сентября новые беспорядки в Петрограде. Поспешное введение армейской реформы может заставить их выступить раньше, и в этом случае их поддержит Совет, также настроенный против реформы.

Затем Савинков перешел к обсуждению мер, направленных на предотвращение большевистского переворота. Он сообщил, что министр-председатель хотел бы взять на себя командование вооруженными силами Петрограда и прилегающих к нему районов. Корнилов был недоволен этим требованием, но уступил. Ввиду непредсказуемой реакции Совета на армейскую реформу и назревающего большевистского путча, продолжал Савинков, хотелось бы усилить Петроградский гарнизон надежными частями, поэтому Корнилову в течение двух дней следует передислоцировать Третий кавалерийский корпус из Великих Лук в пригород Петрограда и передать его в

прямое подчинение правительству. Как только это будет сделано, он должен известить Петроград телеграммой. Савинков также сказал, что в случае необходимости правительство готово на «безжалостные» меры против большевиков, а если с ними выступит Петроградский Совет, — то и против Совета. Корнилов полностью одобрил такую решимость.

Верховный главнокомандующий согласился предложить Союзу офицеров перебазироваться из Ставки в Москву, но отказался упразднить политический отдел. Он обещал впредь искоренять в Ставке любые антиправительственные заговоры, о которых ему станет известно[32].

Утром 24 августа, перед отъездом в Петроград, Савинков сообщил генералу два дополнительных требования. Хотя впоследствии Керенский ставил в вину Корнилову их неисполнение, из воспоминаний Савинкова известно, что он выдвинул их по собственной инициативе[33]. Первое заключалось в том, чтобы до перемещения Третьего корпуса в Петроград заменить его командующего генерала Крымова: по мнению Савинкова, репутация Крымова могла «привести к нежелательным осложнениям». Вторым было требование отделить от Третьего корпуса Дикую дивизию, поскольку негоже, чтобы российскую столицу «освобождали» кавказцы.

Понял ли Корнилов, что Керенский его обманывает? Его слова и действия свидетельствуют, что он не заподозрил подвоха в распоряжениях министра-председателя и не почувствовал, что Керенский опасается не столько большевиков, сколько его самого. Прощаясь с Савинковым, Корнилов заверил его, что будет поддерживать Керенского, так как тот

нужен стране[34]. Керенский, несмотря на все его слабости, был настоящим патриотом, а для Корнилова патриотический социализм был вполне приемлемой позицией.

После отъезда Савинкова Корнилов отдал распоряжения генералу Крымову, которого он не отстранил от командования:

«1) В случае получения от меня или непосредственно на месте сведений о начале наступления большевиков — немедленно двигаться с корпусом на Петроград, занять город, обезоружить части Петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать Совет…

2) По окончании исполнения этой задачи ген. Крымов должен выделить одну бригаду с артиллерией в Ораниенбаум и по прибытии туда потребовать от Кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк»[35].

Эти два распоряжения были отданы Корниловым в соответствии с инструкциями Керенского. Первое — передислоцировать Кавалерийский корпус в Петроград — соответствовало устному распоряжению, переданному Савинковым. Второе — разоружить Кронштадт — было исполнением приказа Керенского от 8 августа[36]. То и другое имело целью защитить Временное правительство от большевиков. Можно упрекать Корнилова в неподчинении приказу, поскольку он все же оставил генерала Крымова командовать Третьим кавалерийским корпусом. Этот поступок Корнилов так объяснял Лукомскому: правительство опасается жестокостей Крымова во время подавления бунта, но, когда все

закончится, оно будет ему благодарно[37]. Лукомский выразил опасение, не содержат ли переданные Савинковым инструкции какой-либо западни, но Корнилов отмел это предположение, назвал Лукомского «слишком мнительным»[38].

В это время группа офицеров сообщила Корнилову, что в Петрограде у них есть 2000 человек, готовых принять участие в борьбе с большевиками. Они просили командующего выделить 100 офицеров для руководства этими людьми, и Корнилов обещал это сделать. Он объявил, что все должны быть готовы к 26 августа — самому раннему сроку начала большевистского переворота: добровольцам надлежало захватить Смольный, где располагался Совет, если большевики поднимутся раньше, чем в город войдет кавалерия Крымова[39].

25 августа Савинков доложил Керенскому, что все его распоряжения будут выполнены.

* * *

В этот момент произошли события, в результате которых скрытое несогласие между министром-председателем и Верховным главнокомандующим переросло в открытый конфликт. Спровоцировал эти события некий самозванный «спаситель» России, своего рода буревестник, Владимир Николаевич Львов. Сорока пяти лет от роду, он происходил из богатой помещичьей семьи, отличался честолюбием, значительно превосходившим его таланты,

и вел беспокойную жизнь. Он изучал философию в Московском университете, числился в Московской духовной семинарии, затем занимался беспорядочным самообразованием. Одно время он подумывал постричься в монахи, но в конце концов избрал политическое поприще, сделался октябристом и участвовал во Второй и Третьей думах. Во время войны принадлежал к Прогрессивному блоку. Благодаря своим широким связям получил в первом Временном правительстве должность обер-прокурора Святейшего синода, но в июле 1917 года был с нее смещен. Отставку воспринял болезненно и затаил злобу на Керенского. По некоторым отзывам, Львов обладал большим личным обаянием, но слыл человеком наивным и «невероятно легкомысленным». Г.М.Катков выражал сомнение в том, что он был психически здоров[40].

В августе Львов примкнул к московской группе интеллектуалов-консерваторов, озабоченных спасением России от грядущего крушения. С июля, когда Керенский принял диктаторские полномочия, в стране не было настоящего кабинета. Как и Корнилов, Львов и его друзья считали, что Временное правительство необходимо укрепить представителями деловых кругов и армии. Ему было поручено сообщить об этой точке зрения Керенскому. Инициатором этого шага был, по всей видимости, А.Ф.Аладьин — одна из загадочных фигур в русской революции (вроде Н.В.Некрасова и В.С.Завойко), имевших огромное влияние, но умудрявшихся всегда оставаться в тени. Бывший в юности революционным социал-демократом, Аладьин затем возглавил фракцию трудовиков в Первой думе, а после ее роспуска уехал в Англию, где оставался до февраля 1917 года. Он был близок с Корниловым. В

группу входили также чиновник Красного Креста И.А.Добрынский и старший брат Львова Николай, видный депутат думы, один из лидеров Прогрессивного блока.

Как пишет Львов в своих воспоминаниях (которые считаются, впрочем, весьма ненадежным источником), с 17-го по 22 августа, то есть в течение недели после Всероссийского совещания, до него доходили упорные слухи о заговоре в Ставке, имевшем целью провозгласить Корнилова диктатором, а его — министром внутренних дел. [Показания Львова, которые он дал 14 сентября 1917 г., приведены в кн.: Революционное движение в августе / Под ред. Чугаева. С. 425–428. Его воспоминания, впервые опубликованные в ПН в ноябре и декабре 1920 г., были также перепечатаны в кн.: The Russian Provisional Government, 1917 / Ed. by A.Kerensky and R.Browder. Vol. 3. Stanford, Calif, 1961. P. 1558–1568. После того как Владимир Набоков-отец опубликовал в ПН письмо, где назвал свой разговор с Львовым в изложении последнего «абсурдом» (1920. 15 дек. № 199. С. 3), печатать их перестали. Львов уехал в Париж, но в 1922 г. вернулся в Россию и принял участие в так называемой Живой церкви.]. По его словам, он счел своим долгом сообщить об этом Керенскому. Они встретились утром 22 августа. Керенский вспоминает, что среди его посетителей было немало спасителей отечества и он не обращал на них особого внимания, но сообщение Львова содержало в себе угрозу, которая заставила его насторожиться. [Керенский 8 октября 1917 г. дал показания о своих встречах с Львовым перед комиссией, которая рассматривала «дело Корнилова». Позднее он опубликовал их с комментариями в кн.: Дело Корнилова. С. 20–21]. Как утверждает Керенский, Львов сказал, что правительство теряет общественную поддержку и что в

настоящий момент для ее усиления необходимо ввести в него лиц, имеющих хорошие отношения с военными. Он заявил, что говорит от имени этих лиц, но кто они, сообщить отказался. Керенский впоследствии утверждал, что не давал Львову полномочий вести от его имени переговоры с кем бы то ни было, заметив, что прежде, чем мог бы «сказать свое мнение» о суждениях Львова, должен был знать имена людей, которые за этим стояли. Особо он подчеркнул, что не обсуждал с Львовым возможности поездки того в Могилев для консультаций с Корниловым[41]. Керенский говорит, что едва Львов покинул его кабинет, он выбросил их разговор из головы. У нас нет оснований не верить Керенскому, но вполне вероятно, что, сознательно или неосознанно, он все же дал понять Львову, что хотел бы узнать больше, — используя Львова если и не как доверенное лицо, то как тайного агента, — о том, имеют ли под собой почву упорные слухи об антиправительственном заговоре в Могилеве». [Такого мнения придерживается Головин (Контрреволюция. Т. 1. Ч. 2. С. 25). Львов впоследствии утверждал, что потребовал от Керенского и получил полномочия вести переговоры со своими единомышленниками при условии, что будет действовать с высочайшей осторожностью и соблюдать абсолютную секретность (ПН. 1920. 4 дек. № 190. С. 2). Учитывая последующее поведение Керенского, это представляется вполне вероятным. Еще более вероятно, что Львов получил молчаливое согласие от Некрасова, ближайшего советчика Керенского, роль которого в обострении конфликта министра-председателя с Верховным главнокомандующим была весьма велика.].

Львов сразу же вернулся в Москву, чтобы сообщить друзьям о беседе с министром-председателем. Он сказал

им, что разговор удался и что Керенский готов обсуждать вопрос о реорганизации кабинета. Со слов Львова Аладьин составил следующий меморандум:

«1. Керенский согласен вести переговоры со Ставкой.

2. Переговоры должны вестись через него, Львова.

3. Керенский согласен на образование кабинета, пользующегося доверием страны и всех частей армии.

4. Ввиду этого должны быть поставлены определенные требования.

5. Должна быть выработана определенная программа.

6. Переговоры должны вестись негласно». [Мартынов. Корнилов. С. 84–85. Как Львов утверждал в показаниях, «это не были мои положения, но это были выводы Аладьина с моих слов» (Чугаев. Революционное движение в августе. С. 426)].

Основываясь на этом документе, можно предположить, что Львов преувеличил интерес министра-председателя к своему предложению.

Вместе с Добрынским Львов отправился в Могилев. Туда он прибыл 24 августа, как раз в момент отъезда Савинкова. Поскольку Корнилов был занят выполнением распоряжений Керенского, он не мог сразу же принять Львова и тот ожидал в гостинице, где, по его утверждению, слышал толки о заговоре Корнилова с целью убить Керенского. Потрясенный, он решил защитить министра-председателя, обсуждая вопрос о реорганизации кабинета как бы от его лица. «Хотя Керенский и не уполномочивал меня специально от

имени Керенского, так как он в общем согласен на реорганизацию власти»[42]. Львов встретился с Корниловым поздно вечером и, вновь, — на следующее утро (25 августа). Из показаний Корнилова и воспоминаний Лукомского, присутствовавшего при разговоре, известно, что Львов представился доверенным лицом министра-председателя, прибывшим с «важной миссией»[43]. Проявив поразительную беспечность, Корнилов не спросил у Львова документа, удостоверяющего его полномочия, и не связался с Петроградом, чтобы получить подтверждение этих полномочий у самого Керенского, он опрометчиво пустился в опасное для него обсуждение чрезвычайно деликатных политических вопросов. Львов объявил, что его миссия заключается в том, чтобы выяснить мнение Корнилова о путях создания в России сильного правительства. По его собственному мнению, этого можно достичь тремя путями: 1) предоставив Керенскому диктаторские полномочия; 2) создав директорию, в состав которой войдет Корнилов; 3) сделав диктатором Корнилова, а Керенского и Савинкова его министрами[44]. Корнилов не заподозрил подвоха, так как незадолго перед этим его официально уведомили, что правительство, желая улучшить механизм управления страной в военное время, рассматривает проект директории по типу английского малого военного кабинета[45].

Решив, что Керенский через Львова предлагает ему принять диктаторские полномочия, Корнилов ответил, что предпочитает третий вариант. И добавил: он отнюдь не рвется к власти и готов подчиниться любому главе государства, но если его попросят принять на себя всю полному ответственности, как это делает Львов (и,

по-видимому, министр-председатель), он не откажется[46]. Ввиду неизбежно назревающего большевистского переворота в Петрограде Корнилов предложил министру-председателю и Савинкову укрыться в Могилеве, где они все вместе могли бы обсудить состав нового кабинета.

На этом беседа закончилась, и Львов сразу же выехал в Петроград.

Лукомский, более искушенный в политике, нашел миссию Львова подозрительной. Спросил ли Корнилов его верительные грамоты? Нет, ответил Корнилов, потому что знал его как уважаемого человека. Отчего же Савинков не выяснил предварительно мнения Корнилова об изменениях в кабинете? На это Корнилов лишь пожал плечами[47].

Вечером 25 августа Корнилов отправил телеграмму Родзянко и еще нескольким общественным деятелям с просьбой приехать в Могилев в течение трех дней. Телеграмму аналогичного содержания послал своему брату Львов. На предстоящей встрече должен был обсуждаться вопрос о составе нового кабинета[48].

На следующий день (26 августа) в шесть часов пополудни Львов встретился с Керенским в Зимнем дворце. [Свидетельства об этой встрече см. в кн.: Керенский. Дело Корнилова. С. 132–136; Милюков. История. Т. 1. Ч. 2. С. 204–205. Милюков разговаривал с Львовым непосредственно перед встречей того с Керенским и сразу после нее.]. Если в разговоре с Корниловым он представился как доверенное лицо министра-председателя, то теперь принял роль посланца Верховного главнокомандующего. Ничего не сказав Керенскому о том, что он предложил Корнилову на выбор

три варианта реорганизации правительства, выработанных им с друзьями, но представленных от имени министра-председателя, Львов объявил: Корнилов требует диктаторских полномочий. Как вспоминает Керенский, услышав это, он рассмеялся. Но вскоре веселье сменилось тревогой. Он попросил Львова письменно изложить требования Корнилова. Вот что написал Львов:

«Генерал Корнилов предлагает:

1. Объявить г. Петроград на военном положении.

2. Передать всю власть, военную и гражданскую, в руки Верховного главнокомандующего.

3. Отставка всех министров, не исключая и министра-председателя, и передача временного управления министерств товарищам министров, впредь до образования кабинета Верховным главнокомандующим.

Петроград. Август, 26, 1917 г. В.Львов»[49].

По словам Керенского, как только он это прочел, ему все стало ясно: начался военный переворот[50]. Он мог бы задаться вопросом, почему Корнилов воспользовался услугами такого посредника, как бывший обер-прокурор Святейшего синода, а не передал то же через Савинкова. Или мог поспешить к ближайшему телеграфному аппарату и выяснить у Корнилова или у Филоненко, действительно ли главнокомандующий уполномочил Львова вести переговоры от своего имени. Но он не сделал ни того, ни другого. Настойчивые утверждения Львова, будто Корнилов хочет, чтобы этой же ночью Керенский и Савинков выехали в Могилев, укрепили Керенского в убеждении, что Корнилов намерен

захватить власть. Он решил, что главнокомандующий собирается их арестовать.

Без сомнения, три «условия», приписанные Львовым Корнилову, в действительности были состряпаны им самим и его друзьями с целью ускорить события. Они не отражали ответа Корнилова на вопрос, который, как он считал, поставил перед ним министр-председатель, но давали, наконец, Керенскому повод для отставки Корнилова. Чтобы получить неопровержимые доказательства заговорщических намерений Корнилова, Керенский решил продолжить игру. Он назначил Львову встречу на 8 часов утра в кабинете военного министра, откуда они должны были связаться с генералом по телеграфу.

Львов, который провел часть утра с Милюковым, опаздывал. В 8 часов 30 минут, заставив Корнилова прождать полчаса у аппарата, Керенский начал с ним телеграфный диалог, делая вид, что Львов находится рядом, Как он говорил впоследствии, с помощью этого обмана он надеялся получить от Корнилова либо подтверждение ультиматума, предъявленного Львовым, либо «смущенное» его отрицание.

Приведем полный текст этого примечательного диалога в том виде, в каком он запечатлен на телеграфных распечатках.

«Керенский: Министр-председатель Керенский. Ждем генерала Корнилова.

Корнилов: У аппарата генерал Корнилов.

Керенский: Здравствуйте, генерал. У телефона Владимир Николаевич Львов и Керенский. Просит

подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем.

Корнилов: Здравствуйте, Александр Федорович, здравствуйте, Владимир Николаевич. Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною Владимиру Николаевичу с просьбой доложить вам, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требую вполне определенного решения в самый короткий срок.

Керенский (говоря от имени Львова): Я — Владимир Николаевич. Вас спрашиваю — *то определенное решение нужно исполнить, о котором Вы просили известить меня Александра Федоровича* только совершенно лично? Без этого подтверждения лично от Вас Александр Федорович колеблется мне вполне доверить.

Корнилов: Да, подтверждаю, что я просил Вас передать Александру Федоровичу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев.

Керенский: Я — Александр Федорович. Понимаю Ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне Владимиром Николаевичем. Сегодня это сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра. Нужен ли Савинков?

Корнилов: Настоятельно прошу, чтобы Борис Викторович приехал вместе с Вами. Сказанное мною Владимиру Николаевичу в одинаковой степени относится и к Борису Викторовичу. Очень прошу не откладывать Вашего выезда позже завтрашнего дня<…>

Керенский: Приезжать ли только в случае выступлений, о которых идут слухи, или во всяком случае?

Корнилов: Во всяком случае.

Керенский: До свидания, скоро увидимся.

Корнилов: До свидания»[51].

Этот краткий диалог был настоящей комедией ошибок, но он привел к трагическим последствиям. Как утверждал позднее Керенский — и настаивал на этом до конца своей жизни, — главнокомандующий не только подтвердил полномочия Львова говорить от его, Корнилова, лица, но «удостоверил и точность передачи слов последнего первым», а именно, — что он требует диктаторских прав[52]. Но, как мы знаем со слов свидетелей, находившихся на противоположном конце провода, когда разговор был окончен, Корнилов вздохнул с облегчением, ибо согласие Керенского прибыть в Могилев воспринял как выражение готовности министра-председателя к сотрудничеству в деле формирования нового, «сильного» правительства. Вечером того же дня он обсуждал с Лукомским возможный состав такого кабинета, в котором Керенского и Савинкова видел министрами. Он также послал телеграммы ведущим государственным деятелям, приглашая их присоединиться к нему и министру-председателю в Могилеве[53].

Благодаря сохранившимся телеграфным распечаткам мы можем сегодня утверждать, что весь диалог Керенского с Корниловым был от начала до конца недоразумением. Что касается Корнилова, то он лишь подтвердил министру-председателю, говорившему от

имени Львова, приглашение Керенского и Савинков в Могилев. Керенский же воспринял это подтверждение, — хотя ничто, кроме его воспаленного воображения, не давало оснований для такой интерпретации, — как доказательство того, что Корнилов собирается его арестовать, а себя объявить диктатором. Было грандиозным упущением со стороны Керенского не спросить прямо (или хотя бы косвенно), действительно ли Корнилов передал ему через Львова ультиматум из трех пунктов. В разговоре с Керенским Корнилов ничего не сказал ни об отставке кабинета, ни о своей претензии на военную и гражданскую власть. Из слов Корнилова — «Да, подтверждаю, что я просил Вас [т. е. Львова] передать Александру Федоровичу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев» — Керенский предпочел сделать вывод, что три политических условия, представленных Львовым, также были подлинными. Когда Филоненко увидал телеграфные ленты с записью этой беседы, он заметил: «А.Ф.Керенский не обозначил, что же он спрашивает, и ген[ерал] Корнилов не знал, на что, собственно, он отвечает». [Милюков. История. Т. 1.4. 2. С. 213. Корнилов, в отличие от Керенского, признал впоследствии, что действовал опрометчиво, не спросив министра-председателя, что именно передал ему Львов (Лукомский А.С. Воспоминания. Т. 1. Берлин, 1922. С. 240).]. Керенский был уверен, что, имитируя присутствие Львова, он использует в разговоре с Корниловым понятный обоим код, но в действительности изъяснялся шарадами. Максимум, что можно сказать в защиту министра-председателя, это то, что он был перевозбужден. Однако трудно отделаться от подозрения, что услышал он как раз то, что хотел услышать.

Основываясь на этих сомнительных свидетельствах, Керенский решил открыто порвать с Корниловым. Когда наконец с большим опозданием появился Львов, он велел арестовать его. [Львов провел ночь в комнате, примыкавшей к бывшему кабинету Александра III, который занимал министр-председатель, и не мог уснуть, так как Керенский ночь напролет распевал оперные арии. Позднее Львов был заключен под домашний арест и помещен под наблюдение психиатра (Известия. 1917. 19 окт. № 201. С. 5).]. Не обращая внимания на призывы Савинкова не совершать опрометчивых действий, не связавшись еще раз с Корниловым и не прояснив очевидного, по мнению Савинкова, недоразумения, Керенский назначил на полночь заседание кабинета. Он сообщил министрам о том, что ему стало известно, и потребовал передать ему «всю полноту власти», то есть предоставить диктаторские полномочия, чтобы он имел возможность противостоять военному перевороту. Министры согласились, что с «генералом-заговорщиком» надо покончить и всю полноту власти в сложившейся чрезвычайной ситуации следует передать Керенскому. В соответствии с этим решением все они подали в отставку, и, как заметил Некрасов, с этого момента Временное правительство прекратило свое существование[54].

Керенский вышел с заседания номинальным диктатором. Министры, разойдясь в 4 часа утра 27 августа, более уже не собирались: вплоть до 26 октября все решения принимал Керенский — единолично или советуясь с Некрасовым и Терещенко. Ранним утром, с согласия министров или без оного, — скорее всего уже по собственной инициативе, — Керенский послал Корнилову телеграмму, в которой объявлял ему отставку

и приказывал немедленно явиться в Петроград. До нового назначения обязанности Верховного главнокомандующего возлагались на Лукомского. [Революция. Т. 4. С. 99. По свидетельству Савинкова, между 9 и 10 часами вечера — то есть еще до заседания кабинета — Керенский сказал ему, что поздно пытаться достичь взаимопонимания с Корниловым, потому что телеграмма с сообщением об отставке ему уже послана (Mercure de France. 1919. 1 June. № 503. P. 439).]. Разрыв с Корниловым давал Керенскому возможность встать в позу борца за революцию. По словам Некрасова, во время ночного заседания кабинета Керенский заявил: «Я им революции не отдам»[55], — как будто в его власти было ею распоряжаться и он мог отдать ее кому-то или не отдать.

Пока в Петрограде происходили эти события, Корнилов, ничего не знавший о том, какой смысл придал Керенский их телеграфному диалогу, продолжал приготовления, чтобы помочь правительству подавить предполагаемый большевистский мятеж. В 2 часа 40 минут утра он телеграфировал Савинкову: «Корпус сосредоточивается в окрестностях Петрограда к вечеру 28 августа. Я прошу объявить Петроград на военном положении 29 августа»[56]. Если нужны еще какие-нибудь доказательства, что Корнилов не затевал военного путча, такие доказательства дает эта телеграмма: в самом деле, если он направлял Третий корпус в Петроград с целью низложить правительство, вряд ли он стал бы это самое правительство заранее предупреждать телеграммой. Еще менее вероятно, чтобы при этом он поручал непосредственное руководство боевыми действиями своим подчиненным. Зинаида Гиппиус, размышляя несколько дней спустя о загадке дела Корнилова,

задавала лежавший на поверхности вопрос: «Как это «повел» Корнилов свои войска, когда сам он спокойно сидит в Ставке?»[57] Действительно, если бы Корнилов решил низвергнуть правительство и объявить себя диктатором, то, учитывая его темперамент и боевой дух, несомненно командовал бы операцией лично.

Получив в 7 часов утра 27 августа телеграмму Керенского об отставке Корнилова, генералы в Ставке пришли в полное замешательство. Их первая мысль была, что телеграмма — фальшивка, и не только потому, что ее содержание никак не согласовывалось с диалогом, происходившим между Керенским и Корниловым за десять часов перед этим, но и потому, что она была составлена не по форме: в ней отсутствовал обычный порядковый номер, и подпись была просто «Керенский», без обозначения должности. Кроме того, она не имела законной силы, ибо сместить Верховного главнокомандующего мог только кабинет. (В Ставке, конечно, не знали, что ночью кабинет подал в отставку и Керенский принял диктаторские полномочия.) Поразмыслив, генералы пришли к заключению, что телеграмма, вероятно, была подлинной, но что Керенский послал ее под давлением, может быть, будучи пленником большевиков. Остановившись на этом предположении, Корнилов отказался сдать должность Лукомскому, а Лукомский — ее принять «впредь до полного выяснения обстановки»[58]. Считая, что большевики уже захватили Петроград, Корнилов в нарушение распоряжения Керенского, приказал Крымову ускорить продвижение его частей[59].

Чтобы прояснить недоразумение, которое могло возникнуть в Петрограде в связи с ответом Корнилова на

вопросы, поставленные Львовым (никто в Могилеве еще не заподозрил в нем самозванца), Лукомский послал правительству телеграмму за своей подписью, подтверждавшую, что для сохранения боеспособности армии необходима твердая власть[60].

Во второй половине дня Савинков, который не знал пока о махинациях Львова, но подозревал, что произошла какая-то грандиозная ошибка, связался с Корниловым по прямому проводу. Рядом с ним находился В.А.Маклаков, вступивший под конец в разговор[61]. Ссылаясь на последнюю телеграмму Лукомского, Савинков отметил, что во время своего визита в Могилев не поднимал политических вопросов. В ответ Корнилов в первый раз упомянул те три варианта, которые В.Н.Львов предложил ему на выбор. Он сказал также, что Третий кавалерийский корпус движется к Петрограду по распоряжению правительства, переданному через Савинкова. «Я глубоко убежден, что совершенно неожиданное для меня решение правительства принято под давлением Совета рабочих и солдатских депутатов <…> Я твердо заявляю, что <…> я со своего поста не уйду», — сказал Корнилов и добавил, что был бы рад приезду министра-председателя и Савинкова в Ставку, ибо «недоразумение могло бы быть устранено при личных объяснениях».

В тот момент отношения еще можно было поправить. Если бы Керенский проявил в связи с обвинениями против Корнилова такую же осмотрительность, какую за месяц до этого выказал в деле Ленина, и потребовал «документальных свидетельств», неопровержимо доказывающих факт «государственной измены», всего этого можно было бы

избежать. Но Керенский, опасавшийся подвергнуть репрессиям Ленина, не был заинтересован в примирении с генералом. Когда Милюков, узнав о развитии событий, предложил свою помощь в качестве посредника, Керенский ответил, что примирение с Корниловым невозможно[62]. Отверг он и аналогичные предложения послов союзных держав[63]. Люди, видевшие в этот период министра-председателя, утверждали, что он пребывал в состоянии полной истерики[64].

Для предотвращения разрыва Временного правительства с генералами нужно было только одно: чтобы Керенский (или его доверенное лицо) прямо спросил Корнилова, давал ли тот полномочия Львову требовать от его имени диктаторских прав. На этом настаивал Савинков, но Керенский отказался[65]. То, что Керенский не сделал этого шага, может иметь только два объяснения: либо он находился в таком психическом состоянии, что не мог рассуждать здраво, либо сознательно решил порвать с Корниловым, снискав себе таким образом славу спасителя революции и нейтрализовав давление слева.

Узнав от Корнилова о действиях Львова, Савинков поспешил в приемную министра-председателя. Там он столкнулся с Некрасовым, который сказал, что искать примирения с Корниловым поздно, так как он уже разослал в вечерние газеты заявление, в котором министр-председатель обвиняет Верховного главнокомандующего в государственной измене[66]. Это было сделано вопреки обещанию, данному Савинкову Керенским, что он воздержится от публикации такого заявления до тех пор, пока не переговорит с Корниловым[67]. Несколько часов спустя вышли

специальные выпуски газет, содержавшие сенсационное заявление, подписанное Керенским, но составленное, как говорили, Некрасовым[68]. По мнению Головина, Некрасов намеренно поторопился с его публикацией, чтобы упредить доклад Савинкова о разговоре с Корниловым. [Головин. Контрреволюция. Т. 1. Ч. 2. С. 35. Некрасов, игравший при Керенском серого кардинала, был фигурой несомненно зловещей и в продолжение 1917 г. склонял министра-председателя влево. Инженер, профессор Томского политехнического института и один из лидеров левого крыла партии кадетов, он оказался замешан в неудачном покушении на жизнь Ленина 1 января 1918 г., но был вместе с другими прощен и, сменив имя, пошел на службу к большевикам. Впоследствии личность его была установлена, и, кажется, он был арестован (Яковлев Н. 1 августа 1914. М., 1974. С. 226–232).].

Вот что было написано в заявлении: «26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной думы Владимира Николаевича Львова с требованием передачи Временным правительством генералу Корнилову всей полноты гражданской и военной власти с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной. Действительность полномочий члена Государственной думы Львова сделать такое предложение была подтверждена затем генералом Корниловым при разговоре со мною по прямому проводу»[69]. Далее в заявлении говорилось, что с целью воспрепятствовать попыткам «некоторых кругов русского общества» использовать существующие трудности для «установления <…> государственного порядка, противоречащего завоеваниям революции», правительство уполномочило министра-председателя

сместить с должности генерала Корнилова и объявить в Петрограде военное положение.

Обвинение Керенского повергло Корнилова в ярость, ибо затрагивало в нем самую чувствительную струнку — его патриотизм. Прочитав заявление, Корнилов счел Керенского уже не пленником большевиков, а автором мерзкой провокации, направленной против него и армии. В ответ он выпустил собственное воззвание, подготовленное В.С.Завойко, которое разослал всем командирам фронтовых частей. [Делец, ударившийся в политику, Завойко был своего рода антиподом Некрасова и подталкивал Корнилова вправо. О нем см.: Мартынов. Корнилов. С. 20–22.]. Вот что в нем говорилось:

«Телеграмма министра-председателя <…> во всей своей первой части является сплошной ложью. Не я послал члена Государственной думы Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя. <…> Таким образом, совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу отечества.

Русские люди, великая родина наша умирает!

Близок час кончины!

Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского Генерального штаба и, одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри. <…>

Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что лично мне ничего не надо кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни»[70].

Это уже был мятеж. Как признал впоследствии Корнилов, он решился на открытый разрыв с правительством, потому что оно обвинило его в открытом восстании, то есть в измене. Головин считает, что Керенский своими действиями спровоцировал Корнилова к бунту[71]. С этой оценкой можно согласиться, но с уточнением: Корнилов восстал лишь после того, как был обвинен в восстании.

Как видно из нескольких воззваний, выпущенных Керенским 28 августа, он стремился обострить, а не сгладить конфликт. В одном из воззваний он призывает всех армейских командиров не подчиняться распоряжениям Корнилова, «изменившего родине»[72]. В другом, объясняя причины продвижения корпуса Крымова к Петрограду, идет на прямую ложь: «Восставший на власть В[ременного] Правительства] бывший Верховный главнокомандующий ген. Корнилов, заявлявший о своем патриотизме и верности народу в своих телеграммах, теперь на деле показал свое вероломство. Он взял полки с фронта, ослабив его сопротивлением нещадному врагу — германцу, и все эти полки отправил против Петрограда. Он говорит о спасении родины — и сознательно создает братоубийственную войну. Он говорит, что стоит за свободу, и посылает на Петроград туземные дивизии»[73]. Действительно ли Керенский забыл, как он утверждал

впоследствии, что за неделю перед этим сам приказал направить в Петроград под свое командование Третий кавалерийский корпус?[74] Поверить такому объяснению трудно.

В течение трех последующих дней Корнилов безуспешно пытался убедить всех «вырвать отечество из рук продажных большевиков, заседающих в Петрограде»[75]. Он обращался с призывами к регулярной армии, к казачеству, приказал Крымову занять Петроград. Его морально поддержали многие генералы, славшие в адрес Керенского телеграммы с требованиями изменить отношение к Верховному главнокомандующему[76]. Но ни они, ни консервативные политики к Корнилову не присоединились, ибо были сбиты с толку дезинформацией, распространявшейся Керенским, который, откровенно искажая события, представлял главнокомандующего мятежником и контрреволюционером. То, что ни один из видных генералов не последовал за Корниловым, лишний раз свидетельствует о том, что они не состояли с ним в заговоре.

29 августа Керенский телеграфировал Крымову: «В Петрограде полное спокойствие. Никаких выступлений не ожидается. Надобности в вашем корпусе нет никакой. В[ременное] П[равительство] приказывает вам под вашей личной ответственностью остановить движение к Петрограду, отданное вам смещенным верховным главнокомандующим, и направить корпус не в Петроград, а по его оперативному назначению в Нарву»[77]. Послание это имело смысл лишь в том случае, если Керенский допускал, что Крымов продвигается к Петрограду для подавления выступлений большевиков. Крымов был

смущен, но подчинился. Уссурийская казачья дивизия остановилась у Красного Села под Петроградом и 30 августа принесла присягу Временному правительству. «Туземная» дивизия также остановилась, очевидно, по приказу Крымова. О действиях Донской казачьей дивизии нам не известно. Как бы то ни было, все доступные источники показывают, что роль, приписываемая обычно агитаторам, которых Совет отправил убеждать бойцов Третьего корпуса не идти на Петроград, сильно преувеличена. От наступления на Петроград командование корпуса отказалось, узнав, что город вовсе не находится в руках большевиков, как они думали раньше, и помощь их здесь не нужна. [Вот как описывает Зинаида Гиппиус встречу корниловской кавалерии с частями, посланными на перехват из Петрограда: «"Кровопролития" не вышло. Под Лугой, и еще где-то, посланные Корниловым дивизии и «петроградцы» встретились. Недоумело постояли друг против друга. Особенно изумлены были «корниловцы». Идут «защищать Временное правительство» и встречаются с «врагом», который идет «защищать Временное правительство» тоже — и то же. Ну, постояли, подумали; ничего не поняли; только, помня уроки агитаторов на фронте, что «с врагом надо брататься», принялись и тут жадно брататься» (Синяя книга. Белград, 1929. С. 181; дневниковая запись 31 августа 1917 г.)].

Крымов прибыл в Петроград 31 августа, получив приглашение Керенского и гарантии личной безопасности. В конце дня он встретился с министром-председателем, которому объяснил, что продвигал свои части к Петрограду, чтобы помочь ему и правительству. Как только ему стало известно о размолвке между правительством и Ставкой, он приказал

своим людям остановиться. Он никогда не замышлял бунта. Не входя в объяснения и даже не подав ему руки, Керенский объявил Крымову об отставке и велел ему явиться в Чрезвычайную следственную комиссию. Вместо этого Крымов пошел на квартиру к другу и выстрелил себе в сердце. [Керенский. Дело Корнилова. С. 75–76; Революция. Т. 4. С. 143; Мартынов. Корнилов. С. 149–151. Крымов оставил предсмертное письмо Корнилову, которое тот уничтожил (Мартынов. Корнилов. С. 151). Крымов отнюдь не был реакционным монархистом: в 1916 г. он участвовал в заговоре против Николая II.].

Поскольку генерал Лукомский, а вслед за ним генерал В.Н.Клембовский отказались сменить Корнилова в должности Верховного главнокомандующего, Керенский очутился в двусмысленном положении, ибо вынужден был оставить руководство армией в руках человека, которого сам публично обвинил в государственной измене. Запретив вначале командирам армейских частей выполнять распоряжения Корнилова, он вынужден был теперь пойти на попятную и разрешить выполнять приказы Корнилова, относящиеся к военной области. Корнилов нашел эту ситуацию в высшей степени необычной: «Получился эпизод — единственный в мировой истории, — писал он, — главнокомандующий, обвиненный в измене и предательстве <…> получил приказание продолжать командование армиями, так как назначить другого нельзя»[78].

После разрыва с Керенским Корнилова охватило уныние. Он был убежден, что министр-председатель и Савинков сознательно расставили ему западню. Жена, опасаясь самоубийства, попросила его отдать

револьвер[79]. 1 сентября в Могилев прибыл Алексеев, уполномоченный принять дела у Корнилова: на его уговоры у Керенского ушло три дня. Корнилов уступил, не сопротивляясь, и только попросил, чтобы правительство установило твердую власть и воздержалось от оскорбительных выпадов против него[80]. Вначале его поместили под домашний арест в могилевской гостинице, а затем перевезли в крепость в Быхове, где уже содержались тридцать офицеров, которых Керенский подозревал в участии в заговоре. При этом он неизменно находился под охраной верных ему текинцев. Вскоре после большевистского переворота он бежал из Быхова и пробрался на Дон, где затем вместе с Алексеевым создал Добровольческую армию.

Существовал ли «заговор Корнилова»? Судя по всему, нет. Имеющиеся свидетельства указывают скорее на «заговор Керенского», задуманный с целью дискредитировать генерала как зачинщика воображаемого, но всеми в тот момент ожидаемого контрреволюционного выступления, подавление которого принесло бы министру-председателю невиданную популярность и власть, необходимые, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны большевиков. Вряд ли было случайностью, что все необходимые элементы настоящего государственного переворота — списки заговорщиков, графики выступлений, условные сигналы, программы и т. д. — так никогда и не всплыли на поверхность. Такие подозрительные факты, как связь Ставки с офицерами в Петрограде и приказы формирующимся там боевым единицам, во всех случаях легко объясняются в контексте предполагавшегося большевистского путча. Если бы в самом деле существовал офицерский заговор, то какие-то генералы,

без сомнения, присоединились бы к Корнилову, когда он наконец призвал к мятежу. Но за ним не последовал никто. Ни Керенский, ни большевики не могли впоследствии указать ни одного человека, который бы сам признался или которого можно было бы с основанием обвинить в том, что он был в сговоре с Корниловым. Но если Корнилов был в одиночестве, можно ли назвать это заговором? Для расследования дела Корнилова в октябре 1917 года была создана комиссия, которая завершила работу в июне 1918-го, то есть уже при власти большевиков. Она пришла к заключению, что обвинения против Корнилова безосновательны: войска на Петроград он посылал не с целью свергнуть Временное правительство, а для защиты его от большевиков. Полностью оправдав Корнилова, комиссия обвинила Керенского в том, что он «сознательно извратил истину в деле Корнилова, не имея мужества взять на себя вину» за совершенную им «грандиозную ошибку»[81]. [Подозрение, что дело Корнилова было с самого начала провокацией, находит подкрепление в неосторожном заявлении, сделанном в печати Некрасовым. В газетном интервью, опубликованном через две недели после событий, он хвалит Львова, который, по его словам, помог выявить созревший заговор Корнилова. Искажая слова Корнилова, адресованные Керенскому, так, что они звучат подтверждением ультиматума, представленного Львовым, он добавляет: «Роль В.Н.Львова была спасительной для Революции: он взорвал приготовленную мину на два дня раньше срока. Заговор, несомненно, был, и Львов лишь раскрыл его раньше срока» (Новая жизнь. 1917. 13 сент. № 55. С. 3). Эти слова наводят на мысль, что Некрасов — вероятно, с

молчаливого согласия Керенского — использовал Львова как орудие против Корнилова.].

Корнилов был не такой уж сложной личностью, и его поведение в июле — августе 1917 года можно объяснить, не обращаясь к теориям о заговоре. Главным образом и прежде всего его волновали Россия и война. Его тревожили нерешительность Временного правительства и его зависимость от Совета, вмешательство которого в дела армии делало почти невозможным руководство военными операциями. У него были причины считать, что в правительстве сидели агенты врага. Но даже полагая, что Керенский не подходит для своей должности, он не испытывал к нему личной неприязни и рассматривал его как фигуру, необходимую в правительстве. Поведение Керенского в августе заставило Корнилова усомниться в том, что министр-председатель самостоятелен в своих действиях. Он знал, что Керенский желает провести реформы в армии, и, наблюдая его бездействие, пришел к выводу, что тот является заложником Совета и засевших там немецких агентов. Когда Савинков сообщил ему о надвигающемся большевистском путче и попросил для его подавления помощи армии, Корнилов увидел в этой ситуации шанс помочь правительству освободиться от давления Совета. Он решил, что после ликвидации путча можно будет положить конец «двоевластию» и установить в России новый, дееспособный режим. В этом, новом правительстве он хотел бы участвовать.

Генерал Лукомский, который был с ним рядом на протяжении всех этих критических дней, приводит вполне правдоподобную версию размышлений Корнилова в короткий период между визитом Савинкова в Могилев и разрывом с Керенским: «Предполагаю, что генерал

Корнилов, будучи уверен в выступлении большевиков в Петрограде и в необходимости подавить это выступление самым беспощадным образом, считал, что это естественно повлечет за собой правительственный кризис и создание нового правительства, новой власти, причем в образовании этой власти он решил принять участие совместно с некоторыми из членов нынешнего Временного правительства и с крупными общественными и политическими деятелями, на полное сочувствие которых он, по-видимому, имел полное основание рассчитывать. Со слов же генерала Корнилова знаю, что об образовании правительства, в состав которого входил бы и Верховный главнокомандующий, он говорил с А.Ф.Керенским, Савинковым и Филоненко»[82]. Вряд ли можно квалифицировать как «измену родине» предпринимаемые Верховным главнокомандующим усилия, направленные на укрепление армии и восстановление эффективного руководства страной.

Как мы видели, Корнилов восстал лишь после того, как был без причин обвинен в предательстве. Он стал жертвой безграничного честолюбия Керенского, тщетных попыток министра-председателя упрочить политический фундамент своей власти, ставший не слишком надежным. Разумную оценку того, чего хотел и не смог достичь Корнилов, дает английский журналист, непосредственный свидетель событий: «Он хотел укрепить, а не ослабить правительство. Он не покушался на власть, а хотел воспрепятствовать подобным намерениям других. Он хотел, чтобы правительство стало тем, чем оно всегда пыталось быть, но никогда в действительности не было, — единственным и неоспоримым источником исполнительной власти. Он хотел уберечь его от незаконного, парализующего

влияния Советов. В конце концов это влияние разрушило Россию, и вызов брошенный Корниловым правительству, был последней отчаянной попыткой остановить разрушительный процесс»[83].

* * *

Если правда, что Керенский спровоцировал разрыв с Корниловым, чтобы упрочить свои политические позиции, то он не только не достиг цели, но добился прямо противоположного. Столкновение это окончательно расстроило его отношения с консерваторами и либералами, но не привело к упрочению связей с социалистами. Дело Корнилова принесло выгоду главным образом большевикам: эсеры, а вслед за ними меньшевики, от которых зависел Керенский, после 27 августа постепенно исчезли с политического горизонта. Временное правительство перестало действовать даже в том ограниченном смысле, в каком оно до той поры могло быть названо действующим. В сентябре и октябре Россия, лишенная управления, плыла, что называется, без руля и без ветрил. Все было готово для контрреволюции слева. И когда впоследствии Керенский писал, что «только 27 августа сделало возможным 25 октября», он был прав, хотя и вкладывал в эти слова несколько иной смысл[84].

Как уже говорилось, после июльского путча Керенский не предпринял никаких карательных действий против большевиков. По словам начальника его контрразведки полковника Никитина, 10 и 11 июля он даже лишил правительственные войска права

арестовывать большевиков и запретил конфисковывать найденное у них оружие[85]. В конце июля он дал большевикам спокойно провести в Петрограде VI съезд партии.

Эта пассивность Керенского проистекала главным образом из его желания идти навстречу Исполкому, который солидаризировался с большевиками. Как мы знаем, 4 августа Исполком принял резолюцию, предложенную Церетели, где говорилось о необходимости прекратить «преследования» участников событий, деликатно названных «делом 3–5 июля». На сессии 18 августа Совет выразил протест «против незаконных арестов и эксцессов», имевших место по отношению к представителям «крайних течений социалистических партий»[86]. В ответ правительство стало одного за другим освобождать из-под ареста видных большевиков — иногда под залог, а иногда под поручительство друзей. Первым был Каменев, вышедший на свободу 4 августа: все обвинения против него были сняты. Вскоре выпустили Луначарского, В.А.Антонова-Овсеенко и А.М.Коллонтай. За ними последовали другие.

В этот период большевики вновь заявили о себе как о политической силе. Они выиграли в результате происходившей в течение лета поляризации, когда либералы и консерваторы потянулись к Корнилову, а радикалы стали переходить на крайне левые позиции. Рабочих, солдат и матросов возмущала нерешительность меньшевиков и эсеров, и они буквально толпами покидали их, переходя к большевикам, ибо не видели альтернативы. Была еще и заметная политическая усталость: если весной люди охотно шли на

избирательные участки, то теперь разочаровались в выборах, ничего не улучшавших в условиях их жизни. В особенности это относилось к консервативным элементам, которые ощущали, что не могут реально противостоять наступлению радикалов, но было характерно и для либеральных и умеренно социалистических слоев. Эта тенденция наглядно проявилась во время выборов в Петроградский и Московский городские Советы. На выборах в Петроградский городской Совет 20 августа, за неделю до выступления Корнилова, процент голосов, поданных за большевиков, увеличился по сравнению с маем 1917 года с 20,4 % до 33,3 %, то есть более чем в полтора раза. Однако в абсолютных цифрах число людей, поддержавших большевиков, увеличилось лишь на 17 %, так как многие вообще не пришли на избирательные участки. Если весной в выборах участвовало 70 % потенциальных избирателей, то в августе доля эта сократилась до 50 %. В некоторых районах столицы число голосовавших сократилось вдвое[87]. [Как отмечает Крэйн Бринтон в книге «Анатомия революции» (Brinton C. Anatomy of Revolution. N.Y., 1938. P. 185–186), в революционной ситуации рядовых граждан обычно быстро утомляет политика, и они уступают поле деятельности экстремистам, влияние которых растет прямо пропорционально разочарованию и потере интереса к политике у широкой общественности.]. В Москве на сентябрьских выборах в городской Совет число людей, пришедших на избирательные участки, снизилось еще заметнее. Здесь в урны было опущено 380 тыс. бюллетеней, в то время как в июне их было 640 тыс. Более половины избирателей высказались при этом за большевиков, которые собрали 120 тыс. голосов,

а социалисты (эсеры, меньшевики и те, кто выступал с ними вместе) потеряли голоса 375 тыс. избирателей, в основном, по-видимому, решивших остаться дома.

Результаты выборов в Москве (% мест)[88]

Партии	Июнь 1917 г.	Сентябрь 1917 г.
Эсеры	58,0	14,7
Меньшевики	12,0	4,2
Большевики	11,0	49,5
Кадеты	17,0	31,6

Одним из следствий политической поляризации явилось разрушение политической базы, на которую рассчитывал Керенский, стремясь к укреплению власти. Не исключено, что поражение социалистических партий на выборах в Петроградский Совет в середине августа существенно повлияло на действия Керенского в конце этого месяца. Ведь если политическая опора его власти таяла на глазах, мог ли он придумать что-нибудь лучше, чтобы повысить свое влияние и популярность в кругах левых, чем предстать в образе победителя «контрреволюции», пусть даже мнимой?

Благодаря делу Корнилова акции большевиков выросли до невиданных прежде масштабов. Чтобы нейтрализовать призрачный мятеж Корнилова и

остановить части Крымова, подходившие к Петрограду, Керенский попросил помощи у Исполкома. На заседании в ночь с 27 на 28 августа Исполком, по предложению меньшевиков, решил создать Комитет по борьбе с контрреволюцией. И, поскольку единственной силой, которую мог привлечь Исполком, была боевая организация большевиков, большевики оказались в роли руководителей вооруженных формирований Совета[89]. Таким образом вчерашние поджигатели превратились в пожарную команду. Керенский обратился к большевикам и напрямую, попросив их оказать помощь в борьбе с Корниловым, используя значительно возросшее к тому времени их влияние в солдатской среде[90]. Его агент, побывавший на крейсере «Аврора», призвал матросов, известных симпатиями к анархизму и большевизму, взять на себя охрану Зимнего дворца, служившего резиденцией Керенского и местом заседаний Временного правительства[91]. Как утверждал впоследствии М.С.Урицкий, эти действия Керенского «реабилитировали» большевиков. Кроме того, Керенский дал возможность большевикам вооружиться, так как они должны были раздать рабочим 40 тыс. винтовок, значительная часть которых осталась в их распоряжении после того, как миновал кризис[92]. Насколько далеко зашла «реабилитация» большевистской партии, видно из решения правительства от 30 августа об освобождении всех большевиков, находившихся к тому времени под арестом, за исключением тех немногих, против которых были официально возбуждены уголовные дела[93]. Среди попавших под амнистию оказался Троцкий — 3 сентября он вышел из Крестов под залог в 3000 руб. и возглавил большевистскую фракцию в Совете. К 10 октября за решеткой оставалось только 27 большевиков, остальные

были на свободе и приступали к подготовке нового путча[94]. В то же самое время Корнилов и другие генералы сидели в Быховской крепости. 12 сентября Исполком потребовал от правительства гарантий личной безопасности и «справедливого суда» для Ленина и Зиновьева[95].

Не менее важным следствием дела Корнилова был разрыв Керенского с военными. Хотя офицерский корпус, будучи введен в заблуждение и не желая открыто выступать против правительства, отказало присоединиться к бунту Корнилова, военные прониклись презрением к Керенскому за то, как он поступил с их командующим, за арест многих видных генералов и за потакание левым. Поэтому, когда в конце октября Керенский обратится к армии с призывом спасти правительство от большевиков, призыв этот не будет услышан.

1 сентября Керенский объявил Россию «республикой». Неделю спустя (8 сентября) он ликвидировал отдел политической контрразведки, лишив себя главного источника информации о планах большевиков[96].

Керенского неизбежно должен был сместить кто-то способный обеспечить твердую власть: теперь это был только вопрос времени. Человек этот должен был явиться из среды левых. Несмотря на все различия, левые партии плотно смыкали ряды перед лицом призрака «контрреволюции», причем это понятие включало для них любые попытки восстановления в России сильного правительства и боеспособной армии. Но, поскольку и то, и другое было для страны необходимо, инициатива, направленная на установление

порядка, должна была исходить из рядов самих левых. «Контрреволюции» предстояло прийти под маской «подлинной» революции.

* * *

Тем временем Ленин, сидя в своем сельском убежище, вынашивал планы переустройства мира.

Еще 9 июля в сопровождении Зиновьева и рабочего Н.А.Емельянова он прибыл в Разлив — на железнодорожную станцию в дачной местности под Петроградом. Ленин сбрил бороду, и двух изображавших сельских тружеников большевиков устроили в находившемся неподалеку шалаше, который должен был служить им пристанищем в течение месяца.

Ленин, питавший отвращение к мемуарам, не оставил воспоминаний об этом периоде свой жизни, однако кое-что записал Зиновьев[97]. Они жили вдвоем, скрытно, но поддерживали связь со столицей с помощью курьеров. Ленина так раздражали нападки на него и его партию, что какое-то время он вовсе не читал газет. Он постоянно возвращался мыслью к событиям 4 июля и часто, размышляя вслух, спрашивал, была ли тогда у большевиков возможность взять власть, но каждый раз приходил к отрицательному ответу. Когда во второй половине лета их жилище стали заливать дожди, Зиновьев решил вернуться в Петроград, а Ленин направился в Хельсинки. Для пересечения финской границы у него были подложные документы, по которым он значился рабочим (на фотографии в паспорте он

имеет довольно лихой вид — моложавый, гладко выбритый, в парике).

Лишенный возможности непосредственно руководить своей партией и, вероятно, смирившийся с мыслью, что больше у него не будет шанса захватить власть, Ленин сосредоточил внимание на стратегических задачах коммунистического движения. Он вернулся к работе о Марксе и концепции государства, которую в следующем году публикует под заголовком «Государство и революция». Труд этот был его завещанием будущим поколениям, проектом революционных Преобразований, которые должны последовать за свержением капиталистического строя.

«Государство и революция» — нигилистическая работа, утверждающая, что революция призвана разрушить сверху донизу все «буржуазные» институты. Цитируя Энгельса, писавшего, что государство повсюду и во все времена представляет интересы класса эксплуататоров и отражает классовые конфликты, Ленин принимает это положение без доказательств и развивает его, опираясь исключительно на труды Маркса и Энгельса, но не обращаясь к реальной истории политических институтов или политической деятельности.

Главный тезис этой работы Ленин формулирует, ссылаясь на урок, извлеченный Марксом из Парижской коммуны и изложенный в его произведении «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»: «Парламентарная республика оказалась в своей борьбе против революции вынужденной усилить, вместе с мерами репрессии, средства и централизацию правительственной власти. *Все перевороты*

усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать её». [Цитируя это место из Маркса, Ленин выделяет последнюю фразу курсивом (Поли. собр. соч. Т. 33. С. 28)].В письме к другу Маркс так перефразирует эту мысль: «Если ты заглянешь в последнюю главу моего «18-го Брюмера», ты увидишь, что следующей попыткой французской революции я объявляю: не передать из одних рук в другие бюрократически-военную машину, как бывало до сих пор, а *сломать* ее»[98].

Никакое из суждений Маркса о стратегии и тактике революции не удержалось так прочно, как это, в ленинской памяти. Он часто цитировал данный отрывок, ставший для него руководством к действию после захвата власти. Разрушительная ярость, с которой он обрушивался на российское государство, общество и все его институты, находила теоретическое обоснование в этом изречении Маркса. Маркс дал здесь Ленину ключ к решению труднейшей проблемы, встающей перед современным революционером: как уберечь победоносную революцию от идущей за ней следом контрреволюционной реакции. Решение это заключалось в том, чтобы уничтожить «бюрократически-военную машину» старого режима, лишив тем самым контрреволюцию почвы, на которой она могла бы произрастать.

Что же придет на смену старому порядку? Вновь обращаясь к размышлениям Маркса о Парижской коммуне, Ленин указывает на такие институты, предполагающие участие масс, как коммуны и народная милиция, где нет места офицерам и чиновникам старого, реакционного режима. В этой связи он предсказывает полное исчезновение профессиональной бюрократии: «При социализме все будут управлять по очереди и

быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял»[99]. Впоследствии, когда коммунистическая бюрократия вырастет до неслыханных размеров, эту фразу будут бросать Ленину в лицо. Безусловно, Ленин был неприятно удивлен и озабочен появлением в советской России гигантской бюрократии: в последний год жизни это волновало его, пожалуй, больше всего. Но он никогда не питал иллюзии, что с исчезновением «капитализма» исчезнет и бюрократия. Он понимал, что «диктатура пролетариата», установленная после революции, будет еще долгое время существовать в государственных формах со всеми вытекающими отсюда последствиями: «при *переходе* от капитализма к коммунизму подавление *еще* необходимо, но уже подавление меньшинства эксплуататоров большинством эксплуатируемых. Особый аппарат, особая машина для подавления, «государство» *еще* необходимо»[100].

Работая над «Государством и революцией», Ленин параллельно обдумывал экономическую политику будущего коммунистического режима. К этой теме он обращается в двух очерках, написанных в сентябре, после корниловского мятежа, когда дела у большевиков неожиданно пошли в гору[101]. По главной мысли эти работы резко расходятся с его политическими тезисами. Призывая «сломать» старую военно-государственную машину, Ленин в то же время настаивает на сохранении «капиталистической» экономики, которую, по его мнению, необходимо поставить на службу революционному государству. Эту его точку зрения мы еще обсудим в главе «Военный коммунизм». Здесь же достаточно будет сказать, что свои экономические идеи Ленин извлекал из произведений современных ему немецких авторов, главным образом Рудольфа

Хильфердинга, считавшего, что развитой, или «финансовый» капитализм достиг такого уровня концентрации капитала, когда социализм может быть легко введен просто путем национализации банков и синдикатов.

Таким образом, намереваясь искоренить политический и военный аппарат старого «капиталистического» режима, Ленин при этом хотел сохранить и использовать его экономический аппарат. Однако в конце концов он уничтожил и то, и другое, и третье.

Но это было делом будущего, а в тот момент на переднем плане стояли вопросы революционной тактики, и в этих вопросах Ленин резко разошелся со своими товарищами.

Несмотря на то, что входившие в Совет социалисты были готовы простить и забыть июльский путч и всячески защищали большевиков от преследований правительства, Ленин решил, что миновало время, когда надо было маскировать просоветскими лозунгами свое стремление захватить власть, и что отныне большевики должны бороться за нее открыто, вооруженным путем. В работе «Политическая ситуация», написанной 10 июля, на следующий день после прибытия в Разлив, он рассуждает так: «Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно. Объективное положение: либо победа военной диктатуры до конца, либо победа вооруженного восстания рабочих… Лозунг перехода власти к Советам был лозунгом мирного развития революции, возможного в апреле, мае, июне, до 5–9 июля, т. е. до перехода фактической власти в руки военной диктатуры. Теперь этот лозунг уже

неверен, ибо не считается с этим состоявшимся переходом и с полной изменой эсеров и меньшевиков революции на деле»[102]. В первой версии Ленин так и написал «вооруженное восстание», но позднее изменил это на «решительную борьбу рабочих»[103]. Новизна тезиса заключалась не в том, что власть надо брать силой, — вооруженные рабочие, солдаты и матросы выходили в апреле и в июле под руководством большевиков на улицы Петрограда вовсе не с целью организовать народные гуляния, — но в том, что большевики должны были теперь бороться сами за себя, не делая вид, что выступают от имени Советов.

Созванный в конце июля VI съезд большевиков одобрил эту программу. В принятой на нем резолюции было сказано, что в России установилась «диктатура контрреволюционной империалистской буржуазии», в условиях которой лозунг «Вся власть Советам» более не является верным. Был выдвинут новый лозунг, призывавший к ликвидации «диктатуры» Керенского. Это было провозглашено задачей большевистской партии, которая должна повести за собой все анти-контрреволюционные силы, возглавляемые пролетариатом и поддерживаемые беднейшим крестьянством[104]. Как показывает трезвый анализ резолюции, посылки ее были абсурдными, а заключения ложными, и тем не менее в ней был заключен очевидный практический смысл: с этого момента большевики объявляли войну и Совету, и Временному правительству.

Новая тактика и отход от просоветских лозунгов разочаровали многих большевиков. На одной из большевистских конференций, созванных в том же месяце, Сталин, пытаясь успокоить недовольных,

говорил: «Мы безусловно за те Советы, где наше большинство»[105].

Однако прошло совсем немного времени, и большевики, отметив общий спад интереса к Советам, вновь поменяли тактику. Нараставшее в народе безразличие давало им возможность проникать в Советы и манипулировать ими в своих собственных целях. В начале сентября газета «Известия», официальный орган Советов, писала, что из более чем 1000 депутатов Петроградского Совета его заседания посещают лишь от 400 до 500 человек, причем в числе отсутствующих находятся представители тех партий, которые до сих пор составляли парламентское большинство, то есть меньшевики и эсеры[106]. Такое же недовольство проявилось месяц спустя в передовой статье «Известий», озаглавленной «Кризис советской организации». Автор ее напоминал: когда Советы были на пике популярности, в иногороднем отделе Исполкома было зарегистрировано около 80 °Советов, созданных по всей стране; к октябрю многие из них уже не существовали или значились только на бумаге. В сообщениях из губерний отмечалось, что Советы теряют престиж и влияние. Автор с прискорбием констатировал неспособность Советов рабочих и солдатских депутатов сотрудничать с крестьянскими организациями, в результате чего «крестьянство остается совершенно вне» структуры Советов. Но даже и там, где Советы продолжают функционировать, например, в Петрограде и Москве, они «далеко не объединяют всей демократии», ибо многие интеллигенты и даже рабочие в них не участвуют. «Советы были прекрасной организацией для борьбы со старым режимом, но они совершенно не в состоянии взять на себя создание нового… Когда пало

самодержавие и вместе с ним весь бюрократический порядок, мы построили Советы депутатов, как временные бараки, в которых могла найти приют вся демократия». Теперь же, заключал автор, на месте бараков строится «постоянное каменное здание». Например, городские собрания, избираемые на более представительной основе[107].

Всеобщее разочарование работой Советов и отсутствие главных соперников — меньшевиков и эсеров, переставших посещать заседания, — давали большевикам возможность завоевать здесь влияние, значительно превосходившее их популярность в национальных масштабах. И по мере того, как возрастала их роль в Советах, они вновь стали обращаться к лозунгу «Вся власть Советам».

Важной вехой на пути большевиков к завоеванию власти стало 25 сентября, когда они получили большинство в рабочей секции Петроградского Совета. (В Москве они получили такое же большинство 19 сентября). Троцкий, занявший пост председателя Петроградского Совета, сразу же начал работу по превращению его в средство контроля над городскими Советами по всей стране. Как писали «Известия», получив большинство в рабочей секции Петроградского Совета, партия большевиков немедленно «обратила его в свою партийную организацию и, опираясь на него, повела партийную борьбу за захват всей советской организации во всероссийском масштабе»[108]. Большевики практически перестали обращать внимание на решения Исполкома, избранного Всероссийским съездом Советов и находившегося под контролем меньшевиков и эсеров, и приступили к созданию собственной параллельной

псевдо-национальной организации, объединявшей лишь те Советы, где сами они были в большинстве.

Благодаря делу Корнилова и успеху в Советах политическая ситуация складывалась для большевиков неплохо, и они вновь вернулись к мысли о государственном перевороте. Однако мнения разделились. Каменев и Зиновьев, напоминая об июльском разгроме, предостерегали от возвращения к «авантюризму». Они считали, что, несмотря на возросшее влияние в Советах, большевики по-прежнему оставались партией меньшинства, и потому, даже если бы им удалось захватить власть, они бы тут же ее потеряли, не устояв перед натиском соединенных сил «буржуазной контрреволюции» и крестьянства. Противоположное мнение отстаивал Ленин — принципиальный сторонник немедленных и решительных действий. История Корнилова убедила его, что шансы для захвата власти были высокими, как никогда, и ситуация эта могла больше не повториться. 12-го и 14 сентября он написал из Финляндии два письма в Центральный Комитет, озаглавленные «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, — писал он в первом из них, — большевики могут и *должны* взять государственную власть в свои руки». Причем, в противоположность заявлениям Каменева и Зиновьева, большевики способны не только захватить власть, но и удержать ее: предложив немедленный мир и раздав землю крестьянам, «большевики составят такое правительство, какого *никто* не свергнет». Необходимо, однако, действовать быстро, ибо Временное правительство может сдать Петроград немцам, или

закончится война. Поэтому надо «на очередь дня поставить *вооруженное восстание* в Питере и в Москве (с областью), завоевание власти, свержение правительства. Обдумать, *как* агитировать за это, не выражаясь так в печати». Если в Петрограде и Москве удастся захватить власть, дело будет решено. Рекомендации Каменева и Зиновьева подождать созыва Второго съезда Советов, где, по их предположениям, партия сможет завоевать большинство, Ленин назвал «наивными»: «ни одна революция *этого* не ждет»[109].

Во втором письме Ленин полемизирует с теми, кто называет путь вооруженного захвата власти не «марксистским», а «бланкистским», и доказывает, что всякие аналогии с июлем неправомерны, так как в сентябре «объективная» ситуация уже совсем иная. Он был уверен (возможно, располагая какой-то информацией, доставленной по его каналам из Германии), что Берлин предложит большевистскому правительству перемирие, а «получить перемирие теперь — это значит уже победить *весь* мир»[110].

Центральный Комитет рассмотрел письма Ленина на заседании 15 сентября. Лаконичные (и почти наверняка подвергнутые жесткой цензуре) протоколы этого обсуждения [Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). М., 1958. С. 55–62. Это единственное на сегодняшний день доступное документальное изложение заседаний большевистского ЦК за период с 4 августа 1917-го по 24 февраля 1918 г. было впервые издано в 1929 г. Целью публикации было дискредитировать Троцкого, Каменева и Зиновьева, побежденных Сталиным в борьбе за партийное руководство. Поэтому использовать их надо с величайшей осторожностью. Как

написано в предисловии ко второму изданию, «тексты протоколов печатаются полностью, без пропусков, за исключением конфликтных дел, снятых, как и в первом издании, из-за недостаточно полного освещения данных вопросов в тексте протоколов» (с. VII). Что бы ни означала сия туманная фраза, она не вселяет доверия к источнику.] показывают, что соратники Ленина, с одной стороны, не решались формально отклонить его советы (на чем настаивал Каменев), а с другой, — не были готовы им следовать. Как пишет Троцкий, в сентябре никто не согласился с Лениным в том, что восстание надо поднимать незамедлительно[111]. По предложению Сталина ленинские письма были посланы для обсуждения в основные региональные партийные организации: это был способ оправдать бездействие. На том дело и остановилось: ни на одном из последующих заседаний (с 20-го сентября по 5 октября) предложений Ленина более никто не касался. [Не исключено, конечно, что рекомендации Ленина были отвергнуты, но соответствующий текст вымаран в опубликованной версии стенограммы.].

Такая пассивность привела Ленина в ярость. Он боялся, что благоприятный для восстания момент будет упущен. 24-го или 25 сентября он перебрался из Хельсинки в Выборг (который находился тогда на финской территории), чтобы быть ближе к событиям. Отсюда 29 сентября он направил в ЦК третье письмо под заголовком «Кризис назрел». Основные практические рекомендации содержались в шестой части письма, впервые опубликованной в 1925 году. Надо честно признать, писал Ленин, что некоторые члены партии хотят подождать с захватом власти до следующего съезда Советов. Он категорически отвергает этот подход:

«пропускать такой момент и «ждать» съезда Советов есть *полный идиотизм* или *полная измена».* Вот как он обосновывал свою точку зрения: «Победа восстания *обеспечена* теперь большевикам: 1) мы можем (если не будем «ждать» Советского съезда) ударить *внезапно* и из трех пунктов, из Питера, из Москвы, из Балтийского флота <…> 5) мы имеем техническую возможность взять власть в Москве (которая могла бы даже начать, чтобы поразить врага неожиданностью); 6) мы имеем *тысячи* вооруженных рабочих и солдат в Питере, кои могут *сразу* взять и Зимний дворец, и Генеральный Штаб, и станцию телефонов, и все крупные типографии <…> Если бы мы ударили сразу, внезапно, из трех пунктов, в Питере, в Москве, в Балтийском флоте, то девяносто девять сотых за то, что мы победим с меньшими жертвами, чем 3–5 июля, ибо *не пойдут войска* против правительства мира». [Ленин. ПСС. Т. 34. С. 281–282. Ленин здесь нечаянно проговаривается, признавая, что 3–5 июля большевики в самом деле намеревались захватить власть.]. Ссылаясь на то, что Центральный Комитет не ответил на его «призывы» и даже подверг цензуре его статьи, Ленин заявил о своем намерении уйти в отставку. Это, конечно, был блеф. Чтобы обсудить расхождение во взглядах, ЦК потребовал возвращения Ленина в Петроград[112]. Соратники Ленина все до одного отклонили его призыв к немедленному вооруженному восстанию. Их позицию сформулировал Троцкий, который назвал предложения Ленина чересчур «импульсивными». Троцкий считал, что вооруженное восстание должно быть закамуфлировано как принятие на себя всей полноты власти Всероссийским съездом Советов. Речь, конечно, шла не о созванном по всем правилам съезде, который несомненно не стал бы этого делать, а о съезде, организованном в

нарушение всех процедур самим большевиками и теми, кто их поддерживал. Это должен был быть съезд про-большевистских Советов, созванный под маркой всероссийского Пожалуй, это была разумная тактика, ибо страна вряд ли приняла бы власть, захваченную одной партией, как это предлагал Ленин. Чтобы удержать власть на сколько-нибудь длительный срок, надо было придать перевороту хотя бы видимость «советской» законности.

* * *

Одним из важных факторов, заставлявших Ленина торопить события, было опасение, что большевиков опередит Учредительное собрание. 9 августа Временное правительство наконец объявило график созыва этого органа: выборы были назначены на 12 ноября, а первое заседание — на 28 ноября. И хотя в иные моменты большевики тешили себя иллюзией, что им удастся завоевать в Учредительном собрании большинство, интуиция подсказывала им, что этого не произойдет, ибо крестьянство в основной своей массе станет голосовать за эсеров. Поскольку опорой большевиков было городское население и армия и они были фактическими хозяевами в Советах, мандат на власть в масштабах страны они могли получить, лишь действуя через систему Советов. В противном случае они теряли все. Если бы страна выразила свою волю на демократических выборах, они бы уже не смогли ни утверждать, что говорят от имени «народа», ни называть новое правительство «капиталистическим». Поэтому, намереваясь захватить власть, они должны были сделать это до выборов в Учредительное собрание. А уже контролируя ситуацию, они смогли бы нейтрализовать

неблагоприятные результаты выборов. Как писал один большевистский автор, «состав Учредительного собрания будет сильно зависеть от того, кто его созывает»[113]. С этим соглашался Ленин: «успех» выборов в Учредительное собрание будет лучше обеспечен *после* переворота[114]. Как показали последующие события, это означало, что большевики собирались либо фальсифицировать результаты голосования, либо разогнать Учредительное собрание. Ситуация вынуждала Ленина торопить товарищей и даже угрожать отставкой.

Большевики не могли надеяться на то, что заставят Учредительное собрание передать им всю полноту власти, но вполне могли полагаться в этом смысле на Советы — органы довольно беспорядочно избранные, плохо структурированные и не имевшие в своем составе крестьян. Хорошо отдавая себе отчет в том, как складывается ситуация, большевики начали агитацию за немедленный созыв Второго съезда Советов. Повод для этого был. Со времени Первого съезда, собиравшегося в июне, существенно изменились и ситуация в стране, и состав городских Советов. Эсеры и меньшевики встретили идею созыва нового съезда без особого энтузиазма — отчасти потому, что боялись численного преобладания на нем большевиков, а отчасти из-за того, что он совпал бы по времени с Учредительным собранием. Местные Советы и армия тоже отнеслись к идее нового созыва отрицательно. В конце сентября Исполком разослал запрос в 169 Советов и армейских комитетов для выяснения их отношения к созыву Второго съезда Советов. Из шестидесяти трех Советов, приславших ответы, лишь восемь одобрили эту затею[115]. В вооруженных силах намерение большевиков вызвало протест: 1 октября солдатская секция Петроградского

Совета проголосовала против созыва съезда, а доклад, зачитанный на съезде в середине октября, показал, что представители армейских комитетов единогласно признали созыв съезда «несвоевременным и подрывающим планомерную работу по подготовке к Учредительному собранию»[116].

Однако большевики, имевшие в Петроградском Совете значительный перевес, продолжали настаивать, и 26 сентября Бюро Исполкома согласилось созвать Второй съезд Советов 20 октября[117]. Повестку дня этого съезда предполагалось ограничить выработкой законодательных предложений для Учредительного собрания. Иногороднему отделу было поручено известить местные Советы о необходимости прислать на съезд своих представителей.

Таким образом, большевики выиграли, но это был только первый шаг. Хотя их позиции в Советах по всей стране были более прочными, чем в июне, они вполне могли и не получить на Втором съезде абсолютного большинства[118]. Рассчитывать на победу они могли, только взяв созыв съезда полностью в свои руки, чтобы получить возможность приглашать к участию в нем только те Советы (главным образом из центральных и северных областей России) и те армейские комитеты, где они имели уже твердый перевес. На решение этой задачи они теперь и направили усилия.

10 сентября в Хельсинки открылся Третий областной съезд рабочих и солдатских депутатов Финляндии. Большевики имели на нем твердое большинство[119]. На съезде был создан Областной комитет, издавший постановление, что все представители гражданских и военных властей должны

исполнять только те законы Временного правительства, которые утвердит этот Комитет[120]. Это была попытка перехватить власть у Временного правительства, создав некий псевдо-правительственный орган под руководством большевиков.

Успех в Финляндии придал большевикам уверенность, что они смогут повторить тот же ход, созвав не менее послушный Всероссийский съезд Советов. 29 сентября Центральный Комитет большевиков обсуждал, а 5 октября вынес решение о созыве в Петрограде съезда Советов Северной области[121]. Приглашения на этот съезд были разосланы от имени эфемерного большевистского фронта, названного Областным комитетом армии, флота и рабочих Финляндии. Бюро Исполкома выразило протест на том основании, что не были соблюдены процедуры, необходимые для созыва съезда[122]. Игнорируя это мнение, Областной комитет продолжил свою деятельность и в конечном счете пригласил для участия в съезде представителей около тридцати Советов, в которых большевики имели перевес. В их числе были Советы из Московской губернии, не входившей в Северную область[123]. Существуют убедительные свидетельства, что большевистские руководители, включая Ленина, рассчитывали вынудить этот областной съезд объявить о переходе всей власти к Советам[124], однако затем отказались от этого плана.

Съезд Советов Северной области открылся в Петрограде 11 октября. Абсолютное большинство на нем составляли большевики и их союзники левые эсеры — группа, отколовшаяся от партии социалистов-революционеров. Однобокий этот «съезд»

заслушал множество пламенных речей, в частности выступление Троцкого, сказавшего, что «время слов прошло»[125].

Партия большевиков имела, конечно, не больше оснований для созыва съезда Советов (будь он областной или всероссийский), чем любая другая группировка, и поэтому Исполком заявил, что встреча эта является неофициальным, «частным совещанием отдельных Советов»[126]. Большевики проигнорировали это заявление. Они рассматривали организованное ими собрание как официальную прелюдию ко Второму съезду Советов, который намеревались созвать 20 октября, — как объяснял Троцкий, легальным путем, если получится, и «революционным» — если нет[127]. Важнейшим результатом Областного съезда стало создание Северного областного комитета, в состав которого вошли одиннадцать большевиков и шесть левых эсеров. Их задачей было «обеспечить» созыв Второго всероссийского съезда Советов[128]. 16 октября этот орган разослал телеграммы Советам и армейским комитетам на уровне полков, дивизий и корпусов, содержавшие сообщение о начале работы съезда 20 октября и требование прислать делегатов. Съезд должен был призвать к перемирию, объявить о передаче земли крестьянам и подтвердить, что Учредительное собрание будет созвано в установленные сроки. В телеграмме содержалось также распоряжение все Советы и армейские комитеты, выступающие против созыва Второго съезда (а таких, как следует из отчета, подготовленного Исполкомом, было большинство), немедленно «переизбрать», что на большевистском кодовом языке означало «распустить»[129].

Эта акция большевиков, представлявшая собой настоящий переворот в системе Советов на уровне всей страны, была их первым шагом на пути к захвату власти. Предпринимая такие действия, большевистский ЦК присваивал себе полномочия, доверенные Первым съездом Советов Исполкому. Одновременно это было покушением на власть Временного правительства, ибо на повестку дня так называемого Второго съезда большевики поставили именно те вопросы, на которых правительство предполагало сосредоточить свои усилия в период до созыва Учредительного собрания[130].

Меньшевики и эсеры, вполне отдававшие себе отчет в том, что затевали большевики, отказались признать законность Второго съезда. 19 октября «Известия» напечатали заявление Исполкома, еще раз подтверждавшее, что только его Бюро уполномочено созывать Всероссийский съезд Советов: «Никакой другой комитет не уполномочен и не имеет права брать на себя инициативы созывать съезд. Тем менее имеет на то право Северный областной съезд, созванный с нарушением всех правил, установленных для областных съездов и представляющий случайно и произвольно подобранные Советы». Далее в заявлении говорилось, что, разослав приглашения армейским комитетам на уровне полков, дивизий и корпусов, большевики нарушили установленные процедуры, которые требуют выдвижения солдатских депутатов на армейских собраниях, а в случае невозможности их созыва — в комитетах на уровне армий, по квоте 1 представитель от 25000 солдат[131]. Очевидно, что большевики обошли комитеты армейского уровня, так как отрицательное отношение тех к созыву Второго съезда было хорошо известно[132]. Три дня спустя «Известия» написали, что

большевики не только созвали незаконный съезд, но грубо нарушили принятые нормы представительства. В то время как правила требовали, чтобы Советы, представляющие менее 25 000 человек, не посылали делегатов на Всероссийский съезд, а Советы, представляющие от 25 000 до 50 000, посылали двух делегатов, большевики попросили один Совет прислать от 500 человек двух делегатов, а другой от 1500 человек — пять, что было больше, чем число делегатов от Киева[133].

Все это было так. Но хотя эсеры и меньшевики объявили грядущий Второй съезд незаконным и непредставительным, они все-таки позволили ему собраться. 17 октября Бюро Исполкома дало согласие на созыв Второго съезда, поставив при этом два условия: во-первых, он начнет работу пятью днями позже, то есть 25 октября, чтобы делегаты из провинции успели добраться до Петрограда, и во-вторых, его повестка будет ограничена обсуждением внутренней ситуации в стране, подготовкой к Учредительному собранию и перевыборами Исполкома[134]. Капитуляция эта удивительна и необъяснима. Прекрасно зная, какого результата добиваются большевики, Исполком дал им все, чего они желали: специально подобранный орган, состоявший из их последователей и союзников, абсолютно готовый узаконить переход власти в руки большевиков.

* * *

Собрание представителей пробольшевистских Советов, созванное под маской всероссийского съезда, имело целью узаконить большевистский переворот. Однако, по настоянию Ленина, переворот должен был произойти до начала работы съезда. Осуществить его предстояло силами ударных отрядов под командованием Военной организации, которым было отдано распоряжение захватить в столице стратегически важные объекты и объявить правительство низложенным. Тогда съезд будет поставлен перед свершившимся и необратимым фактом. Но такого рода акцию нельзя было проводить от имени большевистской партии, поэтому большевики в качестве инструмента использовали для этой цели Военно-революционный комитет, созданный Петроградским Советом в момент паники в начале октября для защиты города от ожидавшегося немецкого наступления.

Катализатором событий послужили операции немецкой армии в Рижском заливе. После того как русские войска оставили Ригу, немцы выслали разведывательные части в направлении Ревеля. Эти действия противника вызвали тревогу в русском Генеральном штабе, ибо представляли угрозу для Петрограда, который находился всего в трехстах километрах и не был надежно защищен.

К середине октября угроза столице со стороны немцев стала еще более реальной. 6 (19) сентября германское командование отдало приказ о взятии островов Моон, Осел и Даго в Рижском заливе. Флотилия, прибывшая 28 сентября (11 октября), быстро расчистила минные заграждения русских и 8 (21) октября, преодолев неожиданно стойкое сопротивление, полностью овладела

островами[135]. Теперь противник имел возможность зайти русским войскам с тыла.

Генеральный штаб рассматривал эту морскую операцию как подготовку наступления на Петроград. 3 (16) октября был отдан приказ об эвакуации Ревеля — последнего оплота русских войск, преграждавшего немцам путь на столицу. На следующий день Керенский принял участие в обсуждении надвигавшейся опасности. Ввиду того, что Петроград мог вскоре оказаться в зоне боевых действий, было выдвинуто предложение о переводе Временного правительства и Учредительного собрания в Москву. В целом идея эта была одобрена, но возникли расхождения относительно сроков: Керенский настаивал на немедленной эвакуации, а остальные полагали, что надо еще выждать. В конце концов было решено провести эвакуацию, заручившись поддержкой Предпарламента — собрания политических лидеров, назначенного правительством на 7 октября для того, чтобы обеспечить себе поддержку широкой общественности. После этого встал вопрос, как быть с Исполкомом. Сошлись на мнении, что, поскольку это самодеятельный орган, о своей эвакуации он должен позаботиться сам. [Революция. Т. 5. С. 23. По словам Керенского, обсуждения эти были секретными, но сведения о них сразу же просочились в печать (там же. С. 81).]. 5 октября правительственные эксперты доложили, что для перевода в Москву учреждений исполнительной власти потребуется две недели. Были также разработаны планы эвакуации вглубь страны петроградской промышленности[136].

С военной и политической точек зрения меры эти были вполне осмысленными: то же самое сделали в 1914

году французы, когда немцы подходили к Парижу, да и большевики в марте 1918 года, оказавшись в аналогичных обстоятельствах, пошли тем же путем. Но в тот момент социалистическая интеллигенция усмотрела в намечавшейся эвакуации очередную уловку «буржуазии», пожелавшей сдать врагу «красный Петроград», главный оплот «революционной демократии». Как только в печати появились сообщения о разработанных правительством планах эвакуации (6 октября), Бюро Исполкома заявило, что без его одобрения ни о какой эвакуации не может быть речи. Троцкий выступил перед солдатской секцией Совета и убедил ее принять резолюцию, осуждавшую намерение правительства покинуть «столицу революции». Если правительство не в состоянии защитить Петроград, было сказано в резолюции, оно должно либо заключить мир, либо передать власть другому правительству[137]. Временное правительство сразу капитулировало. В тот же день оно заявило, что, ввиду возражений, эвакуация откладывается на месяц. В конце концов оно вообще отказалось от этой идеи[138].

9 октября вышло распоряжение правительства о посылке на фронт в связи с ожидавшимся немецким наступлением части Петроградского гарнизона. Как и следовало ожидать, исходя из прошлого опыта, гарнизон воспротивился[139]. Вопрос был передан для вынесения решения Исполкому.

На заседании Исполкома, состоявшемся в тот же день, рабочий-меньшевик Марк Бройдо предложил резолюцию, призывающую Петроградский гарнизон подготовиться к обороне города, а Совет — сформировать (скорее, даже возродить) Комитет

революционной обороны, который «выработал бы план» защиты столицы[140]. От неожиданности большевики и левые эсеры выступили против резолюции Бройдо на том основании, что она укрепляет позиции Временного правительства. Однако с небольшим перевесом голосов (13 к 12) эта резолюция все же прошла. Сразу после голосования большевики поняли, что совершили ошибку. Военная организация, которую они готовили для вооруженного восстания, была подчинена большевистскому ЦК и не зависела от Совета. Такое ее положение давало лишь относительные преимущества: полностью подчиненная большевистскому командованию, она, как орган одной политической партии, не могла действовать от имени Совета, ссылаясь на который большевики собирались захватить власть. Возвращаясь к этим событиям несколько лет спустя, Троцкий вспоминал, что еще в сентябре 1917 года, сознавая уязвимость своей позиции, большевики решили использовать любую возможность создания «непартийного «советского» органа руководства восстанием»[141]. Это подтверждает член Военной организации К.А.Мехоношин, утверждавший, что большевики считали необходимым «перенести центр, связывавший нас с частями военного гарнизона, из военной организации партии в Совет, чтобы в момент действия выступить от имени Петроградского Совета»[142]. Организация, предложенная меньшевиками, идеально подходила для этих целей.

Вечером того же дня (9 октября), когда предложение меньшевиков было вынесено для голосования на пленум Совета, депутаты-большевики изменили свою позицию: теперь они соглашались на создание при Совете организации для обороны Петрограда от немцев, если только она будет

одновременно защищать город от «внутреннего» врага. Под внутренним врагом большевики разумели Временное правительство, которое, по словам одного из их ораторов, попустительствовало сдаче кайзеру «главного бастиона революции». Кайзера же, как говорилось в большевистской резолюции, поддерживают в его продвижении к российской столице все «империалисты»[143]. Поэтому большевики предлагали, чтобы все полномочия по защите города как от немецкого «империализма», так и от внутренней «контрреволюции» принял на себя Военно-революционный комитет обороны.

Понимая, куда клонят большевики, переформулируя таким образом предложение Бройдо, меньшевики решительно выступили против этой поправки: оборона города является обязанностью правительства и его военного командования. Однако пленум предпочел версию большевиков и проголосовал за создание Комитета революционной обороны, который «сосредоточил бы в своих руках все данные, относящиеся к защите Петрограда и подступов к нему, принял бы все меры к вооружению рабочих и таким образом обеспечил бы и Революционную оборону Петрограда и безопасность народа от открыто подготовляющейся атаки военных и штатских корниловцев»[144]. Эта необычайная резолюция, включив в функции вновь созданного комитета борьбу с реальной угрозой, исходившей от продвигавших немецких войск, ловко присоединила к ним обязанности по борьбе с угрозой абсолютно мифической, исходившей от неких призрачных сторонников Корнилова. Меньшевики и эсеры пожинали теперь плоды своей демагогии, своих

обвинений Временного правительства в «буржуазности», своих навязчивых страхов перед «контрреволюцией».

Принятие этой резолюции сыграло очень важную роль. Как утверждал впоследствии Троцкий, она решила судьбу Временного правительства. По его словам, это было «тихое», или «сухое» восстание, которое «на три четверти, если не на девять десятых» обеспечило победу переворота 25–26 октября[145].

Это, однако, было еще не все, так как решение пленума должно было получить одобрение Исполкома и всего Совета. На закрытом заседании Исполкома 12 октября большевистская резолюция подверглась атаке двух меньшевиков, но и здесь им не удалось ничего сделать, и Исполком утвердил решение пленума почти единогласно — за исключением этих двух голосов. Исполком переименовал новую организацию, назвав ее Военно-революционным комитетом (ВРК), и вменил ей в обязанность защиту города[146].

Окончательное формальное решение было принято 16 октября на заседании Совета. Чтобы отвлечь от себя внимание, большевики представили в качестве автора резолюции о создании ВРК никому не известного молодого человека, левого эсера, фельдшера по профессии П.Е.Лазимира. Эсеры, слишком поздно понявшие значение этого маневра большевиков, безуспешно пытались отложить голосование, вероятно, чтобы собрать своих отсутствующих депутатов. Этого сделать не удалось, и они воздержались от голосования. Еще раз выступил Бройдо с предупреждением, что ВРК — это обман, что его подлинная цель — вовсе не оборона Петрограда, а захват власти. Троцкий отвлек внимание собравшихся, зачитав выдержки из газетного интервью с

Родзянко, которые он трактовал в том смысле, что бывший председатель бывшей Думы (не занимавший в тот момент никакого поста в правительстве) готов приветствовать оккупацию Петрограда немцами[147]. В качестве председателя ВРК большевики выдвинули Лазимира, а его заместителем стал Подвойский (накануне Октябрьского переворота Подвойский был назначен руководителем этой организации). [Впоследствии Лазимир вступил в партию большевиков. В 1920 г. он умер от тифа.]. Кто еще вошел в состав Военно-революционного комитета, установить трудно: судя по всему, это были исключительно большевики и левые эсеры. [См.: Подвойский Н. // Красная летопись. 1923. № 8. С. 16–17. Троцкий в 1922 г. писал, что даже под угрозой смерти он не сможет вспомнить состав Военно-революционного комитета (Пролетарская революция. 1922. № 10. С. 54).]. Впрочем, не так уж важно знать, кто был в ВРК, поскольку это была всего лишь удобная вывеска для Военной организации большевиков — подлинного организатора переворота.

Теперь Троцкий повел войну нервов. Когда Ф.И.Дан потребовал, чтобы большевики ясно сказали в Совете, готовят ли они восстание, как об этом ходят слухи, Троцкий злорадно осведомился, не для передачи ли Керенскому и его контрразведке нужна ему эта информация. «Нам говорят здесь, что мы готовим штаб для захвата власти. Мы из этого не делаем тайны»[148]. Однако два дня спустя он заявил, что если восстание и состоится, решение об этом будет принимать Петроградский Совет: «У нас наступление еще не назначено»[149].

Хотя двусмысленность этих заявлений была очевидна, Совет их как будто не замечал. Социалисты то ли не слышали, что говорил Троцкий, то ли убедили себя в неизбежности большевистской авантюры. Действий большевиков они опасались гораздо меньше, чем возможной реакции на них справа, грозившей смести их вместе с последователями Ленина. За несколько дней до Октябрьского переворота (19 октября) Военная организация партии эсеров в Петрограде решила сохранять в случае восстания «нейтралитет». Циркуляр, разосланный ее членам и сочувствующим из гарнизона, призывал воздерживаться от участия в демонстрациях и «быть в полной готовности к беспощадному подавлению <…> возможных выступлений черной сотни, погромщиков и контрреволюционеров»[150]. Из этого документа совершенно ясно, в чем руководители социалистов-революционеров видели главную угрозу демократии.

Троцкий держал Петроград в состоянии неослабевающего напряжения. Он обещал, предостерегал, угрожал, льстил, разжигал страсти. Вот как описывает Суханов типичную сцену, свидетелем которой он стал в эти дни:

«Настроение трех с лишним тысяч людей, заполнявших залу, было определенно приподнятое; все молча чего-то ждали. Публика была, конечно, рабочая и солдатская по преимуществу. Но было видно немало типично мещанских фигур, мужских и женских…

Как будто бы овация Троцкому прекратилась раньше времени — от любопытства и нетерпения: что он скажет?.. Троцкий немедленно начал разогревать атмосферу — с его искусством и блеском. Помню, он

долго и с чрезвычайной силой рисовал трудную… картину окопной страды. У меня мелькали мысли о неизбежном несоответствии частей в этом ораторском целом. Но Троцкий знал, что делал. Вся суть была в *настроении.* Политические выводы давно известны… Советская власть не только призвана уничтожить окопную страду. Она даст землю и уврачует внутреннюю разруху. Снова были повторены рецепты против голода: солдат, матрос и работница, которые реквизируют хлеб у имущих и бесплатно отправят в город и на фронт… Но Троцкий пошел и дальше в решительный «день Петербургского Совета» [22 октября]: «Советская власть отдаст все, что есть в стране, бедноте и окопникам. У тебя, буржуй, две шубы — отдай одну солдату, которому холодно в окопах. У тебя есть теплые сапоги? Посиди дома. Твои сапоги нужны рабочему».

Вокруг меня было настроение, близкое к экстазу. Казалось, толпа запоет сейчас, безо всякого сговора и указания, какой-нибудь религиозный гимн… Троцкий формулировал какую-то общую краткую резолюцию или — провозгласил какую-то общую формулу, вроде того, что «будем стоять за рабоче-крестьянское дело до последней капли крови».

Кто — за?.. Тысячная толпа, как один человек, подняла руки. Я видел поднятые руки и горевшие глаза мужчин, женщин, подростков, рабочих, солдат, мужиков и — типично мещанских фигур… она [толпа] согласна. Она клянется… Я с необыкновенно тяжелым чувством смотрел на эту поистине величественную картину»[151].

* * *

К 16 октября большевики имели в своем распоряжении две организации, номинально подчиненные Совету: Военно-революционный комитет — чтобы осуществить переворот, и Второй съезд Советов — чтобы придать этому перевороту видимость законности. Теперь они могли потеснить и Временное правительство с его военным командованием, и Исполком с его Советами. ВРК и съезд Советов призваны были провести в жизнь решение, тайно принятое большевиками 10 октября, — захватить власть.

Где-то между 3 и 10 октября Ленин вновь появился в Петрограде. Возвращение его было окутано такой тайной, что советские историки до сих пор не могут определить точную дату этого события. До 24 октября Ленин жил скрытно на Выборгской стороне и вышел из подполья только с началом переворота.

10 октября, на следующий день после того, как Исполком и пленум Совета утвердили решение о создании Комитета обороны, и, по-видимому, в связи с этим утверждением, — двенадцать членов большевистского Центрального Комитета собрались, чтобы решить вопрос о вооруженном восстании. Встреча происходила ночью на квартире Суханова, в обстановке чрезвычайной секретности. Ленин пришел, изменив внешность: гладко выбритый, в парике и в очках. Мы не можем сказать с достоверностью, что происходило на этом заседании, так как из двух его протоколов был опубликован только один, да и тот в сомнительной обработке[152]. Наиболее полную версию можно найти в воспоминаниях Троцкого[153].

Ленин рассчитывал, что члены ЦК единодушно поддержат идею произвести переворот до 25 октября. Но возразил Троцкий: 25 октября соберется съезд Советов «с заранее обеспеченным нашим большинством». На это Ленин ответил, что «вопрос о Втором съезде Советов <…> его совершенно не интересует: какое это имеет значение? состоится ли еще самый Съезд? да и что он может сделать, если даже соберется? Нужно вырвать власть, не надо связываться со съездом Советов, смешно и нелепо предупреждать врага о дне восстания. В лучшем случае 25 октября может стать маскировкой, но восстание необходимо устроить заранее и независимо от съезда Советов. Партия должна захватить власть вооруженной рукой, а затем уже будем разговаривать о съезде Советов»[154]. Троцкий считал, что Ленин не только переоценивает врага, но и не понимает значения Советов как прикрытия: партия не могла захватить власть так, как этого хотел Ленин, независимо от Советов, потому что рабочие и солдаты узнали буквально обо всем, в том числе и о большевистской партии, только через Советы. Брать власть вне структуры Советов означало лишь сеять в массах смятение.

Расхождения между Лениным и Троцким касались времени переворота и необходимости придать ему видимость законной акции. Но некоторые члены ЦК ставили под вопрос вообще целесообразность захвата власти большевиками. Урицкий утверждал, что большевики технически не подготовлены к восстанию и что имеющихся у них 40 000 винтовок далеко не достаточно. Наиболее резкие возражения выдвинули вновь Каменев и Зиновьев, которые изложили свою позицию в закрытом письме в большевистские организации[155]. По их мнению, время для переворота

еще не пришло: «Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание — значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции». Партия, писали они, может рассчитывать на хорошие результаты на выборах в Учредительное собрание, где она в состоянии завоевать минимум треть мест, поддержав тем самым авторитет Советов, в которых ее влияние ныне чрезвычайно возросло. «Учредительное собрание плюс Советы — вот тот комбинированный тип государственных учреждений, к которому мы идем». Они не соглашались с Лениным, утверждавшим, что большинство русских и международный рабочий класс готовы поддержать большевиков, и такая пессимистическая оценка заставляла их ратовать за осторожную, оборонительную тактику, а не за вооруженные выступления,

На это Ленин ответил: «Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу». В этом большинство собравшихся его поддержали.

К концу обсуждения Центральный Комитет разделился на три группы: 1) Ленин, который считал необходимым немедленный захват власти безо всякой оглядки на съезд Советов и Учредительное собрание; 2) Зиновьев и Каменев, которых поддержали Ногин, В.П.Милютин и А.И.Рыков, считавшие, что в тот момент переворот был вообще нецелесообразен; 3) остальные шесть участников совещания, выступавшие за переворот, но полагавшие, вслед за Троцким, что он должен быть приурочен к съезду Советов и произведен под его эгидой, то есть две недели спустя. Большинством в десять голосов было принято решение, что «вооруженное восстание неизбежно и вполне

назрело»[156]. Вопрос о времени выступления остался открытым. Судя по тому, как разворачивались события дальше, переворот должен был произойти за день или за несколько дней перед съездом. Ленин пошел на такой компромисс, но отстоял свое главное требование: съезд должен будет лишь узаконить уже свершившийся переворот.

Описанное выше создание Военно-революционного комитета и созыв Съезда Советов Севера, который, в свою очередь, выступил инициатором Второго съезда Советов, — это были шаги на пути осуществления решения, принятого большевистским ЦК 10 октября.

Каменев счел такое решение неприемлемым. Он вышел из Центрального Комитета, а неделю спустя объяснил свою позицию в интервью, напечатанном в «Новой жизни». Он заявил, что они с Зиновьевым послали в партийные организации циркулярное письмо, в котором «решительно высказывались против того, чтобы партия наша брала на себя инициативу каких-либо вооруженных выступлений в ближайшие сроки». И хотя, лгал далее Каменев, партия не принимала решения о таких выступлениях, он сам, Зиновьев и еще некоторые товарищи убеждены, что «захват власти вооруженной рукой» накануне и независимо от съезда Советов будет иметь фатальные последствия для революции. Восстание неизбежно — но в свое время[157].

До переворота ЦК заседал еще трижды: 20, 21 и 24 октября[158]. На повестку дня первого из этих заседаний был поставлен вопрос о нарушении партийной дисциплины, якобы допущенном Каменевым и Зиновьевым, которые сделали достоянием гласности свои возражения против вооруженного восстания. [Ленин

ошибочно полагал, что и Зиновьев дал вместе с Каменевым интервью «Новой жизни» (Протоколы ЦК. С. 108).]. По этому поводу Ленин написал в ЦК два гневных письма с требованием изгнать «штрейкбрехеров»: «Мы не можем сказать перед капиталистами правды, именно, что мы решили стачку [читай: решили пойти на вооруженное восстание] и решили скрыть выбор момента для нее»[159]. ЦК не удовлетворил требование Ленина.

Протоколы этих трех заседаний сокращены до такой степени, что на них нельзя полагаться как на достоверный источник. Если принять их за чистую монету, то выходит, что переворот, который к тому времени уже начался, даже не обсуждался на этих заседаниях.

Тактика ЦК заключалась в том, чтобы спровоцировать правительство на репрессивные меры и затем начать переворот под прикрытием лозунга защиты революции. Эта тактика не была секретом. Как писал орган эсеров «Дело народа» еще за несколько недель до переворота, Временное правительство будет обвинено в том, что вступило в заговор с Корниловым, чтобы подавить революцию, и с кайзером, чтобы сдать врагу Петроград, а также в намерении разогнать съезд Советов и Учредительное собрание[160]. После переворота Троцкий и Сталин подтвердили, что план партии состоял именно в этом. Вот что писал Троцкий: «Стратегия наша по существу была наступательной: мы шли на штурм власти, но агитация была построена на том, что враги готовятся разогнать съезд Советов и что нужно, стало быть, дать им беспощадный отпор»[161]. Сталин подтвердил: «Революция [читай: большевистская партия] как бы маскировала свои наступательные действия оболочкой

обороны для того, чтобы тем легче втянуть в свою орбиту нерешительные колеблющиеся элементы»[162].

Курцио Малапарте рассказывает об удивлении, испытанном английским писателем Израэлем Зангвиллом, попавшим в Италию, когда власть там захватили фашисты. Зангвилла поразило отсутствие «баррикад, уличных боев и трупов на тротуарах», он просто отказывался верить, что является свидетелем революции[163]. Но, пишет Малапарте, характерной чертой современных революций является как раз бескровный, почти бесшумный захват стратегических пунктов небольшими, хорошо подготовленными штурмовыми группами. Наступление ведется с такой поистине хирургической точностью, что широкая публика даже не подозревает о происходящем.

Этому описанию вполне соответствует и Октябрьский переворот в России (послуживший для Малапарте одной из моделей). В октябре большевики отказались от массовых вооруженных демонстраций и уличных перестрелок, которые организовывали по настоянию Ленина в апреле и июле, так как выяснилось, что толпой управлять трудно и она сама по себе провоцирует отпор властей. Вместо этого они прибегли к помощи небольших дисциплинированных отрядов солдат и рабочих, находившихся под командованием Военной организации большевиков, выступавшей под вывеской Военно-революционного комитета. Силами этих отрядов были взяты основные центры связи, транспортные узлы и коммуникации, городские службы и типографии — нервные центры современного столичного города. Они сделали невозможным контрнаступление, просто перерезав телефонные линии, связывавшие

правительство с Генеральным штабом. Вся операция была проведена так гладко и эффективно, что ее не заметили в кафе и ресторанах, театрах и кинозалах, заполненных толпами ищущих развлечений.

* * *

Военно-революционный комитет, впоследствии охарактеризованный его секретарем большевиком Антоновым-Овсеенко как «хорошее формальное прикрытие для боевой работы партии»[164], заседал только дважды: этого было достаточно, чтобы к Военной организации большевиков прилепить «советскую» этикетку[165]. Антонов-Овсеенко признает, что ВРК находился под непосредственным руководством большевистского ЦК и был «в действительности его органом» — до такой степени, что в какой-то момент возникла идея превратить его в отделение Военной организации[166]. По его словам, штаб ВРК находился в Смольном, в комнатах 10 и 17, где всегда толпилось множество молодых людей, которые приходили и уходили, создавая обстановку, абсолютно исключавшую какую-либо серьезную работу, вздумай кто-нибудь ею заняться.

Коммунистические источники сообщают обычно, что ВРК мобилизовал для участия в вооруженном восстании весь (или почти весь) Петроградский гарнизон. Так, по утверждению Троцкого, в октябре «подавляющее большинство гарнизона стояло открыто на стороне рабочих»[167]. Однако, по имеющимся данным, влияние

большевиков в гарнизоне было гораздо более скромным. В целом Петроградский гарнизон был настроен далеко не революционно. Из 160 тыс. человек, расквартированных в городе, и 85 тыс. — в пригородах, подавляющее большинство объявили «нейтралитет» в назревавшем конфликте[168]. Как показывает подсчет частей, склонившихся накануне переворота на сторону большевиков, они составляли незначительное меньшинство: по оценке Суханова, в Октябрьском перевороте принимала участие в лучшем случае одна десятая часть гарнизона, а «вероятно, гораздо меньше»[169]. Наши собственные вычисления позволили установить, что активно пробольшевистски настроенных людей в гарнизоне (без учета Кронштадской военно-морской базы) было около 10 тыс., то есть 4 %. Когда пессимисты в Центральном Комитете возражали против вооруженного восстания, они имели в виду как раз то обстоятельство, что даже призывы к немедленному перемирию, которые, по мнению Ленина, должны были склонить на их сторону армию, не обеспечивали большевикам поддержки Петроградского гарнизона.

Правы, однако, оказались в данном случае оптимисты, ибо дело было не только в том, поддержит ли армия большевиков, но и в том, окажет ли она поддержку правительству. И если на стороне большевиков было 4 % гарнизона, то на стороне правительства — еще меньше. Главной заботой большевиков было не дать правительству привлечь для подавления восстания войска, как это удалось сделать в июле. Для этого им надо было лишить власти военное командование.

Этого удалось достичь 21–22 октября, когда, действуя от имени Совета и его солдатской секции, они добились передачи командования гарнизоном Военно-революционному комитету.

Прежде всего ВРК направил в части, стоявшие в Петрограде и в пригородах, 200 «комиссаров». Это были в основном молодые деятели Военной организации большевиков, принимавшие участие в июльском путче и недавно вышедшие из заключения под честное слово[170]. Затем, 21 октября, он созвал в Смольном совещание полковых комитетов. В речи, обращенной к собравшимся представителям войск, Троцкий подчеркнул опасность «контрреволюции» и призвал гарнизон сплотиться вокруг Совета и его органа, ВРК. Резолюция, которую он предложил, была сформулирована так расплывчато, что ее тут же приняли без обсуждения: «Приветствуя образование Военно-революционного комитета при Петербургском Сов[ете] р[абочих] и с[олдатских] депутатов], гарнизон Петрограда обещает Военно-революционному комитету поддержку во всех его шагах к тому, чтобы теснее сплотить фронт с тылом в интересах революции»[171]. Кто стал бы возражать против того, чтобы сплотить фронт с тылом в интересах февральской революции? Но для большевиков данная резолюция означала, что ВРК приобретает значение и функции Штаба Петроградского военного округа. По словам Подвойского, возглавлявшего Военную организацию, эти меры знаменовали собой начало вооруженного восстания[172].

Следующей ночью (с 21-го на 22 октября) в Штабе округа появилась депутация ВРК. Выступивший от ее имени большевик лейтенант П.В.Дашкевич

проинформировал командующего Петроградским военным округом полковника Г.П.Полковникова, что решением гарнизонного совещания все приказы, которые Штаб отдает войскам, будут отныне иметь силу, только если получат визу ВРК. Войска, конечно, не принимали такого решения, а если бы и приняли, оно было бы незаконным. В действительности депутация действовала по поручению большевистского ЦК. Полковников ответил, что Штаб не признает полномочий делегации, и после того, как он пригрозил арестом, большевики ретировались и вернулись в Смольный [173].

Заслушав доклад депутации, ВРК созвал второе совещание представителей гарнизона. Кто на нем присутствовал и какие были представлены части, установить не удалось, но это не так уж важно, ибо теперь любая случайная группа могла объявить, что представляет интересы «революции». По предложению ВРК совещание приняло мошенническую резолюцию, где говорилось, что хотя 21 октября гарнизон объявил ВРК своим «органом», Штаб отказался признать его и сотрудничать с ним. При этом ни слова не было сказано о том, что делегация ВРК требовала вовсе не «признания» или «сотрудничества», а права утверждать приказы Штаба. Далее в резолюции говорилось: «Этим самым Штаб порывает с революционным гарнизоном и Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. Порвав с организованным гарнизоном столицы, Штаб становится прямым орудием контрреволюционных сил <…> Солдаты Петрограда! 1) Охрана революционного порядка от контрреволюционных покушений ложится на вас под руководством Военно-революционного комитета.

2) Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные Военно-революционным комитетом, недействительны»[174].

Резолюция эта достигала трех целей: она определяла Временное Правительство (якобы от имени Совета) как «контрреволюционное», она лишала его власти над гарнизоном и она давала возможность ВРК осуществить захват власти под предлогом защиты революции. Это было объявлением войны.

* * *

22 октября, узнав о попытке ВРК взять на себя командование гарнизоном, Штаб округа предъявил Совету ультиматум: если он не отменит своих распоряжений, будут приняты «решительные меры»[175]. Желая выиграть время, большевики «в принципе» приняли ультиматум и, не прекращая действий, связанных с осуществлением переворота, предложили начать переговоры[176]. В тот же день между Штабом и ВРК было достигнуто соглашение о создании «консультативного органа», который будет представлять Совет в Штабе округа. 23 октября в Штаб была направлена делегация ВРК, официально — для переговоров, но в действительности — для «рекогносцировки»[177]. Действия эти привели к желаемому результату, то есть удержали правительство от ареста Военно-революционного комитета. В ночь с 23-го на 24 октября кабинет министров (который со времени выступления Корнилова вел призрачное существование) отдал распоряжение о закрытии двух

ведущих большевистских газет и, для сохранения равновесия, — соответствующего числа правых газет, включая «Живое слово», опубликовавшее в июле информацию о контактах Ленина с немцами. Для охраны стратегических пунктов, в том числе Зимнего дворца, были посланы войска. Но когда Керенский потребовал полномочий для ареста ВРК, его убедили не делать этого, поскольку между ВРК и Штабом идут переговоры для уяснения расхождений в позициях[178].

Керенский сильно недооценивал угрозу, исходившую от большевиков. Он не только не боялся большевистского путча, но даже надеялся на него, полагая, что его подавление позволит отделаться от большевиков раз и навсегда. В середине октября военное командование неоднократно докладывало ему, что большевики явно готовят вооруженное восстание. Вместе с тем министра-председателя уверяли, что с этим восстанием можно будет без труда справиться, так как «подавляющее большинство» гарнизона настроено против переворота[179]. Доверяя этим оценкам, в которых оппозиция гарнизона планам большевиков ошибочно отождествлялась с его готовностью поддержать правительство, Керенский успокаивал коллег и иностранных посланников. В.Д.Набоков вспоминает, как он сказал, что «готов молиться о начале восстания», ибо располагает достаточными силами, чтобы его сокрушить[180]. Британскому послу Джорджу Бьюкенену он не раз говорил: «Я хочу только, чтобы они [большевики] высунулись, и тогда я с ними разделаюсь»[181].

Однако самонадеянность Керенского перед лицом ясно различимой угрозы объяснялась не только его переоценкой собственных сил: ключом к его поведению,

как и к действиям всего небольшевистского левого крыла, был страх перед «контрреволюцией», владевший ими на протяжении 1917 года. Обвинив в измене Корнилова и других генералов и попросив у Совета помощи в борьбе с ними, Керенский в глазах кадровых офицеров уже ничем не отличался от большевиков. Поэтому после 27 августа всякая военная акция против большевиков закончилась бы его собственным падением. Сознавая это, Керенский слишком долго колебался, прежде чем предложить союз военным. Военный министр генерал А.И.Верховский сказал Бьюкенену уже после переворота: «Керенский не хотел, чтобы казаки сами подавили восстание, так как это означало бы конец революции»[182]. Два смертельных врага, «Февраль» и «Октябрь», были, таким образом, скованы между собой общим страхом. Единственной надеждой Керенского и его единомышленников было то, что у большевиков в последний момент сдадут нервы и они отступят, как отступили в июле. П.И.Пальчинский, возглавлявший 24–26 октября оборону Зимнего дворца, кратко записал во время осады (или сразу после нее) свои впечатления о действиях правительства: «Беспомощность Полковникова и отсутствие какого бы то ни было плана. Надежда, что безумный шаг не будет сделан. Незнание, что делать, если он все же будет»[183]. Не предпринималось никаких серьезных военных приготовлений, чтобы отвратить удар, который, как все знали, должен был обрушиться. Керенский впоследствии утверждал, что 24 октября он потребовал от командования прислать в подкрепление фронтовые части. Однако, как утверждают историки, он не отдавал таких приказаний до наступления ночи (с 24 до 25 октября), когда делать это было уже поздно, ибо переворот был завершен[184]. По оценке генерала

Алексеева, в Петрограде в тот момент находилось 15 тыс. офицеров, и каждый третий из них был готов сражаться с большевиками. Но предложение Алексеева организовать их для сопротивления осталось без ответа, и пока осуществлялся захват города, офицеры либо молча наблюдали, не видя возможности что-либо предпринять, либо предавались кутежам и веселью[185]. Но самое удивительное, что нервный центр оборонной системы правительства, Штаб округа, расположенный в Инженерном (Михайловском) замке, стоял без охраны: любой прохожий мог зайти внутрь, не предъявляя документов[186].

* * *

Завершающий этап большевистского переворота состоялся утром, во вторник, 24 октября, когда Штаб округа осуществил полумеры, предписанные правительством накануне ночью.

Ранним утром юнкера взяли под охрану ключевые объекты. Два или три отряда были посланы для защиты Зимнего дворца. К ним присоединились: так называемый Женский батальон смерти, состоявший из 140 добровольцев; некоторое количество казаков; отряд самокатчиков; сорок инвалидов под командованием офицера, имевшего протезы вместо обеих ног; несколько артиллерийских расчетов. Как ни странно, не было ни одного пулемета. Юнкера закрыли типографии «Рабочего пути» (переименованной «Правды») и «Солдата». Отключили идущие в Смольный телефонные линии.

Отдали приказ поднять мосты над Невой, чтобы воспрепятствовать проникновению в центр города пробольшевистски настроенных рабочих и солдат. Штаб запретил войскам гарнизона выполнять какие-либо Распоряжения ВРК, а также приказал арестовать комиссаров ВРК, но это сделано не было[187].

Эти приготовления вызвали в городе панику. К 14.30 большинство учреждений закрылись, люди поспешили домой, и улицы опустели.

Для большевиков все это было сигналом «контрреволюции», которого они ждали. Первым делом они занялись освобождением своих газет и успешно завершили эту операцию к 11 часам утра. Затем ВРК послал вооруженные отряды для захвата Центрального телеграфа и Российского телеграфного агентства. Телефонная связь со Смольным была восстановлена. Таким образом, первыми объектами, на которых заговорщики сосредоточили свои действия, были центры информации и линии коммуникации.

На протяжении всего этого дня применение силы потребовалось лишь однажды — когда отряды ВРК сводили мосты на Невой.

Вечером 24 октября, когда восстание вошло уже в окончательную и решающую фазу, ВРК выпустил заявление, что, несмотря на слухи, речь идет вовсе не о восстании, а о защите «интересов Петроградского гарнизона и демократии» от контрреволюции[188].

Вероятно, введенный в заблуждение этой дезинформацией, Ленин, который оставался совершенно не в курсе событий, послал своим товарищам отчаянную записку, убеждая их начать то, что они и так уже делали:

«Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс.

Буржуазный натиск корниловцев, удаление Верховского показывает, что ждать нельзя. Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д. <…>

Кто должен взять власть?

Это сейчас неважно: пусть ее возьмет Военно-революционный комитет «или другое учреждение» <…>

Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия.

Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой». [Ленин. ПСС. Т. 34. С. 435–436. Верховский был смещен со своего министерского поста днем раньше (23 октября) за то, что на заседании кабинета требовал немедленного заключения мира (Социалистический вестник. 1921. 19 июня. № 10. С. 8).].

Поздним вечером Ленин пошел в Смольный. Он был сильно загримирован, пол-лица его скрывала повязка, словно он только что побывал у зубного врача. По пути его чуть не арестовал правительственный патруль, но он

спасся, притворившись пьяным. В Смольном, не показываясь никому на глаза, он заперся в одной из комнат только с ближайшими соратниками. Троцкий вспоминает, что, услышав о продолжающихся переговорах со Штабом, Ленин испугался, но когда его заверили, что переговоры — это уловка, засиял от удовольствия: «Вот это хо-ро-о-шо-о-о, — нараспев, весело, с подъемом проговорил Ленин и стал шагать по комнате, возбужденно потирая руки. — Это оч-чень хорошо!» Военную хитрость Ильич любил вообще. Обмануть врага, оставить его в дураках — разве это не самое разлюбезное дело!»[189] Ленин провел ночь, прикорнув на полу, пока Подвойский, Антонов-Овсеенко и друг Троцкого Г.И.Чудновский — под общей командой самого Троцкого — руководили операцией.

Той ночью (с 24 на 25 октября) большевики методично захватывали все стратегические объекты, расставляя всюду пикеты, — типичная тактика современного государственного переворота, как ее описывает Малапарте. Юнкерам велено было отправляться домой: либо их разоружали, либо они уходили сами. Так, под покровом ночи, большевики постепенно овладели железнодорожными вокзалами, почтовыми отделениями, телефонными узлами, банками, мостами. И совершенно невероятным образом большевики взяли Инженерный замок: они просто «вошли и сели, а те, кто там сидели, встали и ушли — Штаб был занят»[190].

Захватив Центральную телефонную станцию, большевики отключили все телефонные линии, связывающие с Зимним дворцом, кроме двух, которые не были зарегистрированы. По этим двум каналам

министрам, собравшимся в Малахитовой комнате удалось связаться с внешним миром. Хотя, выступая на публике, Керенский держался уверенно, человеку, наблюдавшему его в этот момент, он показался постаревшим и усталым: он «смотрел прямо перед собой, ни на кого не глядя, с прищуренными веками, помутневшими глазами, затаившими страдание и сдержанную тревогу»[191].

В 9 часов вечера появилась делегация Совета во главе с Ф.И.Даном и А.Р.Гоцем, чтобы сообщить министрам, что под влиянием «реакционного штаба» те сильно преувеличивают большевистскую угрозу. Керенский указал им на дверь[192]. В эту ночь Керенский наконец решил связаться с фронтовым командованием, чтобы попросить помощи, но безуспешно: он никого не застал. В 9 часов утра 25 октября министр-председатель выскользнул из Зимнего дворца, переодетый в форму сербского офицера, и в машине с американским флажком, позаимствованной в посольстве Соединенных Штатов, отправился на фронт искать помощи.

К тому времени Зимний дворец остался единственным зданием, находившимся в руках правительства. Ленин настаивал на том, чтобы министры были арестованы прежде, чем Второй съезд Советов будет официально открыт и объявит низложенным Временное правительство. Но вооруженные силы большевиков не были готовы решить эту задачу: несмотря на все бравые заявления, не нашлось никого, кто захотел бы пойти под ружейный огонь. Из якобы 45 тыс. красногвардейцев и десятков тысяч сочувствующих из гарнизона поблизости не оказалось никого. Вялая атака на дворец началась на рассвете. Но,

заслышав первые ответные выстрелы, нападавшие отступили.

Сгорая от нетерпения, опасаясь вторжения войск с фронта, Ленин решил не ждать дальше. Между 8 и 9 часами утра он проследовал в помещение, служившее большевикам оперативным штабом. Поначалу его никто не узнал. Первым, поняв, кто вошел, радостно встрепенулся В.Д.Бонч-Бруевич: «Владимир Ильич, отец наш! — вскричал он, бросившись обнимать Ленина. — Не узнать, родной!»[193] Ленин сел и набросал от имени Военно-революционного комитета декларацию о низложении Временного правительства. В 10 часов утра (25 октября) ее напечатали газеты:

*«**К ГРАЖДАНАМ РОССИИ!***

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов». [Декреты. Т. 1. С. 1–2. На следующий день жена Керенского была арестована и провела сорок восемь часов в заключении за то, что сорвала листовку с текстом этой декларации

(Фрейман А.Л. Форпост социалистической революции. Л., 1969. С. 157).].

Этот документ, занимающий самое почетное место в собрании большевистских декретов, объявлял, что всю власть в России принял на себя орган, который никто, кроме большевистского ЦК, на это не уполномочивал. Петроградский Совет создал Военно-революционный комитет для обороны города, а не для свержения правительства. В тот момент, когда большевики действовали от имени Второго съезда Советов, сам съезд еще даже не открылся. Впрочем, такая процедура соответствовала рассуждению Ленина, записанному им накануне ночью: «Кто должен взять власть? Это сейчас неважно: пусть ее возьмет Военно-революционный комитет «или другое учреждение»». Поскольку переворот был незаконным и тихим, население Петрограда не восприняло заявления всерьез. По словам свидетелей, 25 октября жизнь в городе вошла в нормальное русло: открылись учреждения и магазины, рабочие пошли на фабрики, а места развлечений были вновь заполнены толпами завсегдатаев. Никто, кроме узкой группы людей, непосредственно причастных к этим событиям, не знал, что столица уже была во власти вооруженных большевиков и что положение приняло необратимый характер. Впоследствии Ленин как-то сказал, что начать мировую в России было так же легко, как «перышко поднять»[194].

Тем временем Керенский спешил в Псков, где находился Штаб Северного фронта. По странному стечению исторических обстоятельств, единственными войсками, способными в тот момент отправиться в Петроград, оказались казаки того самого Третьего кавалерийского корпуса, который двумя месяцами ранее

он обвинил в измене и соучастии в мятеже Корнилова. Они так презирали Керенского, оклеветавшего Корнилова и доведшего до самоубийства их командира генерала Крымова, что отказались даже выслушать его объяснения. С большим трудом Керенский убедил некоторых из них двинуться к столице через Лугу. Эти части под командованием генерала П.Н.Краснова разбили войска, посланные большевиками, и заняли Гатчину. К вечеру, когда они вошли в Царское Село, до столицы оставалось два часа марша. Но, разочарованные тем, что к ним не присоединились другие части, здесь они спешились и отказались двигаться дальше.

События, происходившие между тем в Петрограде, могли бы дать материал для комедии. После того как большевики объявили о низложении Временного правительства, входившие в него министры собрались в Малахитовой комнате, на невской стороне Зимнего дворца, в ожидании освободительных войск под предводительством Керенского. По этой причине начало Второго съезда Советов, собравшегося в Смольном, час за часом откладывалось. В 2 часа пополудни из Кронштадта прибыли 5000 матросов — «краса и гордость революции», однако и они, привыкшие терроризировать мирных граждан, не имели охоты драться по-настоящему. Когда предпринятая ими атака на дворец натолкнулась на ответный огонь, они отступили.

Ленин не решался появляться на публике, пока кабинет (включая Керенского, о бегстве которого он не знал) не захвачен большевиками. Большую часть 25 октября он провел с перебинтованным лицом, в парике и очках. Когда проходившие мимо Дан и М.И.Скобелев узнали его, несмотря на этот маскарад[195], он вновь

удалился в свое укрытие, где дремал на полу, а Троцкий время от времени входил и докладывал о событиях.

Троцкий не хотел открывать съезд Советов, пока держится Зимний. Но, опасаясь, что делегаты разбредутся, он созвал в 2 часа 35 минут пополудни Чрезвычайную сессию Петроградского Совета. Не удалось точно установить, кто участвовал в этой встрече, но, поскольку эсеры и меньшевики накануне покинули Смольный, а большевиков и сочувствующих им среди делегатов были сотни, логично предположить, что собрание это практически целиком состояло из большевиков и левых эсеров.

Открывая сессию (Ленин по-прежнему отсутствовал), Троцкий сказал: «От имени Военно-революционного комитета объявляю, что Временное правительство больше не существует». Когда один из делегатов прервал выступление Троцкого выкриком: «Вы предрешаете волю Всероссийского съезда Советов», Троцкий отметил: «Воля Всероссийского съезда Советов предрешена огромным фактом восстания петроградских рабочих и солдат, происшедшего в ночь на сегодня. Теперь нам остается лишь развивать нашу победу»[196]. Можно спросить: какое «восстание» рабочих и солдат? Но за словами стояло одно: собравшиеся должны понять, что у них нет другого выбора, кроме как присоединиться к решениям, которые от их имени были уже «предрешены» большевистским ЦК.

На короткое время перед делегатами появился Ленин и, поприветствовав «всемирную социалистическую революцию», вновь исчез[197]. Троцкий вспоминает, что Ленин сказал ему: «Слишком резкий переход от подполья

и переверзевщины — к власти». И добавил по-немецки: «Es schwindelt» («Кружится голова»)[198].

В 18 часов 30 минут Военно-революционный комитет предъявил Временному правительству ультиматум: либо оно сдается, либо по дворцу будет открыт огонь с крейсера «Аврора» и из Петропавловской крепости. Ожидая с минуты на минуту прибытия помощи, министры не отвечали: как раз в это время до них дошел слух, что Керенский с верными войсками на подходе[199]. Они вяло переговаривались между собой, беседовали с друзьями по телефону и отдыхали, расположившись на диванах.

В 21 час открыл огонь крейсер «Аврора». Поскольку на борту не было боевых снарядов, он сделал одиночный выстрел холостым и замолк, обеспечив себе этим почетное место в легендах об Октябре. Два часа спустя начался артобстрел из Петропавловской крепости, на этот раз настоящими снарядами, но прицел был настолько неточен, что из тридцати пяти снарядов только два достигли цели, причинив небольшие разрушения[200]. После нескольких месяцев организационной работы на заводах и в гарнизонах у большевиков не оказалось людей, готовых умирать за их дело. Слабо защищенное прибежище Временного правительства вызывающе стояло, дразня тех, кто объявил правительство низложенным. В перерывах между артиллерийским огнем отряды Красной гвардии проникли во дворец через один из входов, однако, столкнувшись внутри с вооруженными юнкерами, они немедленно сдались.

С наступлением ночи защитники Зимнего, потеряв надежду на прибытие обещанного подкрепления, начали

расходиться. Первыми ушли казаки. За ними последовали юнкеры, которые обслуживали артиллерию. К полуночи остались лишь Женский батальон смерти и небольшая группа подростков-кадетов, охранявших Малахитовую комнату. Когда из Зимнего перестали доноситься выстрелы, красногвардейцы и матросы осторожно приблизились к дворцу. Первыми в здание через открытые окна со стороны Эрмитажа проникли матросы и солдаты Павловского полка[201]. Остальные вошли через открытые ворота. Зимний дворец не был взят приступом: образ идущих на штурм отрядов рабочих, солдат и матросов, созданный Эйзенштейном в фильме «Октябрь», — чистая выдумка, попытка подарить России свой штурм Бастилии. В действительности, после того как Зимний перестал защищаться, его наводнила толпа. Потери исчислялись пятью убитыми и несколькими ранеными — в основном жертвами шальных пуль.

После полуночи заполнившая дворец толпа уже крушила и грабила его роскошные интерьеры. Есть свидетельства, что некоторые из женщин, защищавших Зимний, были изнасилованы. Министр юстиции П.Н.Малянтович оставил яркое описание последних минут Временного правительства:

«И вдруг возник шум где-то и сразу стал расти, шириться и приближаться. И в его разнообразных, но слитых в одну волну звуках сразу зазвучало что-то особенное, не похожее на те прежние шумы — что-то окончательное. Стало вдруг сразу ясно, что это идет конец…

Кто лежал или сидел, вскочили, и все схватились за пальто…

А шум все крепнул, все нарастал и быстро, широкой волной подкатывался к нам… И к нам от него вкатилась и охватила нас нестерпимая тревога, как волна отравленного воздуха…

Все это в несколько минут…

Уже у входной двери в комнату нашего караула — резкие взволнованные крики массы голосов, несколько отдельных редких выстрелов, топот ног, какие-то стуки, передвижения, слитый нарастающий единый хаос звуков и все растущая тревога…

Ясно: это уже приступ, нас берут приступом… Защита бесполезна — бесцельны жертвы…

Дверь распахнулась… Вскочил юнкер. Вытянулся во фронт, руку под козырек, лицо взволнованное, но решительное:

— Как прикажет Временное правительство? Защищаться до последнего человека? Мы готовы, если прикажет Временное правительство.

— Этого не надо! Это бесцельно! Это же ясно! Не надо крови! Надо сдаваться, — закричали мы все, не сговариваясь, а только переглядываясь и встречая друг у друга одно и то же чувство и решение в глазах.

Вперед вышел Кишкин: [Н.М.Кишкин — кадет, член последнего Временного правительства, возглавивший его, когда Керенский в поисках помощи покинул Зимний дворец.].

— Если они уже здесь, то, значит, дворец уже занят…

— Занят. Заняты все входы. Все сдались. Охраняется только это помещение. Как прикажет Временное правительство?..

— Скажите, что мы не хотим кровопролития, что мы уступаем силе, что мы сдаемся, — сказал Кишкин.

А там у двери тревога все нарастала, и стало страшно, что кровь прольется, что мы можем не успеть предупредить это… И мы все тревожно кричали:

— Идите скорей! Идите и скажите это! Мы не хотим крови! Мы сдаемся!..

Юнкер вышел… Вся сцена длилась, я думаю, не больше минуты…»[202]

Арестованные Антоновым-Овсеенко в 2 часа 10 минут ночи, министры были под охраной доставлены в Петропавловскую крепость. По дороге их едва не линчевала толпа.

* * *

Тремя с половиной часами раньше, не имея возможности дольше ждать, большевики открыли свой съезд в Смольном, в большом зале с колоннадой, где до 1917 года устраивали балы и театральные представления. Сыграв на тщеславии Федора Дана, они попросили этого меньшевистского лидера в Совете открыть заседание, обеспечив таким образом видимость советской легитимности. Был избран новый Президиум, в состав которого вошли четырнадцать большевиков, семь левых эсеров и три меньшевика. Председательствовал

Каменев. Несмотря на то, что законно избранный Исполком установил для съезда ограниченную повестку дня (текущая ситуация, Учредительное собрание, перевыборы Исполкома), Каменев предложил нечто совершенное иное — обсудить вопросы о власти правительства, о войне и мире, об Учредительном собрании.

Состав съезда ни в коей мере не отражал расстановку политических сил в стране. Крестьянские организации отказались принять в нем участие, объявили его незаконным и призвали Советы по всей стране его бойкотировать[203]. На том же основании отказались прислать своих делегатов армейские комитеты[204]. Троцкому следовало бы более аккуратно выбирать выражения, когда он охарактеризовал Второй съезд как «самый демократический парламент из всех парламентов мировой истории»[205]. В действительности это было собрание тех городских и армейских Советов, в которых большевики имели значительный перевес, специально созванное по этому принципу. Вот что было сказано по этому поводу в заявлении Исполкома, принятом 25 октября: «Центральный исполнительный комитет считает II съезд несостоявшимся и рассматривает его как частное совещание делегатов-большевиков. Решения этого съезда, как незаконные, Центральный исполнительный комитет объявляет необязательными для местных Советов и всех армейских комитетов. Центральный исполнительный комитет призывает Советы и армейские организации сплотиться вокруг него для защиты революции. Центральный исполнительный комитет созовет новый съезд Советов, как только создадутся условия для правильного его созыва»[206].

Точное число участников непредставительного съезда установить не удается. По наиболее надежным оценкам, на нем присутствовало около 650 делегатов, и среди них 338 большевиков и 98 левых эсеров. Две этих объединившихся партии имели, следовательно, две трети мандатов, что, судя по результатам выборов в Учредительное собрание, состоявшихся три недели спустя, более чем в два раза превышало их реальный политический вес[207]. Поскольку большевики не могли доверять до конца левым эсерам, они застраховались от любых неожиданностей, забрав себе 54 % всех мест на съезде. Насколько искажены были пропорции представительства, видно из опубликованных семьдесят лет спустя данных: 10 % делегатов составляли латыши, так как в Латвии было сильное большевистское движение[208].

В первые часы заседания в зале шли ожесточенные споры. Ожидая сообщения об аресте министров, большевики предоставили трибуну своим оппонентам-социалистам. Сквозь шум и выкрики зала меньшевики и эсеры зачитали одинаковые заявления, в которых объявляли большевистский переворот незаконным и требовали немедленных переговоров с Временным правительством. В заявлении меньшевиков было сказано, что «военный заговор был организован и осуществлен партией большевиков именем Советов за спиной всех других партий и фракций, представленных в Советах <…> захват власти Петроградским Советом накануне съезда Советов является дезорганизацией и срывом всей советской организации»[209]. После того как Троцкий назвал своих оппонентов «жалкими единицами»

и «банкротами», которых надо выбросить «в сорную корзину истории», Мартов заявил, что покидает съезд[210].

Это происходило около часа ночи 26 октября. В 3 часа 10 минут Каменев объявил, что Зимний дворец пал, а министры арестованы. В 6 часов утра он закрыл заседание, назначив следующее на вечер.

После этого Ленин отправился на квартиру к Бонч-Бруевичу, чтобы составить основные декреты для утверждения съездом. Два главных декрета — о мире и о земле, — которые, по его мнению, должны были обеспечить поддержку переворота солдатами и крестьянами, были еще днем представлены собранию делегатов-большевиков, одобрившему их без обсуждения.

Вечером, в 10 часов 40 минут, Ленин, встреченный бурными аплодисментами, зачитал декреты о мире и о земле съезду. Они были легко приняты открытым голосованием.

Декрет о мире[211] был назван так по недоразумению, поскольку он, в сущности, был не законодательным актом, а воззванием ко всем воюющим державам немедленно начать переговоры для достижения «демократического» мира без аннексий и контрибуций, гарантирующего каждой нации «право на самоопределение». В нем говорилось также о необходимости отказаться от тайной дипломатии и опубликовать тайные договоры. До начала мирных переговоров Россия предлагала объявить трехмесячное перемирие.

Декрет о земле[212] был целиком позаимствован из программы партии социалистов-революционеров,

дополненной на основе 242 наказов крестьянских общин, опубликованных двумя месяцами ранее в «Известиях Всероссийского Совета крестьянских депутатов»[213]. Вместо объявления национализации всей земли, — то есть передачи ее в собственность государства, как того требовала программа большевиков, — декрет объявлял ее «социализацию», то есть изъятие из сферы торговых операций и передачу в пользование крестьянским общинам. Все земельные угодья, принадлежавшие помещикам, государству, церкви и другим владельцам, не занятым сельским хозяйством подлежали конфискации без возмещения ущерба и передачи волостным земельным комитетам до тех пор, пока Учредительное собрание ЦР решит вопрос об их дальнейшем использовании. Однако частные земельные владения, принадлежавшие крестьянам, изъятию не подлежали. Это было беззастенчивым заигрыванием с крестьянством и плохо согласовывалось с земельной программой большевиков. Единственная цель этого декрета заключалась в том, чтобы завоевать поддержку крестьянства на выборах в Учредительное собрание.

Третий, последний, декрет, представленный делегатам, был «посвящен формированию нового правительства, получившего наименование Совет народных комиссаров, или Совнарком. Срок действия этого органа ограничивался созывом Учредительного собрания, который предполагался в следующем месяце. Поэтому, как и предыдущий орган исполнительной власти, Совнарком назывался также «Временным правительством»[214]. Возглавить правительство Ленин предложил Троцкому, но тот отказался. [Недавно обнаружилось, что Троцкий, защищаясь в 1924 г. от обвинений в том, что он, якобы, отказался занять

должность, предложенную ему Лениным, заявил: ему было ясно с самого начала, что, согласись он занять эту должность, враги [большевиков] стали бы говорить, что Россией правит еврей (Данилов В.П. // Экономика и организация промышленности. Новосибирск. 1990. № 1 (187). С. 60).]. Сам Ленин в кабинет входить не хотел, предпочитая действовать из-за кулис. «Сначала Ленин не хотел войти в правительство, — рассказывал Луначарский. — Я, говорит, буду работать в Ц.К. партии <…> Но мы говорим, — нет. Мы на это не согласились. Заставили его самого отвечать в первую голову. А то быть только критиком всякому приятно»[215]. Так Ленин стал председателем Совнаркома, оставаясь одновременно если не формальным, то фактическим руководителем большевистского ЦК. Новый кабинет имел такую же структуру, как и прежний, но в нем была добавлена одна должность — председатель (не комиссар) по делам национальностей. Все комиссары состояли в партии большевиков и подчинялись ее дисциплине. Левых эсеров пригласили участвовать в правительстве, но они отказались, потребовав, чтобы новый кабинет представлял «все силы революционной демократии», включая меньшевиков и эсеров[216]. В результате состав Совнаркома был следующим: [Декреты. Т. 1. С. 20–21; W.Pietsch. Staatund Revolution. Koln, 1969. S. 50; Ленин. ПСС. Т. 35. С. 28–29. Троцкий был в Совнаркоме единственным евреем. По-видимому, большевики опасались обвинений в том, что они — «еврейская» партия, создавшая правительство, которое будет служить интересам «международного еврейства».].

Председатель — Владимир Ульянов (Ленин)

Народный комиссар внутренних дел — А.И.Рыков

Земледелия — В.П.Милютин

Труда — А.Г.Шляпников

По военным и морским делам — комитет в составе: В.А.Овсеенко (Антонов), Н.В.Крыленко и П.Е.Дыбенко

Торговли и промышленности — В.П.Ногин

Народного просвещения — А.В.Луначарский

Финансов — И.И.Скворцов (Степанов)

Иностранных дел — Л.Д.Бронштейн (Троцкий)

Юстиции — Г.И.Оппоков (Ломов)

Продовольствия — И.А.Теодорович

Почт и телеграфов — Н.П.Авилов (Глебов)

По делам национальностей — И.В.Джугашвили (Сталин)

Пост народного комиссара по железнодорожным делам временно остался незамещенным.

Существовавший до этого времени Исполком был объявлен распущенным, а на его месте создан другой: в его состав входил 101 человек, из которых 62 были большевики, а 29 — левые эсеры. Председателем его стал Каменев. В соответствии с ленинским декретом, Совнарком был подотчетен Исполкому, который, таким образом, представлял собой что-то вроде парламента, обладавшего правом вето по отношению к законодательным актам и правительственным назначениям.

В этот смутный период большевистское руководство всеми силами стремилось избежать впечатления, что оно

присвоило себе преимущественное право на власть. Поэтому большевики настояли, чтобы все декреты, принятые Съездом, считались временными и подлежали утверждению, исправлению или отмене Учредительным собранием. Как пишет советский историк, «в дни Октября суверенность Учредительного собрания не отрицалась». Второй съезд Советов во всех своих постановлениях считался с Учредительным собранием и все свои основные решения принимал «впредь до его созыва». Поскольку в Декрете о мире не было ссылки на Учредительное собрание, Ленин, докладывая о нем съезду, пообещал: «Мы все предложения мира вынесем на заключение Учредительного собрания»[218]. Столько же условный характер носили меры, предусмотренные Декретом о земле: «Вопрос о земле, во всем его объеме, может быть разрешен только всенародным Учредительным собранием»[219]. Что же касается нового кабинета — Совнаркома, то в резолюции, написанной Лениным и утвержденной съездом, было сказано следующее: «Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания, Временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом народных комиссаров»[220]. Следовательно, новое правительство поступило вполне логично, подтвердив в первый же день своей работы (27 октября), что выборы в Учредительное собрание пройдут в назначенный срок — 12 ноября[221]. И, следовательно, разогнав Учредительное собрание в первый же день его работы, прежде чем оно смогло приступить к законодательной деятельности, большевики расписались в незаконности собственной власти с точки зрения определений, принятых ими самими.

В первые дни после переворота большевики стремились придать своим действиям видимость законности, так как не знали, что сулит им завтрашний день. Они не были гарантированы от того, что Керенский внезапно войдет в Петроград с войсками. В этом случае им потребовалась бы поддержка всего Совета. На открытые противозаконные действия они решились только неделю спустя, когда уверились, что никаких карательных экспедиций не предвидится.

Единственное вооруженное столкновение между войсками большевиков и правительственными войсками, попытавшимися овладеть столицей, произошло 30 октября в холмистой пригородной местности в районе Пулково. Казаков Краснова, раздосадованных отсутствием подкрепления, сбитых с толку большевистскими агитаторами и потерявших в результате три драгоценных дня в Царском Селе, удалось наконец убедить действовать. На реке Славянка 600 казаков сошлись с силами Красной гвардии, матросов и солдат, превосходивших их по крайней мере в десять раз[222]. Красногвардейцы и солдаты быстро бежали, но 3000 матросов не сдали позиций и простояли весь день. Потеряв своего полевого командира, казаки отошли в Гатчину. На этом возможности военного вторжения со стороны Временного правительства были исчерпаны.

* * *

В Москве дела у большевиков с самого начала пошли скверно. Это могло закончиться для них

катастрофой, если бы представители Временного правительства действовали более решительно.

Московские большевики не подготовились к захвату власти, потому что стояли на позициях скорее Каменева и Зиновьева, чем Ленина и Троцкого: как сообщил 20 октября Центральному Комитету Урицкий, большинство московских делегатов были против восстания[223].

Узнав 25 октября о событиях в Петрограде, большевики провели в Московском Совете резолюцию об образовании Революционного комитета. Но если в столице Совет был под контролем большевиков, в Москве на него смотрели как на подлинно межпартийный орган. Поэтому большевики пригласили к совместным действиям меньшевиков, эсеров и других социалистов. Эсеры отклонили предложение. Меньшевики согласились, но выдвинули несколько условий. Условия эти приняты не были, и меньшевики тоже вышли из игры[224]. По примеру петроградского ВРК, московский Революционный комитет выпустил в 10 часов вечера воззвание к городскому гарнизону, приказывавшее ему быть готовым к действию и выполнять только распоряжения, изданные или утвержденные Революционным комитетом[225].

Первые шаги московский Революционный комитет предпринял утром 26 октября, послав двух комиссаров принять на себя командование Кремлем и раздать верным большевикам-красногвардейцам оружие из находившегося там арсенала. Солдаты охранявшего Кремль 56-го полка подчинились, введенные в заблуждение тем обстоятельством, что один из комиссаров был офицером их полка. Несмотря на это, большевикам не удалось захватить оружие, так как Кремль был вскоре окружен юнкерами, которые

предложили им сдаться. Когда предложение было отклонено, юнкеры пошли на штурм, и несколько часов спустя (28 октября в 6 часов утра) Кремль был у них в руках. В результате силы правительства могли контролировать центр города.

В этот момент военные и гражданские власти города имели полную возможность сокрушить большевистское восстание. Но они колебались, чувствуя полную уверенность в своих силах и не желая дальнейшего кровопролития. Страх перед «контрреволюцией» также был им не чужд. Вместо того чтобы арестовать членов революционного комитета, Комитет общественной защиты под председательством градоначальника В.В.Руднева и военное командование во главе с полковником К.И.Рябцевым вступили с ним в переговоры. Эти переговоры, длившиеся три дня (с 28-го по 30 октября), позволили большевикам выиграть время, собраться с силами и стянуть подкрепление из промышленных пригородов и близлежащих городов. Революционный комитет, в ночь с 28-го на 29 октября расценивавший свое положение как «критическое»[226], два дня спустя чувствовал себя уже достаточно уверенно, чтобы вновь перейти в наступление. В конце концов из всех жителей Москвы защищать демократию оказались готовы лишь юные учащиеся военных академий, университетов и гимназий, которые отдавали свои жизни, не имея ни руководства, ни поддержки со стороны старшего поколения.

Переговоры между Комитетом общественной защиты и Революционным комитетом, направленные на мирное урегулирование конфликта, были прерваны в полночь с 30-го на 31 октября, когда Революционный комитет в одностороннем порядке нарушил перемирие и

повел свои войска в наступление[227]. Поначалу силы с обеих сторон были приблизительно равными — около 15 000 человек с каждой. В течение всей ночи в Москве шли жестокие уличные бои. Стремясь вновь захватить Кремль, большевики подвергли его артиллерийскому обстрелу, разрушив кое-где древние стены. Хотя юнкеры сражались доблестно, их теснили всё новые силы большевиков, подходившие из пригородов. Утром 2 ноября Комитет общественной защиты отдал приказ своим войскам прекратить сопротивление. Вечером того же дня, признав поражение, он подписал с Революционным комитетом договор о капитуляции, в соответствии с которым он был распущен, а его части сложили оружие[228].

В других областях России ситуация следовала самым разнообразным сценарием. Развитие и исход событий в каждом городе зависели от сил и упорства противоборствующих сторон. Хотя коммунистические идеологи называют период, непосредственно следующий за Октябрем, «триумфальным шествием Советской власти», историку дело представляется в несколько ином свете. Не «советская», а большевистская власть распространялась по всей стране, часто — вопреки воле Советов, и она не «триумфально шествовала», а завоевывалась силой оружия.

Поскольку в развитии событий на местах не было никакой устойчивой схемы, описать действия большевиков за пределами двух столиц не представляется возможным[229]. В некоторых областях большевики объединялись с эсерами и меньшевиками и провозглашали власть «Советов». В других — изгоняли всех конкурентов и брали власть сами. Кое-где силы

правительства оказывали сопротивление, но часто объявляли «нейтралитет». В большинстве провинциальных городов большевики действовали самостоятельно, на свой страх и риск, не имея указаний из Петрограда. К началу ноября они контролировали уже всю Великороссию, сердце империи, точнее, ее города, ставшие оплотами их власти посреди враждебно настроенного или безразличного сельского населения, — приблизительно то же самое сделали за тысячу лет до этого в России норманны. Деревня совершенно выпала из сферы их влияния, так же, как и окраины, где формировались независимые республики. Эти регионы, как мы дальше увидим, большевикам пришлось затем завоевывать с оружием в руках.

* * *

В те дни подавляющее большинство жителей России даже не подозревало о том, что произошло. Номинально Советы, которые начиная с февраля управляли страной на паритетных началах, взяли всю власть в свои руки. Это выглядело не как революционное событие, а, скорее, как логическое следствие принципа «двоевластия», введенного в первые дни февральской революции. Хитроумный замысел Троцкого — представить захват власти большевиками как передачу ее Советам — воплотился блестяще. Вспоминая впоследствии события Октября, Троцкий с гордостью говорил об умелом использовании демократических институтов, введенных социалистами в феврале и марте, для достижения целей большевиков. В результате этого обмана полная смена

власти прошла, в сущности, незамеченной, явившись как бы вполне «легальным» разрешением очередного правительственного кризиса: «Мы называем это восстание «легальным» — в том смысле, что оно выросло из «нормальных» условий двоевластия. И при господстве соглашателей в Петроградском Совете бывало не раз, что Совет проверял или исправлял решения правительства. Это как бы входило в конституцию того режима, который вошел в историю под названием керенщины. Придя в Петроградском Совете к власти, мы, большевики, только продолжили и углубили методы двоевластия. Мы взяли на себя проверку приказа о выводе гарнизона. Этим самым мы прикрыли традициями и приемами легального двоевластия фактическое восстание Петроградского гарнизона. Мало того, формально приурочивая в агитации вопрос о власти к моменту Второго съезда Советов, мы развивали и углубляли уже успевшие сложиться традиции двоевластия, подготовляя рамки советской легальности для большевистского восстания во всероссийском масштабе»[230].

Частью коварного плана большевиков было сокрытие социалистической направленности Октябрьского переворота. В первую неделю существования новый режим, все еще не слишком уверенный в своих силах, не выпустил ни одного документа, где бы употреблялось слово «социализм». Делалось это сознательно, а не по недосмотру, и доказательством тому служит факт, что первоначально в наброске декларации от 25 октября о низложении Временного правительства Ленин написал «Да здравствует социализм!», но, подумав, вычеркнул этот лозунг[231]. Впервые термин «социализм» появился в

официальном документе, написанном Лениным и датированным 2 ноября, где говорилось: «Центральный Комитет выражает полную уверенность в победе <…> социалистической революции»[232].

Все эти уловки притупили ощущение, что произошел крутой поворот, усыпили бдительность общества и свели на нет возможность активного сопротивления. Насколько глубоко было непонимание значения Октябрьского переворота, показывает реакция Петроградской биржи. Судя по сообщениям газет, ни смена власти, ни последующее объявление, что в России произошла социалистическая революция, не привели на бирже к сколь-нибудь заметным переменам. Хотя в первые дни после переворота несколько снизилась торговля ценными бумагами, цены держались на прежнем уровне. Единственным тревожным показателем стало резкое падение курса рубля: в период с 23 октября по 4 ноября обменный курс рубля упал вдвое — от 6,20 до 12–14 за американский доллар[233].

Низложение Временного правительства в целом не вызвало сожалений: очевидцы рассказывают, что население было и осталось безразличным. Даже в Москве, где большевикам пришлось преодолевать упорное сопротивление, исчезновение правительства прошло практически незамеченным. Обывателю было все равно, кто находится у власти, ибо его жизнь, казалось, хуже стать уже не может.

ГЛАВА 4

СОЗДАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОГО ГОСУДАРСТВА

26 октября 1917 года большевики не столько захватили власть, сколько заявили право на нее. В тот день у ущербного Съезда Советов, незаконно созванного и заполненного их приспешниками, они вырвали полномочия ограниченные и временные — права сформировать еще одно Временное правительство. Подотчетное Центральному исполнительному комитету Съезда Советов, правительство это должно было просуществовать месяц, вплоть до созыва Учредительного собрания. Чтобы утвердиться в своих правах окончательно, большевикам потребовалось три года вести гражданскую войну. Однако, несмотря на шаткость положения, они практически немедленно приступили к выстраиванию основ еще невиданного в истории государства — однопартийной диктатуры.

26 октября перед большевиками открывалось три возможности. Они могли передать функции правительства партии. Они могли растворить партию в правительстве. Они могли сохранить две отдельные структуры — партию и правительство — и либо управлять страной помимо и вне правительства, либо входить в него на уровне кадрового состава органов

исполнительной власти[1]. По причинам, на которых нам еще придется остановиться, первый и второй варианты были Лениным отвергнуты. Недолгое время он колебался между двумя моделями третьего. Первоначально он склонялся к первой модели: он предпочитал не становиться главой государства, а руководить страной в качестве главы партии, в которой ему виделся нарождающийся авангард мирового пролетариата. Однако, как уже говорилось, соратники восприняли это как попытку Ленина снять с себя ответственность за Октябрьский переворот, против которого многие из них в свое время возражали, и он вынужден был уступить[2]. Таким образом в возникшей в результате государственного переворота политической системе партия и правительство сохранили свою выраженную индивидуальность и соединялись не организационно, а на уровне кадрового состава, в органах исполнительной власти — прежде всего в Совете народных комиссаров, где все министерские посты разобрали партийные лидеры. При этом устройстве большевики принимали политические решения как партийцы и проводили их в жизнь как главы соответствующих ведомств, опираясь на бюрократию и аппарат госбезопасности.

Так возникла государственность, впоследствии породившая многочисленные «левые» и «правые» однопартийные диктатуры в Европе и других частях света и ставшая главным врагом и альтернативой парламентской демократии. Отличительным свойством ее является концентрация исполнительной и законодательной власти, а также исключительного права распределения должностей в законодательном, исполнительном и судебном аппарате в руках неправительственной организации — «правящей

партии». Поскольку большевики вскоре поставили все остальные партии в положение вне закона, само название «партия» плохо подходит к их организации. Партия (слово это происходит от латинского «pars» — часть) по определению не может быть единственной, как часть не может являться целым; «однопартийное государство» поэтому понятие логически несообразное[3]. Гораздо уместнее здесь будет применить название «двусоставное государство» — термин, введенный позднее для обозначения сходного режима, установленного в Германии Гитлером[4].

Был только один прецедент подобной системы управления, и он-то, не до конца в свое время реализованный и несовершенный, послужил ей в некотором смысле моделью — это был якобинский режим в революционной Франции. Сотни якобинских клубов были рассеяны по Франции, и хотя они не являлись партийной организацией в строгом смысле этого слова, но приобрели много отличительных черт таковой еще до прихода якобинцев к власти: вступление в них строго контролировалось, от членов требовалось согласие с программой и голосование единым блоком, а Парижский якобинский клуб играл роль их национального центра. С осени 1793 года и вплоть до Термидорианского переворота, произошедшего через год, якобинские клубы, не сливаясь организационно с органами управления, практически подчинили себе правительство, назначив своих членов на все должности в исполнительном аппарате и пользуясь правом вето при обсуждении деятельности правительства[5]. Если бы якобинцы дольше продержались у власти, они вполне могли бы создать самое настоящее однопартийное

государство. Фактически они создали прообраз того, что большевики развили и довели до совершенства.

Благодаря своей непоколебимой уверенности, что пламя революций охватит весь мир и в нем сгинут национальные правительства, большевики никогда особенно не задумывались над тем, как будет выглядеть система управления страной, когда они совершат революцию. «Однопартийное государство» было буквально сымпровизировано ими по ходу дела и, хотя так никогда и не получило теоретического обоснования, явилось самым значительным и перспективным из их нововведений.

Ленин не сомневался, что со временем станет пользоваться неограниченной властью, но власть он захватил от лица «советской демократии», и забывать об этом ему было нельзя. Мы уже видели, что большевики совершили государственный переворот не от собственного имени — названия партии нет ни в одном воззвании Военно-революционного комитета, — а от имени Советов. Их лозунг был «Вся власть Советам», их полномочия были временны и условны. К этому вымыслу прибегли, поскольку страна в тот момент еще не потерпела бы узурпации власти одной партией. Даже делегаты Второго съезда Советов, состоявшего из большевиков, их сторонников и попутчиков, не были расположены дать большевистскому руководству диктаторские полномочия. Участники этого собрания, на которое большевики всегда впоследствии ссылались как на источник права и законности, на вопрос, как представляемые ими Советы видят будущую власть в стране, ответили следующим образом:

Вся власть Советам — 505 (75 %).

Вся власть демократии — 86 (13 %).

Вся власть демократии и цензовым элементам без кадетов — 21 (3 %).

Вся власть должна быть коалиционной — 58 (8,6 %).

Не заполнено — 3 (0,4 %)[6].

Все ответы говорили примерно об одном и том же: если пробольшевистским Советам и не было до конца ясно, какое правительство они хотят, никто не желал, чтобы политическую власть в стране монополизировала какая-либо одна партия. Многие ближайшие соратники Ленина также возражали против исключения других социалистических партий из советского правительства, и даже подали в отставку, протестуя против решения Ленина и кучки самых преданных его сторонников (Троцкого, Сталина, Дзержинского) проводить эту линию. Такова была политическая реальность, и Ленину приходилось с ней считаться. Уже выстраивая однопартийную диктатуру, он все еще вынужден был прятаться за фасадом «советской власти». Преобладавшие в населении страны симпатии к демократии и социализму, сильно ощутимые, хотя и неясно выраженные, вынуждали его оставить государственную структуру и ее номинальную верховную власть — Советы — в неприкосновенности даже тогда, когда все нити власти собрались в его руках.

Были, однако, и другие причины, почему Ленин, даже если бы его и не вынуждали настроения в стране, предпочел бы править страной через государственный аппарат и оставить партию в стороне. Во-первых, численность большевиков была не слишком велика, а

управление Россией и в нормальных условиях требовало сотен тысяч чиновников государственных и общественных учреждений. Руководить же страной, в которой упразднены все формы самоуправления и национализирована экономика, должен был бы аппарат во много раз больший. В 1917–1918 годах партия большевиков была не настолько многочисленна, чтобы справиться с такой задачей; кроме того, мало кто из большевиков, в основном профессиональных революционеров, имел опыт подобной деятельности. Поэтому большевикам по необходимости пришлось полагаться на старый бюрократический аппарат и «буржуазных специалистов» и не управлять непосредственно, а контролировать управленцев. Подобно якобинцам, большевики ставили своих людей на все командные посты во всех без исключения учреждениях и организациях — эти кадры подчинялись и были преданы не государству, а партии. Нужда в лояльных партийных кадрах была так велика, что ряды партии пополнялись быстрее, чем того хотело ее руководство, — за счет людей, движимых карьерными, а не идейными соображениями.

Еще одним доводом в пользу раздельного существования партии и государства было то, что эта формальность предохраняла партию от критики как внутри страны, так и из-за рубежа. Поскольку большевики не собирались отдавать власть, даже если бы против них повернулось подавляющее большинство населения страны, им нужен был козел отпущения. Эта роль отводилась государственной бюрократии, обвиняя которую во всех неудачах, можно было поддерживать иллюзию непогрешимости партии. Занимаясь подрывной деятельностью за границей, большевики всегда могли

отвести от себя любые обвинения со стороны иностранных государств на том основании, что ее осуществляла коммунистическая партия — «частная организация», за которую советское правительство не несло ответственности.

Установление однопартийного государства в России потребовало множества мер — разрушительных и созидательных. Процесс этот на территории центральной России (лишь ее тогда контролировали большевики) был в основном завершен к осени 1918 года. Впоследствии сложившиеся государственные институты и методы управления распространились на другие территории, вплоть до внешних границ государства.

Первой и самой безотлагательной мерой было искоренение всего, что оставалось от старого, как царского, так и «буржуазного» (демократического) режима: органов самоуправления, политических партий и их печати, армии, судебной системы, института частной собственности. Эта сугубо разрушительная фаза революции, в которой воплотились предначертания Маркса 1871 года — «сокрушить» старый порядок, а не просто взять его под контроль, — хотя и получила официальное обоснование в правительственных декретах, в целом имела характер стихийного анархизма, вызванного к жизни февральской революцией и энергично поощряемого большевиками. Современникам в этой разрушительной работе виделся только бездумный нигилизм, но для новых властей это была необходимая расчистка территории перед созданием нового социального и политического строя.

Созидательная деятельность потребовала от большевиков значительного напряжения, поскольку

предполагала ограничение анархических инстинктов масс и восстановление дисциплины, от которой, как думал народ, его навсегда освободила революция. Новую власть требовалось выстраивать так, чтобы по видимости она представляла собой народную «советскую» демократию, а по существу приближалась к абсолютизму Великого княжества Московского, совершенствуя его в той мере, в какой это позволяли современная идеология и уровень развития техники. Самой неотложной большевистская верхушка считала задачу освободиться от подотчетности Советам — номинально высшему органу власти. Затем следовало избавиться от Учредительного собрания, в созыве которого они принимали самое деятельное и непосредственное участие и которое, безусловно, отстранило бы их от власти. И, наконец, предстояло превратить Советы в послушное орудие партии.

* * *

То, что партия должна стать движущей силой советского правительства и de facto и de jure, не вызывало ни у кого из большевиков никакого сомнения. Ленин лишь выразил общеизвестное, когда произнес на X съезде партии в 1921 году: «Наша партия — правительственная партия, и то постановление, которое вынесет партийный съезд, будет обязательным для всей Республики»[7]. Спустя несколько лет Сталин еще яснее высказался о конституционном главенстве партии, заявив, что «ни один важный политический или организационный вопрос не решается у нас нашими

советскими и другими массовыми организациями без руководящих указаний партий»[8].

Однако же, несмотря на признанную власть в обществе, партия большевиков после 1917 года оставалась тем, чем была и раньше, а именно частной организацией. Ни в Конституции 1918 года, ни в Конституции 1924-го о ней ничего не говорится. Впервые партию упомянули в 1936 году в так называемой Сталинской конституции, где в статье 126 она названа «передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя» и «руководящим ядром всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». (То, что в законодательстве не нашло отражения самое существенное, вполне соответствовало российским традициям: к примеру, первое довольно небрежное определение царского самодержавия появилось в «Военном регламенте» Петра Первого, более чем через двести лет после установления этого политического строя, а крепостное право, основной социальный фактор, так и не получило никогда правового определения.) Вплоть до 1936 года партия предпочитала представлять себя некой надматериальной силой, вдохновляющей страну своим примером. Так, в партийной программе, принятой в марте 1919 года, партии отводится роль «организатора» и «вождя» пролетариата, «разъясняющего» последнему природу классовой борьбы, и ни разу не упоминается о том, что партия управляет «пролетариатом», как и всем остальным в стране. Любой, кто захотел бы черпать познания о советской России исключительно из официальных источников того времени, не нашел бы в них ни малейшего намека на участие партии в повседневной

жизни страны, хотя именно это выделяло Советский Союз из всех прочих стран мира. [Изобретение это дало замечательные результаты при общении с иностранцами и в международных отношениях. В 1920-х гг. зарубежные социалисты и левые относились к коммунистической России как к «новому», демократическому виду государства. Иностранцы, посещавшие страну в те годы, редко упоминали о коммунистической партии и ее довлеющей роли — так удачно она была замаскирована.].

Таким образом, и после захвата власти большевистская партия сохраняла свой частный характер несмотря на то, что получила неограниченное влияние в государственных и общественных структурах. В результате этого ее устав, методы работы, резолюции и кадровый состав не подлежали никакому внешнему надзору. 600 000 или 700 000 коммунистов, которые, как отметил Каменев в 1919 году, «управляли» Россией, «причем < ... > громаднейшей массой некоммунистической»[9], напоминали когорту избранных, а не политическую партию. [Гитлер, формировавший свою национал-социалистическую партию наподобие большевистской, сказал Герману Герингу, что слово «партия» плохо выражало сущность его организации; сам он предпочитал называть ее «орденом» (Rauschning. Hitler Speaks. Lnd., 1939. P. 198, 243)]. Ничто не выходило из-под ее контроля, сама же она была неподконтрольна ничему — замкнутая на самое себя и самой себе подотчетная. Все это создавало противоестественную ситуацию, которую теоретики коммунизма так и не смогли удовлетворительно объяснить, если ее вообще можно объяснить, даже прибегая к помощи метафизических понятий, — как, например, понятия

«общая воля», введенного Руссо для обозначения единодушного волеизъявления, отличного в то же время от «воли всех».

За три года численный состав партии резко вырос, и большевики практически завоевали Россию, поставив своих людей на командные должности во всех учреждениях. В феврале 1917 года в партии состояло 23 600 человек; в 1919 году — 250 000; в марте 1921-го — 730 000 (включая кандидатов)[10]. Особенно быстрый приток новых коммунистов начался тогда, когда стало ясно, что большевики выиграют гражданскую войну и, следовательно, будут распределять блага, традиционно связанные в России с государственной службой. В годы суровых лишений партийный билет давал право на минимальное обеспечение — жилище, продовольствие, топливо, относительную защищенность от правоохранительных органов (кроме случаев совершения вопиющих преступлений). Только членам партии разрешалось ношение личного оружия. Ленин, конечно же, осознавал, что большинство новичков были просто карьеристами, и взяточничеством, воровством, хамством подрывали авторитет партии; однако стремление к абсолютной власти не оставляло ему иного выбора, как принять всякого, кто имел подходящее социальное происхождение и был готов исполнять приказы без колебаний и лишних вопросов. В то же время он позаботился, чтобы ключевые позиции в партии и правительстве были закреплены за «старой гвардией», ветеранами подполья: в 1930 году 69 % секретарей ЦК национальных республик и областных и краевых комитетов партии составляли большевики с дореволюционным стажем[11].

До середины 1919 года в партии сохранялась неформальная структура, сложившаяся в годы подполья, но с ростом численности в ней закрепились и получили обоснование антидемократические принципы. Центральный Комитет все еще осуществлял верховное руководство, но на деле, поскольку его члены постоянно находились в разъездах по стране со специальными поручениями, решения принимали те несколько человек, которые случались на месте. Ленин был бессменным председателем заседаний, так как никогда не путешествовал, опасаясь покушений на свою жизнь. Широко используя насилие и террор в масштабах страны, в своем узком кругу он предпочитал действовать убеждением. Он почти никогда не требовал исключения из партии своих противников: если не удавалось собрать большинства голосов по важному вопросу, ему достаточно было пригрозить собственной отставкой, чтобы привести соратников к послушанию. Раз или два он оказывался на грани унизительного поражения, и лишь вмешательство Троцкого спасло его. Иногда ему приходилось принимать политические решения, с которыми он был не согласен. Однако к концу 1918 года авторитет Ленина вырос настолько, что никто не решался выступить против него. Каменев, до того часто вступавший с Лениным в принципиальные споры, выразил мнение многих большевиков, когда осенью 1918 года сказал Суханову: «А я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что Ильич никогда не ошибается. В конце концов он всегда прав… Сколько раз казалось, что он сорвался — в прогнозе или в политическом курсе, и всегда в конечном счете оправдывались и его прогноз, и курс»[12].

К дискуссиям, даже в кругу своих самых приближенных соратников, Ленин относился нетерпимо; во время заседаний Совнаркома он обычно листал книгу, а в обсуждение включался, только чтобы сформулировать политический курс. С октября 1917-го по первые месяцы 1919 года он вынес много решений, касающихся партии и правительства, вместе со своим бессменным помощником Яковом Свердловым. Свердлов отличался упорядоченно-кабинетным складом ума и снабжал Ленина именами, фактами и любой другой необходимой информацией. После его болезни и смерти в марте 1919 года потребовалось внести изменения в структуру Центрального комитета, прибавив к Секретариату, созданному в 1917 году, Политбюро для осуществления политического руководства, а для выполнения административных функций — Оргбюро.

Совнарком состоял из высокопоставленных партийных чиновников, имевших двойные полномочия. Так, Ленин, бывший главой Центрального Комитета, являлся также председателем Совнаркома, что равносильно должности премьер-министра. Важные решения принимались, как правило, сначала в Центральном Комитете или на Политбюро, а затем передавались в Совнарком для обсуждения и реализации (в этом принимали участие и беспартийные специалисты).

Конечно, невозможно было «сокрушить» до основания социальный, политический и экономический уклад, создававшийся веками, в стране с более чем стомиллионным населением, опираясь только на партийцев. Необходимо было впрячь в это дело «массы», но, поскольку рабочие и крестьяне в массе своей ничего не знали о социализме и диктатуре пролетариата, их

следовало побудить к действию, поставив перед ними цель понятную и привлекательную.

* * *

В «Сатириконе» Петрония, этом уникальном описании повседневной жизни Древнего Рима, есть отрывок, прекрасно проецирующийся на политику, проводимую большевиками в первые месяцы после прихода к власти: «Как ухитрится мошенник или воришка подцепить на крючок свою жертву, если не с помощью блестящей наживки? Бессловесных животных ловят в капкан на приманку, и человека нельзя поймать, не подбросив ему чего-нибудь на зуб». Ленин инстинктивно понял этот принцип. Захватив власть, он немедленно отдал Россию на разграбление населению под лозунгом «Грабь награбленное». Пока народ занимался грабежами, вождь методично избавлялся от своих политических противников.

В русском языке есть слово «дуван», заимствованное казаками из турецкого. Оно означает дележ добычи, которым занимались казаки после набегов на турецкие и персидские поселения. Осенью и зимой 1917/1918 годов предметом «дувана» стала вся Россия. Особенно вожделенной добычей были пахотные земли, отданные для перераспределения крестьянским общинам Декретом о земле от 26 октября, разделом земель между крестьянскими дворами в соответствии с нормами, которые каждая община сама для себя устанавливала, крестьянство было поглощено вплоть до

весны 1918 года. На этот период оно утратило последний интерес к политике.

Сходные процессы наблюдались и в промышленности, и в армии. Вначале большевики передали управление промышленными предприятиями фабрично-заводским комитетам, члены которых, рабочие и рядовые конторские служащие, находились под влиянием синдикалистских идей. Комитеты эти прежде всего отстранили от управления владельцев предприятий и их представителей, и взяли его в свои руки. Но одновременно они воспользовались представившейся возможностью и присвоили имущество заводов, поделив между собою доходы и оборудование. По словам современника, на деле «рабочий контроль» сводился к «распределению доходов данного промышленного предприятия между рабочими этого предприятия»[13]. Солдаты-фронтовики, прежде чем отправиться по домам, взламывали арсеналы и склады, забирая себе все, что могли унести, а остальное продавая местным жителям. В одной из большевистских газет приводится описание такого армейского «дувана». По словам корреспондента, на проходившем 1 февраля 1918 года (н. ст.) совещании в солдатской секции Петроградского Совета выяснилось, что во многих воинских частях солдаты затребовали в свою собственность содержимое полковых складов; увозить домой военную форму и оружие, добытые со складов, стало обычной практикой[14].

Таким образом, вместе с понятием частной собственности исчезли понятия государственной и народной собственности, и произошло это с благословения нового правительства. Ленин как бы повторял опыт крестьянского восстания под

предводительством Емельяна Пугачева, который захватил в 1770-х годах обширные области на востоке России, опираясь на анархистские и антипомещичьи инстинкты крестьян. Пугачев призывал крестьян убивать помещиков и захватывать принадлежавшие помещикам и государству земли. Он обещал отменить подати и рекрутчину, раздавал повстанцам отобранные у помещиков зерно и деньги. Он сулил упразднить правительство и заменить его казацкой «вольницей». Если бы Пугачева не разбила армия Екатерины II, он вполне бы мог разрушить русское государство[15].

Зимой 1918 года население бывшей Российской империи занималось не только дележом материальных ценностей. Предметом «дувана» сделалась сама государственная власть: на части растаскивалось Русское государство, складывавшееся и развивавшееся в течение шестисот лет. К весне 1918 года огромнейшее государство мира распалось на бесчисленное множество требующих суверенности частей, больших и малых, не связанных между собой ни установленными законами, ни сознанием общей судьбы. Всего за несколько месяцев Россия регрессировала политически до уровня раннего средневековья, когда она состояла из удельных княжеств.

Первыми отделились нерусские народы окраинных районов. После большевистского переворота национальные меньшинства одно за другим стали объявлять о своей независимости от России, отчасти следуя своим национальным устремлениям, отчасти торопясь оградиться от большевизма и нарождающейся гражданской войны. В этом они могли опереться на Декларацию прав народов России, изданную большевиками за подписью Ленина и Сталина 2 ноября

1917 года. Опубликованная без предварительного утверждения органами советской власти, декларация эта давала народам России «свободу самоопределения вплоть до полного отделения и создания независимого государства». Первой о своей независимости объявила 6 декабря 1917 г. Финляндия; за ней последовали Литва (11 декабря), Латвия (12 января 1918 г.), Украина (22 января), Эстония (24 февраля), Закавказье (22 апреля) и Польша (3 ноября) (все даты по новому стилю). В результате под контролем коммунистов остались земли, населенные великороссами, — то есть территория России середины XVII века.

Процесс распада затронул не только окраинные территории: центробежные силы возникали и в центральных районах России, где губерния за губернией проявляли непокорность и объявляли о своей независимости от центрального правительства. Этому способствовал официально принятый лозунг «Вся власть Советам», позволяющий региональным Советам различных уровней — областным, губернским и уездным, даже волостным и сельским — претендовать на статус независимого правительства. Наступил хаос: «Советы были: городские, деревенские, сельские, посадские. Никого они, кроме себя, не признавали, а если и признавали, то только постольку, поскольку это было им выгодно. Каждый Совет жил и боролся так, как диктовала ему непосредственная окружающая обстановка, и так, как он умел и хотел. Никаких, или, вернее, почти никаких (они были в самом зачаточном состоянии), административных советских построек — губернских, уездных, волостных, областных советов, исполкомов — не существовало»[16].

В попытке установить некоторый порядок большевистское правительство весной 1918 года создало новые территориально-административные единицы — области. Таких областей было шесть; в каждую входило несколько губерний, каждой был придан полуавтономный статус: [Ельцин Б. // Власть Советов. 1919. Май. № 6/7. С. 9–10. Автор утверждает, что, созданные по приказу Центрального Комитета и правительства, образования эти должны были положить начало процессу «собирания русских земель».] Московская (Москва и девять прилегавших к ней губерний); Уральская с центром в Екатеринбурге; «Коммуна трудящихся северного края», охватывавшая семь губерний, со столицей в Петрограде; Северо-Западная с центром в Смоленске; Западно-Сибирская с центром в Омске; Центрально-Сибирская с центром в Иркутске. Каждая область имела собственное руководство, набранное из социалистической интеллигенции, и созывала съезды Советов. В некоторых областях были даже собственные Советы народных комиссаров. Съезд Советов Центрально-Сибирской области, проходивший в Иркутске в феврале 1918 года, отверг мирный договор, который советское правительство собиралось подписывать с Германией, и, чтобы продемонстрировать свою независимость, назначил собственного комиссара по иностранным делам[17].

Губернии повсеместно объявляли себя «республиками». Так случилось в Казани, Калуге, Уфе, Оренбурге. Некоторые из нерусских народов, живших среди русских (например, башкиры, волжские татары), создавали национальные республики. По сведениям одного из источников, на территории бывшей Российской империи в июне 1918 года существовало по крайней

мере 30 «правительств»[18]. Чтобы обеспечить исполнение собственных декретов и законов, центральные власти зачастую должны были обращаться за помощью к этим эфемерным государственным образованиям.

Края и губернии, в свою очередь, распадались на более мелкие административные единицы, основной из которых была волость. Жизнеспособность ее определялась тем, что крестьянам она представлялась самой крупной административной единицей, в пределах которой они могли перераспределять присвоенные земли. Как правило, крестьяне одной волости отказывались делиться захваченными землями с крестьянами соседней волости, и в результате сотни этих крошечных территорий стали по существу самоуправляющимися. Как отмечал Мартов, «мы всегда указывали, что очарование, которым в глазах крестьянских и отсталой части рабочих масс пользовался лозунг «Вся власть Советам», в значительной мере объясняется тем, что в этот лозунг они вкладывают примитивную идею господства местных рабочих или местных крестьян над данной территорией, как в лозунг рабочего контроля вкладывается идея захвата данной фабрики, а в лозунг аграрной революции — захват данной деревней данного поместья»[19].

Большевики произвели несколько безуспешных военных вылазок в отделившиеся пограничные районы, чтобы вернуть их к повиновению. Но в общем и целом они не пытались в тот период бороться с развитием центробежных сил в Великороссии, поскольку оно способствовало достижению их сиюминутных целей — планомерному разрушению экономической и политической системы прошлого. Кроме того, развитие

этих сил препятствовало возникновению сильного государственного аппарата, который смог бы противостоять коммунистической партии до того, как она укрепит свою власть.

В марте 1918 года правительство приняло Конституцию Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Подготовку текста этого документа Ленин поручил комиссии юристов под председательством Свердлова: наиболее активными ее членами были левые эсеры, хотевшие заменить централизованное государство федерацией Советов по модели французских коммун 1871 года. Ленин не стал в это вмешиваться, хотя намерения левых эсеров полностью противоречили его собственной цели: созданию централизованного государства. Он, обращавший такое пристальное внимание на все мельчайшие детали управления вплоть до назначения конкретных солдат в караул возле его кабинета в Смольном, остался абсолютно в стороне от работы конституционной комиссии и лишь бегло просмотрел результаты ее работы. Это примечательно и свидетельствует о том презрении, которое он испытывал к тексту Конституции, имевшей в его глазах лишь одну цель: создать видимость расплывчатой, полуанархической государственной структуры, за которой могла бы прятаться стальная рука партийного контроля[20].

Конституция 1918 года вполне отвечала циничным критериям «хорошего» основного закона: она была краткой и запутанной. Первая ее статья провозглашала Россию «республикой Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», «вся власть в центре и на

местах» отдавалась этим Советам[21]. Положения эти порождали вопросов больше, чем ясности, поскольку в последующих статьях не разъяснялось, как власть должна делиться между центральными и местными органами, между самими Советами. В статье 56 говорилось, что «в границах подведомственной им территории высшей властью являются съезды Советов (края, губернии, района и волости)». Но поскольку каждый край включал несколько губерний, а каждая губерния — множество районов и волостей, это положение оказывалось бессмыслицей. Все еще больше запутывалось статьей 61, поскольку она, в противоречие принципу, согласно которому съезды Советов являлись «высшей властью» на своей территории, требовала от региональных Советов заниматься лишь местными вопросами и, одновременно, «проводить в жизнь решения высших органов советской власти».

Неспособность Конституции 1918 года определить и разграничить круг полномочий советских органов на различных территориальных уровнях служила еще одним доказательством того, что большевики не собирались переоценивать ее вес и значение. Но все же она усиливала центробежные тенденции, давая им конституционное оправдание. [Тенденции эти усугублялись отказом правительства субсидировать губернские Советы. В феврале 1918 года на требование губернских Советов выделить им денег Петроград ответил, что им следует добыть средства, облагая «безжалостными» налогами имущие классы (Пролетарская революция. 1925. № 3 (38). С. 161–162). В результате этой рекомендации местные власти стали облагать «буржуазию» на своей территории самовольными «контрибуциями».].

Чтобы добиться полной свободы действий, Ленину требовалось срочно освободиться от подотчетности Центральному исполнительному комитету.

По инициативе большевиков Вторым съездом Советов был распущен старый Исполком и избран новый, в котором большевики заняли 58 % мест. Такая расстановка сил давала большевикам гарантии, что, голосуя единым блоком, они могут провести или блокировать любую резолюцию, хотя им и приходилось еще считаться с горластым меньшинством левых эсеров, правых эсеров и меньшевиков. Эсеры и меньшевики не признавали законность Октябрьского переворота и отказывали большевикам в праве формировать правительство. Левые эсеры принимали Октябрьский переворот, но сохраняли множество демократических иллюзий, в частности, стремились к формированию коалиционного правительства из всех партий, представленных в Советах.

Небольшевистское меньшинство серьезно уверовало в принцип (большевики придерживались его только на словах), согласно которому ЦИК являлся советским законодательным органом, имевшим решающее слово при формировании кабинета и определении круга его деятельности. Полномочия эти ЦИК получил благодаря резолюции, предложенной Лениным и принятой Вторым съездом Советов: «Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет:

Образовать для управления страной, вплоть до созыва Учредительного собрания, Временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом народных комиссаров. <…>

Контроль над деятельностью народных комиссаров и право смещения их принадлежит Всероссийскому съезду Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его Центральному исполнительному комитету»[22]. Яснее сказать было нельзя. Ленин, тем не менее, твердо намеревался отбросить этот принцип и вывести свое правительство из-под контроля ЦИКа и любого другого внешнего органа. Именно этого он и добился через десять дней после того, как стал главой государства.

Историческое противостояние между большевиками и ЦИКом было обозначено, когда последний потребовал, чтобы большевики расширили состав Совнаркома, включив в него представителей других социалистических партий. Все политические партии выступали против того, что большевики заняли все должности в Совнаркоме: в конце концов, Съезд Советов избирал их, чтобы они представляли Советы, а не свою партию. Недовольство это оформилось и приняло угрожающие формы, когда, через три дня после большевистского переворота, Союз железнодорожных рабочих, крупнейший профсоюз России, выдвинул ультиматум с требованием создания социалистического коалиционного правительства. Для всякого, кто помнил октябрь 1905 года и ту решающую роль, которую железнодорожная забастовка сыграла в падении царизма, это должно было стать серьезным предостережением.

Профсоюз, сотни тысяч членов которого были разбросаны по всей стране, мог полностью парализовать транспорт. В августе 1917 года он обеспечил победу Керенского над Корниловым. В октябре он сперва принял лозунг «Вся власть Советам», но как только его руководство осмыслило, каким образом этот лозунг

использовали большевики, оно сразу выступило против них, требуя, чтобы Совнарком был заменен коалиционным правительством[23]. 29 октября Союз заявил, что, если в правительство не войдут представители всех социалистических партий, он объявит забастовку. Угроза была серьезная, поскольку большевикам, готовящимся к контрнаступлению Керенского, нужны были поезда для переброски войск на фронт.

Большевики созвали Центральный Комитет. Ленин и Троцкий, занятые организацией обороны против наступления Керенского, присутствовать на нем не смогли. Центральный Комитет в их отсутствие поддался панике и уступил требованиям Союза, признав необходимым «расширение базы правительства» посредством включения в него представителей других социалистических партий. Он также подтвердил, что Совнарком — орган ЦИКа и отчитывается перед ним. Комитет делегировал Каменева и Г.Я.Сокольникова на переговоры с представителями профсоюза и других партий о формировании нового советского временного правительства[24]. По существу, резолюция эта означала отказ от власти, завоеванной в ходе Октябрьского переворота.

Позднее в тот же день, 29 октября, Каменев и Сокольников присутствовали на совещании восьми партий и нескольких межпартийных организаций, созванном Союзом железнодорожных рабочих. В соответствии с принятой большевистским ЦК резолюцией они согласились ввести в Совнарком меньшевиков и эсеров на том условии, что те примут резолюции Второго съезда Советов. Совещание назначило комиссию для

выработки условий преобразования Совнаркома. Условия Союза были приняты, и поздно вечером в его местные организации был отправлен приказ отменить забастовку, но оставаться наготове[25].

Чувство облегчения, которое принес большевикам достигнутый компромисс, исчезло на следующий же день, когда они узнали, что Союз, поддержанный социалистическими партиями, повысил свои требования и стал добиваться, чтобы большевики совсем вышли из правительства. Большевистский Центральный Комитет, все еще в отсутствие Ленина и Троцкого, провел большую часть дня, обсуждая это требование. Обсуждение проходило в атмосфере крайне напряженной, поскольку в город с минуты на минуту могли ворваться выступавшие на стороне Керенского силы под командованием атамана Краснова. Каменев, пытаясь спасти хоть что-то, предложил компромисс: Ленин передает обязанности председателя Совнаркома лидеру эсеров В.М.Чернову, но большевики оставляют за собой второстепенные посты в коалиционном правительстве, уступая ведущую роль эсерам и меньшевикам[26].

Трудно предугадать судьбу этих соглашений, если бы в тот же вечер не стало известно, что силы Краснова отбиты.

Как только военная угроза отпала, Ленин и Троцкий сосредоточились на катастрофическом положении, в котором оказались большевики из-за «капитулянтской» политики Центрального Комитета. 1 ноября на очередном заседании ЦК Ленин разразился неудержимой бранью[27]. «Политика Каменева, — потребовал он, — должна быть прекращена» немедленно. ЦК следовало вести

переговоры с Союзом для «дипломатического прикрытия военных действий» — то есть не с честными намерениями, а лишь для того, чтобы добиться его содействия в борьбе против сил Керенского. На большинство ЦК это не произвело сильного впечатления: Рыков выступил с мнением, что большевики не смогут удержать власть. Провели голосование: десять членов ЦК стояли за продолжение переговоров о создании нового, коалиционного правительства с другими социалистическими партиями и только трое поддержали Ленина (Троцкий, Сокольников и, по-видимому, Дзержинский). Даже Свердлов оказался не на его стороне.

Ленин потерпел унизительное поражение: его товарищи готовы были отказаться от завоеваний октября и вместо установления «диктатуры пролетариата» поделить власть с «мелкобуржуазными» партиями и остаться в меньшинстве. На помощь Ленину пришел Троцкий, предложивший хитрый компромисс. Троцкий начал с возражений «капитулянтам»: «Нам говорят, мы неспособны строить. Но тогда надо просто уступить власть тем, которые были правы в борьбе против нас. А ведь мы уже сделали большую работу. Нельзя, говорят, сидеть на штыках. Но и без штыков нельзя. Нам нужен штык *там,* чтобы сидеть *здесь* <…> Вся эта мещанская сволочь, что сейчас не в состоянии встать ни на ту, ни на другую сторону, когда узнает, что наша власть сильна, будет с нами, в том числе и Викжель [Союз железнодорожников] <…> Мелкобуржуазная масса ищет силы, которой она должна подчиняться»[28]. Как любила говаривать императрица Александра Федоровна, «Россия любит кнут».

Чтобы выиграть время, Троцкий предложил формулу: переговоры о создании коалиционного правительства продолжать только с левыми эсерами, единственной партией, принявшей Октябрьский переворот; с остальными социалистическими партиями переговоры прекратить, если еще одна попытка не приведет к соглашению. Это показалось разумным выходом из тупикового положения, и предложение было принято.

Ленин, решительно вознамерившийся покончить с пораженческими настроениями в рядах большевиков, возобновил на следующий день атаку и потребовал, чтобы Центральный Комитет осудил «оппозицию». Требование было странное, поскольку против воли большинства выступал именно он. В последовавшей за этим дискуссии Ленину удалось расколоть своих противников. Резолюция, осуждающая «оппозицию», была принята десятью голосами против пяти. В итоге пятеро выступавших в последнем голосовании «против» подали в отставку — Каменев, Рыков, Зиновьев, Милютин и Ногин. 4 ноября «Известия» опубликовали открытое письмо, в котором пятерка объясняла свои действия: «ЦК РСДРП (большевиков) 1 ноября принял резолюцию, на деле отвергающую соглашение с партиями, входящими в Совет рабочих и солдатских депутатов, для образования социалистического советского правительства. <…>

Мы считаем, что создание такого правительства необходимо для предотвращения дальнейшего кровопролития. <…>

Однако это новое решение вызвало со стороны руководящей группы ЦК ряд действий, которые явно показывают, что она твердо решила не допускать

образования правительства советских партий и отстаивать чисто большевистское правительство во что бы то ни стало и каких бы жертв рабочим и солдатам это не стоило.

Мы не можем нести ответственность за эту гибельную политику ЦК, проводимую вопреки воле громадной части пролетариата и солдат. <…>

Мы складываем поэтому с себя звание членов ЦК, чтобы иметь право откровенно сказать свое мнение массе рабочих и солдат и призвать их поддержать наш клич: Да здравствует правительство из советских партий!»[29]

Через два дня Каменев ушел с поста представителя ЦИКа; четверо народных комиссаров (из одиннадцати) тоже подали в отставку: Ногин (торговля и промышленность), Рыков (комиссариат внутренних дел), Милютин (земледелие) и Теодорович (снабжение). Нарком труда Шляпников подписал письмо, но с поста не ушел. Подали в отставку несколько большевиков, занимавших низшие должности в Совнаркоме. «Мы стоим на точке зрения, — гласило их письмо, — необходимости образования социалистического правительства из всех советских партий. Мы считаем, что только образование такого правительства дало бы возможность закрепить плоды героической борьбы рабочего класса и революционной армии в октябрьские — ноябрьские дни. Мы полагаем, что вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора. На этот путь вступил Совет народных комиссаров. Мы на него не можем и не хотим вступать. Мы видим, что это ведет к отстранению массовых пролетарских организаций от руководства

политической жизнью, к установлению безответственного режима и к разгрому революции и страны. Нести ответственность за эту политику мы не можем и поэтому слагаем с себя перед Ц.И.К. звание народных комиссаров»[30].

Ленин очень спокойно воспринял эти протесты и отставки, поскольку был уверен, что заблудшие овцы снова вернутся в стадо, что в конце концов и произошло. Куда еще им было идти? Социалистические партии от них отвернулись, либералы, приди они к власти, отправили бы их в тюрьму, а правые, без сомнения, — повесили. Само их физическое выживание зависело от успеха Ленина.

Решения, принятые большевистским Центральным Комитетом, означали, что большевики готовы были делить власть только с теми партиями, которые согласятся на роль младшего партнера и будут беспрекословно утверждать большевистские резолюции. За исключением четырех месяцев (декабрь 1917-го — март 1918 г.), когда большевики допустили левых эсеров в состав Совнаркома, так называемое «советское» правительство никогда не отражало реального состава Советов: оно было и оставалось правительством большевиков, а Советы использовались лишь для прикрытия и маскировки.

Ленину удалось отбиться от угрозы раздела власти с соперничающими социалистическими партиями, но все еще приходилось иметь дело с требованием ЦИКа, чтобы ему, как советскому парламенту, подчинялись народные комиссары.

ЦИК, избранный большевиками в октябре, претендовал на роль социалистической думы,

уполномоченной осуществлять надзор за действиями правительства, формировать кабинет и издавать законы. [Pietsch W. Revolution und Staat. Koln, 1969. S. 63. Старый ЦИК, разогнанный большевиками, продолжал собираться, иногда в открытую, иногда тайно, вплоть до конца 1917 г. (Революция. Т. 3. С. 90–91).]. На следующий день после переворота он начал вырабатывать собственный устав, предполагающий разветвленную структуру пленумов, президиумов и комиссий всякого рода. Ленин считал эти парламентские потуги смехотворными. С первого же дня он игнорировал ЦИК и в издании декретов, и в назначениях на руководящие посты. Вот, например, как был избран новый председатель ЦИКа. После отставки Каменева Ленин решил, что более всего на этот пост подходит Свердлов. У него не было причин опасаться, что ЦИК не одобрит его выбора, но, поскольку не было и абсолютной уверенности, он хотел его обойти. Ленин вызвал Свердлова. «Яков Михайлович, — обратился он к нему, — я хочу просить вас быть председателем ВЦИКа, что вы на это скажете?» По-видимому, Свердлов согласился, поскольку Ленин заявил, что после одобрения партийным ЦК необходимо «тщательно» провести эту кандидатуру большевистской фракцией ЦИКа. Ленин поручил Сверлову пересчитать «заранее все голоса» и лично проследить, чтобы все входящие в ЦИК большевики присутствовали на голосовании[31]. Все прошло по плану, и 8 ноября Свердлов был «избран» девятнадцатью голосами против четырнадцати. [В описываемом случае левые эсеры голосовали против него (Революция. Т. 6. С. 99)]. Находясь на этом посту вплоть до своей смерти в марте 1919 года, Свердлов всегда обеспечивал

утверждение ЦИКом всех партийных постановлений после условного обсуждения.

Сходным образом Ленин проигнорировал ЦИК, подбирая кандидатов для замещения освободившихся (после отставки наркомов) постов в правительстве: он назначил их 8-11 ноября после короткого обмена мнениями с другими большевиками из ЦК и не испросив одобрения ЦИКа.

Однако ему все же приходилось считаться с тем решающим обстоятельством, что ЦИК обладал законодательной властью и правом одобрения или вето при издании правительственных декретов.

В первые две недели нового режима председатель ЦИКа Каменев сумел изолировать Совнарком от Исполкома, не объявляя заранее о его созывах и не оглашая заблаговременно повестку дня. Совнарком издавал декреты, не беспокоясь о том, чтобы заручиться одобрением ЦИКа. Вообще процедура работы правительства была в то время так не отработана, что некоторые большевики, даже не будучи членами кабинета, издавали декреты по своей собственной инициативе, не ставя в известность ни Совнарком, ни Исполком. Два таких декрета привели к конституционному кризису. Одним из них был декрет о печати, принятый правительством в первый же день своего существования 27 октября. Под декретом стояла подпись Ленина, хотя текст подготовил Луначарский (видимо, по инициативе и с одобрения Ленина). [Декреты Т. 1. С. 24–25. Об авторстве Луначарского упоминает Юрий Ларин (Народное хозяйство. 1918. № 11. С. 16–17)]. В этом примечательном документе говорилось, что «контрреволюционная печать» (термин

не был определен, но, очевидно, относился ко всем газетам, не признавшим законности Октябрьского переворота) наносит вред и что поэтому необходимо ввести «временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы». Все газеты, выступавшие против новой власти, должны были быть закрыты. «Как только новый порядок упрочится, — следовало далее, — всякие административные воздействия на печать будут прекращены, для нее будет установлена полная свобода».

Страна уже стала привыкать к произволу, творимому с февраля 1917 года над газетами, к разгрому типографий. Вначале подверглись нападкам и были закрыты «реакционные» издания, вслед за тем, в июле, та же судьба постигла большевистскую прессу. Придя к власти, большевики эту практику узаконили и стали широко использовать. 26 октября Военно-революционный комитет организовал погромы в редакциях оппозиционных органов печати. Было закрыто проводившее твердую антибольшевистскую линию «Наше общее дело» и арестован редактор Владимир Бурцев. Та же судьба постигла меньшевистский «День», кадетскую газету «Речь», правое «Новое время» и право-центристские «Биржевые ведомости». Типографии, в которых печатались «День» и «Речь», были конфискованы и переданы большевистским журналистам[32]. (Многие из закрытых изданий вскоре стали выходить вновь — под другими названиями.)

Декрет о печати делал заявку на большее: он полностью упразднял независимую печать в России, традиции которой восходили к Екатерине II. Возмущение, вызванное декретом, было чрезвычайным. Дошло до того, что в Москве контролируемый большевиками

Военно-революционный комитет декрет аннулировал, объявив 21 ноября, что экстренные меры отменяются и печать вновь пользуется полной свободой[33]. В ЦИКе Юрий Ларин осудил Декрет о печати и предложил резолюцию о его отмене[34]. 26 ноября 1917 года «Союз Русских писателей» выпустил одноразовую газету, названную «Газета-протест», на страницах которой крупнейшие русские литераторы излили гнев по поводу этой беспрецедентной попытки подавить свободу слова. В.Г.Короленко писал, что, читая ленинский указ, «краснел от стыда и возмущения»: «кто и по какому праву лишил меня, как читателя и члена местного общества, возможности знать, что происходит в столице в эти трагические минуты? И кто заявляет притязание закрыть мне, как писателю, возможность свободно высказывать согражданам свои мысли об этих событиях без цензорской указки?»[35]

Предвидя, что эта и подобные меры, особенно в области экономики, вызовут сильное сопротивление Съезда Советов и ЦИКа, большевики приняли еще один закон, регламентирующий взаимоотношения между правительством и Советами. Декрет под названием «О порядке утверждения и опубликования законов» закреплял за Совнаркомом право действовать в качестве законодательного органа: полномочия ЦИКа сводились к ратификации или аннулированию уже вступивших в силу законов. Этот документ, полностью отменяющий условия, на которых Съезд Советов всего за несколько дней до того уполномочил большевиков формировать правительство, был подписан Лениным. Однако из воспоминаний Юрия Ларина, меньшевика, который в сентябре 1917 года перешел на сторону Ленина и сделался его самым влиятельным экономическим

советником, нам известно, что подготовил и выпустил декрет именно он, под свою ответственность и даже не поставив Ленина в известность: последний узнал о новом законе, лишь прочтя о нем в официальной «Газете»[36].

Декрет Ларина — Ленина должен был действовать только вплоть до созыва Учредительного собрания. До этого момента, говорилось в нем, все законы будут составляться и публиковаться Временным рабочим и крестьянским правительством (Совнаркомом). За Центральным исполнительным комитетом оставлялось право «приостановить, изменить и отменить» эти законы задним числом. [Декреты. Т. 1. С. 29–30. Дату, когда был подписан декрет, нам установить не удалось, в большевистской прессе текст появился 31 октября или 1 ноября 1917 г.]. Этим декретом большевистский Совнарком присваивал себе право законодательной деятельности, аналогичное тому, что даровалось царскому правительству статьей 87 Основных законов Российской империи от 1906 года.

Такая упрощенная процедура, избавлявшая правительство от парламентской «обструкции», могла бы порадовать И.Л.Горемыкина или любого иного консервативного бюрократа старого режима, но вовсе не этого ожидали социалисты от «советского» правительства. ЦИК с возрастающей тревогой следил за развитием событий; он протестовал против нарушения своих полномочий бесконтрольным «хозяйничаньем» Совнаркома и против издания декретов от имени ЦИКа, но без его утверждения[37].

На заседании ЦИКа 4 ноября вопрос был поставлен ребром, и это решило судьбу «советской демократии». Ленин и Троцкий были приглашены туда для объяснений,

подобно тому, как царские министры отчитывались перед Думой, отвечая на «запрос» относительно правомочности своих действий. Левые эсеры желали знать, на каком основании правительство последовательно нарушало волю Второго съезда Советов, согласно которой оно должно было отчитываться перед ЦИКом. Они настаивали, чтобы правительство прекратило издавать декреты[38].

Ленин отнесся к происходящему как к «буржуазному формализму»: он уже давно решил, что коммунистическое правительство должно совмещать в одном лице полномочия законодательной и исполнительной власти[39]. Ленин имел обыкновение нападать, сразу переходить в наступление, если перед ним ставили вопрос, на который он не хотел или не мог ответить: одно за другим он стал выставлять контробвинения. Советское правительство не может быть связано «формальностями». Пассивность Керенского оказалась фатальной. Те, кто подвергает его, Ленина, действия сомнению, выступают как «апологеты парламентской обструкции». Власть большевиков опирается на «доверие широких народных масс»[40]. Ни один из его аргументов не мог прояснить, почему он нарушал условия, на которых всего лишь неделю назад получил власть. Ответы Троцкого были немногим более убедительны. В советском парламенте (под этим подразумевался Съезд Советов и его Центральный исполнительный комитет) нет, в отличие от «буржуазного», антагонистических классов, а следовательно, нет необходимости в «общепринятом парламентском механизме». Из этого аргумента следовало, что там, где нет классовых различий, не может быть и различий во мнениях; отсюда, в свою

очередь, делался вывод, что существование различий во мнениях означает ipso facto «контрреволюцию». Правительство и «массы», продолжал Троцкий, связаны не формальными процедурами и учреждениями, а «живой и непосредственной связью». Предвосхищая Муссолини, который впоследствии использовал аналогичные аргументы для оправдания практики фашизма, Троцкий говорил: «Пусть декреты не гладки извне… но право живого творчества стоит выше формальной безупречности»[41].

Бессвязность и несостоятельность аргументации Ленина и Троцкого мало кого смогли убедить в ЦИКе, даже некоторые большевики почувствовали себя неловко. Левые эсеры выступали крайне резко. В.А.Карелин говорил: «Я протестую против злоупотребления термином буржуазности. Отчетность и строгий порядок в мелочах не являются обязательным лишь для буржуазной власти. Не будем играть словами и прикрывать наши ошибки и промахи отдельным, одиозным словом. И пролетарская власть, как власть по существу народная, должна идти навстречу контролю над собой. Ведь если предприятие переходит в руки рабочих, то тем самым не упраздняется же бухгалтерия и отчетность. Между тем скоропалительность выпечки декретов, часто изобилующих не только юридическими упущениями, но зачастую неграмотных, приводит к еще большим осложнениям положения, особенно на местах, где привыкли принимать таким, каким он дается сверху»[42]. Другой левый эсер, П.П.Прошьян, заявил, что большевистский декрет о прессе дает «яркое и определенное выражение системы политического террора и разжигания гражданской войны»[43].

Голосование по Декрету о печати большевики выиграли легко: внесенное Лариным предложение отменить его было забаллотировано тридцатью четырьмя голосами против двадцати четырех при одном воздержавшемся. [Фрейман А.Л. Форпост социалистической революции. Л., 1969. С. 169–170. Большевики приняли меры предосторожности и усилили свой блок в ЦИКе пятью надежными большевиками (Революция. Т. 6. С. 72).]. Однако, несмотря на эту победу, большевики не смогли заткнуть рот прессе вплоть до июля 1918 года, когда одним махом уничтожили все независимые газеты и периодические издания. До того как это произошло, в советской России сохранялось поразительное разнообразие газет и журналов, включая либеральные и даже консервативные: игнорируя разорительные штрафы и запугивание, они как-то умудрялись существовать.

Нерешенным оставался вопрос о подотчетности Совнаркома ЦИКу. По этому вопросу, в первый и последний раз в своей истории, большевистское правительство согласилось на голосование вотума доверия. С предложением о таком голосовании выступил левый эсер В.Б.Спиро: «Центральный исполнительный комитет, заслушав объяснения, представленные председателем Совета народных комиссаров, признал их неудовлетворительными». Большевик М.С.Урицкий внес контррезолюцию, выражающую доверие ленинскому правительству: «Центральный исполнительный комитет по поводу внесенного запроса устанавливает:

1. Советский парламент рабочих масс не может иметь ничего общего по своим методам с буржуазным парламентом, где представлены разные классы с противоположными интересами и где представители

правящего класса превращают регламент и наказ в орудие законодательной обструкции.

2. Советский парламент не может отказать Совету народных комиссаров в праве издавать без предварительного обсуждения ЦИК неотложные декреты в рамках общей программы Всероссийского съезда Советов.

3. В руках ЦИК сосредотачивается общий контроль над всей Деятельностью Совета народных комиссаров и возможность сменять правительство или отдельных членов его...»[44]

Предложение Спиро, выражавшее недоверие правительству, было отклонено двадцатью пятью голосами против двадцати: итоги голосования объясняются тем, что девять большевиков (некоторые из них были народными комиссарами) заявили на этом заседании о своей отставке и покинули собрание (см. выше). Такой косвенной победой Ленин удовлетвориться не мог: он хотел победы твердой и недвусмысленной в голосовании за резолюцию Урицкого, дающую правительству право на законодательную деятельность. Но ряды большевиков неожиданно поредели и исход представлялся сомнительным: предварительный подсчет голосов показал, что получается ничья (23:23). Чтобы этого не допустить, Ленин и Троцкий объявили, что сами будут принимать участие в голосовании, — это было так же нелепо, как если бы министры, представившие проект на утверждение законодательному органу, попросили внести их самих в списки высказавшихся «за». Будь русские парламентарии более искушены, они отказались бы участвовать в этом фарсе. Но они остались и проголосовали. Резолюция Урицкого была принята

двадцатью пятью голосами против двадцати трех: решающие два голоса принадлежали Ленину и Троцкому. Таким нехитрым способом два большевистских вождя присвоили себе законодательную власть и превратили ЦИК и Съезд Советов, который он представлял, из законодательных органов в консультативные. В истории строительства советского государства это стало переломным моментом.

Позднее в тот же день Совнарком провозгласил, что его декреты приобретают силу закона, как только они появляются на страницах официальной «Газеты Временного рабочего и крестьянского правительства».

Теперь Совнарком и юридически сделался тем, чем являлся фактически с момента своего возникновения, — органом, в котором соединялись законодательная и исполнительная власть. ЦИК еще некоторое время после этого мог пользоваться правом обсуждать действия правительства, что хотя и не давало возможности влиять на политику, позволяло ее критиковать. Но после июня — июля 1918 года, когда все небольшевики были изгнаны из его состава, ЦИК превратился в номинальную инстанцию, где большевистские депутаты в установленном порядке «утверждали» постановления большевистского Совнаркома, выполнявшего, в свою очередь, постановления большевистского Центрального Комитета. [В декабре 1919 г. все те немногие полномочия, которые оставались у ЦИКа, были переданы его председателю, который стал таким образом «главой государства». Заседания ЦИКа, которые изначально предполагалось проводить регулярно, собирались все реже: в 1921 г. ЦИК заседал всего три раза. См.: Carr E.H. The Bolshevik Revolution. V. 1. N.Y., 1951. P. 220–230].

Неожиданное и полное крушение демократических сил и их последующая неспособность отстоять свои конституционные права напоминают поражение Верховного Тайного Совета, попытавшегося в 1730 году наложить конституционные ограничения на русскую монархию: тогда, как и на этот раз, твердого «нет» самодержца оказалось достаточно.

С этого времени Россия стала управляться декретами. Ленин присвоил себе прерогативы, принадлежавшие до октября 1905 года русским царям: его воля была законом. По словам Троцкого, «с момента объявления Временного правительства низложенным Ленин систематически, и в крупном и в малом, действовал как правительство». [Троцкий Л. О Ленине. М., 1924. С. 102]. «Декреты», издаваемые Совнаркомом, хотя их название и было заимствовано из словаря революционной Франции (и не имело отражения в русском конституционном праве), совершенно соответствовали имперским указам, касаясь одновременно и самых фундаментальных и самых тривиальных вопросов и вступая в силу как только самодержец скрепит их своей подписью. (По словам Исаака Штейнберга, Ленин обычно придерживался мнения, что его подписи достаточно для легализации любого правительственного акта[45].) Секретарь Ленина В.Д.Бонч-Бруевич пишет, что декреты приобретали силу закона лишь после того, как их подписывал Ленин, даже если издавались по инициативе кого-либо из комиссаров[46]. [Как мы покажем ниже, в этом правиле имелись исключения.]. Подобная практика нашла бы полное понимание у Николая I и Александра III. Система правления, установленная большевиками в России всего через две недели после Октябрьского переворота,

означала возврат к самодержавию, господствовавшему в России до 1905 года: не осталось и следа от двенадцати предшествовавших лет конституционализма.

* * *

Единственной социальной группой, которая не принимала участия в общенациональном «дуване» и не давала себя увлечь сладкими посулами новой власти, была интеллигенция. Она с беспредельным энтузиазмом приветствовала февральскую революцию и почти единодушно отвергла Октябрьский переворот. Даже некоторые советские историки вынуждены были признать, что студенты, профессора, писатели, актеры и все те, кто возглавлял оппозицию царизму, в массе своей выступили против большевистского переворота (в одном из советских источников читаем, что интеллигенция «почти поголовно» занялась «саботажем»[47]). Чтобы сломить это сопротивление, большевикам пришлось в течение многих месяцев попеременно то улещивать интеллигенцию, то запугивать. Сотрудничать с большевиками интеллигенция начала только после того, как пришла к выводу, что их власть надолго и бойкотировать ее — значит только усугубить свое положение.

Самым драматическим свидетельством того, что образованный класс России не принял Октябрьский переворот, стала общая забастовка служащих. Хотя большевики тогда же взяли за правило называть эту акцию не иначе, как «саботажем», она явилась грандиозным мирным выступлением служащих государственных учреждений и частных предприятий против разрушения демократии[48]. Забастовка должна

была продемонстрировать большевикам, что они не пользуются народной симпатией, и сделать для них невозможным управление страной. Возникла она стихийно, но быстро приобрела организованную форму: сначала возникли забастовочные комитеты в министерствах, банках и других учреждениях, затем был создан координационный орган — Комитет спасения Родины и Революции. В Комитет вошли представители городской думы, распущенного большевиками ЦИКа Советов, Всероссийского съезда крестьянских Советов, Объединения союзов государственных служащих и нескольких отраслевых объединений, в том числе Союза почтовых работников. Позже к нему присоединились представители всех русских социалистических партий, кроме левых эсеров. Комитет призвал население не сотрудничать с узурпаторами и бороться за восстановление демократии[49]. 28 октября он потребовал, чтобы большевики отказались от власти[50].

29 октября Петроградский союз государственных служащих совместно с Комитетом (который, по-видимому, финансировал забастовку) призвал всех служащих прекратить работу:

«Комитет Союза союзов служащих государственных учреждений Петрограда совместно с присланными представителями Ц.К. всероссийских союзов служащих государственных учреждений, обсудив вопрос об узурпаторском, за месяц до созыва Учредительного собрания, захвате власти в г. Петрограде фракцией большевиков Петроградского Совета Р. и С.Д. и признавая преступность такого захвата, грозящего гибелью России и всем завоеваниям революции, в

согласии с Всерос. комитетом спасения Родины и революции <…> постановил:

1. Признать необходимым немедленное прекращение занятий во всех государственных учреждениях.

2. Вопрос об обеспечении снабжением армии и продовольствием населения, а равно и о деятельности учреждений, охраняющих общественное спокойствие и безопасность, предоставить на разрешение комитета общественного спасения по соглашению с Комитетом Союза союзов.

3. Одобрить деятельность учреждений, уже прекративших занятия»[51].

Призыв встретил широкий отклик: вскоре любая деятельность в министерствах Петрограда была прекращена. За исключением швейцаров и некоторых письмоводителей служащие или вовсе не являлись на работу, или приходили, но ничего не делали. Новоиспеченные большевистские комиссары, не имея иного занятия, слонялись по ленинскому штабу в Смольном и рассылали приказы, на которые никто не обращал внимания. Доступ в министерства был для них закрыт. «Когда после первых октябрьских дней Народные Комиссары пришли для работ в прежние министерства, они вместе с грудами бумаг и папок нашли только курьеров, уборщиков и швейцаров этих министерств. Все чиновники, начиная с управляющих, секретарей и кончая машинистками и переписчицами, сочли своим долгом не признать большевистских комиссаров и не являться на службу. Излишне говорить, насколько такое положение при абсолютной неподготовленности пролетариата к замещению чиновничьих мест грозило расстройством

государственного аппарата»[52]. Троцкому пришлось пережить неприятные минуты, когда 9 ноября — через две недели после вступления в должность — он отважился навестить министерство иностранных дел: «Вчера в здание министерства иностранных дел явился новый «министр» Троцкий. Собрав всех служащих, он представился им: «Я — новый министр иностранных дел Троцкий». В ответ раздались иронические замечания. Троцкий, не обращая внимания на такое отношение к нему со стороны служащих, пригласил их разойтись по отделениям. Служащие, однако, согласно принятому ими заранее решению, немедленно разошлись по домам с тем, чтобы в министерство при Троцком больше не возвращаться»[53]. Шляпников, нарком труда, встретил такой же прием, когда попытался приступить к исполнению обязанностей в своем министерстве[54]. Большевистское правительство оказалось в нелепом положении, поскольку после захвата власти прошло уже несколько дней, а оно все еще не могло убедить государственных служащих работать на себя. Трудно было утверждать, что правительство вообще функционирует.

Забастовка перекинулась на неправительственные учреждения. 26–27 октября закрылись частные банки. 1 ноября Всероссийский союз почтовых и телеграфных служащих объявил, что, если большевистское правительство не будет сменено коалиционным кабинетом, он призовет всех своих членов к стачке[55]. В Москве, Петрограде и некоторых провинциальных городах в результате забастовки не работали телефонные станции и телеграф. 2 ноября началась забастовка аптекарей Петрограда; 7 ноября их примеру последовали работники водного транспорта и школьные

учителя. 8 ноября Петроградский союз типографских рабочих заявил, что остановит типографии, если большевики оставят в силе Декрет о печати.

Наиболее болезненно на большевиках отразилась забастовка финансовых учреждений — Государственного банка и Государственного казначейства. Правительство могло временно обойтись без министерства иностранных дел или министерства труда, но деньги ему были необходимы. И банк, и казначейство отказались удовлетворять финансовые требования Совнаркома на том основании, что он не был законным правительством: курьеры, отправленные туда с приказами, подписанными народными комиссарами, возвращались в Смольный ни с чем. Служащие банка и казначейства признавали только Временное правительство и выплачивали деньги только его представителям; также они удовлетворяли требования законных городских и военных властей. 4 ноября, отвечая на обвинение большевиков в том, что эти действия причиняют лишения народу, Государственный банк объявил: в течение предшествовавшей недели им было выплачено 610 млн рублей на нужды населения и вооруженных сил; 40 млн рублей из этой суммы выдано представителям Временного правительства[56].

30 октября Совнарком издал приказ, предписывающий всем государственным и частным банкам приступить к работе на следующий день. Он предупреждал, что отказ принимать к выплате чеки и требования государственных учреждений повлечет за собой арест директоров[57]. Под этой угрозой несколько частных банков уступили, но все-таки не принимали к оплате чеки от Совнаркома.

Отчаянно нуждаясь в деньгах, большевики прибегли к более суровым мерам. 7 ноября В.Р.Менжинский, новый комиссар финансов, появившись в Государственном банке в сопровождении вооруженных матросов и военного оркестра, потребовал 10 млн рублей. Банк отказал. Через четыре дня комиссар снова посетил банк в сопровождении большего числа солдат и предъявил ультиматум: если деньги не выдадут в течение двадцати минут, все служащие банка будут уволены без права на пенсии, а служащих призывного возраста немедленно мобилизуют в армию. Банк не уступал. Совнарком уволил нескольких банковских служащих, но денег не получил даже и по прошествии двух недель пребывания у власти.

14 ноября служащие петроградских банков собрались на совещание, чтобы решить, что делать дальше. Подавляющее большинство сотрудников Государственного банка проголосовали за отказ признавать Совнарком и за продолжение забастовки. Служащие частных банков их поддержали. Сотрудники Государственного казначейства подали 142 голоса против 14 за отказ допускать большевиков к государственным фондам; они также отклонили просьбу Совнаркома о «краткосрочной ссуде» в 25 млн рублей[58].

Чтобы подавить сопротивление, большевики решили применить силу. 17 ноября Менжинский снова появился в Государственном банке, где на своих местах оставались только несколько курьеров и сторожей. Вооруженный конвой доставил правление банка. Члены правления вновь отказались выдать деньги, и тогда красногвардейцы заставили их открыть сейфы под угрозой казни. Менжинский извлек 5 млн рублей и, сложив их в бархатную сумку, повез в Смольный, где

выложил победно свою добычу на стол перед Лениным[59]. Вся операция очень напоминала ограбление банка.

Теперь большевики обеспечили себе доступ к государственной казне, но забастовка банковских служащих продолжалась, несмотря на аресты; подавляющее большинство банков было закрыто. Бездействовал и Государственный банк, занятый красногвардейцами. Именно для того, чтобы сломить сопротивление банковских служащих, Ленин создал в декабре 1917 года свою политическую полицию — ЧК. Проведенное в середине декабря в Петрограде исследование показало, что полностью остановилась работа в министерствах (переименованных в комиссариаты) иностранных дел, образования, юстиции, снабжения, а в Государственном банке царил полный хаос[60]. Забастовки охватили и провинциальные города: в середине ноября забастовали муниципальные работники Москвы, 3 декабря к ним присоединились рабочие муниципальных предприятий Петрограда. Все эти стачки преследовали одну цель: организованные по принципу всероссийской забастовки октября 1905 года, они должны были вынудить правительство отказаться от диктаторской власти. Именно эти мощные выступления убедили Каменева, Зиновьева, Рыкова и еще некоторых ленинских сподвижников, что их партия должна разделить власть с другими социалистическими партиями, иначе правительство не сможет функционировать.

Ленин, однако же, выстоял и в середине ноября перешел в контрнаступление. Большевики стали захватывать одно за другим общественные здания в Петрограде и под угрозой сурового наказания

принуждали служащих выйти на работу. Случай, о котором рассказала газета того времени, был далеко не единичный: 29 декабря большевиками захвачен департамент таможенных сборов. Во главе захватчиков находится таможенный чиновник Фаденев.

Накануне Рождественских праздников, после общего собрания служащих департамента, Фаденев отдал приказ приступить к работе с 28 декабря в полном составе, угрожая, что неявившиеся будут считаться уволенными со службы и против них будут возбуждены преследования.

28 декабря помещение было занято досмотрщиками.

Департаментские большевики выпускали только тех служащих, которые соглашались дать подписку о полном подчинении Совету народных комиссаров[61]. Вслед за этим было уволено руководство департамента таможенных сборов, их места заняли мелкие служащие. Подобные факты повторялись снова и снова: большевики в буквальном смысле завоевывали аппарат государственного управления, опираясь на поддержку мелких чиновников, которых привлекло обещание быстрого продвижения по службе. Забастовка служащих была подавлена только в январе 1918 года, когда с разгоном Учредительного собрания умерла последняя надежда на то, что большевики когда-либо поделят власть с другими партиями или откажутся от нее добровольно.

* * *

В течение первых трех недель после переворота Совнарком существовал исключительно на бумаге, поскольку у него не было ни штата, который приводил бы в исполнение его постановления, ни денег, чтобы платить своим служащим. Не имея возможности расположиться в министерствах, большевистские комиссары трудились в 67-й комнате Смольного, где помещался штаб Ленина. Постоянно находившийся в страхе за свою жизнь, Ленин приказал никого не допускать в его кабинет, кроме наркомов; сам он редко покидал Смольный, где жил под неусыпной охраной латышских стрелков[62]. [По данным проф. Джона Кипа, в первые восемнадцать недель пребывания у власти, то есть вплоть до марта 1918 г., когда он переехал в Москву, Ленин выходил из Смольного всего двадцать один раз: Report presented at the Conference on the Russian Revolution, Hebrew University. Jerusalem, 1988. January.]. Секретарем Совнаркома он назначил двадцатипятилетнего Н.П.Горбунова. Новый секретарь, не имевший навыков административной работы, конфисковал в свою пользу письменный стол и пишущую машинку и принялся выстукивать двумя пальцами тексты декретов[63]. В.Д.Бонч-Бруевич, преданный большевик и выученик раскольников, был назначен личным секретарем Ленина.

Оба секретаря начали набирать конторский персонал. К концу года в Совнаркоме было 48 конторских служащих, в следующие два месяца прибавилось еще 17. Судя по фотоснимку, сделанному в октябре 1918 года, большинство их составляли молодые женщины явно «буржуазного» происхождения.

Вплоть до 15 ноября 1917 года Совнарком не устраивал регулярных собраний: по сообщению Горбунова, было проведено лишь одно заседание 3 ноября, где единственным вопросом в повестке дня значилось сообщение В.П.Ногина о перестрелке в Москве. В течение этого времени все декреты и распоряжения выпускались большевистскими чиновниками и по их инициативе, часто даже без ведома Ленина. По словам Ларина, только два из пятнадцати первых декретов, изданных советским правительством, обсуждались на заседании Совнаркома: декрет о печати, написанный Луначарским, и декрет о выборах в Учредительное собрание, подготовленный им самим. Горбунов рассказывал, что Ленин уполномочил его телеграфировать распоряжения в провинцию по собственному усмотрению, показывая ему каждую десятую телеграмму[64].

Первое из регулярных заседаний Совнаркома состоялось 15 ноября, в повестке дня стояло двадцать вопросов. Было решено, что наркомы, по возможности оперативно, переедут из Смольного в свои комиссариаты, что и было проделано в следующие несколько недель (при помощи вооруженных отрядов). Начиная с этого дня Совнарком собирался практически ежедневно на третьем этаже Смольного, как правило, по вечерам; иногда заседания затягивались на всю ночь. Заседания не были строго закрытыми, и к ним привлекалось, если возникала такая необходимость, множество мелких служащих и технических экспертов. Наркомы, профессиональные революционеры с большим стажем, чувствовали себя неуютно. Симон Либерман, меньшевик и специалист по лесному хозяйству, время от времени посещавший заседания Совнаркома, так описывает их обстановку:

«Совещания высшего исполнительного органа советской России, на которых председательствовал Ленин, проходили в необычной атмосфере. Несмотря на все усилия назойливого секретаря придать каждой такой встрече торжественный характер заседания совета министров, невозможно было избавиться от ощущения, что присутствуешь на собрании подпольного революционного комитета! Долгие годы мы входили в разные подпольные организации, и все окружающее казалось таким знакомым. Многие комиссары оставались в пальто и шинелях: большинство было одето в уродливые кожаные куртки. Зимой некоторые носили валенки и толстые свитера. Во время совещаний никто не раздевался.

Один из комиссаров, Александр Цюрупа, почти всегда был болен. Он участвовал в совещаниях полулежа, протянув ноги на соседний стул. Некоторые из ленинских помощников предпочитали не садиться у стола заседаний, а устраивались на стульях, беспорядочно разбросанных по всей комнате. Только Ленин, как председатель собрания, неизменно занимал место за столом, делая это скромно и вполне пристойно. Фотиева, его личный секретарь, садилась позади него»[65].

Раздраженный многословием и неточностью своих коллег, Ленин выработал жесткие правила. Чтобы пресечь болтовню, он требовал строго придерживаться повестки дня. [Борьба классов. 1934. № 1. Джей Лавстоун, один из основателей компартии США, рассказывал автору, что как-то, говоря с Лениным, перебирал карточки 3х5 дюймов. Ленин попросил объяснить ему их назначение. Для экономии времени собеседника, пояснил Лавстоун, он заранее написал на карточках все, что хотел ему сообщить. Ленин ответил: в

России настанет коммунизм, когда она научится пользоваться карточками 3х5.]. А для обеспечения своевременной явки комиссаров учредил штрафы за опоздание: 5 рублей за опоздание до получаса, 10 — на полчаса и больше[66].

По свидетельству Либермана, на заседаниях Совнаркома, которые он посещал, ни разу не определялась политика, определялись только средства ее проведения: «Я никогда не слышал доводов по принципиальным вопросам; обсуждение постоянно крутилось вокруг поисков наилучших способов реализовать принятые решения. Что же касается принципиальных проблем, они рассматривались в другом месте — в Политбюро коммунистической партии <...> Два известных мне высших правительственных органа — Совет народных комиссаров и Совет труда и обороны — обсуждали лишь практические пути для осуществления директив, уже принятых внутрипартийной высшей инстанцией — Политбюро».

Чтобы избавить Совнарком от решения множества мелких вопросов, раздувавших повестку его заседаний, 18 декабря 1917 года был создан Малый Совнарком. Правительственные постановления приобретали силу закона после того, как их подписывал Ленин и обычно еще один из комиссаров, и публиковали официальные «Ведомости», первый выпуск которых появился 28 октября. С этого момента постановление становилось «декретом». Приказы, издаваемые комиссарами по их собственной инициативе, обычно назывались «постановлениями». На практике, однако, теория не всегда соблюдалась. В определенных случаях — зачастую тогда, когда закон мог вызвать негативное отношение населения, — Ленин предпочитал, чтобы

декрет был издан ЦИКом и подписан его председателем Свердловым: большевики таким образом перекладывали ответственность за него на Советы. Некоторые важные законы так никогда и не были опубликованы, — например о создании ЧК. Другие — скажем, о введении практики взятия заложников (сентябрь 1918 г.) — были подписаны наркомом внутренних дел, опубликованы в «Известиях», но так и не вошли в свод советских законов и декретов. Большевики очень быстро возродили практику царских времен, когда законодательство осуществлялось путем издания тайных циркуляров, никогда не публиковавшихся в тогдашней печати и в основном оставшихся неопубликованными и по сей день. Особенно часто, как и в старые времена, правительство прибегало к этой практике в вопросах, связанных с государственной безопасностью.

В первые месяцы большевистского правления декреты издавались не столько из практических соображений, сколько в целях пропаганды[67]. Не имея средств обеспечить их исполнение и не зная, как долго продержится новая власть, Ленин видел в них модели, по которым будущие поколения смогут учиться революции. В связи с этим ранние декреты, не предназначенные для исполнения, грешат нравоучительностью и небрежностью формулировок. Серьезное внимание Ленин стал уделять законотворчеству только через три месяца после прихода к власти: 30 января 1918 года он издал декрет, требующий, чтобы все законопроекты передавались для просмотра в комиссариат юстиции, в штате которого были профессиональные юристы[68]. Начиная с весны 1918 года законы становятся такими замысловатыми, что очевидно: их не только просматривали, но и готовили опытные старорежимные

бюрократы, в большом числе принятые к тому времени на советскую службу.

* * *

Напомним, что с целью смягчить критику в адрес Центрального Комитета Ленин и Троцкий согласились продолжать переговоры с левыми эсерами о включении их в правительство и сделать еще одну попытку договориться с меньшевиками и эсерами. Последнего они никогда не добивались серьезно: у Ленина не было ни малейшего желания править на равных со своими социалистическими противниками. Но привлечь левых эсеров ему действительно хотелось. Он знал им цену: плохо организованное сборище революционных «сорвиголов», упивающихся собственными речами, неспособных на организованное действие из-за веры в «стихийность» масс. Они были неопасны, а могли принести и пользу. Их присутствие в Совнаркоме позволяло отвергнуть обвинения в том, что большевики монополизировали власть, доказало бы, что любая партия, готовая «принять Октябрь» (то есть большевистский переворот), могла стать правящей наряду с большевистской. Кроме того, Ленин рассчитывал через левых эсеров войти в контакт с крестьянством, поскольку у большевиков связь с крестьянскими организациями не была налажена. Без представителей крестьян в государственных органах претензии Совнаркома на статус «правительства рабочих и крестьян» были нелепы, а потому связи левых эсеров с деревней представляли большой интерес. Ленин

возлагал надежды (как показали дальнейшие события, неосновательные) на то, что левые эсеры помогут ему расколоть крестьянство при выборах в Учредительное собрание и, может быть, дадут в нем коммунистам и их союзникам большинство.

Переговоры двух партий велись секретно. 18 ноября «Известия» объявили — преждевременно, как оказалось, — что с левыми эсерами достигнуто соглашение о вхождении их в Совнарком. После чего переговоры тянулись еще три недели, в продолжение которых между двумя партиями установились тесные рабочие взаимоотношения. Левые эсеры объединили усилия с большевиками и помогли им прикончить независимое крестьянское движение, в котором заправляли правые эсеры.

Съезд крестьянских депутатов, на котором были представлены четыре пятых населения России, отверг Октябрьский переворот. Он не дослал делегатов на Второй съезд Советов, а вместо этого присоединился к Комитету спасения Родины и Революции. Такое противостояние причиняло большевикам много неудобств; им нужно было во что бы то ни стало привлечь крестьянский съезд на свою сторону или, если бы это не удалось, заменить его другим, более сговорчивым органам. Стратегия большевиков, впоследствии воспроизведенная ими в отношении Учредительного собрания и других демократических антибольшевистских представительных органов, включала три этапа. Прежде всего они пытались добиться контроля над мандатной комиссией данного органа, поскольку именно она определяла состав присутствующих: это позволяло ввести в организацию больше пробольшевистских настроенных делегатов и

большевиков, чем это удалось бы при свободных выборах. Если собрание, укомплектованное их сторонниками, все же отклоняло большевистскую резолюцию, они срывали его громкими выкриками и призывами к насилию. Когда и это не приводило к желательным результатам, они объявляли собрание незаконным, покидали его и созывали новое, которое уже полностью контролировали.

Как показали проведенные во второй половине ноября выборы в Учредительное собрание, большевики не пользовались влиянием в сельских районах. У них не оставалось никакой надежды на Съезд крестьянских депутатов, намеченный на конец ноября, где эсеры наверняка провели бы резолюцию, осуждающую большевистскую диктатуру. Чтобы воспрепятствовать этому, большевики при поддержке левых эсеров постарались оказать давление на мандатную комиссию, требуя, чтобы число делегатов, обычно избираемых губернскими и уездными Советами, было увеличено за счет представителей воинских частей. Требование было неоправданным, поскольку военные уже имели представительство в Совете солдатских депутатов. Но эсеры из мандатной комиссии, желая умиротворить большевиков, согласились: в результате вместо подавляющего большинства на крестьянском съезде они вынуждены были довольствоваться лишь незначительным перевесом. Окончательный подсчет участников крестьянского съезда показал, что из 789 делегатов 489 были подлинно крестьянскими представителями, избранными сельскими Советами, а 294 — людьми в шинелях, отобранными большевиками и левыми эсерами в Петроградском и окрестных гарнизонах. По партийной принадлежности соотношение

было таково: 307 эсеров и 91 большевик; партийная принадлежность остальных делегатов не была объявлена, но, судя по результатам происходивших затем голосований, значительная часть их была левыми эсерами. [Дело народа. 1917. № 222. 2 (15) дек. С. 3. Протоколы съезда были опубликованы; самое полное описание происходившего там появилось в газете эсеров «Дело народа» 20 ноября — 13 декабря 1917 г. (На эти данные опирался автор.)].

Делая еще один шаг в сторону воссоединения, руководство эсеров согласилось предоставить председательское место на съезде Марии Спиридоновой, лидеру левых эсеров. Решение было необдуманное, поскольку Спиридонова, которую крестьянство боготворило за её террористические подвиги до революции, находилась под сильным влиянием большевиков.

Второй съезд крестьянских депутатов открылся 26 ноября в Петрограде, в Александровском зале Городской думы. Большевистские депутаты, при полной поддержке левых эсеров, с самого начала обратились к подрывной тактике: свистом, криками и улюлюканьем они затыкали рот ораторам других партий; иногда буквально врывались на трибуну. Не раз беспорядок вынуждал Спиридонову прерывать заседание.

Решающее заседание произошло 2 декабря. В тот день несколько эсеров с трибуны заявили протест против арестов и преследований делегатов Учредительного собрания, часть из которых являлась в то же время делегатами крестьянского съезда. Во время одного из таких выступлений в зал вошел Ленин. Эсер, указывая на него, прокричал большевикам: «Вы доведете Россию до

того, что место Николая займет Ленин. Нам не нужно никакой самодержавной власти. Нам нужна власть Советов!» Ленин попросил слова в качестве главы государства, но ему ответили, что, поскольку никто его не избирал, он может говорить только как лидер партии большевиков. В своем выступлении Ленин облил грязью Учредительное собрание и отклонил все обвинения в преследовании его депутатов большевиками. Он обещал тем не менее, что Собрание откроется, как только кворум из 400 делегатов соберется в Петрограде.

После ухода Ленина Чернов внес резолюцию, отвергавшую большевистский тезис о том, что признание власти Учредительного собрания равносильно отказу от власти Советов: «Съезд полагает, что Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как идейно-политические руководители масс, должны быть опорными боевыми пунктами революции, стоящими на страже завоеваний крестьян и рабочих, а Учредительное собрание должно в своем законодательном творчестве претворить в жизнь чаяния масс, выраженных Советов. Ввиду этого съезд протестует против попыток отдельных групп столкнуть между собою Советы и Учредительное собрание». [Дело народа. 1917. № 223. 3 (16) дек. С. 3. «Большевистские хроники» (Революция. Т. 6. С. 258) искажают смысл этой резолюции, утверждая, будто эсеры требовали взять власть у Советов и передать ее Учредительному собранию. На деле, они желали сотрудничества Советов и Собрания.].

Большевики и левые эсеры внесли контррезолюцию, которая призывала съезд одобрить большевистские действия в отношении кадетов и некоторых других делегатов Учредительного собрания на том основании,

что Собрание не пользовалось парламентским иммунитетом[69].

Резолюция Чернова прошла 360 голосами против 321. Тогда большевики убедили Спиридонову отвести результаты голосования: на следующий день она объявила, что голосованием не окончательно утверждена резолюция Чернова, а только принята «за основу». Прежде чем присутствующие успели осмыслить происходящее, появился Троцкий и потребовал слова, чтобы сообщить об успехах на мирных переговорах в Брест-Литовске. Однако он был освистан и удалился в сопровождении большевиков и левых эсеров.

На следующий день, 4 декабря, большевики и левые эсеры вновь были в Александровском зале и возобновили свою подрывную тактику. В результате начался такой бедлам, что ни одного оратора не было слышно, а левые эсеры и их сторонники спели «Марсельезу» и покинули собрание. Они возобновили дискуссии в Сельскохозяйственном музее на Фонтанке, в резиденции Центрального исполнительного комитета Съезда крестьянских депутатов. Начиная с этого момента «левое» и «правое» крыло съезда собирались раздельно: все попытки их воссоединить проваливались из-за отказа большевиков признать действительным голосование от 2 декабря по вопросу об Учредительном собрании. 6 декабря большевики и левые эсеры объявили свои заседания в Городской думе единственным законным глашатаем крестьянских Советов, хотя в действительности среди них представителей крестьянских Советов не было. Затем они лишили власти Центральный исполнительный комитет съезда крестьян, отобрали у него технический персонал и исполнительный аппарат и прекратили выплату суточных, которые

крестьянские депутаты получали от правительства. В итоге 8 декабря большевистская и левоэсеровская часть съезда присоединилась к работе ВЦИКа, находившегося под контролем большевиков.

Таким образом, большевикам удалось захватить инициативу на крестьянском съезде, — вначале введя в него депутатов, избранных ими, а не крестьянами, а затем объявив этих депутатов единственными законными представителями крестьянства. Добиться этого без активной поддержки левых эсеров они бы не смогли. В награду за эту услугу и в предвосхищении будущих услуг большевики пошли на крупные уступки левым эсерам, введя их в правительство на правах младшего партнера.

Соглашение между двумя партиями было достигнуто в ночь с 9 на 10 декабря, сразу же после разгона крестьянского съезда[70]. Условия этого соглашения никогда не публиковались, и приходится восстанавливать их, основываясь на последовавших затем событиях. Левые эсеры выставили несколько условий: отмена Декрета о печати, включение других социалистических партий в правительство, упразднение ЧК, безотлагательный созыв Учредительного собрания. По первому требованию большевики уступили, практически разрешив выход оппозиционных газет, но не отменяя Декрета о печати. И на второе требование Ленин отреагировал миролюбиво: он только поставил условием, чтобы остальные социалистические партии последовали примеру левых эсеров и признали Октябрьский переворот. Поскольку ни одна партия этого делать не собиралась, уступка ему ничего не стоила. Но что касалось ЧК, тут большевики не хотели компромисса: они не собирались ни упразднять ее, ни формально ограничивать ее полномочия, считая, что при угрозе

контрреволюции это была бы роскошь непозволительная. Однако левым эсерам было предложено ввести в ЧК своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии «неоправданного террора». Неохотно, но удовлетворили большевики требования левых эсеров созвать Учредительное собрание. Почти с уверенностью можно утверждать, что только под давлением левых эсеров большевики отказались от мысли аннулировать результаты выборов в Собрание и позволили ему открыться, хоть и на короткое время. Троцкий вспоминал, что Ленин заявил ему в те дни: «Надо, конечно, разогнать Учредительное собрание, но вот как насчет левых эсеров?»[71]

На основании достигнутых соглашений левые эсеры вошли в Совнарком, где им было выделено пять министерских должностей: земледелия, юстиции, почты и телеграфа, внутренних дел, местного самоуправления. Они также получили второстепенные должности в других государственных учреждениях, включая ЧК, где левый эсер Петр Александрович Дмитриевский (Александрович) стал заместителем Дзержинского. Левые эсеры нашли такое решение вопроса удовлетворительным: они симпатизировали большевикам, разделяли их цели, но считали их несколько «нетерпеливыми». Левый эсер В.А.Карелин выразился так: «В общем наша партия является регулятором, умеряющим излишний пыл большевиков»[72].

Совместными усилиями большевики и левые эсеры развалили Второй съезд крестьянских депутатов, и это означало конец независимых крестьянских организаций в России. В середине января 1918 года большевистско-левоэсеровский Исполнительный комитет

самозваного крестьянского съезда собрал Третий съезд крестьянских депутатов, который полностью находился под его контролем. Съезд был запланирован на то же время, когда собирался Третий съезд рабочих и солдатских депутатов: по этому случаю обе организации, до той поры самостоятельные, «слились» и Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов прибавил к своему названию еще и слово «крестьянских». Как пишет советский историк, событие это «завершило процесс создания единого верховного органа советской власти» и «таким образом был положен конец правоэсеровской политике проведения крестьянских съездов отдельно от съездов Советов рабочих и солдатских депутатов»[73]. Правильнее, однако, было бы сказать, что этот «брак поневоле» положил конец крестьянскому самоуправлению и завершил процесс отчуждения крестьянства от политических прав.

* * *

Чтобы полностью освободиться от контроля со стороны демократических сил, большевикам предстояло устранить еще одно препятствие — Учредительное собрание, которое, по словам И.З.Штейнберга, было им «как кость в горле»[74].

К началу декабря большевикам удалось: упразднить Всероссийский съезд Советов и сместить его Исполнительный комитет; лишить высший исполнительный орган Советов контроля над законодательством и назначениями на высшие

государственные должности; расколоть законный съезд крестьянских депутатов и заменить его организацией, состоявшей из отобранных большевиками солдат и матросов. Преуспеть в этой деятельности большевикам удалось потому, что за беззакониями, творимыми в стоявшем особняком Петрограде, население страны уследить не могло, тем более их понять. Но с Учредительным собранием дела обстояли иначе. Оно избиралось всем народом и являлось первым в русской истории подлинно представительным высшим органом власти. Попытка помешать его созыву или его разгон означали бы самый скандальный государственный переворот, прямой вызов всему населению России, лишение гражданских прав десятков миллионов человек. И все же, не разделавшись с ним, большевики не могли чувствовать себя в полной безопасности, поскольку законность их власти, опиравшейся на решения Второго съезда Советов, зависела от одобрения Учредительного собрания — одобрения, которого они, конечно же, от него не получили бы.

Обстоятельства усугублялись тем, что большевики некогда сами добивались Учредительного собрания. Исторически идея его созыва была связана с партией социалистов-революционеров, сделавшей ее центральным пунктом своей политической программы в расчете получить при поддержке крестьянства подавляющее большинство в Собрании и преобразовать с его помощью Россию в республику «трудящихся». Будь у них больше политического чутья, эсеры вынудили бы Временное правительство провести выборы как можно скорее. Но они медлили, как и другие партии, тем самым позволив большевикам присвоить себе репутацию главных защитников всероссийских свободных выборов.

С конца лета 1917 года большевики непрестанно обвиняли Временное правительство в намеренном оттягивании выборов и в расчете на то, что время охладит революционный пыл народа. Выдвигая лозунг «Вся власть Советам», они провозглашали, что только Советы могут гарантировать созыв Учредительного собрания. В сентябре — октябре 1917 года большевистская пропаганда не замолкая кричала о том, что только передача всей власти Советам может спасти Всероссийский парламент[75]. И уже готовя переворот, они все еще декларировали, что их основная задача — защитить Учредительное собрание от «буржуазии» и других «контрреволюционеров». Даже 27 октября «Правда» сообщала читателям: «Никаких колебаний не допустит новая революционная власть, которая одна, в условиях социальной гегемонии интересов широких народных масс, способна довести страну до Учредительного собрания»[76].

Ленин и его партия вынуждены были, таким образом, принять самое деятельное участие в выборах и в созыве Собрания, а в дальнейшем покориться его воле. Но поскольку можно было почти с полной уверенностью предсказать, что Собрание отстранит их от власти, положение казалось безвыходным. Большевики пошли на риск и выиграли: только триумфально воцарившись на обломках Учредительного собрания, они смогли почувствовать уверенность, что больше никогда им не придется оспаривать власть у демократических сил страны.

Нападая на Учредительное собрание, большевики находили оправдание своим действиям в теории социал-демократической партии. Программа РСДРП,

принятая в 1903 году, предусматривала созыв «законодательного собрания», избранного всем населением страны на основе «всеобщего, равного и прямого избирательного права», однако свободные выборы никогда не были самоцелью ни для большевиков, ни для меньшевиков. Задолго до революции они утверждали, что избирательная урна вовсе не обязательно лучше всего отражает «истинные» интересы народа. На II съезде партии основатель русской социал-демократии Г.В.Плеханов высказал несколько замечаний по этому поводу, и большевики не раз потом вспоминали их, издеваясь над меньшевиками: «Каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе, в своей отвлеченности, в а его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, гласящему, что «благо народа — высший закон». В переводе на язык революционера это значит, что успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права… Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент — своего рода chambre introuvable, то нам следовало бы стараться сделать его долгим парламентом, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через

два года, а если можно, то через две недели». [Второй съезд РСДРП: Протоколы. М., 1959. С. 181–182. Троцкий в 1903 г. высказывался сходным образом: «Все демократические принципы должны быть подчинены исключительно интересам партии» (см.: Vishniak M. Bolshevism and Democracy. N.Y., 1914. P. 67).]. Ленин вполне разделял это мнение и с видимым удовольствием ссылался на него в 1918 году[77].

Временное правительство назначило выборы на 12 ноября 1917 года, но не дожило двух недель до этого дня. Немного поколебавшись, большевики решили не менять дату и издали соответствующий декрет[78]. Но что было делать дальше? Большевики обдумывали план действий, но, не теряя времени, старались помешать предвыборным кампаниям других партий. Возможно, это и послужило основной причиной издания Декрета о печати и, одновременно, распоряжения Военно-революционного комитета, вводившего в Петрограде с 1 ноября военное положение (один из его параграфов запрещал уличные собрания)[79].

Голосование в Петрограде началось 12 ноября и проходило три дня. В Москве выборы состоялись 19–21 ноября, на остальной территории страны — во второй половине ноября. В соответствии с законом, разработанным еще Временным правительством, участвовать в выборах мог любой гражданин (без различения пола), достигший двадцатилетнего возраста. В голосовании приняло участие население всех территорий, входивших некогда в Российскую империю, за исключением оккупированных (Польши и западных и северо-западных пограничных губерний). Результаты голосования в Средней Азии не вошли в окончательную

сводку; такие же упущения имели место в некоторых отдаленных районах. Участие населения в выборах было достаточно массовым: в Петрограде и Москве проголосовали 70 % избирателей, в некоторых сельских районах — 100 %, причем крестьяне часто голосовали единогласно за один и тот же список, как правило, за социалистов-революционеров. Наиболее надежные источники указывают, что всего в выборах приняли участие 44,4 млн человек. Кое-где наблюдатели отмечали незначительные нарушения: солдаты местных гарнизонов, склоняясь на сторону большевиков в ожидании обещанного теми скорого мира, запугивали ораторов от других политических партий. Но в общем и целом выборы прошли благополучно, особенно если принять во внимание сложные условия того времени. Ленин, обычно не щедрый на похвалы, утверждал 1 декабря: «Если брать Учредительное собрание вне обстановки классовой борьбы, дошедшей до гражданской войны, то мы не знаем пока учреждения более совершенного для выявления воли народа»[80].

Голосование было чрезвычайно сложным, поскольку множество мелких партий выставляли своих кандидатов, зачастую в блоке с более крупными партиями: соотношения эти менялись от района к району, особенно усложняясь в пограничных областях, таких, как Украина, где наряду с русскими партиями выставляли своих кандидатов партии местных народностей.

Из всех социалистических партий большевики было единственной, не сформулировавшей предвыборной программы. Они явно рассчитывали привлечь голоса путем широкого воззвания к рабочим, солдатам и крестьянам, используя лозунг «Вся власть Советам» и обещание скорого мира и конфискации помещичьих

земель. Стремясь расширить классовый состав своих избирателей, они позаимствовали немарксистский эсеровский термин «трудящиеся массы». Оценивая результаты выборов, важно поэтому иметь в виду, что многое, а может быть, и большинство из тех кто голосовал за большевиков, выражали тем самым одобрение не большевистской платформе, о которой они ничего не знали, поскольку таковой не существовало, и, конечно же, не скрытой большевистской идее создания однопартийной диктатуры, о которой никогда не упоминалось вслух, а власти Советов, окончанию войны, упразднению частного землевладения и общинному переделу земель — ни одно из этих требований не являлось конечной целью большевиков.

Ленин некоторое время полагал вопреки очевидности, что левые эсеры смогут расколоть ПСР и обеспечат тем самым большевикам победу на выборах[81]. В определенной мере такую надежду поддерживала та видимость силы, которую левые эсеры продемонстрировали в ноябре на Петроградской партийной конференции[82]. Но в конце концов ожидания не оправдались: хотя большевики и смогли добиться серьезного успеха, особенно в крупных городах и воинских частях, они остались на втором месте, значительно отстав от социалистов-революционеров. Итог этот решил судьбу Учредительного собрания.

Не представляется возможным точно определить результаты выборов, поскольку партии и их ответвления в разных местностях выступали коалициями, иногда очень запутанными: только в Петрограде было представлено девятнадцать партий. Еще больше усложняет положение принятая советскими властями

практика подсчета голосов при обработке сырых данных: в общие категории типа «буржуазные» и «мелкобуржуазные» входят партии и группировки, выставлявшие отдельные списки. С оптимальным приближением окончательные итоги голосования могут быть представлены следующим образом (в тыс.)[83]:

Число голосов российских социалистических партий (68,9 %)

Социалисты-революционеры	17943 (40,4 %)
Большевики	10661 (24,0 %)
Меньшевики	1144 (2,6 %)
Левые эсеры	451 (1,0 %)
Прочие	401 (0,9 %)

Число голосов российских либеральных и прочих несоциалистических партий (7,5 %)

Конституционные демократы	2088 (4,7 %)
Прочие	1261 (2,8 %)

Число голосов партий национальных меньшинств (13,4 %)

Украинские эсеры	3433 (7,7 %)
Грузинские меньшевики	662 (1,5 %)
Мусават (Азербайджан)	616 (1,4 %)
Дашнакцутюн (Армения)	560 (1,3 %)
Алаш Орда (Казахстан)	262 (0,6 %)
Прочие	407 (0,9 %)
Неучтенных	4543 (10,2 %)

Результаты выборов не были полной неожиданностью, но Ленин остался недоволен. Крестьяне, которых он надеялся привлечь, принимая земельную программу эсеров, не только не проголосовали за большевиков, — они не проголосовали даже за левых эсеров. Одним из аргументов, с помощью которых большевики впоследствии оспаривали законность результатов выборов, было то, что раскол эсеровской партии произошел внезапно и левые эсеры не успели выставить отдельный список. Но существуют цифры, которые показывают безосновательность подобного довода. В нескольких избирательных округах (Воронежском, Вятском, Тобольском) ПЛСР и ПСР выступали по отдельным спискам, но даже там левые эсеры не получили значительного числа голосов: 1 839 000 голосов было подано за партию социалистов-революционеров и только 26000 — за левых эсеров[84]. Большевики получили в Учредительном собрании 175 мест из 715; вместе с эсеровскими депутатами, относившими себя к левым эсерам, у них оказалось 30 % мест. [Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание. Л., 1976. С. 338. Левые эсеры

получили сильную поддержку со стороны петроградских рабочих и революционных матросов Балтийского и Черноморского флотов.].

Беспокоил большевиков и явный успех оппозиционной партии кадетов, которой они особенно боялись. Хотя кадеты набрали менее 5 % голосов, большевики видели в них самых опасных противников: у них было наибольшее число активистов, наибольшее число газет, они были организованы и финансировались значительно лучше, чем эсеры; они, в отличие от социалистических партий, не чувствовали себя связанными с большевиками узами товарищества и преданности тем же общественным идеалам, страхом перед «контрреволюцией». Будучи единственной все еще действующей в России в конце 1917 года крупной несоциалистической партией, кадеты притягивали к себе весь политический спектр правее центра, включая монархистов. Анализируя общую картину выборов, можно прийти к заключению, что кадеты потерпели сокрушительное поражение. Но это только на первый взгляд[85]. За общими выкладками скрывался тот немаловажный политический факт, что кадеты добились громадного успеха в крупных городах, а именно в них желали упрочить положение большевики, чтобы компенсировать свою слабость в сельской России и превратить их в опорные пункты в надвигающейся гражданской войне. И в Петрограде, и в Москве кадеты прочно занимали следующее за большевиками место, собрав в первом случае 26,2 % голосов, во втором — 34,2 %. Если в Москве исключить из подсчета бюллетени местного гарнизона, который начинал разбегаться, на большевиков приходилось 45,3 % голосов, а на кадетов — 36,4 %[86]. Более того, кадеты обошли большевиков в

11 из 38 губернских городов, а во многих других прочно заняли следующее за ними место. Они, таким образом, представляли гораздо более серьезную политическую силу, чем это можно было предположить по сводным результатам подсчета голосов.

Но результаты голосования принесли не только огорчения, были в них и утешительные для большевиков факторы. Ленин, который анализировал цифры с беспристрастностью полководца, изучающего ход сражения, — он даже называл «армиями»[87] различные политические объединения, — мог с удовлетворением отметить, что его партия добилась отменных успехов в центральных районах страны: в больших городах, промышленных районах и военных гарнизонах[88]. Победившие на выборах эсеры получили поддержку в черноземной полосе России и в Сибири. Как сам он заметил впоследствии, эта география распределения избирателей предопределила направление основных фронтов в гражданской войне между белыми и красными[89], когда под контролем большевиков оказались центральные, а в руках их противников — окраинные части России.

Еще одним благоприятным для большевиков обстоятельством были поддержка матросов и солдат, особенно в городских гарнизонах. Войска хотели лишь одного: как можно скорее добраться до дома, чтобы принять участие в переделе земли. И поскольку из всех партий только большевики обещали немедленное открытие мирных переговоров, им и было отдано предпочтение. В Петроградском и Московском гарнизонах большевики получили, соответственно, 71,3 % и 74,3 % голосов. Расположенные к северо-западу от Петрограда

фронтовые части тоже склонялись на их сторону. На более отдаленных фронтах, где антивоенная пропаганда большевиков не находила такого сильного отклика, их популярность была ниже, но даже и в этом случае в четырех армиях, о которых у нас имеются сведения, они смогли получить 56 % голосов[90]. Ленин не тешил себя иллюзиями по поводу надежности этой поддержки: как только войска будут распущены по домам, ей придет конец. Но в данный момент поддержка армии была фактором решающим: пробольшевистские войска составляли силу, способную даже при малочисленном составе подавить демократическую оппозицию. Оценивая результаты выборов, Ленин с удовлетворением отметил, что в солдатах и матросах большевики обрели тот «политический «ударный кулак», который обеспечивал им подавляющий перевес сил в решающем пункте в решающей момент»[91].

Вопрос об Учредительном собрании Совнарком обсуждал 20 ноября. Было принято несколько важных решений[92]. Открытие Собрания было отложено на неопределенный срок. Причиной объявлялась невозможность собрать кворум к 28 ноября; на самом же деле большевики хотели выиграть время. Во все провинциальные Советы были разосланы инструкции немедленно сообщать о любых «нарушениях законности выборов», — эти сведения могли послужить поводом для «перевыборов»[94]. П.Е.Дыбенко, комиссар по морским делам, получил приказ стянуть в Петроград от 10 до 12 тыс. вооруженных матросов[95]. И, что особенно важно, решено было назначить открытие Третьего съезда Советов на 8 января: сформированный сторонниками большевиков и левыми эсерами, он мог при случае стать «заменителем» Учредительного собрания. Все

принимаемые меры свидетельствовали о том, что большевики были намерены покончить с Учредительным собранием тем или иным образом.

Правительственное сообщение об отсрочке созыва Учредительного собрания на неопределенный срок вызвало активные протесты со стороны социалистических партий и депутатов крестьянского съезда. 22–23 ноября был образован Союз защиты Учредительного собрания, в который вошли представители Петроградского Совета, профсоюзов, а также всех социалистических партий за исключением большевиков и левых эсеров[96].

Разворачивая наступление на Учредительное собрание, большевики свой первый удар направили на комиссию по выборам в собрание — «Всевыбор». По распоряжению Совнаркома Сталин и Г.И.Петровский приказали комиссии 23 ноября сдать всю ее документацию; комиссия отказалась, и ЧК арестовала ее сотрудников. М.С.Урицкий, впоследствии глава петроградской ЧК, был назначен председателем избирательной комиссии, что давало ему право самостоятельно определять ее состав[97].

В ответ на действия Совнаркома Союз защиты Учредительного собрания постановил, что заседания должны открыться в назначенный ранее день и несмотря на распоряжения большевиков[98]. 28 ноября члены избирательной комиссии, только что вышедшие из-под ареста, начали заседания в Таврическом дворце. Прибывший туда Урицкий заявил, что они могут вести заседания только в его присутствии, но на него не обратили внимания. Перед Таврическим дворцом стали собираться сторонники Учредительного собрания:

студенты, рабочие, солдаты, бастующие служащие — с плакатами «Вся власть Учредительному собранию». По оценкам одной из газет того времени (на наш взгляд, сильно завышенным), толпа в тот день разрослась до 200 000 человек (советские источники дают другую цифру: 10 000) [99]. По приказу Урицкого латышские стрелки, самый надежный и преданный большевикам военный отряд в Петрограде, окружили Таврический Дворец, но в события не вмешивались; некоторые из них сообщали демонстрантам, что прибыли для охраны Учредительного собрания. Тем временем во дворце 45 депутатов, в основном от Петрограда и близлежащих районов, избрали президиум.

На следующий день вооруженные войска сомкнулись вокруг Таврического дворца плотным кольцом: латышские стрелки получили подкрепление в виде Литовского резервного полка, отряда матросов и пулеметного расчета. Они удерживали толпу на некотором расстоянии, пропуская во дворец только депутатов и аккредитованных журналистов. Ближе к вечеру матросы приказали депутатам разойтись. На следующий день войска не пропустили в здание никого. События эти послужили как бы репетицией к настоящему общественному противостоянию, оформившемуся к 5 (18) января.

Продолжая наступление, большевики запретили партию кадетов. Уже в первый день выборов в Петрограде они отрядили вооруженные банды, чтобы разгромить редакцию кадетской газеты «Речь» (через две недели она стала выходить под названием «Наш век»). 28 ноября Ленин подписал декрет с типично пропагандистским названием «Об аресте вождей

гражданской войны против революции»[100], объявлявший кадетских лидеров «врагами народа» и содержавший приказ об их аресте. В ту ночь и на следующий день вооруженные большевистские отряды хватали всех известных им членов кадетской партии, до которых удалось добраться: среди арестованных оказалось несколько депутатов Учредительного собрания (А.И.Шингарев, П.Д.Долгоруков, Ф.Ф.Кокошкин, С.В.Панина, Ф.И.Родичев и др.). Шингарев и Кокошкин были убиты матросами в тюремной больнице, остальных освободили (Панину после короткого и смехотворного судебного фарса). Как «враги народа» кадеты не могли отныне заседать в Учредительном собрании. Это был первый случай, когда большевики поставили вне закона политическую партию. Ни меньшевики, ни эсеры не выказали по этому поводу особого огорчения.

* * *

Ни преследования инакомыслящих, ни пропагандистские нападки на политических противников не устранили основной проблемы, которая стояла перед большевиками и все назойливее требовала решения, — что делать с Учредительным собранием. Некоторые предлагали применить силу: за неделю до выборов член ЦК В.Володарский заявил, что «народные массы никогда не страдали парламентским кретинизмом, особенно в России», намекая на то, что Учредительное собрание следует разогнать[101]. Бухарин выдвинул лучшую, на его взгляд, идею. На заседании ЦК 29 ноября он предложил изгнать кадетов из Собрания, после чего большевистская

и левоэсеровская фракции объявят себя революционным конвентом: он ссылался при этом на французский Конвент 1792 года, заменивший собою законодательную Ассамблею. А «если открывают [свой орган власти] и другие, то мы арестуем их», — объяснил Бухарин. Сталин незамедлительно отверг этот план действий ввиду его практической неосуществимости[102].

Ленин предложил свое решение: позволить созыв Учредительного собрания, тем самым успокоить левых эсеров, а затем попробовать изменить его состав таким образом, чтобы добиться полной сговорчивости. Осуществить это следовало путем «отзыва» депутатов, «основного, принципиального положения истинного демократизма»[103]. По его замыслу, избирателей на местах надо было убедить отозвать избранных ими нежелательных депутатов и заменить их большевиками и левыми эсерами. Но процедура эта требовала долгого времени, и пока она стала бы выполняться, Учредительное собрание могло успеть провести какие угодно враждебные большевикам резолюции. Наконец Ленин решился и 12 декабря, сразу по достижении соглашения с левыми эсерами, набросал текст, в котором доводил свое решение до сведения общественности. «Правда» опубликовала этот текст на следующий день под названием «Тезисы об Учредительном собрании»[104]. В «Тезисах» Собранию выносился смертный приговор. Главные аргументы были таковы: произошедшие с 25–26 октября перемены в расстановке партийных сил, прежде всего раскол в ПСР, изменения в классовом составе и, наконец, зарождающаяся «контрреволюция» создали ситуацию, при которой результаты выборов перестали отражать реальные чаяния народа: «Ход событий и развитие классовой борьбы в революции привели к тому,

что лозунг «Вся власть Учредительному собранию»… стал на деле лозунгом кадетов и калединцев и их пособников. Для всего народа становится ясным, что этот лозунг фактически означает борьбу за устранение советской власти и что Учредительное собрание, если бы оно разошлось с советской властью, было бы неминуемо осуждено на политическую смерть… Всякая попытка, прямая или косвенная, рассматривать вопрос об Учредительном собрании с формальной юридической стороны, в рамках обычной буржуазной демократии, вне учета классовой борьбы и гражданской войны является изменой делу пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии».

Ни одно из этих утверждений не имело смысла. Выборы в Собрание проводились не до 26 октября, а в конце ноября — то есть всего 17 дней назад: за этот промежуток времени не произошло ничего, что могло бы войти в противоречие с мнением Ленина от 1 декабря о выборах как «совершенном» выявлении воли народа. Большинство в Собрании получили не кадеты и, уж конечно, не последователи казачьего генерала А.М.Каледина, желавшего, действительно, свергнуть власть большевиков с помощью оружия, а социалисты-революционеры. Толпами прибывавший на избирательные пункты «народ», от лица которого якобы выступал Ленин, ясно показал, что не считает Учредительное собрание антисоветским органом, возлагает на него большие ожидания и надежды. Что же до утверждения, будто Собрание разошлось с советской властью, то всего семь недель назад, добиваясь власти, сами большевики заявляли, что только советская власть может гарантировать созыв Учредительного собрания. Но Ленин и не собирался никого убеждать своими

аргументами: ключевую фразу он приберег напоследок, заявив в конце статьи, что поддержка Учредительного собрания становится равноценной государственной измене.

Далее Ленин писал, что Собрание сможет приступить к заседаниям только в том случае, если его депутатов можно будет «отзывать» — то есть если оно согласится, чтобы правительство меняло его состав по своему усмотрению, и если, кроме того, оно безоговорочно признает «советскую власть» (читай: диктатуру большевиков): «Вне этих условий кризис в связи с Учредительным собранием может быть разрешен только революционным путем, путем наиболее энергичных, быстрых, твердых и решительных мер со стороны советской власти… Всякая попытка связать руки советской власти в этой борьбе была бы пособничеством контрреволюции». Выставив эти условия, большевики позволили Собранию открыть заседания 5(18) января, если прибудет не менее 400 депутатов. Одновременно они распорядились собрать через три дня, 8 (21) января, Третий съезд Советов.

Затем большевики развернули шумную пропагандистскую кампанию, суть которой на заседании ЦИК 22 декабря пояснил Зиновьев: «Мы отлично знаем, что под предлогом созыва Учредительного собрания, под знаменитым лозунгом «Вся власть Учредительному собранию» кроется лелеемый лозунг «Долой Советы»»[105]. Большевики приняли этот тезис (чем придали ему формальный статус) на заседании ЦИКа 3 января[106].

Сторонники Учредительного собрания начали стягивать силы: они получили предупреждение. Однако,

готовясь выступить против большевистской угрозы, они стали жертвой печального, воистину гибельного просчета. Они видели, что большевики уничтожили демократию и потеряли тем самым моральное право на руководство страной, но сместить их хотели только под давлением общественного мнения, никак не силой, поскольку выгоду из междоусобной войны социалистических партий извлекла бы одна лишь «контрреволюция». В декабре в Петрограде уже было известно, что генералы на Дону формируют армии: задачей их, конечно же, было подавление революции, за чем должны были последовать аресты и самосуд над социалистами. Это было гораздо хуже, чем большевики — подлинные, хоть и заблудшие революционеры, слишком, может быть, импульсивные, слишком жестокие, слишком рвущиеся к власти, а все-таки «товарищи» по борьбе за общее дело. Нельзя было забыть и о поддержке, которой они пользовались у «народных масс». Демократические левые силы и тогда и потом не расставались с убеждением, что рано или поздно большевики придут к выводу о невозможности управлять Россией в одиночку. Как только это произойдет, они пригласят социалистов править вместе с ними, и Россия продолжит движение на пути к демократии: политическое созревание требует много времени, но оно неизбежно. Вследствие всех изложенных соображений оппозиция большевикам должна была ограничиться мирной агитацией и пропагандой. Вероятность того, что большевики и были настоящими контрреволюционерами, пришла в голову лишь немногим представителям левой интеллигенции, преимущественно старшего поколения. Социалисты-революционеры и меньшевики никогда не переставали относиться к большевикам как к заблудшим

товарищам по оружию и спокойно дожидались, когда те вернутся в родное лоно. Как только большевикам начинало угрожать что-либо извне, они немедленно кидались к ним на помощь.

Союз защиты Учредительного собрания начал пропагандистскую кампанию. Он издавал и распространял сотни тысяч экземпляров газет и брошюр[107], в которых разъяснялось, почему Собрание не было антисоветским и почему оно одно могло и имело право даровать стране конституцию. Он провел в столице и крупных провинциальных городах демонстрации под лозунгом «Вся власть Учредительному собранию». Он посылал агитаторов в казармы и на фабрики для сбора подписей солдат и рабочих (включая тех, кто голосовал за большевиков) под призывами к открытию Собрания. Организовывавшие все эти мероприятия эсеры и меньшевики, а также выступавшие совместно с ними бастующие служащие и профсоюзные активисты надеялись, что эти свидетельства массовой поддержки Учредительного собрания заставят большевиков отказаться от применения к нему силы.

Некоторые социалисты считали, что этих мер недостаточно: выходцы из эсеровского подполья, они полагали, что только методы, применявшиеся ими против царизма — террор и уличные бои, — способны восстановить демократию. Эту группу возглавил Федор Михайлович Онипко, эсеровский делегат от Ставрополя и член Военной комиссии Союза защиты Учредительного собрания. При помощи опытных конспираторов Онипко удалось проникнуть в Смольный и внедрить туда четырех своих людей в качестве чиновников и шоферов. Наблюдая за всеми передвижениями Ленина, они выяснили, что тот каждый день выскальзывает из

Смольного и идет навещать сестру. Тогда они устроили своего агента швейцаром в доме, где жила сестра Ленина. Онипко собирался убить сначала Ленина, а потом Троцкого; операция была назначена на Рождество. Но когда Онипко обратился в ЦК эсеровской партии за одобрением, тот категорически отказался санкционировать его действия: если эсеры убьют Ленина и Троцкого, рабочие устроят над ними самосуд и выиграют от этого только враги революции. Онипко было приказано немедленно расформировать его террористическую группу[108]. Он подчинился. Некоторые конспираторы, не связанные с партией эсеров (среди них Некрасов, ближайший сподвижник Керенского) предприняли 1 января неудачную попытку покушения на жизнь Ленина. Единственной жертвой этой акции стал швейцарский радикал Фриц Платтен, ехавший вместе с Лениным в машине, — он получил легкие раны[109]. После этого случая Ленин, выходя из Смольного, всегда брал с собой револьвер.

Онипко тем временем приступил к организации вооруженного сопротивления на случай, если большевики попытаются силой разогнать Учредительное собрание. В соответствии с планом, разработанным им совместно с Союзом защиты Учредительного собрания, необходимо было провести массовую вооруженную демонстрацию перед Таврическим дворцом 5 января, чтобы припугнуть пробольшевистские войсковые части и обеспечить спокойную работу Собрания. Удалось заручиться солидной поддержкой. В Преображенском, Семеновском и Измайловском гвардейских полках 10000 человек вызвались участвовать в вооруженной демонстрации и открыть огонь, если по ним начнут стрелять. Около 2000 рабочих Обуховского завода и

Государственного печатного двора готовы были к ним присоединиться.

Прежде чем привести задуманное к исполнению, Военная комиссия отправилась в ЦК партии эсеров за разрешением. Центральный комитет снова в нем отказал. Он обосновывал свою позицию множеством доводов, за которыми скрывался все тот же страх. Временное правительство никто защищать не стал, говорили в ЦК. Большевизм — это болезнь масс, на выздоровление требуется время. Теперь неуместны рискованные «авантюры»[110].

Центральный комитет вновь подтвердил свое решение провести 5 января мирную демонстрацию: солдат тоже приглашали прийти, но без оружия. Комитет рассчитывал, что большевики не посмеют открыть огонь по демонстрантам, не захотят спровоцировать еще одно Кровавое воскресенье. Когда Онипко и его помощники вернулись с этим известием в казармы, их подняли на смех: «Что вы, смеетесь над нами, товарищи? Вы приглашаете нас на демонстрацию, но велите не брать с собой оружия. А большевики? Разве они малые дети? Ведь будут, небось, непременно стрелять в безоружных людей. Что же мы, разинув рты, должны будем им подставлять наши головы, или же прикажете нам улепетывать тогда, как зайцам?»[111] Солдаты отказались идти безоружными против большевистских ружей и пулеметов и остались 5 января в казармах.

Большевики, прослышав об этих переговорах, предпочли не испытывать судьбу и готовились к решающему дню, как к сражению. Руководил подготовкой сам Ленин.

Первой его задачей было переманить на свою сторону или хотя бы нейтрализовать военный гарнизон. Отправленные в казармы большевистские агитаторы не отваживались открыто нападать на Учредительное собрание из-за его широкой популярности; вместо этого они повели речь о том, что «контрреволюционеры» пытаются взять верх в Учредительном собрании и использовать его для разгона Советов. С помощью этого довода они убедили Финский пехотный полк принять резолюцию, отвергавшую лозунг «Вся власть Учредительному собранию» и гарантировавшую Собранию поддержку только в том случае, если оно будет тесно сотрудничать с Советами. Сходные резолюции приняли Волынский и Литовской полки[112]. Но этим дело и ограничилось. Ни одно из воинских соединений не согласилось осудить Учредительное собрание как «контрреволюционное». Большевикам поэтому приходилось опираться на срочно организованные отряды красногвардейцев и матросов. Но Ленин не доверился русским и дал распоряжение вызвать латышских стрелков: «Мужик может колебнуться в случае чего, — говорил Ленин. — Тут нужна пролетарская решимость»[113]. Это стало началом активного участия латышских стрелков в революции на стороне большевиков.

4 января Ленин приказал Н.И.Подвойскому, бывшему председателю большевистской Военной организации, осуществившей Октябрьский переворот в Петрограде, сформировать Чрезвычайную военную комиссию[114]. Подвойский в очередной раз ввел в Петрограде военное положение и запретил массовые собрания. Прокламации с его приказом были расклеены по всему городу. 5 января Урицкий сообщил через

«Правду», что любые митинги в окрестностях Таврического дворца будут разгоняться, по необходимости — с применением оружия.

Большевики разослали агитаторов на промышленные предприятия. Там их встретили враждебность и недоумение. На самых крупных предприятиях — таких, как Путиловский, Обуховский и Балтийский заводы, Невская судоверфь и мануфактура Лесснера, — рабочие подписали петицию Союза защиты Учредительного собрания и не могли взять в толк, почему большевики, которым многие из них сочувствовали, неожиданно выступили против его созыва. [Игнатов Е. Пролетарская революция. 1928. № 5 (76). С. 37. Автор утверждает, что подписи рабочих были подделаны, но доказательств не приводит.].

Решающий день близился, и большевистская пресса поддерживала напряжение постоянными угрозами и предупреждениями населению. 3 января она сообщила, что 5 января рабочим следует не покидать заводов, а солдатам — оставаться в казармах. В тот же день Урицкий объявил, что Петрограду угрожает контрреволюционный переворот, возглавляемый Керенским и Савинковым, специально ради этого случая вернувшимися в город. [Керенский действительно находился в тот момент в Петрограде, но нет никаких сведений о намерении с его стороны собрать антибольшевистские силы.]. «Правда» вышла с аншлагом: «Сегодня гиены капитала и их наемники хотят вырвать власть из рук Советов»[115].

* * *

В пятницу 5 января Петроград и особенно местность вокруг Таврического дворца напоминали военный лагерь. Эсер М.В.Вишняк, находившийся у Таврического с группой депутатов, так описывает виденное: «В начале двенадцатого выступили. Идут растянутой колонной, человек в двести, посреди улицы. С членами Учредительного собрания небольшое число журналистов, знакомых, жен, запасшихся входными билетами в Таврический. До дворца не больше версты. И чем ближе к нему, тем реже прохожие, тем чаще — солдаты, красноармейцы, матросы. Они вооружены до зубов: за спиной винтовка; на груди и по бокам ручные бомбы, гранаты, револьверы и патроны, патроны без конца, всюду, где только можно их прицепить или всунуть. На тротуарах одинокие прохожие при встрече с необычайной процессией останавливаются, изредка приветствуют восклицаниями, а чаще, сочувственно проводив глазами, спешат пройти дальше. Вооруженные подходят, справляются, кто и куда идут, и возвращаются на свои стоянки и бивуаки, под ворота и во дворы…

Перед фасадом Таврического вся площадка установлена пушками, пулеметами, походными кухнями. Беспорядочно свалены в кучу пулеметные ленты. Все ворота заперты. Только крайняя калитка слева приотворена, и в нее пропускают по билетам. Вооруженная стража пристально вглядывается в лицо прежде, чем пропустить; оглядывает сзади, прощупывает спину, после того, как пропустит…

Пропускают в левую дверь. Снова контроль, внутренний. Проверяют люди уже не в шинелях, а во

френчах и гимнастерках. Через вестибюль и Екатерининский зал направляют в залу заседаний. Повсюду вооруженные люди. Больше всего матросов и латышей. Вооружены, как на улице, с винтовками, гранатами, патронными сумками, револьверами. Количество вооруженных и само оружие, звуки его бряцания, производит впечатление лагеря, готовящегося не то к обороне, не то к нападению»[116].

Делегация большевиков, возглавляемая Лениным, прибыла в Таврический к часу дня. Ленин хотел быть на месте, чтобы принимать быстрые решения, если ситуация того потребует. Находясь в ложе, которая в годы думской работы считалась «правительственной», он в продолжение последующих девяти часов руководил действиями большевиков. По воспоминаниям Бонч-Бруевича, Ленин «волновался и был мертвенно бледен, так бледен, как никогда. От этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще большей, глаза расширились и горели стальным огнем… Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу от края и до края ее»[117]. Момент был переломный, решалась судьба большевистской диктатуры.

Сессия Учредительного собрания должна была открыться в полдень, но Ленин через Урицкого запретил начинать заседание, пока не станет точно известно, что творится на петроградских улицах, где, вопреки распоряжению большевиков, все утро проходили массовые демонстрации. Хотя организаторы шествия подчеркивали его мирный характер и призывали избегать любых столкновений[118], у Ленина не было уверенности, что его силы не дрогнут при виде выступивших масс.

По-видимому, у него имелся запасной план на случай, если демонстранты одержат над его силами верх: эсер Н.Д.Соколов утверждал, что, если бы это произошло, Ленин пошел бы на примирение с депутатами[119].

Союз защиты Учредительного собрания призвал демонстрантов собраться к десяти часам утра в девяти установленных местах и оттуда продвигаться к месту общего сбора на Марсовом поле. В полдень они должны были выступить под лозунгом «Вся власть Учредительному собранию» и пройти по Пантелеймоновской к Литейному проспекту, затем повернуть направо и по Кирочной и Потемкинской направиться к Шпалерной перед Таврическим дворцом. Пройдя мимо здания дворца, они должны были свернуть на Таврическую и уже на Невском разойтись.

Число собравшихся в то утро по всему городу было велико (некоторые насчитывали до 50 000 участников демонстрации), но в целом процессия оказалась не такой внушительной, как предполагали ее организаторы: солдаты остались в казармах, на улицы вышло гораздо меньше рабочих, чем ожидалось; толпу образовали в основном студенты, государственные служащие и представители свободных профессий. Настроение было подавленное: большевистские угрозы и наглядная демонстрация военной силы произвели должное впечатление[120].

Организаторы демонстрации широко оповещали население о предполагаемом маршруте, и Подвойский, зная, где она пройдет, выставил на ее пути заслоны из своих людей. Передовые его отряды с заряженными ружьями и пулеметами заняли улицы и крыши зданий на пересечении Пантелеймоновской и Литейного проспекта.

Когда шествие приблизилось к Литейному, раздались крики: «Да здравствует Учредительное собрание!» — и в этот момент солдаты открыли огонь. Несколько человек упали, остальные бросились искать укрытия. Вскоре, однако, они перестроились и продолжили движение. Поскольку Кирочная оказалась перекрыта войсками, демонстрация двинулась дальше по Литейному, откуда пулеметный огонь заставил ее свернуть на Шпалерную. Здесь процессия рассыпалась в беспорядке. Большевистские солдаты преследовали демонстрантов, вырывали у них из рук лозунги, которые тут же драли на части и швыряли в костры. Другая процессия и в другой части города, состоявшая преимущественно из рабочих, также натолкнулась на пулеметный огонь. Та же судьба постигла несколько мелких демонстраций[121].

Русская армия не стреляла в безоружных демонстрантов с того рокового дня в феврале 1917 года, когда ей был отдан приказ разогнать марш протеста против запрета публичных собраний: тогда насилие породило волнения и мятежи, ознаменовавшие начало революции. До этого был 1905 год и Кровавое воскресенье. Учитывая этот опыт, организаторы демонстрации рассчитывали, что случившиеся убийства зажгут пламя народного гнева. Жертвы (под одним источникам — восемь, по другим — двадцать один человек)[122] были торжественно похоронены 9 января, в годовщину Кровавого воскресенья, на Преображенском кладбище, рядом с жертвами 1905 года. Рабочие делегации несли венки, на одном из них была надпись: «Жертвам произвола самодержцев из Смольного»[123]. Максим Горький отреагировал на события в гневной передовице, сравнивая произошедшее с Кровавым воскресеньем. [Новая жизнь. 1918. 9 (22) янв. № 6 (220).

Опасаясь ответного удара, большевики приказали провести расследование по факту открытия стрельбы. Выяснилось, что солдаты Литовского полка стреляли по демонстрантам в уверенности, что защищают Учредительное собрание от «саботажников». Следственная комиссия прекратила работу в конце января; результаты опубликованы не были.].

Как только поступили известия, что демонстранты разогнаны, а улицы контролируются большевиками (это произошло около четырех часов дня), Ленин приказал начинать заседание. Присутствовали 463 депутата — немногим более половины избранного состава — из них 259 социалистов-революционеров, 136 большевиков и 40 левых эсеров. [Знаменский. Учредительное собрание. С. 339. Точное число присутствовавших депутатов неизвестно, возможно, их было только 410]. С самого начала заседания депутаты-большевики и вооруженная охрана принялись кричать и улюлюкать, издеваясь над небольшевистскими ораторами. Вооруженные толпы, заполнявшие коридоры и балкон, не нужно было специально подстрекать к буйству, поскольку они беспрерывно угощались водкой, которую щедро отпускали в буфете. Официальный протокол заседания открывается следующей сценой:

«Один из членов Учредительного собрания (фракции с.-р.) с места:

— Товарищи, теперь 4 часа, предлагаем старейшему из членов открыть заседание Учредительного собрания. *(Шум сильный слева; рукоплескания в центре и справа, свист слева… неслышно… продолжается сильный шум и свист слева и рукоплескания центра. На кафедру*

подымается старейший из членов Учредительного собрания — Михайлов.)

Михайлов. *(Звонит. Шум слева. Голоса: Долой, самозванец! Продолжительный шум и свист слева; рукоплескания справа.)* Объявляю перерыв»[124].

Стратегия большевиков была проста. Они собирались выдвинуть программный документ и в нем потребовать, чтобы Учредительное собрание отказалось от законодательной власти. Поскольку документ, конечно же, принят не будет, они покинут Собрание и, не распуская его формально, сделают его работу практически невозможной. Следуя этому плану, Раскольников, большевик из Кронштадта, сразу же выдвинул резолюцию. Она называлась «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемых масс», но, в отличие от своего французского прообраза 1789 года, больше говорила об обязанностях, нежели о правах: именно в ней большевики впервые ввели понятие всеобщей трудовой повинности. Россия провозглашалась «республикой Советов». Заново подтверждалась необходимость целого ряда мер, уже принятых Совнаркомом: декрета о земле, рабочего контроля на предприятиях, национализации банков. Главный пункт резолюции предлагал Собранию отказаться от его законодательной власти — от той функции, ради исполнения которой оно и было избрано: «Учредительное собрание признает, что его задачи исчерпываются общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества». Собранию предлагалось ратифицировать все ранее принятые Совнаркомом декреты и на этом разойтись[125].

Резолюция Раскольникова была забаллотирована 237 голосами против 136: результаты голосования показывают, что все большевики, и только они, проголосовали «за»; левые эсеры, видимо, воздержались. Тут большевистская фракция заявила, что Учредительное собрание находится в руках «контрреволюционеров», и удалилась. Левые эсеры предпочли остаться.

Ленин оставался в своей ложе до десяти часов вечера. Выступать он не решился, поскольку это могло быть воспринято как признание законности Собрания. ЦК большевиков собрался в другой части дворца и принял резолюцию о роспуске Учредительного собрания. Проявляя лояльность к левым эсерам, Ленин проинструктировал охрану, не применять насилия, любого депутата беспрепятственно выпускать из здания, но никого не впускать обратно[126]. В два часа ночи, довольный, что ситуация находится под контролем, он вернулся в Смольный.

После ухода большевиков зал заседаний огласился речами, часто прерываемыми охраной, которая спустилась с балкона и расселась на освобожденные большевиками места. Многие были пьяны. Некоторые солдаты развлекались тем, что направляли оружие на ораторов. В половине третьего ночи удалились левые эсеры, и комиссар П.Е.Дыбенко, отвечавший за безопасность, приказал командиру охраны, матросу-анархисту Анатолию Железнякову, закрыть заседание. В четыре часа утра, когда председатель Собрания Виктор Чернов провозглашал отмену собственности на землю, Железняков поднялся на трибуну и тронул его за плечо. [Железняков был одним из предводителей группы анархистов, которая годом

раньше захватила усадьбу П.Н.Дурново; последующий его арест послужил причиной восстания кронштадтских моряков в июне 1917 г. (Революция. Т. 3. С. 108)]. Последовавший затем диалог отражен в протоколах заседания:

«Гражданин матрос. Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал. *{Голоса:* Нам не нужно караула.)

Председатель. Какую инструкцию? От кого?

Гражданин матрос. Я являюсь начальником охраны Таврического дворца, имею инструкцию от комиссара.

Председатель. Все члены Учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость не может прервать оглашения земельного закона, которого ждет Россия. (*Страшный шум. Крики:* Довольно, довольно!) Учредительное собрание может разойтись лишь в том случае, если будет употреблена сила! *(Шум.)* Вы заявляете это. *(Голоса:* Долой Чернова!)

Начальник охраны <…> (Не слышно.) Я прошу покинуть зал заседания».

Пока шел этот спор, зал заполнялся красногвардейцами угрожающего вида. Чернов оттянул закрытие собрания еще на двадцать минут, а затем распустил его до пяти часов вечера 6 января. Но собрание так и не возобновилось, поскольку утром Свердлов и ЦИК приняли и опубликовали ленинскую резолюцию о его роспуске[127]. «Правда» в тот день печатала: «Прислужники банкиров, капиталистов и помещиков, союзники Каледина, Дутова, холопы Американского доллара, убийцы из-за угла правые эсеры

требуют в учр. собрании всей власти себе и своим хозяевам — врагам народа.

На словах будто бы присоединяясь к народным требованиям: земли, мира и контроля, на деле пытаются захлестнуть петлю на шее социалистической власти и революции.

Но рабочие, крестьяне и солдаты не попадутся на приманку лживых слов злейших врагов социализма, во имя социалистической революции и социалистической советской республики они сметут всех ее явных и скрытых убийц»[128].

Большевики и раньше объединяли демократические силы страны с «капиталистами», «помещиками» и «контрреволюционерами», но в приведенном заголовке они впервые связали их с иностранным капиталом.

8 января большевики открыли собственное «законодательное собрание» — Третий съезд Советов. Здесь им никто уже не пытался возразить, поскольку они оставили за собой и за левыми эсерами 94 % мест[129] — в три раза больше, чем им полагалось, если судить по результатам выборов в Учредительное собрание. Крошечное число мандатов они оставили социалистической оппозиции — чтобы иметь мишень для издевательств и оскорблений. Съезд исправно утвердил все представленные Совнаркомом резолюции, включая «Декларацию прав». Он объявил Россию Федерацией Советских Республик, или Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, как она и называлась вплоть до 1924 года, когда государство было переименовано в Союз Советских Социалистических Республик. Съезд признал Совнарком законным правительством страны, убрав из его названия слово

«временное». Одобрил он и принцип всеобщей трудовой повинности.

* * *

Роспуск Учредительного собрания был встречен населением с поразительным безразличием: не было и тени того возмущения, которое вызвали во Франции 1789 года слухи о том, что Людовик XVI намерен распустить Национальную Ассамблею, и которое привело к штурму Бастилии. Год беспредельной анархии вымотал Россию: все жаждали мира и порядка любой ценой. Большевики поставили именно на это безразличие — и выиграли. После 5 января уже никто в России не заблуждался относительно того, можно или нет уговорить ленинскую партию отказаться от власти. А поскольку в центральной России не сформировалось эффективной вооруженной оппозиции и поскольку социалистическая интеллигенция отказывалась прибегать к силе, здравый смысл убеждал население, что большевистская диктатура установилась надолго.

Первым результатом описанных событий стало прекращение забастовки служащих министерств и частных предприятий: после 5 января они стали постепенно возвращаться на свои рабочие места — одни из нужды, другие в убеждении, что будут более способны влиять на события изнутри. В умонастроениях оппозиции произошел фатальный слом: создавалось впечатление, что пережитые жестокости и равнодушие народа узаконили большевистский диктат. Массы почуяли, что после целого года хаоса они получили наконец «настоящую» власть. И это утверждение справедливо не только в отношении рабочих и крестьянства, но,

парадоксальным образом, и в отношении состоятельных и консервативных слоев общества — пресловутых «гиен капитала» и «врагов народа», презиравших и социалистическую интеллигенцию, и уличную толпу даже гораздо больше, чем большевиков. [В мае 1918 г. В.М.Пуришкевич, один из самых реакционных политиков царской России и убежденный антисемит, опубликовал «открытое письмо», в котором заявлял, что после шести месяцев, проведенных в советской тюрьме, он остается монархистом и не может простить советской власти превращения России в немецкую колонию. Однако, продолжал Пуришкевич, «советская власть — это твердая власть, — увы, не с того лишь боку, с которого я хотел видеть твердую власть над Россией, жалкая и трусливая интеллигенция коей является одною из главных виновниц нашего позора и неспособности русского общества выдвинуть здоровую, государственного размаха, твердую правительственную власть» (Вечерние огни. 1918. 3 мая. № 36. С. 4)]. В некотором смысле можно утверждать, что большевики пришли к власти в России не в октябре 1917 года, а в январе 1918-го. По словам одного из современников, «большевизм подлинный, настоящий, большевизм широких масс пришел только после 5 января»[130].

И в самом деле, разгон Учредительного собрания во многих отношениях определил судьбу России больше, чем Октябрьский переворот, совершавшийся под прикрытием лозунга «Вся власть Советам». Если задачи Октября были практически скрыты от всех, даже от рядовых членов партии, 5 января относительно намерений большевиков не осталось уже никаких сомнений, настолько ясно они продемонстрировали, что не собираются считаться с народным мнением.

Большевикам не нужно было прислушиваться к голосу «народа», поскольку они сами являлись в буквальном смысле этого слова «народом». [Эту убежденность большевиков сформулировал Мартов весною 1918 г. Сталин, обвинив Мартова в клевете, организовал против него процесс в Революционном трибунале. Отмечая, что подобные трибуналы предназначены для рассмотрения исключительно «преступлений против народа», Мартов спрашивал: «Каким образом обида, нанесенная Сталину, может считаться преступлением против народа?» И сам же отвечал: «Только в том случае, если считать, что Сталин и есть народ» (Народ — это я //Вперед. 1918. 1 (14)апр. С. 1)]. Как заявил Ленин, «разгон Учредительного собрания советской властью есть полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя революционной диктатуры»[131].

Реакция всего населения вообще и интеллигенции в частности на эти исторические события явилась плохим предзнаменованием для будущего страны на многие годы. России, что подтвердилось в очередной раз и в этом случае, не хватало чувства национальной общности, способного побудить людей на отказ от сиюминутных и личных интересов во имя утверждения общества как такового. «Народные массы» доказали, что им близки только частные и местные интересы, пьянящий раздел добычи; эти интересы Советы и фабзавкомы на некоторое время удовлетворили. В полном соответствии с русской пословицей «Кто палку взял — тот и капрал» массы отдали власть самому наглому и безжалостному претенденту.

Существует немало свидетельств того, что промышленные рабочие Петрограда, даже голосуя за большевистский список, думали, что Учредительное

собрание приступит к работе и создаст новую политическую и социальную систему для страны. Это подтверждают их подписи под разнообразными петициями Союза защиты Учредительного собрания, недовольство «Правды» по поводу поддержки его рабочими[132], исступленные призывы вперемежку с угрозами, адресованные им большевиками в день созыва Собрания. И все же, столкнувшись с непоколебимым намерением разогнать это Собрание, подкрепленным готовностью открыть огонь, рабочие сдались. Не потому ли это случилось, что предавшая их интеллигенция призывала не оказывать сопротивления? Если это так, то роль интеллигенции в революционном свержении царизма становится поистине выдающейся: ведь без ее понуканий русский рабочий никогда не выступил бы против правительства.

Что же касается крестьян, то происходившее в больших городах их не занимало вовсе. Агитаторы-эсеры велели им голосовать — они и голосовали; что им за дело, если одна компания бездельников сменит у власти другую? Интересы крестьян не выходили за пределы их собственной волости.

Что же до социалистической интеллигенции, которая, одержав крупную победу на выборах, могла начать действовать, чувствуя поддержку всей страны, — ее обрек на поражение отказ от применения силы при любых обстоятельствах. Троцкий позже издевался над интеллигентами-социалистами, утверждая, что они пришли в Таврический дворец со свечами — на случай, если большевики отключат свет, и с бутербродами — на случай, если их лишат продовольствия[133]. Но оружия они с собой не взяли. Накануне открытия Учредительного

собрания эсер Питирим Сорокин (впоследствии профессор социологии Гарвардского университета), допуская возможность разгона его силой, предсказывал: «Если первое заседание будет «с пулеметами», — обратимся об этом с воззванием к стране и отдадим себя под защиту всего народа»[134]. Но даже и на это у них не хватило духу. Когда, уже после разгона Учредительного собрания, к депутатам-социалистам обратились солдаты с предложением восстановить его в правах при помощи оружия, перепуганные интеллигенты умоляли их не делать этого: И.Г.Церетели заявил, что уж лучше Учредительному собранию тихо скончаться, чем начаться гражданской войне[135]. Кто бы пошел за такими людьми? Они без конца рассуждали о революции и демократии, но ничем, кроме слов, защищать свои идеалы не стали бы. Эту противоречивость, эту инертность под видом подчинения силам истории, это нежелание бороться и побеждать объяснить не так просто. Возможно, отгадку следует искать в области психологии — в традиционных свойствах старой русской интеллигенции, так хорошо обрисованных Чеховым, в ее боязни успеха и вере в то, что бездеятельность — «высшая добродетель, а поражение окружено ореолом святости»[136].

Капитуляция 5 января стала началом заката социалистической интеллигенции. «Неумение защитить Учредительное собрание знаменовало собой глубочайший кризис русской демократии, — писал человек, пытавшийся организовать вооруженное сопротивление и потерпевший неудачу. — Это был поворотный пункт. После 5 января для прежней идеалистически настроенной российской интеллигенции

не стало места в истории, в русской истории. Ей принадлежало прошлое»[137].

Большевики, в отличие от своих противников, извлекли из этих событий важный урок. Они поняли, что, пока они держат власть, им не следует опасаться организованного вооруженного сопротивления: их противники, пользовавшиеся поддержкой по меньшей мере трех четвертей населения страны, были разобщены, не имели руководства, а главное — не желали воевать. Опыт этот научил большевиков немедленно прибегать к силе всякий раз, когда они встречали сопротивление, и «решать» проблемы, физически уничтожая тех, кто их создавал. Оружие стало главным средством политического убеждения. Беспредельная жестокость, с какой они управляли Россией, в большой степени объясняется уверенностью в полной безнаказанности, которую они обрели 5 января.

А прибегать к жестокостям им приходилось все чаще и чаще, ибо спустя лишь несколько месяцев после того, как большевики пришли к власти, прежние сторонники стали отворачиваться от них. Если бы они делали ставку на поддержку народа, их ожидала бы судьба Временного правительства. Промышленные рабочие, которые осенью, вместе с солдатами Петроградского гарнизона, были их надежным оплотом, очень скоро стали испытывать разочарование. Перемена эта объяснялась рядом причин, но главной из них оставалось ухудшение ситуации с продовольствием. Полностью запретив частную торговлю зерном и хлебом, правительство платило при этом крестьянину такие смехотворно низкие цены, что он либо утаивал и копил зерно, либо сбывал его на черном рынке. У правительства хватало продовольствия только на то,

чтобы обеспечить городское население абсолютным минимумом: зимой 1917/1918 годов хлебный пакет в Петрограде составлял от 120 до 180 граммов в день. В то же время на черном рынке фунт хлеба стоил 3–5 рублей, что было не по карману простому человеку. Кроме того, началась массовая безработица в промышленности, вызванная главным образом недостатком топлива: в мае 1918 года лишь 12–13 % петроградских рабочих сохранили свои рабочие места[138].

Спасаясь от голода и холода, горожане тысячами уезжали в деревню, где у них обычно оставалась какая-нибудь родня и где было меньше проблем с продовольствием и отоплением. В результате к апрелю 1918 года численность рабочих в Петрограде снизилась на 57 % по сравнению с тем, что было накануне февральской революции[139]. Те же, кто оставался, страдая от голода, холода и отсутствия средств к существованию, бурлили от недовольства. Им не нравилась экономическая политика большевиков, которая привела к такому положению, они возмущались разгоном Учредительного собрания, подписанием унизительного договора с Четверным союзом (это произошло в марте 1918 года), бесцеремонностью большевистских комиссаров и безобразной коррупцией чиновников на всех уровнях, кроме, может быть, самого высшего.

Таким образом, события принимали для большевиков угрожающий оборот, тем более, что от армии, на которую они полагались прежде, с наступлением весны почти ничего не осталось. Те солдаты, что не разошлись по домам, собирались в мародерские банды, терроризировали население, а порой нападали и на представителей советской власти.

Все больше разочаровываясь в новой власти, чувствуя, что руководимые большевиками структуры не могут их защитить, петроградские рабочие попытались создать новую организацию, независимую от большевиков и тех органов, которые находились под их контролем, — Советов, профсоюзов, фабричных комитетов. 5(18) января 1918 года — в день открытия Учредительного собрания — «полномочные представители» петроградских заводов и фабрик встретились, чтобы обсудить создавшееся положение. Некоторые из выступавших говорили о «перемене» в настроениях рабочих[140]. В феврале эти «уполномоченные» собирались уже регулярно. По существующим неполным данным, одна такая встреча прошла в марте, четыре — в апреле, три — в мае и три — в июне. На мартовской встрече, протоколы которой сохранились[141], присутствовали представители 56 предприятий. Здесь в полный голос звучали антибольшевистские выступления. Собравшиеся осудили правительство, которое, взяв власть от имени рабочих и крестьян, правит самодержавно и отказывается проводить новые выборы в Советы. Они призывали не подписывать Брест-Литовский договор, распустить Совнарком и немедленно вновь созвать Учредительное собрание.

31 марта по приказу большевиков чекисты провели обыск в помещении Бюро рабочих уполномоченных и конфисковали всю найденную там документацию. От более серьезных мер они пока воздержались, опасаясь, по-видимому, спровоцировать рабочие волнения.

Понимая, что городские рабочие настроены против них, большевики все откладывали выборы в Советы.

Когда же некоторые независимые Советы все-таки провели перевыборы, в результате которых большевики остались в меньшинстве, такие Советы просто разогнали силой. Невозможность опереться на Советы усугубляла недовольство рабочих. К началу мая многие из них пришли к заключению, что необходимо самим отстаивать свои интересы.

8 мая на Путиловском и Обуховском заводах прошли большие рабочие митинги. На них обсуждались два насущных вопроса — продовольствие и политика. На Путиловском заводе, где собралось более 10 000 человек, ораторы осудили политику правительства. Большевистские выступления были встречены враждебно, а предложенные в них резолюции не прошли. Рабочие настаивали на «безотложном и решительном объединении всех социалистических и демократических сил», они требовали отменить запрет на свободную торговлю хлебом, назначить новые выборы в Учредительное собрание и Петроградский Совет — при тайном голосовании[142]. Примерно такие же резолюции были почти единогласно приняты и на Обуховском заводе[143].

На следующий день в Колпино, промышленном городке к югу от Петрограда, случилось происшествие, которое подлило масла в огонь. Колпино особенно плохо снабжалось продовольствием, и поскольку из 10 000 трудоспособных жителей работу имели лишь 300 человек, у большинства семей не было средств покупать продукты на черном рынке. Очередная задержка с поставкой продовольствия заставила женщин призвать жителей города выйти на демонстрацию протеста. Местный большевистский комиссар, потеряв голову,

приказал войскам открыть по демонстрантам огонь. В поднявшейся панике создалось впечатление, что было множество жертв, хотя, как выяснилось впоследствии, убит был один человек, ранены шесть[144]. По тем временам случай этот не был из ряда вон выходящим, но петроградским рабочим достаточно было малейшего повода, чтобы дать выход накопившемуся недовольству.

Узнав от посланцев из Колпино об этом происшествии, крупнейшие петроградские заводы остановили работу. Обуховцы приняли резолюцию, осуждающую правительство, и потребовали положить конец «комиссародержавию». На Путиловский завод лично прибыл Зиновьев, «хозяин» Петрограда (правительство в марте переехало в Москву). «Я слышал, — заявил он, — будто здесь принимались резолюции, что советская власть ведет неверную политику. Но ведь советскую власть в любой момент можно сменить». В ответ раздались возгласы негодования, крики «Ложь!» Путиловец Измайлов обвинил большевиков в том, что, выступая от имени российского пролетариата, коммунисты в то же время унижают его в глазах всего цивилизованного мира[145]. Собрание рабочих на заводе «Арсенал» приняло 1500 голосами против двух, при 11 воздержавшихся, резолюцию, требующую созыва Учредительного собрания[146].

Большевики все это время благоразумно держались в тени. Но чтобы помешать распространению взрывоопасных резолюций, они закрыли, временно или навсегда, несколько оппозиционных газет, в том числе четыре московские. Орган партии кадетов «Наш век», подробно освещавший эти события, не выходил с 10 мая

по 16 июня. Поскольку в начале июля большевики планировали созвать Пятый съезд Советов (Четвертый собирался в марте, чтобы ратифицировать мирный договор с Германией), надо было проводить перевыборы Советов на местах. В мае—июне перевыборы состоялись. Их результаты превзошли самые мрачные ожидания большевиков. Если бы для них что-нибудь значила воля рабочего класса, они бы тут же отказались от власти. В одном городе за другим большевистских кандидатов побеждали кандидаты от меньшевиков и эсеров: «Во всех губернских городах Европейской России, где состоялись выборы и результаты их стали известны, — большинство в городских Советах получили меньшевики и эсеры»[147]. На выборах в Московский Совет большевики смогли добиться формального большинства только путем манипуляций с избирательным правом и избирательной процедурой. По прогнозам наблюдателей, и на выборах в Петроградский Совет большевики должны были оказаться в меньшинстве[148], а Зиновьев — лишиться поста председателя Совета. По-видимому, большевики разделяли эту пессимистическую оценку, так как откладывали выборы до последнего момента, до самого конца июня.

Ошеломляющие результаты выборов свидетельствовали не столько о поддержке гражданами меньшевиков и эсеров, сколько об их недоверии большевикам. Единственное, что могли делать избиратели, стремящиеся отстранить правящую партию от власти, это голосовать за социалистов, поскольку другим партиям не было позволено выставлять своих кандидатов на выборах. Трудно сказать, какими были бы результаты голосования, если бы в избирательных бюллетенях был представлен полный спектр

политических партий. Перед большевиками теперь открывалась возможность применить на практике принцип «отзыва», который Ленин незадолго до этого определил как «основное, принципиальное положение истинного демократизма». То есть им надлежало бы отозвать своих депутатов и заменить их меньшевиками и эсерами. Однако они предпочли, действуя через мандатные комиссии, манипулировать результатами, чтобы объявить выборы недействительными.

Чтобы отвлечь рабочих, власти обратились к испытанному методу — разжиганию классовой ненависти. На сей раз объектом ее должна была стать «сельская буржуазия». 20 мая вышел декрет Совнаркома о создании продовольственных отрядов рабочих, которым надлежало отправляться в деревню и с оружием в руках изымать у «кулаков» продукты питания. С помощью этой меры (подробнее мы остановимся на ней в главе восьмой) власти надеялись отвлечь от себя гнев рабочих, вызванный нехваткой продовольствия, перенести его на крестьян. Помимо того, они рассчитывали укрепить таким образом позиции на селе, где самой популярной партией все еще были эсеры. Рабочие Петрограда не позволили заманить себя в эту ловушку. 24 мая собрание их полномочных представителей отвергло идею организации продовольственных отрядов на том основании, что такая практика «углубит пропасть» между рабочими и крестьянами. Некоторые ораторы требовали, чтобы те, кто вступит в эти отряды, были «изгнаны из рядов пролетариата»[149].

28 мая возбуждение в рабочей среде Петрограда достигло еще большего накала. Путиловцы потребовали отмены государственной монополии на торговлю хлебом,

гарантий свободы слова, права на создание независимых профсоюзов и новых выборов в Советы. Митинги протеста, на которых были приняты аналогичные резолюции, состоялись в Москве и во многих провинциальных городах, в том числе в Туле, Нижнем Новгороде, Орле, Твери.

Чтобы унять разбушевавшуюся стихию, Зиновьев решил пойти на экономические уступки. По всей видимости, он добился от Москвы дополнительных поставок продовольствия, так как 30 мая было объявлено об увеличении ежедневного хлебного пайка до 240 граммов. Жест этот, однако, не достиг цели. 1 июня совещание рабочих уполномоченных приняло резолюцию, призывающую к общегородской политической стачке: «Заслушав доклад представителей фабрик и заводов Петрограда о настроениях и требованиях рабочих масс, Собрание уполномоченных с удовлетворением устанавливает, что отход рабочих масс от власти, ложно именующей себя рабочей, все усиливается. Собрание уполномоченных приветствует готовность рабочих последовать призыву Собрания уполномоченных к политической стачке. Собрание уполномоченных призывает рабочих Петрограда усиленно подготовлять рабочую массу к политической стачке против современного режима, который именем рабочего класса расстреливает его, бросает в тюрьмы, душит свободу слова, печати, союзов, стачек, задушил народное представительство. Эта стачка будет иметь своими лозунгами переход власти к Учредительному собранию, восстановление органов местного самоуправления, борьбу за единство и независимость российской республики»[150].

Это было как раз то, чего ждали меньшевики: рабочие, разочаровавшись в большевиках, повели борьбу за демократию. Первоначально меньшевики не оказывали поддержки движению уполномоченных, так как его руководители, с подозрением относившиеся к политикам, стремились быть независимыми от политических партий. Но к апрелю они уже оценили это движение и стали исподволь ему сочувствовать, а 16 мая меньшевистский Центральный Комитет выступил с предложением созвать Всероссийскую конференцию рабочих представителей[151]. [Идею созыва Рабочего съезда впервые выдвинул в 1906 г. П.Б.Аксельрод, но в то время ее отвергли как меньшевики, так и большевики. См.: Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. Lnd., 1963. P. 75–76]. К меньшевикам примкнули эсеры.

Если бы ситуация была зеркальной — у власти стояли бы социалисты, а большевики находились в оппозиции, — последние несомненно попытались бы сыграть на недовольстве рабочих и любой ценой свергнуть правительство. Но меньшевики и их союзники-социалисты не позволяли себе действовать таким образом. Они не принимали диктатуру большевиков, но в то же время испытывали по отношению к ней что-то вроде признательности. Меньшевистская «Новая жизнь», щедро публиковавшая критику в адрес режима, вместе с тем давала понять своим читателям, что они кровно заинтересованы в выживании большевизма. Вот что писала газета на следующий день после захвата власти большевиками: «Необходимо считаться прежде всего с тем трагическим фактом, что всякая насильственная ликвидация большевистского переворота неизбежно явится вместе с тем ликвидацией всех завоеваний русской

революции»[152]. А после того как большевики разогнали Учредительное собрание, меньшевистский орган подавал ту же мысль в следующей форме: «Мы не принадлежали и не принадлежим к числу поклонников большевистского режима и всегда предсказывали ему и внешнее и внутреннее банкротство. Но мы не забывали и не забываем ни на минуту, что с большевистским движением тесно связаны судьбы нашей революции. Большевистское движение — это искаженные, выродившиеся революционные стремления широких народных масс»[153].

Такая установка не только парализовала волю меньшевиков к действию, но фактически превращала их в союзников большевиков: вместо того чтобы воспользоваться зревшим в народе недовольством, они помогали его гасить. [Справедливости ради надо отметить, что некоторые старые меньшевики, среди которых были основатели российской социал-демократии — Плеханов, П.Б.Аксельрод, А.Н.Потресов и Вера Засулич, — не разделяли такой позиции. Так, Аксельрод писал в августе 1918 г., что большевистский режим выродился в «гнусную» контрреволюцию. Тем не менее он и его женевские товарищи также выступали против активного сопротивления Ленину на том основании, что это поможет старым реакционным элементам вернуться к власти. См.: Ascher A. Pavel Axelrod and the Development of Menshevism. Cambridge, Mass., 1972. P. 344–346. Об отношении к этому вопросу Плеханова см.: Baron S.H. Plekhanov. Stanford, Calif., 1963. P. 352–361. Потресов и тогда, и позднее критиковал своих товарищей-меньшевиков (см.: В плену у иллюзии. Париж,

1927), но и он не стал бы принимать участия в активной оппозиционной деятельности.].

Когда 3 июня вновь состоялось совещание рабочих уполномоченных, интеллектуалы из меньшевиков и эсеров выступили против идеи политической стачки, объяснив в очередной раз, что она сыграет на руку классовому врагу. Они убедили рабочих представителей отказаться от принятого решения и не объявлять продолжения забастовки, а послать в Москву делегатов для изучения возможностей создания там аналогичной организации.

7 июня делегат из Петрограда выступил на собрании представителей московских заводов и фабрик. Он заявил, что политика большевистского правительства является антирабочей и контрреволюционной. Таких речей Россия не слышала с Октября. ЧК была всерьез озабочена поворотом дела, поскольку Москва стала теперь столицей, и волнения здесь могли оказаться куда более опасными, чем в «красном» Петрограде. Чекисты схватили петроградского делегата, как только он закончил говорить, но были вынуждены сразу его отпустить, уступив требованию собрания. Однако выяснилось, что московский рабочий класс, хоть и отнесся сочувственно к призывам петроградских товарищей, оказался все же не готов создать собственный совет рабочих уполномоченных[154]. Вероятно, это объясняется тем, что рабочие Москвы и Подмосковья были в общей своей массе менее квалифицированными и не имели того опыта профсоюзной деятельности, который был у рабочих Петрограда.

Раскол между рабочими и Советами, начавшийся в Петрограде, стал распространяться по всей стране. Во многих городах (вскоре среди них оказалась и Москва), где выборы в местные Советы были запрещены или результаты выборов объявлены недействительными, создавались «рабочие Советы», «рабочие конференции» или «собрания рабочих представителей», свободные от контроля властей и не связанные ни с какими политическими партиями.

Эта нарастающая волна недовольства заставила большевиков перейти в конце концов в наступление. 13 июня в Москве они арестовали 56 человек, связанных с движением полномочных представителей; почти все из них, за исключением шести или семи, были рабочими[155]. 16 июня власти объявили, что через две недели начнет работу Пятый съезд Советов и в связи с этим всем местным Советам надлежит вновь провести перевыборы. Поскольку эти новые выборы неизбежно должны были опять принести победу меньшевикам и эсерам и поставить правительство на съезде в положение побежденного меньшинства, Москва решила вывести своих соперников из игры и распорядилась изгнать меньшевиков и эсеров из всех Советов, а также из ВСНХ[156]. Выступая на совещании большевистской фракции ВСНХ, Л.С.Сосновский объяснял необходимость этой меры тем, что меньшевики и эсеры могут свергнуть большевиков так же, как сами большевики свергли в свое время Временное правительство. [Новая жизнь. 1918. 16 июня. № 115 (330). С. 3. Как сообщает «Наш век» (1918. 19 июня. № 96 (120). С. 3), большевистская фракция ЦИКа возражала против изгнания меньшевиков и эсеров из Советов, но соглашалась выдворить их из ЦИ Ка.]. Таким образом, избирателям предстояло сделать

выбор между официальными большевистскими кандидатами, кандидатами от левых эсеров и беспартийными кандидатами, составлявшими довольно широкую группу «сочувствующих большевикам».

Так была поставлена точка в существовании независимых политических партий в России. Монархистские группы — октябристы, «Союз русского народа», националисты — были распущены еще в 1917 году и более не существовали как политические организации. Кадеты, поставленные вне закона, либо перенесли свою деятельность в пограничные районы страны, где были вне досягаемости ЧК, но одновременно и в отрыве от основной массы населения России, либо ушли в подполье и создали антибольшевистскую коалицию под названием «Национальный центр»[157]. Формально декрет от 16 июня не запрещал деятельность меньшевиков и эсеров, но на деле он превращал эти партии в политических импотентов. И хотя некоторое время спустя в награду за поддержку, оказанную этими двумя социалистическими партиями большевикам в борьбе с Белым движением, их отчасти восстановили в правах и позволили занимать ограниченное число мест в Советах, это было лишь временной уступкой. По сути, начиная с этого момента, Россия превратилась в однопартийное государство, в котором никаким организациям, кроме большевистской партии, не разрешено было заниматься политической деятельностью.

16 июня, в день, когда большевики объявили дату открытия Пятого съезда Советов, который должен был проходить в отсутствие меньшевиков и эсеров, собрание рабочих уполномоченных постановило созвать

Всероссийскую рабочую конференцию[158]. Ее целью должно было стать обсуждение и решение насущных проблем, стоящих перед страной: положения с продовольствием, безработицы, беззакония, статуса рабочих организаций.

20 июня был убит глава петроградской ЧК В.Володарский. В поисках убийцы чекисты задержали нескольких рабочих, организаторов массовых митингов протеста на фабриках. Большевики ввели войска в рабочий Невский район и объявили военное положение. Рабочие Обуховского завода, самого неспокойного в городе, были уволены — все одновременно[159].

В такой напряженной обстановке состоялись выборы в Петроградский Совет. Во время предвыборной кампании на Путиловском и Обуховском заводах Зиновьева освистали и не дали ему выступить. Игнорируя декрет, запрещавший двум партиям участвовать в работе Советов, рабочие отдавали голоса за меньшевиков и эсеров. Рабочие Обуховского завода избрали 5 эсеров, 3 беспартийных и 1 большевика. На Семянниковском заводе эсеры получили 64 % голосов, меньшевики — 10 %, а блок большевиков и левых эсеров — 26 %. На других предприятиях результаты голосования были аналогичными[160].

Большевики не чувствовали себя связанными этими результатами. Им нужно было большинство, и они его получали, внося коррективы в избирательную процедуру. Например, некоторые большевики получали право на пять голосов. [Строев В. // Новая жизнь. 1918. 21 июня. № 119 (334). С. 1. Газета «Новый луч» (цит. по: Новая жизнь. 1918. 23 июня. № 121(336). С. 1–2) писала, что из 130 делегатов, первоначально «избранных» в

Петроградский Совет, 77 были подобраны большевиками — 26 в частях Красной Армии, 8 в продотрядах и 43 среди большевистских функционеров.]. 2 июля были объявлены результаты этих «выборов». Из 650 вновь избранных депутатов Петроградского Совета 610 оказались большевиками и левыми эсерами, 40 мест были отданы эсерам и меньшевикам, которых официальная пресса окрестила «иудами». [Новая жизнь. 1918. 2 июля. № 127 (342). С. 1. Несколько иные цифры приводят редакторы Полного собрания сочинений Ленина (Т. 23. С. 547): общее число депутатов — 582, из них 405 — большевики, 75 — левые эсеры, 59 — меньшевики и эсеры и 43 — беспартийные.]. Избранный таким образом Петроградский Совет немедленно проголосовал за роспуск Совета рабочих уполномоченных, а когда представитель Совета уполномоченных попытался выступить, говорить ему не дали и вдобавок избили.

Совет рабочих уполномоченных заседал практически ежедневно. 26 июня он единогласно принял решение объявить 2 июля однодневную политическую забастовку, выдвинув лозунги «Долой смертную казнь», «Долой расстрелы и гражданскую войну», «Да здравствует свобода забастовок»[161]. Интеллектуалы из эсеров и меньшевиков снова выступили против[162].

Большевистские власти расклеили по всему городу плакаты, объявлявшие организаторов забастовки белогвардейскими наймитами и угрожавшие всем, кто примет в ней участие, революционным трибуналом[163]. Не ограничившись этим, они расставили в ключевых точках города пулеметы.

Журналисты, сочувствующие идее забастовки, писали, что рабочие колеблются. Кадетская газета «Наш век» отмечала 2 июня, что они настроены против Советов, но находятся в замешательстве. Сложная ситуация в стране и в мире, нехватка продовольствия и отсутствие ясных решений — все это вместе вызвало у рабочих «крайнюю неуравновешенность, какую-то подавленность и даже растерянность».

События 2 июля подтвердили это утверждение. Первая со времени падения царизма российская политическая забастовка угасла, не успев разгореться. Рабочих расхолаживали интеллектуалы-социалисты, пугали большевики демонстрацией силы, и, разуверившись в своих целях и возможностях, они пали духом. По оценкам организаторов, на призыв к стачке откликнулись от 18 000 до 20 000 рабочих, то есть не более одной седьмой занятых на петроградских заводах. Предприятия Обухова, Максвелла и Паля бастовали, но многие другие, включая Путиловский завод, продолжали работу.

Это решило судьбу независимых рабочих организаций в России. Очень скоро ЧК прикрыла Совет рабочих представителей в Петрограде и его отделения на местах, упрятав в тюрьмы откровенных зачинщиков этого движения. Так был положен конец автономии Советов, праву рабочих иметь представительства и тому, что еще оставалось от многопартийной системы. Меры, предпринятые в июне и начале июля 1918 года, завершили построение в России однопартийной диктатуры.

ГЛАВА 5

БРЕСТ-ЛИТОВСК

Агитаторы партии должны протестовать еще и еще против гнусной клеветы, пускаемой капиталистами, будто наша партия стоит за сепаратный мир с Германией…

Ленин. 21.04.1917 [1]

Главной заботой большевиков после октября было укрепить свою власть и распространять ее на территорию всей страны. Эту трудную задачу приходилось решать в условиях, требующих напряженной и сосредоточенной деятельности в области внешней политики, центральным моментом которой являлись отношения с Германией. Пока перемирие России с Германией не было надлежащем образом подписано, шансы Ленина остаться у власти, по его собственному мнению, были равны нулю; с другой стороны, подписание перемирия и последующий мир открывали большевикам дорогу к мировому господству. В декабре 1917 года, когда большая часть его сподвижников отвергала условия Германии, Ленин настаивал на их выполнении, так как считал, что другого выхода просто нет. Ситуация была абсолютно ясна: если большевики не добьются мира, «крестьянская армия, невыносимо измученная войной… свергнет социалистическое рабочее правительство»[2]. Чтобы

собраться с силами, организовать управление экономикой, создать и обучить свою собственную армию, большевикам требовалась передышка.

Исходя из этой предпосылки, Ленин был готов подписать мир с Четверным союзом на любых условиях, лишь бы ему самому позволили оставаться у власти. Сопротивление, которое он встретил со стороны своих однопартийцев, вырастало из убеждения (которое он разделял), что большевистское правительство сможет удержаться, только если вспыхнет революция в Западной Европе, и уверенности (которую он не вполне разделял) в том, что это может произойти в любой момент. Для оппонентов Ленина подписание мира с «империалистическим» Четверным союзом, особенно на тех унизительных условиях, которые тот предлагал, было предательством дела международного социализма; в долговременной перспективе это означало и смертный приговор революционной России. По их мнению, советская Россия не должна была ставить свои кратковременные национальные интересы выше интересов мирового пролетариата. Ленин был с этим не согласен, считая, что «в основе их тактики должен теперь лежать тот принцип, как вернее и надежнее можно обеспечить социалистической революции возможность укрепиться или хотя бы продержаться в одной стране до тех пор, пока присоединятся другие страны»[3]. Вследствие спора по этому вопросу большевисткая партия зимой 1917/1918 годов раскололась надвое.

История отношений большевистской России с Четверным союзом, в особенности с Германией, в течение двенадцати месяцев после Октябрьского переворота представляет для нас чрезвычайный интерес,

поскольку именно в этих отношениях коммунисты сначала сформулировали в теории, а затем и отработали на практике стратегию и тактику своей внешней политики.

* * *

По времени своего возникновения западная дипломатия восходит к периоду итальянских городов-государств XV века. Зародившиеся там дипломатические приемы распространились по Европе и были кодифицированы в XVII веке в рамках международного права. Дипломатия была создана для устранения и мирного разрешения споров, возникающих между суверенными государствами; если она не достигала цели и стороны прибегали к оружию, задачей дипломатии становилось сведение к минимуму уровня применяемого насилия и по возможности скорое прекращение военных действий. Успех международного права зависит от признания всеми сторонами определенных принципов:

1. За суверенными государствами признается безусловное право на существование: какие бы несогласия ни возникали между ними, само по себе их существование никогда не может ставиться под вопрос. На этом принципе был выстроен Вестфальский мир 1648 года. Несмотря на то, что в конце XVIII века этот принцип был нарушен Третьим переделом Польши, в результате которого эта страна перестала существовать, само по себе это нарушение являлось случаем исключительным.

2. Международные отношения осуществляются на правительственном уровне: если одно правительство,

обойдя другое, обращается непосредственно к населению страны, это является грубым нарушением дипломатических норм. В XIX веке страны соотносились через министерства иностранных дел.

3. Отношения на уровне министерств иностранных дел предполагают наличие определенного уровня добросовестности и доброй воли, основанных на взаимном соблюдении формальных договоренностей; без этого не бывает доверия между сторонами, а без доверия вся дипломатия превращается в занятие бессмысленное и бесполезное.

Эта практика и принципы, сложившиеся между XV и XIX столетиями, основывались на признании существования природного права и наднационального сообщества христианских государств. Разработанное стоиками представление о законах природы, которое теоретики международного права, начиная с Гуго Гроция, стали применять к отношениям между государствами, заложило вечное и универсальное основание правосудия. Сложившееся понятие христианского сообщества означало, что и страны Европы, и отломившиеся от них заморские колонии были, что бы ни разделяло их, членами одной семьи. До наступления XX века никому не приходило в голову применять принципы международного права к остальным, не-европейским народам — этой установкой оправдывались колониальные завоевания.

Очевидно, что весь комплекс «буржуазных» идей был большевикам отвратителен. Раз революционеры вознамерились свергнуть существующий порядок, от них трудно было ожидать признания священности международного правопорядка. Обращение к народам

минуя их правительства было сущностью революционной стратегии. Что же касалось честности и доброй воли в международных отношениях — здесь большевики, как и другие русские радикалы, полагали, что соблюдение моральных норм обязательно только внутри движения, в отношениях между товарищами; в отношениях же с классовым врагом применялись законы войны. В революции, как и на войне, единственным значимым принципом было «кто кого».

В течение нескольких недель после Октябрьского переворота многие большевики ожидали, что их пример положит начало революциям в Европе. Каждое донесение из-за рубежа о промышленной забастовке или мятеже воспринималось с восторгом — как «начало». Зимой 1917/1918 годов большевистская «Красная газета» и другие партийные органы что ни день выходили с аншлагами, возвещающими о революциях, занимающихся в Западной Европе: сегодня в Германии, завтра — в Финляндии, послезавтра — во Франции. Покуда ожидание было живо, большевикам не требовалось размышлять над внешней политикой — можно было постоянно возвращаться к излюбленному занятию: разжигать пожар революций.

Но к весне 1918 года мечты эти несколько пожухли. У русской революции все не появлялось подражателей. Мятежи и забастовки в Западной Европе повсеместно подавлялись, и «массы» продолжали истреблять друг друга, вместо того, чтобы выступить против «правящих классов». Осознав положение вещей, большевики срочно принялись за выработку революционной внешней политики. Руководствоваться им было нечем, поскольку ни работы Маркса, ни пример Парижской коммуны не говорили, как это делать. Самая большая трудность

заключалась в противоречивости их интересов как, с одной стороны, руководителей суверенного государства, а с другой — самозваных вождей мировой революции. В своем последнем качестве большевики отрицали право других, несоциалистических, правительств на существование и не признавали традиционного ведения международных дел через глав государств и их министров. Им хотелось разрушить, с корнем выкорчевать всю структуру национального «буржуазного» государства, и с этой целью они призывали «массы» за рубежом к восстанию. Однако, поскольку они сами теперь возглавляли суверенное государство, им было не избежать контактов с другими правительствами — по крайней мере до тех пор, пока последние не будут сметены пожаром мировой революции, — и контакты эти приходилось поддерживать в соответствии со стандартами традиционного «буржуазного» международного права. Более того, они были вынуждены прибегать к этим стандартам как к защите от внешнего вмешательства в свои внутренние дела.

Здесь-то двойственная природа коммунистического государства, формальное разделение правительства и партии сослужили большевикам отличную службу. У выработанной ими внешней политики было два лица — одно традиционное, другое — революционное. Для общения с «буржуазными» правительствами был создан комиссариат иностранных дел — учреждение, укомплектованное исключительно надежными большевиками, подчиняющимися указаниям Центрального Комитета. Функционировал он, по крайней мере внешне, в полном соответствии с принятыми дипломатическими нормами. В тех странах, где это им

было позволено, главы советских иностранных миссий, называющиеся не «послами» и «посланниками», а «политическими представителями», или «полпредами», занимали помещения бывших российских посольств, облачались в визитки и котелки и вели себя совсем как их коллеги из «буржуазных» миссий. [В первую очередь советские полпреды были размещены в странах, придерживавшихся нейтралитета: В.В.Боровский — в Стокгольме, Я.А.Берзин — в Берне. После ратификации Брестского мира А.А.Иоффе возглавил миссию в Берлине. Попытка большевиков назначить сначала Литвинова, а затем Каменева полпредами при Королевском дворе в Лондоне потерпела неудачу. Франция также не принимала советского посланника и согласилась на это лишь в конце гражданской войны.]. «Революционная дипломатия» (название это составлено из противоречащих друг другу слов) стала уделом большевистской партии, действовавшей либо через специально созданные органы, такие, как Коммунистический Интернационал, либо самостоятельно. Агенты партии возбуждали революции и вели подрывную деятельность против тех самых иностранных правительств, с которыми комиссариат иностранных дел поддерживал корректные отношения.

Подобное разделение функций, отражавшее внутреннюю двойственность советской России вследствие разделения партии и государства, была отмечена Свердловым на VII съезде большевистской партии в процессе обсуждения Брестского мира. Комментируя статьи договора, запрещающие сторонам заниматься агитацией и пропагандой, он говорил: «Из подписанного нами договора, который мы должны в скором времени ратифицировать на съезде, неизбежно

вытекает, что мы в качестве правительства, в качестве Советской власти, не сможем вести той широкой международной агитации, которую мы до сих пор вели, но это совсем не значит, что мы хотя бы на йоту стали меньше заниматься такой агитацией. Но нам придется теперь сплошь да рядом такую агитацию вести не от имени СНК, а от имени ЦК нашей партии»[4]. Представлять партию частной организацией, за действия которой «советское» правительство не несло никакой ответственности, — этой тактики большевики придерживались с комическим упорством. Когда, например, в сентябре 1918 года Берлин выразил протест против антинемецкой пропаганды в русской прессе (печать к тому времени полностью была под контролем большевиков), комиссариат иностранных дел коварно ответил: «Русское правительство нисколько не в претензии на то, что германская цензура и германская полиция не преследуют органов печати за подобную злобную агитацию против государственных учреждений России, т. е. против советского строя… Считая вполне допустимым отсутствие каких-либо мер подавления со стороны германского правительства против свободно выражающих свою политическую и социальную противоположность по отношению к советскому строю органов немецкой печати, оно считает столь же допустимым подобное поведение по отношению к германскому строю со стороны частных лиц и неофициальных газет в России… Нельзя возразить самым решительным образом против часто встречающихся в заявлениях германского генерального консульства представлений, будто русское правительство может полицейскими мерами направлять русскую революционную печать в ту или иную сторону и

бюрократическим воздействием внушать ей те или иные взгляды»[5].

Совсем иначе вело себя большевистское правительство, когда иностранные державы вмешивались во внутренние дела России. Уже в ноябре 1917 года Троцкий, комиссар иностранных дел, выразил протест против «вмешательства» в дела России, придравшись к тому, что послы союзников, не зная наверное, кто представляет законное правительство России, направили дипломатическую ноту главнокомандующему генералу Н.Н.Духонину[6]. Совнарком никогда не упускал возможности заявить протест против нарушения иностранными державами принципа невмешательства во внутренние дела, при том что сам нарушал эти принципы повсеместно.

* * *

Как уже отмечалось, Ленин был готов принять любые условия Четверного союза, но действовать ему приходилось с чрезвычайной осторожностью из-за широко распространившегося подозрения, что он — германский шпион. Поэтому вместо того, чтобы немедленно вступить в переговоры с Германией и Австрией, что было бы для него предпочтительнее, он обратился с призывом начать мирные переговоры ко всем воюющим сторонам. В действительности же установления общего мира в Европе он как раз и хотел избежать: мы уже видели, что одной из причин поспешности, с которой осуществлялся Октябрьский переворот, был страх Ленина перед заключением такого мира, поскольку в этом случае он терял возможность развязать гражданскую войну в Европе. Теперь же, когда

игнорировались все попытки говорить о мире, включая предложения президента Вильсона в декабре 1916 года, мирную резолюцию германского Рейхстага в июле и папские воззвания в августе 1917-го, Ленин мог не опасаться, что его начинание приведет к нежелательным последствиям. Как только союзники откажутся от его предложений, а у Ленина имелись все основания считать, что именно так они и поступят, у него будут развязаны руки для самостоятельных действий.

Подготовленный Лениным и принятый Вторым съездом Советов документ, примечательно озаглавленный «Декрет о мире», предлагал воюющим сторонам заключить трехмесячное перемирие. Предложение это подкреплялось упованиями на то, что рабочие Англии, Франции и Германии «всесторонней решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации»[7]. Джордж Кеннан охарактеризовал этот «декрет» как акт «демонстративной дипломатии», имеющей целью не «привести к заключению свободно принятых и взаимовыгодных соглашений между правительствами, а скорее поставить в тупик другие правительства и возбудить недовольство в народах их стран». [Kennan G. Russia Leaves the War. Princeton, N.Y., 1956. P. 75–76. В первых числах ноября большевики начали публиковать по материалам архива министерства иностранных дел тексты секретных соглашений между Россией и союзниками. В своих формулировках большевики воспроизводили фразеологию французских революционеров, которые в ноябре 1792 г. обещали «братство и помощь» каждому народу, желающему

«возвратить» себе свободу.]. В этом же духе были выдержаны и другие обращения большевиков, призывающие народы воюющих держав к восстанию[8]. Как глава государства Ленин мог теперь проводить программу циммервальдской левой.

Большевики передали свой «Декрет о мире» послам союзников 9(22) ноября. Правительства Согласия немедленно его отвергли, вслед за чем Троцкий проинформировал Центральный Комитет о готовности России начать переговоры о перемирии.

Германия начала пожинать плоды своей политики потакания большевикам. Потребность России в сепаратном мире напоминала немцам «чудо» 1763 года, когда после смерти симпатизировавшей французам Елизаветы на престол взошел преклонявшийся перед Пруссией Петр III, вслед за чем Россия вышла из Семилетней войны, что, в свою очередь, спасло Фридриха Великого от поражения, а Пруссию — от уничтожения. Выход России из Четверного согласия предоставлял две выгодные возможности: высвободить сотни тысяч личного состава армии для переброски на Запад и добиться прорыва британской блокады с моря. Такая перспектива в очередной раз возрождала надежду на победу Германии. Узнав, что большевики захватили власть в Петрограде, генерал Э. фон Людендорф разработал план решительного наступления весной 1918 года по всему Западному фронту с участием дивизий, переброшенных с Восточного фронта. Кайзер план подписал[9]. В тот период Людендорф полностью одобрял политику министерства иностранных дел, проводимую архитектором пробольшевистского направления Рихардом фон Кюльманом, стремившимся достигнуть

быстрого перемирия с Россией и затем мира на германских условиях.

В войне умов между большевиками и Четверным союзом все видимые преимущества были на стороне последнего: стабильные правительства, миллионы дисциплинированных солдат. Большевики были властью любителей и узурпаторов, которую мало кто признавал: армия их наполовину состояла из случайно набранного сброда, разваливалась на глазах. На деле, однако, баланс сил оказывался не таким односторонним. К концу 1917 года экономическое положение стран Четверного союза стало настолько отчаянным, что они не могли дольше вести войну. Особенно шатким было положение Австро-Венгрии: министр иностранных дел этой страны граф Оттокар Чернин сообщил германской стороне во время брестских переговоров, что они, возможно, не смогут продержаться до следующего урожая[10]. Ситуация в Германии была ненамного лучше: некоторые германские политики считали, что запасы хлеба в стране кончатся к середине апреля 1918 года[11].

Боевой дух народов Германии и Австрии также вызывал тревогу, поскольку призывы большевиков к миру находили в них сильный отклик и давали надежду на скорое прекращение войны. Канцлер Германии предостерегал кайзера, что в случае провала переговоров с Россией может выйти из войны Австро-Венгрия и не исключены внутренние беспорядки в самой Германии. Лидер социалистического большинства Германии (которое поддерживало войну) Филипп Шейдеманн предсказывал, что провал мирных переговоров с Россией «будет означать гибель Германской империи»[12]. Ввиду всех этих причин —

военных, экономических и психологических — Четверному союзу требовался мирный договор с Россией почти так же, как большевистской России требовался мирный договор с ним. Факты эти, в полной мере неизвестные русским, свидетельствуют, что те большевики, которые выступали против капитуляционистской политики Ленина и за доведение до победного конца кампании против Германии и Австрии, находились в гораздо меньшем заблуждении, чем это обычно представляют. Ведя переговоры, враг тоже был на последнем издыхании.

У большевиков имелось еще одно существенное преимущество — а именно близкое знание противника. Проведя многие годы на Западе, они хорошо представляли себе существо внутренних проблем Германии, политические и деловые круги, партийные группировки. Практически все лидеры большевиков владели одним или несколькими европейскими языками. Германию — главный центр социалистической теории и практики — они изучили чуть ли не лучше, чем собственную страну; представься такая возможность, — и Совнарком с радостью захватил бы власть в Германии. Знание это давало большевикам возможность использовать разногласия в лагере противника, натравливая промышленников на генералов, левых социалистов на правых, подстрекая германских рабочих к революции. Немцы, наоборот, практически ничего не знали о тех, с кем вступали в переговоры. Объявившиеся недавно на политической сцене большевики казались им кучкой нечистоплотных, болтливых, непрактичных интеллектуалов. Германия постоянно недопонимала действия большевиков и недооценивала их хитрость. То она видела в большевиках революционеров-романтиков

и считала, что ими можно манипулировать по ее усмотрению, то — не веривших собственным лозунгам реалистов, с которыми можно заключать деловые отношения. В течение 1917–1918 годов большевики несколько раз обводили Германию вокруг пальца, принимая защитные цвета, вводившие в заблуждение и обострявшие ее аппетит.

Чтобы понять политику Германии в отношении России, необходимо вспомнить о ее так называемой Russlandpolitik. Помимо того что Германия желала безотлагательного заключения мира с Россией, это диктовалось военными соображениями: у нее были на Россию и далеко идущие виды геополитического характера. Политические стратеги Германии традиционно выказывали живой интерес к России: не случайно до первой мировой войны ни в одной стране не было традиции и школы изучения России, хоть отдаленно напоминавших германские. Для консерваторов было аксиомой, что обеспечить национальную безопасность страны они могут только добившись слабости России. Во-первых, только с ликвидацией угрозы со стороны России открыть второй фронт Германия могла успешно бороться с французами и «англосаксами» за мировое господство. Во-вторых, Германии, чтобы стать серьезным конкурентом в Weltpolitik,[мировой политике *(нем.).]* требовался доступ к природным ресурсам России, включая продовольствие, и доступ этот можно было получить на приемлемых условиях только в том случае, если бы Россия стала государством зависимым. Слишком поздно выстроившая свое национальное государство, Германия не успела создать заморскую империю. Единственным реальным шансом сравняться с экономической мощью соперников было для нее

распространиться на восток, в беспредельные пространства Евразии. Банкиры и промышленники Германии смотрели на Россию как на потенциальную колонию. Они подавали в правительственные инстанции меморандумы, в которых подчеркивалась важность для победы Германии беспошлинного импорта русской высококачественной железной руды и марганца, доступа к сельскохозяйственной продукции России и ее шахтам[13].

Чтобы превратить Россию в зависимое от Германии государство, необходимо было сделать две вещи. Прежде всего — раздробить Российскую империю и свести ее до территорий, населенных великороссами. Затем — отодвинуть границы России на восток, присоединив к Германии прибалтийские губернии, и воздвигнуть cordon sanitaire [санитарный кордон *(фр.).]* из номинально суверенных, а на деле контролируемых Германией протекторатов: Польши, Украины и Грузии. Программа эта, с которой выступал до и в течение войны публицист Пауль Рорбах[14], казалась многим, и особенно военным, крайне привлекательной. Когда в январе 1918 года Гинденбург писал кайзеру, что в интересах Германии следует отодвинуть границы России на восток, а ее плотно заселенные и экономически перспективные западные губернии аннексировать[15], в сущности это означало вытеснение России за пределы континентальной Европы. Как сформулировал проблему Рорбах, «если мы хотим безопасного будущего, то следует ли позволить России оставаться европейской державой в том смысле, в каком она являлась ею до настоящего момента, или не следует ей этого позволять?»[16]

Далее. Россия должна была гарантировать Германии все виды экономических льгот и привилегий на своей территории, обеспечив в дальнейшем проникновение и владычество германских капиталистов на российском рынке. Во все время войны немецкие промышленники настойчиво добивались от своего правительства аннексии русских западных губерний и превращения России в экономический придаток Германии[17].

Очевидно таким образом, что большевистское правительство устраивало Германию как никакое другое. С 1918 года внутренняя система коммуникаций Германии была загружена сообщениями о том, что большевикам следует помогать как единственной партии, которая готова идти на почти неограниченные территориальные и экономические уступки и которая, вследствие своей некомпетентности и непопулярности, поддерживает в России состояние перманентного кризиса. Государственный секретарь адмирал Пауль фон Хинце, отвечая осенью 1918 года соотечественникам, желавшим избавиться от большевиков как от партнеров ненадежных и опасных, заявил, что устранение большевиков «подорвало бы всю работу нашего военного руководства и нашу политику на Востоке, направленную на ослабление военной силы России», чем выразил общее мнение правительства[18]. Примерно так же рассуждал и Пауль Рорбах: «Большевики разрушают Великороссию, источник любой потенциальной русской угрозы в будущем, сверху донизу. Они уже позволили нам избавиться от большей части того беспокойства, которое мы испытывали относительно Великороссии, и мы должны делать все возможное, чтобы способствовать

продолжению их деятельности, столь для нас полезной»[19].

* * *

Если Берлин и Вена быстро пришли к согласию относительно переговоров с Россией, то в Петрограде мнения резко разделились. Чтобы не вдаваться в излишние подробности, скажем только, что большевики, желавшие немедленного заключения мира практически на любых условиях, встретили сильное сопротивление в лице тех, кто хотел использовать мирные переговоры как средство для разжигания революции в Европе.

Ленин, главный сторонник первой линии, часто оказывался в меньшинстве, иногда и в одиночестве. Он исходил из пессимистической оценки международного «соотношения сил». Уповая, как и его соперники, на зарождение революции на Западе, он гораздо выше, чем они, оценивал способность «буржуазных» правительств подавить эти революции. В то же время перспективы большевиков вызывали у него не столь радужную оценку, как у его коллег: во время дебатов, сопровождавших мирные переговоры, он заметил ядовито, что в Европе не было гражданской войны, тогда как в России она шла полным ходом. Теперь, много времени спустя, Ленину можно поставить в вину то, что он недооценил внутренние трудности стран Четверного союза и их потребность в скорейшем заключении перемирия: с этой точки зрения позиция России была сильнее, чем ему виделось. Однако внутреннюю ситуацию в России он оценивал абсолютно здраво. Он знал, что, продолжая войну, рисковал быть отстраненным от власти либо внутренними

противниками, либо Германией. Он понимал к тому же, что отчаянно нуждался в передышке, чтобы сделанная им заявка на власть стала реальностью. Тут требовалось организованное политическое, экономическое и военное усилие, возможное только в условиях мира, каким бы тягостным и унизительным он ни был. Правда, при этом на некоторое время пришлось бы пожертвовать интересами западного «пролетариата», но, по мнению Ленина пока не завершилась революция в России, интересы России должны оставаться на первом месте.

Позиция противостоявшего ему большинства, которое возглавлял Бухарин и к которому примкнул Троцкий, может быть сформулирована так: «Четверной союз не позволит Ленину воспользоваться передышкой: они отрежут Россию от украинского хлеба и угля и кавказской нефти; они возьмут под контроль половину русского населения; они станут субсидировать и политически поддерживать контрреволюционные движения и задушат революцию. Во время передышки Советам не удастся выстроить новую армию. Им следует создавать свои вооруженные силы в процессе борьбы, и только так они и могут быть созданы. Правда, Советы могут быть вынуждены оставить Петроград и даже Москву, но за ними достаточно пространства, куда отступать и где копить силы. Даже если народ не захочет воевать за революцию, как он не желал воевать за старый режим, — а лидеры военной фракции выражали в этом упорное сомнение, — тогда каждое наступление Германии, неизбежные при этом ужас и мародерство, заставят народ стряхнуть с себя усталость и безразличие и вынудят его сопротивляться, из чего в итоге родится широкий и неподдельный народный энтузиазм, и народ пойдет воевать за революцию. На волне этого

энтузиазма возникнет новая, надежная армия. Революция, не запятнанная позорной капитуляцией, войдет в пору расцвета, она воспламенит души рабочих классов за рубежом, и она, в итоге, развеет кошмар империализма»[20].

Данное расхождение во взглядах привело в начале 1918 года к самому серьезному кризису, какой до тех пор переживала партия большевиков.

* * *

15(28) ноября 1917 года большевики снова обратились к воюющим сторонам с призывом начать переговоры. В заявлении говорилось, что, поскольку страны Четверного согласия не отозвались на «Декрет о мире», Россия готова немедленно начать переговоры о прекращении огня с Германией и Австрией, которые откликнулись положительно. Германия незамедлительно приняла предложение большевиков.

18 ноября (1 декабря) русская делегация выехала в Брест-Литовск, штаб-квартиру верховного командования Германии на Восточном фронте. Делегацию возглавлял А.А.Иоффе, бывший меньшевик и близкий друг Троцкого. В нее также входил Каменев, и, в качестве реверанса массам, были включены представители «трудящихся» — солдат, моряк, рабочий, крестьянин и одна женщина. Петроград не переставал призывать германские войска к мятежу даже тогда, когда поезд с русской делегацией находился на пути в Брест.

Мирные переговоры открылись 20 ноября (3 декабря) в помещении бывшего русского офицерского клуба. Во главе германской делегации стоял Р. фон Кюльман, считавший себя экспертом по русским делам и игравший в 1917 году ключевую роль в переговорах с Лениным. Стороны договорились прекратить огонь 23 ноября (6 декабря) сроком на одиннадцать дней. Однако еще до истечения срока он был продлен, по взаимному согласию, до 1 (14) января 1918 года. Официальной целью такого продления было дать странам Согласия возможность изменить свое мнение и вступить в переговоры. Обе стороны, однако, пребывали в совершенной уверенности, что не было ни малейшего риска этого достичь: как Кюльман докладывал канцлеру, условия заключения перемирия, поставленные Германией, были столь унизительны, что противник вряд ли бы их принял[21]. Настоящая же причина крылась в потребности обеих сторон тщательно отработать свои позиции в виду предстоящих мирных переговоров. Еще до начала переговоров Германия нарушила условия прекращения огня, перебросив шесть дивизий на Западный фронт. [Buchan J. A History of the Great War. Boston, 1922. P. 135. Соглашение о перемирии запрещало «существенные» перемещения войск на русские фронты или с них на все время его действия.].

Насколько сильно большевики желали нормализовать отношения с Германией, хорошо видно из того, что сразу после прекращения огня в Петроград по их приглашению прибыла делегация во главе с графом Вильгельмом фон Мирбахом. Делегация прибыла с задачей договориться об обмене содержащимися в плену гражданскими лицами и возобновить культурные и экономические связи с Россией. Ленин принял Мирбаха

15 (28) декабря. Именно от этой делегаций Берлин получил первые донесения очевидцев о ситуации в советской России. [По утверждению французского генерала Анри А.Нисселя, союзники перехватывали телеграммы германского руководства из Петрограда в Брест и из них узнавали, как отчаянно Германия нуждалась в мире (Niessel H.A. Le Triomphe des Bolcheviks et la Paix de Brest-Litovsk: Souvenirs, 1917–1918. Paris, 1940. P. 187–188).]. От Мирбаха Германия впервые узнала о том, что большевики собираются отказаться от выплаты иностранных займов. Получив эту информацию, Государственный банк Германии составил меморандум, в котором разъяснялось, как это может быть сделано с наименьшим ущербом для Германии и с наибольшими потерями для Четверного согласия. Тогда же план в общих чертах был разработан В.В.Воровским, старым соратником Ленина, а в то время дипломатическим представителем в Стокгольме; он предложил, чтобы русское правительство аннулировало только те займы, которые были сделаны после 1905 года: поскольку большинство германских займов Россия получила до 1905 года, основная тяжесть последствий отказа от выплаты займов ложилась на страны Четверного согласия[22]. [Отказ советского правительства от уплаты государственных займов, как внутренних, так и внешних, был обнародован 28 января 1918 г. Сумма аннулированных в результате этой меры иностранных займов составила 13 млрд. руб., или 6 млрд. долл. (Shvittau G.G. Revolutsiia i Narodnoe Khoziaistvo v Rossii, 1917–1921. Leipzig, 1922. S. 337)].

Переговоры в Бресте возобновились 9(22) декабря. Делегацию Германии снова возглавлял Кюльман, австрийскую сторону — граф Оттокар Чернин, министр

иностранных дел; присутствовали также министры иностранных дел Турции и Болгарии. Мирные предложения Германии включали требование отделить от России Польшу, Курляндию и Литву, которые тогда находились под германской военной оккупацией. В Берлине, по всей видимости, сочли эти условия обоснованными, поскольку делегация прибыла в Брест в благодушном и дружелюбном настроении, надеясь уже к Рождеству достигнуть соглашения в общих чертах. Их постигло немедленное разочарование. Иоффе, получивший инструкции тянуть переговоры, вносил туманные и нереалистичные контрпредложения, призывал к миру «без аннексий и контрибуций» и «праву наций на самоопределение», имея в виду и европейские государства, и колонии[23]. Русская делегация вела себя так, словно Россия выиграла войну, и просила страны Четверного союза отказаться от всех завоеваний. Подобное поведение зародило у Германии первые сомнения относительно истинных намерений русских.

Переговоры проходили в атмосфере странной и нереальной: «Сцена в конференц-зале в Брест-Литовске могла бы сделать честь искусству крупного исторического живописца. По одну сторону помещались любезные, но настороженные представители Четверного союза, изысканно вежливые, в смокингах или в мундирах при всех орденах… Из общей массы резко выделялись: узкое лицо и внимательные глаза Кюльмана, ему во все время переговоров ни разу не изменила его учтивость; внешняя привлекательность и безыскусная добродушная повадка Чернина, которому приходилось особенно туго из-за этого его свойства; и круглая, «пиквикская» физиономия генерала Хоффмана, время от времени багровевшая и принимавшая воинственное выражение,

если генерал чувствовал, что обстоятельства требуют решительных действий. Позади тевтонской делегации располагался несчетный ряд штабных офицеров и гражданских служащих, поблескивали очки ученых экспертов. Каждая делегация говорила на своем языке, и дискуссия вынужденно затягивалась. Напротив тевтонских рядов сидели русские, в большинстве своем небрежно и неряшливо одетые, безмятежно покуривая во время дебатов огромные трубки. Казалось, большая часть обсуждаемых вопросов не представляла для них никакого интереса, и за исключением тех случаев, когда в разговоре затрагивалась проблема нравственности в политике, что провоцировало их на многословные путаные метафизические рассуждения, они отделывались односложными репликами. Конференция отчасти напоминала собрание хорошо воспитанных нанимателей, пытающихся договариваться с делегацией чрезвычайно недалеких рабочих, а отчасти — группу попечителей из города на приеме в деревенской школе»[24].

* * *

В день Рождества, находясь по случаю праздника в приподнятом настроении, граф Чернин, к величайшему раздражению Германии, предложил уступить все территории, захваченные Австрией за время войны, если страны Четверного согласия вступят в мирные переговоры: ему были даны инструкции всеми силами стараться избежать срыва мирных переговоров и подписывать, при необходимости, сепаратный мирный договор[25]. Германия больше полагалась на свои силы,

поскольку рассчитывала, что запланированное на весну наступление на Западном фронте принесет ей победу. В ответ на выдвинутое русскими требование, чтобы страны Четверного союза предоставили народам Польши и других оккупированных территорий России право самоопределения, Кюльман ядовито заметил, что означенные области уже воспользовались таким правом, отделившись от России.

Переговоры зашли в тупик и 15 (28) декабря были отсрочены, но теневые переговоры на заседаниях «экспертных» комиссий по экономике и праву продолжались своим чередом.

Оценивая результаты переговоров, в Германии начали сомневаться: действительно ли Россия хочет мира или же просто старается выиграть время, чтобы спровоцировать массовые беспорядки в Западной Европе. Некоторые действия русских, безусловно, оправдывали такой скептицизм. Германская разведка перехватила письмо, отправленное Троцким агенту в Швеции; в нем комиссар иностранных дел сообщал, что «сепаратный мир с участием России невозможен; все, что нам требуется, — это протянуть переговоры, чтобы замаскировать мобилизацию международных социал-демократических сил в поддержку всеобщего мира»[26]. Как бы нарочно, чтобы продемонстрировать, что таковы и были его намерения, советское правительство официально ассигновало 2 млн. рублей иностранным группам, поддерживавшим циммервальдско-кинтальскую платформу, — случай в практике международных отношений беспрецедентный. [Documents on Russian Foreign Policy / Ed. by J.Degras. Vol. 1. Lnd., 1951. P. 22. Деньги были переданы в ведение Воровского.]. Никак не опровергало подозрений и требование Иоффе, чтобы

правительство Германии последовало примеру Советов и опубликовало стенограммы политической части переговоров в Бресте, что было запланировано Россией для проведения пропагандистской кампании среди рабочих Германии.

В этот момент в дело решили вмешаться военные. В письме от 7 января (25 декабря), составленном так, что оно должно было повлиять на кайзера, Гинденбург сообщал: «слабая» и «примирительная» тактика, которой придерживались германские дипломаты в Бресте, навела русских на мысль, будто Германия действительно отчаянно нуждалась в мире. Все это оказывало губительное воздействие на дух армии. Не высказываясь открыто, Гинденбург подразумевал вызывающую беспокойство кампанию «братания» русских и германских войск, организованную большевиками по всему фронту во время перемирия. Настала пора применить силу: если Германия не предпримет решительных действий на востоке, она не сможет заключить со странами Четверного согласия на западе такой мир, какого требует ее положение в мировом сообществе. Германия должна отодвинуть границы на восток, с тем чтобы предотвратить войны в будущем[27].

Кайзер, которого тоже выводила из терпения нерешительность дипломатов в Бресте, был согласен. В результате позиция Германии на переговорах стала значительно жестче: условия подписания мира уже не обговаривались, их стали диктовать.

* * *

Брестские переговоры возобновились 27 декабря (9 января). На этот раз русскую делегацию возглавил Троцкий: он прибыл с намерением по-прежнему затягивать переговоры и широко вести пропаганду. Ленин неохотно согласился на эту стратегию. Троцкий должен был обещать, что, если Германия разгадает его намерения и предъявит ультиматум, русская делегация капитулирует[28].

Прибыв на место переговоров, Троцкий был неприятно удивлен известием, что за время перерыва Германия установила сепаратные связи с украинскими националистами. 19 декабря (1 января) состоявшая из молодых интеллигентов украинская делегация прибыла по приглашению Германии в Брест для переговоров[29]. Германия стремилась отделить Украину от России и превратить ее в протекторат. В декабре 1917 года Украинская рада объявила Украину независимой. Большевики отказались признать этот факт и, в нарушение «права наций на самоопределение», которое сами официально провозгласили, послали туда войска с целью вернуть отсоединившиеся территории[30]. По оценкам Германии, Россия получала треть всего продовольствия и 70 % угля и железной руды с Украины: отделение Украины, таким образом, ослабило бы большевиков, сделав их еще более зависимыми от Германии, одновременно в значительной степени удовлетворив ее собственные экономические нужды. Приняв уже привычную ему дипломатическую роль, Троцкий заявил, что расценивает действия Германии как

вмешательство во внутренние дела его страны, — но это было все, что он мог сделать. 30 декабря (12 января) страны Четверного союза признали Украинскую раду законным правительством. Это было прелюдией к заключению сепаратного мира с Украиной.

Затем Германия огласила свои территориальные претензии. Кюльман уведомил Троцкого, что его страна находит требование России о заключении мира «без аннексий и контрибуции» неприемлемым и намерена оставить за собой оккупированные территории. Что касается предложения Чернина отказаться от всех завоеваний, оно теряет силу, поскольку ставит условием, что союзники России присоединятся к мирным переговорам, а этого не произошло. 5(18) января генерал Макс Хоффман развернул под недоверчивыми взглядами русских карту, на которой были представлены новые границы между двумя государствами[31]. Отделялась Польша, обширные территории на западе России, включая Литву и Южную Латвию, отходили к Германии. Троцкий заявил, что его правительство находит эти империалистические претензии абсолютно неприемлемыми. 5 (18) января, в день, когда большевики разогнали Учредительное собрание, он имел бесстыдство заявить, что советское правительство «придерживается взгляда, что там, где на карту поставлена судьба только что сложившейся нации, лучшим средством выражения воли народа является референдум»[32].

Троцкий сообщил об условиях Германии Ленину, вслед за чем потребовал отсрочки политических переговоров на двенадцать дней и в тот же день отбыл в Петроград, оставив вместо себя Иоффе. Насколько занервничало правительство Германии при известии об

отсрочке, можно судить по тому, что информируя Берлин, Кюльман настойчиво подчеркивал: требование большевиков об отсрочке не означает провала переговоров[33]. У Германии были основания опасаться, что срыв мирных переговоров может вызвать массовые волнения в индустриальных центрах страны. 28 января в различных частях Германии, включая Берлин, Гамбург, Бремен, Киль, Лейпциг, Мюнхен и Эссен, прошла организованная левыми социалистами волна политических забастовок, в которых приняло участие более миллиона рабочих. То там, то тут возникали «рабочие Советы». Забастовщики призывали к заключению мира без аннексий и контрибуций и к соблюдению права народов Восточной Европы на самоопределение — то есть к заключению мира на условиях России[34]. Нет сведений о прямом участии большевиков в организации этих забастовок, но влияние большевистской пропаганды на принимавших участие в них не вызывает сомнения. Германские власти ответили на забастовки энергичными, порой жестокими репрессиями, и к 3 февраля правительство овладело ситуацией. Однако волнения в стране были тревожным знаком и свидетельствовали, что независимо от того, как складывается обстановка на фронтах, внутренняя ситуация остается нестабильной. Народ хотел мира, а у русских, казалось, был ключ к нему.

* * *

Условия, выставленные Германией, разделили большевистское руководство на три противоборствующие группировки, которые затем преобразовались в две.

Бухаринская фракция выступала за прекращение переговоров и продолжение военных действий, преимущественно методами партизанской войны, и параллельное раздувание пожара революции в Германии. Позиция эта снискала популярность в рядах большевиков: и петроградский, и московский партийные комитеты выдвинули резолюции в этом духе[35]. Биограф Бухарина полагает, что эта политика, позднее получившая название «левого коммунизма», отражала чаяния большевистского большинства[36]. Бухарин и его последователи считали, что Западная Европа находится на заре революции: поскольку было общепризнано, что такая революция необходима для выживания большевистского режима, заключение мира с «империалистической» Германией представлялось им не только безнравственностью, но и пораженчеством.

Вторую фракцию возглавлял Троцкий, и расходилась она с левыми коммунистами в мелких нюансах тактики. Как и Бухарин, Троцкий отвергал германский ультиматум, но — во имя необычного лозунга «ни войны, ни мира». Россия должна была прекратить брестские переговоры и односторонне объявить войну законченной. Германия тогда вольна будет сделать то, к чему стремится (в любом случае Россия не сможет ей в этом помешать), — присоединить обширные территории по западной и юго-западной границе, но действовать в этом случае она станет без согласия и соучастия России. Подобные меры должны были, по мнению Троцкого, снять с России бремя утомительной войны, обнаружить

грубую суть германского империализма и вдохновить рабочих Германии на восстание.

Ленин, которого поддерживали Каменев, Зиновьев и Сталин, возражал и Бухарину, и Троцкому. Его уверенность, что решение нужно принимать срочно и что у России нет возможности вести торг дальше, подкреплялась сведениями из донесения в Совнарком от 31 декабря (13 января) комиссара по военным и морским делам Крыленко. На основании ответов на анкеты, распространявшиеся среди делегатов Всеармейской конференции по демобилизации, Крыленко делал выводы, что русская армия (вернее, то, что от нее осталось) небоеспособна[37]. Не располагая силами, которые можно было бы назвать армией, невозможно противостоять дисциплинированному и хорошо оснащенному противнику, — такова была точка зрения Ленина.

7(20) января Ленин обнародовал свою позицию в «Тезисах по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира»[38]. В них говорилось, в частности, следующее:

1. Прежде чем достигнуть полного триумфа, советской власти следует покончить с периодом анархии и гражданской войной, ей нужно время для «социалистического преобразования».

2. России требуются хотя бы несколько месяцев, «в течение которого социалистическое правительство должно иметь вполне развязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей собственной стране для налаживания <…> организационной работы».

3. Советская политика должна определяться внутренними причинами, поскольку нет уверенности в том, произойдет ли революция за рубежом.

4. В Германии заправляет «военная партия»: России будет предъявлен ультиматум с требованием территориальных уступок и денежных контрибуций. Правительство делало все возможное, чтобы затянуть переговоры, но эта тактика изжила себя.

5. Противники заключения немедленного мира с Германией на ее условиях неправы, когда говорят, что такой мир противоречит духу «пролетарского интернационализма». Если бы правительство продолжило войну против Германии, как того хотят оппоненты, оно не имело бы иного выбора, как искать помощи другого «империалистического блока», Антанты, и превратилось бы в пособника Англии и Франции. Продолжение войны, таким образом, не являлось бы шагом «анти-империалистическим», поскольку требовало бы сделать выбор между двумя «империалистическими» лагерями. Задача же советского правительства — не выбирать между «империалистами», а укреплять свои позиции.

6. Россия действительно должна вдохновлять революции за рубежом, но этого нельзя сделать без учета «соотношения классовых сил», — в настоящий момент русская армия бессильна остановить наступление Германии. Более того, «крестьянское большинство» русской армии высказывается за «аннексионистский мир», которого требует Германия.

7. Если Россия откажется принять предложенные Германией условия заключения мира, ей со временем придется согласиться на гораздо более невыгодные

условия, но делать это придется уже не «социалистическому» правительству, а какому-либо другому, поскольку большевики тогда уже будут отстранены от власти.

8. Передышка даст правительству возможность организовать экономику (национализировать банки и тяжелую промышленность), что «сделает социализм непобедимым и в России и во всем мире, создавая вместе с тем прочную экономическую базу для могучей рабоче-крестьянской Красной Армии».

У Ленина, кроме того, было еще одно соображение, которое он не мог высказать вслух, не обнаружив, что, несмотря на все свои протесты, в действительности он желал, чтобы мировая война продолжалась. Он был совершенно уверен, что как только буржуазия Четверного союза и Антанты заключит мир, они объединят силы для войны против советской России. Во время прений о Брестском мире он намекнул на существование такой опасности: «Наша революция порождена войной; не будь войны, мы наблюдали бы соединение капиталистов всего мира: сплочение на почве борьбы с нами»[39]. Проецируя на своих врагов свойственную ему самому воинственность, он сильно переоценивал их решительность и коварство: в действительности после ноябрьского перемирия 1918 года никакого «соединения» не произошло. Однако, уверенный, что угроза существует, он стремился продлить войну и выиграть время для создания военных сил, способных оказать сопротивление натиску «капиталистов».

8(21) января 1918 года большевики созвали конференцию, на которую съехались партийные вожаки

из трех цитаделей революции: из Москвы, Петрограда и с Урала. Ленин представил свою резолюцию о принятии ультиматума Германии: за нее проголосовали всего 15 человек из 63. Компромиссная резолюция Троцкого «ни войны, ни мира» получила 16 голосов. Большинство (32 делегата) проголосовали за резолюцию левых коммунистов, требующую бескопромиссной «революционной войны». [Ленин. ПСС. Т. 35. С. 478; Ленинский сборник. Т. 11. С. 41; Baumgart W. Deutsche Ostpolitik, 1918. Vienna; Munich, 1966. S. 22. Сталин, поддерживавший Ленина, говорил, что революции на Западе не видно. Протоколы конференции считаются утерянными. Isaac Steinberg утверждает, что левым эсерам импонировал лозунг «ни войны, ни мира» и что они приняли участие в его формулировании: Als tch Volkskommisar war. Munich, 1922. S. 190–192].

Затем дискуссия была перенесена в Центральный Комитет. Там Троцкий выступил за немедленное одностороннее прекращение военных действий и последующую демобилизацию русской армии. Проект был принят с незначительным перевесом голосов: 9 против 7. В ответ Ленин произнес вдохновенную речь о необходимости немедленного подписания мира на условиях Германии[40], но остался в меньшинстве, а на следующий день, когда большевистский Центральный Комитет устроил объединенную сессию с Центральным комитетом левых эсеров, резко протестовавших против мирных предложений Ленина, ситуация усугубилась. И на этой сессии прошла резолюция Троцкого.

Заручившись большинством голосов, Троцкий вернулся в Брест. Переговоры возобновились 15(28) января. Троцкий продолжал тянуть время, делая не имеющие отношения к сути переговоров заявления и

произнося пропагандистские речи. Это начало раздражать даже известного своим самообладанием Кюльмана.

В то время как русско-германские переговоры застопорились на пустословии, Германия и Австрия договаривались с Украиной. 9 февраля страны Четверного союза подписали сепаратный мирный договор с Украинской республикой, что de facto превращало ее в протекторат Германии[41]. Германские и австрийские войска заняли Украину и утвердили там до некоторой степени закон и порядок. Наградой за эту дружественную акцию было отправление на Запад многочисленных эшелонов с украинским продовольствием.

Русско-германские политические переговоры сошли с мертвой точки 9 февраля, когда кайзер, под влиянием своего генералитета, отправил в Брест телеграмму с приказом предъявить России ультиматум: «Сегодня большевистское правительство обратилось по радио непосредственно к моим войскам и призвало их к восстанию и прямому неповиновению своим высшим военачальникам. Ни я, ни его превосходительство фельдмаршал фон Гинденбург не можем более мириться и терпеть подобное положение вещей! Следует как можно скорее положить этому конец! Троцкий должен до 8 часов вечера завтрашнего дня, 10-го <…> подписать *без проволочек мир* на *наших* условиях <…> В случае отказа или попыток затяжки и проволочек и прочих отговорок в 8 часов вечера 10-го перерываются переговоры, прекращается перемирие; войска Восточного фронта выдвигаются в этом случае на предписанную линию»[42].

На следующий день Кюльман предъявил Троцкому ультиматум своего правительства: он должен подписать, без дальнейших обсуждений и отсрочек, германский текст мирного договора. Троцкий отказался сделать это, заявив, что советская Россия выходит из войны и начинает демобилизацию армии[43], а переговоры по проблемам экономики и права, которые были перенесены в Петроград, могут при желании сторон продолжаться. С тем Троцкий и отбыл в Петроград.

* * *

Необычное поведение Троцкого совершенно обескуражило германское руководство. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что русские использовали переговоры как прикрытие. Но даже и в этом случае было непонятно, как вести себя Германии. Продолжать бесплодные переговоры? Вынудить большевиков принять ультиматум, применив к ним военную силу? Или отстранить их от власти и заменить более приемлемым правительством?

Дипломаты рекомендовали сохранять терпение. Кюльман опасался, что возникнут проблемы с рабочими Германии: им будет сложно объяснить, почему на Восточном фронте возобновились военные действия. Он выразил беспокойство, что Австро-Венгрия может оказаться вынужденной выйти из войны[44].

Но у военных, которые зимой 1917/1918 годов играли ведущую роль в германской политике, было другое мнение. Передислоцируя войска на запад для

решительной кампании, запланированной на середину марта, они хотели быть абсолютно уверены в том, что Восточный фронт более не представляет для них опасности, — без этого они не могли продолжать переброску войск на Западный фронт, им нужен был доступ к русскому продовольствию и сырью. Военная разведка доносила из России, что у большевиков были самые дурные намерения относительно Германии, но также и что их собственная позиция была под угрозой. Глава оперативного отдела Адмиралтейства Вальтер фон Кайзерлинк, отбывший в Петроград в составе сопровождения Мирбаха, слал в Берлин тревожные донесения[45]. Наблюдая большевистский режим вблизи, он пришел к выводу, что это — «безумие у власти» (regierender Wahnsinn). По его мнению, режим, созданный евреями и для евреев, представлял смертельную угрозу не только для Германии, но и для всего цивилизованного мира. Он призывал отодвинуть русско-германскую границу как можно дальше на восток, чтобы оградить Германию от этой чумы. Кроме того, по мнению Кайзерлинка, следовало перенести в Россию часть промышленных интересов Германии: второй раз за свою историю Россия могла подвергнуться колонизации (намек на варягов). Другие донесения, полученные из первых рук, представляли большевиков слабым, лишенным симпатий меньшинством. Ленин, говорилось в них, снискал особую нелюбовь, и его приходится оберегать от покушений более усердно, чем любого царя. По информации, которую Кюльман получал из своих источников, большевиков поддерживали только латышские стрелки: если их перекупить, власть большевиков рухнет[46]. Донесения очевидцев произвели

сильное впечатление на кайзера и склонили его встать на точку зрения генералитета.

Проанализировав информацию о нестабильности большевистского правительства и учитывая недвусмысленные свидетельства того, что оно проводит систематическую кампанию по деморализации германской армии, Людендорф, при поддержке Гинденбурга, потребовал прекратить брестские переговоры и ввести в Россию войска для смещения большевиков и передачи власти в Петрограде более приемлемому правительству[47].

На происходившей 13 февраля под председательством кайзера конференции в Бад-Гомбурге рекомендации, данные министерством иностранных дел, пришли в противоречие с предложениями Генерального штаба[48]. Кюльман проводил линию примиренческую. Клинком, говорил он, не истребить этот «очаг революционной чумы». Даже если Германия оккупирует Петроград, проблема этим не снимется: французская революция уже доказала, что иностранная интервенция только разжигает националистические и революционные страсти. Наилучшим средством, утверждал он, был бы антибольшевистский переворот, проведенный самими русскими при поддержке Германии. Однако оставалось неясным, рекомендует ли он прибегнуть в данном случае к этим мерам. Министра иностранных дел поддержал вице-канцлер Фридрих фон Пайер, упомянувший о широко распространенном среди народа Германии стремлении к миру и невозможности свергнуть большевиков военным путем.

Гинденбург это оспаривал. Если не будут предприняты решительные шаги на Востоке, говорил он,

война на Западном фронте будет тянуться бесконечно. Он призывал «разгромить русских и свергнуть их правительство».

Кайзер выступил на стороне генералов. Троцкий, говорил он, прибыл в Брест не для того, чтобы заключить мир, а чтобы подстрекать к революции, что и проделывал при поддержке стран Согласия. Посланнику Великобритании в России следовало внушить, что большевики — это и его враги: «Англия должна бороться против большевиков совместно с Германией. Большевики — тигры, и их нужно всячески уничтожать». Германии следует в любом случае действовать решительно, иначе Соединенные Штаты и Англия перехватят инициативу в России. С большевиками, таким образом, следовало «кончать». «Русский народ» был «выдан на месть евреям, которые связаны со всеми евреями мира, т. е. масоны»[49]. [Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. Т. 1. М., 1968. С. 328. Хотя и вызванная к жизни донесениями Кайзерлинка из Петрограда, эта антисемитская ремарка перекликается с так называемыми «Протоколами сионских мудрецов», которые вскоре стали излюбленным чтивом обывателя, пытавшегося объяснить себе возникновение мировой войны и коммунизма.].

Конференция постановила, что перемирие продлится до 17 февраля, после чего германская армия возобновит военные действия против России. Цель наступательной операции была не очень ясна. От военного плана свержения большевиков вскоре отказались из-за возражений со стороны гражданских властей.

В соответствии с полученными инструкциями германский штаб в Бресте уведомил русских, что в полдень 17 февраля Германия возобновит военные действия на Восточном фронте. Миссии Мирбаха в Петрограде был отправлен приказ возвращаться на родину.

Несмотря на всю решительность, выказанную Германией, оставалось неясным, понимает ли она сама, чего хочет: заставить большевиков принять продиктованные условия мира или отстранить их от власти. Ни тогда, ни позже Германия не могла определить своих приоритетов: была ли она более заинтересована в захвате русских территорий или в создании в России приемлемого для нее правительства. В конце концов возобладала территориальная жадность.

* * *

Нота Германии о возобновлении военных действий была получена в Петрограде во второй половине дня 17 февраля. На немедленно созванном совещании в Центральном Комитете Ленин вновь призывал вернуться в Брест и капитулировать, но и в этот раз потерпел досадное поражение: шесть голосов против пяти[50]. Большинство хотело подождать и посмотреть, выполнит ли Германия свою угрозу: если германские войска действительно войдут в Россию, а в самой Германии и в Австрии не произойдет революции, у России еще будет время склониться перед неизбежностью.

Германия сдержала свое слово. 17 февраля ее армия перешла в наступление и, не встретив сопротивления, заняла Двинск. Генерал Хоффман описывал операцию следующим образом: «Это самая комическая война, в какой мне когда-либо приходилось участвовать, — она ведется исключительно в поездах и автомобилях. Сажаешь в поезд несколько пехотинцев с пулеметами и одним артиллерийским орудием, продвигаешься до следующей железнодорожной станции, берешь ее, арестовываешь большевиков, сажаешь в поезд следующий отряд и продолжаешь двигаться вперед. Как бы то ни было, в этом есть очарование новизны»[51].

Ленин ухватился за наступление немцев как за последнюю возможность настоять на своем. Пассивность русских войск, хотя не являлась полной неожиданностью, тем не менее поразила его. При полном нежелании воевать Россия оказывалась беззащитной и открытой для вражеского нашествия. Похоже, что Ленин располагал сведениями о наиболее существенных решениях германского правительства, возможно, переданными ему доброжелателями в Германии через большевистских агентов в Швейцарии или Швеции. На основании этой информации он сделал вывод, что Германия собирается занять Петроград и, видимо, Москву. Его бесила самоуверенность его соратников. Ничто (и он понимал это) не могло помешать Германии повторить в России украинский переворот — то есть заменить его, Ленина, марионеткой из правых и затем подавить революцию.

Однако же, когда Центральный Комитет собрался снова 18 февраля, Ленин опять не получил большинства. Его резолюция о принятии условий Германии получила поддержку в шесть голосов — против семи,

поддержавших совместно выдвинутую резолюцию Бухарина и Троцкого. Руководство партии безнадежно увязло в разногласиях. Возникала опасность, что раскол затронет рядовых членов партии и дисциплина, основной источник силы партии, придет в полный упадок.

В этот критический момент на помощь Ленину пришел Троцкий: он передумал и вместо того, чтобы проголосовать за свою резолюцию, проголосовал за ленинскую. Биограф Троцкого считает, что сделано это было отчасти во исполнение некогда данного Ленину обещания капитулировать, если Германия введет в Россию войска, отчасти же, чтобы предотвратить возникновение губительного раскола в партии[52]. При следующем голосовании ленинская резолюция получила семь голосов «за» и шесть — «против»[53]. Выиграв с этим незначительнейшим перевесом, Ленин набросал черновик телеграммы, извещающей Германию, что русская делегация выезжает в Брест[54]. Текст был показан нескольким левым эсерам и, когда они одобрили ее, отправлен по назначению.

Однако же очень скоро большевистское руководство испытало шок. Вместо того чтобы прекратить наступление, войска Германии и Австрии продолжали двигаться в глубь российской территории. На севере германские части заняли Ливонию, в центральных областях продвигались, не встречая сопротивления, к Минску и Пскову. На юге наступали австрийские и венгерские части. То, что военная операция продолжалась, хотя Россия объявила о готовности согласиться на условия Германии, могло означать только одно: в Берлине решили захватить русские столицы и свергнуть большевиков. Именно здесь Ленин в свое

время поклялся не уступать: по словам Исаака Штейнберга, 18 февраля он заявил, что откроет военные действия только в том случае, если Германия потребует, чтобы его правительство отошло от власти[55].

Дни шли, германская армия продвигалась вперед, а ответа на телеграмму все не поступало. Большевистских вожаков охватила паника, и они приняли чрезвычайные меры, одна из которых имела затем очень серьезные последствия. 21–22 февраля, все еще не получив от Германии ни слова в ответ, Ленин составил и подписал декрет, озаглавленный «Социалистическое отечество в опасности»[56]. В преамбуле говорилось: действия Германии ясно показывают, что она решила свергнуть социалистическое правительство и реставрировать монархию в России. Необходимо принять срочные меры для защиты «социалистического отечества». Одной из них был принудительный призыв «всех работоспособных членов буржуазного класса» в специальные батальоны для рытья окопов. За отказ полагался расстрел. (Отсюда пошла практика принудительного труда, которая впоследствии применялась к миллионам граждан страны.) Следующий пункт гласил, что «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». (Этим была введена практика наказаний без суда и следствия за преступления, не определенные ни в уголовном кодексе, ни где-либо еще, поскольку старое законодательство было к тому времени упразднено[57].) В декрете ни слова не было сказано ни о суде, ни даже о следствии по делам приговариваемых к высшей мере наказания. Таким образом, ЧК получила право убивать, чем она незамедлительно воспользовалась. Эти два пункта

ленинского декрета открывали эпоху коммунистического террора.

Ленин предупреждал уже своих соратников, что, если Германия возобновит военные действия, большевикам придется искать поддержки у Франции и Англии, и теперь они оказались вынуждены прибегнуть к этому средству.

Хотя германское правительство долго не могло решить, какому из мотивов отдать предпочтение, оно, наконец, сумело разграничить свои кратковременные интересы в России в связи с войной и имеющую большие перспективы геополитическую значимость России для Германии. У союзников же был только один интерес в России — не дать ей выйти из войны. Коллапс России и перспектива заключения ею сепаратного мира воспринимались союзниками как катастрофа, очевидным следствием которой могла стать победа Германии, поскольку десятки переброшенных на запад дивизий могли сокрушить истощенные силы Англии и Франции прежде, чем подоспеет многочисленное американское подкрепление. Таким образом, для союзников задачей первоочередной важности в отношении России было оживить военные действия на Восточном фронте — либо с помощью большевиков, либо, если это не удастся, с помощью любой другой силы: антибольшевистски настроенных русских, Японии, чешских военнопленных, содержащихся в русских лагерях, или, в крайнем случае, своих собственных войск. Кто такие были большевики, каковы их цели, союзников не интересовало: их внимание не привлекала ни внутренняя политика большевистских властей, ни их действия на международной арене, вызвавшие все большую озабоченность Германии. «Братания», обращения

большевиков к рабочим с призывом бастовать и к солдатам с призывом не повиноваться командованию не находили отклика у народов стран Согласия и не представляли поэтому повода для беспокойства. Позиция стран Согласия была ясна и проста. Большевистский режим становился врагом, если заключал мир с Четверным союзом, но оставался другом и союзником, если продолжал военные действия. По словам министра иностранных дел Англии Артура Бальфура, покуда русские воюют против Германии, их дело — это «наше дело»[58]. Дэвид Френсис, посланник США в России, выражал сходные чувства в письме от 2 января 1918 года, адресованном ленинскому правительству (оно так и не было отправлено): «Если русская армия под командованием народных комиссаров начнет теперь и проведет серьезные военные действия против сил Германии и ее союзников, я буду рекомендовать своему правительству формально признать существующее de facto правительство народных комиссаров»[59]. Союзники располагали крайне неадекватной информацией о внутренней ситуации в большевистской России, главным образом потому, что не имели к этому никакого интереса. Их дипломатические миссии тоже не слишком хорошо справлялись со своими задачами. Джордж Бьюкенен, посол Англии, был компетентным, но вполне заурядным чиновником дипломатического ведомства; Дэвид Френсис, банкир из Сент-Луиса, оставался, видимо, не более чем «обаятельным старым господином», как выразился о нем один английский дипломат. Ни тот, ни другой, казалось, не понимали всей исторической значимости событий, в центре которых они оказались. Посол Франции Жозеф Нуланс, социалист и в прошлом министр обороны, интеллектуально был более пригоден

для выполнения своей работы, но нелюбовь к русским и авторитарная бесцеремонность сводили на нет его профессиональную хватку. Положение усугублялось тем, что в марте 1918 года дипломатические миссии союзников потеряли прямой контакт с большевистским руководством, поскольку не последовали за правительством в Москву, а выехали из Петрограда сначала в Вологду, а затем, в июле, — в Архангельск. [Все три союзнических посла написали впоследствии мемуары: Buchanan G. My Mission to Russia. 2 vols. Lnd., 1923; Francis D. Russia from the American Embassy. N.Y., 1921; Noulens J. Mon Ambassade en Russie Sovietique. 2 vols. Paris, 1933]. Это заставляло их довольствоваться информацией, получаемой из вторых рук, от агентуры из Москвы.

Агентура была представлена молодыми людьми, которые завязли в российской драме телом и душой. Брюс Локкарт, бывший консул Англии в Москве, служил связующим звеном между Совнаркомом и Лондоном; Раймонд Робинс, глава миссии Красного Креста США в России, поставлял сведения в Вашингтон, а капитан Жак Садуль — в Париж. Большевики не принимали этих посредников всерьез, но находили их полезными: их обхаживали, им льстили, с ними обходились как с доверенными лицами. Прибегая к подобным хитростям, удалось убедить Локкарта, Робинса и Садуля, что, если страны, которые они представляли, окажут России военную и экономическую помощь, большевики отвернутся от Германии и, возможно, снова вступят в войну. Не понимая, что ими манипулируют, все три агента усвоили эту точку зрения и стали энергично ее навязывать как собственную своим правительствам.

Самую сильную идеологическую склонность к большевикам питал Садуль, социалист и сын участницы Парижской коммуны: в августе 1918 года он перебежал к русским, за что на родине его заочно приговорили к смертной казни как дезертира и предателя. [Приговор не был приведен в исполнение, когда Садуль вернулся на родину и вступил во Французскую компартию. Его воспоминания о революции приводятся во впервые опубликованных письмах к Альберту Тома: Notes sur la Revolution Bolchevique. Paris, 1922. См. также: Quarante Lettres de Jacques Sadoul. Paris, 1922].

Робинс, человек хитрый и двуличный, при встречах с Лениным и Троцким высказывался с энтузиазмом в их поддержку, вернувшись же в США, сделал вид, будто все время боролся с большевизмом. Этот сочувствующий социалистам подполковник-самозванец, человек состоятельный, общественный деятель и организатор рабочих масс, отослал Ленину перед отъездом из России следующее письмо: «Ваша пророческая проницательность и гениальное руководство позволили советской власти укрепиться во всей России, и я уверен, что этот новый созидательный орган демократического образа жизни людей вдохновит и двинет вперед дело свободы во всем мире. [Письмо датировано 25 апреля 1918 года и находится в Raymond Robins Collection, State Historical Society of Wisconsin, Madison, Wisconsin. В ответном письме Ленин выражал уверенность, что «пролетарская демократия… сокрушит… империалистически-капиталистическую систему в Новом и Старом Свете» (Документы внешней политики СССР. М., 1957. Т. 1. С. 276).]. Он обещал затем, что по возвраще нии «продолжит усилия» по разъяснению принципов «новой демократии» американскому народу.

Некоторое время спустя, выступая перед сенатской комиссией по ситуации в советской России, Робинс настаивал на оказании экономической помощи Москве, утверждая, что это якобы послужит «разрушению большевистской власти». [Кеппап G.F. The Decision to Intervene. Princeton, N.Y., 1958. P. 237–238. Имея в виду приведенные доводы, трудно согласиться с Кеннаном, что Робинс «в его отношении к советскому правительству не руководствовался никаким особым пристрастием к социализму как доктрине» или что он не был никак «предрасположен к коммунистической идеологии» (P. 240–241). Впоследствии Робинс превозносил Сталина и был им принят в 1933 г. См: Meiburger A.V. Efforts of Raymond Robins Toward the Recognition of Soviet Russia and the Outlawry of War, 1917–1933. Washington, D.C., 1958. P. 193–199].

Локкарт был идеологически ангажирован меньше первых двух, но и он невольно стал орудием большевистской политики. [См. его: Memoirs of a British Agent. Lnd., 1935. См. также: The Two Revolutions: An Eyewitness Account. Lnd., 1967].

* * *

После большевистского переворота Садуль и Робинс время от времени встречались с Лениным, Троцким и другими коммунистическими вожаками. Во второй половине февраля 1918 года контакты участились и происходили довольно регулярно в период между принятием германского ультиматума (17 февраля) и

ратификацией Брестского договора (14 марта). На протяжении этих двух недель большевики, испугавшись, что Германия намеревается отстранить их от власти, усиленно взывали к союзникам о помощи. Реакция союзников была благосклонной. Наиболее доброжелательно повела себя Франция. Она прекратила всякую помощь формировавшейся на Дону антибольшевистской Добровольческой армии, которой Нуланс до того оказывал финансовую поддержку, желая использовать ее в военных действиях против Германии. В начале января 1918 года генерал Анри Ниссель, только что возглавивший военную миссию Франции в России, предложил отказать генералу Алексееву в помощи на том основании, что тот возглавлял «контрреволюционные» силы. Совет был принят: помощь Алексееву прекратилась, а Ниссель получил полномочия открыть переговоры с большевиками. [Hogenhuis-Seliverstoff A. Les Relations Franco-Sovietiques, 1917–1924. Paris, 1981. P. 53. Ниссель не упоминает этих фактов в своих мемуарах Le Triomphe des Bolcheviks.].

Локкарт тоже выступал против поддержки Добровольческой армии и характеризовал ее в донесениях своему министерству иностранных дел как контрреволюционную. По его мнению, единственной антигерманской силой в России, на которую можно опереться, были большевики[60].

В бурные дни, когда Германия возобновила военные действия, большевистское высшее руководство приняло решение просить помощи у союзников. 21 февраля Троцкий задал Нисселю через Садуля вопрос, готова ли Франция помочь советской России остановить наступление Германии. Ниссель связался с послом Франции и получил положительный ответ. В тот же день

Нуланс телеграфировал Троцкому из Вологды: «В вашем сопротивлении Германии вы можете рассчитывать на военное и финансовое содействие Франции»[61]. Далее Ниссель давал Троцкому рекомендации относительно мер, которые надлежало принять советской России, чтобы остановить германскую армию, и обещал выделить военных советников.

Ответ Франции был вынесен на обсуждение Центрального Комитета поздним вечером 22 февраля. К этому времени Троцкий уже располагал меморандумом Нисселя относительно мер, которые готова принять Франция в поддержку России[62]. В документе, ныне считающемся утерянным, содержались конкретные предложения о выделении денежной и военной помощи. Троцкий призывал принять помощь и выдвинул соответствующую резолюцию. Ленин, не имевший возможности присутствовать на заседании, проголосовал заочно при помощи лаконичной записки: «Прошу присоединить мой голос за взятие картошки и оружия у разбойников англо-французского империализма»[63]. Резолюция прошла с трудом — шестью голосами против пяти, поскольку против нее возражали Бухарин и другие сторонники «революционной войны». Потерпев поражение, Бухарин заявил, что выходит из Центрального Комитета и из редакции «Правды», но не сделал ни того, ни другого.

Как только Центральный Комитет закончил свои размышления — это произошло в ночь с 22-го на 23 февраля, — вопрос был поставлен перед Совнаркомом. Здесь резолюция Троцкого также была принята, несмотря на возражения левых эсеров.

На следующий день Троцкий известил Садуля о готовности своего правительства принять помощь Франции. Он пригласил Нисселя в Смольный для совещания с Подвойским, генералом Бонч-Бруевичем и другими большевистскими военными экспертами о подготовке операции против Германии. Ниссель придерживался мнения, что советской России следовало создать новые военные силы с помощью бывших офицеров царской армии, сотрудничеством которых можно было заручиться, воззвав к их патриотизму[64].

Под угрозой того, что Германия свергнет их власть, большевики полностью переориентировались. Они понимали, что союзники обращают мало внимания на внутреннюю и внешнюю политику России и окажут им щедрую помощь в ответ на возобновление военных действий на Восточном фронте. Не оставалось никаких сомнений в том, что, если германское руководство приняло рекомендации Людендорфа и Гинденбурга, большевикам, чтобы сохранить власть, следует объединиться с союзниками и дать им возможность использовать русскую территорию для военных операций против Четверного союза.

К концу февраля сотрудничество России и стран Четверного согласия продвинулось так далеко, что Ленин направил в Париж Каменева в качестве «дипломатического представителя». Каменев добирался до Парижа через Лондон и прибыл на французскую границу уже после ратификации Брестского мира. Прием ему был оказан прохладный. Франция не выдала ему въездной визы, и он отправился на родину. По пути в Россию он был задержан германскими властями и провел четыре месяца в заключении[65].

* * *

Получила ли Германия сведения о переговорах большевиков с Францией или это было простым совпадением, но случилось так, что ответ, которого от нее ждали с таким нетерпением, прибыл в то самое утро, когда Центральный Комитет и Совнарком приняли решение просить помощи у союзников[66]. Ответ подтвердил худшие опасения Ленина. Берлин претендовал теперь не только на территории, захваченные германской армией во время войны, но и на земли, занятые в продолжение недели после срыва брестских переговоров. Россия должна быта отдать Украину и Финляндию, демобилизовать армию и пойти на ряд экономических уступок. Нота была выдержана в форме ультиматума, на который требовалось дать ответ в течение 48 часов, после чего еще 72 часа отводилось на подписание договора.

Следующие два дня большевистское руководство провело в беспрерывных заседаниях. Ленин постоянно оказывался в меньшинстве. В конце концов он вырвал общее согласие, пригрозив, что в противном случае оставит все свои партийные и государственные посты.

По прочтении германской ноты Ленин сразу же созвал Центральный Комитет. На заседание прибыло пятнадцать человек[67]. Ультиматум Германии должен быть безусловно принят, считал Ленин, «политика революционной фразы окончена». Главным моментом, говорил он, является то, что, как бы унизительны ни

были условия Германии, «эти условия Советской власти не трогают», — то есть большевики могут оставаться у кормила. Если его коллеги и дальше собираются действовать, не считаясь с реальностью, то им придется делать это в одиночку, поскольку он, Ленин, выйдет тогда и из правительства, и из Центрального Комитета.

Затем он представил три ловко составленные резолюции: следует принять последний ультиматум Германии; Россия должна немедленно готовиться к развязыванию революционной войны; следует ознакомиться с мнением Советов Москвы, Петрограда и других городов по этому вопросу.

Угрозы Ленина подействовали: каждый понимал, что без него не будет ни партии большевиков, ни советского государства. По первой, критической резолюции он не получил большинства, но, поскольку четыре члена ЦК воздержались, она прошла семью голосами против четырех. Со второй и третьей резолюциями не возникло никаких проблем. После подсчета голосов Бухарин и еще три левых коммуниста в очередной раз заявили, что уходят со всех «ответственных постов» в партии и Совнаркоме, чем обеспечили себе возможность свободно вести агитацию против договора внутри и вне партийных кругов.

Решение принять ультиматум Германии еще должно было быть утверждено Центральным исполнительным комитетом, но Ленин настолько не сомневался в исходе дела, что велел операторам радиопередатчика в Царском Селе держать открытым один канал для передачи сообщения в Германию.

Вечером того же дня на заседании Исполкома Ленин сделал доклад о текущей ситуации[68]. При последовавшем

за тем голосовании его резолюция о принятии ультиматума получила формальное большинство, так как возражавшие против нее большевики покинули заседании, а часть оппонентов воздержалась. При окончательном подсчете голосов выяснилось, что за ленинскую резолюцию голосовали 116 человек, против — 85, воздержались от голосования 26. На основании этого не вполне удовлетворительного, но формально положительного результата Ленин написал ранним утром от лица Центрального исполнительного комитета ответ Германии, выражавший безусловное согласие на ее ультиматум. Текст был немедленно телеграфирован в Германию.

24 февраля утром Центральный Комитет встретился, чтобы избрать делегацию для поездки в Брест[69]. Было подано много заявлений об уходе с партийных и государственных постов. Троцкий, уже снявший с себя полномочия комиссара иностранных дел, оставлял теперь и все другие свои посты. Он выступал за более близкое сотрудничество с Францией и Англией, подчеркивал их готовность к сближению с советской Россией и отсутствие у них территориальных претензий. Вслед за Бухариным в отставку ушли несколько левых коммунистов. Они пояснили свои мотивы в открытом письме. Капитуляция перед требованиями Германии, писали они, нанесла тяжелый удар революционным силам за рубежом и оставила русскую революцию в изоляции. Более того, уступки, которые Россия готова была сделать германскому капитализму, могут иметь катастрофические последствия для социализма в России: «Сдача позиций пролетариата вовне неизбежно подготовляет сдачу и внутри». Большевикам не следовало ни капитулировать перед Четверным союзом,

ни сотрудничать со странами Согласия, но «развивать гражданскую войну в международном масштабе»[70].

Ленин, добившийся своей цели, просил Троцкого и левых коммунистов не оставлять должностей до возвращении делегации из Бреста. В эти трудные дни он показал себя блестящим руководителем, — он попеременно то льстил своим соратникам, то спорил с ними, не теряя при этом ни настойчивости, ни терпения. Это была, кажется, самая трудная политическая битва в его жизни.

Кого же следовало послать в Брест подписывать позорный диктат? Никто не хотел связывать свое имя с самым унизительным в русской истории договором. Иоффе попросту отказался. Троцкий, оставив все свои должности, сошел со сцены. Г.Я.Сокольников, старый большевик и бывший редактор «Правды», предложил кандидатуру Зиновьева. Зиновьев в ответ выдвинул Сокольникова[71]. Сокольников заявил на это, что в случае своего назначения выходит из состава Центрального Комитета. Мало-помалу его, однако, удалось уговорить возглавить русскую мирную делегацию, в состав которой входили Л.М.Петровский, Г.В.Чичерин, Г.И.Карахан. Делегация отбыла в Брест 24 февраля.

Насколько сильна была оппозиция по вопросу о капитуляции даже в ближайшем окружении Ленина, хорошо показывает тот факт, что 24 февраля Московское областное бюро партии большевиков единогласно осудило Брестский мир и приняло вотум недоверия Центральному Комитету[72].

Несмотря на капитуляцию русских, германская армия продолжала продвигаться вперед к обозначенной ее командованием демаркационной линии, которая

должна была стать новой границей между государствами. 24 февраля она оккупировала Дерпт и Псков и остановилась в 250 км от русской столицы. На следующий день были взяты Ревель и Борисов. Наступление продолжалось, даже когда русская делегация прибыла в Брест: 28 февраля австрийские войска взяли Бердичев, а 1 марта германские части оккупировали Гомель, а затем — Чернигов и Могилев. 2 марта германские самолеты сбросили бомбы на Петроград.

* * *

Ленин решил не рисковать (как он заявил 7 марта, не было «ни тени сомнений»[73] в том, что Германия намерена оккупировать Петроград) и приказал эвакуировать правительство в Москву. По свидетельству генерала Нисселя, перевозка из Петрограда материальной части осуществлялась с помощью специалистов, предоставленных французской военной миссией[74]. Не дожидаясь публикации какого бы то ни было официального распоряжения, комиссариаты в начале марта стали перемещаться в древнюю столицу. В статье под заглавием «Бегство», опубликованной 9 марта в «Новой жизни», дается картина охваченного паникой Петрограда, толп, осаждающих железнодорожные вокзалы и, при невозможности сесть на поезд, покидающих город пешком или в телегах. Жизнь в городе остановилась: не было ни электричества, ни топлива, ни медицинской помощи; прекратили работу

школы и городской транспорт. То и дело происходили перестрелки и самосуды[75].

Решение перенести столицу коммунистического государства в Москву, принимая во внимание незащищенное положение Петрограда и невозможность составить суждение о намерениях Германии, имело веские основания. Трудно, однако, забыть, что, когда Временное правительство полугодом раньше по сходным причинам собиралось эвакуироваться из Петрограда, никто не нападал на него с обвинениями в государственной измене яростнее, чем большевики.

Правительство переезжало с соблюдением всех мер предосторожности. Руководство партии и правительственная верхушка, включая членов Центрального Комитета, большевистское руководство профсоюзов, редакторов коммунистических газет, эвакуировались первыми. В Москве все разместились в реквизированных особняках.

Ленин улизнул из Петрограда в ночь с 10-го на 11 марта в сопровождении жены и своего секретаря В.Д.Бонч-Бруевича[76]. Путешествие это организовывалось в глубочайшей тайне. Компания ехала специальным поездом под охраной латышских стрелков. Ранним утром они натолкнулись на состав, заполненный дезертирами, и, поскольку намерения последних были неясны, Бонч-Бруевич распорядился состав остановить и всех разоружить. Затем поезд двинулся дальше и прибыл в Москву поздним вечером. О приезде Ленина никто не был предупрежден, и самозваный вождь мирового пролетариата проскользнул в столицу, как ни один правитель до него, — встреченный только сестрой.

Жилые комнаты и рабочий кабинет для Ленина были отведены в Кремле. Здесь, за крепостными стенами и тяжелыми воротами, обрело новое пристанище большевистское правительство. Народные комиссары и члены их семей также нашли укрытие за кремлевскими стенами. Безопасность крепости была вверена латышским стрелкам, которые выдворили из Кремля его бывших обитателей, включая группу монахов.

Несмотря на то, что вся операция была предпринята из соображений безопасности, решение Ленина перенести столицу России в Москву и расположиться в Кремле коренилось глубже. Оно означало некоторым образом отказ от прозападного курса, введенного Петром Первым, и возвращение к более старой, московской традиции. Переезд был объявлен «временным», но оказался постоянным. В нем отразился смертельный страх нового руководства за свою личную безопасность. Чтобы понять весь драматизм подобных перемещений, нужно на минуту представить себе, что премьер-министр Англии вдруг решил покинуть Даунинг-стрит и перенести свою резиденцию и канцелярию, а также резиденции и канцелярии членов Кабинета в Тауэр, чтобы править страной оттуда под охраной сикхов.

* * *

Русские прибыли в Брест 1 марта и через два дня, без дальнейших обсуждений, подписали текст договора, составленный Германией.

Условия договора были чрезвычайно обременительными. Они давали возможность представить, какой мир должны были бы подписать страны Четверного согласия, проиграй они войну, и свидетельствовали о том, как безосновательны были жалобы Германии на Версальский мир, бывший во всех отношениях более мягким, чем договор, на который вынуждено шла беспомощная Россия.

России надлежало сделать множество территориальных уступок, которые стоили ей большей части завоеваний начиная с середины XVII века: на западе, северо-западе и юго-западе ее границы сужались до границ бывшего Московского княжества. Она уступала Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, а также Закавказье, которые затем должны были либо войти в состав Германии, либо стать германскими протекторатами. Москва также признала Украину независимым государством. [В соответствии с условиями мирного договора Москва в середине апреля предложила украинскому правительству открыть переговоры о последующем взаимном официальном признании. Из-за различных препятствий внутриполитического характера со стороны Украины переговоры эти начались только 23 мая. 14 июня 1918 г. правительства советской России и Украины подписали временный мирный договор, за которым должны были последовать заключительные мирные переговоры, но до них дело не дошло (см.: The New York Times. 1918. 16 June. P. 3).]. Таким образом, Россия должна была отдать 750 000 кв. км, что составляло территорию в два раза большую, чем территория Германской империи: в результате подписания Брестского мира площадь Германии вырастала в три раза[77].

Уступленные территории, которые Россия в свое время отвоевала у Швеции и Польши, были землями богатейшими и густо населенными. На них проживало 26 % ее населения, в том числе /з горожан. По оценкам того времени[78], эти земли составляли до 37 % всей сельскохозяйственной продукции России. На них было сосредоточено 28 % ее промышленных предприятий, 26 % железнодорожных путей, три четверти угольных шахт и железных рудников.

Но еще более тяжелое требование содержалось в приложении, в пунктах договора, касающихся экономики, которые гарантировали Германии исключительный статус в советской России[79]. Многие русские были уверены, что Германия намеревалась воспользоваться этими правами не ради экономических выгод, но чтобы задушить русский социализм. В теории права эти были обоюдными, но положение России не позволяло ей требовать своей доли.

Граждане и корпорации стран Четверного союза не подпадали под действие Декрета о национализации, принятого большевиками после их прихода к власти: им разрешалось владеть в России движимой и недвижимой собственностью, заниматься на ее территории коммерцией, предпринимательством и профессиональной деятельностью. Они могли вывозить из России имущество, не платя пошлин. Правило это имело обратное действие: лица, утратившие в течение войны недвижимое имущество или право на возделывание земли и разработку рудников, восстанавливались в своих владениях и правах; если имущество было национализировано, владельцам должна была быть выплачена адекватная компенсация. То же относилось к

держателям ценных бумаг национализированных предприятий. Ставились условия относительно свободного провоза промышленных товаров из одной страны в другую, причем каждая сторона должна была гарантировать другой статус наибольшего благоприятствования. Отказываясь от декрета, принятого в январе 1918 года, в котором Россия аннулировала государственные долги, советское правительство признавало свои обязательства по уплате этих долгов странам Четверного союза и должно было возобновить выплаты по ним на условиях, которые оговаривались отдельно.

Условия эти давали странам Четверного союза — более всего Германии — беспрецедентные экстратерриториальные привилегии в советской России, ставя их над общим экономическим режимом страны и позволяя заниматься частным предпринимательством на фоне ее становящейся все более социалистической экономики. Германия превратилась таким образом в совладельца России: она располагала полной свободой заправлять частным сектором, в то время как российскому правительству оставалось управлять сектором национализированным. По условиям договора владельцы русских промышленных предприятий, банков, ценных бумаг могли продавать их германцам, изымая таким образом их из-под контроля коммунистов. Как нами будет показано, чтобы избежать этого, большевики в июне 1918 года национализировали все крупные промышленные предприятия.

В другом пункте договора Россия обязывалась демобилизовать армию и флот (другими словами, остаться беззащитной); воздерживаться от агитации и пропаганды, направленных против правительств,

общественных учреждений и вооруженных сил означенных стран; соблюдать суверенитет Афганистана и Персии.

Когда советское правительство довело условия Брестского мирного договора до сведения населения, — а сделало оно это не сразу, опасаясь общественной реакции, — по всему политическому спектру, от крайне правых до крайне левых, прошла волна протеста и негодования. По мнению Джона Уилер-Беннета, Ленин стал на время самым проклинаемым человеком в Европе[80]. Граф Мирбах, первый посол Германии в советской России, телеграфировал в мае в свое министерство иностранных дел, что русские все до одного настроены против мира и условия его считают более отвратительными, чем даже большевистская диктатура: «Несмотря на то, что большевистская власть принесла в Россию голод, преступность, тайные расстрелы, вызывающие непередаваемый ужас, ни один русский не согласился бы купить себе помощь Германии против большевиков ценой Брестского мира»[81]. Ни одно правительство России никогда не уступило таких обширных территорий и не предоставило иностранной державе таких исключительных привилегий. Россия не только «предала международный пролетариат», она дошла до того, что превратилась в германскую колонию. Широко ожидалось — консервативными кругами с ликованием, радикалами — с яростью, — что Германия употребит права, данные ей договором, на восстановление частного предпринимательства в России. В середине марта Петроград был полон, например, слухами о том, что Германия потребовала возвращения

трех национализированных банков их владельцам и что вскоре все банки будут денационализированы.

В соответствии с основным законом нового государства, мирный договор следовало ратифицировать через две недели на съезде Советов. Съезд, которому предназначено было это совершить, должен был открыться в Москве 14 марта.

* * *

У Ленина не было оснований доверять Германии, несмотря на то, что все поставленные ею условия были выполнены. Он был хорошо информирован о разделении мнений в германском правительстве и знал, что генералитет настаивал на устранении его от власти. Поэтому он предусмотрительно сохранил контакт с союзниками и решил сдержать данное им обещание произвести резкий поворот во внешней политике своего правительства в их пользу.

Уже после подписания (но до ратификации) Брестского мирного договора Троцкий передал Робинсу ноту, адресованную правительству США: «В случае, если а) Всероссийский съезд Советов откажется ратифицировать мирный договор с Германией, или б) если германское правительство, нарушив мирный договор, возобновит военные действия с тем, чтобы продолжить свой грабительный набег, или в) если советское правительство будет вынуждено действиями Германии отказаться от мирного договора — до или после его ратификации — и возобновить военные

действия, — во всех этих случаях чрезвычайно важно с точки зрения военных и политических планов советской власти получить ответ на следующие вопросы: 1) Может ли советское правительство рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов Северной Америки, Великобритании и Франции в борьбе против Германии? 2) Какой вид помощи может быть оказан в ближайшем будущем и на каких условиях — военное оборудование, транспортные средства, предметы первой необходимости? 3) Какой вид помощи может быть оказан в частности и в особенности Соединенными Штатами? — В случае, если Япония, в результате переговоров или по молчаливому соглашению с Германией или без такого соглашения, попытается захватить Владивосток и Восточносибирскую железную дорогу, что в таком случае грозило бы отрезать Россию от Тихого океана и сильно затруднило бы концентрацию советских войск на восток от Урала, — какие в этом случае были бы предприняты шаги союзниками, в частности и в особенности Соединенными Штатами, чтобы предотвратить высадку Японии на Дальнем Востоке и обеспечить непрерывность сообщения с Россией по Сибирской линии? — По мнению правительства Соединенных Штатов, в каком объеме — при соблюдении вышеупомянутых условий — будет получена помощь от Великобритании через Мурманск и Архангельск? Какие шаги правительство Великобритании могло бы предпринять, чтобы обеспечить эту помощь и уничтожить, таким образом, основания для слухов о ее якобы враждебных планах в отношении России на ближайшее будущее? — Все эти вопросы обусловлены той самоочевидной предпосылкой, что внутренняя и внешняя политика советского правительства будет и впредь проводиться в соответствии с принципами

международного социализма и что советское правительство сохраняет свою полную независимость от несоциалистических правительств»[82]. Последний абзац означал, что большевики оставляли за собой право добиваться свержения тех самых правительств, помощи которых они искали.

В тот же день, когда Троцкий передал ноту Раймонду Робинсу, он встретился с Брюсом Локкартом[83]. Он сообщил английскому агенту что приближающийся съезд Советов с большой вероятностью откажется ратифицировать Брестский договор и объявит войну Германии. Но, чтобы это произошло, союзники должны предложить России помощь. Далее, ссылаясь на широко обсуждающееся в столицах стран Согласия предложение о массированной высадке в Сибири японских экспедиционных войск с целью отвлечения Германии, Троцкий заявил, что подобное нарушение суверенитета России разрушило бы самую возможность ее сближения с союзниками. Информируя Лондон о соображениях Троцкого, Локкарт заявил, что в сделанных тем предложениях заключалась наилучшая возможность возобновить действия на Восточном фронте. Ему вторил посол США Френсис: он передал в Вашингтон, что, если союзники смогут оказать давление на Японию и заставить ее отказаться от планов высадки в Сибири, съезд Советов с большой вероятностью откажется от Брестского мирного договора[84].

Не было, конечно же, ни малейшей вероятности, что съезд Советов, укомплектованный обычным большевистским большинством, осмелится отнять у Ленина так дорого давшуюся ему победу. Большевики использовали эту возможность как приманку, чтобы

предотвратить то, чего они действительно боялись: оккупацию Сибири Японией и вмешательство последней в дела России на стороне антибольшевистских сил. По словам Нуланса, большевики настолько доверяли Локкарту, что позволяли ему связываться с Лондоном при помощи кода, что категорически воспрещалось даже официальным иностранным миссиям[85].

Первым вещественным результатом переговоров с союзниками явилась высадка небольшого контингента союзных войск в Мурманске 9 марта. С 1916 года там накопилось более 600 000 тонн военного оборудования, в большинстве своем неоплаченного, посланного русской армии и лежащего мертвым грузом из-за нехватки транспортных средств для переброски в глубь материка. Союзники опасались, что все это богатство может попасть в руки Германии либо в результате Брестского мира, либо вследствие захвата Мурманска германо-финскими силами. Они беспокоились также, что Германия может захватить близлежащую Печенгу (Петсамо) и построить там базу для подводных лодок.

Первым воззвал к союзникам о помощи Мурманский Совет, который телеграфировал в Петроград 5 марта, что «финские белогвардейцы», вероятно, при поддержке германских сил, ведут подготовку к атаке на Мурманск. Совет связался с военно-морскими силами Англии и одновременно запросил у Петрограда разрешение пригласить союзные военные силы. Троцкий сообщил Мурманскому Совету, что тот может воспользоваться военной помощью союзников[86]. Таким образом, впервые западные военные силы были задействованы в России по приглашению Мурманского Совета и с одобрения советского правительства. В речи, произнесенной 14

марта 1918 года, Ленин пояснил, что Англия и Франция высадили войска «с целью защиты Мурманского побережья»[87].

Группа союзных войск, высадившаяся в Мурманске, состояла из 150 английских моряков, нескольких французов и нескольких сот чехов[88]. В течение следующих недель Англия беспрерывно связывалась с Москвой по поводу Мурманска (к сожалению, содержание переговоров осталось недоступным для исследования). Обе стороны вступили в тесное сотрудничество, чтобы предотвратить захват Германией и Финляндией этого важного порта. Позднее, по требованию Германии, Москва заявила протест против присутствия военных сил союзников на русской земле, однако Садуль, находившийся в тесном контакте с Троцким, рекомендовал своему правительству не принимать этого близко к сердцу: «Ленин, Троцкий и Чичерин положительно воспринимают в данных обстоятельствах, т. е. в надежде на сближение с союзниками, англо-французскую высадку в Мурманске и Архангельске, и хорошо понятно, что, не желая дать Германии повода к заявлению протеста против этого очевидного нарушения мирного договора, они сами направляют заведомо формальный протест союзникам. Они чудесно понимают, что следует защищать эти северные порты и подходящие к ним железнодорожные пути от германо-финских поползновений»[89].

Перед самым началом Четвертого съезда Советов большевики провели VII (Внеочередной) съезд партии (6–8 марта). Повесткой дня этого спешно собранного заседания, на котором присутствовало 47 делегатов, был Брест-Литовск. Дискуссия в узком кругу посвященных,

особенно защита Лениным своей непопулярной позиции, дают редкую возможность оценить отношение коммунистов к международному праву и связям с другими странами.

Ленин энергично отстаивал свою позицию перед левыми коммунистами[90]. Он сделал экскурс в недавнее прошлое, напомнил аудитории, как легко было взять власть в России, но как трудно ее организовать. Нельзя просто перенести методы, доказавшие свою эффективность при захвате власти, на сложное дело управления. Он признал, что длительный мир с «капиталистическими» странами невозможен и что важно распространять революцию за рубежом. Но следует быть реалистами: вовсе не каждая промышленная забастовка на Западе чревата революцией. В полном противоречии с марксизмом он заключил, что гораздо труднее свершить революцию в демократических и капиталистических странах, чем в отсталой России.

Все это было давно известно. Новостью стали откровенные рассуждения Ленина по вопросу войны и мира. Он пытался успокоить аудиторию, встревоженную тем, что с ведущей «империалистической» державой заключен вечный мир. Во-первых, советское правительство намеревалось нарушить условия Брестского мира: в действительности его «уже тридцать — сорок раз нарушили» (это за три дня!). Во-вторых, подписание мира с Четверным союзом вовсе не означало отказа от классовой борьбы. Мир по самой своей природе — явление преходящее, «возможность собрать силы»: «история подсказывает, что мир есть передышка для войны». Другими словами, война — нормальное состояние, мир — передышка: с не-коммунистическими

странами длительного мира быть не может, возможно только временное прекращение военных действий, перемирие. Даже покуда мирный договор в силе, советское правительство — в нарушение его условий — займется организацией новых боеспособных военных сил. То есть, успокоил Ленин своих соратников, мирный договор, который их просят утвердить, — всего лишь небольшое отступление на пути к мировой революции.

Левые коммунисты снова заявили свои возражения[91], но не смогли собрать достаточного числа голосов. За резолюцию, одобряющую мирный договор, проголосовали 28 человек против 9 при одном воздержавшемся. Затем Ленин обратился к съезду с просьбой принять не подлежащую публикации в течение неопределенного времени тайную резолюцию, дающую Центральному Комитету «полномочие во всякий момент разорвать все мирные договоры с империалистическими и буржуазными государствами, а равно объявить им войну»[92]. С готовностью принятая и никогда формально не отмененная, резолюция эта давала горстке людей в большевистском Центральном Комитете власть разрывать по собственному усмотрению любые международные договоры, заключенные их правительством, и беспрепятственно объявить войну любой из иностранных держав.

* * *

Чтобы были соблюдены формальности, следовало ратифицировать договор. Несмотря на дурные

предчувствия, о которых Троцкий поведал представителям союзников, никто не сомневался, что ратификация состоится. Съезд являлся не демократически избранным органом, а собранием посвященных: две трети из 1100 или 1200 делегатов, собравшихся 14 марта, были большевиками. Ленин, выступая, как всегда, в защиту мирного договора, произнес две затянутые бессвязные речи, в которых призывал присутствующих к реализму, — говорил он как человек, дошедший до крайней степени изнеможения.

С большим нетерпением от ожидал ответа на свои вопросы, адресованные правительствам Соединенных Штатов и Англии, относительно экономической и военной помощи: ему было слишком хорошо известно, что, как только договор будет ратифицирован, шансы на получение помощи станут равны нулю.

В первые годы большевистского правления знание России и интерес к русским делам в мире находились в прямой зависимости от географической близости к ней. Германия, расположенная к России ближе других, презирала большевиков и боялась их, хотя и вступала с ними в деловые отношения. Франция и Англия не слишком интересовались действиями и намерениями большевиков, заботясь лишь о том, чтобы Россия не вышла из войны. Соединенные Штаты, находящиеся по ту сторону океана, казалось, приветствовали большевистскую власть и в течение многих месяцев после октябрьского переворота тешили себя фантастическими мечтами об открывшихся перед ними баснословных деловых возможностях, заискивая перед большевиками с целью завоевать их расположение.

Вудро Вильсон, похоже, действительно верил, что большевики были рупором русского народа[93], составляли отряд той великой интернациональной армии, которая, в его воображении, продвигалась к мировой демократии и вечному миру. Их воззвания к народам мира заслуживали, по его мнению, ответа. И такой ответ был дан в речи, содержавшей знаменитые четырнадцать пунктов и произнесенной 8 января 1918 года. Восхваляя поведение большевиков в Бресте, Вильсон превзошел самого себя: «Нам слышен… голос, зовущий к подобному определению принципа и цели, и он представляется мне более чарующим и влекущим, чем многие другие пронзительные голоса, которыми полнится тревожный воздух. Это — голос русского народа. Он изнурен, но вовсе не беспомощен перед лицом беспощадной германской державы, не знавшей до сих пор ни жалости, ни милосердия. Силы его безусловно подорваны. И все же дух его не сломлен. Ни в принципе, ни на деле он не пойдет на уступки. Его представление о том, что правильно, на что можно пойти из соображений гуманности и чести, было сформулировано с такой откровенностью, с таким величием духа, с такой широтой взгляда, такой вселенской прозорливостью, что это не может не вызвать восхищения у каждого друга человечества; эти люди отказались запятнать свои идеи или предать других ради собственной безопасности. Они просят нас сказать, чего мы желаем и чем, если такое отличие существует, наши цели и наш дух отличаются от их цели и духа; и я верю, что народ Соединенных Штатов захочет, чтобы я ответил со всей откровенностью и простотой. Поверят этому или нет его теперешние вожди, но наше сердечное желание и надежда — это

изыскать какой-либо способ помочь народу России достичь вожделенной свободы, мира и благоденствия»[94].

Потенциально существовало одно серьезное препятствие к сближению большевиков с союзниками, и им являлся вопрос о долгах России. Как уже отмечалось, в январе большевистское правительство отказалось от всех обязательств российского государства перед внутренними и внешними кредиторами[95]. Проделано это было не без опаски: большевики боялись, что подобное нарушение международного права, к тому же касающееся миллиардов долларов, могло вдохновить «капиталистов» на «крестовый поход». Однако всеобщее ожидание неизбежной революции на Западе пересилило страхи, и дело было сделано.

Но не случилось ни революции, ни антибольшевистского крестового похода. Западные державы отнеслись к новому нарушению международного права на редкость спокойно. Более того, американцы предприняли специальные усилия, чтобы убедить большевиков, что им нечего бояться. Ближайшего экономического советника Ленина, Юрия Ларина, посетил консул американского представительства в Петрограде и сообщил ему, что Соединенные Штаты не могут принципиально признать аннулирование займов, но готовы «фактически смириться с ним, не требовать оплаты и начать с Россией сношения, как будто с впервые появившейся на свет страной. В частности, возможно предоставление Соединенными Штатами… крупного промышленного кредита, в счет которого Россия могла бы выписывать из Америки машины и сырье всякого рода с доставкой в Мурманск, Архангельск или Владивосток». Чтобы

обеспечить выплаты по кредиту, продолжал консул США, Россия может сделать вклад золотом в банк нейтральной Швеции и гарантировать Соединенным Штатам концессии на Камчатке[96].

Какие еще требовались доказательства, что с «империалистическими разбойниками» можно вести дела, подстрекая одновременно их граждан на революцию? И почему было не натравить деловые круги одной страны на деловые круги другой? Или не науськать капиталистических промышленников и банкиров на военных? Политика типа «разделяй и властвуй» давала бесконечное число возможностей. И большевики, чтобы компенсировать свою слабость, старались эксплуатировать эти возможности до конца, соблазняя иностранные державы возможностью промышленного экспорта в обмен на продовольствие и сырье, которых у тех не было, в то время как население собственной, советской, страны страдало от голода и холода. Все сообщения, направленные большевикам правительством Соединенных Штатов в начале 1918 года, свидетельствовали о том, что Вашингтон принимал за чистую монету разглагольствования о демократии и мирных намерениях и совершенно игнорировал призывы к мировой революции. У Ленина и Троцкого были поэтому все основания ожидать положительного отклика на свою просьбу о помощи.

Ответ американцев на запрос от 5 марта прибыл в день открытия Четвертого съезда Советов (14 марта). Робинс передал его Ленину, а тот немедленно опубликовал в «Правде». Это было уклончивое обращение, адресованное не советскому правительству, а съезду Советов, — вероятно, исходя из предположения, что этот орган эквивалентен законодательной власти

США. В документе содержался отказ от предоставления помощи советской России в ближайшее время, но было заявлено что-то близкое к официальному признанию нового режима. Президент Америки писал:

«Я бы хотел воспользоваться случаем и обратиться к съезду Советов с тем, чтобы выразить искреннее сочувствие, которое питает народ Соединенных Штатов к русскому народу в этот момент, когда все силы Германии брошены на то, чтобы прервать и обратить вспять его борьбу за свободу и подменить волей Германии цели народа России.

Несмотря на то, что правительство Соединенных Штатов, к несчастью, не имеет возможности оказать ту прямую и эффективную помощь, которую оно хотело бы оказать, я прошу съезд заверить народ России, что оно использует любую возможность, чтобы обеспечить России состояние совершенной суверенности и независимости в ее делах, возвращение ее великой роли в жизни Европы и современного мира.

Сердце народа Соединенных Штатов находится всецело с народом России, совершающим попытку навсегда освободиться от самодержавного правительства и стать хозяином своей собственной жизни.

Вудро Вильсон. Вашингтон, 11 марта 1918 г.»[97].

Ответ правительства Великобритании был выдержан в том же духе.[98]

Это было не совсем то, чего ждали большевики: они переоценили свои возможности натравить один «империалистический» лагерь на другой. В надежде, что телеграмма Вильсона была лишь первым шагом, за которым могут последовать и другие, Ленин продолжал

осаждать Робинса и требовать от него продолжения. Когда стало очевидно, что больше никаких сообщений не будет, Ленин набросал оскорбительный ответ американскому «народу» (а не его президенту), в котором грозил, что в их стране не замедлит произойти революция:

«Съезд выражает свою признательность американскому народу и в первую голову трудящимся и эксплуатируемым классам Северо-Американских Соединенных Штатов по поводу выражения президентом Вильсоном своего сочувствия русскому народу, через Съезд Советов, в те дни, когда советская социалистическая республика России переживает тяжелые испытания.

Ставши нейтральной страной, Российская советская республика пользуется обращением к ней президента Вильсона, чтобы выразить всем народам, гибнущим и страдающим от ужасов империалистской войны, свое горячее сочувствие и твердую уверенность, что недалеко то счастливое время, когда трудящиеся массы всех буржуазных стран свергнут иго капитала и установят социалистическое устройство общества, единственно способное обеспечить прочный и справедливый мир, а равно культуру и благосостояние всех трудящихся»[99].

Съезд Советов, сотрясаемый взрывами хохота, единодушно (внеся незначительные поправки) принял эту резолюцию, которую Зиновьев назвал «звонкой пощечиной» американскому капитализму[100].

Съезд послушно ратифицировал Брестский мирный договор. Соответствующая резолюция получила 724 голоса, на 10 % меньше, чем присутствовало большевиков, но больше двух третей присутствовавших;

276 делегатов, примерно одна четверть, куда вошли почти все присутствовавшие левые эсеры и некоторые левые коммунисты, проголосовали против; 118 делегатов воздержались. После оглашения результатов голосования левые эсеры заявили, что они выходят из Совнаркома. Это положило конец фиктивно «коалиционному» правительству, хотя левые эсеры еще некоторое время продолжали работать в советских учреждениях на более низком уровне, включая ЧК.

Секретным голосованием съезд одобрил резолюцию большевистского Центрального Комитета, дающую правительству полномочия разорвать Брестский мир и объявить войну по своему усмотрению.

* * *

Прозорливо пойдя на унизительный мир, который дал ему выиграть необходимое время, а затем обрушился под действием собственной тяжести, Ленин заслужил широкое доверие большевиков. Когда 13 ноября 1918 года они разорвали Брестский мир, вслед за чем Германия капитулировала перед западными союзниками, авторитет Ленина был вознесен в большевистском движении на беспрецедентную высоту. Ничто лучше не служило его репутации человека, не совершающего политических ошибок; никогда больше ему не приходилось грозить уйти в отставку, чтобы настоять на своем.

Не имеется, однако, никаких прямых указаний на то, что Ленин предвидел незамедлительное крушение

Четверного союза, когда оказывал давление на своих соратников и заставлял их пойти на уступки Германии. Ни в одной из его речей и статей, произнесенных и написанных между декабрем 1917-го и мартом 1918 года, ни в узком, ни в широком кругу, не было сделано ни малейшего намека на то, что дни Германии сочтены и что советская Россия вскоре вернет себе все потерянное по договору, хотя он и использовал каждую мыслимую возможность, чтобы убедить и сломить оппозицию. Совсем наоборот. Весной и летом 1918 года Ленин, казалось, разделял убеждение верховного командования Германии, что союзникам будет нанесено сокрушительное поражение. Л.Б.Красин выступил, конечно же, не только от своего имени, когда в сентябре 1918 года, вернувшись из Германии, заверял читателей «Известий», что Германия, благодаря ее превосходной организации и дисциплине, сможет без труда вести войну еще один, пятый, год[101]. Уверенность большевиков в победе Германии подтверждается тщательно продуманными неофициальными соглашениями, заключенными между Москвой и Берлином в августе 1918 года, соглашениями, которые обе страны воспринимали как прелюдию к оформлению официального союза[102]. Насколько невероятным казалось Москве поражение Германии, показывает тот факт, что уже в сентябре 1918 года, когда имперская Германия находилась в предсмертной агонии, Ленин распорядился отправить в Берлин материальные ценности на сумму 312,5 млн. немецких марок в соответствии с дополнительным пунктом Брестского мирного договора, подписанным 27 августа, — несмотря на то, что он мог с полной безнаказанностью отложить эти выплаты, а впоследствии и вовсе отменить их. Всего за неделю до того, как

Германия запросила мира, советское правительство заново подтвердило право ее граждан на изъятие вложений в советские банки и вывоз их из страны[103]. Все это подводит нас к неизбежному выводу о том, что Ленин склонился перед германским «диктатом» не потому, что считал Германию неспособной удержать его достаточно долгое время, а наоборот: уверенный в победе Германии, он хотел быть на стороне победителя.

Обстоятельства, окружавшие подписание Брестского мирного договора, представляют собой классическую модель того, что стало впоследствии на долгие годы советской внешней политикой. Характеризующие ее принципы могут быть сформулированы следующим образом:

1. Во все времена и повсеместно наивысший приоритет остается за сохранением политической власти — то есть суверенных полномочий и контроля государственного аппарата над некоторой частью национальной территории. Это минимальный предел. Нет цены, которую нельзя было бы за это заплатить, нет того, чем нельзя было бы ради этого поступиться: будь то человеческая жизнь, земля и природные богатства, честь нации.

2. После Октябрьской революции Россия превратилась в центр (и оазис) мирового социализма, ее безопасность и интересы ставятся выше интересов и безопасности любой другой страны, дела и партии, выше интересов «международного пролетариата». Советская Россия — воплощение мирового социалистического движения, центр, развивающий и внедряющий «дело социализма».

3. Для получения временных преимуществ не возбраняется заключить мир с «империалистическими» странами, но мир этот должен восприниматься как вооруженное перемирие, и его можно нарушить, если ситуация переменилась в вашу пользу. Пока з мире существует капитализм, как сказал Ленин в мае 1918 года, все международные соглашения — «не более, как клочок бумаги»[104]. Даже во время номинального перемирия следует любыми возможными способами продолжать военные действия против правительств тех стран, с которыми заключен мирный договор.

4. Поскольку политика — это война, и внешней, и внутренней политикой следует заниматься без эмоций, обращая пристальное внимание на «соотношение сил»: «Мы имеем перед собой большой опыт революции, и мы научились из этого опыта тому, что нужно вести тактику беспощадного натиска, когда объективные условия это позволяют… Но нам приходится прибегать к тактике выжидания, к медленному собиранию сил, когда объективные обстоятельства не дают возможности делать призыв ко всеобщему беспощадному отпору»[105].

И еще один фундаментальный принцип большевистской внешней политики обнаружился после заключения Брестского мирного договора: интересы коммунизма за рубежом следует отстаивать по методу «разделяй и властвуй», как сказал Ленин, при «самом тщательном, заботливом, осторожном, умелом использовании всякой, хотя бы малейшей, «трещины» между врагами, всякой противоположности интересов между буржуазией разных стран, между разными группами или видами буржуазии внутри отдельных стран»[106].

ГЛАВА 6

РЕВОЛЮЦИЯ И ИНОСТРАННЫЕ ДЕРЖАВЫ

«...получить перемирие теперь — это значит уже победить весь мир».

Ленин, сентябрь 1917 г.[1]

Хотя со временем русская революция повлияла на ход всемирной истории даже сильнее, чем французская, первоначально она привлекла гораздо меньше внимания. Это можно объяснить действием двух факторов. Во-первых, Франция как держава имела больший вес на мировой арене. Во-вторых, два эти события различались по обстоятельствам времени.

В конце XVIII века по своему политическому и культурному положению Франция занимала ведущее место в Европе. Бурбоны были на континенте самой влиятельной династией, живым воплощением принципа абсолютной монархии, а французский язык — языком светского общества. Увидев, как революция дестабилизировала Францию, другие державы вначале возликовали, но вскоре поняли, что это угрожает и их собственной стабильности. Арест короля, массовые убийства в сентябре 1792 года и призывы жирондистов к народам других стран повсеместно свергать тиранов не

оставляли сомнений, что революция была чем-то большим, чем просто смена правительства. За этим последовала серия войн, которые продолжались почти четверть столетия и закончились реставрацией династии Бурбонов. Тревога европейских монархов за судьбу плененного французского короля была совершенно понятной, ибо основу их власти составлял принцип легитимности, и, коль скоро он уступал место принципу народной независимости, они уже не могли чувствовать себя в безопасности. Правда, американские колонии ступили на путь демократии еще раньше, но Соединенные Штаты находились за океаном и не принадлежали к числу ведущих держав.

События, происходившие в России, Европа никогда не считала фактором, существенным для ее собственного развития, так как эта страна, наполовину лежащая в Азии, занимала по отношению к ней периферийное положение и была преимущественно аграрной. Случившиеся здесь в 1917 году беспорядки рассматривались, скорее, как запоздалый процесс модернизации России, а не как угроза существующему порядку вещей.

Это невнимание еще более усилилось, благодаря тому факту, что революция в России произошла посреди величайшей и самой разрушительной из всех известных до этого в истории войны и была воспринята современниками главным образом как один из ее эпизодов. Все волнения, вызванные на Западе русской революцией, относились почти исключительно к тем последствиям, которые она могла повлечь для хода военных действий. И Четверное согласие, и Четверной союз приветствовали февральскую революцию, хотя и по разным причинам: первые надеялись, что с устранением

непопулярного царя Россия станет воевать более энергично, вторые — что она, наоборот, выйдет из войны. Октябрьский переворот был, конечно, с энтузиазмом воспринят в Германии. В странах Четверного согласия он получил неоднозначную оценку, но никакой тревоги не вызвал. Ленин и его партия были неизвестными величинами, и никто не воспринял всерьез их утопические планы и заявления. Преобладающим, особенно после Брест-Литовска, было мнение, что большевики являются ставленниками Германии и исчезнут с политической арены одновременно с окончанием войны. Правительства всех без исключения европейских стран сильно недооценивали жизнеспособность большевистского режима и ту угрозу, которую он представлял для порядка в Европе.

Поэтому ни в заключительный год первой мировой войны, ни по окончании перемирия не было предпринято никаких попыток освободить Россию от большевиков. До ноября 1918 года великие державы были слишком поглощены борьбой друг с другом, чтобы беспокоиться о событиях, происходивших в далекой России. Время от времени раздавались отдельные голоса, утверждавшие, что большевизм представляет смертельную угрозу для западной цивилизации. Особенно сильны они были в немецкой армии, которая на собственном опыте знала, что такое большевистская агитация и пропаганда. Но даже немцы в конце концов пренебрегли своими далеко идущими опасениями во имя сиюминутных выгод. Ленин был абсолютно убежден, что после заключения мира все воевавшие страны объединят усилия и организуют против его режима международный крестовый поход. Но его опасения оказались беспочвенны. Активно вмешались только англичане, выступив на стороне

антибольшевистских сил, однако действовали они без особого энтузиазма, в основном по инициативе одного человека — Уинстона Черчилля. Усилия их не были, впрочем, ни последовательными, ни упорными, так как сторонники примирения были на Западе сильнее, чем сторонники военного вмешательства, и к началу 1920-х годов европейские державы заключили с коммунистической Россией мир.

Но если Запад не очень интересовался большевизмом, то сами большевики были чрезвычайно заинтересованы в Западе. Российская революция не могла развиваться в пределах одной страны: с того момента, когда большевики захватили власть, она вышла в плоскость международных отношений. Уже в силу своего геополитического положения Россия не имела возможности отгородиться от событий мировой войны. Значительная часть ее территории была оккупирована немцами. Кроме того, англичане, французы, японцы и американцы, тщетно пытаясь возродить Восточный фронт, посылали на русскую землю ограниченные контингента своих войск. Но пожалуй, самым существенным фактором было убеждение большевиков, что революция может и должна выйти за границы России, что, если она не пойдет вширь и не охватит промышленные страны Запада, она будет обречена. Захватив власть в Петрограде, большевики в первый же день издали декрет о мире, содержавший призыв к рабочим всего мира выступить на помощь советскому правительству, чтобы «успешно довести до конца… дело трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации»[2].

Хотя в этом призыве не говорилось будто бы ни о чем, кроме классовых конфликтов, по сути он был

объявлением войны всем существующим правительствам, вмешательством во внутренние дела независимых государств. Такого рода акции большевики будут затем повторять вновь и вновь. Ленин и не отрицал своих намерений: «Мы бросили вызов империалистским хищникам всех стран»[3]. Все попытки большевиков спровоцировать гражданскую войну в других странах, — будь то с помощью воззваний, субсидий, подрывной деятельности или открытого военного содействия, — придавали Российской революции международный характер.

Подстрекательство народов к мятежу и восстанию, исходящее от зарубежного правительства, несомненно давало «империалистским хищникам» право отвечать тем же. Насаждая, вразрез с международным правом, революцию за пределами своей страны, большевистское правительство не могло бы уже апеллировать к международному праву, чтобы удержать иностранные державы от вмешательства в свои внутренние дела. Однако в действительности великие державы не воспользовались этим правом: ни одно из западных правительств — ни в ходе первой мировой войны, ни по ее окончании — не обращалось к народу России с призывом свергнуть коммунистический режим. Целью ограниченной интервенции, имевшей место в первый год правления большевиков, было заставить Россию служить узко понимаемым интересам западных стран.

* * *

23 марта 1918 года немцы начали давно ожидавшееся наступление на Западном фронте. Заключив перемирие с Россией, Людендорф перебросил с востока на запад полмиллиона человек: ради победы он готов был принести жертв и в два раза больше. Немцы использовали ряд тактических нововведений, например, шли в атаку без артподготовки и в критические моменты бросали в бой специально обученные «штурмовые» части. Направление главного удара пришлось на британский участок фронта, который подвергся невероятному натиску. Пессимисты в стане союзников, в частности генерал Джон Дж. Першинг, опасались, что их войска не устоят перед этой атакой.

Большевиков тоже беспокоило немецкое наступление. Хотя в официальных заявлениях они проклинали оба «империалистических блока» и требовали немедленного прекращения военных действий, в действительности война была им на руку и они желали ее продолжения. Пока великие державы воевали друг с другом, большевики имели возможность упрочить свои завоевания и создать вооруженные силы, способные противостоять будущему крестовому походу империалистов, а также и внутренней оппозиции.

Даже после подписания мирного договора с Четверным союзом большевики старались поддерживать хорошие отношения со странами Четверного согласия, поскольку у них не было уверенности, что в Берлине в конце концов не победит «военная партия», которая заставит немцев вторгнуться в Россию и отстранить их от власти. Оккупация немцами в марте Украины и Крыма усилила эти опасения.

Мы уже говорили о том, что Троцкий требовал от стран, входивших в Четверное согласие, экономической помощи. В середине марта 1918 года большевики попросили у них содействия в создании Красной Армии, а также, если это потребуется, посылки в Россию войск с целью предотвратить возможное вторжение Германии. Переговоры с этими странами Ленин поручил вести Троцкому, только что назначенному наркомом по военным делам, а сам сосредоточился на советско-германских отношениях. Все действия Троцкого были, конечно, санкционированы большевистским ЦК.

В начале марта большевики решили наконец всерьез заняться созданием вооруженных сил. Но, как и все российские социалисты, они считали профессиональную армию питательной средой контрреволюции. Создавать постоянную армию, используя офицерский корпус, доставшийся в наследство от старого режима, означало для них рубить сук, на котором они сидели. Они предпочитали концепцию «вооружения народа», или создания народной милиции.

Даже добившись власти, большевики продолжали демонтировать то, что осталось от старой армии, лишая офицеров последних полномочий. Вначале они сделали офицерские должности выборными, а затем отменили все военные звания, предоставив право назначать командиров солдатским Советам[4]. Подстрекаемые большевистскими агитаторами, солдаты и матросы сплошь и рядом чинили расправу над офицерами; на Черноморском флоте эти расправы вылились в настоящие массовые побоища.

В то же время Ленин и его помощники сосредоточились на создании собственных вооруженных

сил. Первым наркомом по военным и морским делам Ленин назначил Н.В.Крыленко, тридцатидвухлетнего юриста, большевика, который был в царской армии лейтенантом запаса. В ноябре Крыленко прибыл в Ставку верховного командования в Могилев, чтобы назначить нового верховного главнокомандующего взамен генерала Н.Н.Духонина, который отказался вступать в переговоры с немцами и был варварски убит собственными войсками. Крыленко назначил на эту должность генерала М.Д.Бонч-Бруевича, брата секретаря Ленина.

В действительности профессиональные офицеры были готовы сотрудничать с большевиками в гораздо большей степени, чем интеллигенция. Они были воспитаны в духе аполитичности и готовности повиноваться тем, кто находился у власти. Большинство из них беспрекословно выполняли приказы нового правительства[5]. И хотя советские власти неохотно упоминали их имена, среди тех, кто сразу же признал большевистской режим, было немало высших офицеров имперского Генерального штаба: А.А.Свечин, В.Н.Егорьев, С.И.Одинцов, А.А.Самойло, П.П.Сытин, Д.П.Парский, А.Е.Гутов, А.А.Незнамов, А.А.Балтийский, П.П.Лебедев, А.М.Зайончковский и С.С.Каменев[6]. Впоследствии два министра по военным делам царского правительства, А.А. Поливанов и Д.С.Шуваев, также надели красноармейскую форму. В конце ноября 1917 года военный советник Ленина Н.И.Подвойский запросил мнение Генерального штаба о целесообразности сохранения элементов старой армии и создания на их основе новых вооруженных сил. Генералы рекомендовали использовать для этой цели здоровые армейские подразделения и посоветовали сократить армию до ее обычной численности в мирное время —

1,4 млн. человек. Большевики отвергли это предложение и решили создавать совершенно новые революционные вооруженные силы по образцу, испытанному в 1791 году во Франции, — levee en masse,[Ополчение *(фр.)*.] — но состоящие исключительно из городских жителей, без участия крестьян[7].

Между тем события развивались стремительно: фронт продолжал распадаться, но теперь это был фронт Ленина, — как он любил говорить, после Октября большевики превратились в «оборонцев». Шли разговоры о создании вооруженных сил численностью 300 000 человек, которые послужили бы основой будущей большевистской армии[8]. Ленин потребовал, чтобы в течение полутора месяцев эти силы были собраны и находились в боевой готовности для отражения ожидавшегося наступления немцев. Это распоряжение вновь прозвучало в опубликованной 16 января так называемой Декларации прав, где говорилось о необходимости создания Красной Армии «в интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров»[9]. Новая рабоче-крестьянская Красная Армия должна была стать целиком добровольной и состоять из «испытанных революционеров», получающих ежемесячно жалованье в 50 рублей и связанных между собой «круговой порукой», предполагавшей личную ответственность каждого бойца за благонадежность своих товарищей. 3 февраля Совнарком учредил новый орган, призванный командовать этой будущей армией, — Всероссийскую коллегию Красной Армии под председательством Крыленко и Подвойского[10].

В официальных правительственных заявлениях создание новой, социалистической армии обосновывалось необходимостью отражать атаки «международной буржуазии» на советскую Россию. Но это была лишь одна и, быть может, не самая важная из ее задач. Функция Красной Армии (как прежде — царской армии) была двойственной: бороться с внешним врагом и поддерживать безопасность внутри страны. В обращении к солдатской секции Третьего съезда Советов в январе 1918 года Крыленко заявил, что «Красная армия… в первую голову, предназначается для войн внутренних и для защиты… советской власти»[11]. Иначе говоря, она должна была служить главным образом целям гражданской войны, которую собирался развязать Ленин.

Большевики ставили перед своей армией и еще одну задачу: ей надлежало нести гражданские войны за пределы страны. Ленин считал, что для окончательной победы социализма потребуется серия войн между «социалистическими» и «буржуазными» странами. Как сказал он в минуту не свойственной ему откровенности, «существование Советской республики рядом с империалистическими государствами продолжительное время немыслимо. В конце концов либо одно, либо другое победит. А пока этот конец наступит, ряд самых ужасных столкновений между Советской республикой и буржуазными государствами неизбежен. Это значит, что господствующий класс, пролетариат, если только он хочет и будет господствовать, должен доказать это и своей военной организацией»[12].

Когда было объявлено о создании Красной Армии, «Известия» в передовой статье приветствовали ее следующими словами:

«Рабочая революция может победить только в мировом масштабе, и для ее прочного торжества необходима взаимная поддержка рабочих разных стран.

И перед социалистами той страны, где власть раньше всего перешла в руки пролетариата, может стать задача вооруженной рукой прийти на помощь своим братьям по ту сторону границы, борющимся против буржуазии.

Полное и окончательное торжество пролетариата немыслимо без победоносного завершения ряда войн как на внешнем, так и на внутреннем фронте. Поэтому и революция не может обойтись без своей, социалистической армии.

«Война — отец всего, — говорил Гераклит. — *Через войну пролегает и путь к социализму».* [Известия. 1918. 28 янв. № 22 (286). С. 1. (Курсив мой. — Р.П.). Слова Гераклита были в действительности несколько иными: «Борьба [не война] отец и царь всего; одних она делает рабами, других свободными».].

Есть еще множество более или менее прямых заявлений, в которых утверждается, что миссия Красной армии включает в себя зарубежную интервенцию, или, как это сказано в декрете от 28 января 1918 года, «поддержку для грядущей социалистической революции в Европе»[13].

Но все это относилось к будущему. А в это время у большевиков было только одно надежное военное формирование — латышские стрелки, о которых мы уже говорили в связи с разгоном Учредительного собрания и обеспечением охраны Кремля. Первые латышские

подразделения появились в русской армии летом 1915 года. В 1915–1916 годы латышские стрелки оформились как самостоятельные добровольческие части, включавшие около 8000 человек, многие из которых были социал-демократами[14]. Затем к ним добавились латыши из регулярных частей русской армии, и к концу 1916 года было уже пять полков латышских стрелков общей численностью 30 000—35 000 человек. Эти части напоминали Чехословацкий легион, который был создан в то же время в России из военнопленных, однако эти два формирования ждала совершенно разная судьба.

Весной 1917 года латышские войска откликнулись на большевистскую антивоенную пропаганду в надежде, что мир и принцип «Свободного самоопределения» позволят им возвратиться на родину, оккупированную в то время немцами. И хотя они руководствовались более национализмом, чем социализмом, у них завязались тесные отношения с большевистскими организациями и они подхватили лозунги большевиков, направленные против Временного правительства. В августе 1917 года латышские части отличились при обороне Риги.

Большевики относились к латышским стрелкам иначе, чем к другим частям старой русской армии: их сохранили как самостоятельное формирование и доверяли им жизненно важные операции по обеспечению безопасности. Со временем латышские стрелки превратились в нечто среднее между французским Иностранным легионом и нацистскими частями СС, в инструмент охраны режима от внутренних и внешних врагов, соединявший в себе черты армейского формирования и службы безопасности. Ленин доверял им гораздо больше, чем русским солдатам.

Первые попытки создания Рабоче-крестьянской Красной Армии закончились полным провалом. Тех, кто в нее записывался, привлекали главным образом жалованье, которое вскоре поднялось от 50 до 150 рублей в месяц, и перспектива безделья. В основном это были подонки из демобилизованных солдат, которых Троцкий впоследствии называл «хулиганами», а один из советских декретов — «дезорганизаторами, смутьянами и шкурниками»[15]. Газеты того времени пестрят сообщениями о насильственных «экспроприациях», устроенных этими первыми красноармейцами: голодные, плохо оплачиваемые, они продавали военную форму и снаряжение; нередко между ними возникали стычки. В мае 1918 года они заняли Смоленск и, выдвинув лозунг «Бей жидов, спасай Россию!», потребовали изгнания из советских организаций всех евреев[16]. В некоторых местах ситуация складывалась настолько плохо, что советские власти вынуждены были призывать немецкие войска для усмирения взбунтовавшихся частей Красной Армии[17].

Дальше так продолжаться не могло, и Ленин стал неохотно склоняться к идее профессиональной армии, которую ему упорно пытались навязать старый Генштаб и французская военная миссия. В феврале и начале марта 1918 года в партии прошли дискуссии между сторонниками «чистой» революционной армии, состоящей из рабочих и демократической по своей структуре, и теми, кто придерживался более традиционных представлений о вооруженных силах. Параллельно происходили дебаты между сторонниками рабочего контроля на производстве и теми, кто защищал концепцию профессионального управления. В обоих

случаях соображения эффективности и пользы одержали верх над революционной догмой.

9 марта 1918 года Совнарком назначил комиссию для разработки в недельный срок «плана организации военного центра для реорганизации армии и для создания мощной вооруженной силы на началах социалистической милиции и всеобщего вооружения рабочих и крестьян»[18]. Крыленко, возглавлявший противников идеи профессиональной армии, подал в отставку с поста наркома по военным и морским делам и был назначен наркомом юстиции. Его место занял Троцкий, не имевший никакого военного опыта, поскольку, как и подавляющая часть большевистских руководителей, в свое время уклонился от мобилизации. Его основной задачей на этом посту было привлечь отечественных и зарубежных специалистов к созданию эффективной и боеспособной армии, которая не представляла бы угрозы диктатуре большевиков, то есть не была бы склонна к измене или к участию в политических интригах. Одновременно правительство учредило Высший военный совет под председательством Троцкого. В его состав входили чиновники (комиссары армии и флота) и профессиональные военные — бывшие офицеры царской армии[19]. Чтобы обеспечить полную политическую надежность вооруженных сил, большевики ввели институт «комиссаров», которые должны были осуществлять надзор за деятельностью военных командиров[20].

* * *

Троцкий продолжил военные переговоры со странами Четверного согласия. 21 марта он направил генералу Лаверну из французской военной миссии следующее послание: «После беседы с капитаном Садулем имею честь просить от имени Совета народных комиссаров технического сотрудничества Французской военной миссии в реорганизации армии, предпринимаемой советским правительством». Далее шел список французских специалистов во всех областях военного дела, включая авиацию, флот и разведку, которых русские просили выделить им в помощь[21]. Лаверн откомандировал трех офицеров из миссии в качестве советников наркома по военным и морским делам Троцкий выделил им помещение рядом со своим кабинетом. Сотрудничество это осуществлялось в атмосфере строгой секретности, и советские военные историки не очень о нем распространяются. Как сообщает Жозеф Нуланс, впоследствии Троцкий попросил выделить еще пятьсот французских армейских военных офицеров и несколько сот английских офицеров военно-морского флота. Он также вел переговоры о военной помощи с миссиями Соединенных Штатов и Италии[22].

Организация Красной Армии происходила практически с нуля и протекала, конечно, медленно. Между тем немцы наступали в юго-восточном направлении, захватывая Украину и прилегающие к ней территории. В такой ситуации большевики попробовали выяснить, готовы ли союзники остановить немецкое

наступление собственными силами. 26 марта новый нарком по иностранным делам Г.В.Чичерин вручил французскому генеральному консулу Фернану Гренару ноту с вопросом, каковы будут действия Четверного согласия, если Россия попросит у Японии помощи для борьбы с агрессией Германии или обратится к Германии с предложением выступить совместно против Японии[23].

Послы стран Четверного согласия, резиденции которых находились в то время в Вологде, восприняли предложения большевиков, переданные через Садуля, весьма скептически. Они сомневались, что большевики действительно собираются использовать Красную Армию для борьбы с Германией: как сказал Нуланс, более вероятно, что она станет служить своего рода «Преторианской гвардией», то есть опорой режима в самой России. Можно себе представить, о чем думали послы, слушая страстную речь Садуля в защиту позиции Москвы: «Большевики создадут армию, хорошую или плохую, но они вообще не смогут этого сделать без нашей помощи. И совершенно неизбежно в один прекрасный день эта армия выступит против Германской империи, злейшего врага российской демократии. С другой стороны, поскольку эта новая армия будет дисциплинированной, управляемой профессионалами и проникнутой боевым духом, она не будет армией, пригодной для гражданской войны. Если мы будем направлять процесс ее формирования, как предлагает нам Троцкий, она станет фактором внутренней стабильности и инструментом национальной обороны, находящимся под контролем союзников. Дебольшевизация, которую мы можем таким образом достигнуть в армии, повлияет и на развитие общей политической ситуации в России. Разве мы не замечаем

сегодня очевидных признаков начала такой эволюции? Лишь будучи ослепленным предрассудками, можно не видеть за неизбежными жестокостями стремительную адаптацию большевиков к реалистической политике»[24]. Это несомненно одно из самых ранних среди известных в истории утверждений, что большевики «эволюционируют» в направлении к реализму.

Несмотря на все свое недоверие, послы союзников не захотели с порога отбрасывать предложения советской стороны. После многочисленных консультаций со своими правительствами и с Троцким они 3 апреля достигли взаимопонимания на следующих принципах: 1) страны Четверного согласия (за исключением Соединенных Штатов, отказавшихся принимать в этом участие) будут оказывать помощь в деле организации Красной Армии при условии, что Москва пойдет на восстановление в армии дисциплины и, в частности, введет смертную казнь; 2) советское правительство даст согласие на высадку японцев на территории России: японские войска, соединенные с частями других союзных стран, посланными из Европы, образуют международные вооруженные силы для борьбы с Германией; 3) части союзников займут Мурманск и Архангельск; 4) страны Четверного согласия воздержатся от вмешательства во внутренние дела России. [Noulens J. Mon Ambassade en Russie Sovietique. V. 2. Paris, 1933. P. 57–58; Hogenhuis-Seliverstoff A. Les Relations Franco-Sovietiques, 1917–1924. Paris, 1981. P. 59. Нуланс хотел еще поставить условием, чтобы граждане страны. Четверного согласия пользовались в России «такими же льготами, преимуществами и компенсациями», какие получили по Брестскому договору немцы, но ему пришлось отказаться

от этого требования (Hogenhuis-Seliverstoff. Les Relations. P. 59)].

Пока шли эти переговоры, 4 апреля японцы высадили небольшой экспедиционный корпус во Владивостоке. По официальной версии, это делалось для защиты японских граждан, двое из которых были там незадолго перед этим убиты. Однако все ясно понимали, что подлинная цель японцев состояла в захвате российского Приморья. По мнению русских военных специалистов, развал транспорта и распад гражданской власти в Сибири не позволяли сотням тысяч японских солдат с необходимым в данном случае огромным тыловым обеспечением перебраться с Дальнего Востока в европейскую часть России. Но союзники настаивали на осуществлении этого плана, обещая разбавить японские экспедиционные силы французскими, английскими и чехословацкими частями.

В начале июня англичане высадили 1200 дополнительных эскадронов в Мурманске и 100 в Архангельске.

Ленин не оставлял надежды получить, помимо французской военной помощи, экономическую помощь из Америки. Соединенные Штаты сохранили дружелюбное отношение к России даже после ратификации Брестского договора. Как отмечал Государственный департамент в своей ноте Японии,

США продолжали считать Россию и ее народ «друзьями и союзниками в борьбе с общим врагом», несмотря на то, что не признали ее правительства[25]. В другой связи Вашингтон заявил, что, невзирая на «все невзгоды и страдания», которые принесла русская революция, он испытывает к ней «величайшую

симпатию»[26]. Желая узнать, что конкретно означают эти заверения, Ленин 3 апреля вновь попросил Р.Робинса обсудить со своим правительством вопрос о возможном «сотрудничестве» в экономической области[27]. В середине мая он вручил ему ноту для Вашингтона, в которой говорилось, что Соединенные Штаты могли бы занять место Германии, став для России основным поставщиком промышленного оборудования[28]. Но, в отличие от немецких деловых кругов, американцы не выказали к этому интереса.

Трудно сказать, как далеко могло зайти сотрудничество большевиков со странами Четверного согласия, и даже насколько серьезными были их намерения. Зная, что немцы следят за каждым их шагом, большевики вполне могли вести все эти переговоры с единственной целью заставить Германию соблюдать условия Брестского договора из опасения, что Россия окажется в руках у Четверного согласия. Как бы то ни было, немцы обратились к большевикам с заверениями, что не имеют по отношению к ним никаких враждебных намерений. В апреле Россия и Германия обменялись дипломатическими миссиями и вели подготовку к заключению торгового соглашения. В середине мая Берлин отказался от жесткой политической линии, проводимой генералами, и уведомил Москву, что не будет более осуществлять захват русских территорий. В речи, произнесенной 14 мая, Ленин публично подтвердил, что получил эти заверения. Так начался процесс сближения России с Германией. «Когда в ходе развития русско-германских отношений обнаружилось, что Германия не имеет намерения свергать режим [большевиков], Троцкий отказался» от идеи получения помощи от Четверного согласия. [Baumgart W. Deutshe

Ostpolitik, 1918. Vienna; Munich, 1966. S. 49. Огенуи-Селиверстова совершенно неправа, утверждая (Les Relations. P. 60), что намечающиеся контакты Четверного согласия с Москвой намеренно «порвал» Нуланс, дав в конце апреля якобы бестактное газетное интервью, в котором оправдывал высадку японцев во Владивостоке. Большевики не были настолько обидчивы.]. С этого момента отношения большевиков со странами Четверного согласия резко ухудшились и Москва стала входить в орбиту Германской империи, которая, казалось, собиралась выйти из войны победителем.

Потерпев неудачу в переговорах с Москвой, посольства стран Четверного согласия в России вынуждены были довольствоваться случайными контактами с дружелюбно настроенными к ним оппозиционными группами. Нуланс, проявлявший в этом отношении наибольшую активность, считал, как и его немецкий соперник Мирбах, что русские глупы и пассивны и только и ждут, когда их освободят иностранцы. Русская «буржуазия» удивила его своей полной безынициативностью[30].

* * *

Во второй половине апреля 1918 года Россия и Германия обменялись посольствами: А.А.Иоффе отправился в Берлин, а в Москву прибыл В. фон Мирбах. Немецкая миссия была первой, получившей аккредитацию в большевистской России. К большому

удивлению ее сотрудников, охрану поезда, на котором они прибыли, несли латыши. Как писал один из немецких дипломатов, москвичи приняли их необыкновенно тепло: он подумал, что ни одного победителя нигде прежде так не встречали[31].

Глава миссии граф Мирбах, профессиональный дипломат сорока семи лет, был весьма искушен в русских делах. В 1908–1911 годы он был советником посольства Германии в Санкт-Петербурге, а в декабре 1917-го возглавлял миссию в Петрограде. Он происходил из богатой аристократической католической прусской семьи. [О нем см.: Joost W. Botshafter bei den roten Zaren. Vienna, 1967. S. 17–63. Впрочем, этот источник не слишком надежен.]. Как дипломат старой школы, он был отстранен от дел, поскольку некоторые его коллеги считали, что «граф рококо» не сможет общаться с революционерами, но, благодаря своему такту и самообладанию, вновь завоевал доверие министерства иностранных дел.

Его правой рукой был тридцатишестилетний философ Курт Рицлер, также не первый раз сталкивающийся с русскими делами. [Его архив был издан Карлом Дитрихом Эрдманном: Kurt Rietzier: Tagebucher. Aufsatze. Dokumente. Gottingen, 1973. Это издание, однако, подверглось критике со стороны ряда немецких ученых, утверждавших, что оно, будто бы, грешит вольностями в обращении с текстами (см.: Jarausch K.N. // SR. 1972. V. 31. N 2. P. 381–398).]. В 1915 году он принимал участие в неудавшейся попытке Парвуса привлечь к сотрудничеству Ленина.

В 1917 году, работая в Стокгольме, был главным связующим звеном между правительством Германии и

агентами Ленина, которым выдавал субсидии для переезда в Россию из так называемого фонда Рицлера. Считается, что он помогал большевикам в осуществлении Октябрьского переворота, хотя роль его в этом не очень ясна. Как и многие его соотечественники, он приветствовал переворот как «чудо», которое спасет Германию. В Бресте он настаивал на необходимости примирения. По темпераменту, однако, он был пессимист и считал, что Европа обречена, независимо от того, кто выиграет войну.

Третьей важной фигурой в немецкой военной миссии был военный атташе Карл фон Ботмер, проводник взглядов Людендорфа и Гинденбурга. Он презирал большевиков и считал, что Германия не должна иметь с ними дела[32].

Ни один из этих троих немецких дипломатов не знал русского языка. Все русские руководители, с которыми им приходилось общаться, свободно говорили по-немецки.

В министерстве иностранных дел Мирбах получил инструкции оказывать поддержку большевистскому правительству и ни при каких обстоятельствах не вступать в сношения с оппозицией. Он должен был уяснить действительную ситуацию в советской России, следить за деятельностью в ней агентов Четверного согласия, а также готовить почву для торговых переговоров, предусмотренных брестским договором. Немецкая миссия, в которую входили двадцать дипломатов и такое же число служащих, разместилась в роскошном особняке в Денежном переулке в районе Арбата, принадлежавшем немецкому сахарному магнату, который не хотел отдать свою собственность в руки коммунистов.

За несколько месяцев до этого Мирбах приезжал в Петроград и знал, как обстоят дела в России. Тем не менее он был потрясен виденным. «Улицы очень оживлены, — писал он в донесении в Берлин через несколько дней после приезда в Москву, — но на них встречаются исключительно пролетарии; крайне мало хорошо одетых людей: как будто прежний правящий класс и буржуазия исчезли с лица земли… Так же не видно на улицах священников, которые раньше встречались на каждом шагу. В магазинах лежат пыльные остатки былой роскоши, продаваемые по фантастическим ценам. Картину эту довершает всеобщее нежелание работать и распространившееся бессмысленное безделье. Поскольку фабрики стоят и земля в основном не обрабатывается, — по крайней мере, такое впечатление мы вынесли из нашей поездки, — Россия вдет, по-видимому, к еще большей катастрофе, чем та, которую представлял собой [большевистский] переворот.

Общественная безопасность остается целиком в области желаемого. Тем не менее, днем можно передвигаться по городу свободно и в одиночку. Однако по вечерам из дому лучше не выходить: на улицах часто слышна стрельба и постоянно возникают более или менее серьезные стычки…

Власть большевиков в Москве держится главным образом с помощью латышских батальонов. Важную роль играют и реквизованные правительством автомобили, которые постоянно курсируют по городу, доставляя войска по мере необходимости в горячие точки.

Трудно сказать, к чему приведут эти обстоятельства, однако надо признать, что пока они представляются довольно стабильными»[33].

На Рицлера большевистская Москва тоже произвела гнетущее впечатление. Более всего его поразила коррупция среди коммунистических чиновников и их порочные наклонности, в особенности ненасытная жажда женщин[34].

В середине мая Мирбах встретился с Лениным и был немало удивлен его самоуверенностью: «Ленин вообще непоколебимо верит в свою счастливую звезду и выказывает, вновь и вновь, настойчивый безграничный оптимизм. Вместе с тем, он допускает, что, хотя режим его удается пока удерживать, число его врагов возрастает и ситуация требует «более пристального внимания, чем даже месяц назад». В своей уверенности он основывается прежде всего на том факте, что правящая партия обладает организованной властью, в то время как остальные партии согласны между собой лишь в отрицании существующего режима; в других отношениях они расходятся в различных направлениях и не обладают властью, которая могла бы соперничать с властью большевиков»[35]. [Заметим, что ни в тот момент, ни позднее в частных беседах Ленин не ссылался на общественную поддержку как на источник силы своего режима. Причины устойчивости власти большевиков он усматривал скорее в разобщенности их противников. В 1920 г. он сказал в беседе с Бертраном Расселом, что двумя годами ранее он и его соратники сомневались, что смогут устоять в окружавшей их враждебной обстановке. «То, что им все-таки удалось выжить, он объясняет соперничеством и различием интересов капиталистических государств, а также силой большевистской пропаганды» (Russell B. Bolshevism. N.Y., 1920. P. 40)].

Проведя месяц в советской столице, Мирбах начал сомневаться в жизнеспособности большевистского режима и в мудрости своего правительства, которое в политике в отношении России делало всю ставку на этот режим. Он считал, что большевики могли и устоять: 24 мая он призывал министерство иностранных дел не доверять суждениям Ботмера и других военных, которые предсказывали падение советского режима в ближайшем будущем[36]. Однако, зная о деятельности находившихся в России дипломатических и военных представителей стран Четверного согласия и об их контактах с оппозиционными группами, он опасался, что в случае отстранения Ленина от власти Германии не на кого будет опереться в России. Поэтому он стал сторонником более гибкой политики, в которой опора на большевиков сочеталась бы с политической подстраховкой — контактами с антибольшевистской оппозицией.

20 мая Мирбах направил своему правительству первый пессимистический доклад о ситуации в советской России и о возможных опасностях политического курса, проводимого здесь Германией. В последние недели, писал он, общественная поддержка режима дала серьезные трещины; рассказывают, что Троцкий назвал большевистскую партию «живым трупом». Представители стран Четверного согласия ловят рыбку в этой мутной воде, предоставляя щедрые субсидии эсерам, меньшевикам-интернационалистам, сербским военнопленным и балтийским матросам. «Никогда еще коррумпированная Россия не подвергалась такой коррупции, как сейчас». Страны Четверного согласия, пользуясь симпатиями к ним Троцкого, усиливают влияние на большевиков. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, заключал Мирбах, необходимо

возобновить выплату субсидий большевикам, прекращенную правительством Германии в январе[37]. Эти средства нужны, во-первых, для предотвращения политической переориентации большевиков на страны Четверного согласия, а во-вторых, для сохранения их режима, ибо в случае его падения к власти придут эсеры, однозначно настроенные на союз с Четверным согласием[38].

Этот и последующие доклады, интонация которых становилась все более мрачной, возымели действие в Берлине. В начале июня Р. фон Кюльман, пересмотрев свои позиции, предоставил Мирбаху полномочия начать переговоры с российской оппозицией[39]. Он также выделил в распоряжение посла средства, которые тот мог расходовать по своему усмотрению. 3 июня Мирбах телеграфировал в Берлин, что для поддержки режима большевиков ему нужны ежемесячно 3 млн. марок; в министерстве иностранных дел подсчитали, что в сумме потребуется 40 млн. марок[40]. Согласившись, что предотвращение переориентации большевиков на страны Четверного согласия «будет стоить денег и, вероятно, немалых», Кюльман одобрил перевод немецкому посольству в Москве этой суммы для ведения тайной работы в России[41]. Не удалось точно установить, как расходовались эти средства. На сегодняшний день известна судьба лишь около 9 млн. марок: приблизительно половина этой суммы пошла большевистскому правительству, а остальное — его противникам, главным образом антибольшевистскому Временному правительству Сибири, находившемуся в Омске, и казачьему атаману П.Н.Краснову, которого выделял среди остальных антибольшевистских лидеров кайзер. [Большевистское правительство и оппозиция

получали субсидии в размере 3 млн. марок в июне, июле и августе (см.: Germany and the Revolution in Russia, 1915–1918 / Ed. by Z.A.B.Zeman. N.Y., 1958. P. 130)].

Основным препятствием, мешавшим немцам вступить в контакт с антибольшевистской оппозицией, служил Брест. Никакая политическая группировка, кроме большевиков, не подписала бы такого договора, и даже у большевиков были в этом вопросе разногласия. Как заметил Мирбах, несмотря на ужасное положение, сложившееся в советской России, ни один русский, не принадлежащий к большевикам, не воспользуется в борьбе с их режимом немецкой помощью ценой принятия условий Брестского договора. Иначе говоря, чтобы завоевать поддержку антибольшевистских сил, Германия должна была согласиться на существенный пересмотр договора. По мнению Мирбаха, оппозиция могла бы примириться с потерей Польши, Литвы и Курляндии, но ни за что не отдаст Украину, Эстонию и, возможно, Ливонию[42].

Деликатную задачу ведения переговоров с оппозицией под носом у ЧК и агентов Четверного согласия Мирбах поручил Рицлеру. Контакты Рицлера ограничились в основном так называемым Правым центром — сформированным в середине июня небольшим кружком консерваторов, в который вошли уважаемые политики и генералы, убежденные в том, что большевизм представляет для национальных интересов России более серьезную угрозу, чем Германия, и готовые ради свержения режима пойти на союз с Берлином. Они делали вид, что имеют крепкие связи в финансовых, промышленных и военных кругах, но в действительности серьезных союзников у них не было, ибо подавляющее большинство политически активных граждан России

считали большевиков порождением Германии. Главным действующим лицом Правого центра был А.В.Кривошеий — министр земледелия при Столыпине, патриот и честный человек, который мог бы стать приемлемым главой назначенного Германией российского правительства, хотя, как типичный чиновник старого режима, был более склонен подчиняться приказам, чем их отдавать. В деятельности центра принимал участие также генерал АЛ. Брусилов — герой известной наступательной операции 1916 года. Кривошеий через посредников проинформировал Рицлера, что его группа готова свергнуть большевиков и располагает для этого достаточными военными средствами, но, чтобы начать действовать, хочет заручиться активной поддержкой Германии[43]. Условием такого сотрудничества должно было стать согласие Германии внести изменения в Брестский договор. Вступая в переговоры с русской оппозицией, немцы относились к ней без всякого уважения. Мирбах считал монархистов «лентяями», а Рицлер с презрением говорил о «стонах и хныканье [русской] буржуазии, взывавшей к немецкому порядку и немецкой помощи»[44].

* * *

Иоффе прибыл со своей миссией в Берлин 19 апреля. Немецкие генералы, справедливо полагая, что советские дипломаты будут заниматься главным образом шпионажем и подрывной деятельностью, требовали, чтобы советское посольство размещалось в Брест-Литовске или в каком-нибудь другом городе вдали

от Германии. Но верх взяла позиция министерства иностранных дел, и Иоффе получил старое здание посольства Российской империи по Унтер ден Линден 7, которое немцы ухитрились сохранить в течение всей войны абсолютно нетронутым. Теперь над крышей его взвился красный флаг. Вслед за этим Москва открыла также консульства в Берлине и Гамбурге.

Первоначально штат посольства состоял из тридцати человек, но он все время рос и к ноябрю, когда отношения между Россией и Германией были разорваны, составлял уже сто восемьдесят человек. Кроме этого, Иоффе привлекал к работе немецких радикалов, которые переводили советские пропагандистские материалы и вели подрывную деятельность. Он постоянно поддерживал телеграфную связь с Москвой; часть его сообщений немцы перехватили и расшифровали, но основной их массив до сих пор остается неопубликованным. [Некоторые послания Иоффе Ленину приведены в журн.: История СССР. 1958. № 4. С. 3–26].

Советское дипломатическое представительство в Берлине не было обычным посольством: это был скорее аванпост революции в глубине вражеской территории, и основной его функцией стало содействие революционным процессам. Как сказал впоследствии один американский журналист, деятельность Иоффе в Берлине являла «совершенство вероломства»[45]. Судя по характеру этой деятельности, перед ним стояли три задачи. Прежде всего он должен был нейтрализовать немецких генералов, которые стремились сместить большевистское правительство. Он достиг этого, апеллируя к интересам деловых и банковских кругов и предложив для обсуждения проект соглашения, дающего Германии неслыханные экономические привилегии в

России. Второй его задачей была поддержка революционных сил в Германии. Третьей — сбор разведывательных данных о внутренней ситуации в стране.

Иоффе вел революционную работу с поразительной наглостью. Расчет строился на том, что немецкие политики и бизнесмены, будучи крайне заинтересованы в экономической эксплуатации России, убедят правительство закрыть глаза на нарушения им дипломатических норм. Весной и летом 1918 года он сосредоточился главным образом на пропаганде и наладил сотрудничество со Спартаковской лигой, составлявшей левое экстремистское крыло Независимой социалистической партии. Позднее, когда Германия уже распадалась, он начал ссужать деньги и поставлять оружие для разжигания возникавших очагов социальной революции. Независимые социалисты превратились по сути в филиал Российской коммунистической партии и согласовывали все свои действия с советским посольством: однажды из Москвы в Берлин прибыла официальная делегация, чтобы приветствовать съезд этой партии[46]. Для ведения такой работы Иоффе получил из Москвы 14 млн. немецких марок, которые поместил в банк Мендельсона и расходовал по мере необходимости. [Baumgart. Ostpolitik. S. 352. Как утверждал Иоффе, установив контакт со всеми политическими партиями Германии, от крайне правых до крайне левых, он старательно избегал вступать в какие-либо отношения с социал-демократами — партией «социальных предателей» (Вестник жизни. 1919. № 5. С. 37–38). Такая политика, проводившаяся по указанию Ленина, предвосхищала политику Сталина, который пятнадцать лет спустя, запрещая немецким коммунистам

сотрудничать с социал-демократами в борьбе с нацистами, сделал возможным, как считают многие, приход к власти Гитлера.].

Иоффе открыл отделения советского Берлинского информационного бюро в целом ряде городов Германии, а также в нейтральной Голландии, откуда пропагандистские материалы просачивались в средства массовой информации стран Четверного согласия[47].

Вот как в 1919 году Иоффе с гордостью описывал свои достижения на посту советского представителя в Берлине: «Более десятка лево-социалистических газет направлялись и поддерживались полномочным представительством… Совершенно естественно, что даже в своей информационной работе полномочное представительство не могло ограничиваться только «легальными возможностями». Информационный материал далеко не исчерпывался тем, что попадало в печать. Все вычеркивавшееся цензурой, и все то, что не предоставлялось туда, так как заранее можно было предположить, что не будет пропущено ею, тем не менее нелегально печаталось и нелегально распространялось. Очень часто приходилось прибегать к способу использования парламентской трибуны: материал сообщался членам рейхстага от фракции независимых, которые использовали его в своих речах, и таким образом он все же в печать проникал. В этой работе нельзя было ограничиться только русскими материалами. Полномочное представительство, имевшее превосходные связи во всех слоях германского общества и своих агентов в различных германских министерствах, было и в немецких делах информировано гораздо лучше германских товарищей. Получаемые им сведения полномочное представительство своевременно сообщало

последним, и таким путем многие махинации военной партии заблаговременно становились достоянием гласности.

Конечно, в своей революционной деятельности российское посольство не могло ограничиться только информацией. В Германии существовали революционные группы, которые во весь период войны вели подпольную работу. Более опытные в такого рода конспиративной деятельности и имевшие большие возможности русские революционеры должны были работать, и действительно работали, заодно с этими группами. Вся Германия была покрыта сетью нелегальных революционных организаций; сотни тысяч революционных листков и прокламаций еженедельно печатались и распространялись как в стране, так и на фронте. Германское правительство упрекало русское в ввозе агитационной литературы в Германию и с энергией, достойной лучшего применения, разыскивало эту контрабанду в курьерском багаже, но ему никогда не приходило на ум, что то, что ввозилось через русское посольство в Германию из России, составляло только песчинку в море в сравнении с тем, что печаталось при помощи русского посольства в самой Германии».

Таким образом, заключает Иоффе, «в подготовке германской революции российское посольство все время работало в полном контакте с германскими социалистами»[48].

Кроме того, оно служило каналом распространения революционной литературы и средств для финансирования подрывной деятельности в другие европейские страны. Через него шли непрерывным потоком дипкурьеры (по подсчетам немцев, от ста до

двухсот человек), доставлявшие почту в Австрию, Швейцарию, Скандинавские страны и Нидерланды. Некоторые из этих «курьеров», достигнув Берлина, исчезали из поля зрения[49].

Немецкое министерство иностранных дел часто получало от военных и гражданских властей протесты, касающиеся этой подрывной деятельности[50], но отказывалось что-либо предпринимать, закрывая на нее глаза во имя того, что считало высшими интересами Германии в России. Когда время от времени оно отваживалось выдвинуть возражения против каких-нибудь особенно дерзких акций советского представительства, у Иоффе был наготове ответ. Как он объясняет, «сам Брестский договор давал возможность обхода его. Так как между собою договаривались правительства, то запрещение революционной агитации можно было толковать так, будто оно относится только к самому правительству и его органам. Так оно и понималось с русской стороны, и всякое революционное выступление, против которого Германия заявляла свой протест, немедленно же разъяснялось как выступление Российской коммунистической партии, а не правительства»[51].

На фоне этой оперативной деятельности Иоффе в Германии скромные усилия Мирбаха и Рицлера по налаживанию контактов оппозицией в Москве выглядели невинным флиртом.

С точки зрения непосредственных интересов Москвы, наряду с организацией революционных процессов в Германии, не менее важной задачей было заручиться поддержкой немецких деловых кругов, чтобы,

действуя вместе с ними, блокировать существовавшие в этой стране антибольшевистские силы.

Деловые круги Германии, стремясь как можно скорее прибрать к рукам Россию и зная, что только большевики позволят им это сделать, превратились в горячих сторонников большевистского режима. Весной 1918 года, вслед за подписанием мирного договора, многочисленные организации, входившие в Германскую торговую палату, обратились к своему правительству с требованием возобновить торговые отношения с советской Россией. 16 мая Альфред Крупп созвал в Дюссельдорфе конференцию крупнейших немецких промышленников, в том числе Августа Тиссена и Гуго Стиннеса, для обсуждения этих проблем. Конференция пришла к выводу о необходимости остановить проникновение в Россию «английского и американского капитала» и предпринять шаги, которые обеспечили бы доминирующие позиции в этом регионе для интересов Германии. Еще одна конференция, созванная в том же месяце под эгидой министерства иностранных дел, признала целесообразным установление контроля над российским транспортом; исполнение этой задачи облегчалось тем обстоятельством, что Москва попросила у Германии помощи в реорганизации российских железных дорог[52]. В июле в Москву приехала делегация представителей немецкого бизнеса. Как только Иоффе прибыл в Берлин, к нему зачастили банкиры. «Директор Дейче банк часто навещает нас, — хвастливо сообщал Иоффе в Москву, — Мендельсон ищет давно свидания со мной, а Соломонсон уже в третий раз приходит под разными предлогами»[53].

Такое коммерческое рвение давало возможность Москве рассчитывать на дружелюбие и поддержку влиятельных промышленников и финансистов Германии. Кроме того, большевики использовали все преимущества своей осведомленности. Они очень хорошо изучили внутреннюю ситуацию Германии и понимали, чем руководствуется ее элита. Независимые социалисты снабжали их подробной информацией, позволявшей играть на конфликтах между разными группами. В то же время немцы, с которыми они сталкивались, почти ничего не знали о большевиках и не принимали всерьез ни их самих, ни их идеологию. Большевики быстро научились использовать эту ситуацию и действовали в ней умело, принимая защитную окраску, делавшую их с виду неопасными. Это был пример изощренной политической мимикрии. Тактика, которую избрали Иоффе и его помощники, заключалась в том, чтобы выглядеть в глазах немцев «реалистами», изрыгающими революционные лозунги, но в действительности стремящимися только к заключению сделки с Германией. Эта тактика безотказно действовала на прожженных немецких бизнесменов, ибо она подкрепляла их убеждение, что ни один человек, находясь в здравом уме, не станет серьезно относиться к большевистской революционной риторике.

Как срабатывала эта уловка, видно на примере состоявшейся летом 1918 года встречи Иоффе с Густавом Стресманном, правым немецким политиком, и с другими видными деятелями либеральной и консервативной ориентации. Российскому послу помогал Л.Б.Красин, который до и после войны занимал высокие посты у Сименса и Шукерта и имел в Германии прекрасные связи. В ходе неофициальной беседы 5 июля Иоффе и Красин

заверили немцев, что не только Ленин, но и ориентированный на страны Четверного согласия Троцкий хотят, чтобы Германия «поддержала» Россию. Учитывая антинемецкие настроения в России, было бы преждевременно заключать формальный союз, однако, если Германия будет вести правильную политику, настроения эти могут измениться. Шаг в этом направлении немцы могли бы сделать, поделившись с Россией зерном, которое вывозили с Украины. Было бы также неплохо, если бы Германия предоставила Москве гарантии, что она не возобновит военных действий на Восточном фронте: это позволило бы Москве сосредоточить усилия в военной области на изгнании англичан из Мурманска и подавлении восстания Чешского легиона, вспыхнувшего недавно в Сибири. Германия же, в свою очередь, могла бы извлечь из отношений с Россией большую выгоду, так как русские готовы предоставить ей любое необходимое сырье, в том числе хлопок, нефть и марганец. Немцам не надо опасаться революционной пропаганды Москвы: «в сложившихся обстоятельствах максималистское [большевистское] правительство готово отказаться от утопических целей и проводить прагматическую социалистическую политику»[54].

Иоффе и Красин блестяще сыграли этот спектакль. Будь немцы лучше осведомлены, не будь они столь высокомерны и захвачены геополитическими фантазиями, они бы разгадали обман. Ведь русские предлагали им товары, производимые в неподконтрольных им регионах — в Средней Азии, Баку и Грузии, — и отрицали радикализм своего правительства как раз в тот момент, когда оно не только не собиралось отказываться от «утопических целей», но, наоборот,

входило в наиболее радикальную фазу своей деятельности. Однако обман сработал. Вот как суммировал свои впечатления от этой встречи Стресманн: «Мне представляется… что у нас есть все основания, чтобы установить далеко идущие экономические и политические отношения с нынешним правительством [России], которое, во всяком случае, не является империалистическим и никогда не сможет договориться с Антантой, хотя бы потому, что, отказавшись от своих долговых обязательств по отношению к этим странам, оно воздвигло между собой и Антантой непреодолимый барьер. Если эта возможность будет упущена и существующее российское правительство падет, всякое другое правительство, которое придет ему на смену, будет несомненно больше расположено к контактам с Антантой и опасность открытия нового Восточного фронта… ощутимо приблизится… Когда наши противники увидят, что мы сближаемся с Россией, они оставят надежду победить нас экономически (надежду победить нас на поле боя они оставили уже давно), и мы будем в состоянии противостоять любой атаке. С умом используя этот фактор, мы сможем также поднять дух нации до тех победоносных вершин, на которых он находился в прошлом. Поэтому я горячо приветствую эти усилия и надеюсь, что они получат поддержку также и верховного военного командования»[55].

Эти взгляды разделяло и министерство иностранных дел Германии. Во внутреннем меморандуме, подготовленном в мае одним из его сотрудников, советские руководители были названы «еврейскими

бизнесменами», с которыми Германия должна суметь договориться[56].

В такой дружественной атмосфере открылись в начале июня переговоры между двумя странами о торгово-промышленном соглашении. Этот так называемый Дополнительный договор был подписан 27 августа, сразу же после сокрушительного поражения немецкой армии на Западном фронте, которое убедило Людендорфа, что война проиграна. Договор этот устанавливал между Россией и Германией отношения, мало отличавшиеся от формального союза.

* * *

Как будто ситуация в России не была и без того достаточно сложной, весной возникло еще одно осложнение: началось восстание бывших чехословацких военнопленных, из-за которого большевики потеряли контроль над обширными территориями Урала и Сибири.

Во время успешной кампании против Австро-Венгрии в 1914 году русская армия захватила в плен сотни тысяч человек, в том числе от 50 000 до 60 000 чехов и словаков. В декабре 1914 года царское правительство предложило этим военнопленным, многие из которых были настроены против немцев и венгров, возможность сформировать собственный легион и вернуться на фронт, чтобы сражаться на стороне России. На это согласились не многие чехи: большинство из них опасались, что в странах Четверного союза бойцов этого легиона, названного Дружиной, будут считать

предателями и станут расстреливать, если они попадут в плен. Тем не менее в 1916 году уже существовало два чехословацких полка, которые впоследствии составили ядро армии независимой Чехословакии. Глава Чехословацкого национального совета в Париже Томас Масарик выдвинул идею создания, на базе военнопленных и гражданских лиц, живущих в России и других странах, регулярной национальной армии, которая воевала бы на Западном фронте. Он вступил в переговоры с царским правительством об эвакуации военнопленных во Францию, но не нашел общего языка с Петроградом.

Вновь он обратился с этим предложением к Временному правительству, реакция которого была положительной. Началось формирование чехословацких частей, и весной 1917 года корпус, состоявший из 24 000 чехов и словаков, уже сражался на Восточном фронте. Он хорошо показал себя во время июньского наступления 1917 года. Эти части и оставшихся в русских лагерях военнопленных собирались перебросить на Западный фронт, но тут случился большевистский переворот.

В декабре 1917 года страны Четверного согласия признали находившийся в России Чехословацкий корпус в качестве отдельной армии, поступившей под командование Верховного совета этих стран. В следующем месяце Масарик вернулся в Россию для переговоров, на сей раз с большевиками, об эвакуации этих войск во Францию. Вопрос требовал уже безотлагательного решения, так как страны Четверного союза заключили договор с Украиной, и это делало весьма вероятной оккупацию Украины, где, в основном, были интернированы чехи и словаки. Большевики

откладывали решение до подписания Брестского договора, но, наконец, в середине марта дали согласие[57].

Вначале Масарик и командование союзников намеревались эвакуировать чехословацкие части через Архангельск и Мурманск. Но, поскольку железнодорожным линиям, ведущим на север, угрожали финские партизаны и, кроме того, существовала опасность нападения немецких субмарин, было решено вывозить войска морем через Владивосток. Командирам частей, составлявших то, что получило известность как Чешский легион, Масарик отдал распоряжение придерживаться «вооруженного нейтралитета»[58] и ни при каких обстоятельствах не вмешиваться во внутренние дела русских. Поскольку территории, которые предстояло пересекать чехословакам по пути во Владивосток, находились в состоянии анархии, Масарик договорился с большевистскими властями, что его люди будут достаточно вооружены, чтобы суметь себя защитить.

Чехословаки были хорошо организованы и стремились покинуть страну. Получив от большевиков разрешение, они разбились на батальоны (по тысяче человек в каждом), которым предстояло ехать отдельными эшелонами. Когда первый такой эшелон достиг Пензы, была получена телеграмма от Сталина, датированная 26 марта, в которой оговаривались условия дальнейшей эвакуации. Чехословакам надлежало передвигаться не в качестве «боевых единиц», а в качестве «свободных граждан», имеющих в своем распоряжении ровно столько оружия, сколько необходимо для обороны от «контрреволюционеров». Их должны были сопровождать комиссары, выделенные

Пензенским Советом[59]. Этот приказ, ставший, как они подозревали, результатом давления со стороны Германии, не понравился чехословакам, поскольку они не испытывали доверия к плохо обученным и радикально настроенным пробольшевистским силам, в которых важную роль играли фанатики-коммунисты из венгерских и чешских военнопленных. Перед отъездом из Пензы они неохотно сдали некоторое количество оружия, часть вывезли с собой открыто, а остальное — скрытно. Эвакуация продолжалась.

Хотя чехословаки были настроены националистически и потому осуждали большевиков за подписание сепаратного мирного договора с Четверным союзом, по своим политическим взглядам они отчетливо склонялись влево: по оценкам одного исследователя, три четверти из них были социалистами[60]. Следуя указаниям Масарика, они оставались глухи к предложениям о сотрудничестве как со стороны Добровольческой армии, так и со стороны большевиков. Последние пытались привлечь их на свою сторону, используя в качестве посредников чешских коммунистов[61]. Но перед легионом стояла одна цель: выбраться из России. Тем не менее они не могли полностью избежать участия в российской политической жизни, ибо территория, по которой пролегал их путь, находилась в эпицентре гражданской войны. Проезжая через поселения, расположенные вдоль Транссибирской железной дороги, чтобы обеспечить себя продовольствием и всем необходимым, они входили в контакт с местными кооперативами, которые в основном были в руках эсеров — самой влиятельной партии в Сибири. С другой стороны, им время от времени приходилось иметь дело с городскими Советами и с их «интернациональными» военными формированиями,

состоявшими главным образом из венгерских военнопленных, которые хотели, чтобы чехословаки стали на сторону революции.

Причиной вмешательства Чешского легиона во внутренние дела России в конце мая 1918 года не был сознательный отказ чехословаков от политики нейтралитета. Дело началось с того, что немцы, обеспокоенные перспективой появления на Западном фронте десятков тысяч свежих и рвущихся в бой чехословацких солдат, попросили Москву остановить их эвакуацию. Москва выпустила соответствующий приказ, но у нее не было средств, чтобы привести его в исполнение, и легион продолжал свой путь[62]. Затем вмешались страны Четверного согласия. Исходя из достигнутой в начале апреля договоренности о формировании соединенных сил стран Четверного согласия на территории России, они решили, что бессмысленно перебрасывать Чешский легион чуть ли не вокруг света во Францию, когда его можно оставить в России и присоединить к силам, основной контингент которых должны были обеспечить японцы. 2 мая командование вооруженных сил Четверного согласия, главным образом по настоянию Великобритании, приняло решение, что части легиона, находящиеся все еще западнее Омска, не будут следовать во Владивосток, а повернут на север, в Архангельск и Мурманск, где получат дальнейшие распоряжения[63]. Москва против этого не возражала, но такое решение вызвало недовольство среди чехословаков.

Тут случилось непредвиденное событие, разрушившее планы всех сторон. 14 мая в Челябинске произошло столкновение между чешскими солдатами и

возвращавшимися на родину венгерскими военнопленными. Насколько нам сегодня известно, венгр бросил какой-то железный брус или другой предмет в группу чехов, стоявших на железнодорожной платформе, и серьезно ранил одного из них. Завязалась драка. Когда Челябинский Совет арестовал нескольких чехословаков, принимавших в этом участие, остальные захватили местный арсенал и потребовали немедленного освобождения своих товарищей. Уступая превосходящим силам, Совет пошел на попятную[64].

Вплоть до этого момента чехословаки не намеревались выступать с оружием в руках против большевистского правительства. Вся чехословацкая политика была основана на дружелюбном нейтралитете. Симпатии Масарика простирались так далеко, что он призывал руководителей стран Четверного согласия признать de facto советское правительство. Что же касается бойцов Чешского легиона, то, как писал коммунист Ж.Садуль, «верность их русской революции была несомненной»[65].

И все это внезапно рухнуло из-за бессмысленных действий Троцкого. Только что назначенный на пост наркома по военным делам, он желал немедленно войти в роль, хотя под командованием у него не было фактически никаких войск. Его честолюбие в мгновение ока превратило дружелюбно настроенных чехословаков в «контрреволюционную» армию, представлявшую для большевиков военную угрозу, причем самую серьезную с тех пор, как они захватили власть.

Узнав о событиях в Челябинске и о том, что чехи созывают «Съезд Чехословацкой революционной армии», Троцкий немедленно распорядился посадить под арест

представителей Чехословацкого национального совета в Москве. Напутанные чешские политики согласились на все требования Троцкого, включая полное разоружение легиона. 21 мая Троцкий приказал остановить продвижение легиона на восток. Чехословацкие части должны были влиться в Красную Армию либо превратиться в «трудовые батальоны», то есть стать элементом большевистской системы принудительного труда.

Тех, кто не подчинится приказу, надлежало заключать в концентрационные лагеря. [Это, по-видимому, самое раннее упоминание о концентрационных лагерях в официальных советских источниках.]. 25 мая Троцкий выпустил новый приказ: «Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных»[66]. Распоряжение это было исключительно абсурдным — не только потому, что заключало в себе ненужную провокацию, но и потому также, что Троцкий не располагал средствами, чтобы обеспечить его выполнение, ибо Чешский легион был в Сибири безусловно самым сильным военным формированием. В то время широко распространилось убеждение, что Троцкий действовал под давлением Германии, но, как удалось установить впоследствии, никакого отношения к этим изданным в мае приказам немцы не имели[67]. Именно пренебрежение Троцкого к

«соотношению сил», обычно несвойственное большевикам, дало толчок к Чехословацкому восстанию.

22 мая чехословаки заявили, что не станут разоружаться по приказу Троцкого: «Съезд Чехословацкой революционной армии, собравшийся в Челябинске, заявляет <…> о своем сочувствии русскому революционному народу, ведущему трудную борьбу за сплочение сил революции. В то же время Съезд, будучи убежден, что советское правительство не в силах гарантировать нашим войскам свободное и безопасное передвижение до Владивостока, единогласно постановил не сдавать оружия до тех пор, пока не возникнет уверенность, что Корпусу будет позволено беспрепятственно покинуть страну и он будет защищен от контрреволюционных эшелонов»[68]. Уведомляя об этом решении Москву, чехословацкий Съезд сообщал, что было принято «единогласное решение не сдавать оружия вплоть до приезда во Владивосток, ибо оно является гарантией безопасности передвижения». Он также выражал надежду, что войскам позволят выехать беспрепятственно, так как «всякий конфликт лишь подорвет позиции местных советских органов в Сибири»[69]. Распоряжение командования войск Четверного согласия о направлении некоторых частей легиона в Мурманск и Архангельск было просто проигнорировано.

Когда на местах получили приказы Троцкого, 14 000 чехословаков уже достигли Владивостока, но 20 500 все еще были в пути, растянувшись по всей Транссибирской магистрали и по железным дорогам европейской части России. [Klante M. Von der Wolga zum Amur. Berlin, 1931. S. 157. Садуль, который, возможно, получил информацию

от Троцкого, описывая распределение частей легиона в конце мая, приводит другие цифры: 5000 во Владивостоке, 20 000 между Владивостоком и Омском и еще 20 000 — западнее Омска, на европейской части России (Sadoul J. Notes sur la Revolution Bolchevique. Paris, 1920. P. 366).]. Они были убеждены, что большевики собираются выдать их немцам. Столкнувшись с угрозами со стороны местных Советов, они установили контроль над всей Транссибирской магистралью. Но даже и после этого они подтвердили еще раз, что не собираются оказывать поддержку никаким силам, выступающим против советского правительства[70].

Как только чехословацкие войска овладели железной дорогой, во всех расположенных вдоль нее городах рухнула власть большевиков. И сразу же политические соперники большевиков заполнили образовавшийся вакуум. 25 мая чехословаки заняли железнодорожные узлы в Мариинске и Новониколаевске, лишив Москву железнодорожной и телеграфной связи с изрядной частью Сибири. Два дня спустя они заняли Челябинск. 28 мая была захвачена Пенза, 4 июня — Томск, 7 июня — Омск, а 8 июня — Самара, которую защищали латышские части. Расширяя сферу военных действий, чехословаки создали единое командование, главой которого был избран самозваный «генерал» Рудольф Гайда, честолюбивый авантюрист, незаурядные военные таланты которого значительно превосходили способность здраво судить о политике. У своих людей он пользовался безграничным доверием. [Он был санитаром в армии Австро-Венгрии, а затем получил звание капитана в Чехословацком корпусе, сражавшемся на стороне России. После того как Чехословакия получила независимость, он стал начальником Генштаба, был

арестован по обвинению в разглашении военной тайны, однако оправдан по суду. Позднее он сотрудничал с нацистами.].

* * *

Хотя Чехословацкое восстание и не было направлено против большевистского правительства, оно стало самым серьезным военным испытанием для большевиков с момента подписания Брест-Литовского договора. Месяц за месяцем шли пустопорожние разговоры, а Красная Армия все еще оставалась в основном на бумаге. Вооруженные силы большевиков в Сибири состояли из нескольких тысяч «красногвардейцев» и примерно такого же числа прокоммунистически настроенных немецких, австрийских и венгерских военнопленных. Эти разношерстные формирования, не имевшие централизованного командования, не представляли никакой угрозы для чехословаков. В отчаянии советское правительство обратилось в конце июня в Берлин за разрешением вооружить немецких военнопленных для борьбы с Чешским легионом[71].

Именно чехословацкое восстание наконец заставило большевиков всерьез взяться за создание армии. Бывшие царские генералы, заседавшие в Высшем военном совете, уже давно убеждали их отказаться от идеи полностью добровольной армии, состоящей исключительно из «пролетарского элемента», и ввести всеобщую воинскую повинность. Учитывая структуру населения России,

подавляющее большинство в такой армии составили бы крестьяне. Поскольку не было никакой реалистической альтернативы, Ленин и Троцкий вынуждены были преодолеть свое неприятие идеи регулярной армии с профессиональным офицерским корпусом во главе и крестьянской солдатской массой. 22 апреля правительство выпустило распоряжение всем гражданам мужского пола в возрасте от восемнадцати до сорока лет пройти восьминедельную военную подготовку. Распоряжение касалось рабочих, учащихся и крестьян, не участвующих в «эксплуатации», то есть не использующих наемного труда[72]. Это был первый шаг. 29 мая Москва объявила всеобщую мобилизацию, которую предполагалось осуществлять по этапам. Первыми должны были явиться на призывные пункты рабочие Москвы, Дона и Кубани — 1896 и 1897 годов рождения; затем — рабочие Петрограда; после этого очередь должна была дойти до рабочих железных дорог и служащих. Срок прохождения военной службы должен был составить шесть месяцев. Крестьян этот призыв пока не касался. В июне жалованье солдата было повышено со 150 до 250 рублей в месяц и была сделана первая попытка ввести стандартную униформу[73]. Одновременно правительство начало добровольную регистрацию бывших офицеров царской армии и открыло Академию Генерального штаба[74]. Наконец, 29 июля Москва издала еще два декрета, заложивших основы того, что впоследствии стало известно как Красная Армия. Одним из них вводилась принудительная военная служба для всех мужчин в возрасте от восемнадцати до сорока лет[75]. Таким образом можно было поставить под ружье более пятисот тысяч человек[76]. Вторым декретом предписывалась обязательная регистрация всех

офицеров старой армии (с 1892 по 1897 год рождения) по обозначенным округам; уклонившихся от регистрации ожидал суд Революционного трибунала[77].

Так родилась Красная Армия. Организованная с помощью профессиональных офицеров, которые вскоре заняли в ней почти все командные должности, она по своей структуре и дисциплине была, естественно, очень похожа на армию Российской империи[78]. Единственным нововведением стали в ней политические комиссары, которые назначались из верных большевиков-аппаратчиков и несли ответственность за лояльность командования всех уровней. Выступая перед Центральным исполнительным комитетом 29 июля, Троцкий с самоуверенностью, так вредившей его популярности, заверил тех, кто выражал беспокойство по поводу надежности бывших царских офицеров, именовавшихся теперь «военными специалистами», что всякий из них, задумавший предательство против советской России, будет тут же расстрелян. «При каждом специалисте должен быть комиссар справа и слава, с револьверами в руках»[79].

Красная Армия быстро стала баловнем нового режима. Уже в мае 1918 года солдаты получали более высокие жалованье и хлебный паек, чем промышленные рабочие, выражавшие против этого протест[80]. Троцкий вновь ввел в армии показуху и традиционную военную дисциплину. Первый парад Красной Армии, в котором участвовали в основном латыши, состоялся 1 мая в Москве на Ходынском поле и представлял собой весьма унылое зрелище. Но уже в 1919-м и последующие годы Троцкий ставил на Красной площади такие тщательно подготовленные и отрежиссированные парады, от

которых у старых генералов наворачивались слезы на глаза.

* * *

Чехословацкое восстание поставило большевиков перед лицом не только военных, но и политических проблем. В городах Поволжья, Урала и Сибири было полным-полно либеральной и социалистической интеллигенции, которой не хватало смелости противостоять большевикам, но которая готова была воспользоваться возможностью, предоставленной другими. В основном оппозиционеры были сосредоточены в Самаре и Омске. После разгона Учредительного собрания около семидесяти депутатов-эсеров уехали в Самару и провозгласили себя законным российским правительством. В Омске находился штаб центристов, предводительствуемых кадетами; здешние политики хотели оградить Сибирь от большевизма и от гражданской войны. Как только Чешский легион освободил от большевиков главные города центрального Поволжья и Сибири, интеллектуалы зашевелились.

Когда 8 июня чехи взяли Самару, депутаты Учредительного собрания, при большевиках находившиеся в подполье, выступили открыто, создав Комитет Учредительного собрания (Комуч) с директорией из пяти человек. Программными лозунгами Комитета были: передача всей власти Учредительному собранию и аннулирование Брестского договора. За несколько

недель, которые за этим последовали, Комуч выпустил ряд декретов, выдержанных в духе российского демократического социализма и провозгласивших, в частности, отмену ограничений свободы личности и упразднение революционных трибуналов. Он также возродил органы местного самоуправления — земства и городские управы, однако сохранил и Советы, распорядившись провести в них новые выборы. Кроме того, Комуч денационализировал банки и заявил готовности признать внешние долги России. Большевистский декрет о земле, скопированный с аграрной программы эсеров, был оставлен в силе[81].

Если Комуч считал себя правопреемником большевистского режима, то сибирские политики, находившиеся в Омске, ставили перед собой более скромные региональные цели. Они повели организационную работу в районах, которые чехословаки освободили от большевиков, и 1 июня 1918 года провозгласили себя правительством Западной Сибири.

Первоначально чехословаки не выказывали симпатий к российской антибольшевистской оппозиции[82]. Когда эсеры обратились к ним за поддержкой, они отказали на том основании, что единственной своей целью считают быстрое и безопасное перемещение во Владивосток. Однако, хотели они того или нет, им было не избежать участия во внутренней политической жизни России, потому что для достижения своей цели они вынуждены были входить в отношения с местными властями, то есть сотрудничать с Комучем и Сибирским правительством[83].

Когда чехословаки восстали, в Москве были убеждены, что они действуют по распоряжению

правительств Четверного согласия. И хотя не существует данных, которые подтверждали бы такое предположение, коммунистические историки впоследствии придерживались этой версии. Однако, по словам французского исследователя, просмотревшего все относящиеся к этому вопросу архивные материалы, «ничто не указывает на то, что французы были подстрекателями [Чехословацкого] восстания»[84]. Это подтверждает точку зрения Садуля, безуспешно пытавшегося еще в ходе событий убедить своего друга Троцкого, что французское правительство не несет ответственности за действия чехословацких войск[85]. Действительно, по крайней мере вначале, Чехословацкое восстание принесло неожиданное разочарование французам, ибо разрушило их планы переброски легиона на Западный фронт[86]. Не существует данных и о причастности к восстанию Великобритании. Коммунистические историки пытались также возложить вину на Масарика, однако в этой ситуации он пострадал больше всех, так как участие чехословаков во внутренних делах русских ставило под угрозу его намерение сформировать во Франции чешскую национальную армию. [«Напрашивается вывод, что никакое внешнее потворство или подстрекательство, будь то со стороны Четверного согласия или штаб-квартиры белого подполья, не играло сколько-нибудь существенной роли в принятии чехами решения поднять оружие против советской власти. Военные действия открылись спонтанно… ни одна из заинтересованных сторон к ним не стремилась» (Kennan G.F. The Decision to Intervene. Princeton, N. J., 1958. P. 164).].

Но в чем бы ни состояла историческая правда, для Москвы было столь же естественно усматривать в действиях генерала Гайды руку Четверного согласия, как и для чехословаков считать, что приказы об их разоружении издаются под давлением Германии. Чехословацкое восстание окончательно закрыло для большевиков возможность экономического и военного сотрудничества со странами Четвертого согласия и толкнуло Москву (которая, впрочем, пошла на это довольно охотно) в объятия Германии.

* * *

До июня 1918 года генералы оставались единственной влиятельной в Германии группировкой, требовавшей разрыва с большевиками. Но они не могли противостоять промышленникам и банкирам, имевшим весьма тесные связи с министерством иностранных дел. И вдруг генералы получили неожиданного союзника. После Чехословацкого восстания Мирбах и Рицлер разуверились в устойчивости режима Ленина и стали настойчиво требовать, чтобы Берлин искал себе в России более надежную опору. Рекомендации Рицлера основывались не только на внешних наблюдениях: как ему было известно из первых рук, силы, на которые большевики рассчитывали в борьбе с чехословаками, готовили измену. 25 июня он сообщил в Берлин, что, хотя немецкое посольство в Москве делает все возможное, чтобы помочь большевикам в их борьбе с легионом и с внутренними врагами, усилия эти, судя по всему, тщетны[87]. Чтобы убедить лейтенанта-полковника

М.А.Муравьева, командира Красной Армии на Восточном фронте, сражаться против Чехословацкого легиона, Рицлер вынужден был его подкупить. [Baumgart. Ostpolitik. S. 277; Erdmann. Riezler. S. 474; Paquet A. // Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution / Ed. by W. Baumgart. Gottingen, 1971. S. 76. Тем не менее в начале июля Муравьев изменил большевикам и был убит собственными солдатами.]. Еще большую тревогу вызывало растущее нежелание латышей выступать на стороне большевиков.

Они чувствовали, что позиции их большевистских покровителей становятся шаткими, и, опасаясь остаться в одиночестве, подумывали о переходе в другой лагерь. Рицлеру пришлось расстаться еще с изрядной суммой, чтобы убедить их принять участие в подавлении восстания в Ярославле, организованного в июле Савинковым[88].

Тем временем чехословаки захватывали один город за другим. 29 июня в их руках оказался Владивосток, а 6 июля — Уфа. В Иркутске они натолкнулись на сопротивление большевиков, но сломили его и 11 июля вошли в город. К этому моменту вся Транссибирская магистраль с ответвлениями на востоке России, от Пензы до Тихого океана, находилась под их полным контролем.

Наблюдая беспрепятственное продвижение чехословаков и видя угрозу измены в рядах сторонников большевиков, Мирбах и Рицлер преисполнились дурными предчувствиями. Они боялись, что страны Четверного согласия воспользуются кризисом и организуют эсеровский переворот, чтобы снова сделать Россию своим союзником. Рицлер убеждал Берлин в необходимости для предотвращения катастрофы искать

взаимопонимания с либеральными и консервативными кругами

России, представленными Правым центром, партией кадетов, Омским правительством и казачеством Дона. [Erdmann. Riezler. S. 711–712. Рицлер включил в список потенциальных союзников Германии кадетов, так как их лидер Милюков, живший в то время на Украине, высказывался в поддержку прогерманской ориентации. Другие кадеты сохраняли верность Четверному согласию.].

Тревожные сообщения из московского посольства вкупе с жалобами военных заставили немецкое правительство вновь вынести на повестку дня «русский вопрос». Проблему, с которой оно столкнулось, можно сформулировать следующим образом: делать ли и дальше, несмотря ни на какие осложнения, ставку на союз с большевиками, ибо они 1) настолько основательно опустошили Россию, что она стала неопасной на долгое время, и 2) пошли на заключение Брест-Литовского договора, отдавшего в руки Германии богатейшие районы России; или оставить большевиков, поддержав более традиционный, но и более жизнеспособный режим, который сохранит Россию в орбите Германии, пусть даже для этого придется пожертвовать некоторыми территориями, приобретенными в Брест-Литовске. Сторонники двух этих позиций не сходились во мнениях относительно средств. Цели у них были одни и те же: так ослабить Россию, чтобы она не смогла впредь помогать Франции и Англии «окружать» Германию, и вместе с тем сохранить возможность широкого внедрения в ее экономику. Но если антибольшевистские силы стремились для достижения этих целей расчленить Россию на ряд

зависимых политических образований, то министерство иностранных дел считало, что выкачивать из страны ресурсы надо при помощи большевиков. Вопрос этот надо было решать безотлагательно — тем или другим способом, ибо, по единодушному мнению, сложившемуся в московском посольстве, большевики были на грани падения.

В принципе никто в германском посольстве не желал, чтобы большевики оставались у власти надолго: речь шла о коротком периоде, о времени, пока длится война. Решение этого вопроса осложнялось непоследовательностью кайзера, который то обрушивался на «большевистских евреев» и требовал международного крестового похода против них, то вдруг говорил о большевиках как о лучших партнерах Германии.

Людендорф настаивал на уничтожении большевиков. В них он видел одну лишь угрозу: «Мы ничего не можем ждать от советского правительства, хоть оно и живет за наш счет». В особенности тревожило его то, что немецкие солдаты «заражаются» большевистской пропагандой, которая после переброски сотен тысяч военнослужащих, сражавшихся на востоке, распространилась и на Западном фронте. Он желал ослабить Россию и «подчинить ее [Германии] силой»[89].

Германское посольство в Москве разделяло точку зрения военных, но рекомендовало отступить от некоторых условий Брестского договора, чтобы такой ценой завоевать поддержку влиятельных политических группировок в России.

Противоположную точку зрения отстаивал Кюльман и возглавляемое им министерство иностранных дел (за

исключением московского посольства); за это же стояли многие политики и большинство в германских деловых кругах.

Вот как были сформулированы доводы в пользу продолжения сотрудничества с большевиками в меморандуме министерства иностранных дел, составленном в мае: «Просьбы об оказании Германией помощи исходят из различных источников — главным образом, из реакционных кругов — и в основном объясняются опасениями имущих классов, что большевики лишат их собственности. Предполагается, что Германия сыграет роль судебного исполнителя, который прогонит большевиков из российского дома и восстановит в нем власть реакционеров, чтобы они проводили затем в отношении Германии ту же самую политику, которой придерживался в последние десятилетия царский режим… Что касается Великороссии, то здесь мы заинтересованы только в одном: в оказании поддержки силам, ведущим ее к распаду, и в ослаблении ее на длительное время, — как это делал князь Бисмарк по отношению к Франции начиная с 1871 г…

В наших интересах быстро и эффективно нормализовать отношения с Россией, чтобы взять под контроль экономику этой страны. Чем больше мы будем вмешиваться во внутренние дела русских, тем глубже будет становиться расхождение, существующее уже сегодня между нами и Россией… Нельзя упускать из виду, что Брест-Литовский договор был ратифицирован только большевиками, и даже среди них отношение к нему не было однозначным… Следовательно, в наших интересах, чтобы большевики оставались теперь у кормила власти. Стремясь удержать свой режим, они сейчас станут делать

все возможное, чтобы продемонстрировать нам лояльность и сохранить мир. С другой стороны, их руководители, будучи еврейскими бизнесменами, скоро оставят свои теории, чтобы заняться выгодной коммерческой и транспортной деятельностью. И эту линию мы должны проводить медленно, но целенаправленно. Транспорт, промышленность и вся экономика России должны оказаться в наших руках»[90].

Имея все это в виду, Кюльман проводил политику под лозунгом «Руки прочь от России!». В ответ на запрос, очевидно, исходивший от большевиков, он предлагал заверить Москву, что ни у немцев, ни у финнов нет никаких видов на Петроград. Такие заверения делали бы возможной переброску латышских частей с запада на восток, где они были отчаянно необходимы, чтобы сражаться с Чешским легионом[91].

Для тех, кто верит в существование особых «исторических» дат, день 28 июня 1918 года должен рисоваться как один из самых значительных в новейшей истории. В этот день кайзер, приняв одно импульсивное решение, спас большевистский режим от смертного приговора, вынести который было вполне в его власти. Поводом стал доклад по российскому вопросу, направленный ему в ставку. Перед ним лежали два меморандума: один из министерства иностранных дел, за подписью канцлера Георга фон Гертлинга, другой — от Гинденбурга. Докладчик, барон Курт фон Грюнау, был представителем министерства иностранных дел в ставке кайзера. Всякий, кто сталкивался с такого рода ситуациями, знает, какое влияние на ход дела может оказать человек, представляющий материалы на рассмотрение. Предлагая лицу, облеченному властью и

не владеющему обычно всем массивом фактов, варианты решения, из которых тот должен выбрать один, докладчик может путем едва заметных манипуляций подтолкнуть решение в нужном ему направлении. Грюнау в полной мере использовал эту возможность, чтобы поддержать интересы министерства иностранных дел. Кайзер сделал свой решающий выбор в огромной степени благодаря тому, каким образом Грюнау представил ему политические альтернативы: «Импульсивной натуре кайзера, движимого обычно минутными настроениями и внезапными вспышками, было свойственно принимать те доводы, которые советник сообщал ему в первую очередь; как правило, они представлялись ему решающими [schlussig]. Так произошло и на этот раз. Канцлеру Грюнау удалось вначале проинформировать кайзера о телеграмме от Гертлинга [содержавшей рекомендации Кюльмана] и лишь после этого сообщить мнение Гинденбурга. Кайзер немедленно заявил о своем согласии с канцлером, сказав, в частности, что Германия не должна вести в России никаких военных действий. Он велел поставить в известность советское правительство, что оно может, ничего не опасаясь, переместить войска из Петрограда для борьбы с чехами. Более того, «дабы не закрывать возможностей дальнейшего сотрудничества», следует сообщить советскому правительству, что ему, как единственной партии, принявшей условия Брестского договора, будет оказана со стороны Германии еще более широкая помощь»[92].

В результате этого решения, принятого кайзером, Троцкий получил возможность перебросить латышские части с западной границы на фронт, проходивший в Поволжье и на Урале. И поскольку это были

единственные боеспособные формирования, сохранившие верность большевикам, данная акция спасла большевистский режим от полного поражения на востоке. В конце июля 5-й и отчасти 4-й латышские полки вступили в бой с чехословаками под Казанью, 6-й полк атаковал их вблизи Екатеринбурга, а 7-й — подавил вооруженное антибольшевистское восстание рабочих Ижевского и Воткинского оружейных заводов. После этих операций преимущество было уже на стороне большевиков. В телеграмме, направленной Чичериным Иоффе и перехваченной германской разведкой, была подчеркнута важность для советской России возможности вывести войска с германского фронта и бросить их против чехословаков[93].

Решение кайзера стало благословением для большевиков. Оно помогло их режиму устоять в самое ненастное для него время. Немцы могли без всяких усилий занять Петроград и почти без усилий — Москву: оба города были в тот момент практически беззащитны. Действуя по той же схеме, что на Украине, они могли бы поставить в России марионеточное правительство. Никто не сомневался, что они в состоянии это сделать. В апреле, когда позиции большевиков были еще значительно более прочными, Троцкий сказал Садулю, что их может сместить партия, которую поддержит Германии[94]. Решение кайзера, принятое в конце июня, навсегда закрыло эту возможность: шесть недель спустя, после провала немецкого наступления на западе, Германия была уже не в силах решительно вмешаться во внутренние дела России. А кроме того, знание, что немцы поддерживают большевиков, выбивало почву из-под ног российской оппозиции. Сообщая в Москву о решении кайзера, Кюльман в конце июня велел посольству

продолжать сотрудничать с Лениным. 1 июля Рицлер прервал переговоры, которые вел с Правым центром[95].

* * *

С приближением лета 1918 года в рядах левых эсеров стало нарастать беспокойствие. Романтики от революции, они нуждались в постоянном возбуждении: вначале это был экстаз Октября, затем пьянящие февральские дни 1918 года, когда народ поднялся навстречу германским полчищам, — незабываемые моменты, воспетые Александром Блоком в двух самых известных поэмах революции «Двенадцать» и «Скифы». Но вот все это ушло в прошлое, и левые эсеры вдруг обнаружили, что сотрудничают с режимом расчетливых политиков, которые заключают сделки с Германией и со странами Четверного согласия и вновь призывают «буржуазию» управлять заводами и фабриками, командовать армией. Что стало с революцией? Все, что большевики делали после февраля 1918 года, не устраивало левых эсеров. Они презирали Брестский договор, который, по их мнению, превращал Германию в хозяйку России, а Ленина — в лакея Мирбаха. Они бы хотели не заигрывать с немцами, а поднять массы против этих империалистов, чтобы бороться с ними, пусть голыми руками, и нести революцию в сердце Европы. Когда же, вопреки их протестам, большевики подписали и ратифицировали Брестский договор, левые эсеры покинули Совнарком. Столь же горячо возражали они и против политики, принятой большевиками в мае 1918 года в отношении деревни, считая, что посылать

вооруженные отряды рабочих для изъятия у сельских жителей хлеба означает сеять кровную вражду между рабочими и крестьянами. Они были также против введения высшей меры наказания и спасли немало человеческих жизней: всякий раз, когда коллегия ЧК должна была утверждать смертный приговор по политическим обвинениям, входившие в нее левые эсеры использовали свое право вето. И, неизбежно, они начали рассматривать большевиков как предателей революции. Вот как выразила это лидер левых эсеров Мария Спиридонова: «Тесно спаянные с большевиками, боролись мы на одних баррикадах и вместе с ними думали докончить славный путь борьбы. Но теперь я вижу, что они являются самыми настоящими и, быть может, искренними последователями той… политики, которой всегда держалось правительство Керенского…»[96].

Весной 1918 года левые эсеры стали относиться к большевикам так же, как сами большевики относились в 1917-м к Временному правительству и к демократическим социалистам. Они объявили себя совестью революции, неподкупной альтернативой режиму оппортунистов и сторонников компромисса. По мере уменьшения влияния большевиков в среде промышленных рабочих, левые эсеры становились для них все более опасными соперниками, ибо взывали к тем самым анархическим и разрушительным инстинктам российских масс, на которые большевики опирались, пока шли к власти, но, получив власть, стремились всячески подавить. Они получили поддержку в самых неспокойных слоях городского населения, включая радикально настроенных петроградских рабочих и матросов того, что именовалось Балтийским и Черноморским флотами. По сути, левые

эсеры апеллировали к тем группам, которые помогли большевикам захватить власть в октябре и теперь почувствовали, что их предали.

С 17 по 25 апреля в Москве проходил съезд левых эсеров. Считалось, что он представляет более 60 000 членов этой партии. Большинство делегатов призывали к открытому разрыву с большевиками и с тем, что они называли «комиссародержавием»[97]. Два месяца спустя, 24 июня, на тайном заседании Центральный комитет партии левых эсеров решил поднять знамя восстания[98]. Это должно было положить конец «передышке», предоставленной Брестом. Предполагалось, что на Пятом съезде Советов, созыв которого был намечен на 4 июля, левые эсеры выступят с предложением денонсировать Брест-Литовский договор и объявить войну Германии. В случае, если это предложение не пройдет, левые эсеры собирались устроить террористические провокации, которые привели бы к разрыву между Россией и Германией. Вот что было сказано по этому поводу в резолюции, принятой на заседании ЦК:

«В своем заседании от 24 июня ЦК ПЛСР-интернационалистов, обсудив настоящее политическое положение Республики, нашел, что в интересах русской и международной революции необходимо в самый короткий срок положить конец так называемой передышке, создавшейся благодаря ратификации большевистским правительством Брестского мира. В этих целях Центральный Комитет партии считает возможным и целесообразным организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма; одновременно с этим ЦК партии постановил организовать

для проведения своего решения мобилизацию надежных военных сил и приложить все меры к тому, чтобы трудовое крестьянство и рабочий класс примкнули к восстанию и активно поддержали партию в этом выступлении. С этой целью к террористическим актам приурочить объявление в газетах участие нашей партии в украинских событиях последнего времени, как то: агитацию крушений и взрыв оружейных арсеналов. <…>

Что касается формы осуществления настоящей линии поведения в первый момент, то постановлено, что осуществление террора должно произойти по сигналу из Москвы. Сигналом таким может быть и террористический акт, хотя это может быть заменено и другой формой.

Для учета и распределения всех партийных сил при проведении этого плана ЦК партии организует Бюро из трех лиц (Спиридонова, Голубовский и Майоров). Ввиду того, что настоящая политика партии может привести ее, помимо собственного желания, к столкновению с партией большевиков, ЦК партии, обсудив это, постановил следующее: мы рассматриваем свои действия как борьбу против настоящей политики Совета народных комиссаров и ни в коем случае как борьбу против большевиков. Однако, ввиду того, что со стороны последних возможны агрессивные действия против нашей партии, постановлено в таком случае прибегнуть к вооруженной обороне занятых позиций. А чтобы в этой схватке партия не была использована контрреволюционными элементами, постановлено немедленно приступить к выявлению позиции партии, к широкой пропаганде необходимости твердой, последовательной интернациональной революционно-социалистической политики в советской России»[99].

Как видно из этой резолюции, левые эсеры собирались действовать так же, как большевики в октябре 1917 года, во всем, кроме одного чрезвычайно важного пункта: они не стремились к захвату власти. Власть должна была остаться в руках большевиков. Левые эсеры хотели только заставить большевиков отказаться от проводимой ими «оппортунистической» политики и с этой целью собирались путем антинемецких террористических актов спровоцировать нападение Германии на советскую Россию. План этот был целиком лишен реализма: он строился на допущении, что немцы под влиянием момента откажутся от стратегических преимуществ, предоставленных им Брестским договором, и забудут об общих интересах, связывающих Берлин и Москву.

Спиридонова, которая была самой влиятельной фигурой в комитете из трех человек, сформированном левыми эсерами, обладала бесстрашием, свойственным в былые времена религиозным мученикам, но у нее не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминал здравый смысл. Иностранцы, которые сталкивались с ней в эти дни, отзывались о ней весьма скептически. Рицлер назвал ее «высушенной юбкой», а по словам немецкого журналиста Альфонса Паке, это была «неутомимая истеричка в пенсне, карикатурная Афина, которая, когда говорила, всегда как бы тянулась рукой к струнам невидимой арфы, а когда зал разражался аплодисментами и яростными выкриками, нетерпеливо топала ножкой и поправляла на плече упавшие лямки своего платья»[100].

Приняв решение, левые эсеры сразу же приступили к делу. Они послали агитаторов в военные части, стоявшие в Москве и ее пригородах. Некоторые из них им

удалось привлечь на свою сторону, другие обещали сохранять нейтралитет. Левые эсеры, работавшие в ЧК, образовали вооруженные отряды, которым предстояло вступить в бой, если большевики перейдут в контрнаступление. Была проведена подготовка к террористическому акту против германского посла, убийство которого должно было послужить сигналом к восстанию в масштабах всей страны. Повторяя тактику большевиков накануне Октября, левые эсеры не скрывали своих планов. 29 июня орган их партии «Знамя труда» поместил на первой странице призыв ко всем дееспособным членам партии явиться не позднее 2 июля в местные партийные комитеты, которым были даны инструкции провести с ними боевую подготовку[101]. На следующий день Спиридонова публично заявила, что только вооруженное восстание может спасти революцию[102]. И до сих пор остается абсолютной загадкой, каким образом Дзержинский и его помощники-латыши в ЧК пропустили мимо ушей эти предупреждения и оказались совершенно не готовы к событиям 6 июля.

Отчасти (но лишь отчасти) это можно объяснить тем, что несколько заговорщиков работали в руководящих органах ЧК. Своим заместителем Дзержинский назначил левого эсера Петра Александровича Дмитриевского, известного более как Александрович, который пользовался его безграничным доверием и был наделен самыми широкими полномочиями. Среди левых эсеров, работавших в ЧК и принимавших участие в заговоре, были также Я.Г.Блюмкин, отвечавший за контрразведывательную деятельность в германском посольстве, фотограф Николай Андреев и Д.И.Попов, командир кавалерийского

отряда ЧК. Эти люди плели нити заговора в штаб-квартире тайной полиции. Попов подготовил несколько сот вооруженных бойцов, главным образом матросов, сочувствовавших левым эсерам. Блюмкин и Андреев взяли на себя подготовку убийства Мирбаха. Они изучили здание, в котором помещалось германское представительство, и сфотографировали выходы, которыми предполагали воспользоваться после того, как убьют посла.

Руководившая этими приготовлениями тройка планировала начать восстание на второй или на третий день работы Пятого съезда Советов, открытие которого было намечено 4 июля. Спиридонова должна была внести предложение о денонсировании Брест-Литовского договора и объявлении войны Германии. Поскольку мандатная комиссия, определявшая принцип представительства на съезде, щедро предоставила левым эсерам 40 % всех мест и было известно, что многие большевики возражают против Брестского договора, руководители левых эсеров решили, что у них есть шанс получить большинство. Если выйдет иначе, они поднимут знамя восстания, убив германского посла. 6 июля было подходящим днем для начала действий, так как приходилось на Иванов день, латышский национальный праздник, который латышские стрелки собирались отмечать на Ходынском поле, в пригородах Москвы, оставив в городе лишь ограниченные силы, необходимые для охраны Кремля. [По словам командующего латышскими частями И.И.Вацетиса, к этому времени большинство из них были уже переброшены на фронт на Урал и в Поволжье. В Москве оставались лишь 1-й и 3-й полки, и в обоих не хватало личного состава. Часть подразделений 1-го Латышского полка получили приказ в

первые дни июля передислоцироваться в Нижний Новгород (Память. 1979. № 2. С. 16)].

Как показали последующие события, силы правительства, сосредоточенные в Москве, были столь незначительны, что, если бы левые эсеры хотели захватить власть, они могли бы сделать это с еще меньшими усилиями, чем большевики в октябре. Но они определенно не желали брать на себя ответственность управления государством. Восстание их было не столько государственным, сколько театрализованным переворотом, грандиозной политической демонстрацией, имевшей целью зажечь «массы», возродить в них ослабевший к этому времени революционный дух. Они совершили ошибку, против которой всегда предостерегал своих последователей Ленин, — стали «играть» в революцию.

* * *

Как только в Большом театре открылся съезд Советов, большевики и левые эсеры сразу же вцепились друг другу в глотку. Ораторы от левых эсеров обвиняли большевиков в измене делу революции и в разжигании войны между городом и деревней, большевики же, в свою очередь, упрекали их в попытках спровоцировать войну России с Германией. Левые эсеры внесли предложение выразить недоверие большевистскому правительству, денонсировать Брест-Литовский договор и объявить войну Германии. Когда это предложение было

отклонено большевистским большинством, левые эсеры покинули съезд[103].

По свидетельству Блюмкина, вечером 4 июля его вызвала к себе Спиридонова[104]. Она сказала, что партия дает ему задание убить Мирбаха. Блюмкин попросил двадцать четыре часа, чтобы совершить необходимые приготовления: выправить на свое и Андреева имя документ с поддельной подписью Дзержинского, позволявший им требовать аудиенции у германского посла, достать два револьвера, две бомбы и автомобиль, принадлежавший ЧК, за рулем которого должен был сидеть Попов.

6 июля в 2 часа 15 минут пополудни (самое позднее — в половине третьего) два представителя ЧК появились на пороге германского посольства в Денежном переулке. Один из них представился как Яков Блюмкин, офицер контрразведывательной службы ЧК, другой — как Николай Андреев, представитель Революционного трибунала. Они предъявили документ, подписанный Дзержинским и секретарем ЧК, который уполномочивал их «войти в переговоры с господином Германским Послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к Господину Послу»[105]. Речь шла о деле лейтенанта Роберта Мирбаха (которого считали родственником посла), задержанного ЧК по подозрению в шпионаже. Посетителей принял Рицлер в присутствии переводчика, лейтенанта Л.Г.Миллера. Рицлер сообщил им, что уполномочен говорить от имени графа Мирбаха, но русские отказались с ним беседовать, ссылаясь на распоряжение Дзержинского встретиться лично с послом.

Германское посольство в течение некоторого времени уже получало предостережения о возможных актах насилия. Приходили анонимные письма и подозрительные визитеры, например электрики, желающие проверить абсолютно исправную проводку; какие-то неизвестные фотографировали здание посольства. Мирбах не хотел встречаться с посетителями, но, поскольку они предъявили документ за подписью председателя ВЧК, он спустился поговорить с ними. Русские сказали, что его может заинтересовать дело лейтенанта Мирбаха. Посол ответил, что предпочтет получить эту информацию в письменном виде. В этот момент Блюмкин и Андреев извлекли из портфелей револьверы и стали стрелять в Мирбаха и Рицлера. Оба промахнулись. Рицлер и Мирбах бросились на пол. Потом Мирбах вскочил и попытался бежать через гостиную на второй этаж. Андреев кинулся вслед и выстрелил ему в затылок. Блюмкин метнул бомбу на середину комнаты. Затем убийцы выскочили через открытые окна. Блюмкин поранился, но ухитрился не отстать от Андреева. Они перелезли через окружавшую здание посольства чугунную ограду высотой в два с половиной метра и сели в ожидавший их автомобиль с включенным мотором. Мирбах умер в 3 часа 15 минут пополудни, не приходя в сознание[106].

Сотрудники посольства опасались, что нападение на посла было сигналом к штурму здания посольства. Военные приготовились к обороне. Попытки связаться с советскими властями ни к чему не привели, так как телефонные линии были перерезаны. Военный атташе Ботмер поспешил в гостиницу «Метрополь», где находился комиссариат по иностранным делам, и рассказал Карахану, заместителю Чичерина, о том, что

произошло. Карахан связался с Кремлем. Ленин узнал о событиях приблизительно в 3 часа 30 минут пополудни и немедленно поставил о них в известность Дзержинского и Свердлова[107].

В тот же день, некоторое время спустя, германское посольство посетили большевистские руководители. Первым прибыл Радек, у которого на поясе висело, по словам К. фон Ботмера, нечто размером с небольшое осадное орудие. Вслед за ним появились Чичерин, Карахан и Дзержинский. Большевистских деятелей сопровождал взвод латышских стрелков. Ленин оставался в Кремле, но Рицлер, принявший на себя руководство посольством, настоял, чтобы он появился лично с объяснениями и извинениями. Это было в высшей степени необычное требование, с которым иностранный дипломат мог обратиться к главе государства, но влияние немцев было в этот момент так велико, что Ленин вынужден был повиноваться. Около пяти часов пополудни он приехал в посольство в сопровождении Свердлова. Как сообщают немецкие очевидцы, его интересовали исключительно технические подробности трагедии. Он попросил, чтобы ему показали место, где произошло убийство, объяснили, как стояла мебель и какие разрушения причинила бомба. Осмотреть тело погибшего он отказался. Ленин принес извинения, которые, по словам одного из немцев, были «холодны, как собачий нос», и обещал, что виновные будут наказаны[108]. Ботмеру показалось, что русские были страшно напуганы.

* * *

Убегая, убийцы обронили свои бумаги, в том числе документ, пользуясь которым они проникли в посольство. По этим материалам и из рассказа Рицлера Дзержинский узнал, что нападавшие отрекомендовались как представители ЧК. Не на шутку этим встревоженный, он отправился в Покровские казармы в Большом Трехсвятительском переулке, дом 1, где размещался боевой отряд ЧК. Казармы находились уже под контролем людей Попова. Дзержинский потребовал, чтобы ему выдали Блюмкина и Андреева, угрожая, что расстреляет весь Центральный комитет левых эсеров. Вместо того чтобы подчиниться, матросы Попова арестовали Дзержинского. Он должен был служить заложником, гарантирующим безопасность Спиридоновой, которая пошла на съезд Советов, чтобы заявить, что «русский народ освобожден от Мирбаха»[109].

События эти развивались в грозу, под проливным дождем, из-за которого вскоре Москва окуталась густым туманом.

Возвратившись в Кремль, Ленин с ужасом узнал, что Дзержинский арестован ЧК: по словам Бонч-Бруевича, услышав эту новость, «Владимир Ильич нельзя сказать побледнел, а побелел»[110]. Подозревая, что ЧК изменила ему, Ленин, через Троцкого, отдал распоряжение об ее роспуске. М.И.Лацису было поручено сформировать новую службу безопасности[111]. Лацис поспешил в штаб-квартиру ЧК на Большой Лубянке и обнаружил, что она тоже находится под контролем Попова. Матросы из левых эсеров, которые вели Лациса под конвоем к

кабинету Попова, хотели пристрелить его на месте; спасло только вмешательство Александровича[112]. Несколько дней спустя, когда роли переменятся и Александрович окажется в руках ЧК, Лацис ничем не ответит ему на этот товарищеский жест.

В тот вечер матросы и солдаты, поддержавшие левых эсеров, вышли на улицы, чтобы взять заложников. Останавливая автомобили, они извлекли из них двадцать семь большевистских функционеров.

В распоряжении левых 5серов было 2000 вооруженных людей (матросы и кавалерия), восемь артиллерийских орудий, шестьдесят четыре пулемета и от четырех до шести броневиков[113]. Это были солидные силы, если учесть, что основная часть латышских стрелков отдыхала за городом на природе, а русские части либо солидаризировались с восставшими, либо объявили нейтралитет. Ленин оказался в таком же унизительном и затруднительном положении, в каком был в октябре Керенский: глава государства, не имевший вооруженных сил, чтобы защитить свое правительство. В тот момент ничто не могло помешать левым эсерам, если бы они того пожелали, захватить Кремль и арестовать все большевистское руководство. Им не пришлось бы даже применять силу, так как у членов Центрального комитета были пропуска, дающие им право беспрепятственно проходить в Кремль, включая все находившиеся там учреждения и частную квартиру Ленина.

Но таких намерений у левых эсеров не было. Их отвращение к власти спасло большевиков. Цель их заключалась в том, чтобы спровоцировать немцев и поднять российские «массы». Вот что говорил

арестованному Дзержинскому один из руководителей левых эсеров: «Вы стоите перед совершившимся фактом. Брестский договор сорван, война с Германией неизбежна. Мы власти не хотим, пусть будет и здесь так, как на Украине, мы уйдем в подполье. Вы можете оставаться у власти, но вы должны бросить лакействовать у Мирбаха»[115]. Поэтому, вместо того чтобы пойти в Кремль и свергнуть советское правительстве, отряд левых эсеров под командованием П.П.Прошьяна направился к зданию Главпочтамта, занял его без какого-либо сопротивления и стал оттуда рассылать воззвания, обращенные к российским рабочим, крестьянам, солдатам, а также ко «всему миру». [Владимирова В. // Пролетарская революция. 1927. № 4 (63). С. 122–123; Ленин. ПСС. Т. 23. С. 554–556; Красная книга ВЧК. Т. 2. М., 1920. С. 148–155. Ранее Прошьян был наркомом почт и телеграфов.]. Воззвания эти были путаными и противоречивыми. Левые эсеры брали на себя ответственность за убийство Мирбаха и объявляли низложенным правительство большевиков как «агентов германского империализма». Заявляя, что поддерживают «советскую систему», они в то же время отвергали все остальные социалистические партии, называя их «контрреволюционными». В одной из телеграмм они объявляли себя «правящей в настоящее время» партией. По словам Вацетиса, левые эсеры действовали «нерешительно»[116].

Спиридонова прибыла в Большой театр в семь часов вечера и обратилась к съезду с длинной и малосвязной речью. После нее выступали другие ораторы из левых эсеров. Царила полнейшая неразбериха. В восемь часов делегатам сообщили, что вооруженные латыши окружили здание и открыли входы, после чего большевики

покинули зал. Спиридонова призвала своих последователей подняться на второй этаж. Там она вскочила на стол и стала кричать: «Эй, вы, слушай, Земля, эй, вы, слушай, земля!»[117]. Делегаты от большевиков, собравшиеся в крыле Большого театра, не могли решить, нападают ли они или подвергаются нападению. Как рассказывал впоследствии Бухарин И.З.Штейнбергу, «мы сидели в своей комнате и ждали, что вы придете нас арестовывать… Поскольку вы этого не делали, мы решили, наоборот, арестовать вас»[118].

Пора было уже начать действовать большевикам, но шел час за часом, а ничего не происходило. Не имея надежной силы, на которую оно могло бы опереться, правительство пребывало в паническом оцепенении. По его собственной оценке, из 24 000 находившихся тогда в Москве вооруженных людей одна треть готова была поддержать большевиков, одна пятая была ненадежной (то есть настроенной антибольшевистски), остальные колеблющимися[119]. Но даже и те части, которые сохраняли верность большевикам, невозможно было сдвинуть с места. Отчаяние, охватившее большевистских руководителей, было так велико, что они всерьез размышляли над эвакуацией из Кремля[120].

В пять часов пополудни командира латышских стрелков И.И.Вацетиса вызвал командующий Московским военным округом Н.И.Муралов. Кроме него в штабе находился Подвойский. Они вкратце изложили Вацетису ситуацию и попросили его подготовить план операций. Однако, сказали они ошарашенному латышу, командовать операциями будет другой человек. Такое недоверие объяснялось, очевидно, тем, что в Кремле знали о контактах Вацетиса с германским посольством.

Но другого латыша, которому можно было поручить командование, найти не удалось, и Вацетис предложил свои услуги, сказав, что готов отвечать «головой» за неуспех операций. Об этом было сообщено в Кремль. [Как известно из воспоминаний Рицлера, германскому посольству пришлось подкупить латышей, чтобы они выступили против левых эсеров (Erdmann. Riezler. S. 474)].

Примерно в 11 часов 30 минут вечера Ленин вызвал к себе в кабинет латышских политкомиссаров, приписанных к штабу Вацетиса, и спросил, могут ли они поручиться за лояльность их командующего[121]. Они ответили утвердительно, и Ленин дал согласие, чтобы Вацетис руководил операцией против левых эсеров, однако из предосторожности распорядился назначить в его штаб четырех политкомиссаров вместо обычных двух.

В полночь Вацетису сообщили по телефону, что его вызывает к себе Ленин. Вот как он описывает эту встречу: «В Кремле было темно и пусто. Нас провели в зал заседаний Совнаркома и просили подождать… Довольно обширное помещение, в котором я очутился впервые, освещалось одной электрической лампочкой, подвешенной под потолком где-то в углу. Занавеси у окон были спущены. Обстановка напоминала мне прифронтовую полосу на театре военных действий… Через несколько минут дверь на противоположной стороне зала отворилась, и в нее вошел тов. Ленин. Он подошел ко мне быстрыми шагами и спросил вполголоса: «Товарищ, выдержим до утра?» Задав этот вопрос мне, Ленин продолжал смотреть на меня в упор. Я в этот день привык к неожиданностям, но вопрос тов. Ленина озадачил меня остротой своей формы… Почему было важным выдержать до утра? Неужели мы не выдержим

до конца? Было ли наше положение столь опасным, может быть, состоявшие при мне комиссары скрывали от меня истинное положение наше?»[122]

Прежде чем ответить на вопрос Ленина, заявил Вацетис, ему нужно время, чтобы разобраться в ситуации[123]. Город оказался в руках восставших, только Кремль стоял как осажденная крепость. Когда Вацетис прибыл в штаб Латышской дивизии, начальник штаба сообщил ему, что «весь московский гарнизон» выступил против большевиков. Так называемая Народная Армия, которая составляла большинство в гарнизоне и проходила подготовку, чтобы вместе с французскими и английскими частями сражаться против немцев, заявила о своем нейтралитете. Еще один полк перешел на сторону левых эсеров. Оставались только латыши: один батальон 1-го полка, один — 2-го и 9-й полк. Был еще 3-й Латышский полк, но его надежность вызывала сомнения. Кроме этого, Вацетис мог рассчитывать на латышскую артиллерийскую батарею и на несколько небольших подразделений, в том числе на отряд сочувствующих коммунистам венгерских военнопленных под командованием Белы Куна.

Выяснив все это, Вацетис решил отложить контрнаступление до утра, когда латышские части должны были вернуться с Ходынки. Он послал две роты 9-го Латышского полка занять Главный почтамт, но они либо не сумели этого сделать, либо перешли на сторону противника, — так или иначе, левым эсерам удалось их разоружить.

В два часа ночи Вацетис вернулся в Кремль: «Тов. Ленин вышел из той же двери и таким же быстрым шагом подошел ко мне. Я сделал несколько шагов ему

навстречу и отрапортовал: «Не позже 12-ти часов 7 июля мы будем полными победителями в Москве». Ленин схватил обеими руками мою правую руку и крепко-крепко пожал ее, и сказал: «Спасибо, товарищ. Вы меня очень обрадовали»[124]».

Когда сырым и туманным утром, в пять часов, Вацетис начал контрнаступление, под его командованием находилось 3300 человек, среди которых едва 500 человек были русскими. Левые эсеры отчаянно сопротивлялись, и латышам понадобилось семь часов, чтобы овладеть опорными пунктами мятежников и освободить Дзержинского, Лациса и других заложников, которым не было причинено никакого вреда. За хорошо выполненную работу Вацетис получил от Троцкого вознаграждение в 10 000 рублей[125].

7 и 8 июля большевики произвели аресты и допросы мятежников, включая Спиридонову и других делегатов съезда Советов от партии левых эсеров. Рицлер потребовал, чтобы правительство казнило всех виновных в убийстве германского посла, в том числе членов Центрального комитета левых эсеров. Были назначены две правительственные комиссии: одна для расследования лево-эсеровского мятежа, вторая — для изучения обстоятельств измены в гарнизоне. В Москве, Петрограде и других городах были арестованы 650 левых эсеров. Несколько дней спустя было объявлено, что 200 из них расстреляны[126]. Как сообщил Иоффе немцам в Берлине, среди казненных была также и Спиридонова. Известие вызвало в Германии оживление, пресса обыгрывал тему расстрелов на все лады. Информация была ложной, но, когда Чичерин официально ее опроверг, министерство иностранных дел Германии

использовало все свое влияние, чтобы сообщение об этом не попало в газеты[127].

В действительности большевики обошлись с левыми эсерами на удивление снисходительно. Вместо того чтобы учинить массовый расстрел тех, кто выступил против них с оружием в руках (как они сделают это несколько дней спустя в Ярославле), они коротко допросили пленников, а затем отпустили большинство из них на свободу. Расстреляны были двенадцать матросов, находившихся под командованием Попова, а также Александрович, который пытался бежать, но был схвачен на железнодорожном вокзале. Спиридонову и одного из ее помощников доставили в Кремль и поместили в импровизированную тюрьму, охраняемую латышами. Два дня спустя ее перевели в двухкомнатную квартиру, находившуюся там же в Кремле, где она жила в довольно комфортабельных условиях вплоть до суда над ней, состоявшегося в ноябре 1918 года. Большевики не запретили партию левых эсеров и позволили ей продолжать выпуск своей газеты. Называя левых эсеров «блудными сынами», «Правда» в то же время выражала надежду на их скорое «возвращение»[128]. Зиновьев расточал похвалы Спиридоновой, называя ее прекрасной женщиной с «золотым сердцем», арест которой не дает ему спать по ночам[129].

Ни до, ни после этого большевики не выказывали такой терпимости по отношению к своим врагам. Это в высшей степени необычное для них поведение заставляет некоторых историков подозревать, что убийство Мирбаха и восстание левых эсеров были на самом деле разыграны большевиками, хотя трудно понять, зачем им понадобился столь изощренный обман

и каким образом им удалось скрыть свой замысел от других участников спектакля[130]. Впрочем, для объяснения этих событий не обязательно прибегать к гипотезам о запутанных заговорах. В июле положение большевиков казалось безнадежным: власть их шаталась под ударами с одной стороны чехов, с другой — вооруженного восстания в Ярославле и Муроме; от них отвернулись российские рабочие и солдаты, и даже на верность латышей они уже рассчитывать не могли.

Они вовсе не собирались восстанавливать против себя еще и левых эсеров и тех, кто поддерживал эту партию. Но прежде всего они боялись за свои жизни. Когда Радек сознался своему немецкому другу, что большевики мягко обошлись с левыми эсерами, опасаясь их мести, он несомненно выражал не только собственную точку зрения[131]. В рядах этой партии было, действительно, множество фанатиков, которые не задумываясь пожертвовали бы собственной жизнью ради общего дела, — таких, как Спиридонова, выразившая в письме большевистским руководителям, написанном из тюрьмы, сожаление, что ее не казнили, ибо ее смерть заставил бы большевиков «опомниться»[132]. Карл Хельфферих, преемник Мирбаха, также придерживался мнения, что большевики побоялись расправиться с левыми эсерами[133].

В ноябре 1918 года Революционный трибунал рассмотрел дело Центрального комитета партии левых эсеров, большинство членов которого бежали за границу или ушли в подполье. Спиридонова и Ю.В.Саблин, представшие перед судом, были приговорены к заключению сроком на один год. Этого срока Спиридонова не отбыла до конца: в апреле 1919 года

левые эсеры похитили ее из кремлевской тюрьмы. [Перед побегом Спиридонова направила пространное письмо в большевистский ЦК. Год спустя ее последователи опубликовали его под заголовком «Открытое письмо М.Спиридоновой Центральному Комитету партии большевиков» (М., 1920).]. Впоследствии она неоднократно подвергалась арестам. В 1937 году ее приговорили к двадцати пяти годам заключения за «контрреволюционную деятельность». В 1941-м, когда немецкая армия подходила к Орлу, где она отбывала срок, ее расстреляли[134]. Из убийц Мирбаха ни один не дожил до старости. Андреев год спустя умер на Украине от тифа. Блюмкин до мая 1919 года жил на нелегальном положении, а затем сдался властям. Покаявшись, он не только получил прощение, но был принят в Коммунистическую партию и назначен в аппарат Троцкого. В конце 1930 года он имел неосторожность передавать послания Троцкого его последователям в России. Его арестовали и казнили[135].

После июльского восстания левые эсеры раскололись на две фракции: одна из них одобряла восстание, другая — нет. Со временем обе эти фракции растворились в Коммунистической партии, за исключением немногочисленной группы, которая ушла в подполье[136].

Дзержинский был отстранен от должности. Формально он подал в отставку с поста председателя и члена ЧК, чтобы выступить свидетелем на процессе по обвинению убийц Мирбаха[137], но поскольку большевики обычно пренебрегали такого рода юридическими тонкостями, да и суд этот так никогда и не состоялся, все это было сделано, чтобы он мог сохранить лицо.

Подлинной причиной отстранения Дзержинского скорее всего было то, что Ленин заподозрил его в участии в заговоре левых эсеров. До 22 августа, когда Дзержинский был восстановлен в должности, секретной полицией руководил М.И.Лацис.

Восстание левых эсеров провалилось не только потому, что они не ставили перед собой ясной цели и подняли бунт, не желая принять на себя ответственность за его политические последствия, но также и по той причине, что они не сумели предугадать реакцию большевиков и немцев. Оказалось, что для тех и других на карту было поставлено слишком многое, чтобы поддаться на такую провокацию, как убийство посла (за которым последовало убийство фельдмаршала Германна фон Эйхгорна, осуществленное левыми эсерами на Украине). Германское правительство, по сути, проигнорировало убийство Мирбаха, а немецкая печать под нажимом правительства спустила эту тему на тормозах. К осени 1918 года Россия и Германия сблизились как никогда.

Большевикам очень везло в выборе противников.

* * *

По удивительному стечению обстоятельств, в тот же самый день, утром 6 июля, в трех городах, расположенных на северо-восток от Москвы, — в Ярославле, Муроме и Рыбинске началось еще одно антибольшевистское восстание. Его вдохновителем был

Б.В.Савинков, самый умелый и предприимчивый из всех заговорщиков, боровшихся с большевиками.

Савинков родился в Харькове в 1879 году, окончил школу в Варшаве и поступил в Санкт-Петербургский университет[138]. Там он оказался замешан в студенческих беспорядках, включая университетскую забастовку 1899 году. Вступив в партию эсеров, он быстро завоевал одну из ведущих ролей в ее Боевой организации и осуществил несколько крупных террористических актов, в числе которых были убийства Плеве и вел. кн. Сергея Александровича. В 1906 году его террористическая деятельность закончилась, так как полицейский агент Евно Азеф выдал его охранке. Савинков был приговорен к смерти, но ухитрился бежать, пробрался за границу, где жил вплоть до февральской революции, сочиняя романы о революционном подполье. Война пробудила в нем патриотические порывы. До февраля 1917 года он служил во французской армии, затем вернулся в Россию. Временное правительство назначило его своим комиссаром на фронте. Он становился все большим националистом и консерватором и, как мы видели, летом 1917 года, будучи руководителем военного министерства в правительстве Керенского, сотрудничал с Корниловым, пытаясь восстановить дисциплину в вооруженных силах. Человек, окруженный романтическим ореолом, решительный, обладающий даром убеждения, Савинков производил сильное впечатление на тех, кого хотел поразить, в частности, на Уинстона Черчилля.

В декабре 1917 года Савинков отправился на Дон, где принял участие в создании Добровольческой армии. По поручению генерала М.В.Алексеева он вернулся в большевистскую Россию, чтобы наладить контакты с

видными общественными деятелями[139]. Задача его заключалась в том, чтобы выявить офицеров и политиков, которые, невзирая на партийную принадлежность, хотели продолжить борьбу с немцами и с их большевистскими прихлебателями. Благодаря революционному прошлому и более поздним патриотическим заслугам Савинков идеально подходил для этой миссии. Он беседовал с Г.В.Плехановым, Н.В.Чайковским и с другими социалистическими светилами, известными «оборонческими» идеями, однако не слишком преуспел в привлечении их на свою сторону, ибо, за несколькими исключениями, они предпочитали, скорее, ждать, пока власть большевиков рухнет сама, чем сотрудничать с националистически настроенным офицерством. Плеханов отказался принять его, сказав: «Я 40 лет своей жизни отдал пролетариату, и не я его буду расстреливать даже тогда, когда он идет по ложному пути»[140]. Более успешными были его переговоры с демобилизованными офицерами, в особенности с теми, кто служил прежде в элитных гвардейских и гренадерских полках.

Основную сложность для Савинкова составляла нехватка денег: он не мог позволить себе купить даже трамвайный билет. Чтобы создать вооруженные формирования, он должен был платить жалованье своим офицерам, большинство из которых бедствовали не меньше, чем он, ибо никто не решался принять их на работу. За ассигнованиями Савинков обратился к представителям стран Четверного согласия. Его собственные планы заключались в том, чтобы убить Ленина и Троцкого, положив таким образом начало свержению большевистского режима. Однако он понимал, что странам Четверного согласия было в общем

все равно, кто правит в России, пока она выступает против Четверного союза. Действительно, как раз в это время (март—апрель 1918 г.) французы помогали Троцкому в организации Красной Армии. Поэтому Савинков скрыл от представителей стран Четверного согласия свои подлинные политические цели и выступил перед ними в роли русского патриота, единственным намерением которого было восстановление боеспособности России и продолжение войны против Германии.

Первым протянул ему руку помощи Томас Масарик. Остается неясным, зачем понадобилось чешскому лидеру помогать Савинкову, так как в начале 1918 года он вел переговоры с большевиками об эвакуации своих людей из России и вряд ли мог быть заинтересован в участии в антибольшевистской деятельности. В своих воспоминаниях Масарик пишет, что согласился встретиться с Савинковым из чистого любопытства и был весьма разочарован, ибо нашел в нем человека, по-видимому, неспособного отличить «революцию» от «террористического акта», моральные принципы которого не поднимаются выше «примитивного уровня кровавой вендетты»[141]. Такую оценку он дает задним числом, а тогда, в апреле 1918-го, свои первые деньги, 200 000 рублей, Савинков получил именно от Масарика[142]. Вероятно, Савинков, мастерски умевший скрывать свои замыслы, убедил Масарика, что эти деньги пойдут на создание в рамках Добровольческой армии Алексеева в центральных областях России специальных подразделений, предназначенных для борьбы с Германией.

Савинков также вступил в контакт с Брюсом Локкартом и Жозефом Нулансом. К предложению Савинкова создать под носом у большевиков антинемецкую армию Локкарт отнесся скептически. Но, как и многие другие, он попал под обаяние Савинкова и, скорее всего, помог бы ему, если бы не получил от секретаря по иностранным делам Артура Бэлфура категорических инструкций «не иметь ничего общего с планами Савинкова и не вступать ни в какие дальнейшие переговоры по поводу этих планов»[143].

Нуланс, главный поборник идеи создания на территории России международной антинемецкой армии, оказался более сговорчивым. Савинков его поразил: «Выражение его лица было до странности безразличным, глаза неподвижно глядели из-под едва приоткрытых монгольских век, губы, всегда плотно сжатые, как будто скрывали все его тайные мысли. Напротив, его профиль и телосложение были совершенно западными. Возникало впечатление, что вся энергия одной расы сочетается в нем с хитроумием и таинственностью другой»[144]. В начале мая Нуланс дал Савинкову 500000 рублей. За этим последовали другие выплаты, так что общая сумма составила около 2 500 000 рублей[145]. Насколько можно сегодня установить, эти средства должны были расходоваться на военные цели, главным образом на содержание Добровольческой армии, но также и на какую-то работу в германском тылу по линии военной разведки стран Четверного согласия[146]. Не существует надежных данных, свидетельствующих о том, что Нуланс вступил с Савинковым в заговор с целью свержения большевистского режима или что он был хотя бы знаком с революционными замыслами Савинкова. [24 мая Гренар, генеральный консул Франции в Москве,

служивший посредником между французским послом и Савинковым, сообщил Ну-лансу, что Савинков планирует поднять в середине июня в Поволжье антибольшевистское восстание. То, что Нуланс нуждался в этой (к тому же фактически неверной) информации, подтверждает сделанное им заявление, что он не принимал участия в заговоре Савинкова (Noulens Mon Ambassade. V. 2. P. 109–110). Донесение Гренара хранится в архиве министерства иностранных дел Франции (Guerre V. 671; Noulens. 1918. 24 May. № 318).]. Нуланс взял с Савинкова обещание, что тот будет координировать свои действия с другими российскими партиями, прежде всего, по-видимому, с Национальным центром, который поддерживал Четверное согласие, но Савинков этого обещания не сдержал, так как не верил, что ему удастся при этом сохранить свои намерения в тайне. Как пишет в своих воспоминаниях Ф.Гренар, подняв в июле 1918 года знамя восстания, «он действовал самостоятельно, в нарушение данного им слова не предпринимать ничего без согласования с другими российскими партиями»[147].

Используя чешские и французские деньги, Савинков начал действовать с размахом и к апрелю 1918 года завербовал в свою организацию, «Союз защиты родины и свободы», более 5000 человек, из которых 2000 находились в Москве, а остальные — в тридцати четырех городах в провинции. [Савинков Б.В. Борьба с большевиками. Варшава, 1923. С. 26. А.И.Деникин утверждает, что в организации Савинкова было от 2000 до 3000 членов (Очерки русской смуты. Т. 3. Берлин, 1924. С. 79)]. Это были главным образом офицеры, ибо Савинков имел в виду военные действия и не испытывал нужды в интеллектуалах с их бесконечной болтовней.

Своим заместителем он назначил сорокадвухлетнего кадрового артиллерийского офицера, выпускника Училища Академии Генерального штаба, подполковника А.П.Перхурова, человека с огромным боевым опытом, известного своей исключительной отвагой.

У Савинкова была программа, даже несколько программ, но он не делал на них упора, так как политические дискуссии лишь вносили разлад в стан его соратников и отвлекали их от непосредственно стоявших перед ними задач. Гораздо большее значение он придавал патриотизму. Одна из программ «Союза» подразделялась на первоочередные задачи и долговременные цели. [Красная книга ВЧК. Т. 1. М., 1920. С. 1—42. На суде, состоявшемся в 1924 г., Савинков отрицал, что у него была формальная программа (Борис Савинков перед Военной коллегией Верховного Суда СССР. М., 1924. С. 46–47).]. К первоочередным задачам относились замена большевиков надежным национальным правительством и создание дисциплинированной армии для борьбы с Четверным союзом. Долговременные цели были довольно расплывчатыми. Савинков говорил о необходимости проведения новых выборов в Учредительное собрание, по-видимому, по окончании войны, которые обеспечат России демократическое правление. В воспоминаниях, опубликованных в 1923 году в Варшаве, он подчеркивал, что в его организацию входили представители всех партий, от монархистов до эсеров[148]. Савинков обещал исполнение желаний для самых разных людей, и бессмысленно было бы ждать от него четкого, формального плана на будущее. С уверенностью можно только сказать, что он выступал за твердую власть в стране и за продолжение войны и был в этом похож на

Корнилова. Пропуском в савинковский «Союз» было желание сражаться с немцами и с большевиками.

Свою организацию Савинков строил по военному образцу, а чтобы скрыть ее от ЧК, использовал опыт террористической деятельности. Под его началом в Москве и других городах было несколько десятков условных «полков», укомплектованных кадровыми офицерами. Эти подразделения были изолированы друг от друга, а их состав известен только непосредственным руководителям, чтобы, в случае ареста или предательства, ЧК не могла захватить всю организацию[149]. Схема эта прошла проверку на прочность в середине мая, когда женщина, оставленная одним из членов организации, сообщила о ней в тайную полицию. По ее доносу ЧК обнаружила московскую штаб-квартиру «Союза», замаскированную под медицинскую клинику, и арестовала более ста его членов (их казнили в июле). Но, хотя в результате этого провала «Союз» вынужден был на две недели приостановить свою деятельность, ЧК не удалось ни схватить самого Савинкова, ни ликвидировать его организацию[150].

Перхуров имел в своем распоряжении от 150 до 200 офицеров, действовавших по тщательно отработанной системе. Здесь были отделы, отвечавшие за вербовку, разведку и контрразведку, за отношения со странами Четверного согласия, а также за деятельность вооруженных подразделений по родам войск (пехота, кавалерия, артиллерия, инженерные войска)[151]. Впоследствии ЧК сделала комплимент Савинкову и Перхурову, назвав их организацию аппаратом, «работавшим с точностью часового механизма»[152].

Савинков построил организацию, но конкретного стратегического плана у него не было. К июню он стал перед необходимостью действовать: чехи и французы приостановили выплаты, деньги таяли, а из-за постоянной угрозы предательства нервы последователей Савинкова начинали сдавать. Как он признался впоследствии, вначале он думал нанести основной удар в Москве, но отказался от этой идеи, опасаясь, что в ответ немцы оккупируют столицу[153]. Учитывая упорные слухи (которые подтверждали ему и французские дипломаты) о дополнительной высадке войск Четверного согласия в Архангельске и Мурманске в середине июля, он решил начать восстание в Среднем и Верхнем Поволжье, откуда можно было легко наладить контакт как с чехословацкими частями, так и с войсками союзников в Мурманске. Его план заключался в том, чтобы отрезать большевиков от северных портов и, одновременно, от Казани и восточных регионов.

В 1924 году, представ перед советским судом, Савинков заявил, что получил от французов твердое обещание: если его люди продержатся в течение четырех дней, на помощь им подойдут из Архангельска силы союзников, после чего соединенная франко-англо-российская армия двинется на Москву. Не имея таких гарантий, сказал Савинков, не было смысла затевать восстание[154]. Он утверждал также, что французский консул Гренар вручил ему телеграмму от Нуланса, в которой говорилось, что высадка войск союзников состоится в период с 3 по 8 июля и важно, чтобы его выступление пришлось на это же время[155]. Если судить по его показаниям в суде, все свои действия он согласовывал с французской миссией.

К сожалению, заявления Савинкова нельзя принимать на веру, и не только потому, что, будучи опытным конспиратором, он редко говорил до конца всю правду, но и потому также, что он был способен на прямую ложь. Так, одно время он пытался взять на себя ответственность за покушение на Ленина, осуществленное Фанни Каплан (об этом еще пойдет речь дальше), к которому, как известно, не имел ни малейшего отношения. Он заявлял также, что в июле 1918 года действовал по распоряжению московского Национального центра, что тоже не имеет ничего общего с действительностью[156]. Большевики любили представлять всякое сопротивление своему режиму как результат международного заговора, разжигая таким образом ксенофобию. Скорее всего, Савинков, в 1924 году арестованный в советской России, пошел на сделку с большевистским прокурором, согласившись возложить вину за свой неудавшийся переворот на французов. Сегодня, после того как архивы стран Четверного согласия того периода стали доступны для исследователей, в них не нашлось никаких свидетельств, подтверждающих его версию. Если бы французская миссия действительно не только благословила его на антибольшевистский переворот, но и требовала немедленных действий и, как он утверждал, обещала помощь в походе на Москву, все это не могло не оставить документальных свидетельств. Поскольку таковых не существует, приходится заключить, что Савинков лгал, быть может, в надежде спасти свою жизнь. Кроме того, как мы уже отмечали, основной посредник Савинкова в отношениях с французами, Гренар, утверждает, что тот действовал на свой страх и риск. [В исследовании Майкла Карли (Carley M.Revolution and Intervention: The

French Government and the Russian Civil War, 1917–1919. Kingston; Montreal, 1983. P. 57–60, 67–70) утверждается, что французы имели к этим событиям более прямое касательство, однако вопрос об оказании ими помощи Савинкову смешивается в нем с вопросом об их участии в восстании как таковом.].

В качестве основного центра восстания Савинков выбрал Ярославль. На это было две причины. Во-первых, стратегическое положение этого города на железной дороге, связывающей Архангельск с Москвой, облегчало как наступательные, так и оборонительные действия. Во-вторых, Перхуров, посланный Савинковым на рекогносцировку, привез из Ярославля весьма обнадеживающие сведения о том, что восстание будет поддержано населением[157].

В своем окончательном виде оперативный план был разработан в конце июня, когда Чехословацкое восстание было в самом разгаре. У Перхурова, который должен был командовать ярославской операцией, на подготовку оставалось едва десять дней. Второй по значению операцией, восстанием в Рыбинске, взялся руководить сам Савинков. Третья акция должна была состояться в Муроме, расположенном на Московско-Казанской железной дороге. Как утверждает Перхуров, Савинков сказал своим офицерам, что у него есть твердые гарантии прибытия союзной помощи из Архангельска и что если они продержатся в течение четырех дней, то получат надежное подкрепление[158].

По планам Савинкова восстание в Ярославле должно было начаться в ночь с 5 на 6 июля, всего за несколько часов до того времени, на которое назначили свое выступление левые эсеры. Хотя совпадение

очевидно, ничто не указывает на то, что эти два события были как-то заранее согласованы. Левые эсеры и Савинков преследовали совершенно различные цели: первые намеревались оставить большевиков у власти, Савинков хотел положить конец их режиму. Более того, трудно себе представить, чтобы левые эсеры вообще согласились иметь дело с представителем «контрреволюционных» генералов. Если бы Савинков знал об их планах, он несомненно осуществил бы свое первоначальное намерение и устроил переворот в Москве, а не в Ярославле. Эта нескоординированность усилий, о которой Ленин говорит Мирбаху, была типичной для антибольшевистской оппозиции и стала в конечном счете главной причиной ее поражения.

Чтобы сбить с толку противника и заставить его распылять свои силы, Савинков и Перхуров разработали скользящий график восстания, так что операция в Рыбинске должна была состояться в ночь с 7 на 8, а в Муроме — с 8 на 9 июля.

* * *

Несмотря на то что в его распоряжении было совсем мало времени, Перхуров очень тщательно подготовил восстание в Ярославле и застал большевистские власти совершенно врасплох[159]. Операция началась в два часа ночи 6 июля, когда отряд офицеров захватил ключевые точки в городе: арсенал, штаб милиции, банк и почту. Другой отряд арестовал высших большевистских и советских чиновников. Как утверждали впоследствии,

некоторые из них были при этом застрелены. Офицеры, работавшие инструкторами в местной красноармейской школе, сразу же присоединились к восставшим, захватив с собой несколько пулеметов и броневик. Перхуров объявил себя командующим Ярославским отделением Северной Добровольческой армии. Эти первые операции не встретили почти никакого сопротивления, и к рассвету центр города был полностью в руках мятежников. Вскоре к ним присоединились новые силы, в том числе работники милиции, студенты, рабочие и крестьяне. По оценке историка-коммуниста, из 6000 участников восстания лишь около 1000 были офицерами[160]. Это было настоящее народное восстание против большевистского режима. Заметную роль сыграли в нем крестьяне из окрестных сел. Восставшие попытались привлечь на свою сторону немецких военнопленных, случайно проезжавших через Ярославль по дороге на родину, но те отказались, после чего их поместили под охраной в здании городского театра. 8 июля Перхуров объявил им, что силы, имеющиеся под его командованием, считают, что они находятся в состоянии войны с Четверным союзом[161].

В то время как восстания в Рыбинске и Муроме, в каждом из которых участвовало от 300 до 400 человек, потерпели поражение в считанные часы, Перхуров продержался шестнадцать дней. Сосредоточенные в пригородах силы большевиков пошли в контрнаступление следующей ночью, но им не удалось отбить город. Тогда они подвергли его массированному артиллерийскому обстрелу, в результате которого был разрушен водопровод и прекратилась подача воды. Это имело для повстанцев ужасные последствия, так как подходы к Волге, альтернативному источнику

водоснабжения, были под контролем сил красных. После почти недели бесплодных боев Троцкий поручил командование ярославской операцией А.И.Геккеру, бывшему капитану царской армии, который накануне Октябрьского переворота перешел к большевикам. Геккер бросил на штурм города пехоту, артиллерию и аэропланы. Под шквалом артиллерийского огня город, с его замечательными монастырями и храмами, был почти полностью разрушен[162]. Повстанцы, которым настолько не хватало воды, что они пытались добывать ее в сточных канавах, в конце концов были вынуждены отступить. 20 июля их представители пришли в Германскую комиссию по репатриации и заявили о своем желании сдаться: поскольку они находились в состоянии войны с Германией, то ожидали, что с ними будут обращаться как с военнопленными. Глава Германской комиссии принял такие условия и обещал, что не выдаст повстанцев Красной Армии. 21 июля повстанцы сложили оружие, и в течение нескольких часов город находился в руках немецких военнопленных. Однако вечером того же дня, получив от большевиков ультиматум, немцы нарушили свое обещание и передали им пленников. Красногвардейцы выбрали из них примерно 350 человек, среди которых оказались офицеры, бывшие чиновники, состоятельные горожане и студенты, вывели за город и расстреляли[163]. Это была первая массовая казнь, осуществленная большевиками. Одним из последствий Ярославского восстания стало распоряжение большевистского правительства провести массовые аресты бывших офицеров царской армии. Многие из них были расстреляны без суда, хотя в то же самое время другие получали назначения в Красной Армии.

Савинкову удалось бежать из Рыбинска. Позднее он присоединился к армии адмирала Колчака, где занимался организацией рейдов в тылу большевистских войск. После поражения Колчака он бежал в Западную Европу, стал там организатором антибольшевистских движений, засылал агентов в Советский Союз. В августе 1924 года, будучи убежден, что после смерти Ленина ему уготована в России важная роль, он попался на приманку ОГПУ (сменившему к тому времени ЧК), нелегально перешел границу и был сразу же схвачен. На открытом судебном процессе, состоявшемся в том же году, он сознался во всех своих преступлениях, делая упор на ту роль, которую будто бы играли в его подрывной деятельности союзники, и попросил помилования. Смертный приговор ему заменили на десятилетнее заключение. В следующем году он погиб в тюрьме при странных обстоятельствах: официально было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством, однако более вероятно, что его убили сотрудники ОГПУ — по некоторым свидетельствам, вытолкнув из окна[164].

Перхуров тоже оказался у Колчака, где получил чин генерала и стал называться Перхуровым-Ярославским. Попав в плен к большевикам, он ухитрился сохранить инкогнито и получил назначение в Красную Армию. Личность его была установлена в 1922 году. Военная коллегия Верховного Суда приговорила его к смертной казни, в тюрьме его заставили написать признание, которое было впоследствии опубликовано[165]. Его не стали убивать в застенках ГПУ, а послали в Ярославль, где в четвертую годовщину восстания провели по улицам сквозь толпу, бросавшую в него камни, и только после этого казнили[166].

* * *

Рицлер, возглавивший германское посольство в России, был, по мнению некоторых его коллег, человеком рассеянным и плохо ориентировался в ситуации. Он мало занимался рутинными дипломатическими делами, в основном уделяя время переговорам с российской оппозицией, которые 1 июля Берлин велел прекратить. Поступал он так, будучи абсолютно убежден, что большевики не продержатся долго и Германия должна поддерживать контакты с их потенциальными преемниками. Первой его реакцией на убийство Мирбаха было предложение разорвать дипломатические отношения с Москвой[168]. Предложение не получило поддержки, и ему было велено продолжать помогать большевикам. В сентябре 1918 года он скажет (не уточняя, что имеет в виду), что немцы трижды использовали «политические» средства, чтобы спасти большевиков[169].

Выполняя инструкции своего правительства, Рицлер тем не менее бомбардировал министерство иностранных дел телеграммами, в которых предсказал скорое падение большевиков. 19 июля он передал по прямому проводу: «Большевики мертвы. Их труп живет, поскольку могильщики не могут договориться, кто должен его хоронить. Борьба, которую мы в настоящее время ведем с Антантой на русской земле, уже не имеет целью добиться расположения этого трупа. Она стала борьбой за преемников, за ту ориентацию, которую примет Россия в будущем»[170]. Соглашаясь, что большевики делают

Россию безопасной для Германии, он замечал, что одновременно они делают ее бесполезной[171]. Его рекомендации заключались в том, чтобы Германия взяла на себя заботу о «контрреволюции» и поддержала буржуазные силы в России. А избавиться от большевиков можно, по его мнению, почти без усилий.

Действуя на свой страх и риск, Рицлер заложил фундамент для антибольшевистского переворота. Первым шагом было расположить в Москве батальон, состоящий из немецких военнослужащих. Официально заявленной целью их пребывания должна была стать охрана германского посольства от будущих террористических актов и помощь большевикам в случае нового восстания. На самом же деле они должны были занять в столице стратегические пункты на случай, если большевистский режим рухнет сам или в Берлине решат, что его пора ликвидировать[172].

В Германии согласились направить в Москву батальон, если это не вызовет возражений со стороны советского правительства. Рицлер также получил инструкции вступить в тайные переговоры с латышскими стрелками, чтобы выяснить их намерения. Рицлер, у которого уже был хороший контакт с латышами, спросил, готовы ли они изменить большевикам. Они ответили, что готовы. Вот как описывает свои размышления летом 1918 года Вацетис, командир латышей: «Как ни странно, но тогда настроение умов было такое, что центр советской России сделается театром междоусобной войны и что большевики едва ли удержатся у власти и сделаются жертвой голода и общего недовольства внутри страны. Не исключена была возможность движения на Москву германцев, донских казаков и белочехов. Эта последняя

версия в то время была распространена особенно широко. Большевики не имели в своем распоряжении вооруженной силы, способной драться в поле. Те войсковые части, над сформированием которых так легкомысленно и лукаво трудился военрук Высшего военного совета М.Д.Бонч-Бруевич, благодаря голоду в западной полосе европейской России разбегались в поисках пищи, образуя опасные для сов. власти шайки бандитов. Такие войска, если можно назвать их этим почетным именем, разбегались при появлении немецкой каски… В связи со всеми этими версиями и слухами меня крайне беспокоил вопрос о том, что будет с латышскими полками в случае дальнейшей интервенции германцев и появления в центре советской России казаков и белых армий. Такая возможность тогда допускалась, и она могла бы привести к полному истреблению латышских стрелков»[173]. Как Рицлер выяснил в ходе переговоров, латыши хотели вернуться на свою оккупированную немцами родину и, если бы им была гарантирована амнистия и репатриация, готовы были оставаться по крайней мере нейтральными в случае германской интервенции против большевиков[174].

Рицлер также возобновил переговоры с Правым центром. Его новый представитель, кн. Григорий Трубецкой, бывший во время войны послом Российской империи в Сербии, попросил от Германии срочной помощи, чтобы избавить Россию от Ленина. Он выставил несколько условий, на которых его группа готова была сотрудничать с немцами: Германия должна позволить русским сформировать собственные вооруженные силы на Украине с тем, чтобы Москву освободили русские, а не немцы; нужны гарантии пересмотра Брестского договора; правительство, которое придет на смену большевикам,

не должно испытывать никакого давления; Россия будет соблюдать нейтралитет в мировой войне[175]. Трубецкой утверждал, что его группа поддерживает контакт с 4000 боеспособных офицеров, которым не хватает только оружия. Он подчеркивал также, что нельзя терять времени, ибо большевики ведут систематическую охоту на офицеров, расстреливая их десятками ежедневно[176].

К тому времени, когда в Москву прибыл преемник Мирбаха Карл Хельфферих (28 июля), у Рицлера был готовый план государственного переворота: германский батальон занимает Москву, латышские стрелки, охраняющие город, оказываются нейтрализованы обещаниями амнистии и репатриации, и крах большевистского правительства обеспечен. После этого будет создано новое российское правительство, полностью зависимое от Германии, наподобие режима гетмана Скоропадского на Украине[177].

Но план Рицлера провалился. Его ключевая позиция — введение в Москву германского батальона — была категорически отвергнута Лениным, и Берлин вынужден был от этого отказаться. Уступая давлению Гинденбурга, Вильгельмштрассе направила советскому правительству ноту, где было сказано, что предложение послать в Москву вооруженное подразделение германской армии не имело в виду покушения на суверенитет Советов, а только преследовало цель обеспечить безопасность сотрудников посольства. Более того, говорилось далее в ноте, эта сила могла бы прийти на помощь советскому правительству, если бы произошло еще одно антибольшевистское восстание[178]. Рицлер вручил Чичерину эту ноту вечером 14 июля. Чичерин послал ее Ленину, который в этот момент отдыхал за городом.

Ленин сразу же разгадал коварный замысел немцев. Той же ночью он возвратился в Москву и обсудил этот вопрос с Чичериным. Речь шла о деле, в котором он не был готов уступить: он мог дать германцам все, о чем бы они ни попросили, пока они не угрожали его власти. На следующий день он сформулировал свою позицию по поводу германской ноты, выступив перед Центральным исполнительным комитетом[179]. Он надеется, сказал он, что Германия не будет настаивать на своем предложении, ибо Россия готова скорее сражаться, чем пустить на свою землю чужие войска. Безопасность германского посольства он обещал обеспечить своими силами. Затем он предложил расширить коммерческие связи с Германией. Это была наживка, рассчитанная на то, что немецкие деловые круги окажут на свое правительство давление в его пользу. Предложение это материализовалось в форме Дополнительного договора, который был заключен в следующем месяце. Маловероятно, чтобы Ленин смог отказать немцам, если бы они в самом деле проявили настойчивость, ибо в этот момент позиции его были даже еще более шаткими, чем в феврале, когда он уступил всем их требованиям. Но ему не пришлось пройти через это испытание, так как, узнав о реакции Ленина, министерство иностранных дел Германии сразу же отказалось от плана Рицлера. Рицлер получил из Берлина инструкции «продолжать оказывать поддержку большевикам и просто «сохранять контакты» с остальными»[180].

Не встретило понимания и предложение Рицлера нейтрализовать латышей, обещав им амнистию и репатриацию. Больше всех воспротивился этому Людендорф, опасавшийся, что Латвия будет «заражена» большевистской пропагандой. Новый министр

иностранных дел, адмирал Пауль фон Хинце, который еще настойчивее, чем его предшественник Кюльман, ратовал за сотрудничество с Лениным, не пожелал более слушать никаких доводов и распорядился, чтобы московское посольство прекратило переговоры с латышами[181].

Министерство иностранных дел разработало свой собственный план на случай падения большевистского режима. Если эсеры, ориентированные на Четверное согласие, захватят в России власть, германская армия ударит из Финляндии, возьмет Мурманск и Архангельск и оккупирует Петроград и Вологду[182].

Хельфферих прибыл в Москву с твердым намерением проводить пробольшевистскую политику своего правительства. Но, как он быстро обнаружил, сотрудники посольства были все до единого настроены против нее. Отчеты, полученные им в первый же день вечером, и те немногие личные впечатления, которые он смог к этому времени почерпнуть, заставили его изменить точку зрения. 31 июля, во второй половине дня, впервые отважившись выйти за стены тщательно охраняемого посольства, он посетил Чичерина, чтобы выразить протест против убийства левыми эсерами на Украине фельдмаршала Эйхгорна и не прекращающихся угроз со стороны левых эсеров сотрудникам посольства. В то же время он заверил наркома, что германское правительство намерено и впредь оказывать большевикам поддержку. Как ему стало известно впоследствии, через несколько часов после этой беседы в Кремле состоялась встреча, на которой Ленин сообщил соратникам, что дело их «временно» проиграно и возникла необходимость эвакуировать правительство из

Москвы. Когда совещание было в самом разгаре, прибыл Чичерин и поведал собравшимся о только что обещанной ему Хельфферихом полной поддержке со стороны Германии. [Baumgart. Ostpolitik. S. 237–238. Судя по всему, Ленин планировал переместить правительство в Нижний Новгород (Там же. С. 237, примеч. 38)].

Настроение в Кремле было итак довольно унылое, когда 1 августа пришло сообщение, что корабли Британского военно-морского флота открыли огонь по Архангельску. Этим было положено начало широкомасштабной военной интервенции стран Четверного согласия против России. Москва, гораздо хуже осведомленная о военных планах Четверного согласия, чем о намерениях Германии, была в полной уверенности, что союзники собираются идти на столицу. Потеряв голову, правительство бросилось в объятия Германии.

Здесь необходимо напомнить, что в марте 1918 года страны Четверного согласия обсуждали с большевистским правительством возможность высадки своих войск на территории России — на севере (Мурманск и Архангельск) и на Дальнем Востоке (Владивосток), — чтобы защитить эти порты от немцев и создать базы для предполагаемых соединенных сил в России. Сами они должны были оказать помощь в организации и обучении Красной Армии. Однако союзники действовали медленно. Они высадили символические отряды в трех портовых городах и выделили несколько офицеров в распоряжение наркомата Троцкого, но у них не было лишних сил, которыми можно было свободно распоряжаться в разгар немецкого наступления. Необходимая военная мощь имелась только у Соединенных Штатов, но так как Вудро

Вильсон был противником вмешательства в дела России и это его настроение оставалось неизменным, ничего не предпринималось.

Перспективы возрождения Восточного фронта существенно улучшились в начале июня, когда Вильсон изменил свою точку зрения под впечатлением Чехословацкого восстания. Он посчитал моральным долгом Соединенных Штатов помочь чехам и словакам в их возвращении на родину и пошел навстречу своим британским союзникам, согласившись предоставить войска как для Мурманско-Архангельской, так и для Владивостокской экспедиций. Американские силы, принявшие участие в этих операциях, получили строгий приказ не вмешиваться во внутренние дела России[183].

Узнав о решении Вашингтона, Высший совет Четверного согласия в Версале 6 июля отдал распоряжение направить в Архангельск экспедиционный корпус союзников под командованием английского генерала Ф.Пула. Командующий должен был организовать оборону города и порта, войти в контакт с Чехословацким легионом, с его помощью установить контроль над железной дорогой к югу от Архангельска и сформировать армию, готовую воевать на стороне Четверного согласия. О борьбе с большевиками речь не шла: как было объявлено войскам Пула, «мы не вмешиваемся во внутренние дела русских»[184].

Впоследствии это решение союзников подвергалось критике на том основании, что не было никакой серьезной угрозы со стороны Германии для северных портов России и что, к тому же, немецкие силы в Финляндии, способные действовать в этом регионе, были выведены в начале августа и направлены на Западный

фронт. Имелось в виду, что подлинной целью экспедиции на север России была борьба с большевистским режимом[185]. Обвинение это не имеет под собой оснований. Как известно из материалов немецких архивов, германское командование действительно рассматривало планы операций против северных портов силами своей армии или с привлечением финских и большевистских войск. Это имело бы немалый смысл для Германии, поскольку, контролируя Мурманск и Архангельск, она могла помешать проникновению в Россию союзных войск и тем самым расстроить их планы возрождения Восточного фронта. В конце мая 1918 года немцы начали переговоры на эту тему с Иоффе. Переговоры эти оказались в конечном счете безрезультатными, отчасти потому, что большевики и финны не могли согласиться на предложенные им условия сотрудничества, а отчасти по той причине, что немцы настаивали на оккупации Петрограда, которому надлежало стать базой для этих операций, а русские на это не соглашались[186]. Но страны Четверного согласия не могли знать в июне, что дело закончится таким образом, так же, как не могли они и предвидеть, что два месяца спустя немцы выведут свои войска из Финляндии. Нет никаких данных, указывающих на то, что в 1918 году, посылая войска в Россию, союзники собирались свергать большевисткое правительство. Англичане, игравшие в ходе этой операции главную роль, выказывали как публично, так и в частном порядке, полное безразличие к тому, какого рода правительство стоит у власти в России. Премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж открыто заявил на заседании военного кабинета 22 июля 1918 года, что Британии нет дела до того, какое правление установили у себя русские — республиканское или

монархическое[187]. Судя по всему, президент Вильсон также придерживался этого взгляда.

Экспедиционные силы союзников, включавшие вначале 8500 человек, 4800 из которых были американцами, высадились в Архангельске 1–2 августа. 10 августа генерал Пул получил приказ «принять участие з возрождении в России сопротивления германскому влиянию и проникновению» и оказать помощь русским, желающим «подняться на борьбу плечом к плечу со своими союзниками» за возрождение своей родины[188]. Ему было также велено наладить связь с Чешским легионом, чтобы совместными усилиями установить контроль над железными дорогами восточного направления и сформировать вооруженные силы для борьбы с Германией[189]. Хотя формулировки этих предписаний допускают расширительную трактовку, и цели, которые в них обозначены, представляются более масштабными, чем цели, сформулированные в директиве от 6 июля, все же они не дают оснований утверждать, что «в будущем экспедиции на север России предстояло воевать с большевиками, а не с немцами»[190]. В этот период отношения большевиков с Германией выглядели как партнерские и в значительной мере были таковыми: большевики брали у немцев деньги и неоднократно заявляли им, что только состояние общественного мнения в России мешает подписать договор об их формальном союзе. Англичане и французы знали от своих агентов в Москве, какую роль играло германское посольство, помогая большевикам удержаться на плаву. Поэтому разделять — и тем более противопоставлять — действия союзников в 1918 году, направленные против большевиков и против Германии, означало бы не понимать реальностей и настроений этого времени. Если

бы задачей Пула была борьба с большевиками, он несомненно получил бы на этот счет недвусмысленные инструкции и установил контакты с оппозиционными группами в Москве. Но нет данных, на это указывающих. Все имеющиеся данные, напротив, свидетельствуют о том, что задачей экспедиционных сил союзников на севере было открыть новый фронт против Германии, объединившись для этого с чехословаками, японцами и теми русскими, которые захотели бы в этом участвовать. Это была чисто военная операция, органически связанная с ходом событий на завершающей стадии мировой войны.

Вслед за оккупацией Архангельска еще один экспедиционный корпус союзников под командованием английского генерал-майора Мейнарда высадился в Мурманске, где с июня уже находился небольшой отряд англичан. Со временем силы Мейнарда выросли до 15 000 человек, из которых 11000 принадлежали к войскам союзников, а остальные были русскими. Как сообщает Нуланс, экспедиционных сил, расположенных в Архангельске и Мурманске и составлявших тогда 23 500 человек, почти хватало для открытия Восточного фронта, так как, по мнению Западной военной миссии, для этого требовалось 30 000 человек[191].

К несчастью для Четверного согласия, к тому времени, когда на севере удалось сконцентрировать достаточное количество войск, а это произошло лишь в сентябре, Чехословацкий легион перестал существовать как сколько-нибудь заметная боеспособная сила.

Как мы видели, вначале чехословаки взялись за оружие, чтобы обеспечить себе беспрепятственный проезд до Владивостока. Однако в июне задача их

изменилась в связи с тем, что союзное командование стало рассматривать их как костяк будущей армии, которой предстояло открыть боевые действия на Восточном фронте[192]. 7 июня в послании чехословацким войскам генерал Чечек определил их миссию следующим образом: «Пусть всем нашим братьям станет известно, что на основе решения, принятого Съездом [Чехословацкого] Корпуса, с ведома нашего Национального совета и по согласованию со всеми союзниками наш корпус объявлен авангардом всех сил Антанты и что приказы, издаваемые штабом Армейского корпуса, имеют своей единственной целью создание антигерманского фронта в России совместно с русским народом и нашими союзниками»[193]. В соответствии с этими планами чехословацкие командиры поставили в начале июня перед своими частями задачи, которые те не могли и не хотели решать.

Чтобы создать фронт против немцев, чехословаки должны были перестроиться с горизонтальной линии, идущей с запада на восток, на диагональную, проходящую вдоль Волги и Урала[194]. Поэтому чехословацкие силы, все еще находившиеся в Западной Сибири, численностью от 10 000 до 20 000 человек, начали наступательные операции в направлении на север и на юг от Самары. 5 июля они взяли Уфу, 21 июля Симбирск, а 6 августа Казань. Взятие Казани стало кульминационной точкой в их операциях на территории России. Обратив в бегство изрядно поредевший 5-й Латышский полк, состоявший всего из 400 человек, чехи захватили склад, где обнаружили 650 млн рублей золотом, принадлежавших казне и эвакуированных в феврале 1918 года советским правительством в Казань. Это позволило им в дальнейшем вести

широкомасштабные военные действия, не прибегая к налогообложению или принудительному изъятию продовольствия у населения.

Чехословаки сражались яростно и умело. Они считались авангардом. Но — авангардом чего? Союзники не спешили к ним на помощь, хотя щедро слали им приказы и рекомендации. Не больше пользы было и от русской антибольшевистской оппозиции. По совету союзников чехословаки попытались объединить российские политические группировки Поволжья и Сибири, но это оказалось безнадежной задачей. 15 июля представители Комуча и Омского правительства собрались на конференцию в Челябинске, однако не смогли достичь соглашения. Провалом закончилась и вторая российская политическая конференция, проходившая 23–25 августа. Препирательства русских раздражали чехов.

Комуч попытался сформировать армию, которая стала бы сражаться вместе с чехословаками и другими союзниками, но не слишком в этом преуспел. 8 июля он объявил о создании добровольческой Народной армии под общим командованием генерала Чечека. Но, как в этом уже убедились большевики, российскую армию нельзя было создать на добровольной основе. Особенно досадным для Комуча стал опыт вербовки крестьян, которые, хотя и были яростными антикоммунистами, тем не менее отказывались идти в армию на том основании, что революция освободила их от всех обязательств по отношению к государству. Сумев собрать всего 3000 добровольцев, Комуч учредил воинскую повинность и в течение августа рекрутировал 50 000—60 000 человек, из которых лишь 30 000 имели оружие и лишь 10000 прошли военную подготовку[195]. По оценке военного

историка генерала Н.Н.Головина, в начале сентября силы, находившиеся в Западной Сибири и выступавшие на стороне Четверного согласия, складывались из 20 000 чехословаков, 15 000 уральских и оренбургских казаков, 5000 фабричных рабочих и 15 000 бойцов Народной армии[196]. Эти многонациональные силы не имели ни единого командования, ни общего политического руководства.

В это же время Троцкий энергично формировал свои вооруженные силы на востоке. Данное в конце июня кайзером обещание не причинять вреда советской России позволило ему перебросить латышские полки с запада на Урал, где они первыми вступили в бой с чехословаками. Затем он стал спешно наращивать численность Красной Армии, привлекая в нее тысячи бывших царских офицеров и сотни тысяч новобранцев. Он снова ввел смертную казнь за дезертирство и стал применять ее очень широко. Первые успехи Красной Армии в борьбе с чехословаками были заслугой латышей: 7 сентября они отвоевали Казань, а пять дней спустя — Симбирск. Сообщения об этих победах вызвали ликование в Кремле, ибо знаменовали перелом в судьбе большевиков, которые снова почувствовали себя на волне событий.

* * *

Но все это должно было произойти позже. 1 августа, когда в Кремле узнали о высадке союзников в Архангельске, ситуация казалась безнадежной. На востоке чехословаки занимали один город за другим и

уже контролировали все среднее Поволжье. На юге донские казаки под командованием генерала Краснова приближались к Царицыну, взятие которого сделало бы возможным соединение с чехословаками и создание непрерывного антибольшевисткого фронта от Среднего Поволжья до Дона. И вот теперь на севере появились крупные англо-американские силы, по всей видимости, собиравшиеся предпринять наступление в центральную Россию.

В создавшемся положении большевики видели только один выход, и выходом этим была германская военная интервенция. Они решили обратиться с такой просьбой к Германии 1 августа, на следующий день после того, как Хельфферих заверил Чичерина, что немцы будут продолжать оказывать поддержку советскому правительству. Встреча, на которой, как считается, было принято это решение, обозначена в коммунистических источниках как заседание Совнаркома, но так как ни в каких документах в этот день не зафиксировано заседание кабинета, можно с уверенностью сказать, что решение принял сам Ленин, вероятно, посоветовавшись с Чичериным. Русские собирались предложить немцам открыть совместные военные действия против сил Антанты и тех, кто выступал в поддержку Антанты. Красная Армия, состоявшая в то время главным образом из латышских частей, должна была занять позиции к северу от Москвы, чтобы оборонять столицу от предполагаемого наступления сил Четверного согласия, а Германская Армия — выступить из Финляндии против англо-американского экспедиционного корпуса и с Украины — против Добровольческой армии.

О том, что в Кремле было принято такое решение, мы знаем в основном из воспоминаний Хельфериха,

которого поздно вечером 1 августа неожиданно посетил Чичерин. Как сказал нарком по иностранным делам, он пришел прямо с заседания кабинета министров, чтобы просить, от имени Совнаркома, германской военной интервенции. [Коротко вспоминая этот эпизод (по-видимому, это единственное упоминание о нем в советской литературе), Чичерин подтверждает версию Хельфериха и отмечает, что вопрос был решен лично Лениным (Ленин и внешняя политика // Мировая политика в 1924 году. М., 1925. С. 5; см. также статью Чичерина в «Известиях» (1924. 30 янв. № 24 (2059). С. 2–3)).]. Вот что пишет Хельфферих о предложении Чичерина: «Ввиду сложившегося общественного мнения открытый военный союз с Германией невозможен; но возможны параллельные действия. Его правительство собирается сосредоточить свои силы в Вологде, чтобы защитить Москву. Условием параллельного действия является то, что мы не оккупируем Петроград; желательно также, чтобы мы не входили в Петропавловск. В действительности такой подход означал, что, желая получить возможность защитить Москву, советское правительство вынуждено было просить нас защитить Петроград». Предложение большевиков предполагало, что немецкие войска, расположенные в Прибалтике и (или) Финляндии, войдут на территорию советской России, установят оборонительные линии вокруг Петрограда и поведут наступление на Мурманск и Архангельск, чтобы изгнать оттуда войска Четверного согласия. Но это было еще не все: Чичерин «был не меньше обеспокоен событиями на юго-востоке <…> После того, как я задал ему ряд вопросов, он наконец сформулировал, какого рода вмешательства они ждут от нас: «Мощный удар по

Алексееву, и никакой в дальнейшем [германской] поддержки Краснову». Здесь, как и в случае действий на севере, и по тем же причинам, возможен был не открытый военный союз, но фактическое сотрудничество; однако это было необходимо. Этим шагом большевистский режим призывал Германию ввести свои войска на территорию Великороссии»[197].

Хельфферих передал просьбу большевиков в Берлин, суммировав ее в краткой формуле: «молчаливое согласие большевиков на нашу интервенцию и согласованные параллельные действия»[198]. Одновременно он послал отчет, содержавший пессимистическую оценку ситуации в России. Главным источником авторитета большевиков, писал он, является широко бытующее убеждение, что их поддерживает Германия. Но на таком фундаменте нельзя всерьез строить политику. Он предлагал, чтобы Германия продолжила переговоры с теми антибольшевистскими группами, которые не симпатизируют Антанте, в том числе с Правым центром, латышами и Сибирским правительством[199]. По его мнению, если Германия просто демонстративно заявит, что перестает оказывать помощь большевикам, их противники поднимут голову и сами их свергнут.

И вновь рекомендации московского посольства были отклонены; на сей раз это сделал Пауль фон Хинце. Большевики, конечно, не друзья, рассудил он, но они «в полной мере» позаботились об интересах Германии, сумев парализовать Россию в военном отношении[200]. Рекомендации Хельфферих пришлись ему настолько не по душе, что 6 августа он вызвал его в Берлин. После этого посол так и не возвратился к своим обязанностям,

которые исполнял менее двух недель. Хинце решил вообще ликвидировать беспокойное германское посольство в Москве, чтобы оно более не вмешивалось в германо-советские отношения. Через несколько дней после отъезда Хельфферихa все сотрудники посольства упаковали вещи и направились в Псков, а затем в Ревель, находившиеся в то время под немецкой оккупацией. С исчезновением германского посольства в России центр советско-германских отношений переместился в Берлин, где Иоффе, выступая от имени своего правительства, вел все переговоры по подготовке торговых и военных соглашений, заключенных двумя странами в конце августа. [Курт Рицлер, который здесь исчезает из нашего повествования, после войны вновь стал профессором во Франкфурте. Когда к власти пришел Гитлер, он эмигрировал в США, где вплоть до самой смерти в 1955 г. преподавал в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке.].

Неудавшиеся попытки некоторых немцев свергнуть большевиков имели любопытное завершение. В начале сентября генерального консула Германии в Москве Герберта Хаушильда посетил Вацетис. Латышский офицер, только что назначенный главнокомандующим вооруженных сил советской России, сказал Хаушильду, что он не большевик, а латышский националист, и что, если его людям пообещают амнистию и репатриацию, они полностью предоставят себя в распоряжение немцев. Хаушильд доложил об этом в Берлин и получил в ответ приказ прекратить это дело. [Baumgart. Ostpolitik. S. 315–316. Вацетис был советским главнокомандующим вплоть до лета 1919 г., когда его арестовали по обвинению в «контрреволюционном заговоре». Выйдя на свободу, он преподавал в Военной академии РККА. В

1938 г., в перерыве между занятиями, его вновь арестовали и вскоре казнили (Память. 1979. № 2. С. 9–10)].

Приблизительно в то же время ЧК, во главе которой стояли латыши М.И.Лацис и Я.Х.Петерс, организовала классическую российскую политическую провокацию. К Локкарту был подослан латышский офицер, сказавший, что его люди готовы изменить большевикам. Локкарт направил их к агенту британской разведки Сиднею Рейли, вручившему им изрядную сумму денег. Этот эпизод был затем использован как основание для ареста Локкарта (см.: Исторический архив. 1962. № 4. С. 234–237; Germanis U. Oberst Vacetis. Stockholm, 1974. S. 35).

* * *

Брестский договор требовал дополнительного соглашения, которое регулировало бы экономические отношения между Германией и Россией.

Немцы очень хотели возобновить торговлю с Россией. До 1914 года она была их главным коммерческим партнером и получала из Германии около половины всего своего импорта.

Прежде всего немцам нужно было продовольствие, но также и другое сырье, и они рассчитывали получить почти монополию на внешнюю торговлю России. В июне 1918 года Москва представила немцам список товаров, предлагаемых ею на экспорт. В нем, в частности, было зерно, — в действительности в стране его не хватало.

Красин нарисовал ослепительную картину обширных рынков, которые советская Россия могла предоставить для товаров немецкого производства, и чтобы картина эта стала более убедительной, начал переговоры со своим старым работодателем Сименсом о поставках электрического оборудования. Ни одно из предложений не имело никаких реальных оснований: все это были приманки, служившие лишь политическим целям. Советская Россия не поставляла обещанных товаров, и немцы вскоре начали проявлять нетерпение. В июне д-р Альфред Лист, прибывший в Москву в качестве представителя Блейхрёдер Банка, сказал Чичерину, что отсрочки в поставках из России разочаровывают те круги в Германии, «в которых Великороссия могла бы с наибольшей вероятностью найти сочувствие своим политическим устремлениям»[201]. Ленин очень хорошо понимал, что эти «круги», а именно банкиров и промышленников, можно использовать, чтобы нейтрализовать других немцев, главным образом военных, хотевших от него избавиться. Поэтому он внимательно следил за ходом переговоров по выработке Дополнительного договора, которому придавал первостепенное политическое значение.

Переговоры открылись в Берлине в начале июля. В советскую делегацию, возглавляемую Иоффе, входили Красин и различные специалисты, присланные из Москвы. С немецкой стороны участвовала большая делегация, включавшая дипломатов, политиков и бизнесменов. Ключевой фигурой среди немцев был, по-видимому, представитель министерства иностранных дел Йоханнес Криг, которого историк Уинфред Баумгарт называет «серым кардиналом» германской политики по отношению к большевистской России[202]. Иоффе получил

инструкции всячески идти навстречу требованиям германской стороны, но там, где эти требования будут непомерными, давать понять, что уступчивость русских имеет границы. Подтверждая, что следует этой линии, Иоффе сообщал Ленину из Берлина: «Вся политика должна быть основана на доказательстве немцам, что, если они слишком перегнут палку, мы принуждены будем воевать и тогда они ровно ничего не получат»[203].

Учитывая сложность обсуждавшихся вопросов, соглашение было достигнуто очень быстро. Немцы выдвигали жесткие требования. Иоффе удалось заставить их пойти на некоторые уступки, но все равно соглашение, известное как Дополнительный договор, подписанный 27 августа, явные преимущества давало Германии. Дискуссия шла вокруг территориальных и финансовых вопросов. [Текст Договора, за исключением одного из трех его секретных пунктов, приводится в кн.: Wheeler-Bennet J. Brest-Litovsk: The Forgotten Peace. N.Y., 1956. P. 427–446].

Что касается территориальных вопросов, Германия обещала не вмешиваться в отношения России с сопредельными регионами. Этот пункт означал прежде всего отказ от намерений германских военных создать протекторат под названием «Южный Союз», который включал бы Кавказ и примыкавшие к нему казачьи районы[204]. Россия признала независимость Украины и Грузии и согласилась отдать Эстонию и Ливонию: в Брестском договоре этих уступок не было. Взамен Россия получала право доступа в балтийские порты, которое ранее было ею утрачено. Немцы вначале потребовали отдать им Баку, центр российской нефтяной индустрии, но в конце концов согласились оставить его России,

выторговав себе четверть всей ежегодно производимой в Баку продукции. В тот момент Баку находился в руках англичан, пославших туда в начале августа свои войска из Персии. Чтобы получить город, который с готовностью уступали им немцы, большевики должны были еще изгнать из него англичан[205]. Русские также взяли на себя обязательство выдворить из Мурманска силы Четверного согласия, а немцы согласились оставить Крым и пошли на некоторые незначительные территориальные уступки на западной границе России.

В финансовой части Россия согласилась выплатить Германии и лицам немецкой национальности полную компенсацию за ущерб, причиненный им действиями царского и советского правительства, а также возместить расходы, понесенные Германией на содержание русских военнопленных. Немцы посчитали, что эта сумма составляет от 7 до 8 млрд. марок. После того как были приняты в расчет встречные претензии русских, сумма эта сократилась до 6 млрд. Из этих денег 1 млрд. должны были выплачивать Финляндия и Украина. Россия взяла на себя обязательства выплатить в течение восемнадцати месяцев половину своего долга, составившего 5 млрд. марок, поставив Германии 24,5 тонн золота, определенную сумму в рублях и товары на 1 млрд. рублей. Вторую половину советская Россия должна была выплачивать с доходов от заема сроком на сорок пять лет, облигации которого были выпущены в Германии. Такие выплаты удовлетворяли все претензии к России со стороны Германии, как правительственные, так и частные. Москва еще раз подтвердила свое согласие, оговоренное в Брестском договоре, возвратить германским владельцам все национализированное и

муниципализированное имущества, включая наличность и ценные бумаги, и разрешить вывезти его в Германию.

Несмотря на то, что, придя к власти, большевики в самых сильных выражениях осудили тайную дипломатию и сделали достоянием гласности многие секретные соглашения «империалистических держав», сами они, когда речь шла об их интересах, отнюдь не брезговали такой практикой. Дополнительный договор имел приложение в виде трех секретных пунктов, подписанных с русской стороны Иоффе, с германской — Хинце. Содержание их стало известно лишь годы спустя. В них нашло отражение согласие Германии на просьбу Москвы о военной интервенции, поступившую 1 августа.

Один из этих пунктов развивал Статью 5 Дополнительного договора, в которой Россия брала на себя обязательства изгнать из Мурманска войска союзников. В секретном пункте сказано, что, если Россия не сможет этого сделать, задачу будут решать соединенные финляндско-германские войска. [Этот пункт был впервые опубликован в журн.: Europaische Gesprache. 1926. V. 4. № 3. S. 149–153. Он также приводится в кн.: Wheeler-Bennet. Forgotten Peace. P. 436].

В конце августа для разработки планов этой операции в Берлин прибыл во главе делегации наркомата по военным и морским делам командующий Петроградским военным округом В.А.Антонов-Овсеенко[206]. Он подтвердил, что Москва просит германские войска взять приступом Мурманск и что при этом, как это оговаривалось и прежде, русские войска будут отражать атаку англичан, если те выступят из Архангельска на Москву. Однако между сторонами

возник спор относительно Петрограда. Людендорф настаивал, чтобы германским войскам позволили занять Петроград, который был им необходим как база для наступления на Мурманск. Москва не хотела об этом и слышать. Чтобы сгладить нежелательное впечатление, которое произвело бы передвижение германских войск по территории России, Москва предложила замаскировать операцию с помощью целого ряда обманных маневров. Один из них заключался в том, чтобы «номинальным» командующим германских частей был русский офицер[207]. На самом деле командовать будет немецкий генерал (в какой-то момент переговоров русские предлагали на эту роль фельдмаршала Августа фон Макензена, генерал-адъютанта кайзера, который в 1915 году нанес русским войскам сокрушительное поражение в Галиции[208].) Подготовка этой операции шла полным ходом, когда Германия капитулировала[209].

Второй секретный пункт, овеянный даже еще большей тайной, ибо речь в нем шла о действиях германских сил не против иностранцев, а против русских, выражал согласие Германии выступить по просьбе большевиков против Добровольческой армии. Это было сформулировано следующим образом: «Германия ожидает, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы немедленно подавить восстания генерала Алексеева и чехословаков; с другой стороны, Россия признает [nimmt Akt], что Германия также выступит всеми имеющимися для этого силами против генерала Алексеева». [Europaische Gesprache. 1926. V. 4. S. 150. Согласие Иоффе: Idem. S. 152. См. также: Gatzke H.W. // VZ. V. 3. 1955. Jan. № 1. S. 96–97.]. К этому обязательству немцы тоже отнеслись со всей серьезностью. 13 августа Иоффе сообщил в Москву,

что после ратификации Дополнительного договора Германия собирается предпринять энергичные действия против Добровольческой армии[210].

Итак, Германия обещала, идя навстречу просьбам русских, выступить против английских войск и деникинской армии. Третий секретный пункт соглашения был принят по инициативе немцев и навязан русским против их желания. Он обязывал советское правительство изгнать из Баку английские силы, находившиеся там с 4 августа. Как и в первых двух случаях, здесь была сделана оговорка, что, если советские силы не справятся с этой задачей, решение ее возьмет на себя Рейхсвер. [Baumgart. Ostpolitik. S. 203. Этот третий секретный пункт соглашения стал достоянием гласности лишь после второй мировой войны. Впервые его опубликовал Баумгарт (см.: Historisches Jahrbuch. Bd. 89. 1969. S. 146–148).]. Но и этому не суждено было осуществиться, так как 16 сентября, когда германские силы еще не были готовы выступить, в Баку вошли турки.

Три секретных пункта Дополнительного договора означали, что Германия (если бы она не потерпела крах в первой мировой войне) получает господство над Россией не только в экономическом, но и военном отношении.

В докладе перед рейхстагом о Дополнительном договоре (не содержавшем, конечно, упоминания о секретных пунктах) Хинце заявил, что этот документ закладывает основы «сосуществования» (Nebeneinanderleben) Германии и России[211]. Примерно такую же терминологию использовал и Чичерин, выступая 2 сентября перед Центральным

исполнительным комитетом, который единогласно ратифицировал Договор. «При глубочайшем различии между строем России и Германии и основными тенденциями обоих правительств, — сказал он, — мирное сожительство обоих народов, являющееся всегда предметом стремлений нашего рабоче-крестьянского государства, является в настоящее время желательным и для германских правящих кругов»[212]. По сути, это одно из наиболее ранних официальных упоминаний термина «мирное сосуществование», о котором советское правительство вспомнит затем после смерти Сталина.

Теперь два правительства стремительно пошли навстречу друг другу. За неделю до капитуляции Германии между ними фактически возник политический, экономический и военный союз. Хинце поистине фанатически поддерживал большевиков. В начале сентября, когда Москва развязала красный террор, в ходе которого были расстреляны тысячи заложников, Хинце употребил все свое влияние, чтобы воспрепятствовать полной публикации в германской печати присылаемых корреспондентами из России отчетов о тамошних зверствах, опасаясь, что возмущение общественности повредит дальнейшему сотрудничеству[213].

В сентябре по просьбе Москвы Германия начала поставлять в советскую Россию топливо и оружие. В России ощущалась острая нехватка угля, и министерство иностранных дел Германии организовало во второй половине октября посылку в Петроград двадцати пяти немецких судов, которые должны были доставить в общей сложности 70 000 тонн угля и кокса. Лишь половина из них или даже меньше достигли порта

назначения, а затем поставки были прекращены из-за разрыва дипломатических отношений между двумя странами. Доставленный в Петроград уголь пошел на заводы, производящие оружие для Красной Армии[214].

В сентябре Иоффе обратился к немцам с просьбой поставить в Россию 200 000 ружей, 500 млн. патронов и 20000 пулеметов. Под нажимом министерства иностранных дел Людендорф неохотно на это согласился, вычеркнув из списка пулеметы. Эта сделка не состоялась, так как Хинце и канцлер Гертлинг ушли в отставку. Новый канцлер, принц баденский Максимиллиан, не был уже таким энтузиастом пробольшевистской политики[215].

Несмотря на неотвратимо надвигавшееся поражение Четверного союза, Москва пунктуально выполняла свои финансовые обязательства по Дополнительному договору. 10 сентября в Германию было отправлено золота на 250 млн. немецких марок в качестве первой выплаты, а 30 сентября была выплачена сумма в 312,5 млн. немецких марок — частично золотом, — частично рублями. Третья выплата, запланированная на 31 октября, уже не состоялась, поскольку в тому времени Германия была на краю капитуляции.

* * *

Вплоть до конца сентября 1918 года большевики верили в победу дружественной им Германии. Затем стали происходить события, заставившие их задуматься. Отставка 30 сентября канцлера Гертлинга и

последовавшее несколько дней спустя смещение Хинце лишили их самых верных сторонников в Берлине. Новый канцлер принц Максимиллиан обратился к президенту Вильсону с просьбой оказать услугу Германии, договорившись о перемирии. Это были несомненные симптомы надвигающегося краха. Ленин, находившийся на даче под Москвой, где восстанавливал силы после ранения, полученного во время неудачного покушения на его жизнь (об этом мы еще расскажем позднее), среагировал немедленно. Он побудил Троцкого и Свердлова созвать заседание ЦК для обсуждения насущных внешнеполитических вопросов. 3 октября он направил Центральному исполнительному комитету анализ ситуации в Германии, в котором с восторгом говорил о перспективах надвигающейся в этой стране революции[216]. По его рекомендации 4 октября ЦИК принял резолюцию, заявлявшую «перед лицом всего мира», что «вся советская Россия всеми своими силами и средствами поддержит революционную власть в Германии»[217].

Новый германский канцлер нашел такие беззастенчивые призывы к свержению законной власти чрезмерными. К этому времени уже и министерство иностранных дел пришло к выводу, что с него хватит большевиков. На состоявшемся в октябре межведомственном совещании министерство иностранных дел впервые поддержало предложение разорвать отношения с Москвой. В составленном его сотрудниками в конце месяца меморандуме о перемене политического курса говорилось: «Мы, испортившие свою репутацию тем, что изобрели большевизм и выпустили его на волю во вред России, должны теперь, в последний момент, по крайней мере не протягивать ему

руку помощи, чтобы не потерять доверия России будущего»[218].

У Германии имелись достаточные основания для разрыва с Москвой, поскольку Иоффе, который уже весной и летом вел здесь подрывную работу, теперь стал открыто разжигать революцию. Впоследствии он с гордостью писал, что в этот период агитационно-пропагандистская работа его посольства «все более принимала характер решительно революционной подготовки вооруженного восстания. Помимо конспиративных групп спартаковцев в Германии, в частности в Берлине, со времени январской [1918 г.] забастовки существовали, конечно нелегальные, Советы рабочих депутатов… С этим Советом российское посольство находилось в постоянной связи… [Берлинский] Совет полагал, что восстание только тогда окажется своевременным, когда весь берлинский пролетариат будет хорошо вооружен. С этим приходилось бороться. Нужно было указывать, что если ждать этого момента, то до восстания никогда дело не дойдет, что достаточно вооружения только авангарда пролетариата… Тем не менее стремление германского пролетариата вооружиться было вполне законно и разумно, и посольство всячески содействовало этому»[219]. Содействие это принимало форму денежных субсидий и поставки оружия. Когда советское посольство покидало Берлин, по небрежности был оставлен документ, из которого следовало, что между 21 сентября и 31 октября 1918 года оно закупило на сумму в 105 000 марок 210 единиц огнестрельного оружия и 27 000 патронов[220].

Для разрыва дипломатических отношений вполне хватило бы заявления высшего советского

законодательного органа о поддержке революционных сил в Германии и той деятельности, которую вел Иоффе, воплощая это заявление в жизнь. Но министерство иностранных дел хотело получить прямой повод и с этой целью спровоцировало следующий инцидент. Зная, что советские дипкурьеры в течение многих месяцев привозят в посольство агитационные материалы, распространяемые затем в Германии, оно устроило так, что на Берлинском вокзале контейнер с дипломатической почтой из России при разгрузке как бы случайно упал и разбился. Это произошло вечером 4 ноября. Из поврежденного контейнера потоком хлынули пропагандистские материалы, содержащие призывы к немецким рабочим и солдатам подняться и свергнуть правительство[221]. Иоффе было предписано немедленно покинуть страну. Выразив положенное в таких случаях негодование, он, тем не менее, не забыл перед отъездом в Москву оставить д-ру Оскару Кону, члену Независимой социалистической партии и фактическому резиденту советской миссии, 500 000 марок и 150000 рублей в качестве дополнения к сумме в 10 млн. рублей, выделенной перед этим «на нужды германской революции». [Иоффе // Вестник жизни. 1919. № 5. С. 45. Из-за близких отношений с Троцким Иоффе впоследствии впал в немилость. Он покончил жизнь самоубийством в 1927 г. (см.: Троцкий Л.Д. Портреты революционеров. (Benson, Vt., 1988. P. 377–401)].

* * *

Русская революция никогда не была узконациональным событием, имевшим значение лишь для судеб самой России: уже с начала февральских

событий, и в еще большей степени после того, как большевики захватили Петроград, она приобрела международное значение. На это было две причины.

Россия представляла собой театр военных действий. Ее односторонний выход из войны затрагивал жизненные интересы обоих воюющих блоков. И поскольку война продолжалась, ни для одной из сторон не было безразлично, что происходит в России: благодаря самому своему географическому положению Россия неизбежно оказывалась втянутой в водоворот мирового конфликта. Большевики вовлекали страну в этот конфликт еще сильнее, натравливая друг на друга воюющие стороны. Весной 1918 года они обсуждают со странами Четверного согласия вопросы создания на своей территории многонациональной антигерманской армии, разрешают союзникам занять Мурманск и приглашают их оказать помощь в создании Красной Армии. Осенью того же года они призывают немецкие вооруженные силы освободить от войск союзников северные порты России и нанести удар по Добровольческой армии. Вновь и вновь Германии приходилось вмешиваться, оказывая большевикам политическую и финансовую поддержку и спасая этим режим. Хельфферих, обращаясь в воспоминаниях к кризису советского режима в июле — августе 1918 года, признает, что «самую сильную поддержку большевистскому режиму в критический период его существования, пусть неосознанно и ненамеренно, оказало правительство Германии»[224]. В свете всех этих фактов вряд ли можно всерьез утверждать, что «интервенция» иностранных держав в Россию в 1917–1918 годах имела целью отстранить большевиков от власти. Прежде всего они стремились повлиять таким образом на ход войны на Западном фронте: страны

Четверного согласия — путем восстановления фронта в России, а страны Четверного союза, наоборот, — путем поддержания его бездействующим. Большевики принимали в этом вмешательстве активное участие, призывая то одну сторону, то другую, — в зависимости от того, что соответствовало в тот или иной момент их интересам. Германская «интервенция», которой они добивались и которую приветствовали, вероятно, спасла их, не дав разделить судьбу Временного правительства.

Кроме того, большевики с самого начала заявляли, что в эпоху социалистических революций и глобальных классовых войн границы между государствами становятся бессмысленными. Они выпускали воззвания, призывающие народы зарубежных стран свергать свои правительства. Они ассигновали на это специальные средства из государственного бюджета. И там, где это было возможно (а такая возможность открылась для них в это время только в Германии), они деятельно пытались ускорить наступление революции. Бросая таким образом вызов законным правительствам других стран, большевики давали им полное право ставить под сомнение легитимность режима, существующего в советской России. И если в 1917–1918 годы никакое правительство не воспользовалось этим правом, то только потому, что ни одно государство не было в тот момент в этом заинтересовано. Немцы считали, что большевики проводят политику, полезную для Германии, и поддерживали их каждый раз, когда их режим начинал шататься. Страны Четверного согласия были слишком поглощены защитой своих интересов на поле боя. Вопрос, заданный одним историком: «Каким образом советское правительство, не имевшее сколько-нибудь серьезных вооруженных сил, продержалось в течение

первого года революции посреди этой самой разрушительной из всех известных до того времени в человеческой истории войн?»[224] — получает, таким образом, очевидный ответ. Эта разрушительная война полностью заслонила собой события в России. Германия поддерживала большевистский режим. У стран Четверного согласия были другие заботы.

Поэтому неправильно интерпретировать иностранное вторжение в Россию в 1917–1918 годах как враждебную режиму «интервенцию». Большевистское правительство, с одной стороны, было инициатором этой интервенции, а с другой, само действовало весьма агрессивно. И хотя великие державы, мечтавшие вернуться к нормальной жизни, не хотели этого признавать, русская революция никогда не была только внутренним делом России, значение которого для других стран ограничивалось лишь влиянием на исход войны. Новые правители России сделали все возможное, чтобы революция вызвала отклик во всем мире. Ноябрьское перемирие 1918 года предоставило им беспрецедентную возможность организовать революцию в Германии, Австрии, Венгрии, — всюду, где бы только они смогли. Несмотря на то, что все эти попытки тогда провалились, они показали, что в мире невозможны уже ни передышка, ни возврат к той жизни, которая была до 1914 года.

И еще одно необходимо сказать в связи с вопросом о вторжении иностранцев на территорию России в 1918 году. Во всех дискуссиях о том, что сделали союзники в России (а сделали они в общем не так уж много), обычно совершенно упускают из виду, что они сделали *для* России, хотя в этом отношении вклад их как раз был весьма существенным. После того как Россия, отрекшись

от своих обязательств, оставила союзников воевать с Четверным союзом, они понесли неисчислимые человеческие и материальные потери. В результате выхода России из войны Германия перебросила с потерявшего значение Восточного фронта такое количество войск (от 150 до 192 дивизий)[226], что ее силы на западе увеличились примерно на четверть. Это подкрепление позволило ей организовать яростное наступление. Знаменитые битвы на Западном фронте весной и летом 1918 года — Сен-Кантен, Лис, Эна, Мец, Марна, Шато-Тьерри — унесли сотни тысяч жизней англичан, французов и американцев. Ценой этих жертв в конце концов удалось поставить Германию на колени. [Этот тезис энергично и яростно поддерживает Брайен Пирс (Pearce B. How Haig Saved Lenin. Lnd., 1987).]. Но победа над Германией, к которой советское правительство не приложило никаких усилий, не только позволила ему аннулировать Брест-Литовский договор и вернуть большую часть территорий, потерянных в Бресте, но также уберегла советскую Россию от судьбы, уготованной ей Германией, — от превращения в колонию, в своего рода Евразийскую Африку.

ГЛАВА 7

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ

В коммунистической и некоммунистической литературе термин «военный коммунизм» приобрел со временем точное значение. Вот как определяет его Советская Историческая Энциклопедия:

«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ — название экономической политики Советского государства в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР 1918—20. Политика военного коммунизма была продиктована исключительными трудностями, созданными гражданской войной и хозяйственной разрухой...»[1].

Утверждение, что политика военного коммунизма была «продиктована» обстоятельствами, противоречит историческим фактам. Об этом свидетельствует сама этимология термина. Первое официальное упоминание «военного коммунизма» относится к весне 1921 года, то есть к периоду, когда эта политическая линия уже должна была уступить место новой экономической, политике. Именно тогда коммунистические власти, вставшие перед необходимостью как-то оправдать крутой поворот своего политического курса, постарались возложить всю вину за ужасы недавнего прошлого на обстоятельства, изменить которые они якобы были не в силах. Как писал в апреле 1921 года Ленин, «военный коммунизм» был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам

пролетариата политикой. Он был временной мерой»[2]. Но эта оценка была дана задним числом. Конечно, в какой-то части политика военного коммунизма вынужденно решала неотложные проблемы. Однако в целом она была отнюдь не «временной мерой», но самонадеянной и, как оказалось, преждевременной попыткой ввести в стране полноценный коммунистический строй[3].

То, что в первые годы режима экономическая политика большевиков не была ни импровизацией, ни реакцией на обстоятельства, подтверждает такой авторитет, как Троцкий.

Признавая, что военный коммунизм был «по существу своему системой регламентации потребления в осажденной крепости», он вместе с тем отмечает: «По первоначальному замыслу, он преследовал более широкие цели. Советское правительство надеялось и стремилось непосредственно развить методы регламентации в систему планового хозяйства в области распределения, как и в сфере производства. Другими словами: от «военного коммунизма» оно рассчитывало постепенно, но без нарушения системы, прийти к подлинному коммунизму»[4]. Этот взгляд находит подтверждение и в другом авторитетном советском источнике. Политика военного коммунизма, читаем мы, «не была продуктом одних военных условий и иных стихийно действовавших сил. Она была также продуктом определенной идеологии, реализацией социально-политического замысла, построившего хозяйственную жизнь страны на совершенно новых началах». [Юровский Л.Н. Денежная политика советской власти (1917–1927). М., 1928. С. 51. Такого же мнения

придерживается и левый коммунист Л.Крицман. «Так называемый «военный коммунизм», — пишет он, — это первый грандиозный опыт пролетарско-натурального хозяйства, опыт первых шагов перехода к социализму» (Героический период великой русской революции. Изд. 2-е. М.; Л., 1926. С. 77)].

Но, пожалуй, самым убедительным свидетельством того, что в период гражданской войны большевики ставили перед собой стратегические задачи построения коммунизма, является та систематическая борьба, которую они вели против института частной собственности. Нацеленные на это законы и декреты, принимавшиеся в разгар схватки за выживание большевистского режима, вовсе не служили укреплению власти большевиков, а были продиктованы исключительно их верой в необходимость лишить граждан имущества, которое может служить источником их политической независимости. Экспроприация началась с недвижимости. Так называемый Декрет о земле, принятый 26 октября 1917 года, лишил собственности на землю всех, кроме крестьян. За этим последовали декреты, касающиеся недвижимого имущества в городах, которое вначале (14 декабря 1917 г.) было изъято из торгового обращения, а затем (24 августа 1918 г.) передано в собственность государства[5]. В январе 1918 года были аннулированы все государственные долги. Декрет от 20 апреля 1918 года запрещал покупку, продажу и сдачу в аренду торговых и промышленных предприятий. Другим декретом от того же числа предписывалась регистрация ценных бумаг и закладных на частное имущество[6]. Но, пожалуй, самым решительным шагом на пути уничтожения частной собственности был декрет от 1 мая 1918 года,

отменявший права наследования[7]. Ни одна из этих мер не была продиктована какой-либо «насущной необходимостью». Все они преследовали единственную цель — лишить частных лиц и объединения прав владения и распоряжения основными капиталами и другим полезным имуществом.

К зиме 1920/1921 годов военный коммунизм достиг полного развития. К этому времени были приняты решительные меры, направленные на полное подчинение государству, а точнее, Коммунистической партии, всей экономики России — трудовых ресурсов, производственных мощностей и системы распределения. При этом преследовались две цели: во-первых, ослабить экономическую базу тех, кто составлял оппозицию коммунистическому режиму, и, во-вторых, создать условия, в которых этот режим мог бы осуществлять «рациональную» реорганизацию экономической жизни страны. Меры эти сводились к следующему:

1. Национализация: а) средств производства, за исключением (важным, хотя и временным) сельскохозяйственных; б) транспорта и в) всех предприятий, кроме самых мелких.

2. Ликвидация частной торговли путем национализации оптовых и розничных торговых предприятий и введение системы распределения, находящейся под контролем правительства.

3. Упразднение денег как менового эквивалента и единицы бухгалтерского учета и переход к системе регулируемого государством прямого обмена товарами.

4. Подчинение всей экономической жизни страны единому плану.

5. Введение трудовой повинности для всех совершеннолетних дееспособных мужчин, а в отдельных случаях также для женщин, детей и стариков.

Эти беспрецедентные меры вовсе не были продиктованы условиями военного времени. Наоборот, они проводились несмотря на то, что в стране шла гражданская война. Их целью было объявлено создание в советской России рационально сбалансированной экономической системы, которая отличалась бы высочайшей производительностью и справедливым распределением.

Идеологи политики военного коммунизма черпали свои идеи из нескольких источников. Контроль государства (хотя и не государственная собственность) над производством и распределением продукции и использованием рабочей силы был установлен в Германской империи во время первой мировой войны. Эта чрезвычайная политика, известная как «военный социализм» (Kriegssozialismus), произвела огромное впечатление на Ленина и его экономического советника Юрия Ларина. Замена свободного рынка потребительских товаров сетью государственных распределительных центров осуществлялась в соответствии с идеями Луи Блана, по образцу ateliers, созданных по его замыслу во Франции в 1848 году. Однако по своему духу военный коммунизм больше всего напоминал вотчинный режим, существовавший на Руси в средние века (тягловое государство), когда монархия рассматривала страну со всеми ее жителями и ресурсами как свое частное владение[8]. Для основной массы русских, никогда по-настоящему не знавших западной культуры, государственный контроль в экономике был гораздо более естественной вещью, чем абстрактное право

частной собственности и весь круг явлений, обозначаемых термином «капитализм».

Если принимать за чистую монету поток советских экономических декретов, который пролился между 1918 и 1921 годами, можно решить, что к концу этого периода вся экономическая жизнь страны находилась полностью под контролем государства. В действительности советские декреты этого времени были часто не более чем выражением намерений. Никогда расхождение законов с жизнью не было так велико. Есть убедительные данные, свидетельствующие о том, что наряду с неуклонно расширявшимся государственным сектором процветал и частный сектор, устоявший против всех попыток его ликвидации. Несмотря на «отмену» денег, они продолжали циркулировать, и хлеб продавался по свободным рыночным ценам, хотя государство провозгласило на него монополию. Единый экономический план так никогда и не был реализован. Иными словами, к 1921 году, когда от политики военного коммунизма пришлось отказаться, она во многих отношениях еще и не была проведена в жизнь. Провал этого политического курса лишь отчасти был обусловлен неспособностью правительства добиться выполнения изданных им законов. Не менее важную роль сыграло понимание того, что их жесткое исполнение (даже если бы оно было возможно) приведет к экономической катастрофе. Коммунисты отдавали себе отчет, что в городах может разразиться жестокий голод, если удастся полностью искоренить незаконную торговлю продовольствием, благодаря которой горожане получали две трети потребляемого ими хлеба. Военный коммунизм стал реальностью лишь десять лет спустя, — но уже под новым названием и с обновленными лозунгами, — когда

Сталин продолжил дело регламентации экономической жизни, начав с того места, на котором отступил Ленин.

Целью политики военного коммунизма был социализм или даже коммунизм. Ее сторонники были твердо убеждены, что социалистическое государство уничтожит частную собственность и свободный рынок, заменив их централизованной, осуществляемой государством системой экономического планирования. Однако в ходе осуществления этой программы большевики столкнулись с серьезной трудностью. Дело в том, что, в соответствии с предсказаниями марксизма, уничтожение частной собственности и рыночных отношений должно стать конечным результатом длительного капиталистического развития, приводящего к такой концентрации производства и распределения, которая позволяет национализировать их единым законодательным актом. Но в России в период революции капитализм все еще находился в младенческом состоянии. «Мелкобуржуазный» характер ее экономики, главную роль в которой играли десятки миллионов самостоятельных общинных крестьян и ремесленников, только усугубляла политика большевиков, дробивших большие имения, чтобы отдать землю крестьянам, и наделявших рабочих правом контролировать промышленные предприятия.

Ленин не однажды проявлял себя как в высшей степени хитроумный политик, но когда дело доходило до экономических вопросов, он оказывался на удивление наивным. Его знание экономики было исключительно книжным, почерпнутым из таких источников, как, например, работы немецкого социалиста Рудольфа Хильфердинга. В известной книге «Финансовый капитал» (1910) Хильфердинг проводит мысль, что, поскольку

капитализм вступил в свою наиболее развитую стадию — «финансовый капитализм», вся экономическая власть сосредоточилась в руках банков. Логическим следствием этой тенденции «станет ситуация, в которой в распоряжении одного банка или группы банков окажется весь денежный капитал. Такой «центральный банк» сможет тогда надежно контролировать все общественное производство»[9]. Одна из особенностей теории «финансового капитализма» заключалась в переоценке роли синдикатов и трестов. Ленин и его соратники были убеждены, что в предреволюционной России синдикаты и тресты действительно контролируют производство и торговлю, оставляя на долю рыночных сил небольшой и неуклонно убывающий сектор.

Как следовало из такой оценки, национализация банков и синдикатов была бы равнозначна национализации всей экономики страны, а это, в свою очередь, означало бы построение фундамента социализма. В 1917 году Ленин утверждал, что концентрация экономической власти в руках банковских учреждений и картелей достигла в России такого уровня, что финансы и торговлю можно национализировать одним декретом[10]. Накануне Октябрьского переворота он сделал ошеломляющее заявление: создание единого государственного банка обеспечит «девять десятых *социалистического* аппарата»[11]. По свидетельству Троцкого, Ленин в самом деле был настроен весьма оптимистично: «В ленинских тезисах о мире, написанных в начале января 1918 года, говорится о необходимости «для успеха социализма в России известного промежутка времени, *не менее нескольких месяцев».* Сейчас эти слова кажутся совершенно непонятными: не описка ли, не идет ли тут речь о нескольких годах или о нескольких

десятилетиях? Но нет, это — не описка… Я очень хорошо помню, как в первый период, в Смольном, Ленин на заседаниях Совнаркома неизменно повторял, что через полгода у нас будет социализм и мы станем самым могущественным государством»[12].

В первые шесть месяцев пребывания у власти Ленин считал необходимым введение в России системы, которую он называл «государственным социализмом». Это было явным отголоском идеи немецкого «военного социализма» с той лишь разницей, что контроль должен был распространяться на всю экономику, а не только на отрасли, непосредственно связанные с ведением войны, и осуществляться во имя интересов не «капиталистов и юнкеров», а «пролетариата». Вот что писал он в сентябре 1917 года, незадолго до Октябрьского переворота: «Кроме преимущественно «угнетательского» аппарата постоянной армии, полиции, чиновничества есть в современном государстве аппарат, связанный особенно тесно с банками и синдикатами, аппарат, который выполняет массу работы учетно-регистрационной, если позволительно так выразиться. Этого аппарата разбивать нельзя и не надо.

Его надо вырвать из подчинения капиталистам, от него надо *отрезать* <…> капиталистов с их нитями влияния, его надо *подчинить* пролетарским Советам, его надо сделать более широким, более всеобъемлющим, более всенародным. И это можно сделать, опираясь на завоевания, уже осуществленные крупнейшим капитализмом… «Огосударствление» массы служащих банковых, синдикатских, торговых и пр. и пр. — вещь вполне осуществимая и технически (благодаря предварительной работе, выполненной для нас капитализмом и финансовым капитализмом) и

политически, при условии контроля и надзора *Советов»*[13].

В конце ноября 1917 года Ленин набросал основные пункты экономической программы:

«Вопросы экономической политики. Инструкции?

1) Национализация банков.

2) Принудительное синдицирование.

3) Государственная монополия внешней торговли.

4) Революционные меры борьбы с мародерством.

5) Разоблачение финансового и банковского грабежа.

6) Финансирование промышленности.

7) Безработица.

8) Демобилизация — армии? промышленности?

9) Продовольствие»[14].

В этом наброске ничего не говорится ни о государственной монополии на торговлю внутри страны, ни о национализации промышленности или транспорта, ни о ликвидации денег, — то есть о мерах, определивших в итоге политику военного коммунизма. В то время Ленин был еще убежден, что для построения социализма национализация финансовых учреждений и объединение в синдикаты промышленных и торговых предприятий являются достаточными мерами.

25 октября 1917 года, — то есть еще до того, как Второй съезд Советов поручил ему сформировать правительство, — Ленин обратился к Юрию Ларину, меньшевику, незадолго перед этим перешедшему к большевикам. В социалистических кругах Ларин считался

специалистом по немецкой экономике военного времени. «Вы занимались вопросами организации германского хозяйства, — сказал ему Ленин, — трестами, синдикатами, банками, — займитесь этим у нас»[15].

Вскоре после этого Ларин напечатал в «Известиях» набросок экономической программы большевиков, где речь шла главным образом о принудительном объединении в синдикаты добывающих отраслей промышленности, производства потребительских товаров, транспорта и банков, подчиненном единому государственному плану. Предполагалось, что вместо частных лиц акциями предприятий будут владеть синдикаты, продавая и покупая их на свободном рынке. Органы самоуправления на местах (предположительно Советы) должны при этом объединить в синдикаты или муниципализировать розничную торговлю и жилой фонд. Так же необходимо «синдицировать» и крестьян — для распределения продуктов питания и сельскохозяйственной техники[16]. Руководствуясь этой программой, правительство сможет контролировать частное предпринимательство, не прибегая к его полной ликвидации.

С подачи Ленина Ларин и его единомышленники завязали дискуссию с Алексеем Мещерским, одним из самых влиятельных деятелей российской промышленности. Выходец из низов, Мещерский был до революции типичным «прогрессивным» предпринимателем, презирал бюрократию и хотел видеть Россию свободной демократической страной, способной реализовать скрытые в ней производительные возможности[17]. Он не был богат, но занимал ответственную должность директора

Сормовско-Коломенского машиностроительного гиганта, — предприятия, объединявшего русский и иностранный, главным образом немецкий, капитал, где было занято 60 тыс. рабочих. По предложению Ларина Мещерский составил проект предприятия, в котором совмещались бы интересы частных предпринимателей и большевистского правительства. Речь шла о создании советского металлургического треста с капиталом в 1 млрд. руб., финансируемого пополам государством и частным сектором и управляемого советом директоров, в котором частным вкладчикам принадлежало бы 60 % мест. Трест должен был взять на себя управление сетью промышленных, угле- и железодобывающих предприятий, на которых работало бы в общей сложности 300 тыс. человек. Его главной задачей стало бы на первых порах обеспечение подвижным составом слабо оснащенных российских железных дорог[18]. В марте коммунистические власти обсуждали аналогичный проект совместного предприятия с директорами объединения промышленника Стахеева, контролировавшего около 150 промышленных, финансовых и торговых предприятий Урала. В этом случае речь шла о создании треста для разработки уральских месторождений, в котором интересы советского правительства соединялись бы с интересами русского и американского частного капитала[19].

Создание этих предприятий могло бы подтолкнуть развитие советской экономики по пути к смешанной модели, однако предложения были отвергнуты под давлением «пуристов» в правительстве большевиков. Представители правительства требовали на переговорах все большего процента участия государства в металлургическом тресте, и в конце концов на долю

частного капитала не осталось просто ничего. Но Мещерский и его группа так стремились сотрудничать с большевистским режимом, что согласились отдать правительству все 100 % участия в обмен на обещание предоставить им преимущества при покупке акций треста в случае, если они все-таки будут продаваться. Однако даже и это более чем умеренное предложение было отвергнуто. Как сообщил коммунистический источник, 14 апреля 1918 года Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) «почти большинством голосов» (весьма загадочная формулировка!) решил прекратить обсуждение этого вопроса. [Мещерский // Наше слово. 1918. 26 мая. № 33. С. 7; Виндельбот // Народное хозяйство. 1919. № 6. С. 24–32. Как свидетельствует «Наш век (1918. 26 июня. № 101/125), Мещерский был арестован в июне. Впоследствии эмигрировал на Запад.].

Хотя переговоры были безрезультатны, сам факт их ведения отчасти объясняет то удивительное хладнокровие, с которым российское деловое сообщество воспринимало режим, открыто угрожавший ему не только экономическими санкциями, но и физическим уничтожением. Банкиры и промышленники воспринимали заявления большевиков как революционные фразы. Они были убеждены, что большевики сами попросят у них помощи в ликвидации хозяйственной разрухи, иначе им не удастся удержаться у власти. Весной 1918 года вдруг ожила Петроградская биржа, формально закрытая с начала войны, и при заключении прямых сделок цена акций, особенно банковских, стала расти[20]. Оптимизм представителей большого бизнеса подогревался инициативами большевиков и сведениями о переговорах правительства с Германией, результатом которых должно было стать торговое соглашение, открывавшее путь в

Россию немецкому капиталу. Поэтому предприниматели оставались глухи к призывам белых генералов о финансовой помощи. В сравнении с перспективами, которые сулило сотрудничество с правительством большевиков, поддержка Белого движения казалась деловым людям вариантом заведомо проигрышным.

Как только был ратифицирован Брест-Литовский мирный договор, большевистские лидеры обратили свои взоры к экономике. Теперь, когда их власти ничто не угрожало, они уже не были заинтересованы в «разбазаривании» национального богатства путем раздачи его крестьянам и рабочим для раздела между собой. Пришло время организовать производство и распределение — рационально, эффективно, «по-капиталистически»: восстановить трудовую дисциплину, ввести строгий учет, внедрить современные технологии и методы управления. Сигналом изменения курса послужила речь Троцкого, произнесенная 28 мая 1918 года и имевшая странный, совершенно «фашистский» заголовок: «Труд, дисциплина и порядок спасут Советскую Социалистическую Республику»[21]. Он призвал рабочих к «самоограничению» и смирению перед фактом, что к управлению советской промышленностью должны быть привлечены специалисты из числа бывших «эксплуататоров».

В то же самое время Ленин убежденно, но не очень успешно отстаивал преимущества государственного капитализма, способного предоставить в распоряжение нового государства все чудеса капиталистической технологии и методов управления. Только восприняв все лучшее, что создал капитализм, утверждал он, можно построить социализм в России:

«<…> приведем прежде всего конкретнейший пример государственного капитализма. Всем известно, каков этот пример: Германия. Здесь мы имеем «последнее слово» крупнокапиталистической техники и планомерной организации, *подчиненной юнкерски-буржуазному империализму.* Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место *государства* военного, юнкерского, буржуазного, империалистского, *тоже государство,* но государство иного социального типа, иного классового содержания, государство *советское,* т. е. пролетарское, и вы получите *всю* ту сумму условий, которая дает социализм.

Социализм немыслим без крупнокапиталистической техники, построенной по последнему слову новейшей науки, без планомерной государственной организации, подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему соблюдению единой нормы в деле производства и распределения продуктов»[22].

«Что такое государственный капитализм при Советской власти? В настоящее время осуществлять государственный капитализм — значит проводить в жизнь тот учет и контроль, который капиталистические классы проводили в жизнь. Мы имеем образец государственного капитализма в Германии. Мы знаем, что она оказалась выше нас. Но если вы подумаете хоть сколько-нибудь над тем, что бы значило в России, Советской России, обеспечение основ такого государственного капитализма, то всякий не сошедший с ума человек и не забивший себе голову обрывками книжных истин должен был бы сказать, что государственный капитализм для нас спасение.

Я сказал, что государственный капитализм был бы спасением для нас, если бы мы имели в России его, тогда переход к полному социализму был бы легок, был бы в наших руках, потому что государственный капитализм есть нечто централизованное, подсчитанное, контролированное и обобществленное, а нам-то и не хватает как раз этого»[23].

Экономическая программа, которую отстаивал Ленин, была, таким образом, гораздо более умеренной, чем то, на что пошли впоследствии большевики. Если бы ему удалось провести ее в жизнь, «капиталистический» сектор остался бы в принципе нетронутым и лишь был бы поставлен под контроль государства. Такое сосуществование, предполагавшее приток в страну иностранного капитала, — главным образом, немецкого и американского, — позволило бы использовать в большевистской экономике все преимущества развитого «капитализма», избавив ее в то же время от нежелательных политических эффектов этой системы. В этой идее было много общего с новой экономической политикой, введенной три года спустя.

Но случилось иначе. Ленин и Троцкий натолкнулись на фанатическое противостояние нескольких групп, среди которых самыми активными были левые коммунисты. Эта группировка, предводительствуемая Н.И.Бухариным и включавшая заметную часть партийной элиты, потерпела унизительное поражение в связи с заключением Брест-Литовского договора, но продолжала действовать как фракция большевистской партии, отстаивая свою позицию на страницах журнала «Большевик». Члены этой группы, в которую, в частности, входили А.М.Коллонтай, В.В.Куйбышев, Л.Н.Крицман, В.В.Оболенский (Н.Осинский),

Е.А.Преображенский, Г.Л.Пятаков и К.Б.Радек, считали себя «совестью революции». Они заявляли, что после Октября Ленин и Троцкий неуклонно скатывались к оппортунистическому признанию «капитализма» и «империализма». Ленин, в свою очередь, называл их утопистами и фантастами, жертвами «детской болезни левизны». Однако фракция эта имела мощную поддержку в среде рабочих и интеллигенции, особенно в московской партийной организации, которая чувствовала для себя угрозу в предложениях Ленина и Троцкого вводить «капиталистические» методы хозяйствования. Последние предполагали роспуск фабричных комитетов и упразднение «рабочего контроля» с целью восстановления системы индивидуального руководства и ответственности, что неизбежно привело бы к подрыву власти и привилегий партийных чиновников. Большевики находились под перекрестным огнем в связи с их позицией по Брестскому договору и потеряли большинство в Советах, поэтому Ленин не в состоянии был охладить пыл этих интеллигентов и поддерживающих их рабочих. Вряд ли мог он настаивать на проведении линии, которую диктовал здравый смысл, слыша упреки вроде того, что бросил ему рабочий-металлист по поводу переговоров с Мещерским: «Товарищ Ленин, вы покажете себя настоящим оппортунистом, если дадите передышку и в этой области». [Вечерняя звезда. 1918. 19 апр. Цит. по: Scheibert P. Lenin an der Macht. Weinheim, 1984. S. 219. Имелась в виду, конечно, та непопулярная «передышка», которую, по мнению большевиков, давал Брест-Литовский договор.].

Победившие в конечном счете принципы военного коммунизма были отражены в эссе Ю.Ларина,

опубликованном в апреле 1918 года. Хотя он делал вид, будто лишь развивает то, что написал в октябре 1917 года, в действительности представленная им экономическая программа была уже иной. Речь шла теперь о национализации всех российских банков и промышленности — отрасль за отраслью. Никакого сотрудничества правительства с частными трестами уже не предполагалось. «Буржуазные» специалисты допускались к работе на производстве только на технических должностях. Частная торговля должна была полностью уступить место кооперативам, действующим под надзором государства. Хозяйственная жизнь целиком подчинялась единому государственному плану. Все советские учреждения должны были вести учет, не прибегая к денежным расчетам. Государственный контроль планировалось постепенно распространить и на сельское хозяйство, начав со свободных земель, отнятых у помещиков. Единственной возможной формой участия иностранных частных интересов в экономике советской России становилось обеспечение ее специалистами и предоставление гарантированных займов, необходимых для импорта техники[24].

Руководствуясь этой программой, левые коммунисты победили в апреле 1918 года Ленина и надолго ввергли Россию в утопию моментального социализма.

* * *

Бухарин остался лидером левых коммунистов, но после поражения, связанного с Брест-Литовским

договором, отошел от руководства оппозицией, предоставив другим спорить с ленинской концепцией государственного капитализма. Главным теоретиком левого коммунизма был Валериан Оболенский, более известный по своему псевдониму «Н.Осинский». [Подробнее о нем см.: Энцикл. словарь Гранат. Т. 41. Полут. 2. С. 89–98. Его осудили в 1938 г. (вместе с Бухариным) и, по-видимому, вскоре расстреляли — якобы за участие в подготовке покушения на Ленина. См.: Conquest R. The Great Terror. N.Y., 1968. P. 398–400.]. Он родился в 1887 году в семье ветеринара, настроенного довольно радикально, и в двадцатилетнем возрасте примкнул к большевикам. В течение года в Германии он изучал политическую экономию и считал себя после этого вполне подготовленным, чтобы писать по экономическим вопросам, главным образом о сельском хозяйстве в России. Сразу после большевистского переворота он был назначен директором Государственного банка и покинул этот пост в марте 1918 года в знак протеста против подписания Брестского договора.

Его книга «Строительство социализма», написанная летом и вышедшая в свет осенью 1918 года, по существу, содержала концепцию военного коммунизма[25]. В решении экономических задач режим должен был, по мысли Осинского, действовать по трем направлениям: установить контроль над «стратегическими точками» капиталистического хозяйства, очистить это хозяйство от непроизводительных элементов и подчинить экономическую жизнь страны единому плану.

Следуя идеям Хильфердинга, Осинский ставил во главу угла задачу овладения банками — «мозгом

капитализма». Их предстояло преобразовать в клиринговые агентства советской экономики.

За этим следовала задача национализации частной собственности в сфере промышленного сельскохозяйственного производства — как крупного, так и мелкого. Это означало не только законодательную передачу прав собственности, но также и кадровую чистку с целью замены прежних владельцев и руководителей рабочими. Эти меры позволили бы нанести удар в самое сердце капитализма и в то же время перейти к более рациональной организации производства путем правильного перераспределения ресурсов.

Следующий шаг, заключавшийся в национализации торговли, был наиболее сложным. Правительство должно взять на себя управление всеми коммерческими синдикатами и крупными торговыми фирмами. Установив монополию на оптовую торговлю, оно сможет назначать цены на потребительские товары. Со временем все товары будут распределяться государственными органами, по возможности бесплатно. Принципиальной мерой является ликвидация свободного рынка: «Рынок — это очаг заразы, из которого постоянно возникают зародыши капиталистического строя. Овладение механизмом общественного обмена уничтожит спекуляцию, накопление новых капиталов, нарождением новых собственников. Оно вынудит деревенских мелких собственников сперва подчиниться общественному контролю над их хозяйством, потом перейти к общественному хозяйству. Правильно проведенная в жизнь монополия на все продукты земледелия, при которой нельзя будет *продавать* на сторону ни одного фунта зерна, ни одного мешка картофеля, совершенно

лишит смысла самостоятельное хозяйничанье в деревне»[26].

Ликвидация розничной торговли вынуждала на четвертый шаг: принудительное создание потребительских коммун, монопольно распоряжающихся предметами первой необходимости. Это позволило бы покончить со спекуляцией и «саботажем» и лишить капиталистов еще одного источника прибыли.

Наконец, необходимо стало ввести принудительную трудовую повинность. Принцип, положенный в ее основу, прост: «Никто не имеет права отказываться от работы, которую ему укажет бюро». На селе, где наблюдался избыток рабочих рук, в то время не было нужды в принудительном труде, но в городах он был признан необходимым. При такой системе «трудовая повинность <…> есть способ принуждения к работе, заменяющий прежний «экономический стимул» (переводя на простой язык — опасение помереть с голоду)».

Одна из принципиальных предпосылок плана Осинского заключалась в том, что в силу политических и экономических причин хозяйственная жизнь не может быть в одной своей части капиталистической, а в другой — социалистической: здесь необходим выбор. Тем не менее, из уважения к Ленину, он называл свою программу не «социализмом» и не «военным коммунизмом», а «государственным капитализмом».

Экономическая программа левых коммунистов получила мощную поддержку у членов партии и рабочих, — тех, кто извлекал выгоды из системы рабочего контроля и других интересов не имел. Рабочие не больше стремились расстаться с фабриками, завоеванными в 1917 году, чем крестьяне — покинуть

занятую землю. Симпатизировали этим идеям и левые эсеры. Ленин смотрел на эти планы скептически, но вынужден был уступить: такова была цена за возвращение популярности, потерянной в Бресте. В июне 1918 года, при обстоятельствах, которые мы еще обсудим, Ленин подписал декрет о национализации российской промышленности. Эта мера закрывала возможность государственного капитализма в том смысле, в каком понимал его Ленин. Это был прыжок в неизвестность.

Архитекторы военного коммунизма, его теоретики и исполнители — Осинский, Бухарин, Ларин, Рыков и другие — были очень поверхностно знакомы с экономическими дисциплинами и не имели никакого опыта организационно-управленческой деятельности. Их экономические знания были в основном почерпнуты из социалистической литературы.

Ни один из них никогда не руководил предприятием и не заработал ни рубля в сфере производства или торговли. За исключением Л.Б.Красина, который не принял участия в этих экспериментах, все большевистские лидеры были профессиональными революционерами. Если не считать коротких периодов учебы в российских или иностранных университетах (во время которой они занимались главным образом политической деятельностью), их жизнь проходила между тюрьмой и ссылкой. В своих начинаниях они руководствовались абстрактными формулами, вычитанными у Маркса, Энгельса и их немецких последователей, или радикальными суждениями, извлеченными из исторического опыта европейских революций. Про каждого из этих людей можно было бы сказать так, как Н.Суханов сказал про Ларина: «лихой

кавалерист, не знающий препятствий в скачке своей фантазии, жестокий экспериментатор, специалист во всех отраслях государственного управления, дилетант во всех своих специальностях»[27]. Вот такие записные энтузиасты, осуществляя нововведения, которые не были опробованы — даже в гораздо меньших масштабах — еще никогда и нигде, собрались перестроить сверху понизу экономическую систему, стоявшую в то время на пятом месте в мире. Это кое-что говорит о здравомыслии людей, захвативших власть в октябре 1917 года в России. Наблюдая их деятельность, невольно вспоминаешь портрет французского якобинца, нарисованный Тэном: «Его принципы — это аксиомы политической геометрии, доказательство которых заключено в них самих, ибо, как и в обычной геометрии, они сводятся к комбинации ряда простых самоочевидных идей… Люди как таковые его не интересуют: он их просто не видит. Ему и не требуется их видеть. Закрыв глаза, он накладывает свою схему на человеческий материал, являющийся предметом его манипуляций. Ему никогда не приходит в голову мысль о необходимости учитывать реальные качества этого сложного, многообразного, переменчивого материала, будь то крестьяне, ремесленники, мещане, кюре или аристократы, — идущие за плугом, сидящие в своих домах, в лавках, на приходах или во дворцах, во что-то неисправимо верящие, к чему-то стремящиеся, готовые с упорством чего-то добиваться. Все это проходит мимо его сознания, где безраздельно господствует один отвлеченный принцип, не допускающий других мыслей. И даже если непрошенная идея придет из опыта, проникнув сквозь глаза и уши, она не удержится надолго: какой бы она ни была яркой и убедительной, абстрактная схема выгонит ее вон»[28].

* * *

Нигде качества эти не проявились с такой наглядностью, как в ранних финансовых экспериментах большевиков, нацеленных на введение безденежной экономики.

Марксом было написано много хитроумной ерунды о природе и функции денег. Опираясь на фейербаховские понятия «проекций» и «фетишей», он определял деньги как «отчужденные способности человечества», как то, что разрушает «естественные человеческие качества», как «кристаллизованный труд» или как «чудовище», порожденное человеком, а затем подчинившее его себе. Идеи эти были с энтузиазмом встречены интеллектуалами, которые ни имели денег и не знали, как их зарабатывать, но мечтали о влиянии и радостях, приносимых обычно деньгами. Будь они ближе знакомы с экономической историей, им стало бы ясно, что в любом обществе, где существуют разделение труда и обмен товарами и услугами, всегда имеется также некоторая мера, некоторый эквивалент, не обязательно именующийся «деньгами».

Зачарованные этими идеями, большевики одновременно и переоценивали, и недооценивали роль денег. Они придавали слишком большое значение роли денег в «капиталистической» экономике, считая, что она целиком находится под контролем финансовых учреждений. Что же касается экономики «социалистической», то, по их глубокому убеждению, она

вполне сможет обходиться без денег. Как писал Бухарин и Преображенский, «коммунистическое общество не будет знать денег»[29].

В соответствии с мыслью Хильфердинга захват российских банков давал возможность одним махом установить контроль над промышленностью и торговлей по всей стране. [По оценке Хильфердинга, в 1910 г. шесть крупнейших берлинских банков держали под контролем большую часть немецкой промышленности. См.: Malle S. The Economic Organization of War Communism, 1918–1921. Cambridge, 1985. P. 154.]. Это оправдывало оптимизм Ленина, считавшего, что Россия может быстро стать социалистической, ибо национализация банков — это уже «девять десятых социализма». Осинский также заявил об этом как о главной и решающей мере. [В России, как и в Германии, банки прямо участвовали в промышленных и торговых предприятиях и владели значительными пакетами акций и облигаций.]. Несмотря на то, что ожидания быстрого и легкого захвата российской капиталистической экономики оказались целиком иллюзорными, большевистская партия продолжала упрямо придерживаться доктрины Хильфердинга. В своей новой программе, принятой в 1919 году, большевики утверждали, что национализация государственных и коммерческих банков России позволила советскому правительству превратить «банк из центра экономического господства финансового капитала… в орудие рабочей власти и рычаг экономического переворота»[30].

Что касается денег, большевистские теоретики хотели сразу обесценить их, а на их место поставить

общеобязательную систему распределения благ по карточкам. Многие советские публикации 1918–1920 годов содержат попытку доказать, что деньги обречены на исчезновение. Процитируем одну из типичных статей такого рода:

«Параллельно с укреплением общественного хозяйства и с введением большей планомерности в распределении потребность в денежных знаках должна сокращаться. Выпадая постепенно из оборота обобществленного хозяйства, деньги становятся достоянием остающегося вне прямого хозяйственного воздействия государства частного производителя, почему они, несмотря на все увеличивающееся количество и на необходимость еще дальнейшего выпуска их, начинают играть в общем обороте народного хозяйства все меньшую роль. И этот процесс, так сказать, объективного обесценивания денег будет получать дальнейшее движение по мере укрепления и развития обобществленного хозяйства и по мере вовлечения в его орбиту все большего круга частных мелких производителей, пока, наконец, при решительной победе государственного производства над частным не создастся возможность сознательного устранения из обращения денег путем перехода к безденежному распределению»[31].

На марксистском жаргоне, которым оперирует автор данной статьи, это означает, что без денег пока обойтись нельзя, поскольку «мелкий производитель» (читай: крестьянин) все еще остается вне сферы государственного контроля и ему надо платить за его продукт.

Деньги станут ненужными только при условии «решительной победы государственного производства

над частным», иначе говоря — лишь после полной коллективизации сельского хозяйства.

Стандартным аргументом, который большевики выдвигали в то время для объяснения невозможности отмены денег, было то, что даже после принятия ряда декретов о национализации значительная доля хозяйства страны, включая почти все производство продуктов питания, оставалась в частных руках. Как утверждал Осинский, существование «двойной экономики» — государственной в одной своей части и частной в другой — диктовало необходимость сохранения денежной системы «на неопределенный период»[32].

В действительности, однако, крестьянину платили за его продукт смехотворно мало, и этот фактор вовсе не был таким серьезным, каким его пытались представить в официальных объяснениях. Как полагал летом 1920 года Ларин, основная масса выпускаемых казной денег шла не на закупку продовольствия, а на выплату жалованья рабочим и чиновникам. По его оценке, в советской России было 10 млн. работников, получавших ежемесячно в среднем по 40 тыс. рублей. Иначе говоря, на оплату их труда уходило в общей сложности 400 млрд. рублей. В сравнении с этой цифрой деньги, которые выплачивались крестьянам за продовольствие, были просто мизерными. Все продовольствие, закупленное по твердым ценам в 1918–1920 годах, обошлось правительству, по подсчетам Ларина, меньше, чем в 20 млрд. рублей[33].

Большевики не смогли национализировать банки сразу после взятия власти в Петрограде из-за практически единодушного отказа банковских служащих признать их власть законной. Как мы видели, это

сопротивление было в конце концов сломлено. На исходе зимы 1917/1918 годов все банки были уже национализированы. Государственный банк был переименован в Народный банк и поставлен во главе всех остальных кредитных учреждений. К 1920 году были ликвидированы все банки, кроме Народного банка и его отделений, производивших безналичные расчеты на местах. В приказном порядке были открыты все сейфы и конфискованы находившиеся в них золото, наличность и ценные бумаги. Меры эти едва ли оправдали ожидания большевиков: их результатом стало не столько установление правительственного контроля над деловой жизнью России, сколько потеря доверия к власти. Для нового режима это было горьким разочарованием[34].

В течение долгого времени финансовые дела большевистского правительства находились в полном расстройстве. После октября 1917 года практически перестала действовать налоговая система, и источник доходов государства заметно оскудел. Правительство импровизировало как могло, пустив, например, в оборот купоны «Свободного займа» Керенского. Не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало нормальный бюджет. К маю 1918 года по оценке наркомфина, за шесть месяцев деятельности правительство потратило от 20 до 25 млрд рублей, тогда как поступления составили 5 млрд. [Carr E.H. The Bolshevik Revolution, 1917–1923. V. 2. N.Y., 1952. P. 145. По мнению Карра, «к этим цифрам можно относиться только как к догадкам». Действительно, государственный бюджет на первые шесть месяцев 1918 г., принятый Совнаркомом задним числом в июне, определил расходы в сумму 17,6 млрд., а доходы — в 2,85 млрд. рублей (Наш век. 1918. 14 июля № 117(141).С. 1). По другой оценке, сделанной в тот же

период, расходы за первые шесть месяцев 1918 г. составили 20,5 млрд., а доходы — 3,3 млрд. рублей (Ленин. ПСС. Т. 23. С. 537–538)]. Поскольку правительство было не в состоянии содержать административный аппарат на местах, оно не просто разрешило, но предписало губернским и уездным Советам отнимать деньги у местной «буржуазии». Ленин посчитал это порочной практикой, дающей основание каждому Совету считать себя «свободной республикой», и в мае 1918 года потребовал финансовой централизации[35]. Но невозможно централизовать финансы, когда в центре нет денег. В конце концов Москва рекомендовала местным Советам перестать выпрашивать субсидии и справляться своими силами.

Чтобы получить средства, необходимые для покрытия огромных расходов, и вместе с тем подорвать экономическое влияние «классового врага», большевики время от времени прибегали к дискриминационному налогообложению в форме «контрибуций». Так, в октябре 1918 года на обеспеченные слои сельских жителей была наложена специальная одноразовая контрибуция в 10 млрд. рублей. Этот чрезвычайный налог взимался по китайской модели, введенной монголами в средневековой Руси: городам и областям были установлены квоты и дано право самостоятельно решать, как взимать платежи. Москве и Петрограду надлежало заплатить, соответственно, 3 и 2 млрд. рублей. В других областях местным Советам было дано распоряжение составить списки лиц, подлежащих обложению. [Пятый созыв ВЦИК: Стеногр. отчет. М., 1919. С. 289–292. Требуемые суммы, однако, были собраны лишь частично.]. Аналогичные контрибуции налагали по собственной инициативе и местные Советы

— иногда, чтобы получить деньги для текущих расходов, а иногда — с целью наказания.

В финансовых делах Ленин был достаточно консервативен, и если бы он задавал в них тон, в советской России были бы с самого начала приняты традиционные методы налогообложения и формирования бюджета. Неразбериха в бюджете его беспокоила. В мае 1918 года, в свойственной ему манере преувеличивать все, о чем бы ни шла речь, он предупреждал: «Всякие радикальные реформы наши обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха в финансовой политике. От этой последней задачи зависит успех задуманного нами огромного дела социалистического преобразования общества»[36]. Но не имея времени, чтобы вплотную заняться этими делами, он передал их своим сотрудникам, стоявшим на совершенно иных позициях. Они хотели уничтожить деньги и вообще финансовые методы, положив в основу экономической системы государственный контроль над производством и потреблением. Во второй половине 1918 года идея такой экономики получила активную поддержку в советских экономических публикациях. В ее защиту выступили такие именитые большевистские деятели, как Бухарин, Ларин, Осинский, Преображенский и А.А.Чаянов. [Обзор теоретических оснований проекта безденежной экономики см. в кн.: Юровский. Денежная политика. С. 88–125. Большое влияние оказали на большевистских теоретиков идеи, высказанные в этой связи немецким социологом Отто Нойратом (Otto Neurath)]. Их замысел заключался в том, чтобы обесценить деньги путем ничем не ограниченного выпуска бумажных купюр. Вместо денег предполагалось ввести «трудовые единицы», наподобие тех, что были выпущены «Трудовым

обменным банком» Роберта Оуэна в 1832 году с целью служить знаками, выражавшими количество затраченного их владельцем труда и дававшим ему право получения соответствующего количества вещей и услуг. Эксперимент Оуэна с треском провалился (его банк просуществовал всего две недели), так же, как и «ateliers sociaux» Луи Блана, введенные во Франции во время революции 1848 года. Но русские радикально настроенные интеллектуалы вновь неустрашимо ступали на тот же путь.

Уничтожение денег было поставлено целью в программе Коммунистической партии, принятой в мае 1919 года. Здесь говорилось, что, хотя уничтожение денег пока не представляется осуществимым, партия будет всемерно к этому стремиться: «По мере организации планомерного общественного хозяйства это приведет к уничтожению банка и превращению его в центральную бухгалтерию коммунистического общества»[37]. Соответственно, советский нарком финансов объявил свою должность ненужной: «В социалистическом обществе не должно быть финансов, и поэтому я должен извиниться, что говорю на эту тему». [Katzenellenbaum S.S. Russian Currency and Banking. 1914–1924. Lnd., 1925. P. 98. В свете этих фактов вряд ли можно согласиться с Карром (Revolution. V. 2. P. 246–247, 261) в том, что финансовая политика большевиков, приведшая к полному обесцениванию российских денег, не была спланирована сознательно, а явилась лишь реакцией на чрезвычайные обстоятельства.].

Результатом такой политики стало нарастающее обесценивание русских денег, превратившее их в конце концов в «раскрашенные бумажки». Инфляция, происходившая в советской России в 1918–1922 годах,

превзошла, пожалуй, даже более широко известную инфляцию, которую предстояло в скором времени пережить Веймарской республике. Она была организована вполне сознательно и стала следствием наводнения страны таким количеством бумажных денег, которое только были способны произвести печатные станки.

К моменту, когда большевики взяли власть в Петрограде, в России находилось в обращении всего 19,6 млрд. рублей[38]. Основную массу этих денег составляли царские рубли, известные в народе как «николаевки». Еще были бумажные рубли, выпущенные Временным правительством, — так называемые «керенки», или «думки». Это были просто талоны, напечатанные на одной стороне листа, не имевшие ни серийного номера, ни подписи или фамилии того, кто их выпустил, — на них обозначалось только достоинство купюры в рублях и предупреждение о наказании за подделку. В 1917-м и в начале 1918 года «керенки» имели хождение по курсу, несколько уступавшему курсу царского рубля. После того как большевики захватили Государственный банк и казну, они продолжали выпускать «керенки», не внося в них никаких изменений. В течение первых полутора лет (вплоть до февраля 1919 года) большевистское правительство не печатало собственных денежных знаков, удивительным образом не пользуясь традиционным правом независимой власти выпускать собственную валюту. Это можно объяснить только опасением, что население (в особенности крестьяне) откажется принимать эти деньги. Поскольку после октября 1917 года перестала действовать налоговая система, а поступлений в государственный бюджет из других источников далеко не хватало для

удовлетворения запросов правительства, большевики вынуждены были всецело положиться на печатный станок. В первой половине 1918 года Народный банк выпускал каждый месяц от 2 до 3 млрд. рублей, не имевших вообще никого обеспечения. [Удивительно, как мало внимания обращали на эту безответственную финансовую политику представители деловых кругов и рыночной экономики, с какой готовностью они приспособились к большевизму. Как можно заключить из газет того времени (Наш век. 1918. 27 июля. № 102(126). С. 3), в июне 1918 г. в России можно было купить валюту США по цене 12 руб. 80 коп. за доллар, то есть по такому же курсу, как в начале ноября 1917 г.]. В октябре 1918 года Совнарком поднял ограничение на выпуск необеспеченных банкнот с 16,5 млрд. рублей (потолок, установленный еще Временным правительством, который с тех пор все время превышали) до 33,5 млрд.[39].

В январе 1919 года в советской России в обращении находились 61,3 млрд. рублей, две трети из которых составляли «керенки», выпущенные большевиками. В следующем месяце правительство выпустило первые советские деньги, которые назывались «расчетными знаками РСФСР». [По данным Каценеленбаума, первые советские купюры были выпущены в середине 1918 г. в Пензе (Russian Currency. P. 81).]. Эти купюры циркулировали наряду с «николаевками» и «керенками», но по гораздо более низкому курсу, чем последние.

В начале 1919 года инфляция, уже чрезвычайно сильная, все-таки не достигла еще тех гротескных масштабов, которые ей предстояло обрести в ближайшем будущем. В сравнении с 1917 годом индекс цен вырос в 15 раз. Если принять уровень цен 1913 года за 100, то к

октябрю 1917-го он поднялся до 755, к октябрю 1918-го — до 10 200, а к октябрю — до 92 300[40].

После этого запруду прорвало. 15 мая 1919 года Народный банк получил распоряжение выпускать денег столько, сколько требует хозяйство страны[41]. С этого момента печатание «крашеной бумаги» становится самой мощной и, пожалуй, единственной развивающейся отраслью советской промышленности. К концу года на монетном дворе было занято 13 616 рабочих[42]. Единственное, что ограничивало выпуск денег, это нехватка бумаги и красок, которые закупались для этой цели правительством за границей за золото[43]. Но и при наличии материалов типографские станки не справлялись с необходимым объемом работ. Как заявлял Осинский, во второй половине 1919 года на «казначейские операции» — то есть на печатание денег — уходило от 45 до 60 % бюджетных поступлений. Это был для него веский довод в пользу скорейшего уничтожения денег — меры, необходимой якобы для балансирования бюджета[44]! В течение 1919 года количество бумажных денег, находившихся в обращении, выросло примерно в четыре раза (от 61,3 до 225 млрд. рублей). В 1920 году оно увеличилось еще в пять раз (до 1,2 трлн.), а в 1921-м — еще удвоилось (2,3 трлн. рублей)[45].

К этому времени советские деньги обесценились со всех точек зрения: покупательная способность 50-тысячной банкноты была равна покупательной способности довоенной монеты в одну копейку[46]. Единственной еще ценившейся купюрой был царский рубль, но, поскольку их припрятывали, в обращении их практически не было[47]. Однако людям нужны были

какие-то единицы измерения ценностей, и взамен денег они выработали эквиваленты, наиболее распространенными их которых стали хлеб и соль[48]. Как показывают приводимые ниже таблицы, инфляция в стране достигла поистине астрономических масштабов:

Реальная ценность русских денег, находившихся в обращении (млрд. руб.)[49]

на 1 ноября 1917 г.	1919
на 1 января 1918 г.	1332
на 1 января 1919 г.	379
на 1 января 1920 г.	93
на 1 января 1921 г.	70
на 1 июля 1921 г.	29

Рост уровня цен в России в 1913–1923 гг.[50](на 1 октября)

1913	1,0
1917	7,55
1918	102
1919	923
1920	9620
1921	81900

1922	7 340 000
1923	648 230 000

Как было отмечено в одном труде по экономической истории, «с 1 января 1917 г. по 1 января 1923 г. количество денег в России увеличилось в 200 000 раз, а цены на товары выросли в 10 миллионов раз»[51]. В действительности цены выросли в 100 млн. раз.

Левые коммунисты торжествовали. На X съезде партии, проходившем в марте 1921 года, когда инфляция уже почти достигла апогея, Преображенский хвастал, что в то время как ассигнации, выпущенные во время Французской революции, обесценивались максимум в 500 раз, советский рубль уже упал до 1/20000 своей первоначальной стоимости: «Значит, мы в сорок раз перегнали французскую революцию»[52]. Приняв более серьезный тон, Преображенский заявил, что массовая инфляция, вызванная правительственной политикой печатания денег без всяких ограничений, способствовала изъятию продовольствия и других продуктов у крестьян: это было формой косвенного налогообложения, благодаря которому удавалось в течение трех лет поддерживать большевистскую революцию[53]. На XI партийном съезде выступавший по финансовым вопросам Г.Я.Сокольников с удивлением констатировал, что ему довелось сделать первый за всю историю съездов развернутый доклад на эту тему. До сих пор, сказал он, деньги и финансовая политика рассматривались как то, с чем надо покончить, а средством достижения этой цели была сознательно наращиваемая инфляция[54].

Специалисты по экономической истории давно предупреждали, что деньги являются неотъемлемым элементом всякой, а не только «капиталистической» экономической деятельности. Макс Вебер писал: «Допущение, что можно «найти» какую-то расчетную систему, если решительно взяться за дело построения безденежной экономики, совершенно безосновательно. Это — фундаментальная проблема всякой полной социализации». Нельзя говорить о *рационально* «планируемой экономике», если у вас нет ответа именно на этот вопрос, ибо он относится к средствам рационального «планирования»». [Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 1. Tubingen, 1947. Pt. 1. Ch. 2. S. 12. Эта критика была направлена против Отто Нойрата, считавшего, что ему удалось выработать систему расчетов, в которых не фигурируют деньги.]. Петр Струве доказывал, как до революции, так и после, что, поскольку экономическая деятельность означает стремление к наибольшей прибыли при наименьших затратах, в ней должна обязательно присутствовать некоторая расчетная единица, то есть «деньги», — как бы они ни назывались и какую бы ни принимали физическую форму. Деньги нельзя отменить. Когда правительство пытается лишить деньги естественных функций, результатом становится расколотый рынок — регулируемый в одной своей части и свободный в другой[55].

Теперь большевики на собственном опыте убедились в верности этих наблюдений. Трудность, которую не смогли предвидеть сторонники безденежной экономики и которая в конечном счете привела к провалу их начинания, заключалась в том, что им не удалось выработать метод взаимных расчетов между

национализированными предприятиями и другими государственными учреждениями. Декретом от 30 августа 1918 года[56] советским учреждениям было предписано сдавать имеющуюся у них наличность в Народный банк, оставляя себе ровно столько, сколько требовалось на текущие расходы. Произведенную продукцию они должны были передавать в ведение соответствующих органов (главков) Высшего совета народного хозяйства (его роль мы еще обсудим), получая взамен оборудование и материалы. Операции надлежало производить с помощью учетной документации без каких-либо денежных расчетов. Но эта система, очевидно, не срабатывала, ибо в следующем году были изданы дополнительные декреты, содержавшие скрупулезные разъяснения процедур безденежных расчетов между национализированными предприятиями, а также между этими предприятиями и государственными ведомствами[57]. Как утверждал Осинский, чиновники с самого начала саботировали декреты, регулирующие финансовые взаимоотношения советских предприятий и организаций. Признать, что недееспособной была сама система, он, конечно, не мог[58].

Но ни Осинский, ни другие горячие головы в правительстве не были обескуражены. В феврале 1920 года Ларин и его единомышленники подготовили проект резолюции предстоящего съезда Советов, провозглашавшей официальную отмену денег. Ленин в принципе согласился, но хотел обсудить этот вопрос[59]. Год спустя (3 февраля 1921 г.) был полностью подготовлен декрет, который, будь он подписан, создал бы в истории прецедент отмены налогов[60]. Но ему не суждено было увидеть свет, потому что уже в следующем месяце, в связи с переходом к новой экономической

политике, правительство хотя и продолжало наращивать выпуск денег, но одновременно предприняло шаги, направленные на возрождение финансовой ответственности.

* * *

Как мы уже отмечали, после взятия власти в Петрограде Ленин не собирался экспроприировать российскую промышленность. Хотя он был склонен недооценивать сложности управления производством, но в то же время достаточно трезво понимал, что партия, состоящая из профессиональных революционеров, не сможет самостоятельно справиться с этим делом. В результате политического давления он вынужден был отказаться от своей излюбленной идеи «государственного капитализма», но, тем не менее, пребывал в твердом убеждении, что хозяйство страны необходимо подчинить единому плану. Вот как определял он в марте 1918 года задачи, стоящие перед правительством: «организация учета, контроль над крупнейшими предприятиями, превращение всего государственного экономического механизма в единую крупную машину, в хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководились одним планом»[61]. С этим был согласен и Троцкий: «Социалистическая организация хозяйства начинается с ликвидации рынка, а стало быть — и с упразднения его регулятора, т. е. «свободной» игры законов спроса и предложения. Необходимый результат — соответствие производства потребностям общества —

должен достигаться *единством хозяйственного плана,* который в принципе охватывает все отрасли производства»[62].

По предложению Ленина Ларин подготовил проект создания центрального административного планирующего органа, который должен был направлять экономическое развитие России. После некоторых доработок проект был утвержден декретом от 2 декабря 1917 года. Так был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ)[63]. Этот орган, в 1921 году переименованный в Государственный плановый комитет (Госплан), обладал такой же монополией в хозяйственной жизни страны (по крайней мере, теоретически), какой в сфере политики обладала Коммунистическая партия. Мы говорим «теоретически», ибо существование частного сектора в сельском хозяйстве и огромного, разраставшегося черного рынка так и не позволило ВСНХ даже приблизиться к осуществлению контроля над всей хозяйственной жизнью Советской России. ВСНХ, подчинявшийся непосредственно Совнаркому, был призван «организовать народное хозяйство и государственные финансы». Он должен был подготовить и провести в жизнь генеральный план и получил полномочия для национализации и синдицирования всех отраслей производства, распределения и финансов. По свидетельству Троцкого, первоначальный замысел заключался в том, чтобы объединить в рамках ВСНХ народные комиссариаты продовольствия, земледелия, путей сообщения, финансов и внешней торговли[64]. В дальнейшем этот орган должен был взять на себя руководство экономическими отделами местных Советов, а там, где таких отделов нет, создавать свои отделения.

ВСНХ был задуман как воплощение «Генерального картеля» Хильфердинга в конкретных условиях социалистической экономики[65]. Но действительность оказалась куда скромнее.

Руководство ВСНХ Ленин поручил А. И. Рыкову, которого один из его знакомых описывал как «добродушного русского интеллигента», чем-то напоминавшего «провинциального врача». Другим он казался похожим на «захолустного земского агронома или статистика»[66]. Без сомнения, у него не было ни личных качеств, ни знаний и опыта, необходимых для того, чтобы перестроить сверху донизу всю российскую экономику[67]. Рыков родился в крестьянской семье, получил поверхностное образование, а затем целиком посвятил себя революционной деятельности, работая с Лениным, которому был фанатично предан. Всегда непричесанный, неряшливо одетый, он говорил мало и медленно, чем завоевал себе репутацию волевого человека, но, будучи поставлен перед необходимостью принимать решения, оказался совершенно беспомощным. Отсутствие административных талантов сделало стоявшую перед ним и без того трудную задачу просто невыполнимой.

Настоящим вдохновителем работы ВСНХ — «Сен-Жюстом российской экономики» — был Юрий Ларин. Этот полупарализованный, страдавший страшными болями инвалид, мало известный даже специалистам, может по праву считаться автором уникального в истории достижения: вряд ли кому-нибудь еще удавалось за невероятно короткий срок в тридцать месяцев пустить под откос экономику великой державы. Ларин имел огромное влияние на Ленина, который в

первые два с половиной года своей диктатуры из всех мнений экономических советников более всего прислушивался к его мнению. Ларин всегда был готов предложить быстрое и радикальное решение по сложным вопросам и благодаря этому завоевал репутацию «мага» от экономики. Его кабинет, находившийся в номере гостиницы «Метрополь», был местом паломничества, куда со всей России сходились люди с самыми фантастическими экономическими проектами. Все эти предложения рассматривались, иные весьма серьезно, некоторые из них принимались. Лишь в начале 1920 года Ленин разочаровался в своем советнике и удалил его из президиума ВСНХ, где тот, благодаря своим идеям и личным качествам, играл до этого времени ведущую роль. [Ленин. Хроника. Т. 8. С. 243, 267. Большинство специалистов, занимавшихся в этот период экономическим планированием, позднее попали в немилость у Сталина и были расстреляны. Ларину, жертве перенесенного в детстве полиомиелита, посчастливилось умереть своей смертью в 1932 году.].

Настоящее имя Ларина было Михаил Александрович Лурье. Он родился в 1882 году в Крыму, в интеллигентной еврейской семье. Как вспоминал он сам, его детство прошло в «оппозиционной атмосфере»[68]. В восемнадцать лет он вступил в радикальную организацию и с тех пор вел типичную жизнь русского революционера: занимался подпольной работой, создавал нелегальные рабочие объединения, отбывал сроки в тюрьмах и ссылках. По своим политическим взглядам он примыкал к меньшевикам. Высшего образования не получил, а экономические знания почерпнул в основном из газет, толстых журналов и радикальных брошюр. Во время войны он занялся

журналистикой и писал из Стокгольма о событиях, происходивших в Германии, для либеральной газеты «Русские ведомости». Статьи его, выражавшие восхищение немецким «военным социализмом», были довольно популярны. После революции они вышли отдельной книгой[69]. Весной 1917 года он работал в Петроградском Совете, а в сентябре примкнул к большевикам[70]. В первые месяцы большевистской диктатуры он подготовил ряд важных декретов; некоторые из них были приняты. То, что в советской России был учрежден Высший совет народного хозяйства, развернуто экономическое планирование, национализирована промышленность, что правительство заявило об отказе от внешних долгов и взяло курс на отмену денег, — все это было во многом заслугой Ларина.

Для работы в ВСНХ были привлечены не только большевики. Здесь нашли для себя дело интеллектуалы из других партий, главным образом меньшевики, и независимые специалисты. Деятельность этого органа не требовала от сотрудников определенности политических убеждений, поэтому многие работавшие здесь противники режима могли считать, что они служат народу. В кратчайшее время ВСНХ вырос в гигантскую бюрократическую гидру. Его головной орган находился в Москве, на Мясницкой, в огромном здании бывшей второсортной гостиницы, а щупальца протянулись по всей стране. Через десять месяцев после создания (в сентябре 1918 г.) в ВСНХ работало уже 6000 чиновников, ежедневная заработная плата которых составляла 200 тыс. рублей[71]. Такое количество сотрудников и такой бюджет, быть может, и не были чрезмерны, когда бы эта организация выполняла поставленную перед ней задачу,

то есть руководила экономикой страны. Но в действительности она занималась исключительно изданием приказов, которые никто не выполнял, и насаждением бюрократических структур, в которых никто не нуждался.

Никогда и ни в какой мере ВСНХ не был «организатором народного хозяйства и государственных финансов». И не только из-за наличия огромного неподконтрольного ему частного сектора. Он даже не приступил к решению задачи распределения продовольствия и других потребительских товаров, уступив эти функции наркомату продовольствия. Реально ВСНХ сделался органом, который управлял — точнее, пытался управлять — национализированными отраслями советской промышленности, иначе говоря, стал наркоматом промышленности, действовавшим под другим названием.

К национализации промышленных предприятий большевики приступили вскоре после Октября. Как правило, основанием для этого служили обвинения владельцев и руководства в «саботаже». В этих случаях предприятие передавалось в руки фабричного комитета. Иногда — это относилось, например, к текстильным фабрикам, принадлежавшим А.И.Коновалову, бывшему министру Временного правительства, — реальным мотивом экспроприации была политическая вендетта. Кульминационной точкой этой фазы спонтанной, не имевшей никакого плана национализации была экспроприация в декабре 1917 года Путиловского завода. Большинство таких акций производилось без соответствующих распоряжений из центра, по инициативе местных властей — вначале Советов, а затем региональных отделений ВСНХ. Как показала проверка,

проведенная в августе 1918 года, из 567 национализированных и 214 реквизированных предприятий лишь пятая часть была отнята у прежних владельцев по прямому приказу из Москвы[72].

Начало систематической национализации было положено декретом от 28 июня 1918 года[73]. Инициатором его был Ларин. Побывав на торговых переговорах в Берлине, он пришел к выводу, что немцы намерены установить контроль над основными отраслями советской промышленности. Подписав Брест-Литовский договор, большевики согласились предоставить законодательные льготы гражданам и фирмам государств, входивших в Четверной союз, разрешив им владеть имуществом и заниматься предпринимательской деятельностью на территории России. Иностранцам — владельцам национализированного имущества должна была выплачиваться компенсация. Это давало русским возможность продавать предприятия немцам, которые могли оставаться их владельцами или требовать компенсации. Ларин убедил Ленина, что только полная и решительная национализация помешает немцам стать хозяевами российской промышленности[74]. Если Ленин и колебался, то лишь из опасений вызвать этим нежелательную реакцию Германии. Как мы знаем со слов Ларина, многие большевики боялись, что национализация может заставить немцев разорвать с советской Россией дипломатические отношения и объявить «крестовый поход» против большевизма. Однако страхи эти оказались напрасными. Заявив, что декрет о национализации «нелоялен», немцы «все же подчинились, признали национализацию всей промышленности и войны из-за этого не начали»[75]. В конце концов, немцам ведь была гарантирована

компенсация, а страны Согласия не получали за национализированное имущество ничего.

Декретом от 28 июня предписывалась национализация всех промышленных предприятий и железных дорог с капиталом в 1 млн. рублей и более, принадлежавших корпорациям и компаниям, без всякого возмещения убытков. Исключение составляли кооперативы. Оборудование и другое имущество национализированных предприятий передавалось государству. Руководителям предприятий надлежало оставаться на местах и продолжать исполнять свои обязанности под угрозой суровых наказаний.

Процесс национализации пошел семимильными шагами, и к осени 1920 года в ведении ВСНХ было 37 226 предприятий, на которых работало 2 млн. человек. Почти половина этих предприятий не имели никакого механического оборудования, а в 13,9 % случаев на них был занят только один рабочий. Однако реально ВСНХ руководил небольшой частью подведомственных ему предприятий (по одной из оценок, их было 4547), остальные принадлежали государству лишь номинально[76]. В ноябре 1920 года вышел дополнительный правительственный декрет, которым была объявлена национализация большинства малых предприятий[77]. В начале 1921 года на бумаге государство владело и распоряжалось практически всей российской промышленностью — от небольших мастерских, где было занято по одному человеку, до гигантских заводов. В действительности оно контролировало лишь малую их часть, а непосредственно руководило еще меньшей. [Не очень ясна структура оборонной промышленности. В августе 1918 г. ВСНХ учредил Чрезвычайную комиссию

по снабжению Красной Армии. Эта комиссия, которую возглавил Красин, получала от военных и передавала промышленности заказы, исполнение которых было обязательным. Со временем ответственность за снабжение вооруженных сил перешла к Совету обороны.].

Высший совет народного хозяйства, этот, как его называли, «трест трестов»[78], породил громоздкую бюрократическую машину, во главе которой стоял Президиум. Система имела вертикальные (функциональные) и горизонтальные (территориальные) членения. Вертикальными подразделениями были «тресты», которые назывались главками или центрами. В конце 1920 года их насчитывалось 42. Каждый работал под руководством своего совета и управлял какой-либо отраслью. У них были мелодичные акронимы: Главлак, Главсоль, Главбум и т. д., которые указывали на их связь с производством, соответственно, красок, соли или бумаги[79]. Как признался позднее Ларин, имевший непосредственное отношение к разработке структуры и функций аппарата ВСНХ, идею он позаимствовал за рубежом: «Я взял немецкие «Кригсгезельшафтен» (центры регуляции индустрии в военное время), перевел их на русский язык, влил в них рабочий дух и под именем главков пустил в оборот»[80]. В дополнение к главкам в ВСНХ имелась также сеть местных отделений. В 1920 году их было 1400[81]. Организационная структура ВСНХ напоминала карту звездного неба, где Президиум-солнце окружен, словно планетами и их спутниками, центрами, главками и региональными отделениями[82].

За границей этот размах «социалистического строительства» произвел огромное впечатление.

Советская пропаганда вовсю расписывала на Западе «рационализацию» советской промышленности, осуществляемую под великодушным и всевидящим оком правительства. Диаграммы и схемы, изображающие процесс управления российской индустрией, вызывали восхищение у многих на Западе, старавшемся как-то справиться с хаосом послевоенного мира. Однако в самой России — в выходивших здесь газетах и журналах, в выступлениях на партийных съездах — складывалась совсем иная картина. Все разговоры об экономическом планировании оказывались пустым звуком: шел уже 1921 год, когда Троцкий заявил, что не существует никакого централизованного экономического плана, а «централизация» охватывает в лучшем случае 5-10 % хозяйства страны[83]. В статье в «Правде», опубликованной в конце 1920 года, было прямо сказано: «хозяйственного плана нет»[84]. Главки ВСНХ не имели ни малейшего представления о состоянии тех отраслей промышленности, за которые они несли прямую ответственность: «Ни один главк и центр не обладает достаточными и исчерпывающими данными, которые позволили бы подойти к действительному регулированию промышленности и производства страны. Десятки организаций параллельно друг другу ведут одну и ту же работу по собиранию однородных сведений и в результате собирают совершенно разнородные данные… Учет ведется неточный, причем иногда до 80–90 % учитываемых предметов ускользает из-под контроля соответственной организации. Неучтенные предметы и изделия становятся объектом дикой и безудержной спекуляции, переходя десятки раз из рук в руки, пока дойдут до потребителя»[85].

Что касается региональных отделений, то у них возникали постоянные трения с органами центрального управления в Москве[86].

В целом, по свидетельствам современников, ВСНХ предстает как чудовищная и беспорядочная бюрократическая организация, которая, вместо того чтобы руководить экономикой, скорее мешала хозяйствовать, и чьей основной функцией было обеспечение занятием тысяч работников умственного труда. В начале 1920 года в региональных отделениях ВСНХ и экономических отделах местных Советов работало около 25 тыс. человек[87], главным образом интеллигенция. Ярким примером искусственного раздувания аппарата был Бензиновый трест (Главанил), в штате которого числилось 50 человек, управлявших единственным подведомственным предприятием, где трудилось 150 рабочих. [Литвинов // Правда. 1920. 21 нояб. Профессор Шейберт (Scheibert P. Lenin an der Macht. Weinheim, 1984. S. 240) ошибочно расшифровывает акроним Главанил как «Ванильный трест».]. Красочное описание типов, находивших себе работу в ВСНХ оставил один из служивших там чиновников. Процитируем его подробно, ибо картина эта весьма характерна и для других органов коммунистического правительства:

«Низшие должности были по преимуществу заняты многочисленными барышнями и молодыми людьми из бывших бухгалтеров, приказчиков, конторщиков или из студентов, гимназистов, «экстернов». Всю эту армию молодежи привлекало на службу сравнительно высокое вознаграждение и очень малое количество работы, приходящейся на долю каждого. Все они по целым дням

слонялись по многочисленным коридорам громадного дома, флиртовали, бегали покупать в складчину халву и орехи, распределяли между собою добытые кем-либо из них билеты в театр или мясные консервы и, в качестве рефрена к этим деловым занятиям, ругательски ругали большевиков…

Следующая по многочисленности категория состояла из бывших министерских чиновников еще царского режима. Этих побуждала идти на советскую службу или материальная необходимость, или, не менее часто, — тоска по привычному делу, съевшему не один десяток лет жизни почти каждого из них. Нужно было видеть, с какою страстью накидывались они на «исходящие» и «входящие» или на «отзывы» и «отношения», на «докладные записки» и прочую канцелярскую премудрость, чтобы понять, что без этой бумажной атмосферы им гораздо труднее жить, чем без хлеба и сапог. Эти старались служить добросовестно, приходили первыми, уходили последними, как прикованные сидели на своих стульях, — но, может быть, именно благодаря такой добросовестности из их работы ничего, кроме невообразимой чепухи, не получалось, ибо беспорядочность и стремительность действий высших органов путала всю их любовно-кропотливую пряжу «входящих» и «отношений»…

Наконец, большая часть средних служащих и часть высших, не принадлежавшая к коммунистам, состояла из интеллигентов разных типов. Были здесь, так сказать, романтические натуры, которым в службе в одной из вражеских цитаделей чудился запах какой-то острой авантюры; были люди беспринципные, которым все на свете безразлично, кроме собственного благополучия, и просто темные фигуры, стремившиеся примазаться к

большевистскому хаосу для того, чтобы под покровом его тьмы и бестолочи грабить сколько влезет; были и люди другого сорта: специалисты, надеявшиеся спасти дорогое им дело, или те, кто подобно мне отправился «смягчать режим»»[88]. Так воплотилась заветная идея Ленина о «превращении всего государственного механизма в единую крупную машину», работающую по «одному плану».

Несколько более успешной была борьба большевиков с анархией на производстве, возникшей в результате распространения рабочего контроля. Синдикалистская политика, которой большевики придерживались в течение короткого времени до и после октября 1917 года, имела целью переманить на их сторону рабочих, шедших за меньшевиками, и помогла большевикам завоевать большинство в фабричных комитетах. После подписания Брестского договора было решено вернуться в управлении промышленными предприятиями к традиционным методам единоначалия, привлекая для этого «буржуазных специалистов». Троцкий говорил об этом в марте, а Ленин — в мае 1918 года[89]. Действительно, многие из прежних владельцев и управляющих заводами и фабриками не покинули свои предприятия, а декрет от 28 июня 1918 года запретил им это делать. В ВСНХ таких людей работало тоже немало. Как отмечал осенью 1919 года один посетивший Москву сибиряк, «во главе многих центров и главков стоят бывшие предприниматели, ответственные сотрудники и руководители предприятий, и неподготовленный посетитель, лично знавший прежний торгово-промышленный мир, был бы поражен, увидев в Главкоже бывших владельцев кожевенных заводов, в

центротекстильном учреждении — крупных мануфактуристов и т. д.»[90]

Но настойчивые призывы Ленина и Троцкого использовать опыт «буржуазных специалистов» натолкнулись на сопротивление левых коммунистов, профсоюзных деятелей и фабричных комитетов. Их обижало, что прежняя «капиталистическая» элита получала, благодаря своим знаниям и опыту, власть и привилегии в системе советского производства. Поэтому они всячески унижали и запугивали «спецов»[91].

Вплоть до окончания гражданской войны правительство сталкивалось с огромными трудностями, пытаясь ввести принцип единоначалия на производстве. В 1919 году управление строилось по этому принципу лишь на 10,8 % предприятий. Но в 1920–1921 годы в этом направлении были предприняты решительные действия, и к концу 1921 года уже 90,7 % предприятий работало в условиях единоначального руководства[92]. Однако и после этого раздавались голоса в защиту «коллегиального» управления. Главный довод его сторонников состоял в том, что единоначалие отчуждает рабочих от власти и позволяет «капиталистам», под маркой служения государству, удерживать контроль над экспроприированными заводами и фабриками[93]. Вскоре этот аргумент был взят на вооружение Рабочей оппозицией и зазвучал в масштабах всей страны.

* * *

В области промышленного производства главная экономическая задача правительства в период военного коммунизма заключалась, несомненно, в том, чтобы поднять производительность труда. Однако, как показывают статистические данные, результат проводившейся коммунистами политики оказывался совершенно обратным. Производительность не просто уменьшилась, — она стремительно упала до такой отметки, что, если бы этот процесс шел дальше теми же темпами, к середине 1920-х годов в советской России не осталось бы вообще никакой промышленности. Эта тенденция прослеживается по различным показателям.

Динамика падения уровня производства в российской промышленности (%) [Крицман. Героический период. С. 162. Цифры, приведенные в сборнике «Народное хозяйство СССР в 1958 году» (М., 1959), показывают, что общая производительность промышленности упала к 1921 г. по сравнению с 1913 г. на 69 %, а по тяжелым отраслям — на 79 %.].

1913	100
1917	77
1919	26
1920	18

Уровень промышленного производства в России по некоторым отраслям в 1920 г. в сравнении с 1913 г.[94]**(%; 1913 г.-100 %)**

Уголь	27,0
Чугун	2,4
Хлопчатобумажная пряжа	5,1
Нефть	42,7

Динамика падения производительности труда одного рабочего в России[95] (%)

1913	100
1917	85
1918	44
1919	22
1920	26

Динамика падения числа занятых в промышленности рабочих [Aluf A. Цит. по: Волин С. Деятельность меньшевиков в профсоюзах при советской власти // Inter-University Project on the History on The Menshevik Movement. Paper № 13. N.Y., 1962. P. 87. К 1918 г., который здесь принят за 100 %, численность рабочих, занятых в промышленности, значительно снизилась по сравнению с 1913–1914 гг.].

1918	100

1919	82
1920	77
1921	49

Таким образом, в период военного коммунизма российский «пролетариат» сократился наполовину, выпуск индустриальной продукции — на три четверти, а производительность в промышленности — на 70 %. Обозревая последствия этого крушения, Ленин в 1921 году восклицал: «Что называется пролетариатом? Это класс, который занят работой в крупной промышленности. А крупная промышленность где? Какой это пролетариат? Где ваша [sic!] промышленность? Почему она стоит?»[96] Ответ на эти риторические вопросы заключался в том, что утопические программы, которые проводились в жизнь с одобрения Ленина, привели к практически полному развалу российской промышленности и истреблению в России рабочего класса. Однако в течение всего этого периода деиндустриализации расходы на содержание хозяйственной бюрократии росли головокружительными темпами. К 1921 году они поглощали 75,1 % бюджета. Что касается Высшего совета народного хозяйства — органа, непосредственно руководившего советской промышленностью, — то его штаты выросли за это время в 100 раз. [Бурышкин. Экон. вести. 1923. № 2. С. 141. Для ВСНХ даны следующие цифры: в марте 1918 г. — 318 работников, а в 1921 г. — 30 000.].

* * *

Спад производства в сельском хозяйстве был менее резким, но из-за того, что излишки продовольствия были невелики, он имел гораздо более тяжелые последствия для населения.

Большевистское правительство видело в крестьянстве классового врага и вело против него войну с помощью регулярных частей Красной Армии и отрядов вооруженных головорезов. Ввиду упорного сопротивления крестьянства программу 1918 года — удушение всякой частной торговли сельскохозяйственными продуктами — пришлось скорректировать. В 1919 и 1920 годы правительство использовало различные способы, чтобы отобрать у крестьян продовольствие: принудительные поставки, прямой обмен продуктов на промышленные товары, наконец, закупки по более или менее реальным ценам.

В 1919 году было разрешено реализовать ограниченное количество продуктов питания на свободном рынке. Молочные продукты, мясо, фрукты, большинство овощей и дикорастущие растения — все это в течение какого-то времени можно было продавать бесконтрольно, но затем государство стало регулировать и их продажу.

Проводя по отношению к крестьянству политику кнута и пряника, правительство ухитрялось как-то накормить крупные города, индустриальные центры, не говоря уж об армии. Но в будущем перспектива вырисовывалась довольно мрачная, ибо крестьянин, не

заинтересованный в том, чтобы выращивать больше, чем нужно ему самому, сокращал посевные площади. В районах, где традиционно выращивали зерновые культуры, посевные площади сократились с 1913-го по 1920 год на 12,5 %[97]. Впрочем, по этой цифре трудно судить о реальном снижении производства хлеба. Дело в том, что три четверти урожая крестьяне потребляли сами и оставляли как семейной фонд. Поэтому снижение посевных площадей на 12,5 % означало, что количество зерна, шедшего городскому населению, сокращалось вдвое. А кроме того, на оставшихся под посевом землях урожайность все время падала, в частности из-за нехватки лошадей, четвертая часть которых была реквизирована для нужд армии. Урожай, снимаемый с одного га в 1920 году, составлял 70 % от того, что снимали с той же площади перед войной[98]. Если учесть сокращение посевных площадей на 12,5 % и снижение урожайности на 30 %, получится, что производство зерна составляло лишь 60 % от довоенного. Как видно, из статистических данных, сообщаемых советским экономистом, эти выкладки соответствуют действительности:

Производство зерновых в центральной России[99] (млн. тонн)

1913	78,2
1917	69,1
1920	48,2

В такой ситуации достаточно было испортиться погоде, чтобы в стране наступил голод. При коммунистическом правлении в сельском хозяйстве не стало излишков, поэтому, случись неурожай, бороться с его последствиями было бы нечем. Осенью 1920 года, когда коммунистические газеты стали предупреждать о наступлении нового врага — засухи, перспектива катастрофы стала обретать черты реальности[100].

Настоящий, азиатский голод, грозивший унести миллионы человеческих жизней, голод, которого ни Россия, ни остальная Европа до сих пор просто не знали, был еще впереди. А пока страна находилась в состоянии перманентной нехватки продовольствия, постоянного изнурительного недоедания, лишавшего сил, возможности работать, желания жить. Один из ведущих большевистских экономистов, анализируя в 1920 году спад производства в промышленности, усматривал его главную причину в нехватке продовольствия. По его расчетам в период с 1908 по 1916 год русский рабочий потреблял ежедневно в среднем 3820 калорий, а в 1919 году эта цифра снизилась до 2680. Для выполнения тяжелого ручного труда этого было явно недостаточно. 30-процентное снижение калорийности питания стало, по его мнению, основной причиной уменьшения производительности труда рабочих в больших городах[101]. Конечно, это был упрощенный подход, но он указывал на вполне реальную проблему. Как писал другой советский специалист, по дореволюционным критериям потребление 180–200 кг хлеба в год означало недоедание, следовательно, в 1919–1920 годах советские рабочие в северных регионах, потреблявшие 134 кг хлеба, просто голодали[102]. То, что в этот период в больших городах России не разразился настоящий голод,

было чистой случайностью, ибо, когда это уже почти произошло, большевики выиграли гражданскую войну и овладели Сибирью, Северным Кавказом и Украиной, где в условиях, свободных от коммунистической диктатуры, скопились богатые запасы зерна.

* * *

Как говорил Троцкий, «социалистическая организация экономики начинается с ликвидации рынка». В самом деле, для последовательного марксиста рынок, — эта арена обмена товарами, — является сердцем капитализма, так же как деньги являются его кровью. Капиталистическая экономика не может функционировать без рынка. Поэтому удушение свободного обмена продуктами и услугами стало стержнем экономической политики большевиков. Национализация рынка и централизация распределения вовсе не были, как это нередко ошибочно утверждают, реакцией на нехватку товаров, возникшую в результате революции и гражданской войны. Дефицит был создан системой сознательных действий, направленных против врага-капиталиста.

Чтобы уничтожить свободный обмен товарами, большевики пошли на чрезвычайные меры. Их намерения изложены в партийной программе, принятой в 1919 году. «В области распределения, — говорилось там, — задача Советской власти в настоящее время состоит в том, чтобы неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным в общегосударственном

масштабе распределением продуктов. Целью является организация всего населения в единую сеть потребительских коммун, способных с наибольшей быстротой, планомерностью, экономией и с наименьшей затратой труда распределять все необходимые продукты, строго централизуя весь распределительный аппарат».

Преследуя эту цель, большевики прибегали к различным средствам, включая конфискацию средств производства любых продуктов, кроме продовольственных, принудительные реквизиции продовольствия и других товаров, введение государственной монополии в торговле и, наконец, ликвидацию денег как менового эквивалента. Товары среди населения распределялись по карточкам вначале (в 1918–1919 годы) по номинальным ценам, а затем (в 1920-м) — бесплатно. Жилье, коммунальные услуги, транспорт, образование и увеселения были также изъяты из сферы рыночных отношений и в конце концов стали бесплатными.

В то время как производство промышленных товаров находилось в ведении ВСНХ, ответственность за распределение была возложена на комиссариат по продовольствию — еще одну бюрократическую империю со множеством собственных главков и сетью органов распределения. Возглавлял это ведомство А.Д.Цюрупа. (Его опыт организационной деятельности был невелик: до революции он служил управляющим в частном имении.) Наркомат по продовольствию был весьма дорогостоящим учреждением. Его первой и важнейшей задачей было получение и распределение продовольствия, добытого государством путем закупок, обменных операций или насильственных реквизиций. Предполагалось также, что этот наркомат станет

получать для заключения бартерных сделок потребительские товары, изготовленные на национализированных предприятиях или рабочими-надомниками. Решая задачи распределения, наркомпрод опирался отчасти на свою собственную сеть государственных магазинов, но главным образом на потребительские кооперативы, возникшие еще до революции и с некоторой неохотой сохраненные затем большевиками, прогнавшими из их руководства меньшевиков и эсеров[104]. Весной 1919 года эти кооперативы были национализированы. Декретом от 16 марта 1919 года[105] предписывалось создание в городах и сельских центрах потребительских коммун, в которые должны были вступить все без исключения жители данной местности. Предполагалось, что в коммунах они станут получать, предъявляя карточки, продукты и предметы первой необходимости. Карточки эти подразделялись на несколько категорий. Самые щедрые выдавались рабочим, занятым в тяжелой промышленности. Представители «буржуазии» получали примерно одну четвертую часть рациона рабочего, а нередко и вообще ничего[106]. [Обладание карточкой, дававшей минимальный паек, служило для ЧК признаком, указывавшим на принадлежность к «буржуазии». Владельцы таких карточек становились в первую очередь жертвами грабежа и террора.]. Эта система давала простор для чудовищных злоупотреблений: например, в Петрограде в 1918 году карточек было напечатано на треть больше, чем было в городе жителей, а в 1920-м наркомпрод распределил 21,9 млн. карточек для горожан, в то время как в действительности их насчитывалось всего 12,3 млн.[107].

Как сказал Мильтон Фридман, чем более значительной является экономическая теория, тем менее реалистичными допущениями она оперирует. Советский эксперимент с национализацией торговли может служить ярким подтверждением этого правила. Вместо того чтобы ликвидировать рынок, меры, предпринятые в период военного коммунизма, раскололи его надвое: в 1918–1920 годах в советской России существовал государственный сектор, распределявший товары по карточкам — по фиксированным ценам или бесплатно, а параллельно действовал нелегальный частный сектор, где распределение осуществлялось по законам спроса и предложения. И чем шире становился государственный сектор, тем более угрожающие размеры, к удивлению большевистских теоретиков, принимал свободный сектор, названный одним из них «неустранимой тенью». Действительно, частный сектор наживался на государственном, ибо значительная часть потребительских товаров, которые рабочий покупал по номинальной цене или получал бесплатно в государственном магазине или в «потребительской коммуне», продавались затем на черном рынке[108]. Правительство положило начало бесплатному обслуживанию. Изданный в октябре 1920 года закон освобождал от платы за пользование телеграфом, телефоном и почтой советские учреждения, а в следующем году эти услуги стали бесплатными для всех граждан. Одновременно все государственные служащие были освобождены от платы за коммунальные услуги. В январе 1921 года для жильцов государственных и муниципальных домов была упразднена квартирная плата[109]. Считалось, что зимой 1920/1921 годов

наркомпрод удовлетворял по существу бесплатно основные потребности 38 млн. человек[110].

Конечно, такая щедрость режима могла быть только временной. Большевики могли проявлять ее лишь до тех пор, пока они не израсходовали капитал, унаследованный от царизма. Так, новым властям легко было отказаться от взимания квартирной платы, поскольку они не строили жилья и не несли расходов по его содержанию: практически весь городской жилой фонд России, включавший в то время около полумиллиона зданий, был построен до 1917 года. Когда военный коммунизм был уже в самом разгаре, правительство построило и отремонтировало всего 2601 постройку[111]. Еще одним фактором, открывшим возможность бесплатного распределения благ, было то, что правительство изымало хлеб у крестьян без всякой компенсации или с чисто символической компенсацией в виде потерявших всякую цену денег. Ясно поэтому, что такое положение не могло длиться вечно, ибо здания ветшали, а крестьяне отказывались выращивать лишний хлеб.

В то же время пышным цветом расцвел частный сектор. На свободном рынке можно было найти любой мыслимый товар, прежде всего любые продукты питания. Именно рынок, а не сеть государственных торговых точек, был в период военного коммунизма главным источником продовольствия для городского населения советской России. В сентябре 1918 года власти вынуждены были разрешить крестьянам привозить в города и продавать по рыночным ценам до полутора пудов зерна[112]. «Полуторапудники» доставляли в города львиную долю хлеба и других потреблявшихся там

сельскохозяйственных продуктов. Согласно статистическому обследованию, проведенному зимой 1919/1920 годов, жители городов только 36 % хлеба покупали в магазинах. Остальное, по уклончивой формулировке в отчете, они получали в результате «снабжения другими способами»[113]. Было также установлено, что из всей пищи, которую потребляли в эту зиму горожане (крупы, овощи, фрукты), если измерять ее ценность в калориях, рынок давал от 66 до 80 %. В сельских районах количество продуктов, которые население получало через «потребительские коммуны», составляло всего 11 %[114].

Иностранец, посетивший Россию весной 1920 года, отмечал, что почти все магазины закрыты. Кое-где работали небольшие лавки, распределявшие одежду, мыло и другие потребительские товары. Торговые точки наркомпрода тоже попадались редко. Но вовсю шла нелегальная уличная торговля.

«Москва живет. Но живет не только выданными на карточки продуктами и заработанными деньгами. В огромной степени Москва живет черным рынком — активно и пассивно. Она продает на черном рынке, она покупает на черном рынке, она спекулирует, спекулирует, спекулирует…

В Москве деньги делаются на чем угодно. Все продается на черном рынке — от булавки до коровы. Мебель, бриллианты, пирожные, хлеб, мясо — все это можно купить на черном рынке. Нелегальный рынок и склады этого рынка в Москве — Сухаревка. Время от времени милиция совершает здесь рейды, но она не может уничтожить черного рынка. Это — гидра о тысяче голов, которые вырастают снова и снова.

В Москве есть свободные рынки. Их несколько, и они вполне легальны. Это рынки, где можно покупать дополнительные продукты, деликатесы. Например, есть такой рынок у Театральной площади. Там продаются огурцы, рыба, печенье, яйца, разнообразные овощи. На длинном тротуаре царит ужасная суматоха. Вдоль обочины стоят палатки, одни торговцы сидят на корточках, другие что-то шепчут на ухо покупателям.

Огурец стоит 200–250 рублей, яйцо — 125–150 рублей. Цены на остальные товары соответствующие. Это не так уже много в пересчете на западную валюту, особенно на доллары. Во время моего пребывания в Москве спекулянты валютой давали 1000 большевистских рублей за один доллар. Мне рассказали, что один американец обменял 3000 долларов на 9 млн. большевистских рублей. Спекуляция запрещена… Но валютой спекулируют. Выгоду извлекают из всего, и из денег, естественно, тоже…

Спекуляция, черный рынок, создание нелегальных запасов, — все это мешает работать. Спекуляция сидит в крови у рабочих. Они спекулируют во время работы. Они спекулируют в то время, когда им следовало бы работать»[115].

Уличными торговцами часто были солдаты, предлагавшие свою форму; в результате многие москвичи ходили в ту пору в одежде военного образца[116]. Почтенные дамы, смущаясь, продавали на тротуарах личные вещи, напоминавшие о более счастливых днях.

«Мелкое хозяйство с непреодолимым упорством отстаивало методы товарного хозяйства» — так описывал живучесть свободного рынка советский экономист[117]. Об это «непреодолимое упорство» разбивались все попытки

правительства монополизировать систему распределения. Власти оказались в абсурдном положении: если бы они стали жестко проводить политику запрещения частной торговли, они обрекли бы все городское население на голодную смерть. В одной из советских экономических публикаций начала 1920-х годов автор с сожалением признавал, что частный («спекулянтский») рынок паразитирует на государственной системе снабжения: «Одним из самых разительных противоречий нашей современной экономической действительности является противоречие между зияющей пустотою советских магазинов с их вывесками: «галантерейный магазин московского совета р. и к. д.», «книжный магазин», «магазин кожаных изделий» и т. д. и кипучей деятельностью ярмарочной торговли на Сухаревке, Смоленском рынке, Охотном ряду и других очагах спекулятивного рынка… Массовое предложение товаров всех категорий, которые имеются ныне на спекулятивном рынке, исключительно имеет своим источником товарные склады советской республики, уголовным путем поставляющие эти товары на Сухаревку»[118].

Частный сектор стал настолько влиятельным, что когда в начале 1921 года правительство, вынужденное считаться с реальностью, наконец отказалось временно от монополии на торговлю, объявив новую экономическую политику, это было лишь признанием status quo. «В определенном смысле, — пишет Е.Х.Карр, — нэп попросту узаконил методы торговли, возникшие спонтанно в период военного коммунизма вопреки декретам правительства и несмотря на репрессии властей»[119].

* * *

Когда в октябре 1917 года большевики захватили власть в Петрограде, они действовали от имени «пролетариата». Было провозглашено, что советское государство является воплощением воли рабочего класса и «авангардом» социализма. Имея в виду эти декларации, можно было ожидать, что политика большевиков приведет к значительному улучшению если не экономического, то, по крайней мере, социального и политического положения промышленных рабочих в сравнении с тем, каким оно было при «буржуазных» правительствах — царском и Временном. Но, как и в остальных случаях, реальность оказалась прямо противоположной намерениям: положение российского рабочего класса ухудшилось во всех отношениях, кроме символического. В частности, были потеряны завоеванные в долгой борьбе права на самоорганизацию и забастовки — два неотъемлемых орудия самозащиты рабочих.

Можно, конечно, возразить, и возражение это является довольно распространенным, что в условиях революции и гражданской войны у большевиков не было другого выхода: они ограничивали права грудящихся для поддержания хозяйственной жизни в стране. То есть, спасая «пролетарскую революцию», они вынуждены были временно сделать «пролетариат» бесправным. В такой интерпретации политика большевиков по отношению к трудящимся, как и другие меры, которые они предпринимали в период военного коммунизма,

выглядит как печальный, но необходимый тактический шаг.

Аргумент этот является, однако, весьма уязвимым. Дело в том, что меры, направленные против трудящихся, действительно вводились в период борьбы большевистского режима за выживание, но они не были не ситуативными, ни временными. Они выражали целостную социальную философию, выходившую далеко за пределы чрезвычайной ситуации. И лишь сложившиеся в тот момент обстоятельства позволили представить их как систему неотложных мер. Принудительный труд, запрещение забастовок, превращение профсоюзов в органы государства, — все это большевики считали необходимым не только для победы в гражданской войне, но и для «построения коммунизма». Поэтому, когда гражданская война была выиграна и режиму уже не угрожала опасность, они не отказались от антирабочей политики.

Идея принудительного труда — органическая часть марксизма. Статья 8 «Манифеста Коммунистической партии» 1848 года призывала к «равной для всех обязанности трудиться» и к «созданию трудовых армий, особенно в сельском хозяйстве». В самом деле, в условиях регулируемой экономики, когда отсутствует свободный товарный рынок, сохранять свободный рынок рабочей силы нет никакого смысла. Троцкий, часто выступавший на эту тему, подкреплял этот экономический аргумент аргументом психологическим: человек по сути своей ленив, и к работе его побуждает лишь страх остаться голодным; если государство берет на себя обязанность кормить своих граждан, этот мотив перестает действовать и государство вынуждено прибегать к принуждению. [Представление, что человек

трудится лишь из страха перед голодом, Троцкий позаимствовал у Маркса, который, в свою очередь, взял его из работы преподобного Дж. Тоунсенда (см.: Капитал. Т. 1. Гл. 25. Разд. 4).]. Фактически Троцкий утверждал, что принудительный труд является неотъемлемым свойством социализма. «Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное, — говорил он, — по общему правилу, человек стремится уклониться от труда <…> Единственным способом привлечения для хозяйственных задач необходимой рабочей силы является проведение *трудовой повинности»*[120]. И чтобы некоторые советские граждане не тешили себя иллюзией, будто принудительный труд лишь временная мера, нацеленная на преодоление кризиса, Троцкий давал им ясно понять, что это не так. Выступая в марте 1920 года на XI съезде партии, созванном после того, как белое движение было разгромлено и по сути уже закончилась гражданская война, Троцкий высказался без обиняков: «Мы делаем первую в мировой истории попытку организации труда трудящихся в интересах этого трудящегося большинства. Но это, разумеется, не означает уничтожения элемента принуждения. Элемент обязательности не сходит с исторических счетов. Нет, принуждение играет и будет играть еще в течение значительного исторического периода большую роль»[121]. Особенно откровенно Троцкий говорил об этом на Третьем съезде профсоюзов в апреле 1920 года. Отвечая меньшевикам, которые призывали отказаться от принудительного труда на том основании, что он является менее производительным, чем свободный труд, Троцкий отстаивал принцип крепостничества: «Когда меньшевики говорят в своей резолюции, что принудительный труд всегда является

малопроизводительным, то они находятся в плену у буржуазной идеологии и отрицают самые основы социалистического хозяйства… В эпоху крепостного права дело вовсе не было так, что жандармерия стояла над душой мужика, а были известные хозяйственные формы, к которым крестьянин привыкал, которые он в эту эпоху считал справедливым, и только время от времени бунтовал… Говорят, что принудительный труд не производителен. Это означает, что все социалистическое хозяйство обречено на слом, ибо других путей к социализму, кроме властного распределения центром всей рабочей силы страны, размещения этой силы соответственно потребностям общегосударственного хозяйственного плана, быть не может»[122].

Короче говоря, принудительный труд не только является органической составной частью социализма, он, кроме того, является выгодным: «Принудительный крепостной труд вырос не из злой воли феодалов. Это было прогрессивное явление»[123].

Представление, что рабочий должен стать крепостным «социалистического» государства — то есть как бы своим собственным рабом, ибо одновременно он считался «хозяином» этого государства, — вытекавшее из марксистской теории централизованной экономики и свойственной марксизму мизантропии, находило дополнительное подкрепление в чрезвычайно низком мнении о российских рабочих, которого придерживались большевистские руководители. До революции они идеализировали рабочий класс. Но, столкнувшись с рабочими из плоти и крови, они быстро избавились от иллюзий. Пока Троцкий произносил панегирики рабству,

Ленин давал отставку «пролетариату» России. На XI съезде партии в марте 1922 года он заявлял: «Очень часто, когда говорят: «рабочие», думают, что значит это фабрично-заводской пролетариат. Вовсе не значит. У нас со времен войны на фабрики и на заводы пошли люди вовсе не пролетарские, а пошли с тем, чтобы спрятаться от войны, а разве у нас сейчас общественные и экономические условия таковы, что на фабрики и заводы идут настоящие пролетарии? Это неверно. Это правильно по Марксу, но Маркс писал не про Россию, а про весь капитализм в целом, начиная с пятнадцатого века. На протяжении шестисот лет это правильно, а для России теперешней неверно. Сплошь да рядом идущие на фабрики — это не пролетарии, а всяческий случайный элемент»[124]. Выводы, которые следовали из этого ошеломляющего заявления, не прошли незамеченными для некоторых из большевиков. Ведь Ленин, по существу, утверждал, что Октябрьская революция не была совершена ни «пролетариатом», ни для «пролетариата». Но указать на это осмелился один А.Г.Шляпников: «Владимир Ильич вчера сказал, что пролетариат как класс, в том смысле, каким имел его в виду Маркс, не существует. Разрешите поздравить вас, что вы являетесь авангардом несуществующего класса»[125].

При таких взглядах на природу человека вообще и на российский рабочий класс в частности, какие исповедовали Ленин и Троцкий, вряд ли можно было рассчитывать, что они допустят существование свободного труда и независимых профсоюзов, пусть даже против этого и не нашлось бы других возражений.

Введение принудительного труда официально объяснялось требованиями экономического

планирования. Считалось, и не без оснований, что планирование невозможно осуществить, пока трудовые ресурсы не будут поставлены под такой же контроль, как и все другие хозяйственные ресурсы. О необходимости всеобщей трудовой повинности большевики впервые заговорили уже в апреле 1917 года, то есть до прихода к власти[126]. Декларируя, с одной стороны, что трудовая повинность, введенная в Германии во время войны, «неизбежно становится военной каторгой для рабочих», а с другой, что при советской власти та же мера представляет собой «громадный шаг к социализму», Ленин, по-видимому, не усматривал в этих высказываниях никакого противоречия[127].

Оказавшись у власти, большевики, верные своему слову, в первый же день заявили о намерении провести трудовую мобилизацию. 25 октября 1917 года, объявив Второму съезду Советов о низложении Временного правительства, Троцкий, не переведя дыхания, сказал: «Введение всеобщей трудовой повинности — одна из ближайших задач подлинной революционной власти»[128]. Вероятно, большинство делегатов съезда сочли, что это утверждение относится только к «буржуазии». И действительно, в первые месяцы своей диктатуры Ленин, движимый личной ненавистью, старался как мог унизить «буржуазию», приговаривая к черной работе людей, не привыкших к ручному труду. В наброске к декрету о национализации банков (декабрь 1917 г.) он написал: «Статья 6: Всеобщая трудовая повинность: первый шаг — потребительско-рабочие, бюджетно-рабочие книжки для богатых, контроль за ними. Их долг — работать в указанном направлении, иначе — «враги народа»». И добавил на полях: «Отправка на фронт, принудительные работы, конфискация, аресты (расстрел)»[129]. Позднее в

Москве и Петрограде обычным зрелищем стали хорошо одетые люди, выполнявшие под конвоем черную работу. Польза от такого принудительного труда была, по-видимому, близкой к нулю, но у него была другая, «воспитательная» цель: он должен был возбуждать классовую ненависть.

Как отметил Ленин, это был только первый шаг. Вскоре принцип принудительного труда был распространен на другие слои общества. Это означало не только, что каждый взрослый человек обязан заниматься производительным трудом, но, кроме того, что он должен работать там, где ему прикажут. Эта обязанность, возвращавшая Россию к установлениям XVII века, была введена в январе 1918 года «Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа», содержавшей и такой пункт: «В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность»[130]. Затем этот принцип был включен в Конституцию 1918 года и обрел силу закона. С этих пор можно было на абсолютно законном основании считать «паразитом» каждого, кто уклонялся от государственной службы.

Процедуры трудовой мобилизации были детально разработаны в конце 1918 года. Декретом от 29 октября была учреждена сеть органов «распределения рабочей силы», действовавшая в масштабах страны[131]. 10 декабря 1918 года в Москве был опубликован подробный «Трудовой кодекс», предписывавший мужчинам и женщинам в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет (за некоторыми исключениями) трудиться в обязательном порядке. Те, кто уже имел постоянное место работы, должны были там оставаться. Остальным

надлежало встать на учет в отделах распределения рабочей силы (ОРРС). Эти органы получили право направлять их по своему усмотрению на любую работу.

Законодательство о принудительном труде не только распространялось на несовершеннолетних (от шестнадцати до восемнадцати лет), но специальными постановлениями разрешало использовать подростков, занятых в военной промышленности или на других предприятиях, важных для государства, для сверхурочной работы[132].

К концу 1918 года для большевистских властей стало обычным делом призывать рабочих и специалистов различных областей на государственную службу так, как они набирали новобранцев в Красную Армию. Обычно это делалось следующим образом: правительство объявляло, что рабочие и технические специалисты определенной отрасли народного хозяйства «мобилизуются для прохождения военной службы» и подлежат юрисдикции военного трибунала (те, что покидают службу, к которой приписаны, рассматриваются как дезертиры). Люди, владеющие соответствующими специальностями, но не работающие в данный момент по этим специальностям на постоянном месте, должны встать на учет и ждать призыва. Первыми из гражданских специалистов были «мобилизованны» железнодорожники (28 ноября 1918 г.). За ними последовали: лица с техническим образованием и опытом (19 декабря 1918 г.), медицинские работники (20 декабря 1918 г.), работники речного и морского флота (15 марта 1919 г.), шахтеры (7 апреля 1919 г.), служащие почтовой, телефонной и телеграфной связи (5 мая 1919 г.), работники топливной промышленности (27 июня и 8 ноября 1919 г.), работники суконной

промышленности (13 августа 1920 г.), рабочие-металлисты (20 августа 1920 г.) и электрики (8 октября 1920 г.)[133]. Так шла постепенно «милитаризация» гражданских занятий и стирались различия между солдатом и рабочим, между военной и гражданской сферами. Однако попытки организовать промышленное производство по военной модели нередко пробуксовывали, что видно из обилия декретов, устанавливавших в широком диапазоне все новые наказания для «дезертиров трудового фронта» — от обнародования их имен до заключения в концентрационные лагеря[134].

Каким бы ни было формальное экономическое обоснование всех этих мер, само обращение к практике принудительного труда означало возврат к существовавшему на Московской Руси институту тягла, благодаря которому все мужчины и женщины — крестьяне, другие категории населения, не относящиеся к знати, — могли быть призваны для выполнения нужных государству работ. Тогда, как и теперь, основными видами таких работ были перевозка грузов, заготовка леса и строительство. Описание обязанностей крестьян, мобилизованных в 1920 году на заготовку дров, было бы совершенно понятно и для жителя Московской Руси: «Крестьянам было велено… в порядке трудовой повинности, установленной для них правительством… спилить столько-то деревьев на указанных участках леса. Каждый крестьянин, имевший лошадь, должен был затем отвезти определенное число бревен. Всю эту древесину крестьянам надлежало доставить к речным пристаням, в города или в другие пункты назначения»[135]. Принципиальное различие между трудовой повинностью, или тяглом, на Московской Руси и в коммунистической

России заключалось в том, что в средние века такая повинность налагалась сравнительно редко, в особых случаях, теперь же она приобрела характер постоянной обязанности.

Зимой 1919/1920 годов Троцкий выдвинул грандиозную программу «милитаризации труда», в соответствии с которой солдаты должны были заняться производительным трудом, а гражданские рабочие — подчиниться военной дисциплине. Эта идея, возрождавшая печально известные «военные поселения», учрежденные за сто лет до этого Александром I и Аракчеевым, была встречена скептически и враждебно. Но Троцкий упорствовал и не давал себя разубедить. Окрыленный своим триумфом на фронтах гражданской войны, преисполненный ощущением собственной значимости, стремящийся к новым лаврам, он утверждал, что экономические проблемы России можно решить только теми же грубыми силовыми методами, используя которые Красная Армия разгромила внешнего врага. 16 декабря 1919 года он набросал «Тезисы» для Центрального Комитета[136]. В них он доказывал, что на штурм хозяйственных проблем надо бросить армии рабочих, слепо подчиняющихся дисциплине. Трудовые ресурсы страны следует организовать по военному образцу. Уклонение от обязанностей (отказ от порученной работы, прогулы, пьянство на производстве и т. д.) надлежит рассматривать как преступление, отдавая виновных под трибунал. Далее Троцкий предлагал не демобилизовывать части Красной Армии, не нужные более для ведения боевых действий, а преобразовать их в трудармии. «Тезисы» Троцкого не были предназначены для публикации, но Бухарин, главный редактор

«Правды», все-таки их напечатал, — то ли по недосмотру (как утверждал он сам), то ли умышленно (как считали другие). Как бы то ни было, они появились в «Правде» 22 января 1920 года и вызвали бурю протеста. Одним из наиболее часто встречавшихся в откликах был термин «аракчеевщина».

Ленину пришлось уступить, ибо надо было как-то остановить процесс распада хозяйства страны. 27 декабря 1919 года он дал согласие на создание комиссии по трудовой повинности, председателем которой был назначен Троцкий, остававшийся на посту наркомвоенмора. Предусмотренные программой Троцкого мероприятия шли по двум направлениям:

1. Армейские подразделения, не нужные более на фронте, не подвергались демобилизации, а преобразовывались в трудовые армии, перед которыми ставились такие задачи, как ремонт железнодорожного полотна, перевозка топлива, наладка сельскохозяйственной техники. Первым такую трансформацию предстояло пройти Третьему армейскому корпусу, сражавшемуся на Урале. За ним должны были последовать другие. В марте 1921 года четвертая часть Красной Армии была занята в строительстве и на транспорте.

2. Одновременно среди рабочих и крестьян устанавливалась военная дисциплина. На IX партийном съезде (1920 г.), где эта политика вызвала сильное сопротивление, Троцкий настаивал, что государство должно иметь возможность свободно распоряжаться трудовыми ресурсами, направляя их туда, где они необходимы, без учета пожеланий самих рабочих, — как это делается в армии. По запросам предприятий

наркомтруд должен был приписывать к ним «мобилизованную» рабочую силу. Как писал в 1922 году один из чиновников этого комиссариата, вспоминая этот эксперимент, «мы поставляли рабочую силу в соответствии с планом и, следовательно, без учета индивидуальных особенностей рабочих или их желания заниматься тем или иным делом»[137].

Но ни трудовые армии, ни военизированное производство не оправдали возлагавшихся на них надежд. Производительность труда солдат оказалась гораздо ниже, чем производительность подготовленных гражданских специалистов. Кроме того, солдаты толпами дезертировали с трудового фронта. Правительство столкнулось с непреодолимыми техническими проблемами, пытаясь решать задачи управления, питания и перевозки военизированной рабочей силы. В результате пришлось отказаться от замыслов использования рабского труда, к которым вернулись позднее Сталин и Гитлер. 12 октября 1921 года была отменена мобилизация в промышленности, а месяц спустя — распущены трудовые армии[138].

Этот эксперимент дискредитировал Троцкого и ослабил его позиции как потенциального преемника Ленина, — и не только потому, что эксперимент провалился, но также и по той причине, что он дал основание для обвинений Троцкого в «бонапартизме». В самом деле, если бы удалось осуществить. милитаризацию хозяйственной жизни России, то офицеры, подчиненные Троцкому, получили бы громадную власть и в гражданской сфере. «Троцкизм» как ругательный термин впервые возник и получил

хождение в 1920 году в связи с этими неудачными начинаниями[139].

* * *

В условиях режима, основанного на принудительном труде, конечно, не было места для свободных профсоюзов. Находились и логические аргументы, объяснявшие необходимость запрещения таких союзов: ведь в «рабочем» государстве интересы рабочих по определению не могут расходиться с интересами работодателей. Как сформулировал это однажды Троцкий, русский рабочий «не просто торгуется с советским государством» — нет, он повинен государству, всесторонне подчинен ему, ибо это — *его* государство»[140]. Следовательно, подчиняясь государству, рабочий подчиняется самому себе, — даже если ему кажется, что это не так. Были также практические причины, не позволявшие относиться к профсоюзам терпимо: их деятельность была несовместима с централизованным планированием. В общем, большевикам не пришлось долго размышлять, прежде чем лишить независимости две главные организации российских рабочих — фабричные комитеты и профсоюзы.

Напомним, что сразу после февральской революции фабричные комитеты получили влияние и распространились, при поддержке большевиков, по всей России в качестве органов рабочего контроля. В условиях нараставшей анархии развитие фабричных комитетов

наносило ущерб профсоюзам, организованным по отраслям в национальных масштабах, поскольку рабочие находили больше точек соприкосновения со своими товарищами, трудившимися на том же предприятии, чем с рабочими одной с ними специальности, но занятыми где-то в других местах. Под влиянием синдикалистских идей фабричные комитеты приобрели ярко выраженную левую ориентацию и осенью 1917 года стали одним из главных источников политической силы большевиков.

Но стоило большевикам получить власть, и эти комитеты сделались им не нужны. Преследуя корыстные интересы и рассматривая предприятия как свою собственность, фабричные комитеты вмешивались в решение производственных вопросов и противодействовали экономическому планированию. В первые недели после Октябрьского переворота большевики, еще не утвердившись как следует в своей власти, продолжали с ними заигрывать. Декретом от 27 ноября 1917 года на всех предприятиях, где числилось не менее пяти человек, учреждались рабочие комитеты. Они получали доступ к учетной документации и должны были контролировать процесс производства, определять минимальную выработку и устанавливать цены на продукцию[141]. Это был чистый и неприкрытый синдикализм. Однако Ленин не более стремился отдать управление производством в руки рабочих, чем предоставить землю крестьянам, командование армией — солдатам или независимость — национальным меньшинствам. Все это были лишь средства, служившие единственной цели — завоеванию власти. Поэтому в декрет о фабричных комитетах он включил два пункта, на которые в то время почти никто не обратил внимания, но которые фактически давали правительству право его

аннулировать. В одном из них было сказано, что решения выборных представителей рабочих и служащих, будучи обязательными для владельцев предприятий, вместе с тем «могут быть отменяемы… профессиональными союзами и съездами». В другом утверждалось, что на предприятиях, имеющих «общегосударственное значение» — то есть работающих на оборону или связанных с производством продуктов» «необходимых для существования массы населения», — рабочие комитеты несут ответственность перед государством за «строжайший порядок, дисциплину и охрану имущества». Как заметил один историк, эти туманные пункты привели вскоре к тому, что весь декрет о рабочем контроле «не стоил и бумаги, на которой он был написан»[142].

Со временем фабричные комитеты были поставлены под контроль бюрократии и полностью выхолощены. В соответствии с декретом о рабочем контроле каждый фабричный комитет должен был представлять отчеты о своей деятельности в местный Совет рабочего контроля, который был, в свою очередь, подчинен Всероссийскому совету рабочего контроля. Руководители этих вышестоящих органов получали установки от Коммунистической партии и были обязаны выполнять все ее распоряжения[143]. Эта бюрократическая надстройка не давала фабричным комитетам возможности создать собственную, независимую от государства организацию. При учреждении в декабре 1917 года Высшего совета народного хозяйства он был наделен властью над всеми существовавшими тогда хозяйственными органами, включая и Всероссийский совет рабочего контроля.

Судьба русского рабочего движения — в его анархо-синдикалистской, равно как и профсоюзной

формах — была в значительной мере решена на Первом съезде профсоюзов, состоявшемся в январе 1918 года в Петрограде[144]. Интеллектуалы-социалисты — как большевики, так и меньшевики — подвергли здесь критике анархо-синдикалистские тенденции, получившие развитие в среде рабочих, и отвергли требование рабочего контроля как вредное с точки зрения задач производства и враждебное идеям социализма. Несмотря на отчаянные попытки отстоять рабочий контроль, съезд, где тон задавали большевики (получившие в данном случае поддержку меньшевиков и эсеров), принял резолюцию, которая отнимала у фабричных комитетов многие средства контроля над производством и передавала их профсоюзам. Фабричные комитеты потеряли большую часть тех прав, которые были им гарантированы в ноябре, — включая право вмешиваться в финансовые дела предприятия. «Контроль над производством, — было сказано в резолюции, — не означает, что предприятие передается в руки рабочих».

Когда съезд обратился к вопросу о профсоюзах, мнения большевиков и меньшевиков разошлись. Меньшевики, поскольку они имели сильную поддержку в некоторых крупнейших отраслевых профсоюзах, выступали за их независимость. Позиция большевиков заключалась в том, что профсоюзы должны быть инструментами государства, его органами в деле «организации производства» и «восстановления подорванного хозяйства страны». К числу задач профсоюзов они относили «обеспечение всеобщей трудовой обязанности». Как было сказано в большевистской резолюции, «съезд убежден, что профсоюзы неизбежно превратятся в органы социалистического государства»: «Весь процесс полного

слияния профессиональных союзов с органами государственной власти (процесс так наз. огосударствления) должен явиться как совершенно неизбежный результат их совместной теснейшей и согласованной работы и подготовки профессиональными союзами широких рабочих масс к делу управления государственным аппаратом и всеми хозяйственными регулирующими органами»[145]. Это вполне соответствовало традициям русской истории, где процесс огосударствления был всегда чрезвычайно силен, то есть государство всегда, рано или поздно, поглощало и подчиняло себе общественные образования, первоначально формируемые (иногда по его собственной инициативе) как самоуправляемые и независимые.

Поскольку фабричные комитеты были подчинены Всероссийскому совету рабочего контроля, который, в свою очередь, должен был отчитываться перед профсоюзами и их съездами, а задача профсоюзов заключалась в том, чтобы служить «органами социалистического государства», фабричные комитеты были обречены. Вся история организаций рабочего контроля, начиная с Первого съезда профсоюзов, — это история их неуклонного разрушения. Они увядали, таяли, умирали одна задругой. Последней попыткой спасти идею было безуспешное движение за создание в стране сети полномочных рабочих представителей, развернувшееся весной 1918 года. К 1919 году от фабричных комитетов осталось лишь воспоминанье.

Что касается профсоюзов, то они разрастались (не получая, впрочем, больших политических полномочий), так как война близилась к завершению и правительство все больше нуждалось в них для укрепления трудовой дисциплины. Партия постепенно присвоила себе право

назначать профсоюзных руководителей на место тех, кто был избран, но не пришелся ко двору[146]. В 1919 и 1920 годы государственные и партийные резолюции все еще содержали демагогические заявления, что профсоюзы помогают управлять хозяйством страны. Но в действительности они служили уже исключительно проводниками распоряжений правительства. Вот как определял роль профсоюзов Троцкий в 1920 году: «Без трудовой повинности, без права приказывать и требовать исполнения, профессиональные союзы превратятся в пустую форму без содержания, ибо строящемуся социалистическому государству профессиональные союзы нужны не для борьбы за лучшие условия труда — это есть задача общественной и государственной организации в целом, — а для того, чтобы организовать рабочий класс в производственных целях, воспитывать, дисциплинировать, распределять, группировать, прикреплять отдельные категории и отдельных рабочих к своим постам на определенные сроки, словом, — рука об руку с государством властно вводить трудящихся в рамки единого хозяйственного плана»[147].

Профсоюзы оказались более крепким орешком, чем фабричные комитеты. В 1920–1921 годы, по окончании гражданской войны, в рядах большевиков возникла взрывоопасная ситуация, связанная с практикой замены выбранных профсоюзных деятелей чиновниками, назначенными партией. Этот вопрос вызвал сильные внутрипартийные трения, которые Ленин использовал как предлог для запрещения в Коммунистической партии фракционной деятельности.

Коль скоро функция профсоюзов состояла не в защите интересов их членов, а в осуществлении

государственной политики, было вполне логично сделать членство в них обязательным. Принудительный прием в профсоюзы не был заявлен как принцип, но по сути постепенно осуществлялся, охватывая все новые отрасли, так что к концу 1918 года три четверти всех рабочих, вольно или невольно, оказались членами профсоюза[148]. Однако, чем шире был этот охват, тем слабее становилась сама организация.

Право на забастовки везде считалось неотъемлемым правом трудящихся. Это еще раз подтвердила и Третья всероссийская конференция профсоюзов, состоявшаяся в июне 1917 года[149]. Ни в тот период, ни позднее коммунистическое правительство не издавало законов, прямо запрещающих забастовки. Тем не менее было очевидно, что большевики не потерпят, чтобы государственное предприятие прекратило работу из-за конфликта рабочих с администрацией. Законодательно запретить забастовки властям мешало то, что большинство промышленных предприятий все еще находилось в частных руках. Но и подтвердить право рабочих на забастовки власти не были готовы. На съезде профсоюзов в январе 1918 года профсоюзный деятель Г.В.Циперович утверждал, что профсоюзное рабочее движение, как и прежде, рассматривает забастовки в качестве средства защиты своих интересов, понимая при этом, что в условиях рабочего контроля их можно проводить более эффективно. Съезд, на котором большинство составляли большевики, проигнорировал эту формулировку[150]. На практике забастовки были разрешены на частных предприятиях (пока они еще оставались) и запрещены на государственных. По мере национализации промышленности забастовочная деятельность оказывалась фактически вне закона. Вот

как описывает один исследователь смысл отмены de facto права на забастовки в советской России: «Советские власти исходили из того, что условия объединения и возможности профессиональных союзов основываются не на праве призывать трудящихся к забастовкам, а на их политических взаимоотношениях с государством и партией. Во всех случаях ответственность за недопущение и прекращение забастовок была переложена на профсоюзы, то есть как раз на ту организацию, для которой право на забастовки является жизненно важным. Профсоюзы оказались в невозможном положении: им пришлось отрицать единственное право, которое могло сделать их сильными и обеспечить защиту их членам»[151].

Так был положен конец профсоюзному движению в советской России.

* * *

Политика, получившая впоследствии название военного коммунизма, проводилась в надежде, что она позволит поднять эффективность хозяйственной деятельности до невиданных высот. Это была самая смелая к тому времени попытка поставить производство и распределение на рациональную основу, полностью изгнав из экономики рыночную стихию. Была ли она успешной? Конечно, нет. Даже самые фанатичные приверженцы этой политики вынуждены были это признать, когда после трех лет экспериментирования советское хозяйство лежало в руинах. С той же

быстротой, с какой власти подвергали национализации все, что попадалось им на глаза, рос нелегальный свободный рынок, грозивший поглотить остатки российских богатств. А оставалось уже очень мало. Национальный доход России в 1920 году колебался между 33 и 40 % от того, что было в 1913-м. Жизненный уровень рабочих снизился к этому времени до одной трети по отношению к довоенным стандартам[152].

Факты были бесспорными, различались только их объяснения. Левые коммунисты и другие сторонники быстрого наступления социализма, стоя посреди созданной ими разрухи, перед лицом неотвратимо наступавшего голода, отказывались признать поражение. В книге, опубликованной в 1920 году, Бухарин с жаром рассуждал о крахе советской экономики. На его взгляд, погибло только наследие «капитализма». «Никогда еще не было такой грандиозной ломки, — гордо восклицал он, — период этого распада исторически неизбежен и исторически необходим». В его книге, изобилующей марксистскими клише, не было фактов — ни статистических, ни каких-либо иных, относящихся к положению в экономике советской России. Факты показали бы, что виновным является вовсе не «капитализм», но большевизм. [Бухарин Н. Экономика переходного периода. Ч. 1. М., 1920. С. 5, 6, 48. Вторая часть этого сочинения, где автор обещал опубликовать эмпирические данные, так никогда и не была выпущена.].

Другие коммунисты усматривали причину бедственного экономического положения в сохранении частного сектора. Они всегда утверждали, что социализм не может победить в условиях частичной национализации, и видели в создавшейся ситуации

подтверждение своим словам: беда не в том, что правительство слишком жестко проводило социалистические преобразования, а в том, что действия его были недостаточно решительными. Типичной выдержанной в таком духе апологией военного коммунизма является статья В.Фрумкина, напечатанная в «Правде» в начале 1921 года, то есть в то время, когда власти от этой политики отказались. Развал экономики советской России автор объяснял тем, что «весь аппарат фактически находится в руках буржуазных и мелко-буржуазных элементов, наших классовых врагов». Такое положение можно было преодолеть только путем создания «достаточно многочисленных кадров красных командиров хозяйственного фронта». Эта задача, считал автор, являлась делом «более или менее отдаленного будущего»[153].

Более трезвые головы понимали, что «капитализм» вовсе не был причиной провала социалистических экспериментов 1918–1920 годов, напротив, только благодаря ему эти эксперименты вообще оказались возможны. В сущности, в период военного коммунизма большевики растрачивали человеческие и материальные ресурсы, накопленные в буржуазной России. Но ресурсы эти оказались не безграничны. Как утверждал автор аналитической статьи, напечатанной летом 1920 года в ведущей советской экономической газете, «к этому времени истощились окончательно запасы важнейших материалов и сырья, доставшихся нам в наследство от капиталистической России. Отныне все хозяйственные расчеты приходилось строить уже на собственном текущем производстве»[154].

Эта позиция и легла в основу программы, принятой весной 1921 года и получившей название новой экономической политики. Страна вступала в переходный период, сроки не были твердо определены. В хозяйственной жизни был намечен возврат к ленинской модели «государственного капитализма». Сохраняя монополию на политическую власть, правительство вместе с тем отводило определенную роль в восстановлении производительных сил страны частному предпринимательству. В течение этого периода предполагалось готовить кадры «красных командиров хозяйственного фронта». А когда хозяйство окажется восстановленным и кадры будут стоять наготове, тогда можно будет предпринять новую атаку, навсегда истребить «буржуазного» и «мелко-буржуазного» классового врага и уже всерьез приступить к делу построения социализма.

ГЛАВА 8

ВОЙНА ПРОТИВ ДЕРЕВНИ

К весне 1918 года общины уже распределили среди своих членов земли, захваченные со времени февральской революции. Дальнейшего распределения не последовало: демобилизованным солдатам и промышленным рабочим, подоспевшим позже, редко удавалось получить свою долю земли. Но крестьяне, которые собирались мирно пользоваться награбленным, вскоре были вынуждены расстаться с иллюзиями. Для большевиков «великий передел» 1917–1918 годов был только отклонением от пути коллективизации. На основании указов, отдававших в собственность государства все зерно сверх и помимо того, что требовалось крестьянину на пропитание и семенной фонд, они заявили права на урожай 1918 года. Свободная торговля зерном была упразднена. Крестьяне, ошарашенные непредвиденным поворотом событий, яростно защищались, обороняя свои имущество, и поднимались на восстание, по количеству воюющих и по размеру охваченных им территорий, превосходившее все, что имело место в царской России. Пользы это практически не принесло. Крестьянину пришлось усвоить, что «грабить» и «быть ограбленным» — всего лишь разные формы одного глагола.

* * *

Величайшим парадоксом Октябрьского государственного переворота было, возможно, то, что он пытался установить «диктатуру пролетариата» в стране, в которой рабочих (включая кустарей-одиночек) было не более 10 % от всего трудоспособного населения, а крестьяне составляли не менее 80 %. Причем, с точки зрения социал-демократов, крестьяне — за исключением безземельных батраков — составляли часть «буржуазии» и являлись, как таковые, классовым врагом пролетариата.

Вопрос о классовой сущности единоличного крестьянина «середняка» был в центре разногласий между социал-демократами и социалистами-революционерами; последние относили крестьянина, так же, как и промышленного рабочего, к «труженикам». Маркс, однако, определил крестьянина как классового врага рабочего и «оплот старого мира»[1]. Карл Каутский утверждал, что цели крестьянства противоположны целям социализма[2]. В заявлении по аграрному вопросу Конгрессу Социалистического интернационала в 1896 году российская социал-демократическая делегация характеризовала крестьянство как «отсталый, закрытый для идей социализма класс, который лучше оставить в покое»[3].

Ленин разделял это мнение. «Класс мелких производителей и мелких землевладельцев, — писал он в 1902 году, — является *реакционным* классом»[4]. Однако, в соответствии с его общей политикой вовлечения в

революционный процесс каждой группы или класса, находящихся по той или иной причине в противостоянии существующему порядку вещей, он делал допущение, что «мелкобуржуазное» крестьянство может помочь «пролетариату» в его борьбе. В этом отношении — хотя это был всего лишь вопрос тактики — Ленин отличался от остальных социал-демократов. Он допускал, что деревенская Россия была еще под властью преобладавших «феодальных» отношений. В той мере, в которой крестьянство вовлекалось в борьбу против них, оно играло прогрессивную роль. «Мы требуем, — писал Ленин, — полной и безусловной, революционной отмены и уничтожения пережитков крепостничества, мы признаем крестьянскими те земли, которые отрезало у них дворянское правительство и которые по сию пору продолжают держать их в фактическом рабстве. Мы становимся таким образом — в виде исключения и в силу особых исторических обстоятельств — защитниками мелкой собственности, но мы защищаем ее лишь в ее борьбе против того, что уцелело от «старого режима»»[5].

Именно из этих, исключительно тактических, соображений Ленин принял в 1917 году земельную программу эсеров и поощрял русское крестьянство захватывать частные земельные владения.

Но как только тактическая задача — падение «старого режима» и сменившего его «буржуазного» — была решена, крестьянин, по мнению Ленина, вернулся к своей традиционной роли «мелкобуржуазного» контрреволюционера. Российских социал-демократов, хорошо понимавших, какую роль французское крестьянство сыграло в подавлении городского радикализма, особенно в 1871 году, навязчиво преследовал страх, что «пролетарская революция» в

России потонет в море крестьянской реакции. Настойчивое требование большевиков перенести революцию на промышленные страны Запада со всей возможной быстротой в большой мере вдохновлялось желанием избежать этой же участи. Оставить крестьянству вечное владение землей было равносильно тому, чтобы дать ему полный контроль над продовольственным снабжением городов, этих бастионов революции. Ленин отмечал, что европейские революции потерпели поражение, потому что не смогли справиться с «деревенской буржуазией»[6]. Для некоторых фанатичных последователей Ленина даже безземельный сельский пролетарий, которого Ленин, следуя Энгельсу, склонен был считать союзником, был не вполне благонадежен, поскольку он тоже «в конце концов крестьянин, т. е. кулак в потенции»[7].

Ленин был полон решимости не дать истории повторить самое себя. Сколько бы он ни рассчитывал на то, что на Западе вспыхнет революция, он не мог допустить, чтобы судьба русской революции зависела от событий за рубежом, которые он не мог контролировать. Размышляя над крестьянским вопросом в советской России, он намеревался решить его в два этапа. В конечном счете единственным удовлетворительным выходом была коллективизация — то есть экспроприация всей земли и всей сельскохозяйственной продукции государством и превращение крестьян в служащих. Это было единственным средством устранить противоречия между целями коммунизма и социальной действительностью в стране, в которой он впервые победил. Ленин считал Декрет о земле 1917 года и другие меры, к которым прибегали в деревне большевики во время и после Октября, временными

уловками. Как только бы это позволила ситуация, общины необходимо было лишить собственности и превратить в хозяйства, управляемые государством. [11 декабря 1918 г. на Конгрессе комбедов Ленин выдвинул резолюцию о коллективизации земли в кратчайшие сроки (ПСС. Т. 37. С. 356; Соч. Т. 23. С. 587–588). Закон о социализации земли, изданный 9 февраля (27 января) 1918 г., призывал правительство осуществить «развитие коллективного хозяйства в земледелии, как более выгодного в смысле экономии труда и продуктов, за счет хозяйств единоличных, в целях перехода к социалистическому хозяйству» (Декреты. Т. 1. С. 408)]. Из этой конечной цели не делалось никакого секрета. В 1918 и 1919 годы советское руководство в ряде случаев подтверждало, что считает коллективизацию неизбежной: статья в «Правде» в ноябре 1918 года предсказывала, что «середняк» пойдет в коллективное хозяйство («ворча и огрызаясь»), как только режим сможет вынудить его к этому[8].

Но пока цель не достигнута, с точки зрения Ленина, было необходимо: 1) установить государственный контроль за продовольственными поставками путем строгого соблюдения монополии на торговлю зерном и 2) создать коммунистические ячейки в деревне. Чтобы выполнить эти два условия, требовалось не более и не менее как развязать в деревне гражданскую войну. Такая война и была негласно объявлена большевиками летом 1918 года. Кампания против крестьянства, почти игнорировавшаяся и в советской, и в западной историографии, явилась критическим моментом в завоевании большевиками России. Сам Ленин был уверен, что она предотвратила крестьянскую контрреволюцию и обеспечила то, что русская

революция, в отличие от ее жалких подобий — революций на Западе, не остановилась на полпути и не съехала в «реакцию».

* * *

Чтобы понять успехи и поражения большевиков в их наступлении на деревню, необходимо составить представление о том, каким образом революция сказалась на сельской экономике России. Как уже отмечалось, в октябре 1917 года большевики отказались от своей аграрной программы, выстроенной вокруг национализации земли, в пользу земельной программы эсеров, гораздо более популярной среди крестьянства, которая призывала к экспроприации без компенсации и дальнейшему распределению среди общин всех частных земельных наделов, кроме принадлежавших мелким собственникам-крестьянам.

Не вызывает сомнения, что крестьяне центральной России с энтузиазмом приветствовали закон о земле, осуществлявший их старую мечту о «черном переделе». Даже те из крестьян, которые с принятием этого закона терпели убытки, поскольку у них отбирались их частные владения склонялись перед неизбежностью.

Но вот улучшили ли эти по существу демагогические и тактические приемы на самом деле экономическое положение русского крестьянина и принесли ли они пользу стране в целом — это уже другой вопрос.

Земля, будучи недвижимым объектом, может, конечно, распределяться только там, где она находится.

В дореволюционной России большая часть частных (не общинных) земель, подлежащих экспроприации по закону о земле, располагалась не в перенаселенных центральных, великоросских губерниях, которые теперь находились под контролем большевиков, но на периферии империи — в прибалтийских областях, западных провинциях, на Украине и Северном Кавказе — там, где после октября 1917 года большевики еще не взяли контроль в свои руки. В результате общий фонд земель, подлежавший распределению в занятых большевиками местах, оказался значительно меньше, чем ожидало крестьянство.

Но даже и в этих местах трудно было достичь равномерного распределения земли, поскольку крестьянин отказывался делиться захваченным и с чужаками (иногородними), и с крестьянами из соседних общин. Вот как, по словам современников, на деле происходило распределение земли: «Аграрный вопрос решается очень просто. Вся земля помещика становится собственностью общины. Каждая сельская община получает свою землю от владевшего ею помещика и не уступит ни пяди чужаку, даже если у нее земли слишком много, а у соседней общины мало… Она предпочитает оставить излишек в руках помещика, с тем только, чтобы ничего не досталось крестьянам из другой общины. Крестьяне говорят, что, пока землей владеет помещик, они все-таки могут с нее заработать и, при необходимости, всегда заберут ее себе»[9].

Непросто определить, сколько пахотной земли на самом деле получило российское крестьянство в 1917–1918 годы: оценки варьируются и дают разброс от 20 до 150 млн. десятин[10]. Основным препятствием служит

неточное определение самого термина «земля». Как показывают многочисленные статистические исследования, проводившиеся после революции, термин этот мог описывать самые разные понятия: пахотную землю, или «пашню», — наиболее ценимый вид «земли», но так же и луг (выпас), лес, экономически бесполезные площади (пустыня, болото, тундра). Только смешав все это воедино и дав этому обессмысленное наименование «земля», можно получить фантастическую цифру в 150 млн. десятин — впервые сообщенную Сталиным в 1936 году и являвшуюся в течение длительного времени обязательной в коммунистической литературе, — якобы полученных русскими крестьянами в результате революции[11].

Надежная статистика говорит о гораздо более скромных результатах. Цифры, полученные наркомземом в 1919–1920 годах, показывают, что в общей сложности крестьяне получили 21,15 млн. десятин (23,27 млн. га)[12]. Раздел оказался неравномерным. 53 % российских общин не получили земли от революции[13]. (Это примерно совпадает с числом деревень (54 %), заявивших, что они «недовольны» результатами раздела земли[14].) Оставшиеся 47 % общий получили далеко не равные доли пахотной земли. В тридцати четырех губерниях, по которым существуют цифры, статистика такова: общины шести губерний получили менее чем по одной десятой десятины на каждого своего члена; общины двенадцати губерний получили от одной десятой до одной четвертой десятины на душу; в девяти получили от четверти до половины десятины; крестьяне еще четырех губерний получили от половины до целой десятины; и только в трех губерниях крестьянам удалось получить от одной до двух десятин[15]. В масштабах страны средний общинный

надел пахотной земли на душу, составлявший до революции 1,87 десятины, поднялся до 2,26 десятины[16]. Таким образом, прирезка составила 0,4 десятины пахотной земли на едока, то есть 23,7 %. Эта цифра, впервые приведенная в 1921 году, подтверждается позднейшими исследованиями, самые авторитетные из которых несколько уклончиво говорят, что земля, полученная средним крестьянином, «не превышала» 0,4 десятины [Герасимюк В.Р. // История СССР. 1965. № 1. С. 100; Данилов В.П. (Перераспределение земельного фонда России. М., 1979. С. 283–287. Цит. по: Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М., 1988. С. 49) говорит, что в результате революции крестьянские землевладения увеличилась на 29,8 %, но из этой цифры следует вычесть земли, которые забрали в пользование колхозы и другие советские сельскохозяйственные объединения. По сведениям народников, в конце XIX в. крестьяне рассчитывали получить в результате «черного передела» от 5 до 15 десятин земли (Дебогорий-Мокриевич В. Воспоминания. СПб., 1906. С. 137; Успенский Г.И. Собр. соч. Т. 5. М, 1956. С. 130).] — гораздо менее того, что крестьяне ожидали от «черного передела».

Но даже и эта скромная цифра не дает нам возможности правильно судить об экономической выгоде передела, поскольку большая часть тех земель, которые были прирезаны к крестьянским хозяйствам в 1917–1918 годах (примерно две трети), до этого уже арендовалась крестьянами. «Социализация» земли, таким образом, не столько увеличила количество доступной крестьянину пахотной земли, сколько освободила его от уплаты ренты[17]. В дополнение к освобождению от выплаты ренты, что в сумме составляло 700 млн. рублей в год,

крестьянство получило еще одну поблажку в виде упразднения коммунистическим правительством задолженностей Крестьянскому поземельному банку, которые к тому времени достигали 1,4 млрд. рублей[18].

Крестьянство скептически воспринимало свое новое право землевладения, поскольку было осведомлено, что новое правительство собирается в будущем вести колхозы: декрет о социализации земли, изданный в апреле 1918 года, постановлял, что передача земель общинам будет временной. Крестьянство находилось в недоумении относительно того, сколь долго оно сможет пользоваться землей, и решило в итоге вести себя так, будто получило ее в пользование до снятия следующего урожая. Поэтому, вместо того, чтобы обобществить полученные земли и сделать их собственностью общины, они предпочитали владеть ими раздельно с тем, чтобы в случае вынужденной утраты прирезанных земель сохранить свои наделы*[19]. [По сообщению интеллигента, проживавшего в деревне в Тамбовской губернии с октября 1918-го по ноябрь 1920 г., крестьяне сомневались, что полученная ими в результате прирезки земля действительно им принадлежала, поскольку не была дарована им царем (Окнинский А.Л. Два года среди крестьян. Рига, 1936. С. 27). Именно эти земли они отдавали безземельным, если их вынуждали к дележу.]. В результате усилилась и до того уже приносившая убытки чересполосица. Многим крестьянам приходилось проделывать по пятнадцать, тридцать, иногда по шестьдесят километров, чтобы добраться до своих новых земельных участков; если расстояние оказывалось слишком велико, эти участки просто забрасывали[20].

Но довольно говорить об экономических выгодах, принесенных российскому крестьянству революцией. Оно заплатило за них дорогой ценой. Историки обычно не учитывают, во что обошлась крестьянину революция на селе, хотя потери были весьма значительными. Понесенные крестьянством убытки были двух видов: убытки в результате инфляции и те, что обусловливались потерей земли, которой крестьяне владели единолично, отдельно от общины.

До революции российские крестьяне накопили значительные сбережения, причем часть их этих сбережений они хранили дома, а часть помещали в государственные сберегательные кассы. За время войны и в первый год революции, когда цены на продовольствие выросли, эти сбережения значительно увеличились. Невозможно точно вычислить, какой суммы они достигли к Октябрьскому перевороту, но некоторое представление получить можно, если обратиться к официальным цифрам и бюджетным предположениям. К началу 1914 года в сберегательных кассах на депозитных счетах находилось 1,55 млрд. рублей[21]. За период с июля 1914 года до октября 1917-го эта сумма выросла еще на 5 млрд. рублей, причем, по данным авторитетных источников, 60–70 % этой суммы было положено в банк крестьянами[22]. Если принять то же отношение для оценки вкладов, внесенных в банки до 1914 года, можно предположить, что ко времени Октябрьского переворота крестьянство имело на счетах 5 млрд. рублей, не считая тех денег, которые хранились дома. Издав декрет о национализации частных банков, большевики обошли в нем сберегательные кассы, так что крестьяне и другие мелкие вкладчики теоретически не потеряли доступа к своим деньгам. Но последовавшая за этим инфляция

настолько обесценила вклады, что это было равносильно прямой конфискации. Как было показано в предыдущей главе, большевики настойчиво и систематически стремились к обесцениванию денег: в течение первых пяти лет их правления покупательная способность рубля упала в миллионы раз, что превратило его в крашеную бумагу. Вследствие этого крестьянин дорого заплатил за землю, хотя и получил ее даром. За 21 млн. десятин, которые перешли в пользование крестьянства, оно заплатило потерей только на банковских счетах 5 млрд. рублей. [При том, что золотой эквивалент довоенного рубля составлял 0,78 г золота, на эти сбережения можно было приобрести 3900 т золота.]. Если согласиться с оценками того времени, по которым от 7 до 8 млрд. рублей хранились дома в чулке и были зарыты в кубышках в землю, можно подсчитать, что за средний участок пахотной земли в 0,4 десятины крестьянин заплатил 600 рублей старыми (до 1918 г.) деньгами. До революции цена за такой участок составила бы в среднем 64,4 рубля. [Земли, выкупленные Крестьянским поземельным банком у помещиков в период между 1906-м и 1915 г., стоили в среднем по 161 рублю за десятину (Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т. 2. Изд. 3-е. Л., 1952. С. 270). Сведения о сумме крестьянских банковских вкладов см.: Новая жизнь. 1918. 31 марта. № 56 (271). С. 2].

Но не только деньгами крестьяне заплатили за прирезку земли. Говоря о частном землевладении в России, обычно имеют в виду земли, находившиеся в собственности помещиков, царской семьи, купечества и духовенства, которые на основании декрета о земле подлежали конфискации и разделу. Но значительная часть (примерно треть) полезных площадей (пахота, лес,

выпас) в дореволюционной России были собственностью крестьян, которые владели ею единолично или, что случалось более часто, на паях. Цифры свидетельствуют, что к началу революции крестьянству и казачеству принадлежало почти столько же земли, сколько помещикам. Из 97,7 млн. десятин полезных площадей (пахота, лес, выпас), находившихся в частном владении в европейской части России, 39 млн. или 39,5 %, принадлежали помещикам (дворянству, чиновникам, офицерству), а 34,4 млн. (34,8 %) — крестьянству и казачеству (данные на январь 1915 г.)[23].

По ленинскому декрету о земле, «простые крестьяне и простые казаки» не должны были терять землю в процессе экспроприации. Но во многих районах центральной России общинное крестьянство игнорировало это постановление и продолжало захватывать земли, принадлежавшие другим крестьянам, наряду с землями помещиков, и включать их в общинный фонд для раздела. Нападению и захвату подвергались хутора и отруба, хозяева которых воспользовались столыпинской реформой и вышли из общин. В один миг были сведены на нет все достижения столыпинской аграрной реформы: принцип общинности сметал все на своем пути. С землей, прикупленной членами общины на стороне, поступали таким же образом: она присоединялась к общинному резерву. В ряде районов община соглашалась оставить крестьянину его собственность, если он урезал свой надел до размера, установленного общиной: на заре коллективизации, в январе 1927 года, из 233 млн. десятин крестьянской земли в РСФСР 222 млн. (или 95,3 %) были

общественной и только 8 млн. (3,4 %) — частной собственностью (в виде отрубов и хуторов)[24].

Ввиду всего сказанного невозможно по совести утверждать, что в результате революции российское крестьянство получило бесплатно большое количество земли. Земли получилось немного, и она была недешева. Российское крестьянство не было гомогенным: за этим абстрактным термином стоят миллионы индивидуальных судеб. Некоторые из крестьян, обладая трудолюбием, бережливостью и деловой смекалкой, начинали преуспевать, скапливали капитал и либо откладывали деньги, либо вкладывали их в землю. И в один момент они потеряли и сбережения, и недвижимость. Таким образом, становится ясно, что мужик изрядно переплатил за все, чем его оделил вдохновляемый коммунистами дуван.

Аграрная революция уравняла крестьянские владения. В 1917–1918 годы по всей России общины урезали наделы, оказывавшиеся больше нормы, и основным критерием при перераспределении земли было число едоков на крестьянское хозяйство. В результате крупные хозяйства, имевшие большие наделы (от четырех десятин и более), стали вытесняться мелкими, чьи наделы были меньше четырех десятин (число первых уменьшилось с 30,9 % до 21,2 % от общей массы хозяйств, число последних возросло с 57,6 % до 72,2 %). [В.Р.Герасимюк (История СССР. 1965. № 1. С. 100; О земле: Сб. статей. М., 1921. Т. 1.С. 25) приводит несколько отличные цифры. Уменьшение числа крупных хозяйств было отчасти связано с тем, что большие крестьянские семьи стали дробиться и распадаться на нуклеарные семьи. Этот процесс, начавшийся в конце XIX в., стал еще более интенсивным при большевиках:

крестьяне стремились принять активное участие в разделе конфискованных земель, а делать это было удобнее, являясь главой семьи.]. Цифры говорят о том, что произошло значительное увеличение числа «середняков», чьи ряды пополнялись как за счет вынужденного обеднения богатых хозяев, так и в силу получения наделов безземельными крестьянами: число последних сократилось вдвое[25]. В результате проведенной уравниловки Россия стала страной мелких крестьянских хозяйств. В воспоминаниях современника послереволюционная Россия сравнивается с пчелиными сотами, в которых мелкие товарные производители «достигли того, что уравняли обладание ими же разгороженной земли, создали ряд парцелл, приблизительно равных по величине»[26]. «Середняк», что на марксистском жаргоне обозначает того, кто не покупает чужого труда и не продает собственного, извлек наибольшую выгоду из аграрной революции; большевики осознали этот факт только некоторое время спустя.

Естественно, не все смогли нажиться на «черном переделе»: от него выиграли в первую очередь те, кто уже до 1917 года имел доступ к общинным землям и председательствовал на сходках. Те крестьяне, которые в 1917–1918 годы бросились из городов обратно в деревню, часто либо вообще исключались из общего дележа, либо были принуждены взять негодные участки земли. То же происходило с безземельными батраками: после раздела они остались с пустыми руками. Большевистские власти через декрет о социализации земли приказывали деревне уделять особенное внимание безземельным и малоземельным крестьянам; разбогатевшие хозяева игнорировали это распоряжение.

Россия попросту не обладала достаточным количеством земли и не могла оделить ею каждого нуждающегося во имя «социализации»[27]. В конце концов безземельные и малоземельные члены общин получили крохотные участки[28].

Революция в России помогла сельской общине достигнуть апогея развития: как ни презирали ее большевики, при них наступил ее золотой век. «Та самая община, которая чахла и сходила на нет на протяжении всего предыдущего десятилетия, процвела по всем аграрным областям страны»[29]. Большевики не противодействовали этому спонтанному процессу, поскольку при них община выполняла ту же функцию, что и при царизме: являлась гарантом выполнения обязательств перед государством.

* * *

Можно сказать, что экономические и социальные последствия революции только усугубили ту проблему, с которой большевикам пришлось столкнуться в самом начале: страна, в которой они провозгласили «диктатуру пролетариата», не только была «мелкобуржуазной» по преимуществу, но еще более укрепилась в этом качестве в результате проводимой ими политики. И вот тогда-то, летом 1918 года, власти принимают решение идти на штурм деревни. Исторические обстоятельства, в силу которых это решение было принято, неизвестны, однако у нас есть достаточно информации, чтобы предположить,

как это произошло и для чего это, собственно, было нужно.

Как и в случае Октябрьского переворота, отправляясь на завоевание деревни, большевики действовали во имя достижения мнимой цели. Их истинной целью было подвести итог Октябрьскому перевороту, установив полный контроль над крестьянством. Но, поскольку такой призыв не мог найти отклик в массах, они провели кампанию против крестьянства под лозунгом «отбивания» хлеба у «кулака» в пользу голодающих городов. Безусловно, недостаток продовольствия в городах оборачивался настоящим бедствием, но, как будет показано ниже, существовали более простые и эффективные способы добывания хлеба. В разговорах между собой члены правительства откровенно признавали, что решение продовольственной проблемы было задачей второстепенной важности. Так, секретный доклад большевиков относительно декрета, предписывающего создание в каждой деревне комитетов бедноты, объяснял принятые меры следующим образом: «Декрет 11 июня об организации деревенской бедноты намечал характер самой организации и отводил ей функции как организации продовольственной. Но истинное назначение этой организации было чисто политическое: произвести классовое расслоение деревни, вызвать к активной политической жизни те ее слои, которые способны были воспринять и проводить задания пролетарской социалистической революции и могли бы также повести за собой по этому пути среднее трудовое крестьянство, вырвав его из-под экономического и социального влияния кулаков и богатеев, засевших в деревенских Совдепах и превративших Совдепы в органы

сопротивления советскому социалистическому строительству»[30].

Иными словами, изъятие продовольствия для городов, «снабжение», служило камуфляжем для политической операции по закреплению большевизма на селе.

В дореволюционной России продовольствие попадало на рынок из двух источников: из крупных сельскохозяйственных поместий и с ферм зажиточных крестьян, причем и первые, и вторые использовали наемный труд: середняк и деревенская беднота сами потребляли весь продукт, который производили. Конфискация и последующий раздел помещичьих земель и большинства крупных частных крестьянских наделов, а также запрет, наложенный правительством на использование наемного труда (хоть он и игнорировался повсеместно), уничтожили основной источник продовольствия для городского населения. Деревенская Россия вынужденно перешла к натуральному хозяйству, и над Россией городской нависла угроза голодной смерти. Одной этой причины было бы достаточно, чтобы объяснить жестокую нехватку продовольствия, возникшую после большевистского переворота. [Примерно треть частных сельскохозяйственных владений — 3,2 % возделываемых угодий, — по большей части отданных под «технические культуры», забрали государственные хозяйства. Теоретически они могли бы решить продовольственную проблему в городах, но разграбляемые местным крестьянством хозяйства эти практически не приносили пользы (Крицман Л.Н. Пролетарская революция и деревня. М; Л., 1929. С. 86–97).].

Но даже и в этих противоестественных условиях крестьянин смог бы накормить город, если бы большевики, руководствуясь в основном политическими соображениями, не уничтожили тот последний стимул, который мог выманить у него излишки хлеба.

Одной из немногих мер Временного правительства, не отмененных большевиками, был закон от 25 марта 1917 года об установлении государственной монополии на торговлю хлебом. На основании этого закона все зерно, остававшееся у производителя помимо количества, необходимого для прокорма его семьи и семенного материала, объявлялось достоянием государства и подлежало сдаче в государственные закупочные пункты по установленным ценам. Те же излишки хлеба, которые не были предъявлены добровольно, подлежали изъятию по цене вдвое меньшей. Таким образом Временное правительство получило в свое распоряжение до 14,5 % урожая[31], но при всем том частная торговля зерном во все время, что оно было у власти, не прекращалась. Большевики повели себя с большей жестокостью, объявив прямую торговлю хлебом с населением «спекуляцией», за которую полагалась суровая кара. В первые месяцы своего существования ЧК занималась по преимуществу преследованием «мешочников» и конфискацией их товара: иногда крестьян-торговцев отправляли в тюрьму, иногда расстреливали. Но даже в этих условиях крестьянин просачивался в города и кормил миллионы людей.

Большевистское правительство требовало, чтобы крестьянин сдавал излишки хлеба на государственные приемные пункты по ценам, представляющимся смехотворными ввиду инфляции: тариф, установленный

на 8 августа 1918 года, составлял, в зависимости от района, от 14 до 18 рублей за пуд ржи, при том, что на рынке он приносил от 290 рублей (в Москве) до 420 (в Петрограде). [Кабанов. Крестьянское хозяйство. С. 159. Крестьянину, продававшему свой хлеб по такой противоестественной цене, приходилось затем приобретать постепенно исчезавшие из продажи промтовары (спички, гвозди, керосин) по рыночным ценам.]. Такой же разрыв существовал между государственными закупочными и рыночными ценами на другие виды сельскохозяйственной продукции, например, мясо и картофель, торговля которыми стала контролироваться к январю 1919 года. Крестьянин реагировал на государственную политику в области ценообразования сокрытием излишков и сокращением посевных площадей. Последнее с неизбежностью отозвалось снижением урожаев[32].

Трагичность ситуации, в которой оказалось городское население центральной и северной России к середине 1918 года, прояснится еще больше, если мы вспомним, что в результате Брестского мира Россия потеряла Украину, приносившую до этого более трети всех зерновых в стране, и что чешское восстание в июне 1918 года отрезало доступ в Сибирь. Не только города и индустриальные центры, но и все большее число деревень, расположенных в неплодородных областях либо занятых надомным промыслом, страдали от голода. Случись только плохая погода, и несчастье становилось неизбежным.

Эта ситуация была чревата как опасностями, так и преимуществами для большевиков. Голод в городах и промышленных областях стимулировал недовольство и подрывал их политическое влияние. В 1918 году города

по всей России вскипали и волновались от недостатка хлеба. В Петрограде, где к концу января 1918 года дневной паек составлял 100 г хлеба, выпеченного пополам с молотой соломой, положение было особенно напряженным[33]. Поскольку этого рациона не хватало для поддержания жизни, горожане вынуждены были прибегать к услугам рынка, причем рыночные цены были искусственно взвинчены вследствие преследования крестьян-торговцев сотрудниками ЧК. Так, цены на хлеб колебались в пределах от двух до пяти и более рублей за фунт, что делало его недоступным для рабочих: те из них, кому посчастливилось найти работу, получали в лучшем случае 300–400 рублей в месяц[34]. В течение всего 1918 года пищевой паек в Петрограде менялся каждые несколько дней, повышаясь или понижаясь в зависимости от того, смогли или нет продовольственные поезда пройти сквозь засады, которые устраивали солдаты-дезертиры и голодные крестьяне. Если последним удавалось перебить охрану, они обирали поезд в одну минуту, и в Петроград он приходил пустым. К марту хлебный паек в Петрограде медленно дошел до 150 г, но уже в конце апреля упал до 50-ти. В провинциальных городах ситуация была не лучше. В Калуге, например, в начале 1918 года дневной паек составлял 125 г[35].

В попытках уйти от голода люди толпами бежали из городов: в основном это были крестьяне, пришедшие в город во время войны, чтобы найти работу в оборонной промышленности, и демобилизованные солдаты городских гарнизонов. По сведениям того времени, население Петрограда непрерывно сокращалось: к апрелю 1918 года 60 % промышленных рабочих, проживавших в нем на январь 1917 года (т. е. 221 000 из

365 000), выехали в деревню[36]. Такая же картина наблюдалась и в Москве. За годы революции и гражданской войны Москва потеряла половину своего населения, а Петроград — две трети[37], что в большой мере свело на нет индустриализацию России и вернуло ей старый облик. [Хорошо осведомленный человек, побывавший в советской России в 1920 году, приводит более впечатляющие цифры: по его мнению, население Петрограда уменьшилось с 3 000 000 (в 1917 г.) до 500 000 человек (Berkman A. The Bolshevik Myth, 1920–1922. Lnd., 1925. P. 33).]. По оценкам русских статистиков, 884 000 семей, или около 5 000 000 человек, бежали из городов в деревню за период между 1917 и 1920 годами[38]. Это соответствует числу крестьян, переселившихся в городские местности за время войны (примерно 6 000 000).

Оставшиеся в городах выражали недовольство недостатком продовольствия, выходя на демонстрации или даже организуя восстания. Мужчины и женщины из низших сословий, обезумев от голода, с боем брали магазины и склады продовольствия. В газетах публиковались сообщения о домохозяйках, бегавших по улицам с криками: «Хлеба!» Торговцы, заламывавшие слишком высокие цены, рисковали стать жертвами самосуда. Во многие города по указу местных властей был прекращен или ограничен въезд. Петроград стал закрытым городом: в феврале 1918 года Ленин подписал указ, запрещавший лицам, проживавшим в других местах, въезд в столицу и некоторые области северной России. Эта практика была принята и в других городах[39].

В атмосфере голода и беззакония росла городская преступность. По донесениям милиции, в третий месяц

большевистского правления населением Петрограда было совершено 15 600 краж со взломом, 9370 ограблений магазинов, 203 801 карманная кража и 125 убийств[40]. О числе незарегистрированных преступлений можно только догадываться, но оно было, по-видимому, велико, поскольку запуганные жертвы произвола боялись доносить на грабителей, орудовавших под именем «экспроприаторов».

В деревне тоже царил хаос. Некоторые губернии (например, Воронежская) были завалены хлебом; другие (соседняя с ней Рязанская) отчаянно голодали. Пока одни сидели на значительных излишках хлеба, другие умирали с голода. Владельцы излишков либо продавали зерно по рыночным ценам, либо, в большинстве случаев, припрятывали его в надежде, что государственная монополия на торговлю хлебом будет отменена. Благотворительность была не в ходу: сытые крестьяне не только прогоняли, но и преследовали голодных, осмелившихся просить подаяния[41].

Страницы газет первой половины 1918 года, посвященные проблемам села, дают нам картину непрекращающегося и неприкрытого кошмара. Заметка, опубликованная в «Рязанской жизни» в начале марта, может быть, и не совсем показательна, поскольку голод в Рязани достигал чудовищных размеров, но дает некоторое представление о том, как быстро стала вырождаться деревня при большевиках, до какой примитивной анархии она опустилась. По сообщению газеты, крестьяне этой губернии ограбили все магазины, торговавшие спиртным, и находились в состоянии беспробудного пьянства. Они устраивали дикие драки и оргии, в которых принимали участие старики и молодые

девушки. Детей, чтобы не путались под ногами, тоже поили водкой. Не желая терять свои деньги в результате конфискации и инфляции, крестьяне проигрывали огромные суммы в азартные игры, чаще всего в «очко»: простой мужик мог спустить таким образом до тысячи рублей за вечер. «Старики… покупают картины «страшного суда». Мужики в глубине души верят, что «конец мира» близок… А пока, до ада, на земле идет ломка всего старого, недавно с большими усилиями созданного. Ломают все так, что треск идет по всему уезду»[42].

В тем местах, где голод был особенно силен, отчаявшиеся крестьяне устраивали «голодные бунты», уничтожая все вокруг. После одного такого бунта в неком уезде Новгородской губернии местные коммунистические власти обложили население в 12 000 человек «контрибуцией» на сумму 4,5 млн. рублей, как если бы они были восставшим населением захваченной колонии[43].

Голод был несомненной опасностью, однако большевики усматривали в нем и положительные стороны. Во-первых, государственная монополия на торговлю хлебом хоть и привела к сокращению продовольствия, но зато позволила ввести систему распределения, которая, в свою очередь, позволила взять под контроль городское население и выделить и поощрить определенные социальные группы. Во-вторых, голод сломил дух нации, сделав ее неспособной к сопротивлению. Психология голода изучена плохо, но русские исследователи отмечали, что он делает человека более склонным подчиняться авторитету. «Голод плохой спутник в творчестве и созидании, — писал один

большевик, — он вдохновитель слепого разрушения, темного страха, желания отдаться, вручить свою судьбу на волю кого-то, кто бы взял ее и устроил»[44]. Если голодный и может драться, то только с таким же голодным и за кусок хлеба. Этот вид политической апатии приводит человека к покорности, которой не добиться полицейскими мерами.

Большевики хорошо сознавали политическую выгоду голода, — это можно доказать тем, что они отказались бороться с ним единственным мыслимым способом, к которому прибегли впоследствии, когда их власть в России стала бесспорной, — введением свободного рынка на торговлю хлебом. Как только это было сделано, производство зерна стало стремительно расти и вскоре достигло довоенного уровня. И о такой возможности они, конечно, знали. В мае 1918 года специалист по производству зерна СД.Розенкранц объяснял Зиновьеву, что нехватка хлеба не является следствием «спекуляции», а возникла из-за отсутствия стимула к производству. При установлении монополии на хлеб крестьянину становилось невыгодно выращивать его на продажу. Засаживая освобожденные из-под хлеба площади корнеплодами (картофелем, морковью и свеклой), которыми все еще разрешалось торговать на рынке, он зарабатывал огромные деньги: на свободном рынке пуд такой продукции приносил до 100 рублей, то есть с одной десятины крестьянин мог получить до 50 000—60 000 рублей дохода. Незачем было утруждать себя выращиванием хлеба, если государство все равно конфисковывало его за бесценок. Розенкранц выразил уверенность, что, если правительство более реалистически отнесется к возможности свободной

торговли хлебом, проблема голода будет решена в два месяца[45].

Некоторые большевики склонны были согласиться с таким решением. А.И.Рыков, руководитель Госплана, высказывался в пользу политики, комбинирующей принудительные поставки зерна с договорными отношениями между государством и сельскими кооперативами, частными производителями[46]. Другие считали, что правительство должно скупать хлеб по ценам, приближающимся к рыночным (как минимум по 60 руб. за пуд), и продавать его населению со скидкой[47]. Но все эти соображения отметались по политическим соображениям. Как объяснил впоследствии меньшевистский «Социалистический вестник»[48], монополия на хлеб нужна была коммунистической диктатуре, чтобы выжить: не имея возможности поставить под контроль огромную армию производителей, коммунисты вынуждены были довольствоваться контролем над сельскохозяйственной продукцией. И действительно, как мы узнаём из того же источника, в начале 1921 года большевики обсуждали внесенное Осинским предложение превратить крестьян в государственных служащих и позволить им распахивать только те земли, которые укажут власти, и только при условии выдачи всех излишков — предложение, положенное под сукно из-за внезапно вспыхнувшего Кронштадтского восстания и перехода к новой экономической политике. Если бы свободная торговля хлебом была разрешена, крестьянин вскоре вошел бы в достаток и стал серьезной «контрреволюционной» силой и угрозой из-за возросшей экономической независимости. На такой риск новая власть могла пойти, только прочно утвердившись по всей России. Ленинская верхушка

готова была подвести страну к голоду, уносящему миллионы жизней, лишь бы обеспечить себе политическую власть.

В подобной политической ситуации любые экономические меры, которые пытались изыскать большевики для решения проблемы голода, оказывались абсолютно бесполезными. Они издавали декрет за декретом, меняя процедуры сбора и распределения продовольствия, настойчиво преследовали «спекулянтов», в которых по-прежнему видели виновников голода, и определяли для них суровые наказания. Так, в конце декабря 1917 года Ленин подписал один из таких декретов, гласивший, что «критическое положение продовольствия, угроза голодовки, созданная спекуляцией, саботажем капиталистов и чиновников, а равно общей разрухой, делают необходимыми чрезвычайные, революционные меры для борьбы с этим злом». Эти меры, конечно же, не были направлены на решение продовольственных задач и состояли в национализации российских банков и заявлении об отказе уплаты внутренних и внешних долгов России. [Декреты. Т. 1. С. 227–228. В конечной, опубликованной версии этого декрета основания, сформулированные Лениным, отсутствуют (С. 230): видимо, даже ему они показались абсурдными.]. По сообщению А.Д.Цюрупы, забастовка 1300 служащих нарком-прода против диктатуры большевиков еще больше усугубила ситуацию, поскольку после увольнения бунтовщиков их места были заняты совершенно некомпетентными людьми[49].

Не желая отказаться от монополии на хлеб, большевики не сделали ничего, чтобы предотвратить голод, наступление которого предсказывалось прессой

того времени. Подобно царскому правительству, они пытались бороться с внутренним кризисом путем бюрократических перестановок и процедурных изменений. Так как подобное топтание на месте было не свойственно им при решении проблем, кровно их занимавших, мы можем заключить, что голод был не из их числа.

13 февраля Троцкий был назначен председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению. Как «диктатор снабжения» он должен был организовать доставку продовольствия в города с помощью «чрезвычайных революционных мер», то есть, если отказаться от эвфемизма, с применением военной силы[50]. Но не успел он приступить к выполнению этого задания, как был назначен наркомом по военным и морским делам: сведениями о его деятельности на предыдущей должности мы не располагаем. Власти продолжали засыпать деревню призывами накормить голодный Петроград и Москву[51], не забывая при этом посылать проклятия в адрес русской и иностранной «буржуазии», якобы виновной в недостатке хлеба. В феврале 1918 года правительство ввело за «мешочничество» высшую меру наказания[52].

25 марта власти сделали попытку выкачать хлеб из деревни при помощи меновой торговли. За две недели было выпущено 1,6 млрд. рублей на закупку потребительских товаров, предназначенных для обмена на 2 млн. тонн зерна[53]. Но поскольку потребительских товаров, на которые был основной расчет, найти не удалось, весь план рухнул. В апреле, исчерпав все более или менее реалистические пути решения проблемы, правительство приняло план строительства новой

железной дороги для вывоза хлеба из труднодоступных областей[54]. Ни одной шпалы так и не было уложено.

К началу мая у большевиков не осталось иного выхода, как заняться проблемой снабжения всерьез: в промышленных центрах и городах нехватка продовольствия принимала устрашающий характер; в Кремль одна за другой сыпались телеграммы с донесениями, что рабочие, получавшие самый щедрый паек, начинают голодать[55]. На черном рынке в Петрограде фунт хлеба, в январе стоивший 3 рубля, обходился теперь в 6-12 рублей[56]. Нужно было срочно что-то предпринимать. Специалисты советовали установить свободные рыночные отношения в торговле хлебом, и фабричные рабочие требовали того же, однако, исходя из политических соображений, было найдено другое решение. И решение это было — завоевать и подчинить себе деревню с помощью оружия.

* * *

О принятии новой политики заявил Я.М.Свердлов 20 мая 1918 года: «Если мы в городах можем сказать, что революционная советская власть в достаточной степени сильна, чтобы противостоять всяким нападкам со стороны буржуазии, то относительно деревни этого сказать ни в коем случае нельзя. Поэтому мы должны самым серьезным образом поставить перед собой вопрос о расслоении в деревне, вопрос о создании в деревне двух противоположных враждебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в деревне беднейших

слоев населения кулацким элементам. Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах <…> только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделали то, что смогли сделать для городов»[57].

Это невероятное заявление значило, что большевики решились восстановить одну часть сельского населения против другой, развязать гражданскую войну между людьми, мирно жившими бок о бок, чтобы создать себе в деревне опору, которой они раньше были лишены. Штурмовые войска, предназначенные для ведения этой кампании, должны были состоять из городских рабочих, безземельных крестьян и сельской бедноты. Врагами объявлялись состоятельные крестьяне, или «кулаки», — деревенская «буржуазия».

Ленин ненавидел тех, кого называл «буржуазией», с такой сокрушительной силой страсти, что эту ненависть можно было поставить в один ряд только с чувством, которое Гитлер испытывал к евреям: он не был согласен остановиться ни на чем, кроме полного их физического уничтожения. Городской «средний класс» — представители свободных профессий, финансисты, промышленники, рантье — доставили ему мало хлопот, сразу став в позу покорности и подтвердив тем самым один из тезисов основного манифеста российской социал-демократии от 1898 года, что чем дальше на восток, тем «трусливее» в политическом смысле становится буржуазия. Дай им в руки лопату, — и они уже гребут снег, и даже улыбаются через силу, если их хотят сфотографировать. Наложи на них «контрибуцию», — они покорно ее заплатят. Эти люди

предупредительно избегали контактов с антибольшевистскими армиями и подпольными организациями. Многие из них уповали на «чудо» вроде германской интервенции или на то, что политика большевиков будет развиваться в сторону большего «реализма». Пока же инстинкт подсказывал им, что надо сидеть тихо. Когда весной 1918 года большевики, желая поднять промышленное производство, стали привлекать их к труду на предприятиях, их надежды ожили. Как выразилась «Правда», такой «буржуазии» бояться было нечего[58]. То же относилось и к социалистической интеллигенции, называемой большевиками «мелкобуржуазной»: у нее были свои соображения, чтобы не оказывать сопротивления. Эти критиковали большевиков, но когда появлялась возможность драться, они быстро принимали защитную окраску и сливались с фоном.

В деревне ситуация складывалась иначе. По западным стандартам, в России, конечно же, не было «деревенской буржуазии», разве что немногочисленная группа крестьян, которые оказались более состоятельными, так как владели несколькими десятинами земли или еще одной лошадью и коровой и могли время от времени нанимать батрака. Но Ленин был одержим идеей «классового расслоения» русской деревни. Еще молодым человеком он изучал статистику земств, обращая пристальное внимание на мельчайшие различия в экономическом статусе разных групп сельского населения: все, что могло указывать на рост дистанции между бедными и богатыми крестьянами, как бы незначительна она ни была, казалось ему зародышем социального конфликта, который могли использовать революционеры[59]. Чтобы установить контроль над

деревней, в ней следовало разжечь гражданскую войну, а для этого необходим классовый враг. С этой целью Ленин создал миф о многочисленном сильном и контрреволюционно настроенном классе «кулаков», стремившемся уморить «пролетариат».

Гитлеру было проще — он мог обратиться к генеалогическим («расовым») критериям, чтобы определить еврея. Для определения того, кто являлся «кулаком», критериев не было. Этот термин никогда не был ни социально, ни экономически точно определен: некий очевидец, проведший годы революции в сельской местности, утверждает, что сами крестьяне этим термином не пользовались[60]. Слово это стало употребляться в разговорной речи в России в 1860-е годы и определяло не экономический статус, а психологический тип крестьянина, который в силу личных свойств стоял в общине особняком. Такие крестьяне играли активную роль на деревенских сходках и в волостных судах; иногда они давали деньги в рост, но это не являлось их отличительным качеством. Радикальные публицисты и романисты конца XIX века, увлеченные мечтой об идеальной коммуне, ругали кулаков деревенскими эксплуататорами, но мы не имеем никаких сведений о том, что остальные крестьяне относились к ним враждебно[61]. Более того, агитаторы, отправлявшиеся в 1870-е годы «в народ», обнаружили, что в глубине души каждый крестьянин мечтал заделаться «кулаком». Неудивительно поэтому, что как до, так и после 1917 года не было никакой возможности отличить середняка от кулака ни по каким объективным признакам, — даже Ленин в моменты откровенности признавал это[62].

То, что у слова «кулак» не было точно определенного социального значения, выявилось сразу же, как только большевики решили развязать классовую войну в деревне. Комиссары, посланные на село с целью организовать «бедноту» против «кулачества», не могли справиться с заданием, так как не находили соответствующих социальных эквивалентов в тех общинах, куда их направляли. Один такой уполномоченный доносил из Самарской губернии, что там 40 % населения были кулаками[63], а большевистские власти Воронежской губернии сообщали в Москву, что «борьба с кулаками-богатеями невозможна, так как они составляют большинство населения»[64].

Но Ленину во что бы то ни стало требовалось найти классового врага в деревне: до тех пор, пока деревня была вне его политического контроля и под влиянием эсеров, большевистские бастионы в городах оставались сильно уязвимыми. Отказ крестьян отдавать городу хлеб по установленным ценам дал Ленину возможность натравить городское население на деревню, якобы с целью добывания продовольствия, но на самом деле, чтобы установить там свою власть.

Энгельс высказал мысль, что беднота и безземельный сельский пролетариат может, при определенных условиях, стать союзником промышленного пролетариата. Ленин принял ее на вооружение[65]. Из этой-то предпосылки он стал исходить. В августе 1918 года он вольно и наугад приводил статистические «данные» по классовой структуре российской деревни, что впоследствии привело к страшным результатам. «Допустим, — писал он, — что у нас в России 15 миллионов земледельческих семей,

считая прежнюю Россию, до того времени, когда хищники оторвали от нее Украину и прочее. Из этих 15 миллионов, наверное, около 10 миллионов бедноты, живущей продажей своей рабочей силы или идущей в кабалу к богатеям или не имеющей излишков хлеба и особенно разоренной тяготами войны. Около 3-х миллионов надо считать среднего крестьянина, и едва ли больше 2-х миллионов кулачья, богатеев, спекулянтов хлебом»[66].

Приведенные цифры не имели ни малейшего отношения к действительности: они попросту представляли собой округленные результаты того исследования, которое Ленин проводил до революции, изучая «классовую дифференциацию» российской деревни. К примеру, в 1899 году он вычислил, что отношение богатеев к середнякам и бедноте составляет 2:4:4. В 1907 году он сделал вывод, что 80,8 % крестьянских хозяйств были «бедными», 7,7 % — «средними» и 11,5 % — состоятельными[67]. Называя цифры в приведенном нами вначале рассуждении, Ленин не учитывал тот факт, что в результате аграрной революции количество как богатых, так и бедных крестьян сократилось. Сказав, что беднота составляет две трети населения деревни, он уже через полгода должен был признать, что среднее крестьянство — «это самый крупный слой»[68]. Таким образом становится ясно, что здесь мы имеем дело не со статистическими данными, а с политическими лозунгами, вдохновителем которых был Энгельс: в 1870 году он писал о Германии, что «сельский пролетариат является самым многочисленным классом в деревне»[69]. Если такое обобщение и можно было сделать, говоря о Германии конца XIX века, оно никак не могло быть отнесено к

России после 1917 года, в которой «самым многочисленным классом в деревне» являлся середняк.

Пресловутая «классовая дифференциация» российской деревни была в большой степени и плодом воображения городской интеллигенции, которая черпала сведения о деревне в статистических справочниках. Ведь как определялся «капитализм в деревне»? По Ленину, «главный признак и показатель капитализма в земледелии — наемный труд»[70]. Согласно аграрной переписи 1917 года, в 19 обследованных губерниях только 103 000 земледельческих семей из 5 000 000 опрошенных использовали наемный труд, следовательно, «капиталистов» в деревне было 2 %. Но даже и эти цифры потеряют всякую важность, если принять во внимание, что эти 103 000 семей пользовались трудом всего 129 000 работников, то есть редко имели больше одного[71]. Работника нанимали, если кто-то в семье заболел или был призван в армию. В любом случае, при том, что всего 2 % крестьянских хозяйств пользовались наемным трудом в среднем одного батрака на семью, трудно говорить о проникновении капитализма в российскую деревню и совсем невозможно утверждать, что 2 миллиона кулаков эксплуатировали 10 миллионов бедняков. Используя другой критерий — а именно: отсутствие доступа к общинным землям, — коммунистические статистики определили, что менее 4 % деревенского населения можно было квалифицировать как «бедняков»[72].

Ленин игнорировал эти эмпирические данные: раз решившись развязать классовую войну между городом и деревней, он продолжал дорисовывать вымышленную картину социо-экономических условий в земледельческих

областях, чтобы иметь повод к нападению. Определяя, кто был представителем «буржуазии» в деревне, Ленин руководствовался признаками политическими, а не экономическими: тот, кто был против большевиков, объявлялся кулаком.

Декреты по сельскому хозяйству, изданные большевиками в период с мая по июнь 1918 года, преследовали четыре цели:

1) истребить политически активное крестьянство, почти поголовно поддерживающее эсеров, объявив их «кулаками»;

2) подорвать общинное землевладение и заложить основы для создания колхозов, подчиненных государству;

3) устранить из сельсоветов всех эсеров и заменить их на посланных из города большевиков или сочувствующих большевикам;

4) добыть продовольствие для городов и промышленных центров.

Большевистская пропаганда придавала сбору продовольствия главное значение, но в действительности в иерархии их стратегических планов оно занимало чуть ли не последнее место. Впоследствии, когда дым рассеялся, количество собранного продовольствия оказалось на удивление смехотворным; в противоположность этому, достигнутые политические результаты улыбки не вызывали.

Кампания против деревни была проведена с четкостью и жестокостью военной операции. Основная стратегия, получив одобрение большевистского Центрального Комитета, была утверждена на совещании

Совнаркома 8 и 9 мая. Совнарком заново подтвердил государственную монополию на торговлю хлебом. Наркомпрод Цюрупа получил чрезвычайные полномочия, чтобы обеспечить исполнение декрета от 13 мая[73] о сдаче всеми крестьянами излишков хлеба на государственные закупочные пункты по установленным ценам. Крестьяне, уклонявшиеся от сдачи излишков и прятавшие их или гнавшие самогон, объявлялись «врагами народа». Ленин призывал массы «вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии»[74]. Кампания строилась как нападение на «кулака» с двух сторон: со стороны «пятой колонны», состоявшей из бедняков, организованных в комитеты бедноты (комбеды), и со стороны «продовольственных отрядов», которые формировались из вооруженных рабочих и должны были быть брошены на деревню, чтобы силой вырвать у «кулака» спрятанный хлеб. В преамбуле к декрету от 13 мая большевики обвиняли «крестьянскую буржуазию» в том, что она нажилась на войне и отказывается продавать хлеб государству, поскольку рассчитывает сбыть его на черном рынке по спекулятивной цене. Выходило, что задачей богатого крестьянства было заставить правительство отказаться от монополии на торговлю хлебом. Если правительство поддастся на этот шантаж, говорилось в декрете далее, игнорируя отношение спроса к предложению, цены на хлеб стремительно вырастут и сделают его абсолютно недоступным для рабочих. «Упрямство» деревенского «кулака» должно быть сломлено: «Ни один пуд хлеба не должен оставаться на руках крестьянина за исключением количества, необходимого на обсеменение его полей и на продовольствие его семьи до нового урожая»[75].

Процедура по изъятию излишков хлеба у крестьянина была разработана во всех подробностях. Все крестьяне без исключения должны были заявить об имевшихся у них излишках в течение недели по издании декрета. Те, кто этого не сделал, должны были предстать перед революционными трибуналами, которые могли приговорить к лишению свободы на десять лет с последующей конфискацией имущества и исключением из общины. [Цюрупа определял как «излишки» все зерно свыше 12 пудов зерна или муки (196 кг) на человека и 1 пуда (16,3 кг) отрубей; он также установил нормы фуража для рабочих лошадей и корма для домашней живности (см.: Известия. 1918. 28 авг. № 185 (440). С. 5)].

Вооруженные банды, иногда под видом отрядов Красной Армии, совершали в поисках продовольствия набеги на деревню в течение всей предыдущей зимы. Крестьяне оказывали им бешеное сопротивление, особенно получив подкрепление в лице солдат, приезжавших домой с фронта и имевших оружие; набежчики часто возвращались в город с пустыми руками. В январе 1918 года Ленин выдвинул предложение о создании «нескольких тысяч вспомогательных отрядов», от десяти до пятнадцати человек каждый, уполномоченных расстреливать оказывающих сопротивление крестьян, но оно тогда не получило поддержки[76]. Только весной 1918 года большевики приступили к систематическому формированию террористических отрядов для борьбы с деревней. Первым шагом явилось воззвание к петроградским рабочим, опубликованное за подписью Ленина 21 мая[77]. За ним последовали другие воззвания и распоряжения. Нет сомнения, что моделью для этой

политики добывания продовольствия с боем послужили armees revolutionnaires, появившиеся в 1793 году, — одно из первых детищ французского Комитета общественного спасения. Тогда же были изданы законы, ставящие под запрет накопление сельскохозяйственной продукции.

Меры большевиков не вызывали сочувствия у русских рабочих. Готовые подняться на борьбу против «буржуев» и помещиков, от которых их отделял непреодолимый культурный барьер, они не хотели вооружаться против деревни, где многие из них родились и все еще имели родственников. Они не испытывали той классовой ненависти даже к относительно богатому крестьянину, которую им приписывали Ленин и его последователи. Левые эсеры, пользовавшиеся значительной поддержкой среди петроградских рабочих, протестовали против действий большевиков, направленных на разжигание классовой ненависти между рабочими и крестьянами. Центральный комитет левых эсеров запретил членам партии вступать в продовольственные отряды. Зиновьев, руководивший «борьбой с голодом», сталкивался со значительными трудностями при формировании этих отрядов в Петрограде, несмотря на то, что предлагал добровольцам щедрое вознаграждение. 24 мая он объявил, что продотряды выступают в поход за хлебом через два дня, но выступать оказалось некому. Митинги на петроградских фабриках, организованные рабочими уполномоченными, приняли резолюции против этих мер[78]. Пять дней спустя Зиновьев повторил свой призыв, не забыв сопроводить его следующей угрозой в адрес «буржуазии»: «Мы предоставим им [«буржуям»] по 1/16 фунта в день, для того, чтобы они не забыли запаха хлеба. Но если нам придется перейти на перемолотую

солому, то в первую очередь мы переведем на нее буржуазию»[79]. На рабочих это не произвело ожидаемого впечатления: здравый смысл, пагубно отсутствовавший в среде большевистской интеллигенции, говорил им, что проблему продовольствия нужно решать, введя свободную торговлю зерном. Со временем, однако, Зиновьеву удалось путем угроз и поощрений создать несколько продотрядов, первый из которых отправился в деревню 1 июня и состоял из 400 человек[80].

Результаты действия продотрядов были неутешительными. Поскольку добропорядочные рабочие держались от них в стороне, большинство добровольцев было набрано из городских подонков, отправлявшихся в деревню с целью прямого грабежа. К Ленину посыпались жалобы[81]. Вскоре после того как первый продотряд выехал в деревню, он послал рабочим одного из промышленных предприятий следующее обращение: «Я очень надеюсь, что выксинские товарищи рабочие свой превосходный план массового движения с пулеметами за хлебом осуществят как истинные революционеры, то есть дав в отряд отборных людей, надежных, не грабителей и для действия по нарядам в полном согласии с Цюрупой, для общего дела спасения от голода всех голодных, а не только для себя»[82].

Судя по жалобам, поступавшим от крестьян, обычной практикой для вооруженных городских банд было обжираться награбленной едой и напиваться захваченным самогоном[83]. Даже угроза сурового наказания не могла их сдержать, и в конце концов правительство было вынуждено разрешить членам продотрядов удерживать для личного пользования 20

фунтов продовольствия — из них до 2 фунтов масла, 10 фунтов хлеба, 5 фунтов мяса[84].

Но ни угрозы наказания, ни попытки сыграть на заинтересованности не сработали, и через некоторое время правительство было вынуждено прибегнуть к помощи только что созданной Красной Армии. То, что декрет об обязательной воинской повинности в советской России, изданный 29 мая 1918 года, совпал по времени с организацией продовольственных отрядов, вовсе не было случайностью. 26 мая Ленин набросал вполне прозрачную резолюцию, которая на следующий день была одобрена Центральным Комитетом. Из нее ясно видно, что одним из первейших предназначений создававшейся Красной Армии была война против российского крестьянства:

«1) Военный Комиссариат превратить в Военно-продовольственный Комиссариат — т. е. сосредоточить 9/10 работы Военного Комиссариата на переделке армии для войны за хлеб и на ведении такой войны — на 3 месяца: VI–VIII.

2) Объявить военное положение во всей стране на то же время.

3) Мобилизовать армию, выделив здоровые ее части, и призвать 19-летних, хотя бы в некоторых областях, для систематических военных действий по завоеванию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива.

4) Ввести расстрел за недисциплину <…>

5) Ввести круговую поруку всего отряда, например, угрозу расстрела десятого, — за каждый случай грабежа»[85].

Только неожиданно вспыхнувшее восстание чехословаков помешало отправить всю Красную Армию на борьбу с крестьянством, но она, тем не менее, сыграла в этой кампании решающую роль. Красная Армия еще не была создана, а Троцкий уже заявлял, что ее задачей в ближайшие два — три месяца будет «борьба с голодом»[86], то есть, если отбросить эвфемизм, «борьба с крестьянством». Хотя война с мужиком и не принесла красноармейцам медалей, сама по себе кампания явилась для Красной Армии первым боевым крещением. 75 000 солдат регулярной армии плечом к плечу с 50 000 вооруженных вольноопределяющихся сражались против производителей хлеба в стране[87].

На насилие крестьяне отвечали насилием. Пресса того времени пестрит отчетами о решительных вооруженных столкновениях между крестьянами и воинскими частями. Командующие армейскими частями и отрядами добровольцев, совершающими рейды в деревню, периодически доносили о «кулацких восстаниях», но факты свидетельствуют, что встречаемое ими сопротивление было спонтанной попыткой крестьян защитить свое имущество, типичной не только для «богатеев», но и для всего сельского населения. «Если разобраться более внимательно, так называемые кулацкие восстания в подавляющем числе случаев оказываются общекрестьянскими восстаниями, в которых трудно выделить классовые различия»[88]. Крестьян ничуть не занимали нужды города, и они оставались в полном неведении относительно «классовой дифференциации». Им было ясно одно: городские вооруженные банды, часто состоявшие из бывших крестьян, одетых в кожанки и военную форму, грабили их и отбирали хлеб. Даже при крепостном праве у них не

отбирали всего урожая; не собирались они его отдавать и теперь.

Вот, например, характерный образец газетного сообщения тех дней, освещающего события второй половины 1918 года: «В Городищенской обл. Орловской губ., когда прибыл реквизиционный отряд, бабы вместо того, чтобы отдать им продукты, побросали их в воду, а после отъезда нежданных гостей стали их из воды вылавливать. В Лавровской области, той же губернии, крестьяне обезоружили «красный отряд». В Орловской губ. реквизиция предпринята вообще в самом широком размере. Подготовления, как для настоящей войны. В некоторых уездах, — пишет «Наша Родина», — на время реквизации хлеба мобилизованы частные автомобили, верховые лошади и экипажи. В Никольской и соседних волостях настоящие бои: убитые и раненые с обеих сторон. Отряд телеграммой просил выслать из Орла патроны и пулеметы… Из Саратовской губ. пишут: «Деревня насторожилась, готовясь к отпору. В некоторых селах Вольского уезда крестьяне встретили красноармейцев вилами и заставили их скрыться». В Тверской губернии направившиеся в деревни в поисках хлеба партизанские отряды повсюду встречают отпор; передают из разных мест о столкновениях; сберегая хлеб от реквизиции, крестьяне прячут его в лесах, зарывая в землю. В Корсуне, Симбирской губ., на базаре произошел бой между крестьянами и красногвардейцами, пытавшимися реквизировать хлеб. Один красногвардеец убит, несколько ранено»[89].

В январе 1919 года «Известия» поместили сообщение о следствии, проведенном правительством по делу о «кулацко-белогвардейском» восстании в одной из деревень Костромской губернии. Оно наглядно

иллюстрирует методы борьбы с сельской «буржуазией». Как показало следствие, председатель деревенского исполкома регулярно избивал крестьян, обращавшихся к нему с жалобами, причем иногда — палкой. Некоторых из своих жертв он заставлял разуваться и сидеть в снегу. Так называемые реквизиции продовольствия оборачивались обыкновенным грабежом, в процессе которого крестьян пороли нагайками. Приближаясь к деревне, продотряд открывал пулеметный огонь, чтобы напугать жителей. Затем их начинали избивать. «Мужикам приходилось надевать по пяти и более рубах для того, чтобы не ощущать порку, но и это мало помогало, т. к. плети были свиты из проволоки, и случалось, что после порки рубахи врезались в тело и так засыхали, что приходилось отмачивать теплой водой»[90]. Солдат поощряли избивать крестьян чем ни попадя, «чтобы помнили советскую власть».

Правительство упорствовало в жестокости, и деревня поднялась на восстание. Это было беспрецедентным в русской истории, поскольку предыдущие крестьянские восстания, такие, как разинское или пугачевское, в основном происходили в восточных и юго-восточных пограничных областях. Никогда ничего подобного не происходило в центре России. Крестьянское восстание против большевиков, вспыхнувшее летом 1918 года, по размеру охваченных им территорий и по числу участников оказалось самым значительным за всю историю страны. [Один из исследователей убедительно показывает, что по числу действующих лиц и значимости вероятного исхода «размах большевистской войны против крестьянства на внутреннем фронте во много раз превосходил размах военных действий на фронтах гражданской войны с

белыми» (Бровкин В. На внутреннем фронте: Большевики и зеленые: Докл. 20-му Национальному симпозиуму American Association for the Advancement of Slavic Studies. 1988. Ноябрь. С. 1).]. Подробности этого восстания до сих пор плохо изучены вследствие отказа лиц, ведающих советскими архивами, опубликовать соответствующие документы, а также из-за неподдающегося объяснению отсутствия интереса у западных историков. [Информация о «беспорядках» среди рабочих и крестьян подлежала цензуре; газеты, помещавшие подобные сообщения, подвергались штрафам и иногда закрывались. К началу 1919 г. вся информация такого рода проходила проверку военных цензоров, и они автоматически выбрасывали ее из той горстки небольшевистских газет, которые еще выходили в свет (см., напр.: Дело народа. 1919.21 марта. № 2. С. 1). Единственная научная монография, написанная на эту тему, принадлежит М.Френкину (Трагедия крестьянских восстаний в России в 1918–1921 гг. Иерусалим, 1988). Восстания 1918–1919 гг. рассматриваются в монографии в главе 4, с 73-111]. По донесениям ЧК, в 1918 году в деревнях произошло 245 восстаний, в результате них большевики потеряли 875, а восставшие — 1821 человека. Кроме того, 2431 человек из числа восставших были расстреляны[91]. Эти цифры, однако, отражают только часть понесенных обеими сторонами потерь или, может быть, говорят только о потерях, понесенных самой ЧК. Советский историк в опубликованной недавно работе пишет, что, судя по неполным данным, только с июля по сентябрь 1918 года в 22 губерниях было убито примерно 15 000 «сторонников» большевиков, т. е. солдат Красной Армии, бойцов продотрядов и местных коммунистов[92]. В книге по истории компартии в Челябинске приводится

фотография, на которой отряд красноармейцев позирует возле пулемета. Судя по надписи к фотографии, весь отряд в 300 человек, за исключением одного красногвардейца, погиб во время «кулацкого восстания»[93]. Очевидно, что такие же потери у обеих сторон могли иметь место и в других уездах и губерниях[94].

Антикоммунистические восстания крестьян, подробности которых мы не можем себе представить даже приблизительно, были подавлены только в 1921 году. Хотя восставшие крестьяне численно превосходили противника, их связывали недостаток огнестрельного оружия и отсутствие организации: каждое локальное восстание происходило спонтанно и обособленно[95]. Эсеры, хотя и играли в деревне существенную роль, отказывались помогать крестьянам в организации повстанческой деятельности, — видимо, из страха сработать на руку белым.

Несмотря на жестокость, которую проявляли продотряды в деревне, лишь незначительное количество продовольствия достигло городов: то, что удавалось собрать, потребляли в основном сами реквизиторы. Через два месяца после организации продотрядов, 24 июля 1918 года, Ленин проинформировал Сталина, что ни Москва, ни Петроград еще не получили хлеба[96]. Провал этой беспримерной по жестокости операции приводил Ленина в бешенство. Война на деревенском фронте не приносила успехов, и, по мере того, как приближалось время сбора следующего урожая, он все активнее бранил большевистских командиров продотрядов за нерешительность и призывал их к

большей безжалостности. В августе он телеграфировал Цюрупе:

«1) Это архискандал, бешеный скандал, что в Саратове есть хлеб, а мы не можем его свезти!! Не командировать ли на каждую узловую станцию по 1–2 продовольственника? Что бы еще сделать?

2) Проект декрета — в каждой хлебной волости 25–30 *заложников* из *богачей,* отвечающих *жизнью* за сбор и ссыпку *всех* излишков»[97].

Цюрупа отвечал: «Заложников можно взять тогда, когда есть реальная сила. А есть ли она? Сомнительно». Ленин отвечал: «Я предлагаю заложников *не взять,* а *назначить* поименно по *волостям»*[98]. Это явилось первым звоночком политики взятия заложников, которая через четыре недели была развернута в массовом масштабе как «красный террор». То, что Ленин имел самые серьезные намерения относительно проведения предложенных им мер, становится ясно при чтении инструкции, посланной в Пензенскую губернию, где в то время было в разгаре крестьянское восстание:

«При подавлении восстания пяти волостей приложить все усилия и принять все меры в целях изъятия из рук держателей всех дочиста излишков хлеба, осуществляя это одновременно с подавлением восстания. Для этого по каждой волости назначайте (не берите, а назначайте) поименно заложников из кулаков, богатеев и мироедов, на коих возлагайте обязанность собрать и свезти на указанные станции или ссыпные пункты, и сдать властям все до чиста излишки хлеба в волости.

Заложники отвечают жизнью за точное, в кратчайший срок исполнение наложенной контрибуции»[99].

6 августа был издан декрет об «усилении беспощадного массового террора» против «контрреволюционной» части «буржуазии» и «беспощадном истреблении предателей и изменников», использующих голод как «оружие». Каждый, кто противился реквизиции излишков, включая «мешочников», подлежал суду военного трибунала и, если при нем было найдено оружие, расстрелу на месте[100]. В приступе безудержной ярости Ленин приказывал, чтобы у «кулака» отбирались не только излишки хлеба, но и зерно, отложенное на следующие посевные[101]. Его речи и письменные распоряжения того периода свидетельствуют, что ярость, вызванная сопротивлением крестьян, сказывалась на его способности мыслить рационально. Обратимся, например, к воззванию от середины августа 1918 года, в котором Ленин призывает промышленных рабочих к «последнему, решительному сражению»:

«Кулак бешено ненавидит советскую власть и готов передушить, перерезать сотни тысяч рабочих… Либо кулаки перережут бесконечно много рабочих, либо рабочие беспощадно раздавят восстания кулацкого, грабительского меньшинства народа против власти трудящихся. Середины тут быть не может… Кулаки — самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры… Эти кровопийцы нажились на народной нужде во время войны, они скопили тысячи и сотни тысяч денег… Эти пауки жирели на счет разоренных войною крестьян, на счет голодных рабочих. Эти пиявки

пили кровь трудящихся, богатея тем больше, чем больше голодал рабочий в городах и на фабриках. Эти вампиры подбирали и подбирают себе в руки помещичьи земли, они снова и снова кабалят бедных крестьян.

Беспощадная война против кулаков! Смерть им!». [Ленин. ПСС. Т. 37. С. 39–41. Ср.: Робеспьер: «Если богатые земледельцы будут продолжать сосать народную кровь, мы выдадим их народу. Если мы сами не сможем определить для этих предателей, заговорщиков, спекулянтов меру справедливости, — пусть народ решает, как с ними поступить» (см. в кн.: Korngold R. Robespierre and the Fourth Estate. N.Y. 1941. P. 251).]. Как справедливо отметил один историк, «это было, вероятно, первым случаем в истории, когда глава современного государства побуждает население развязать геноцид, геноцид социальный»[102]. Для Ленина было характерно прикрывать наступательные действия видимостью необходимой самообороны, в данном случае — необходимостью защиты от «кулака», якобы грозившего рабочему классу полным уничтожением. Его фанатизм не знал границ: в декабре 1919 года он заявляет, что «мы» — вероятнее всего, это «мы» относилось не к нему самому и его соратникам — «скорее ляжем все костьми», чем разрешим свободную торговлю хлебом[103].

Чтобы преодолеть сопротивление крестьян, Совнарком 19 августа наделил наркома по военным и морским делам Троцкого всеми полномочиями для дальнейшего ведения операции и подчинил ему добровольческие продотряды, которыми до того момента распоряжался Наркомпрод[104]. На следующий день Цюрупа отдал распоряжение о военизации реквизиционных отрядов: они переходили под

командование губернских и военных властей и в них устанавливалась военная дисциплина. В каждом отряде должно было быть не менее 75 бойцов и двух пулеметов. Им приказали установить связи с ближайшими кавалерийскими частями, чтобы в случае возникновения значительного крестьянского восстания иметь возможность объединить несколько отрядов для совместных военных действий. В каждом отряде, как в подразделении Красной Армии, находился комиссар, ответственный за организацию комитетов бедноты[105].

* * *

Как уже отмечалось, комитетам бедноты была отведена роль пятой колонны в стане врага, с тем чтобы они оказывали содействие продотрядам и частям Красной Армии. Ленин надеялся сыграть на затаенном недоброжелательстве самых обделенных деревенских элементов и восстановить их против более обеспеченных крестьян, получив таким образом доступ в деревню политически.

Его надежды не оправдались по двум причинам. Действительная социальная структура российской деревни не имела ни малейшего сходства с той вымышленной картиной, из которой исходил Ленин, строя свои предположения: его убеждения, что три четверти населения деревни составляет «беднота», оказалось чистой фантазией. «Безземельный пролетариат», ядро деревенской бедноты, составлял в центральной России не более 4 % сельского населения;

остальные 96 % были «середняками» или даже «богатеями». У большевиков, таким образом, не оказалось реальной социальной базы для разжигания классовой войны в деревне.

Но еще более усугубляло положение то, что даже эти 4 % не желали сотрудничать с большевиками. Сколько бы ни было у крестьян причин для недовольства друг другом, при угрозе со стороны внешнего врага, будь то государственная власть или крестьяне из соседней волости, они объединялись и боролись сообща. Богатеи, середняки и беднота становились как единая семья. По словам одного левого эсера, продовольственные отряды, — «являясь в деревню, хлеба, конечно, не получают, но что они там делают? Они создают единый фронт от кулаков до ваших батраков, которые ведут чуть ли не войну, объявленную городом деревне»[106]. Крестьянин, рискнувший донести на своих соседей из расчета получить вознаграждение, обещанное ему властями, тем самым подвергал себя казни гражданской и физической: как только продотряд выходил из деревни, его изгоняли из общины, а порой и убивали. В этих условиях совершенно нереалистическим выглядит план «развязывания беспощадной» классовой войны «бедняков» против «богатеев».

Ленину эти факты были либо неизвестны, либо он предпочитал не обращать на них внимания, руководствуясь своими политическими соображениями. Как признавал Свердлов в мае того года, власть большевиков в деревне была слабой и могла закрепиться там со временем, только «развязав гражданскую войну». Советы, народившиеся в городах, были непопулярны среди крестьян, поскольку стремились выполнять ту же роль, что и деревенская сходка — традиционная

деревенская форма самоуправления. Летом 1918 года в большинстве деревень Советов не было, а там, где были, они действовали спустя рукава под руководством самых разговорчивых крестьян и деревенской интеллигенции, симпатизировавшей партии эсеров. Это положение Ленин хотел решительно изменить.

Было объявлено, что комбеды призваны оказывать содействие продотрядам и частям Красной Армии в поисках спрятанного хлеба. Но их истинным предназначением было послужить основой новых сельских Советов, которые должны были работать под управлением надежных коммунистов, присланных из городов, и в строгом подчинении директивам, идущим из Москвы.

ВЦИК обсудил создание комбедов 20 мая и декретом от 11 июня постановил учредить их на всей территории России[107]. Во время дискуссии в Исполкоме эта идея подверглась резкой критике со стороны меньшевиков и левых эсеров, но большевики одержали верх[108]. Правительство издало декрет об организации и снабжении деревенской бедноты, предписывающий создать в каждой волости и в каждом большом селе, наряду с существующими Советами и под их руководством, комитеты бедноты, в которые должны были входить как местные крестьяне, так и новоприбывшие, за исключением «заведомых кулаков и богатеев, хозяев, имеющих излишки хлеба или других продовольственных продуктов, имеющих торгово-промышленные предприятия» и тех, кто пользовался наемным трудом. Задачей комбедов было содействие подразделениям Красной Армии и продотрядам в выявлении и конфискации хлебных

запасов. Чтобы обеспечить себе добросовестную помощь членов комбедов, власти обещали им вознаграждение в виде части конфискованных запасов, до 15 июня бесплатно, а после — за минимальную цену. Чтобы сделать участие в комбедах еще более привлекательным, комитеты были уполномочены конфисковывать оборудование и сельскохозяйственный инвентарь у «деревенской буржуазии» и делить их между своими членами. Таким образом, одна часть населения деревни восстанавливалась против другой и поощрялась к доносительству и грабежу.

Несмотря на обещанные блага, по тем временам очень значительные, предписания декрета оказалось трудно осуществить. Кто такие были, например, «заведомые кулаки и богатеи» и как их следовало отличать от других «хозяев, имеющих излишки хлеба»? Каким образом комбеды должны были подчиняться местным Советам, которые являлись представительством власти на местах и несли ответственность за поставку продовольствия?

Как стало выясняться, бедные крестьяне проявляли такое же нежелание идти в комбеды, как рабочие — в продотряды. Несмотря на сильное давление властей, на сентябрь 1918 года, то есть через три месяца после выхода декрета, комбеды имелись только в одной деревне из шести. Во многих губерниях, в том числе Московской, Псковской, Самарской и Симбирской, их вообще не было[109]. Правительство продолжало выделять большие суммы денег на их организацию, но все впустую. Там, где не было сельсоветов, приказ попросту игнорировали. Там, где сельсоветы были, они обычно заявляли, что комбеды не нужны, и создавали вместо них

собственные «продовольственные комиссии», что выхолащивало суть всего предприятия.

Большевики настойчиво продолжали вести кампанию. Тысячи большевиков и «сочувствующих» были посланы в деревни, чтобы агитировать, организовывать, преодолевать сопротивление сельсоветов. Как это происходило, иллюстрирует следующий документ:

«Протокол заседания Саранского уездного съезда волостных и сельских Советов и представителей комитетов бедноты, бывшего 26 июля 1918 г.

Постановили: Передать функции комитетов бедноты волостным и деревенским советам.

После голосования товарищ Карлев (заместитель председателя) оповестил конференцию от имени местного комитета коммунистов-большевиков, что большинство присутствовавших на конференции, очевидно, в силу непонимания, проголосовало против решения центрального руководства. По этой причине и на основании декрета и распоряжений по этому вопросу партия вышлет своих представителей на места с тем, чтобы они разъяснили населению важное значение комитетов бедноты и организовали их в соответствии с декретом [правительства]»[110].

Таким образом представители партии лишали законной силы результаты голосования, если крестьяне выступали против создания комитетов бедноты. Пользуясь этим силовым приемом, к декабрю 1918 года большевики организовали 123 тысячи комбедов, то есть немногим более одного на две деревни[111]. Действительно ли существовали и работали эти организации,

неизвестно: есть подозрение, что в ряде случаев они были созданы только на бумаге. В большинстве деревень председателями комбедов были члены коммунистической партии или объявившие себя «сочувствующими»[112]. В последнем случае они находились под пятой у горожан, в основном аппаратчиков, поскольку к тому времени в коммунистической партии крестьян не было статистическое обследование 12 губерний центральной России, проведенное в 1919 году, говорит, что в сельских местностях было только 1585 коммунистов[113].

Правительство рассматривало создание комбедов как переходный этап: Ленин намеревался превратить их со временем в Советы. В ноябре 1918 года он заявил: «Мы сольем комбеды с Советами, мы сделаем так, чтобы комбеды стали Советами»[114]. На следующий день Зиновьев обратился с этим же к съезду Советов. Он заявил, что задачи комбедов — перестроить сельские Советы так, чтобы они, как и городские Советы, стали органами «социалистического строительства». Это, в свою очередь, требовало организации «перевыборов» в масштабе всей страны, и проводить их следовало на основании правил, выработанных Центральным исполнительным комитетом[115]. Правила эти были обнародованы 2 декабря[116]. В них говорилось, что, поскольку сельские Советы были избраны до того, как «социалистическая революция» дошла до деревни, в них большинство принадлежало «кулакам». Теперь, говорилось далее, пришла пора привести их в «полное соответствие» с городскими Советами. Переизбрание в деревенские и волостные Советы должно проходить под наблюдением комбедов. С тем чтобы новые сельсоветы имели правильный «классовый» состав, исполнительным органам губернских Советов надо наблюдать за

проведением выборов и, при необходимости, устранять из них нежелательные элементы. [Это напоминает полномочия, данные в 1880-х гг. царским губернаторам, в силу которых они могли смещать выборных земских гласных, если последние не удовлетворяли требованию «благонадежности».]. Кулаки, спекулянты и эксплуататоры лишались права голоса. Игнорируя положения Конституции 1918 года, гласившей, что вся власть в стране принадлежит Советам, декрет постановлял: «основной задачей» новоизбранных сельсоветов будет «проведение в жизнь всех постановлений соответствующих органов советской власти». Их собственные полномочия сводились к повышению «культурных и экономических стандартов» на подведомственной им территории (иначе говоря, сбору статистических данных), развитию местных промыслов и оказанию содействия правительству в свозе хлеба — подобно деятельности земств в царской России. Таким образом, они преобразовывались в пассивных исполнителей бюрократических постановлений и, отчасти, — в учреждения, ответственные за улучшение жизненных условий населения. Комбеды, по выполнении своей миссии, подлежали расформированию. [E.H.Carr (The Bolshevik Revolution. V. 2. Lnd., 1952. P. 159), таким образом, ошибается, когда пишет, что приказ о расформировании служит доказательством провала комбедов, — они были изначально задуманы как органы временные.]. Перевыборы в волостные и деревенские Советы проходили зимой 1918/1919 годов и были организованы в полном соответствии с процедурными решениями, выработанными большевиками в городах[117]. Все исполнительные посты были розданы членам коммунистической партии и «сочувствующим», сиречь

«беспартийным». Поскольку крестьянство упорно избирало и переизбирало своих собственных кандидатов, Москва разработала методы, позволявшие добиваться желаемых результатов. Во многих местах прибегали к открытому голосованию, которое обладало обуздывающим эффектом, поскольку, проголосовав неправильно, крестьянин сам рисковал оказаться «кулаком»[118]. Кандидатуры для голосования выставлялись исключительно от коммунистической партии, что обеспечивалось следующим пунктом: «Кандидатские списки могут выставлять партии, стоящие на платформе советской власти». Протесты относительно того, что в Конституции 1918 года ничего не говорилось о партиях, принимающих участие в выборах, отметались и не удостаивались ответа[119]. Во многих местах ячейки компартии должны были одобрять каждого кандидата, выдвигавшегося на голосование. Если, несмотря на все принятые предосторожности, «кулаки» или другие нежелательные элементы все же занимали руководящие посты в Советах, что нередко и происходило, коммунисты прибегали к своему любимому методу — выборы объявлялись недействительными и проводились перевыборы. Это могло повторяться сколько угодно раз — вплоть до достижения желаемых результатов. Советский историк пишет, что нередкой была практика проведения трех, четырех и более «выборов» последовательно[120]. Несмотря на все это, крестьяне продолжали выбирать «кулаков» — то есть не-болыпевиков и антибольшевиков. Так, в Самарской губернии в 1919 году не менее 40 % членов новых волостных Советов оказались «кулаками»[121]. Чтобы положить конец такому непослушанию, партия издала 27 декабря 1919 года указ, предписывающий всем

партийным организациям в Петрограде и прилегающих областях «составить единый список кандидатов» в переизбираемые сельские Советы[122]. Эта практика со временем распространилась и на другие волости, положив конец сельсоветам как органам местного самоуправления.

* * *

Если оценивать результаты большевистской кампании в деревне в терминах военных действий (как она и мыслилась с самого начала), придется признать, что деревня победила. Хотя большевики и достигли определенных политических результатов, им не удалось ни разделить крестьянство на два лагеря, ни выкачать из деревни значительные запасы хлеба. Даже их политические завоевания вскоре были сведены на нет: как только отряды Красной Армии были отозваны для ведения боевых действий против белых армий, жизнь в деревне вошла более или менее в старую колею.

Собственно борьба за хлеб окончилась для властей разочарованием. Коммунистические источники проявляют неестественную сдержанность при оценке количества хлеба, взятого у деревни с боем, но по немногим имеющимся данным можно судить, что оно было ничтожно. Сообщается, что за время сбора урожая 1918 года, длившегося с середины августа по начало ноября, продотряды при содействии Красной Армии и комбедов собрали с 12 губерний 35 млн. пудов излишков хлеба. [Ленинский сборник. Т. 18. С. 158, примеч. Сам Ленин писал, что власти получили 67 млн. пудов (ПСС. Т. 37. С. 419).]. Поскольку общий урожай 1918 года

оценивается в 3 млрд пудов, то ясно, что в результате всех зверств — задействования армии и стрельбы из пулеметов, жарких стычек, взятия заложников, подлежащих смертной казни, — была собрана всего сотая часть урожая[123]. Власти признали, что политика организации налетов на деревню потерпела поражение, введя 11 января 1919 года «продовольственную разверстку», при которой конфискация всех излишков заменялась нормой зерна, подлежавшей сдаче каждым крестьянином. Нормы эти определялись исходя из потребности государства и без учета способности производителя поставить данное количество хлеба. Чтобы обеспечить своз зерна, правительство обратилось к татаро-монгольской практике обложения данью областей и районов, которые сами должны были определить количество свозимого хлеба для каждой деревни и общины. Последние, таким образом, оказывались связанным круговой порукой по выполнению обязательств. Система эта, в которой наблюдался кое-какой порядок, была вначале предназначена для сбора хлеба и фуража, но вскоре распространилась на все виды продовольствия. За продукты, сданные государству, крестьянин получал деньги, но купить на них ничего не мог: в 1920 году Ленин со смешком рассказал посетившему его Бертрану Расселу, как правительство заставило мужика взять «крашеную бумагу» в уплату за хлеб[124]. [«Когда я спросил его [Ленина] о социализме в сельском хозяйстве, он с энтузиазмом объяснил, как ему удалось восстановить бедных крестьян против богатых «<...> и они скоро стали вешать их на ближайшем дереве — ха! ха! ха!» — От его гогота при рассказе об убитых у меня кровь застыла в жилах» (Russell B. Unpopular Essays. N.Y.,

1950. P. 171).]. Но всего через два года, весной 1921-го, Ленин, говоривший, что скорее уморит всех голодом, чем введет свободную торговлю хлебом, вынужден был уступить, сделав шаг назад и отказавшись от монополии на хлеб.

Не удалось властям и развязать гражданскую войну в деревне. «Богатеи» и «беднота», составлявшие меньшинство, растворились в подавляющей массе «середняка», и никто из них не хотел принимать участия в братоубийственной войне. По словам одного историка, «кулак стоял за деревню и деревня за кулака»[125].

Через два месяца большевики поняли свою ошибку. 17 августа 1918 года Ленин и Цюрупа издали указ, в котором содержалась установка на борьбу за середняка и на объединение его с беднотой в борьбе против кулачества[126]. Ленин многократно утверждал впоследствии, что большевистская власть не воевала против середняка[127]. Но подобные словесные уступки немногого стоят, если вспомнить, что у середняка был хлеб, а стало быть, он и явился главной жертвой большевистской «войны за хлеб».

Большевистская аграрная политика совершенно сбила крестьян с толку. Они поняли в свое время, что «революция» дала им «волю», или анархию, а это для них в первую очередь означало освобождение от всяких обязательств перед государством. Повсеместно слышались крестьянские жалобы: «Обещали всю землю отдать, податей не собирать, солдат не брать, а теперь что?»[128] Обязанности, возложенные на них коммунистическим правительством, оказались гораздо обременительней, чем при царизме: по подсчетам, приводимым в коммунистических источниках, они были

примерно в два раза тяжелее, поскольку состояли не только в уплате налогов, но и в принудительном труде и поборах; самой изнурительной оказалась обязанность рубить и вывозить лес[129]. Язык «суцилизма», который им пытались навязать городские агитаторы, был, с точки зрения крестьян, полной тарабарщиной, и они поступали с ним так, как поступали всегда в подобных случаях: заменяя непонятные слова на предельно ясные. Со временем крестьяне стали подозревать, что их обвели вокруг пальца. Однако, наивно полагая, что они незаменимы и потому неистребимы, они положили держаться до конца. Пока же здравый смысл подсказывал крестьянину: если нельзя продать хлеб на рынке за свою цену, нечего производить излишки. Это привело к неукоснительному снижению производства хлеба и, в свою очередь, явилось одной из причин голода 1921 года.

Большевики, конечно, могли бы поставить себе в заслугу то, что они проникли в деревню, создав там сеть подконтрольных им Советов. Однако и это в большой степени было самообманом. Исследования, проведенные в начале 1920-х годов, ясно показали, что деревня игнорировала коммунистические Советы, созданные там такой ценой и такими усилиями. Руководство снова перешло к сельскому сходу, во главе которого стояли главы семей, как это было до революции. Деревенские Советы должны были подавать все свои резолюции на одобрение общины; у многих из них не было даже собственного бюджета[130].

В виду всех приведенных выше фактов поражает сделанное Лениным заявление, что кампания против деревни не только завершилась полным успехом, но по

своему историческому значению превзошла Октябрьский переворот. В декабре 1918 года он хвалился, что в течение последнего года власть решила проблемы, которые «во всех прежних революциях больше всего тормозили дело социализма». На начальной стадии революции, говорил он, большевики объединили бедняков, середняков и богатых крестьян в борьбе против помещика. На этой, первой, фазе деревенская «буржуазия» оказалась незатронутой. Если бы ситуация не развивалась дальше, революция неизбежно остановилась бы на полпути и скатилась в реакцию. Но такого поворота событий удалось избежать, поскольку «пролетариат» разбудил сельскую бедноту и они совместными усилиями напали на деревенскую «буржуазию». Революция в России, таким образом, пошла гораздо дальше западноевропейских буржуазно-демократических революций, создав основу для слияния городского и деревенского пролетариата и заложив фундамент для создания в России колхозов. «Вот в чем, — восторгался Ленин, — значение переворота, который произошел в нынешнее лето и в нынешнюю осень по самым глухим закоулкам деревенской России, который не был шумен, не был так наглядно виден и не бросался так всем в глаза, как Октябрьский переворот прошлого года, но который имеет еще *несравненно более глубокое и важное значение»*[131]. Конечно же, это было чудовищным преувеличением. Большевизация деревни, которой так похвалялся Ленин, завершит только через десять лет Сталин. Но, как и во многих других отношениях, сталинский путь был намечен Лениным.

ГЛАВА 9

УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

В ночь с 16-го на 17 июля 1918 года, примерно в 2 часа 30 минут, в уральском городе Екатеринбурге, в подвале частного дома отрядом чекистов были убиты бывший император Николай II, его жена, сын, четыре дочери, их домашний врач и трое слуг. Это то, что известно нам достоверно. Однако в событиях, которые привели к этой трагедии, несмотря на огромное число посвященных этой теме публикаций, до сих пор многое остается неясным. И так будет до тех пор, пока соответствующие архивы не будут открыты для исследователей. [Основным источником по-прежнему остается книга Н.А.Соколова — председателя специальной комиссии, созданной адмиралом Колчаком для расследования этого преступления: Убийство царской семьи. Париж, 1925. Из вторичных источников лучшими являются: The Murder of the Romanovs. Lnd., 1935; Мельгунов СП. Судьба Императора Николая II после отречения. Париж, 1957. Сведения о судьбе других Романовых можно почерпнуть в кн.: Smirnoff S. Autour de l'Assasinat des Grands-Dues. Paris, 1928. Оригинальная большевистская версия событий изложена П.М.Быковым в публикации: Последние дни последнего царя // Рабочая революция на Урале / Сост. Н.И.Николаев. Екатеринбург, 1921. С. 3—26. Незаменимым источником являются материалы комиссии Соколова, хранящиеся в Хойтонской

Библиотеке Гарвардского университета (США) и частично опубликованные в исследовании: Росс Н. Гибель царской семьи. Франкфурт, 1987].

С 1989 г. в советской печати стали появляться новые важные материалы. Наибольшую ценность представляют воспоминания Я.М.Юровского, командира отряда чекистов, убивших царя и его домочадцев. Интересные дополнительные сведения сообщает кинорежиссер Гелий Рябов, утверждающий, что он обнаружил останки царской семьи (Родина. 1989. № 4 и 5); к сожалению, эта публикация выполнена несколько небрежно.

Европейская история знает еще двух монархов, расставшихся с жизнью в результате революционных переворотов: в 1649 году это был Карл I, а в 1793-м — Людовик XVI. Но, как и во многих других случаях, касающихся русской революции, убийство царской семьи в России имеет с этими событиями лишь внешнее сходство; по существу же оно беспрецедентно. Карл I предстал перед специально созданным Верховным судом, который предъявил ему формальные обвинения и дал возможность защищаться. Заседания суда проходили открыто, и протоколы их тут же публиковались. Казнь короля тоже была публичной. С Людовиком XVI обстояло в общем так же. Его судил и приговорил к смерти большинством голосов Конвент. Это произошло после долгих прений, в ходе которых короля защищал адвокат. Протоколы судебного заседания тоже были опубликованы, а казнь состоялась при свете дня в центре Парижа.

Николаю II не предъявляли никаких обвинений, и его не судили судом. Советское правительство, приговорившее его к смерти, никогда не публиковало соответствующих документов. Все, что мы знаем об этом событии, стало известно главным образом благодаря упорству одного человека, проводившего расследование. Кроме того, в данном случае жертвой стал не только низложенный монарх, — убиты были его жена, дети, прислуга. Да и сама акция, проведенная под покровом ночи, напоминала скорее разбойное убийство, чем формальную, законную казнь.

* * *

Поначалу, с приходом большевиков к власти, в жизнь семьи бывшего царя и их домочадцев не произошло существенных изменений. Зимой 1917/1918 годов они по-прежнему находились в доме губернатора в Тобольске, куда были сосланы еще Керенским. Им разрешалось выходить на прогулки, посещать имевшуюся неподалеку церковь, получать газеты и переписываться с друзьями. В феврале 1918 года государственное пособие, выплачиваемое царской семье, было уменьшено до 600 рублей в месяц, но и это позволяло им жить в относительно сносных условиях. Большевикам, занятым неотложными делами, было не до Романовых, которые полностью устранились от общественной жизни. И хотя уже в ноябре 1917 года обсуждался вопрос о том, что делать с бывшим царем, решения тогда принято не было[1].

Ситуация начала меняться в марте, в связи с подписанием Брест-Литовского договора, вызвавшего всеобщую ненависть к большевистскому режиму. В такой атмосфере вероятность попыток реставрации прежнего режима возрастала, тем более, что, как было известно большевикам, среди немецких генералов были широко распространены монархистские настроения. На всякий случай большевики приняли меры, чтобы убрать со сцены Романовых. Декретом от 9 марта за подписью Ленина был отправлен в ссылку предполагаемый наследник престола вел. кн. Михаил Романов. С тех пор как он отказался от короны, предложенной ему Николаем в марте 1917 года, Михаил не проявлял никакого интереса к политике. Он тихо жил в своем имении в Гатчине, сторонился политики и избегал появляться на публике[2]. Что он и не помышлял о власти, показывает характерный эпизод: через несколько дней после своего отказа наследовать трон он появился перед ошарашенными деятелями Петроградского Совета, с просьбой разрешить ему охотиться в его угодьях[3]. Летом 1917 год он обратился к британскому послу за разрешением на въезд в Англию, но ему было отказано в визе, так как «правительство Его Величества считает нежелательным въезд в Англию во время войны членов императорской семьи»[4]. [Как видим, О.Путятина, друг Михаила, неправа, утверждая, что Михаил не стал искать убежища в Англии, поскольку был убежден, что русский народ не причинит ему вреда (см.: Revue des Deux Mondes. V. 18. 1923. 15 November. P. 297–298).]. В конце 1917 года Михаил подал прошение на имя Ленина об изменении своей царской фамилии на фамилию жены, графини Брасовой, однако прошение осталось без ответа[5].

Теперь Михаил был посажен под арест, сначала в Смольном, затем в здании ЧК. 12 марта, после переезда Ленина и другие членов правительства в Москву, его отправили под конвоем в Пермь. Опасаясь, что Петроград и его окрестности могут быт, заняты немцами, большевики решили убрать оттуда всех членов императорской семьи. 16 марта глава петроградской ЧК М.С.Урицкий велел всем проживающим здесь родственникам царя встать на учет[6]. Следующим приказом, изданным позднее в том ж месяце, всем им было предписано отправиться в ссылку в Пермскую, Вологодскую или Вятскую губернии — по их выбору. По прибытии на место им надлежало явиться в местный Совет и получить там разрешение на жительство[7]. Случилось так, что все Романовы, кроме тех, что сидели в тюрьме или находились вне досягаемости большевистского режима, собрались в Перми. После Москвы и Петрограда это было место наибольшей концентрации членов большевистской партии. Следовательно, здесь было на кого положиться и кому не спускать глаз с императорского клана.

Предпринятые меры носили профилактический характер, ибо большевистское руководство еще не решило, что делать с бывшим царем и его родственниками. В 1911 году Ленин писал, что «надо отрубить головы по меньшей мере сотне Романовых»[8]. Но из-за сильных монархических настроений в деревне такая массовая экзекуция представлялась опасной. Одной из возможностей было судить Николая революционным трибуналом. Как пишет Исаак Штейнберг, человек хорошо осведомленный, занимавший в то время пост наркома юстиции, в феврале 1918 года действительно ставился вопрос об организации суда над

царем — как мера, направленная против возможной реставрации монархии. Это служит косвенным признанием того, что через год после отречения, встреченного всеобщим одобрением, к непопулярному Николаю II Россия еще сохранила почтение, и это представляло реальную угрозу для большевиков. По свидетельству Штейнберга, на заседании Центрального исполнительного комитета против суда над царем активно выступила Мария Спиридонова, опасавшаяся, что по пути из Тобольска Николая убьют разгневанные народные массы. Ленин считал проведение суда над бывшим царем преждевременным, однако распорядился, чтобы начинали собирать материалы. [Steinberg I. Spiridonova: Revolutionary Terrorist. Lnd., 1935. P. 195. 12 (25) января 1918 г. «Вечерний час» напечатал интервью со Штейнбергом, в котором тог уверенно говорил, что суд состоится: «Как известно, сначала предполагалось, что судить бывшего царя будет Учредительное собрание, но теперь выяснилось, что решит судьбу Романова Совет народных комиссаров». Как выяснилось недавно, Совет народных комиссаров 29 января 1918 г. принял резолюцию о предании Николая И суду (Иоффе Г. // Сов. Россия. 1987. 12 июля. № 161 (9412). С. 4)].

В середине апреля в российской печати появились сообщения о предстоящем суде над «Николаем Романовым». В них говорилось, что он станет первым из серии показательных процессов над деятелями старого режима, которые готовит председатель Высшей следственной комиссии Н.В.Крыленко. Бывшему царю предъявят обвинения только в тех «преступлениях», которые он совершил в качестве конституционного монарха, то есть после 17 октября 1905 года. Среди прочего царю предполагалось поставить в вину: так

называемый государственный переворот 3 июня 1907 года, когда он нарушил Основы Законодательства, внеся по своему произволу изменения в закон о выборах; разбазаривание национальных ресурсов путем использования «резервной» части бюджета; другие злоупотребления властью[9]. Однако 22 апреля было опубликовано заявление, в котором, со ссылкой на Крыленко, сообщения о предстоящем суде опровергались. По словам Крыленко, просочившиеся в печать слухи были результатом недоразумения: на самом деле, правительство намеревалось устроить суд над провокатором, фамилия которого была Романов[10].

* * *

То обстоятельство, что в Тобольске не было железной дороги, спасло город от быстрого погружения в революционный водоворот, ибо в то время «революция» распространялась главным образом бандами вооруженных людей, передвигавшихся на поездах. Поэтому в феврале 1918 года в Тобольске еще не существовало партийной организации большевиков, а местный Совет находился под контролем эсеров и меньшевиков.

Однако уже в марте большевики из двух ближайших городов Омска и Екатеринбурга — заинтересовались царственными обитателями Тобольска. В феврале в Екатеринбурге состоялся съезд Советов Уральской области, который избрал президиум в составе пяти человек, контролируемый большевиками. Его

председателем стал двадцатишестилетний слесарь или электрик А.Г.Белобородов, бывший депутат от большевиков в Учредительном собрании. [О нем см.: Энцикл. Словарь Гранат. Т. 41. Ч. 1. С. 26–29. Стремясь возложить всю вину за убийство царской семьи на евреев, антисемитствующие монархисты решили, что настоящая фамилия Белобородова — Вайсбарт, что не подтверждается никакими данными.]. Но наиболее влиятельным членом президиума был Ф.И.Голощекин, военный комиссар Уральской области, близкий друг Свердлова. Он родился в 1876 году в Витебске, в еврейской семье, в 1903 году стал сотрудничать с Лениным, а в 1912-м был избран членом ЦК. Одновременно Голощекин служил в екатеринбургской ЧК. Ему и Белобородову предстояло сыграть решающую роль в судьбе царской семьи.

Большевиков раздражало, что бывший царь живет в Тобольске в чересчур комфортабельных условиях, и пугала свобода, предоставленная ему и его окружению. Они опасались, что весной, с наступлением оттепели, царская семья попытается бежать[11]. [Наиболее ранняя официальная версия екатеринбургской трагедии содержится в кн.: Быков П.М. Последние дни последнего царя // Рабочая революция на Урале. Сост. Н.И.Николаев. Екатеринбург, 1921. С. 3—26. Этот текст был затем перепечатан в «Архиве русской революции» (М., 1926. Т. 17. С. 302–316). Впоследствии Быков получил доступ к некоторым неопубликованным материалам, опираясь на которые выпустил книгу, содержавшую официальную версию событий (Последние дни Романовых. Свердловск, 1926). Книга эта, переведенная на английский, немецкий и французский, несмотря на всю ее очевидную тенденциозность, ценна

тем, что в ней есть ссылки на документы, хранящиеся в закрытых советских архивах. После Октябрьского переворота Быков был председателем Екатеринбургского Совета.]. В то время по Уралу упорно ходили слухи, что в Тобольске и под Тобольском собираются какие-то подозрительные личности. [По свидетельству чекиста Ф.Другова, утверждавшего, что осенью 1918 г. он слышал это от другого чекиста — Тарасова-Родионова (Иллюстрированная Россия 1931. 28 февр. № 10(303). С. 10). Впрочем, рассказ Другова не вызывает полного доверия, ибо, по его словам, беседа с Тарасовым-Родионовым происходила во время их поездки из Тобольска в Екатеринбург по железной дороге, которой тогда еще не было.]. Среди коммунистов Екатеринбурга были экстремисты, люто ненавидевшие «Николая Кровавого» из-за преследований, которым их подвергала царская полиция. Но перспектива реставрации монархии пугала всех коммунистов — не столько даже из-за их приверженности абстрактным идеям, сколько из страха за собственную жизнь. Они рассуждали так же, как рассуждал Робеспьер, призывавший в 1793 году Конвент вынести смертный приговор Людовику XVI: «Если король невиновен, тогда виновны те, кто лишил его трона»[12]. Они хотели избавиться от Романовых, и как можно скорее. А чтобы бывший царь не сбежал, лучше всего было перевезти его поближе, где бы он находился под их полным контролем.

Уже в феврале 1918 года вопрос об императорской семье обсуждался на заседании Уральского областного Совета в Екатеринбурге. Некоторые депутаты высказали опасения, что к маю, когда на реках растает лед, Романовы либо сбегут, либо будут похищены. В начале марта большевики Екатеринбурга обратились к

Свердлову за разрешением перевезти к себе императорскую семью[13]. Аналогичный запрос пришел в то же самое время из Омска. Но у омичей не нашлось высоких покровителей в Москве, и им пришлось отступиться.

Чтобы действовать наверняка, екатеринбуржцы 16 марта снарядили в Тобольск секретную миссию для изучения обстановки. Когда миссия вернулась в Екатеринбург, в Тобольск был послан вооруженный отряд, который должен был подготовить перевозку семьи Романовых. Одновременно на всех направлениях возможного бегства были выставлены патрули. Достигнув 28 марта Тобольска, этот отряд обнаружил, что его опередила группа вооруженных коммунистов, посланных с той же целью из Омска. Омские товарищи, прибывшие двумя днями раньше, уже успели распустить городскую думу и изгнать из местного Совета меньшевиков и эсеров. Два отряда заспорили, у кого больше прав. Екатеринбургский отряд вынужден был уступить, так как оказался слабее, но 13 апреля вернулся с подкреплением, под командованием большевика С.С.Заславского, и овладел положением. Заславский распорядился посадить императорскую семью под арест[14]. Для этой цели в городской тюрьме были специально подготовлены камеры[15].

Итак, атмосфера относительного спокойствия, в которой до всех этих событий прерывала императорская семья, была нарушена. 10 апреля (28 марта ст. ст.) Александра Федоровна записала в дневнике, что она с детьми «зашивала драгоценности». [Дневники бывшей императрицы, на ее своеобразном английском, никогда полностью не публиковались. Американский журналист

Айзек Дон Левин напечатал из них большие фрагменты, подготовленные на основе фотокопии (см.: Chicago Daily News. 1920. 22–26, 28 June; Eyewitness to History. N.Y., 1963)]. И хотя, настолько сейчас известно, императорская семья не строила никаких планов бегства, а все разговоры о направленных к этой цели заговорах доброжелателей оказались пустой болтовней, — тревожное чувство, что они не изгнанники, а пленники, охватило всех. Возможность скрыться от большевиков — пусть самая невероятная и отдаленная — теперь исчезла[16].

В конце марта Голощекин выехал в Москву. Он сообщил Свердлову о ситуации в Тобольске и предупредил, что нужны неотложные меры, чтобы воспрепятствовать побегу императорской семьи. Приблизительно в то же время — в первую неделю апреля — президиум ЦИКа заслушал доклад представителя службы охраны о ситуации в Тобольске. Как явствует из отчета Свердлова перед ЦИКом 9 мая, эта информация побудила правительство принять решение о перемещении бывшего царя в Екатеринбург. Но это была лишь запоздалая попытка оправдать события, которые на самом деле развивались вразрез с намерениями правительства, ибо известно, что 1 апреля президиум ЦИК постановил, «если это возможно», — привезти Романовых в Москву[17].

* * *

22 апреля в Тобольске появился Василий Васильевич Яковлев — эмиссар из Москвы. Фигура эта долгое время оставалась загадочной, и даже высказывались предположения, что это был английский агент. Но, как удалось недавно установить, это был старый большевик, настоящее имя которого — К.М.Мячин. Родился он в 1886 году в Оренбурге, в 1905-м вступил в социал-демократическую партию, участвовал в ряде «экспроприации», организованных большевиками.

В 1911-м эмигрировал по подложному паспорту (под фамилией Яковлев) и работал электриком в Бельгии. Вернувшись в Россию после февральской революции, в октябре 1917-го участвовал в деятельности Военно-революционного комитета и был делегатом Второго съезда Советов. В декабре 1917 года получил назначение в коллегию ЧК. Участвовал он и в разгоне Учредительного собрания[18]. Короче говоря, это был надежный и проверенный большевик.

Яковлев-Мячин держал цель своей миссии в тайне, умалчивают о ней и коммунистические источники. Но мы можем с уверенностью утверждать, что задачей его было привезти Николая, а по возможности и других членов императорской семьи, в Москву, где бывший царь должен был предстать перед судом. В самом деле, не было никакого смысла правительству направлять людей за тысячи километров из Москвы в Тобольск, чтобы сопровождать императорскую семью до Екатеринбурга, тем более что екатеринбургские большевики горели желанием заполучить себе императора и готовы были охранять его как зеницу ока. Существуют и прямые свидетельства, подтверждающие цель московской миссии. Как вспоминает большевистский комиссар из Тюмени, председатель Пермского губернского ЦИКа

Н.Немцов, в апреле его посетил Яковлев, прибывший с «московским подразделением» из 42 человек: Яковлев «предъявил мне мандат на изъятие Николая Романова из Тобольска и доставку его в Москву. Мандат был подписан председателем Совета народных комиссаров Владимиром Ильичом Лениным. [Красная нива. 1928. № 27. С. 17. То, что у Яковлева был мандат за подписью Ленина, подтверждает и Авдеев (Красная новь. 1928. № 5. С. 190). По свидетельству И.Коганицкого (Пролетарская революция. 1922. № 4. С. 13), Яковлев имел приказ привезти Николая в Москву, в чем недоверчивые местные большевики убедились, связавшись с центром. См.: Дивильковский А.А. Большевики. М… Политиздат, 1990. С. 272.]. Это свидетельство, каким-то образом проскользнувшее мимо бдительного ока советской цензуры, не пропускавшей никаких сообщений, касающихся судьбы Романовых, должно положить конец измышлениям, что Яковлев то ли имел приказ сопровождать Романовых до Екатеринбурга, то ли был белым агентом, посланным, чтобы их похитить и вывезти в безопасное место.

По дороге в Тобольск Яковлев остановился в Уфе, чтобы встретиться с Голощекиным. Показав свой мандат, он попросил себе еще людей в подкрепление. Оттуда он проследовал в Тобольск, но не прямым путем, через Екатеринбург, а окольным — через Челябинск и Омск[19]. Так он поступил, очевидно, из опасения, что горячие головы в Екатеринбурге, готовые уже считать Николая своей добычей, сорвут его миссию, за успех которой он нес личную ответственность. И в самом деле, когда он уже направлялся к Тобольску, екатеринбуржцы предприняли попытку опередить его, послав воинский отряд с заданием привезти бывшего царя «живым или

мертвым». Войдя в Тобольск, Яковлев чуть было не схватился с этим отрядом, прибывшим в город двумя днями раньше[20]. Его собственный отряд имел на вооружении пулеметы и насчитывал 150 кавалеристов, 60 из которых предоставил ему Голощекин.

В течение двух дней Яковлев изучал обстановку в Тобольске. Он встретился с местным гарнизоном и завоевал его расположение, выдав просроченную зарплату. Он также ознакомился с положением дел в губернаторском доме, в частности выяснил, что серьезно болен Алексей. Цесаревич, с 1912 года не страдавший приступами гемофилии, 12 апреля ушибся и с тех пор был прикован к постели. Он мучился сильными болями, ноги его распухли и были парализованы. Дважды навестив императорский дом, Яковлев убедился, что трудная дорога до Москвы царевичу действительно не под силу. («Интеллигентный, чрезвычайно нервный рабочий, инженер» — такое впечатление он произвел на Александру Федоровну.) Апрель на Урале — самый неподходящий месяц для путешествий: тающие снега не дают передвигаться ни в санях, ни в телеге, а реки, еще не освободившиеся ото льда, непригодны для навигации. 24 апреля Яковлев связался по прямому проводу с Москвой и получил приказ везти одного Николая, оставив до поры на месте семью[21]. [По соображениям конспирации, в переговорах Яковлева с Кремлем бывший царь и его семья имели кодовое обозначение «товар». Московский абонент Яковлева велел ему «везти одну главную часть багажа» (Яковлев // Урал. 1988. № 7. С. 160).].

До этого момента Яковлев был в высшей степени учтив, даже почтителен в отношениях с императорской

семьей. У солдат из его отряда и из тобольского гарнизона это вызывало подозрения. Они не понимали, каким образом большевик может унижать себя, подавая руку «Николаю Кровавому»[22]. Получив новые инструкции, Яковлев остался вежлив, но начал держаться более официально. Утром 25 апреля он сказал коменданту губернаторского дома Е.С.Кобылинскому, что должен увезти бывшего царя. Отказавшись прямо сообщить, куда они направятся, прозрачно намекнул, что конечным пунктом является Москва. Он попросил об «аудиенции», которую и получил в тот же день в 2 часа пополудни. Прибыв в губернаторский дом, Яковлев был неприятно удивлен, застав Николая в обществе императрицы и Кобылинского. Он потребовал, чтобы они ушли, но Александра Федоровна устроила такую сцену, что он вынужден был смириться с их присутствием. Обратившись к Николаю, он объяснил, что по распоряжению Центрального исполнительного комитета утром следующего дня они вдвоем должны будут уехать. Хотя первоначально предполагалось, что с ними поедет вся семья, пришлось, учитывая состояние Алексея, изменить план, и он получил приказ взять с собой одного Николая. Ответ на это бывшего царя зафиксирован в двух версиях. В интервью, которое Яковлев дал в следующем месяце для «Известий», говорится, что царь только спросил: «А куда меня переведут?» Кобылинский же утверждает, что Николай ответил: «Я никуда не поеду», — что не очень вяжется с характером императора. Последовавшие за этим слова Яковлева Кобылинский передает таким образом: «Прошу этого не делать. Я должен исполнить приказание. Если вы отказываетесь ехать, то я должен или воспользоваться силой, или отказаться от возложенного на меня

поручения. Тогда могут прислать вместо меня другого, менее гуманного человека. Вы можете быть спокойны. За вашу жизнь я отвечаю своей головой. Если вы не хотите ехать один, можете ехать с кем хотите. Завтра в 4 часа мы выезжаем»[23].

Выслушав приказ Яковлева, императорская чета, в особенности императрица, пришла в крайнее смятение. По его словам, Александра Федоровна воскликнула: «Это слишком жестоко, я не верю, что вы это сделаете!..»[24] Яковлев отказался сообщить, куда он повезет Николая, а впоследствии в статье для белой газеты утверждал, что не знал этого сам. Это, конечно, неправда. Вероятно, он пытался таким образом подкрепить слухи, выгодные для него после его перехода на сторону белых, что в действительности он намеревался бежать с Николаем в расположение Белой армии. [В октябре 1918 г. Яковлев перешел к Колчаку и дал интервью газете «Уральская жизнь». Оно было перепечатано в монархистском журнале «Русская летопись» (1921. N 1. С. 150–153).].

После ухода Яковлева Николай, Александра Федоровна и Кобылинский обсудили создавшееся положение. Николай согласился с Кобылинским, что, по-видимому, его везут в Москву, чтобы он подписал Брестский договор. Если так, то путешествие предпринято напрасно: «Я скорее позволю отрубить себе руку, чем сделаю это»[25]. То, что Николай всерьез поверил, будто большевики нуждаются в его подписи под Брестским договором, показывает, насколько оторван он был от реальности, насколько плохо понимал смысл событий, происходивших в России после его отречения. Александра Федоровна тоже считала, что такова миссия Яковлева, но была гораздо меньше уверена в твердости

своего супруга; она так и не простила ему, что он согласился на отречение, и полагала, что, будь она в тот роковой день в Пскове, ей бы удалось удержать его от этого шага. Она подозревала, что в Москве на Николая окажут сильное давление, возможно, станут шантажировать его благополучием семьи, и, если ее не будет рядом, он уступит и подпишет позорный договор. Кобылинский слышал, как она говорила близкому другу, князю Илье Татищеву: «Я боюсь, как бы он один не наделал там глупостей…»[26] Она не находила себе места, разрываясь между любовью к больному ребенку и тем, что ощущала как свой долг перед Россией. И эта женщина, которую в течение многих лет обвиняли в том, что она предает свою вторую родину, в конце концов выбрала Россию.

Вот как описывает эту ситуацию швейцарец П.Жильяр, воспитатель цесаревича, встретившийся с ней в 4 часа пополудни:

«Царица… подтвердила то, что я уже слышал, что Яковлев был послан из Москвы, чтобы забрать отсюда царя и что сегодня ночью они уезжают.

— Комиссар говорит [сказала она], что царю не причинят никакого вреда, и что если кто-нибудь хочет ехать вместе с ним, то возражений не будет. Я не могу допустить, чтобы царь ехал один. Они хотят отделить его от семьи, как они это уже делали раньше…

Они хотят получить его подпись, заставив волноваться о семье… Царь нужен им; они чувствуют, что он один представляет Россию <…> Вместе нам будет легче им сопротивляться, и я должна быть рядом с ним во время испытаний… Но мальчик так болен… Что, если будут осложнения… О, Господи, какая страшная пытка!..

Впервые в жизни я не знаю, что мне делать; я всегда чувствовала, как мне надо поступить, когда приходилось принимать решения, а теперь я не могу думать… Но Господь не допустит, чтобы царь уехал; этого не может, не должно быть. Я уверена: сегодня ночью начнется оттепель…

Здесь вмешалась Татьяна Николаевна:

— Но, мама, если папа должен ехать, то, что бы мы ни говорили, надо что-то решить…

Я поддержал Татьяну Николаевну, заметив, что Алексею Николаевичу уже лучше и что мы будем о нем заботиться…

Ее Величество страшно мучалась, не в состоянии принять решение; она ходила взад и вперед по комнате, не переставая говорить и обращаясь скорее к себе самой, нежели к нам. Наконец она подошла ко мне и сказала:

— Да, так будет лучше; я поеду с царем; я доверяю вам Алексея…

Минуту спустя вошел царь. Царица подошла к нему со словами: «Все решено; я тоже еду, и еще поедет Мария».

Царь ответил: «Хорошо, если вы так хотите» <…>

Остаток, дня семья провела у постели Алексея Николаевича.

Вечером, в половине одиннадцатого, мы все поднялись наверх, чтобы выпить чаю. Царица сидела на диване, по бокам от нее — две дочери. Лица их распухли от слез. Все старались, как могли, скрыть печаль и сохранять внешнее спокойствие. Мы чувствовали, что если кто-то не удержится, за ним последуют все. Царь и

царица были спокойны и собранны. Было видно, что они приготовились пожертвовать чем угодно, даже собственными жизнями, если Господь в своей непостижимой мудрости потребует такой жертвы для блага страны. Никогда еще они не были так добры и заботливы.

Эта их замечательная просветленность, эта удивительная вера оказались заразительны.

В половине двенадцатого в большом зале собрали всех слуг. Их величества и Мария Николаевна стали с ними прощаться. Царь обнял каждого мужчину, царица — каждую женщину.

Почти все были в слезах. Их Величества удалились; мы все спустились в мою комнату.

В половине четвертого во двор въехали повозки. Это были ужасные тарантасы. Только один был крытый. Мы разыскали на заднем дворе немного соломы и бросили ее на пол в повозки. В одну из них мы положили матрац для царицы.

В четыре часа мы поднялись наверх, чтобы проститься с Их Величествами, и повстречали их, выходивших из комнаты Алексея Николаевича. Царь, царица и Мария Николаевна попрощались с нами. Царица и Великая Княжна плакали. Царь выглядел спокойным и нашел для каждого из нас какое-то ободряющее слово; он обнял нас. Царица, прощаясь, просила меня остаться наверху с Алексеем Николаевичем. Войдя в его комнату, я нашел его в постели, рыдающим.

Через несколько минут мы услышали звук отъезжающих экипажей. Великие княжны, направляясь в

свои комнаты, прошли мимо дверей брата, и я слышал, как они всхлипывали…»[27]

Яковлев спешил. В любой момент могла начаться оттепель и сделать дороги непригодными для езды. Не забывал он и о возможных засадах. Он получил приказ охранять жизнь царя и доставить его в Москву целым и невредимым. Но все, с чем он сталкивался во время этой поездки, убеждало в том, что у екатеринбургских большевиков были иные планы. Именно в это время конференция большевиков Уральской области проголосовала за то, чтобы немедленно казнить Николая во избежание его побега и реставрации монархии[28]. У Яковлева была информация, что Заславский, один из большевистских комиссаров в Тобольске, бежал в Екатеринбург в день, когда сам он туда прибыл. Ходили слухи, что он устроил засаду в Иевлево, где ведущая к тюменскому железнодорожному узлу дорога пересекала Тобол, с намерением захватить, а если понадобится, то и убить Николая[29].

Из Тобольска выехали точно в намеченное время. Ехали в тарантасах (или, как их называют в Сибири, кошевах) — длинных повозках на жестком ходу, запряженных двумя или тремя лошадьми. Процессию сопровождали тридцать пять охранников. В голове колонны ехали два всадника с ружьями, за ними — повозка с двумя пулеметами и двумя стрелками. Далее следовал тарантас, в котором сидели Николай и Яковлев, настоявший, что поедет рядом с бывшим царем, и позади них еще два стрелка. Потом шел тарантас с Александрой Федоровной и Марией, еще стрелки, еще повозки и пулеметы. Царя сопровождали также домашний врач Евгений Боткин, обер-гофмаршал князь Александр

Долгорукий и трое слуг. Яковлев обещал, что, как только реки освободятся ото льда (это должно было произойти примерно через две недели), оставленные дети присоединятся к родителям. Он по-прежнему держал в тайне конечный пункт назначения: императорская чета знала только, что они едут в Тюмень, ближайший железнодорожный узел, до которого было 230 км пути.

Дорога на Тюмень, с глубокими, оставшимися от зимней езды колеями, расплывшаяся местами непролазной грязью, была в ужасном состоянии. В четырех часах езды от Тобольска, при переправе по льду Иртыша, лошади глубоко погружались в ледяную воду. На полпути, в Иевлево, пересекая Тобол, переходили его по деревянным настилам, так как вода уже заливала лед. Последним препятствием, уже перед самой Тюменью, стала река Тура: здесь частью шли пешком по льду, частью плыли на пароме. Перемена лошадей по всему маршруту была организована Яковлевым заранее. Это сокращало время стоянок до минимума. В пути заболел доктор Боткин, и процессия остановилась на два часа, пока он смог ехать дальше. Вечером первого дня, после шестнадцатичасовой езды, они прибыли в Бочалино, где был заранее приготовлен ночлег. Перед сном Александра Федоровна записала в дневнике:

«Мария в тарантасе. Николай с комиссаром Яковлевым. Холодно, серо и ветренно. В 8 поменяли лошадей, затем пересекли Иртыш. В 12 остановились в деревне и пили чай с нашими холодными припасами. Дорога совершенно ужасная, промерзшая земля, грязь, снег, вода, доходящая лошадям до брюха, страшная тряска, все болит. После 4-ой перемены лошадей оси, на которых держится тарантас, выскочили, и нам пришлось пересаживаться в другую повозку. 5 раз поменяли

лошадей. В 8 приехали в Иевлево и переночевали в доме, где прежде была деревенская лавка. Мы спали по трое в одной комнате, мы на кроватях, Мария на полу на своем матраце <…> Никто не говорит нам, куда мы поедем после Тюмени, некоторые считают, что в Москву, но когда освободятся реки и выздоровеет маленький, дети отправятся вслед за нами»[30].

По дороге Яковлев разрешал Александре Федоровне слать детям письма и телеграммы. На одной из стоянок к ним подошел крестьянин — спросить, куда везут царя. Услышав в ответ, что в Москву, сказал: «Ну, ела те Господи, что в Москву. Таперича, значит, будет у нас в Расее опять порядок»[31].

Между тем среди солдат охраны росло недоверие к Яковлеву, ибо он продолжал обращаться с бывшим царем с неизменным почтением. Они не могли понять, почему Николай так воодушевлен, и стали подозревать Яковлева в намерении переправить его в Восточную Сибирь или даже в Японию. Через патрули, расставленные по всей дороге, они сообщили о своих подозреваниях в Екатеринбург.

27 апреля, в четыре часа утра, поехали дальше. Ночь прошла спокойно: вопреки ожиданиям на них никто не напал. В полдень остановились в Покровском. Из тысяч деревень, разбросанных по всей Сибири, эта выделялась тем, что была родиной Распутина. Александра Федоровна записала: «Долго стояла перед домом нашего Друга, видела его родных и друзей, которые глядели в окно».

По свидетельству Яковлева, на Николая трудности пути и свежий воздух влияли явно благотворно, в то время как Александра Федоровна «сидела молча, ни с

кем не разговаривая, и держала себя гордо и неприступно»[32]. Но оба произвели на него сильное впечатление своим поведением. «Меня поражала незлобивость этих людей. Они ни на что не жаловались», — сказал он впоследствии в интервью[33].

Насколько можно заключить из противоречивых свидетельств, Яковлев собирался как можно быстрее добраться до Екатеринбурга и, по возможности там не останавливаясь, проследовать дальше на Москву. Но перспектива пребывания в этом городе с такими подопечными его весьма тревожила. Он был бы еще больше обеспокоен, если бы знал, что 27 апреля, когда он со своими спутниками уже приближался к Тюмени, в доме инженера Николая Ипатьева, на углу Вознесенского проспекта и Вознесенской улицы, появился посланец Екатеринбургского Совета, сообщивший, что дом реквизирован для нужд Совета и хозяевам надлежит покинуть его в течение сорока восьми часов[34]. В Екатеринбурге были свои планы относительно Романовых.

Возглавляемая Яковлевым процессия прибыла в Тюмень в 9 часов вечера 27 апреля. Здесь их сразу же окружил отряд кавалеристов, которые проводили их до железнодорожного вокзала, где стояли наготове паровоз и четыре пассажирских вагона. Яковлев проследил за посадкой императорской семьи, их домочадцев и погрузкой вещей. Затем появился Н.М.Немцов, и, когда Романовы отправились устраиваться на ночь, два комиссара пошли на телеграф, где Яковлев по аппарату Юза сообщил Свердлову о своих опасениях насчет намерений местных большевиков. Он потребовал, чтобы Свердлов распорядился переместить императорскую

семью в безопасное место в Уфимской губернии. В результате пятичасовых переговоров Свердлов отклонил это предложение. Однако он согласился, чтобы Яковлев проследовал в Москву не прямо, через Екатеринбург, а тем же окольным путем — через Омск, Челябинск и Самару, — которым он уже воспользовался в этом месяце по дороге в Тобольск. Чтобы план не стал известен, Яковлев велел начальнику станции отвести поезд в направлении Екатеринбурга, а затем, на ближайшей станции, прицепить с другой стороны новый паровоз и пропустить состав на полной скорости через Тюмень в сторону Омска[35]. В 4 часа 30 минут утра воскресенья 28 апреля поезд, в котором находилась императорская семья, отправился на Екатеринбург, но вскоре повернул в обратную сторону. Авдееву, помощнику Заславского, Яковлев объяснил это маневр тем, что, по его сведениям, в Екатеринбурге собирались подорвать поезд[36].

Проснувшись утром, Николай с удивлением отметил, что поезд движется на восток. В дневнике его есть такая запись: «Куда нас повезут после Омска? На Москву или на Владивосток? [Дневники Николая II за 1918 г. см.: Красный архив. 1928. № 12(27). С. 100–137.] Яковлев хранил молчание. Мария попыталась завязать разговор с охраной, но даже ее красота и любезность не сделали их откровенными. Вероятнее всего, они сами не знали, куда движется поезд.

Ранним утром в Екатеринбург пришло сообщение, что поезд с императорской семьей отбыл в нужном направлении. Об уловке Яковлева здесь узнали только в середине дня из телеграммы, посланной Авдеевым. Президиум заклеймил Яковлева «предателем революции» и объявил его «вне закона». Телеграммы

соответствующего содержания были разосланы во всех направлениях[37].

Получив такую информацию, омичи выслали вооруженный отряд, чтобы перехватить поезд, прежде чем он достигнет Куломзино — узловой станции, где можно было свернуть на запад и, минуя Омск, направиться в сторону Челябинска. Когда Яковлев узнал, что обвиняется в попытке похитить его подопечных, он остановил поезд на станции Любинская и, оставив там под охраной три пассажирских вагона, в четвертом выехал в Омск, чтобы связаться с Москвой. Все это происходило в ночь с 28 на 29 апреля.

Содержание разговора Яковлева со Свердловым известно нам только в весьма сомнительном пересказе П.М.Быкова: «Он [Яковлев] вызвал к прямому проводу Я.М.Свердлова и изложил обстоятельства, по которым он решил изменить маршрут. Из Москвы было получено предложение везти Романовых в Екатеринбург, где и сдать их областному Совету Урала»[38]. [Как сообщил недавно один из исследователей, получивший доступ к закрытым прежде архивам, после разговора с Яковлевым Свердлов связался с Екатеринбургом и потребовал «гарантий», относившихся главным образом к безопасности императорской семьи. Екатеринбург как будто дал такие гарантии при условии, что охрана пленников будет передана в ведение местных властей (Иоффе // Сов. Россия. 1987. 12 июля. 161 (9412). С. 4).]. Версия эта не заслуживает доверия по крайней мере по трем причинам. Во-первых, Яковлев вовсе не «изменил маршрут», а ехал в точности по тому пути, который согласовал со Свердловым во время их предыдущего разговора. Во-вторых, влиятельный

председатель Всероссийского ЦИКа и близкий друг Ленина не стал бы ничего «предлагать» мелкому исполнителю, каким был Яковлев, а отдал бы ему прямые распоряжения. Наконец, в-третьих, если бы Свердлов действительно хотел, чтобы Яковлев сдал императорскую семью Екатеринбургскому Совету, то навряд ли состоялось бы на следующий день трехчасовое выяснение отношений между Яковлевым и местными большевиками. Наиболее вероятно, — хотя это всего лишь догадка, — что Свердлов велел Яковлеву избегать пререканий с Екатеринбургским Советом, потерявшим к нему доверие, и ехать через Екатеринбург, чтобы снять эти подозрения в намерении похитить бывшего царя.

После разговора со Свердловым Яковлев приказал машинисту ехать назад. Все это произошло ночью, пока Николай и его семья спали. Проснувшись утром 29 апреля, Николай заметил, что поезд движется теперь на запад. Это подтверждало его прежнюю гипотезу, что его везут в Москву. Александра Федоровна записала в дневнике, скорее всего со слов Яковлева: «Омский Совет не хотел пускать нас через Омск, опасаясь, что нас хотят увезти в Японию». Николай в тот же день сделал такую запись: «Все находились в бодром настроении». Итак, их не вдохновляла перспектива бежать от своих мучителей и оказаться за границей. И они радовались тому, что их везут в древнюю столицу России, ставшую главным оплотом большевизма.

Они ехали весь день и всю следующую ночь, с небольшими остановками, чтобы к утру преодолеть расстояние в 750 км, отделяющее Омск от Екатеринбурга. Ничего примечательного по дороге не происходило. Яковлев вспоминает, что царица была панически стыдлива, могла ждать часами, пока в

коридоре не будет никого из чужих, чтобы пойти в уборную, и оставалась там до тех пор, пока не была уверена, что никого не повстречает на обратном пути[39].

30 апреля в 8 часов 40 минут утра поезд прибыл к главному вокзалу Екатеринбурга. Его встретила большая, враждебно настроенная толпа, собранная, без сомнения, местными большевиками, чтобы оказать давление на Яковлева и заставить его сложить с себя полномочия. Не очень ясно, что происходило на протяжении следующих трех часов, пока поезд стоял у перрона, а его пассажирам было запрещено выходить. Похоже, что Яковлев не хотел отдавать Николая и Александру, поскольку Екатеринбург не был для них безопасным местом. Вот что записал в дневнике Николай: «Часа три стояли у одной станции. Происходило сильное брожение между здешними и нашими комиссарами. В конце концов одолели первые, и поезд перешел к другой — товарной станции». Николай простодушно полагал, что весь спор шел о том, к какому перрону подавать поезд, поскольку вскоре после полудня их в самом деле отогнали на товарную станцию Екате-ринбург-2. Александра Федоровна разобралась лучше: «Яковлев вынужден был передать нас Уральскому Совету», — записала она в дневнике. Спор между Яковлевым и местными комиссарами действительно шел о том, поедет ли императорская семья дальше в Москву. Яковлев проиграл в этом споре, вероятно, в результате вмешательства Москвы, ибо центральные власти не хотели конфликтовать с екатеринбургскими большевиками и, кроме того, не очень ясно представляли себе, что делать с Романовыми. Оставить их в надежных руках в Екатеринбурге, пока не будет подготовлен показательный суд над бывшим царем, — такой

компромисс вполне мог показаться Ленину и Свердлову приемлемым выходом в создавшейся ситуации.

Когда поезд въехал на станцию Екатеринбург-2, Яковлев передал пленников А.Г.Белобородову, получив расписку, освобождавшую его от дальнейшей ответственности в этом деле[40]. Он потребовал выставить охрану, предположительно — для защиты императорской семьи от разъяренной толпы[41]. Прежде чем ему было разрешено ехать в Москву, он должен был оправдаться в своих действиях перед Екатеринбургским Советом. Совет, очевидно, был удовлетворен его объяснениями[42]. Московские власти тоже, по-видимому, не нашли в его действиях ничего предосудительного. Во всяком случае, месяц спустя он был назначен начальником штаба Красной Армии в Самаре, а затем — командующим Второй Красной Армией на Восточном (Уральском) фронте. [Ненароков А.П. Восточный фронт, 1918. М., 1969. С. 54, 72, 101. Как сообщил мне советский писатель г-н Владимир Кашиц, после того как Яковлев перешел в том же году на сторону белых, он был арестован чешской контрразведкой, затем бежал в Китай, вернулся в Советский Союз и был арестован. Отбыв срок на Соловках, он был освобожден и назначен начальником лагеря НКВД. Через некоторое время его вновь арестовали и расстреляли.]. В 3 часа пополудни Николай, Александра Федоровна и Мария в сопровождении Белобородова и Авдеева были доставлены в двух открытых легковых автомобилях в центр города. За ними по улицам следовал грузовик, набитый, по словам императрицы, «вооруженными до зубов» солдатами. Как сообщает Авдеев[43], Белобородов объявил Николаю, что, по решению московского ЦИКа, он и его семья будут содержаться под стражей до предстоящего суда над ним.

Машины остановились возле большого беленого дома, из которого накануне срочно выехал его хозяин, Ипатьев, и который теперь большевики называли «Дом особого назначения». Членам императорской семьи не суждено было выйти из этого дома живыми.

* * *

Николай Ипатьев, военный инженер в отставке, был преуспевающим дельцом. Этот дом он приобрел всего за несколько месяцев до описываемых событий. В одной его части он намеревался жить, в другой — устроить контору. Это было двухэтажное каменное здание, построенное в конце XIX века, в псевдорусском стиле, воспроизводившем облик и декор боярских палат, оборудованное редкими по тем временам удобствами — горячей водой и электрическим освещением. Хозяин успел обставить только комнаты второго этажа, где было три спальни, столовая, гостиная, комната для посетителей, кухня, ванная и уборная. Нижний, цокольный этаж оставался пустым. К дому примыкали несколько пристроек, в одной из которых сложили вещи, принадлежащие императорской семье, и небольшой сад. Пока поезд колесил между Екатеринбургом и Омском, рабочие выстроили дощатый забор, скрывший дом от взглядов прохожих и ограничивший обзор его обитателям. 5 июня был поставлен еще один, более высокий забор.

Дом был переоборудован в надежную тюрьму. Наличие двух заборов исключало всякую возможность общения с внешним миром. Но, как будто этого было недостаточно, 15 мая стекла наглухо запечатанных окон

закрасили белой краской и только сверху оставили узкие прозрачные полоски. Пленникам было разрешено посылать и получать строго ограниченное число писем. Вся их переписка, главным образом с детьми, проверялась ЧК и местным Советом. Но вскоре ее совсем запретили. Иногда в дом пускали посторонних — священников и уборщиц, но вступать с ними в разговор было категорически запрещено. Охранники тоже не имели права разговаривать с пленными. Первое время в дом доставляли газеты, но 5 июня прекратили и это. Продукты, привозимые из города, — сначала из столовой Совета, а затем из находившегося неподалеку женского монастыря, — проверяла охрана. Пленники были полностью отрезаны от мира.

Охраняли дом 75 человек. Все они были русскими (за исключением двух поляков), из местных рабочих[44]. Они были разбиты на два подразделения: одно несло внешнюю охрану, другое — внутреннюю. Платили охранникам хорошо — 400 руб. в месяц плюс продовольствие и одежда. Более малочисленная группа внутренней охраны была расквартирована в самом доме. Группа внешней охраны вначале тоже помещалась в доме, на первом этаже, но затем заняла частный дом, стоявший напротив. Охранники, заступавшие на дежурство, были вооружены револьверами и гранатами. Двое или трое из них постоянно находились наверху, не выпуская узников из виду. На вооружении охраны было четыре пулемета, установленных на первом и втором этажах, на террасе и на чердаке. Посты, расставленные снаружи, должны были контролировать все выходы и не подпускать близко к дому посторонних. Всем этим командовал Авдеев. Его кабинет, в котором он и жил, находился на втором этаже, в комнате для посетителей.

Николай и Александра очень беспокоились о детях, но вскоре их тревоги кончились: 23 мая в доме неожиданно появились три дочери и Алексей. Они проплыли на пароходе по реке Тобол до Тюмени, а оттуда уже приехали поездом. В специально сконструированных корсетах девочки тайно провезли драгоценные камни — всего около 8 кг. Когда они приехали в Тюмень, охрана не разрешила слугам помочь им нести багаж.

Чекисты арестовали четверых придворных: адъютанта Николай II князя Илью Татищева, А.А.Волкова — камердинера императрицы, ее камер-фрейлину княгиню Анастасию Гендрикову и придворную лектрису Екатерину Шнейдер. Их отправили в местную тюрьму, где уже находился князь Долгорукий, приехавший из Тобольска с Николаем и Александрой. Все они, за исключением одного человека, погибли. Большинству из оставшихся членов императорской свиты было велено покинуть Пермскую губернию. Личный слуга Алексея К.Г.Нагорный и камердинер Иван Седнев были допущены в дом Ипатьева. Врач цесаревича Владимир Деревенко получил разрешение проживать в городе как частное лицо. Два раза в неделю он осматривал Алексея, всегда в присутствии Авдеева.

Багаж, привезенный из Тобольска, хранился в саду, в сарае. Члены императорской семьи часто ходили туда в сопровождений стражи, чтобы взять что-нибудь из вещей. Охранники начали потихоньку растаскивать императорское имущество. Когда 28 мая Нагорный и Седнев выразили протест против воровства, их арестовали и отправили в тюрьму, где четыре дня спустя они были убиты чекистами. Кражи эти тревожили Николая и Александру, так как среди прочих вещей в

сарае хранились два ящика с их личной перепиской и дневниками Николая.

В конце мая 1918 года в доме Ипатьева находились одиннадцати узников. Николай и Александра занимали угловую комнату. Алексей вначале жил в одной спальне с сестрами, но 28 мая, по причинам, о которых мы еще скажем, переехал к родителям. Великие княжны спали в средней комнате на раскладушках. В комнате рядом с террасой жила А.С.Демидова, горничная царицы, единственная из пленников, у, кого была своя комната. Доктор Боткин располагался в гостиной. В кухне жили трое слуг — повар Иван Харитонов, его поваренок Леонид Седнев (юный племянник арестованного камердинера) и камердинер великих княжен Алексей Трупп.

Жизнь в доме проходила однообразно. Вставали в девять, в десять пили чай. Второй завтрак подавали в час дня, обед — между четырьмя и пятью, в семь полдничали, ужинали в девять. Спать ложились в одиннадцать[45]. Узники собирались вместе только во время трапез, остальное время они должны были находиться в своих комнатах. Дни были так похожи один на другой, что Николай стал пропускать записи в дневнике. Много времени проводили, читая вслух — Библию и русскую классику, часто при свечах, так как были перебои с электричеством. Николай впервые в жизни нашел время, чтобы прочесть «Войну и мир». Часто и подолгу молились. Им были разрешены короткие прогулки в саду, максимум пятнадцать минут, но запрещены физические упражнения, что было мучительно для Николая. В хорошую погоду Николай выносил на свежий воздух больного сына. Они играли в безик и в триктрак. Посещать церковь им не позволяли,

но по воскресеньям и в праздники приходил священник и совершал службу в гостиной, превращавшейся в это время в часовню. Все это — под неусыпным надзором стражи.

Известно множество мрачных историй о дурном обращении охраны с членами императорской семьи. Передают, например, что охранники в любое время дня и ночи могли зайти в комнаты, где жили великие княжны, что они отнимали еду, которую семья, по настоянию Николая, делила со слугами, обедая с ними за одним столом, и даже толкали бывшего царя. Хотя такие рассказы и небезосновательны, в них многое преувеличено. Комендант и охрана, без сомнения, вели себя грубо, но нет свидетельств, подтверждающих открытые злоупотребления. Тем не менее императорская семья жила в исключительно сложных условиях. Охранники, дежурившие на втором этаже, развлекались тем, что сопровождали царевен в уборную, требовали сказать, зачем они туда идут, и ожидали их, стоя под дверью[46]. Порой на стенах уборной и ванной появлялись непристойные рисунки и надписи. Рабочий паренек по имени Файка Сафонов, желая позабавить своих товарищей, распевал неприличные частушки под окнами царственных пленников.

Неудобства, унижения и само пленение Романовы переносили с удивительным просветленным спокойствием. Авдеев отметил, что Николай совсем не был похож на заключенного, «так непринужденно-весело он себя держал». Быков, коммунист, летописец этих событий, с раздражением говорит о Николае, «идиотски-безразлично относившемся к событиям, происходившим вокруг него»[47]. На самом деле такое

поведение бывшего царя и членов его семьи объяснялось не безразличием, а чувством собственного достоинства и фатализмом, коренившимся в их глубокой религиозности. Мы, конечно, никогда не узнаем, что происходило в душе этих узников, по ту сторону «непринужденной веселости» Николая, надменности Александры Федоровны или неистребимой жизнерадостности их детей, ибо они никому не открыли своих переживаний: даже дневники Николая и Александры за этот период напоминают скорее вахтенный журнал, чем исповедь. Лишь один документ, найденный среди их вещей, позволяет, быть может, заглянуть в их внутренний мир и понять, какие чувства испытывали эти люди. Это стихотворение «Молитва», написанное С.С.Бехтеевым, братом Зинаиды Толстой, близкой подруги Александры Федоровны, в октябре 1917 года и посланное в Тобольск с посвящением Ольге и Татьяне. В бумагах императорской семьи было найдено два списка этого стихотворения: один, сделанный рукой Александры Федоровны, другой — рукой Ольги. Вот эти строки:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейство ближнего прощать

И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый смертный час…

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов[48].

* * *

Весной 1918 года, когда большевики заточили Николая и его семью в Екатеринбурге, а остальных

Романовых — в других городах Пермской губернии, место это представлялось вполне надежным: оно находилось вдали и от германского фронта, и от районов действия Добровольческой армии. Власть большевиков здесь казалась незыблемой. Но ситуация резко изменилась с началом восстания Чехословацкого корпуса. К середине июня чехи заняли Омск, Челябинск и Самару. Их военные действия угрожали Пермской губернии, которая находилась к северу от этих городов. Романовы оказались в непосредственной близости от линии фронта, где большевики отступали.

Что было с ними делать? В июне Троцкий все еще считал, что нужен показательный суд: «Я мимоходом заметил в Политбюро, что ввиду плохого положения на Урале следовало бы ускорить процесс царя. Я предлагал открыть судебный процесс, который должен был развернуть картину всего царствования (крестьянская политики, рабочая, национальная, культурная, две войны и пр.); по радио ход процесса должен был передаваться по всей стране; в волостях отчеты о процессе должны были читаться и комментироваться каждый день. Ленин откликнулся в том смысле, что это было бы очень хорошо, если бы было осуществимо. Но… времени может не хватить… Прений никаких не вышло, так как я на своем предложении не настаивал, поглощенный другими делами. Да и в Политбюро нас, помнится, было трое—четверо: Ленин, я, Свердлов… Каменева как будто не было. Ленин в тот период был настроен довольно сумрачно, не очень верил тому, что удастся построить армию…»[49]

В июне 1918 года идея суда над царем действительно стала трудно осуществимой. Есть убедительные свидетельства, что вскоре после начала

восстания Чехословацкого корпуса Ленин отдал распоряжение ЧК подготовить операцию по ликвидации всех Романовых, находившихся в Пермской губернии, использовав как предлог их мнимые «попытки к бегству». Получив такой приказ, ЧК разработала планы провокаций для трех городов, где в то время находились в заключении или проживали под надзором властей Романовы, — для Перми, Екатеринбурга и Алапаевска. В Перми и Алапаевске планы эти удалось осуществить. В Екатеринбурге от него отказались.

Репетиция убийства Николая и его семьи состоялась в Перми, куда был сослан вел. кн. Михаил[50]. Он приехал в Пермь в марте с личным секретарем, англичанином Брайаном Джонсоном, и тут же был посажен в тюрьму. Его, однако, вскоре освободили и разрешили поселиться вместе с Джонсоном, слугой и шофером в гостинице, где он жил относительно комфортабельно и свободно. Хотя он и был под надзором ЧК, но имел возможность передвигаться по городу и, если бы хотел бежать, сделал бы это без особого труда. Но, как и другие Романовы, он проявил исключительную пассивность. На Пасху к нему приезжала жена, но, по его настоянию, вернулась в Петроград, откуда в конце концов смогла бежать в Англию.

В ночь с 12 на 13 июня пятеро вооруженных людей подкатили на тройке к гостинице, где жил Михаил, разбудили его, велели одеться и следовать за ними[51]. Михаил потребовал документы, удостоверяющие их полномочия. Когда документов не оказалось, он заявил о намерении встретиться с начальником местной ЧК. Камердинер Михаила, прежде чем его расстреляли, успел рассказать своему товарищу по камере, что в этот

момент посетители потеряли терпение и пообещали применить силу. Но один из них что-то шепнул на ухо то ли Михаилу, то ли Джонсону, и это рассеяло их сомнения. По-видимому, посетители выдали себя за монархистов, поставивших целью спасение великого князя. Михаил оделся и в сопровождении Джонсона сел в экипаж, ожидавший перед входом в гостиницу.

Тройка помчалась в сторону Мотовилихи — рабочего района Перми. За городом она свернула в лес и остановилась. Двум пассажирам было велено выйти, и, как только они ступили на землю, каждый из них получил пулю, скорее всего в спину, по обычаю, принятому в то время в ЧК. Их тела сожгли в находившейся поблизости плавильной печи.

Сразу после убийства большевистские власти Перми сообщили в Петроград и в ближайшие города, что Михаил бежал, и объявили его розыск. Одновременно они распустили слух, что великого князя похитили монархисты[52].

Вот что написала об этом инциденте местная газета «Пермские известия»: В ночь на 31 мая (12 июня) организованная банда белогвардейцев с поддельными мандатами явилась в гостиницу, где содержался Михаил Романов и его секретарь Джонсон, и похитила их оттуда, увезя в неизвестном направлении. Посланная в ту же ночь погоня не достигла никаких результатов. Поиски продолжаются»[53]. Все это — ложь от начала до конца. Вел. кн. Михаил и Джонсон были похищены не «бандой белогвардейцев», а группой чекистов под руководством Г.И.Мясникова, профессионального революционера, в прошлом слесаря, председателя Совета Мотовилихи. Четырьмя его подручными были пробольшевистски

настроенные рабочие из того же района. Поскольку миф о «белогвардейском» заговоре был полностью разоблачен после того как комиссия Соколова разыскала останки Михаила и Джонсона, выработанная впоследствии официальная советская версия возлагала всю вину на Мясникова и его помощников, которые действовали будто бы на свой страх и риск, не имея соответствующих распоряжений ни из Москвы, ни от местного Совета. [Быков. Последние дни. С. 121. Мясников в 1921 г. был исключен из партии за агитацию в пользу свободы мнений и в 1923 г. арестован. В 1924 или 1925 г. он появился в Париже, где торговал рукописью с описанием убийства Михаила.]. Такая трактовка событий должна вызвать подозрения даже у самых доверчивых.

17 июня сообщение об «исчезновении» Михаила напечатали газеты Москвы и Петрограда. [См., напр.: Новый вечерний час. 1918. 17 июня. № 91. С. 1. Месяц спустя появилось сообщение пресс-службы Совнаркома о том, что Михаил бежал в Омск и теперь предположительно находится в Лондоне (Наш век. 1918. 23 июля. № 124 (148). С. 3).]. Одновременно поползли слухи, что Николай II убит ворвавшимся в дом Ипатьева красноармейцем[54]. Эти слухи, возможно, и рождались сами собой, но скорее всего их специально распускали большевики, чтобы посмотреть, какой будет реакция российской общественности и иностранных держав на убийство Николая, подготовка к которому уже началась. Эту гипотезу подтверждает чрезвычайно странное поведение Ленина. 18 июня в интервью, опубликованном в ежедневной газете «Наше слово», он заявил, что Михаил, по его сведениям, действительно бежал, но жив или нет бывший царь, правительству установить пока не

удалось[55]. В высшей степени необычно было уже то, что Ленин дал интервью «Нашему слову» — либеральной газете, критиковавшей большевистский режим, насколько позволяли обстоятельства, газете, с которой большевики никогда не сотрудничали. Не менее удивительным было и его признание, что ему ничего не известно о судьбе Николая. Правительству не составляло труда узнать, как обстояло дело, однако 23 июня пресс-служба Совнаркома вновь сообщила, что сведений о судьбе бывшего царя нет, признав при этом, что ежедневно поддерживает связь с Екатеринбургом[56]. Такое поведение правительства вполне согласуется с высказанным предположением: подготавливая убийство бывшего царя, Москва намеренно распространяла эти слухи, чтобы проверить реакцию общества. [Б[улыгин]. П.Б.//Сегодня. Рига. 1928. 1 июля. № 174. С. 2–3. 28 июня советское правительство подтвердило, что Николай и его семья невредимы, сославшись на телеграмму, полученную якобы от главнокомандующего Североуральским фронтом, который 21 июня посетил дом Ипатьева и обнаружил его обитателей в здравии (Наш век. 1918. 29 июня. № 104 (128). С. 3). См. также: Дитерихс К. // Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале. Т. 1. Владивосток, 1922. С. 46–48. Задержку этого сообщения на целую неделю нельзя объяснить ничем, кроме сознательного желания ввести в заблуждение общественность.].

Если не считать аристократических и монархических кругов, российское общество — как интеллигенция, так и «массы» — не выказало озабоченности судьбой Николая. Зарубежную общественность она тоже не очень взволновала. В отчете, написанном петербургским корреспондентом лондонской «Таймс» 23 июня и

опубликованном 3 июля, содержался весьма прозрачный намек: «Каждый раз, когда поднимаются разговоры о семье Романовых, люди думают, что готовится что-то важное. Большевиков стали раздражать частые проявления любопытства к этой низложенной династии, и вновь обсуждается вопрос, не стоит ли наконец решить судьбу Романовых, чтобы покончить с ними раз и навсегда». «Решить судьбу Романовых» могло означать, конечно, только одно: убить их. Но общественность оказалась глуха даже к таким прямым попыткам прозондировать возможные последствия убийства Николая.

Безразличие к этим слухам, как в самой России, так и за ее пределами, сыграло, по-видимому, роковую роль в судьбе царской семьи.

* * *

17 июня царской семье сообщили ободряющую новость, что монахиням Новотихвинского монастыря позволено доставлять к их столу яйца, молоко и сливки. Монахини и прежде обращались к властям с такой просьбой, но им отказывали. Как стало впоследствии известно, благосклонность властей объяснялась вовсе не заботой о благополучии Романовых — это была часть чекистского заговора.

19-го или 20 июня узники получили из монастыря бутыль сливок; в пробку был запрятан листок бумаги. На нем было аккуратно выведено, скорее, всего —

переписано кем-то, кто не слишком твердо владел французским, следующее послание:

«Les amis ne dorment plus et esperent que l'heure si longtemps attendue est arrivee. La revolte des tschekoslovaques menace les bolcheviks de plus en plus serieusement. Samara, Tschelabinsk et toute la Sibirie orientale et occidentale est au pouvoir de gouvernement national provisoir. L'armee des amis slaves est a quatre-vingt kilometres d'Ekaterinbourg, les soldats de 1'armee rouge ne resistent pas efficassement. Soyez attentifs au tout mouvement de dehors, attendez et esperez. Mais en meme temps, je vous supplie, soyez prudents, parce que les bolcheviks avant d'etre *vaincus represent pour vous le peril reel et serieux.* Soyez prets toutes les heures, la journee et la nuit. Faite le croquis des vos deux chambres, les places, des meubles, des lits. Ecrivez bien 1'heure quant vous ajlez couchir vous tous. L'un de vous ne doit dormir de 2 a 3 heure toutes les nuits qui suivent. Repondez par quelques mots mais donnez, je vous en prie, tous les renseignements utiles pour vos amis de dehors. C'est au meme soldat qui vous transmet cette note qu'il faut donner votre reponse par ecrit *mais pas un seul mot.*

Un qui est pret a mourir pour vous

L'officieu [sic] de l'armee Russe»*.

* «Друзья не дремлют и надеются, что час, которого так долго ждали, настал. Восстание чехословаков представляет все более серьезную угрозу для большевиков. Самара, Челябинск и вся восточная и западная Сибирь находятся под контролем национального Временного правительства. Дружественная армия славян уже в восьмидесяти

километрах от Екатеринбурга, сопротивление солдат Красной Армии безуспешно. Будьте внимательны ко всему, что происходит снаружи, ждите и надейтесь. Но в то же время, умоляю вас, будьте осмотрительны, ибо большевики, *пока их еще не победили, представляют для вас реальную и серьезную опасность.* Будьте наготове во всякий час, днем и ночью. Сделайте чертеж *ваших двух комнат:* расположение, мебель, кровати. Напишите точный час, когда все вы ложитесь спать. Один из вас должен отныне бодрствовать от 2 до 3 каждую ночь. Ответьте несколькими словами, но дайте, прошу вас, необходимые сведения вашим друзьям снаружи. Передайте ответ тому же солдату, который вручит вам эту записку, письменно, *но не говорите ни слова.*

Тот, кто готов умереть за вас.

Офицер Русской армии».

Ответ был дан на том же клочке бумаги — смятом листе, вырванном из блокнота. Рядом с вопросом о времени, когда семья ложится спать, было написано «в 11 $^{1}/_{2}$». Слова о «двух комнатах» исправлены на «три комнаты». Внизу написано твердым, разборчивым почерком: «du coin jusqu'a balcon, 5 fenetres donnent sur la rue, 2 sur la place. Toutes les fenetres sont fermees, collees et peintes en blanc. Le petit est encore malade et au lit, et ne peut pas marcher du tout — chaque secousse lui cause des doulers, Il y a une semaine, qu'a cause des anarchist[es] on pensait a nous fair partir a Moscou la nuit. И ne faut rien risquer sans etre *absolument sur* du resultat. Sommes presque tout le temps sous observation attentive»*.

* «от угла до балкона. 5 окон выходят на улицу, 2 на площадь. Все окна закрыты, запечатаны и закрашены белой краской. Маленький еще нездоров, в постели и совсем не может ходить — всякое сотрясение причиняет ему боль. Неделю назад, из-за анархистов, была высказана мысль везти нас ночью в Москву. Нельзя рисковать, не будучи абсолютно уверенным в результате. Мы почти все время под пристальным наблюдением».

Четыре письма, тайно переданные императорской семье в конце июня — начале июля 1918 г., и ответы на них были впервые опубликованы по-русски в московской ежедневной газете «Вечерние известия» (1919. 2 апр. № 208. С. 1–2; 3 апр. № 209. С. 1–2). В ноябре 1919 г. советский историк Михаил Покровский предоставил фотокопии этих писем Айзеку Дону Левину, который опубликовал их в английском переводе в «Chicago Daily News» (1919. 18 дек.), а затем еще раз перепечатал в автобиографии: Eyewitness to History. N.Y., 1973. P. 138–141. В своей публикации Левин следует той датировке и последовательности писем, которая была подсказана ему советскими архивистами, однако в свете фактов, находящихся в самих документах, она неверна. То письмо, которое он обозначает № 2, должно быть № 3, и наоборот. Письмо № 4, датированное у него 26 июня, могло быть написано только после 4 июля. Благодаря любезности миссис Левин, предоставившей нам фотокопии материалов покойного мужа, эта переписка публикуется нами впервые в подлинном виде — по-французски.

В этом тайном послании от мнимых спасителей есть несколько странностей. Прежде всего это язык, которым оно написано. Офицер-монархист, обращаясь к своему императору, вряд ли стал бы писать «vous» вместо «Votre

Majeste». Вообще, лексика и стиль этого письма столь необычны, что давно уже исследователь екатеринбургской трагедии угадал откровенную подделку[57]. Кроме того, непонятно, каким путем записка попала к пленникам. Ее автор пишет, что она будет передана через солдата, по-видимому, — охранника. Но, как утверждает комендант Ипатьевской стражи Авдеев, тайное послание было обнаружено в пробке, закрывавшей бутылку со сливками, принесенную монахинями, и передано чекисту Голощекину, который снял с него копию. Только после этого оно было доставлено пленникам. Авдеев пишет[58], что чекистам удалось найти и арестовать автора письма, которым оказался сербский офицер по имени «Магич». В городе действительно был сербский офицер, сотрудник сербской военной миссии в России майор Ярко Константинович Мичич, который вызвал подозрения тем, что ходатайствовал о встрече с Николаем[59]. Известно также, что Мичич приехал на Урал, чтобы найти и спасти сербскую принцессу Елену [Недавно было установлено, что это и последующие письма от лица вымышленных монархистов сочинял П.Войков, член Уральского Исполкома, выпускник Женевского университета. Переписывал их другой большевик, у которого был более разборчивый почерк. См.: Радзинский Э. // Огонек. 1990. № 2. С. 27] Петровну, жену вел. кн. Иоанна Константиновича, интернированного в Алапаевске. Но, из воспоминаний Сергея Смирнова, сопровождавшего в этой поездке Мичича, нам известно, что они приехали в Екатеринбург только 4 июля, и, следовательно, Мичич не мог писать письмо 19–20 июня, ибо его не было в городе[60].

Еще одним человеком, который мог в принципе передать пленникам письмо, был доктор Деревенко, врач Алексея. Однако, как известно из показаний, данных Деревенко в 1931 году советским властям, ему было категорически запрещено каким бы то ни было образом общаться с пленниками во время его визитов[61]. По дневникам Александры Федоровны можно установить, что его последний визит в дом Ипатьева состоялся 21 июня, поэтому теоретически он мог пронести первое тайное письмо, но и это маловероятно, ибо, как пишет Александра Федоровна, подтверждая этим слова самого Деревенко, он никогда не появлялся «без Авдеева, так что с ним нельзя было перемолвиться и словом».

Таким образом, напрашивается предположение, что письмо было сфабриковано в ЧК и доставлено пленникам одним из охранников, принимавшим участие в провокации*.

Авдеев пишет, что Николай ответил на первое письмо через два или три дня после его получения[62], то есть между 21 и 23 июня. Ответ был, конечно, перехвачен, и машина ЧК заработала.

22 июня, по-видимому, в ответ на письмо Николая, в комнату, которую занимала императорская чета, пришли рабочие, чтобы осмотреть окна. На следующий день, к радости пленников, вынули одну из сдвоенных рам и открыли форточку, впустив в душные комнаты второго этажа свежий воздух. Высовывать голову в форточку запретили; когда одна из девочек попыталась это сделать, стоявший внизу охранник выстрелил.

25 июня было получено второе тайное послание, 26 июня — третье. Неопровержимым свидетельством того, что эти письма попали в руки императорской семьи,

является запись, неосторожно сделанная Николаем в дневнике 27 (14) июня:

«На днях мы получили два письма, одно за другим, в которых] нам сообщали, чтобы мы приготовились быть похищенными какими-то преданными людьми!»

Второе письмо призывало пленников не беспокоиться: их спасение не будет связано с каким бы то ни было риском. Это было ошеломляющее заявление, даже если допустить, что мнимые заговорщики хотели умерить опасения пленников: ведь их окружали десятки вооруженных охранников. Одно это заставляет усомниться в подлинности послания. «Совершенно необходимо», говорилось дальше в письме, чтобы одно из окон открывалось. Это условие было обеспечено двумя днями раньше стараниями любезного коменданта. То, что Алексей не может передвигаться, «усложняет ситуацию», но «особого неудобства не представляет».

На это письмо Николай ответил в тот же день, 25 июня. Он сообщил своим корреспондентам, что недавно одно из окон как раз было открыто. Спасти необходимо не только их, но также доктора Боткина и слуг. «Было бы низко с нашей стороны, даже если они и не хотят быть для нас обузой, бросить их одних, после того, как они сами, добровольно, согласились быть с нами в ссылке». Он выражал тревогу за судьбу двух ящиков, сложенных в сарае, — одного поменьше, с надписью «АФ № 9» (то есть Александра Федоровна, № 9), другого — побольше, с надписью «№ 13 Н.А.» (Николай Александрович), в которых хранились «старые письма и дневники».

В третьем письме неизвестный доброжелатель запрашивал дополнительную информацию. Он писал, что всех, к сожалению, спасти будет невозможно. К 30 июня

он обещал сообщить «детальный план операций» и велел им быть начеку и ждать сигнала (правда, не объяснил, какого), услышав который они должны были забаррикадировать дверь, ведущую в гостиную, и спускаться в окно по веревке, которую им предстояло каким-то образом раздобыть.

В ночь с 26 на 27 июня, в преддверии обещанной попытки спасения, Алексея перенесли в комнату родителей. Спать никто не ложился. «Провели тревожную ночь и бодрствовали одетые», но сигнала так и не последовало. «Ожидание и неуверенность были очень мучительны», — писал в дневнике Николай.

На следующую ночь Николай или Александра услышали разговор, который заставил их отказаться от мысли о побеге.

«Ночью мы слышали, — писала Александра Федоровна 28 июня, — как страже, дежурившей под нами, было приказано зорко следить за любым движением в наших комнатах; с тех пор, как открыли окно, они опять стали крайне подозрительны». Это, по-видимому, и заставило Николая отправить своему корреспонденту еще одно письмо, где говорилось, что они не готовы бежать, но не возражают против того, чтобы быть похищенными:

«Nous ne voulons et ne pouvons pas FUIRE. Nous pouvons seulement *etre enleves* par force, comme c'est la force qui nous a emmenes de Tobolsk. Ainsi, ne compte sur *aucune aide active* de notre part. Le commandant a beaucoup d'aides, les changent souvent et sont devenu *soucieux,* Us gardent notre emprisonnement ainsi nos vies consciencensement et son bien avec nous. Nous no voulons pas qu'ils souffrent a cause de nous, ni vous pour nous.

Surtout au nom de Dieu evitez l'effusion de sang. Renseignez vous sur eux vous meme. Une descente de la fenetre sans escalier est com-pletement impossible. Meme descendu on est encore en grand danger a cause de la fenetre ouverte de la chambre des commandants et la mitrailleuse de l'etage en bas, ou Ton penetre de la cour interieure. [Зачеркнуто: Renoncez done a l'idee de nous enlever.] Si vous veillez sur nous, vous pouvez toujours venir nous sauver *en cas* de danger imminent et reel. Nous ignorons completement ce qui si passe a l'extrieur, ne recevant ni journaux, ni lettres. Depuis qu'on a permi d'ouvrir la fenetre, la surveillance a augmente et on defend meme de sortir la tete, au risque de recevoir un balle dans la figure*».

* «Мы не хотим и не можем БЕЖАТЬ. Мы только можем *быть похищены* силой, как силой нас привезли из Тобольска. Поэтому не рассчитывайте ни на *какую нашу активную помощь.* У коменданта много помощников, они часто сменяются и стали *тревожны.* Они бдительно охраняют нашу тюрьму и наши жизни и обращаются с нами хорошо. Мы бы не хотели, чтобы они пострадали из-за нас или чтобы вы пострадали за нас. Самое главное, ради Бога, избегайте пролить кровь. Собирайте информацию о них сами. Спуститься из окна без помощи лестницы совершенно невозможно. Но даже если мы спустимся, остается огромная опасность, потому что окно комнаты коменданта открыто и на нижнем этаже, вход в который ведет со двора, установлен пулемет. [Зачеркнуто: «Поэтому оставьте мысль нас похитить».] Если вы за нами наблюдаете, вы всегда можете *попытаться спасти нас в случае* неминуемой и реальной опасности. Мы совершенно не знаем, что происходит снаружи, так как не получаем ни газет, ни писем. После того как разрешили распечатать окно, наблюдение

усилилось и мы не можем даже высунуть в окно голову без риска получить пулю в лицо».

На этой стадии мнимая операция по спасению императорской семьи провалилась. Однако было получено еще одно, четвертое и последнее письмо, написанное не раньше 4 июля, поскольку в нем содержалась просьба сообщить сведения о новом коменданте дома Ипатьева, сменившем Авдеева именно в этот день. Императорскую семью пытались заверить, что их друзья «Д и Т», — очевидно, Долгорукий и Татищев — уже «спасены», в то время как в действительности обоих расстреляли в прошлом месяце.

Пройдя через эти испытания, Николай и дети переменились: как сказал Соколову один из свидетелей, они выглядели «утомленными»[63].

Хотя и в то время, и позднее всю ответственность за принятие решения об убийстве императорской семьи коммунистические власти неизменно возлагали на Уральский областной Совет, эта версия, созданная, чтобы обелить Ленина, является, без сомнения, ложной. Сегодня можно с уверенностью сказать, что окончательное решение о «ликвидации» Романовых было принято лично Лениным, скорее всего в начале июля. К такому выводу можно прийти уже на том основании, что никакой провинциальный Совет не осмелился бы действовать в деле такой важности на свой страх и риск, без прямых указаний из центра. Публикуя в 1925 году результаты своего расследования, Соколов был абсолютно убежден, что за всем этим стоял Ленин. Но существует и прямое, причем весьма авторитетное свидетельство на этот счет, принадлежащее Троцкому. В

1935 году, прочитав в эмигрантской газете отчет о смерти императорской семьи, Троцкий мысленно вернулся в те дни и записал в дневнике: «Следующий мой приезд в Москву был уже после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом: «Да, а где царь?» — «Кончен, — ответил он, — расстрелян». — «А семья где?» — «И семья с ним». — «Все?» — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления. «Все! — ответил Свердлов. — А что?» Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил. «А кто решал?» — спросил я. — «Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять им живого знамени, особенно в наших условиях…» Больше я никаких вопросов не задавал, поставил на деле крест»[64].

Слова Свердлова, брошенные мимоходом, окончательно перечеркивают официальную версию, что Николай II и его семья были убиты по инициативе екатеринбургских властей, стремившихся таким образом воспрепятствовать их побегу или захвату их чехами. На самом деле решение было принято не в Екатеринбурге, а в Москве, в то время, когда большевики стали терять почву под ногами и их всерьез пугала возможность реставрации монархии, — перспектива, которую за год до этого никто даже не стал бы рассматривать, настолько она казалась фантастичной. [Когда благодаря деятельности комиссии, созданной адмиралом Колчаком, стали известны подробности екатеринбургского убийства, некоторые русские публицисты и историки использовали это для антисемитской кампании, отзвуки которой стали слышны и на Западе. Авторы таких выступлений возлагают всю вину за убийство императорской семьи на евреев, рассматривая эту акцию как часть всемирного «жидо-масонского заговора». В интерпретации этих

событий, которую предлагает англичанин Роберт Уилтон, корреспондент лондонской «Таймс» и еще более — в трактовке его русского друга генерала Дитерихса, юдофобия принимает уже патологический характер. Пожалуй, никакое другое событие этого периода не способствовало в такой мере распространению антисемитизма и популяризации пресловутых «Протоколов сионских мудрецов». Однако в стремлении возложить всю вину за эту трагедию на евреев эти авторы упустили из виду, что смертный приговор царю был вынесен русским — Лениным.].

В конце июня Голощекин — друг Свердлова и самый влиятельный большевик на Урале — отправился опять в Москву. Как пишет Быков, целью его поездки было обсуждение судьбы Романовых в ЦК коммунистической партии и в ЦИКе Советов[65]. Известно, что екатеринбургские большевики и, в частности, сам Голощекин хотели расправиться с Романовыми. Из этого можно заключить, что в Москве он просил полномочий, чтобы учинить над ними казнь. Ленин удовлетворил его просьбу.

Решение о расправе над бывшим царем, а возможно, и над его близкими, было принято, очевидно, в первых числах июля. Весьма вероятно, что это произошло на заседании Совнаркома вечером 2 июля. Два обстоятельства говорят в пользу данной гипотезы.

Одним из пунктов повестки дня этого заседания был вопрос о национализации имущества семьи Романовых. Для подготовки соответствующего декрета была назначена специальная комиссия[66]. Учитывая критическое положение, в котором находился в то время

большевистский режим, вопрос этот вряд ли мог считаться неотложным, тем более что все Романовы, которые тогда жили в России, находились либо в тюрьме, либо в ссылке и их имущество уже давно было присвоено государством или распределено между крестьянами. Скорее всего, этот вопрос встал в связи с решением казнить Николая. Декрет, узаконивший национализацию имущества семьи Романовых, был подписан 13 июля, за три дня до убийства, но, в нарушение установившейся практики, опубликован шестью днями позже — в тот самый день, когда факт убийства был предан гласности[67].

Другой аргумент, подтверждающий это предположение, заключается в том, что 4 июля, то есть сразу после заседания Совнаркома, руководство охраной императорской семьи перешло от екатеринбургского Совета к ЧК. 4 июля Белобородов направил в Кремль телеграмму следующего содержания: «Москва. Председателю ЦИК Свердлову для Голощекина. Сыромолотов как раз поехал для организации дела согласно указаний центра опасения напрасны точка Авдеев сменен его помощник Кошкин [Мошкин] арестован вместо Авдеева Юровский внутренний караул весь сменен заменяется другими точка Белобородов». [Соколов. Убийство. См. фото № 9 129 между с. 248 и 249. Помощник Авдеева А.М.Мошкин был арестован по обвинению в краже имущества императорской семьи.].

Яков Михайлович Юровский, глава екатеринбургской ЧК, был внуком еврея-каторжанина, осужденного задолго до революции по уголовному делу и сосланного в Сибирь. Получил поверхностное образование, стал учеником часовщика в Томске. Во время революции 1905 года примкнул к большевикам. Затем провел некоторое время в Берлине и принял там

лютеранство. По возвращении в Россию был сослан в Екатеринбург, где открыл фотоателье, которое, по рассказам, служило большевистской явкой. Во время войны прошел подготовку в качестве санитара, но с началом февральской революции дезертировал и, вернувшись в Екатеринбург, стал вести антивоенную агитацию среди солдат. В октябре 1917 года Совет Уральской области назначил его «комиссаром юстиции», а затем он перешел работать в ЧК. Это был человек вероломный, злобный, порочный во всех отношениях. В те дни людей такого типа тянуло к большевикам, и они становились первыми кандидатами для работы в тайной полиции. Основываясь на материалах допросов его жены и родственников, Соколов изображает Юровского как человека надменного, своенравного и жестокого[68]. Александра Федоровна, невзлюбившая его с первого взгляда, охарактеризовала его как человека «вульгарного и неприятного». Но он обладал несколькими важными для чекиста достоинствами: он был до щепетильности честен в обращении с государственным имуществом, безгранично жесток и довольно проницателен.

Первое, что сделал Юровский, приняв командование домом Ипатьева, — на корню пресек кражи. В этом был смысл с точки зрения безопасности, поскольку вороватых охранников легко подкупить, чтобы передавать через них письма в дом и из дома по каналам, неподконтрольным ЧК, и даже сделать их пособниками в случае бегства. В первый же день новый комендант велел членам императорской семьи предъявить ему все находившиеся у них драгоценности. Составив опись (в которую не вошло только то, что женщины тайно зашили в нижнее белье), он сложил драгоценности в ящик, опечатал его и

разрешил пленникам хранить у себя, но затем ежедневно проверял его содержимое. Он также повесил замок на сарай, в котором хранился привезенный из Тобольска багаж. Николай, всегда предпочитавший думать о людях хорошее, счел эти меры заботой о благе семьи. Он записал в дневнике: «Юровский и его помощник сказали, что «случилась неприятная история в нашем доме; упомянули о пропаже наших предметов… Жаль Авдеева, но он виноват в том, что не удержал своих людей от воровства из сундуков в сарае… Юровский и его помощник начинают понимать, какого рода люди окружали и охраняли нас, обворовывая нас». [Александра Федоровна в дневнике пишет, что 6 июля Юровский возвратил Николаю украденные у него часы.].

Дневник императрицы подтверждает, что 4 июля внутреннюю охрану сменили. Николай решил, что новые охранники были латышами. Так же думал и капитан взвода охраны, которого допрашивал Соколов. Но в то время определение «латыши» широко применялось как термин по отношению вообще к иностранцам, поддерживавшим коммунистический режим. Соколов установил, что с пятью из десяти вновь прибывших Юровских объяснялся по-немецки[69]. Как удалось выяснить, это были венгерские военнопленные — частью венгры, частью натурализовавшиеся в Венгрии немцы. [На стене в доме Ипатьева Соколов обнаружил надпись, сделанную по-венгерски: «Verhas Andras 1918 VII/15 — Orsegen» (Андраш Верхаш 15 июля 1918 — Охранник) (Houghton Archive. Harvard University. Sokolov File. Box 3).]. Их привезли в дом Ипатьева из штаб-квартиры ЧК, располагавшейся в гостинице «Американская»[70].

Это была расстрельная команда. Юровский разместил их на первом этаже. Сам он не стал переезжать в дом Ипатьева, предпочитая жить дома, где у него были жена, мать и двое детей. В комнате коменданта поселился его помощник Григорий Петрович Никулин.

7 июля Ленин распорядился, чтобы председателю Уральского областного Совета Белобородову установили прямую телеграфную связь с Кремлем. Это было сделано в ответ на требование Белобородова наладить такую связь «в виду чрезвычайной важности событий»[71]. С этого времени, вплоть до 25 июля, когда город был занят чехами, все переговоры Екатеринбурга с Кремлем по военным вопросам и по вопросам, касавшимся судьбы Романовых, велись по этому каналу, нередко — с помощью шифрованных сообщений.

12 июля из Москвы вернулся Голощекин с полномочиями привести в исполнение смертный приговор. В тот же день, выступив в Исполкоме, он сообщил об «отношении центральной власти к расстрелу Романовых». Он сказал, что первоначально в Москве собирались устроить суд над бывшим царем, но ввиду приближения фронта это неосуществимо. Поэтому Романовых надо расстрелять[72]. Исполком утвердил решение Москвы[73]. Таким образом, екатеринбургские власти брали на себя ответственность за смерть царя, сделав вид, что это чрезвычайная мера, необходимая, чтобы императорская семья не попала в руки к чехам. [В воспоминаниях Юровского, написанных в 1920 г. и опубликованных только в 1989-м, сказано, что шифрованный приказ об «истреблении» Романовых был получен 16 июля из Перми. Пермь была губернским

центром, через который проходила связь из Москвы на всю Уральскую область. По свидетельству Юровского, приказ на расстрел был подписан Голощекиным в тот же день в 6 часов пополудни. (Огонек. 1989. № 21. С. 30.)].

На следующий день, 15 июля, Юровского видели в лесах к северу от Екатеринбурга. Он искал место, где можно было надежно спрятать тела.

Члены императорской семьи ничего не подозревали, поскольку Юровский строго поддерживал в доме заведенный порядок и был внешне так заботлив, что завоевал их доверие. 8 июля (25 июня) Николай записал: «Наша жизнь нисколько не изменилась при Юровском». Действительно, в некоторых отношениях она даже улучшилась, так как теперь они получали все продукты, приносимые из монастыря, которые прежде разворовывала авдеевская стража. 11 июля рабочие установили решетку на единственном окне, которое открывалось, но это не вызвало у пленников удивления: «Конечно, боятся, что мы выберемся наружу или договоримся с охраной», — записала Александра Федоровна. Теперь, когда чекисты отказались от идеи спровоцировать попытку к бегству, Юровский стремился отрезать все возможные пути для настоящего бегства. 14 июля, в воскресенье, он разрешил священнику отслужить в доме обедню. Священнику, когда он уходил, показалось, что одна из великих княжон шепотом сказала ему: «Спасибо»[74]. 15 июля Юровский, немного разбиравшийся в медицине, сидел какое-то время у постели Алексея, расспрашивая его о здоровье. На следующий день он принес ему несколько яиц. 16 июля в дом пришли две уборщицы. Как они рассказывали

впоследствии Соколову, пленники были в хорошем настроении, а девушки смеялись, когда им помогли застлать постели.

Все это время императорская семья все еще надеялась, что как-то проявят себя их спасители. Вот последняя запись из дневника Николая, датированная 13 июля (30 июня): «Никаких вестей извне нет».

* * *

О трагических событиях, обагривших кровью дом Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля, мы знали до недавнего времени в основном из свидетельств, собранных комиссией Соколова. 25 июля большевики сдали Екатеринбург чехам. Когда русские, вошедшие в город вместе с чехами, устремились к дому Ипатьева, они обнаружили, что он разгромлен и пуст. 30 июля началось расследование, которое должно было прояснить судьбу императорской семьи, но проводившие его люди не предприняли никаких серьезных усилий и упустили несколько драгоценных месяцев. В январе 1919 года адмирал Колчак, провозглашенный верховным правителем, поставил руководить расследованием генерала М.К.Дитерихса, но у того не оказалось необходимых для этой работы профессиональных навыков, и в феврале его сменил сибирский юрист Н.А.Соколов. Два года Соколов с непоколебимым упорством опрашивал свидетелей и изучал все вещественные доказательства по этому делу. Вынужденный в 1920 году бежать из России, он увез с

собой материалы расследования. Эти материалы и книга, написанная на их основе, являются одним их главных источников наших знаний о екатеринбургской трагедии. [Семь папок, содержащих второй машинописный экземпляр материалов комиссии Соколова, хранятся в Гарварде. Первоначально они принадлежали Роберту Уилтону, корреспонденту лондонской «Таймс» в России, который сопровождал Соколова. Судьбу других экземпляров дела (всего их было три) обсуждает Росс (Гибель. С. 13–17). Некоторые дополнительные сведения о екатеринбургской трагедии можно почерпнуть в книге М.К.Дитерихса «Убийство царской семьи».]. Опубликованные недавно воспоминания Юровского в основном подтверждают и дополняют показания капитана взвода охраны П.Медведева и других свидетелей, опрошенных Соколовым[75].

* * *

День 16 июля прошел для императорской семьи обычно. Судя по последней записи в дневнике Александры Федоровны, сделанной в 11 часов вечера, когда они уже собирались лечь спать, у пленников не было никаких дурных предчувствий.

Весь тот день Юровский был страшно занят. Найдя место, где можно было сжечь и закопать тела, — заброшенный прииск близ деревни Коптяки, — он раздобыл грузовой «фиат» и велел поставить его за забором у главного входа в дом Ипатьева. Под вечер он велел Медведеву забрать у охранников револьверы. Тот

принес в кабинет коменданта двенадцать семизарядных револьверов системы «наган», которыми обычно были вооружены офицеры русской армии. В 6 вечера Юровский вызвал с кухни мальчика-поваренка Леонида Седнева и отослал его из дома, сказав обеспокоенным Романовым, что тот пошел встретиться с дядей, камердинером Иваном Седневым. Это была ложь, так как Седнев-старший был расстрелян ЧК несколькими неделями раньше, тем не менее это был единственный гуманный поступок, совершенный в те дни Юровским, ибо таким образом он спас жизнь ребенку. Около 10 часов вечера Юровский велел Медведеву сообщить охране, что этой ночью Романовых расстреляют, и сказать, чтобы они не беспокоились, услышав выстрелы. Грузовик, который должен был прибыть в полночь, опоздал на полтора часа, и это отсрочило казнь.

В половине второго Юровский поднял доктора Боткина и попросил его разбудить остальных. Он объяснил, что в городе неспокойно и их решили перевести в нижний этаж. Для обитателей дома Ипатьева такое объяснение должно было прозвучать убедительно, так как они часто слышали с улицы звуки стрельбы: днем раньше Александра Федоровна записала в дневнике, что ночью были слышны артиллерийская канонада и револьверные выстрелы. [По некоторым источникам, императорской семье сказали, что их поведут из дома Ипатьева в более безопасное место, однако этой гипотезе противоречит тот факт, что пленники оставили в своих комнатах все, что в таком случае должны были бы взять с собой, в частности икону, с которой Александра Федоровна не расставалась в путешествиях (Дите-рихс. Убийство. Т. 1. С. 25).]. Чтобы умыться и одеться, пленникам понадобилось полчаса. Около двух

часов они стали спускаться по лестнице. Впереди шел Юровский. За ним — Николай с Алексеем на руках, оба в гимнастерках и фуражках. Затем следовали императрица с великими княжнами (Анастасия вела своего любимца спаниеля Джемми) и доктор Боткин. Демидова несла две подушки, в одной из которых была зашита шкатулка с драгоценностями. За ней шли камердинер Трупп и повар Харитонов. Незнакомая узникам расстрельная команда, состоявшая из десяти человек, — шестеро из них были венграми, остальные русскими, — находилась в соседней комнате. Как показал Медведев, императорская семья «на вид казалась спокойна и как будто никакой опасности не ожидала»[76].

Спустившись по внутренней лестнице, процессия ступила во двор и повернула налево, чтобы войти в нижний этаж. Их провели в противоположный конец дома, в комнату, где до этого размещалась стража. Из этого помещения, пять метров в ширину и шесть в длину, вся мебель была вынесена. Высоко во внешней стене находилось единственное полукруглое окно, забранное решеткой. Только одна дверь была открыта, другую, напротив нее, ведущую в кладовку, заперли на замок. Это был тупик.

Александра Федоровна спросила, почему в комнате нет стульев. Юровский, по-прежнему предупредительный, велел принести два стула, на один из них Николай посадил Алексея, на другой села императрица. Остальным велели выстроиться вдоль стены. Через несколько минут в комнату вошел Юровский в сопровождении десяти вооруженных людей. Сцену, которая за этим последовала, он сам описал такими словами: «Когда вошла команда, ком[ендант] [Юровский пишет о себе в третьем лице.] сказал Романов[ым], что

ввиду того, что их родственники в Европе продолжают наступление на советскую Россию, Уралисполком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье, потом, как бы опомнившись, обернулся к ком[енданту] с вопросом: «Что? Что?» Ком[ендант] наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять, и приказано целить прямо в сердце, чтоб избежать большого количества крови и покончить скорее. Николай больше ничего не произнес, опять обернувшись к семье, другие произнесли несколько несвязных восклицаний, все это длилось несколько секунд. Затем началась стрельба, продолжавшаяся две — три минуты. Николай был убит самим ком[ендант]ом наповал»[77].

Как сообщают свидетели, императрица и одна из ее дочерей едва успели перекреститься: смерть их была мгновенной. Пока охранники не расстреляли все патроны, стрельба стояла страшная: Юровский пишет, что пули, отскакивая от стен и от пола, сыпались градом. Девочки кричали. Сраженный выстрелами, Алексей упал со стула. Харитонов «осел и умер».

Это была тяжелая работа. Юровский назначил каждому стрелку одну жертву и велел целить прямо в сердце. Тем не менее, когда залпы прекратились, шестеро еще были живы: Алексей, трое девочек, Демидова и Боткин. Алексей стонал, лежа в луже крови. Юровский добил его двумя выстрелами в голову. Демидова отчаянно защищалась, прижимая к себе подушки, в одной из которых была зашита металлическая шкатулка. Ее прикончили штыками. «Когда добивали одну из девочек, штык не мог пройти сквозь корсет», — жаловался Юровский. Вся, как он назвал это,

«процедура» заняла двадцать минут. Медведев так описывал эту сцену: «У каждого было по несколько огнестрельных ран в разных местах тела, лица у всех были залиты кровью, одежда у всех также была в крови»[78].

Несмотря на то, что у дома работал грузовик, — специально, чтобы заглушить выстрелы, — стрельба была слышна и на улице. Один из обитателей дома Попова, стоявшего напротив и отданного для размещения внешней охраны, рассказывал Соколову: «Ночь с 16 на 17 июля 1918 года я хорошо восстанавливаю в своей памяти, потому что вообще в эту ночь я не спал, и помню, что около 12 часов ночи я вышел во двор и подошел к навесу, меня тошнило, я там остановился. Через некоторое время я услыхал глухие залпы, их было около 15, а затем отдельные выстрелы, их было 3 или 4, но эти выстрелы были не из винтовок произведены; было это после двух часов ночи; выстрелы были от Ипатьевского дома и по звуку глухие, как бы произведенные в подвале. После этого я быстро ушел к себе в комнату, ибо боялся, чтобы меня не заметили сверху охранники дома, где был заключен бывший Государь Император; войдя в комнату, мой сосед по ней спросил: «Слышал?» Я ответил: «Слышал выстрелы». — «Понял?» — «Понял», — сказал я, и мы замолчали…»[79]

Убедившись, что все мертвы, охранники взяли из комнат верхнего этажа простыни и, сняв с трупов все драгоценности и рассовав их по карманам, вынесли еще истекающие кровью тела во двор, где у главных ворот ждал грузовик. В кузове расстелили кусок брезента, сложили на него тела одно на другое и накрыли сверху еще одним таким же куском. Юровский, угрожая

расстрелом, потребовал, чтобы охранники вернули украденные драгоценности и конфисковал у расстрельщиков золотые часы, украшенные бриллиантами, портсигар и некоторые другие вещи. Затем он сел в грузовик и уехал.

Руководить уборкой Юровский поручил Медведеву. Охранники принесли швабры, ведра с водой и песок, чтобы смыть следы крови. Вот как описывал один из них «место действия»: «В комнатах стоял как бы туман от порохового дыма и пахло порохом… в стенах и полу были удары пуль. Пуль особенно было много (не самих пуль, а отверстий от них) в одной стене… Штыковых ударов нигде в стенах комнаты не было. Там, где в стенах и полу были пулевые отверстия, вокруг них была кровь; на стенах она была брызгами и пятнами, на полу — маленькими лужицами. Были капли и лужицы во всех других комнатах, через которые нужно было проходить во двор дома Ипатьева из той комнаты, где были следы от пуль. Были такие же следы крови и во дворе к воротам на камнях»[80]. Охранник, который пришел на следующий день в дом Ипатьева, обнаружил там полный разгром: одежда, книги, иконы были в беспорядке разбросаны по полу и на столах — в них пытались найти спрятанные драгоценности и деньги. Атмосфера была мрачной, стража — неразговорчивой. Ему сказал», что чекисты отказались проводить остаток ночи у себя внизу и переехали наверх. Единственным живым напоминанием о прежних обитателях этих комнат был спаниель цесаревича Джой, о котором накануне как-то забыли: он стоял у дверей комнаты наверху, ожидая, что его туда впустят. «Я хорошо помню, — рассказывал один из охранников, — как я еще подумал тогда: напрасно ты ждешь».

Наружной охране было велено оставаться на своих постах, чтобы создать впечатление, будто в доме Ипатьева все идет по-прежнему. Этот спектакль продолжали разыгрывать, дабы не потерять возможность инсценировать впоследствии убийство царя и его семьи при попытке к бегству во время «эвакуации». 19 июля все наиболее важные вещи из имущества императорской семьи, включая личные бумаги Николая и Александры, Голощекин погрузил в поезд и увез в Москву[81].

* * *

Зная склонность русского народа чтить как святыню останки мучеников и стремясь предотвратить возникновение культа Романовых, екатеринбургские большевики приложили все усилия, чтобы бесследно уничтожить их тела. Местом, которое выбрали для этой цели Юровский и его помощник Ермаков, был лес у деревни Коптяки в пятнадцати километрах к северу от Екатеринбурга. Это был район топких торфяников и заброшенных шахт.

В нескольких километрах от города грузовик встретила группа из двадцати пяти человек — верховых и в пролетках: «Это были рабочие (члены Совета, Исполкома и т. д.), которых приготовил Ермаков. Первое, что они закричали: «Что ж вы нам их неживыми привезли?!» Они думали, что казнь Романовых будет поручена им. Начали перегружать трупы на пролетки… Сейчас же начали очищать карманы — пришлось и тут пригрозить расстрелом и поставить часовых. Тут и

обнаружилось, что на Татьяне, Ольге, Анастасии были надеты какие-то особые корсеты. Решено было раздеть трупы догола, но не здесь, а на месте погребения».

Было шесть или семь часов утра, когда процессия достигла заброшенного золотоносного прииска с шахтой глубиной около трех метров. Юровский распорядился, чтобы тела раздели и сожгли. «Когда стали раздевать одну из девиц, увидели корсет, местами разорванный пулями, — в отверстии видны были бриллианты. У публики явно разгорелись глаза. Комендант] решил сейчас же распустить всю артель… Команда приступила к раздеванию и сжиганию. На Александре Федоровне оказался целый жемчужный пояс, сделанный из нескольких ожерелий, зашитых в полотно. [Вставка на полях: «На шее у каждой из девиц оказался портрет Распутина с текстом его молитвы, зашитые в ладанки».] Бриллианты тут же переписывались, их набралось около полпуда… Сложив все ценное в сумки, остальное найденное на трупах сожгли, а сами трупы опустили в шахту»[82]. Не будем описывать, каким надругательствам подверглись тела шести женщин, — достаточно сказать: один из охранников, принимавший участие в этой операции, впоследствии хвастал, что «может теперь спокойно умереть, так как он щупал царицу за…»[83]

В течение нескольких месяцев Соколов, в надежде разыскать останки Романовых, вел раскопки вокруг места, которое здешние крестьяне называли «Четыре брата» — так окрестили четыре больших сосны, выросшие здесь некогда из одного семечка. Он обнаружил немало материальных свидетельств — иконки, брелоки, очки, застежки от корсетов — и доказал, что все они принадлежали членам

императорской семьи. Был найден человеческий палец, отсеченный по-видимому, от тела императрицы, — скорее всего, чтобы снять кольцо. [Это мог быть и палец Николая: 4 июля, когда Юровский потребовал, чтобы они сдали все драгоценности, Александра Федоровна отметила в дневнике, что обручальное кольцо ее супруга останется на месте.]. Найденный зубной протез, как было установлено, принадлежал доктору Боткину. Палачи не посчитали нужным кремировать труп собаки Джемми, — он был просто сброшен в шахту. Они также не заметили или случайно обронили бриллиант в десять карат — подарок императрице от Николая — и Ульмский крест самого царя. То и другое валялось в траве.

Однако останки самих жертв найдены не были. В результате в течение многих лет периодически рождались предположения, что некоторые или даже большинство членов царской семьи живы. Тайна эта была окончательно развеяна только после публикации воспоминаний Юровского. Оказалось, что у «Четырех братьев» тела были захоронены временно.

Юровский посчитал шахту недостаточно глубокой, чтобы надежно скрыть погребение. Вернувшись в город, он навел справки и выяснил, что на Московском тракте существуют более глубокие шахты. 18 июля Юровский, захватив некоторое количество керосина и серной кислоты, вернулся со своими людьми и отрядом чекистов на прежнее место. Перекрыв окрестные дороги, они выкопали трупы, погрузили их в грузовик и повезли в направлении к Московскому тракту. По дороге машина застряла в грязи, и останки императорской семьи пришлось захоронить в случайном месте, в неглубокой могиле. Тела полили серной кислотой, а яму забросали

землей и валежником. До 1989 года это место захоронения оставалось неизвестным.

* * *

Пока убийцы заметали следы преступления, в 140 км к северо-востоку от Екатеринбурга, в Алапаевске, разыгрывался другой акт трагедии семьи Романовых. Здесь с мая 1918 года большевики содержали под стражей нескольких представителей императорского дома: вел. кн. Сергея Михайловича, вел. кн. Елизавету Федоровну, принявшую постриг (вдову вел. кн. Сергея Александровича, убитого террористами в 1905 году, и сестру императрицы), кн. Владимира Павловича Палея и троих сыновей вел. кн. Константина — Игоря, Константина и Иоанна. Они жили с приближенными и слугами под домашним арестом в здании школы в пригороде Алапаевска, под охраной русских и австрийцев.

21 июня, то есть в тот самый день, когда обитатели дома Ипатьева получили первое письмо от мнимых спасителей, алапаевских узников перевели на строгий тюремный режим. От них удалили всех слуг и приближенных (кроме двоих: секретаря Ф.С.Ремеза и монахини), конфисковали драгоценности и ограничили свободу передвижений. Это было сделано по приказу Белобородова из Екатеринбурга, якобы для того, чтобы не допустить повторения ими «бегства» Михаила из Перми, случившегося за неделю до этого.

В день, когда были убиты Николай II и его семья, 17 июля, алапаевским узникам сказали, что их переводят в более безопасное место. Вечером этого дня власти инсценировали вооруженное нападение на здание школы, в котором содержались Романовы, приписав это действиям «белогвардейской банды». Как было объявлено, воспользовавшись завязавшейся схваткой, пленники бежали. В действительности их увезли в место под названием Верхняя Синячиха, завели далеко в лес, жестоко избили и казнили.

18 июля, в три часа пятнадцать минут утра Алапаевский Совет телеграфировал в Екатеринбург, где был разработан сценарий этого спектакля, что Романовы бежали из-под стражи. В тот же день Белобородов направил Свердлову в Москву и Зиновьеву и Урицкому в Петроград телеграмму следующего содержания: «Алапаевский Исполком сообщил нападении утром восемнадцатого неизвестной банды помещение где содержались под стражей бывшие великие князья Игорь Константинович Константин Константинович Сергей Михайлович и Полей [Палей] точка Несмотря сопротивление стражи князья похищены точка Есть жертвы с обеих сторон поиски ведутся точка»[84].

Проведенная белыми экспертиза установила, что все жертвы, кроме вел. кн. Сергея Михайловича, который, очевидно, сопротивлялся и был застрелен, были заживо сброшены в шахту. Там и нашли их тела. Пятеро членов царского дома и монахиня, сопровождавшая вел. кн. Елизавету Федоровну, умерли от недостатка воздуха и воды, вероятно, спустя несколько дней. Вскрытие показало наличие земли во рту и в желудке вел. кн. Константина Константиновича[85].

* * *

Даже не имея неопровержимых свидетельств, что Романовых убили по приказу из Москвы, это можно заподозрить, приняв во внимание тот факт, что официальное сообщение о «казни» Николая появилось не в Екатеринбурге, где якобы было принято такое решение, а в столице. Действительно, Уральскому областному Совету в течение пяти дней не разрешали предавать гласности это событие, хотя сообщения о нем уже появились в иностранной печати.

Мы не располагаем точными свидетельствами, но, судя по всему, главным мотивом, заставившим Москву требовать молчания от Екатеринбурга, был деликатный вопрос о судьбе царицы и детей.

Главную проблему представляли немцы, которых в этот момент большевики старались обработать как могли. Кайзер был двоюродным братом Николая II и крестным отцом цесаревича. Если бы его волновала судьба родственников, он мог включить в Брест-Литовский договор пункт о передаче Германии бывшего царя и его семьи, и большевики были бы не в состоянии отказаться. Но он этого не сделал. Когда в начале марта король Дании попросил его принять участие в судьбе Романовых, кайзер ответил, что не может предоставить убежище бывшему царю и его семье, потому что это будет расценено русскими как попытка реставрации монархии[86]. Точно так же он отверг и просьбу шведского короля попытаться облегчить участь

Романовых. Наиболее правдоподобным представляется объяснение такого поведения, данное Ботмером, который считает, что кайзер был движим страхом перед немецкими левыми партиями. [Bothmer K, von. Mit Graf Mirbach m Moskau. Tubingen, 1922. Немецкий ученый, оправдывая поведение своей страны, ссылается на слова Александры Федоровны, записанные воспитателем цесаревича Жильяром, что она готова скорее «умереть насильственной смертью в России, чем быть спасенной немцами» (Jagov // BM. 1935. № 5. S. 371). Может быть, это и правда, однако в тот момент немецкое правительство никак не могло знать, что она думает таким образом.].

Проявляя безразличие к судьбе Николая, Берлин тем не менее выражал озабоченность безопасностью царицы, которая была по происхождению немкой, и тех, кого собирательно называли «немецкими принцессами» — дочерей Александры Федоровны и нескольких придворных дам немецкого происхождения, а также Елизаветы Федоровны, сестры Александры. 10 мая Мирбах обсуждал этот вопрос с Караханом и Радеком и доложил в Берлин следующее: «Не рискуя, конечно, выступить как защитник свергнутого режима, я, тем не менее, сказал комиссарам, что мы надеемся, что с немецкими принцессами будут обращаться со всем возможным уважением, без мелких придирок, не говоря уж об угрозах их жизни. Карахан и Радек, которые замещают отсутствующего Чичерина, восприняли мое замечание благосклонно и с пониманием»[88].

Утром 17 июля кто-то из руководителей екатеринбургского Совета (почти наверняка Белобородов) телеграфировал в Кремль о событиях минувшей ночи. В биохронике Ленина, где

прослеживаются мельчайшие подробности его жизни, имеется датированная этим числом краткая запись: «Ленин получает (в 12 часов) письмо из Екатеринбурга и пишет на конверте: «Получил. Ленин»[89]. Однако в этот период между Москвой и Екатеринбургом действовала прямая телеграфная связь. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что документ, полученный Лениным, был не письмом, а телеграммой. Кроме того, обычно в биохронике кратко излагается содержание посланий, полученных Лениным. То, что это не сделано в данном случае, наводит на мысль, что речь шла об убийстве царской семьи, ибо в советской историографии не принято ставить эту тему в какую-либо связь с именем Ленина. Очевидно, в этом сообщении было недостаточно внятно сказано о судьбе супруги и детей Николая, потому что Кремль телеграммой потребовал от Екатеринбурга разъяснений. В тот же день, позднее, Белобородов направил в Москву шифрованное сообщение, звучавшее как ответ на вопрос. Копию этой депеши Соколов обнаружил на Екатеринбургском телеграфе, но не смог ее расшифровать. Два года спустя это удалось одному русскому криптографу в Париже. Документ не оставляет сомнений относительно судьбы царской семьи: «МОСКВА Кремль Секретарю Совнаркома Горбунову с обратной проверкой. «Передайте Свердлову что все семейство постигла та же участь что и главу официально семья погибнет при эвакуации. Белобородов»»[90].

Телеграмма Белобородова пришла в Москву ночью. На следующий день Свердлов сообщил эту новость президиуму ЦИКа, тщательно избегая упоминаний о смерти семьи Николая. Он сказал, что, попади царь в руки чехам, это обернулось бы смертельной опасностью, и в итоге получил от президиума формальное одобрение

действий Уральского областного Совета[91]. При этом Свердлов не дал себе труда объяснить, почему царя и его семью не привезли в Москву в июне или в первых числах июля, когда это еще вполне можно было сделать.

Позднее в тот же день Свердлов появился на заседании Совнаркома, которое происходило в Кремле. Вот как описывает эпизод один из очевидцев: «Во время обсуждения проекта о здравоохранении, во время доклада тов. Семашко, вошел Свердлов и сел на свое место на стул позади Ильича. Семашко кончил. Свердлов подошел, наклонился к Ильичу и что-то сказал.

— Товарищи, Свердлов просит слово для обращения.

— Я должен сказать, — начал Свердлов обычным своим ровным тоном, — получено сообщение, что в Екатеринбурге, по постановлению областного Совета, расстрелян Николай; Александра и сын в надежных руках. Николай хотел бежать. Чехословаки подступали. Президиум ЦИКа постановил одобрить.

Молчание всех.

— Перейдем теперь к постатейному чтению проекта, — предложил Ильич.

Началось постатейное чтение, затем обсуждался проект по статистике»[92].

Трудно сказать, зачем был весь этот цирк, ибо члены большевистского кабинета наверняка знали правду. [Брюс Локкарт утверждает, что уже вечером 17 июля Карахан сказал ему, что погибла вся царская семья (см.: Memoirs of a British Agent. 1935. P. 303–304). Странно, что никому не пришло в голову спросить, в чьих «руках» были дочери Николая.]. Вероятно, большевики

испытывали нужду в такого рода формальных реверансах, прикрывающих творимый ими произвол.

Затем Свердлов составил текст официального сообщения, который передал в «Известия» и в «Правду» для публикации на следующий день, 19 июля. 22 июля оно было перепечатано лондонской «Таймс».

«На первой сессии Центрального исполнительного комитета, избранного Пятым съездом Советов, было зачитано сообщение, полученное по прямому проводу от Уральского областного Совета, о расстреле бывшего царя Николая Романова.

В последние дни Екатеринбургу, столице красного Урала, серьезно угрожали подступившие к нему банды чехословаков. В то же самое время был раскрыт контрреволюционный заговор, имевший целью с оружием в руках вырвать тирана из рук Совета.

Ввиду этих обстоятельств президиум Уральского областного Совета принял решение расстрелять бывшего царя Николая Романова. Это решение было приведено в исполнение 16 июля.

Жена и сын Романова отправлены в надежное место. Обнаруженные документы, касающиеся заговора, направлены в Москву со специальным курьером.

Недавно было принято решение предать бывшего царя трибуналу, чтобы судить его за преступления перед народом, и только последующие события не позволили осуществить это намерение. Президиум Центрального исполнительного комитета, обсудив обстоятельства, которые заставили Уральский областной Совет принять решение о расстреле Николая Романова, постановил следующее: Всероссийский центральный исполнительный

комитет в лице президиума одобряет решение Уральского областного Совета как правомочное.

В распоряжении Центрального исполнительного комитета в настоящее время имеются чрезвычайно важные материалы и документы по делу Николая Романова: его дневники, которые он вел почти до последнего дня; дневники его жены и детей; его корреспонденция, включая письма Григория Распутина Романову и членам его семьи. Все эти материалы будут изучены и опубликованы в ближайшем будущем».

Так было положено начало официальной легенде: Николай — и лишь он один — был расстрелян за попытку к бегству, и решение это было принято Уральским областным Советом, а не большевистским ЦК в Москве.

19 июля, как и в последующие несколько дней, когда «Правда» и «Известия» уже напечатали сообщения о решениях, якобы принятых екатеринбургским Советом, дополнив их декретом о национализации имущества семьи Романовых, — Уральский областной Совет по-прежнему хранил гробовое молчание.

Мировая печать проинформировала своих читателей об этих событиях, следуя официальной большевистской версии. 21 июля «Нью-Йорк Таймс» вынесла эту новость на первую полосу воскресного выпуска, снабдив таким заголовком: «Бывший русский царь убит по приказу Уральского Совета. Николай расстрелян 16 июля, когда возникла опасность, что его могут захватить чехословаки. Жена и наследник в безопасности». Ниже был помещен некролог, в котором казненный монарх снисходительно охарактеризован как человек «приятный, но слабый». Большевики, вдохновленные безразличием, с которым за месяц до этого были восприняты слухи о

смерти Николая, рассчитали верно: мир легко проглотил эту новость.

В тот день, когда советская печать опубликовала сообщение о расстреле бывшего царя, Рицлер встретился с Радеком и Воровским. Он принес формальный протест против казни Николая, которую, как он сказал, безусловно осудит мировое общественное мнение, и вновь подчеркнул, что его правительство обеспокоено судьбой «немецких принцесс». Собрав, вероятно, все самообладание, Радек ответил, что, если немецкое правительство в самом деле беспокоится о судьбе бывшей императрицы и ее дочерей, тем может быть из «гуманных соображений» разрешено покинуть Россию[93]. 23 июля Рицлер в беседе с Чичериным вновь вернулся к вопросу о «немецких принцессах». Чичерин сразу ему ничего не ответил, но на следующий день сообщил: «насколько ему известно», императрица эвакуирована в Пермь. У Рицлера сложилось впечатление, что Чичерин лгал. К этому времени (22 июля) Ботмер знал уже об «ужасных подробностях» екатеринбургских событий и не сомневался, что вся семья была убита по приказу из Москвы, а екатеринбургскому Совету было лишь предоставлено право выбрать время и способ казни[94]. Тем не менее 29 августа Радек предложил немецкому правительству обменять Александру Федоровну и ее детей на арестованного в Германии спартаковца Лео Иогихеса. 10 сентября большевистское руководство повторило это предложение немецкому консулу, но, когда немцы стали уточнять детали, большевики уклонились от обсуждения, заявив, что в данный момент семья бывшего царя оказалась отрезанной в результате военных действий[95].

20 июля Уральский Совет составил наконец текст сообщения и запросил у Москвы разрешение на его публикацию[96]. В нем говорилось следующее:

«Экстренный выпуск. По распоряжению Областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Урала и Рев. штаба бывший Царь и Самодержавец Николай Романов расстрелян совместно с его семьей 17 июля 1918 года. Трупы преданы погребению.

Председатель Исполкома Белобородов

г. Екатеринбург 20 июля 1918 г. 10 часов утра».

[Текст этого документа стал известен на Западе при весьма подозрительных обстоятельствах. Весной 1956 г. в редакции популярного западногерманского еженедельника «7 Tage» появился человек, назвавший себя Гансом Мейером. Он утверждал, что, будучи австрийским военнопленным, принимал в 1918 г. непосредственное участие в решении вопроса об участи царской семьи в Екатеринбурге, и показал документы, относящиеся к этому делу, которые, по его словам, он скрывал в течение 18 лет, живя в Восточной Германии. Его версия екатеринбургских событий изобиловала фантастическими деталями. Без сомнения, он прежде всего стремился доказать, что Анастасия погибла вместе со всей семьей. Документы, предоставленные Мейером, кажутся отчасти подлинными, отчасти сфабрикованными. Вероятнее всего, он действовал по заданию советской службы безопасности. Его рассказ был напечатан в журнале (7 Tage. 1956. 14 июля — 25 августа. № 27–35). Приведенный выше текст сообщения, который представляется аутентичным, был помещен в номере «7 Tage» от 25 авг. 1956 г. О «свидетельствах» Мейера см.:

Пагануц-ци П. // Время и мы. 1986. № 92. Как утверждает автор, немецкий суд, рассмотревший эти документы в связи с делом, возбужденным так называемой Анастасией, признал их поддельными.].

Москва запретила печатать это сообщение, поскольку в нем шла речь о смерти семьи Николая. На единственном известном экземпляре этого документа слова «совместно с его семьей» и «трупы преданы погребению» перечеркнуты, поставлены резолюция «запретить публикацию» и неразборчивая подпись.

20 июля Свердлов передал по прямому проводу в Екатеринбург согласованный текст сообщения, написанного им самим и напечатанного затем в московских газетах[97]. 21 июля Голощекин сообщил Уральскому областному Совету ошеломляющую новость: оказывается, неделю назад Совет (и не подозревавший об этом) принял решение расстрелять бывшего царя. Теперь решение это уже исполнено. Население Екатеринбурга узнало о случившемся из листовок, расклеенных по городу 22 июля. На следующий день текст листовки был напечатан в газете «Рабочий Урала», где его предваряли такие строки: «Белогвардейцы пытались похитить бывшего царя и его семью. Их заговор был раскрыт. Областной Совет рабочих и крестьян Урала предупредил их преступный замысел и расстрелял всероссийского убийцу. Это первое предупреждение. Врагам народа так же не достичь возвращения к самодержавию, как им не удалось заполучить к себе в стан коронованного палача»[98].

22 июля стража, охранявшая дом Ипатьева, была снята. Юровский вручил бывшим охранникам 8000 руб.,

велел поделить деньги между собой и сказал, что их отправляют на фронт. В тот же день Ипатьев получил телеграмму от своей невестки: «Жилец уехал»[99].

Все очевидцы согласны в том, что народ, — по крайней мере, горожане, — не выказал особых эмоций, узнав о казни бывшего царя. В некоторых московских храмах отслужили панихиды, но, в общем, народ безмолствовал. Локкарт отметил, что «население Москвы восприняло новость с удивительным безразличием»[100]. Такое же впечатление сложилось и у Ботмера: «Население приняло убийство царя равнодушно и безразлично. Даже честные и трезвые люди настолько привыкли к ужасам, настолько подавлены собственной нуждой и заботами, что и на них это не произвело впечатления»[101]. Бывший премьер-министр В.Н.Коковцов, наблюдая реакцию публики в петроградском трамвае 20 июля, обнаружил даже признаки явного удовлетворения: «Нигде не заметил я ни малейшей тени горя или сочувствия. Сообщение читали вслух с усмешками, ужимками, шуточками и с самыми безжалостными замечаниями… Можно было слышать просто отвратительные высказывания: «Давно надо было это сделать»… «Эге, братец Романов, пришло время отвечать»[102].

Крестьяне держали свои мысли при себе. Но об их реакции можно составить некоторое представление по колоритному высказыванию пожилого мужика, записанному интеллигентом в 1920 году: «Мы теперича доподлинно знаем, что помещичью-то землю дал нам царь Николай Александрович, а нонешние энти самые министеры Керенский, да Ленин, да Троцкий, да еще другие за энто царя сперва сослали в Сибирь, а потом

убили, да и наследника убили тоже, чтобы больше царя у нас не было, чтобы они могли всегда сами править народом. Они хотели было не дать землю нам, да наши помешали, когда с фронта пришли в Москву и Петроград. А теперь эти министеры за то, что должны были дать нам землю, и душат нас. Ну, авось не задушат: мы крепкие — выдержим. А опосля мы ли, старики, или сыны наши, али внуки — все едино — разведаемся со всеми большевиками и их министерами. Ничего, придет наше время!»[103]

* * *

В течение следующих девяти лет советское правительство упорно отстаивало официальную ложь, будто Александра Федоровна и ее дети живы. Еще в 1922 году Чичерин утверждал, что дочери Николая находятся в Соединенных Штатах[104]. Ложь эта находила поддержку и у русских монархистов, которые не могли свыкнуться с мыслью, что царская семья истреблена целиком. Когда Соколов попал на Запад, он был очень холодно принят в монархистских кругах. Мать Николая, вдовствующая императрица Мария Федоровна, и вел. кн. Николай Николаевич — наиболее значительные фигуры из оставшихся в живых Романовых — просто отказались его принять[105]. Несколько лет спустя он умер, всеми забытый, в бедности.

П.М.Быков, советский летописец этих событий, в своем первом их изложении, опубликованном в 1921 году в Екатеринбурге, сообщил правду о судьбе всей семьи, но

эта его работа была быстро изъята из обращения[106]. Лишь в 1926 году, после появления в Париже книги Соколова, когда старая версия рассыпалась в прах, Быкову поручили изложить историю екатеринбургских событий с официальной, партийной точки зрения. В этой книге, которая была переведена в Москве на основные европейские языки, содержалось признание, что Александра Федоровна и дети погибли вместе с царем. Быков писал: «Очень много говорилось об отсутствии трупов, несмотря на тщательнейшие розыски. Но<…> останки трупов после сожжения были увезены от шахт на значительное расстояние и зарыты в болоте, в районе, где добровольцы и следователи раскопок не производили. Там трупы и остались и теперь благополучно сгнили». [Быков. Последние дни. С. 126. Утверждают, что впервые признал смерть всей семьи П.Юренев: Новые материалы о расстреле Романовых // Красная газета. 1925. 28 дек. (Мне этот источник недоступен. Цит. по: Smirnoff. Autour. P. 25.)].

Юровский, бежавший из Екатеринбурга при вступлении туда чехов, затем вернулся, но вскоре перебрался в Москву, где работал в аппарате правительства. В награду за службу он стал членом коллегии ЧК. В мае 1921 года его тепло принял Ленин. [Ленинская гвардия Урала. Свердловск, 1967. С. 509–514. В 1919 г. его посетил в Екатеринбурге английский офицер, который интересовался судьбой императорской семьи (см.: McCullagh F. // Nineteenth Century and After. 1920. Sept. № 123. P. 377–427)]. Револьвер, выстрелом из которого был убит Николай, впоследствии хранился в специальном фонде Музея революции в Москве. Юровский умер своей смертью в августе 1938 года в

Кремлевской больнице[107]. Как чекист и «соратник Дзержинского» он завоевал себе место в пантеоне большевистских героев второго ряда: о нем написан роман, издана его биография, в которой он изображен как «типичный» чекист — «замкнутый, жесткий, но с мягким сердцем»[108]. Судьба других участников екатеринбургской трагедии складывалась не столь благополучно. Белобородов вначале сделал быструю карьеру, став в марте 1919 года членом ЦК и Оргбюро, а затем наркомом внутренних дел (1923–1927). Но его погубила дружба с Троцким: в 1936 году он был арестован и два года спустя расстрелян. Голощекин тоже стал жертвой сталинских чисток и погиб в 1941 году. Обоих впоследствии «реабилитировали».

В доме Ипатьева в течение многих лет размещался клуб и музей. Но затем власти, встревоженные растущим числом посетителей, специально приезжающих в Екатеринбург (переименованный в 1924 году в Свердловск), чтобы взглянуть на этот дом, решили прекратить паломничество и осенью 1977 года распорядились дом взорвать. [Екатеринбургская трагедия имела одно весьма странное продолжение. В сентябре 1919 г. Исполком Пермского Совета осудил 28 человек за убийство бывшего царя, его семьи и придворных. Хотя никто из них, насколько известно, не имел никакого отношения к этим событиям, тем не менее левый эсер М.Яхонтов «сознался», что лично отдал приказ об убийстве царской семьи и принимал участие в его исполнении. Он и еще четверо подсудимых были приговорены к смерти за преступление, которого явно не совершали. Подоплека и цель этого инсценированного процесса до сих пор неясны (см.: Wilton R. The Last Days of Romanovs. Lnd., 1920. P. 102–103. Автор ссылается на

издание: Россия (Париж). 1919. 17 дек. № 1, где, в свою очередь, есть ссылка на «Правду». См. также: New York Times. 1919.7 Dec. P. 20)].

* * *

На фоне десятков тысяч человеческих жизней, востребованных ЧК в течение нескольких лет после екатеринбургской трагедии, и миллионов, убитых теми, кто затем принял у них эстафету, смерть от рук чекистов одиннадцати пленников не выглядит событием чрезвычайных масштабов. И все же есть в убийстве царя, его семьи и домочадцев глубоко символическое значение. Как были свои исторические вехи, отмечавшие путь свободы, — Лексингтон и Конкорд или штурм Бастилии, так были и мрачные даты, отмечавшие поступь тоталитаризма. В том, как было подготовлено и совершено убийство царской семьи, как его сначала отрицали, а потом оправдывали, есть какая-то исключительная гнусность, нечто, что отличает его от других актов цареубийства и позволяет усматривать в нем прелюдию к массовым убийствам XX века. Прежде всего, в нем не было никакой необходимости. Романовы добровольно (и весьма счастливо) устранились из политической жизни и были готовы подчиниться любым условиям большевистского плена. Правда, они были не прочь, чтобы их похитили, не прочь оказаться на свободе, но надежда вырваться из тюрьмы, в особенности из тюрьмы, в которую их поместили, не предавая суду и не предъявив никаких обвинений, вряд ли может быть квалифицирована как «преступное

намерение», а ведь именно этим екатеринбургские большевики оправдали учиненную ими казнь. Как бы то ни было, если большевистское правительство действительно опасалось, что Романовы сбегут и станут «живым знаменем» оппозиции, у него было достаточно времени перевезти их в Москву: ведь и три дня спустя Голощекин без труда выехал из Екатеринбурга в столицу с императорским багажом. А там они были бы вне досягаемости и чехов, и белых, и любых других противников большевистского режима. Причина была, конечно, не в недостатке времени, возможности побега или наступлении чехов, а в политических нуждах большевистского правительства. В июле 1918 года оно испытывало большие затруднения: враги ополчились против него, сторонники от него отвернулись. Чтобы сплотить пошатнувшиеся ряды, нужна была кровь. Это признал и Троцкий, когда, семнадцать лет спустя, размышляя в ссылке над событиями того времени, признал правоту Ленина, принявшего решение об уничтожении жены и детей бывшего царя — решение, за которое он не нес личной ответственности и которое, следовательно, ему не было нужды защищать: «По существу решение было не только целесообразно, но и необходимо. Суровость расправы показывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не только для того, чтобы запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди полная победа или полная гибель»[109]. На первый взгляд, суждение Троцкого безосновательно. Если бы большевики действительно убили жену и детей бывшего царя с целью навести страх на своих врагов и сплотить

ряды своих сторонников, они должны были бы откровенно и во всеуслышание заявить об этом деянии, а не отрицать его и тогда, и годы спустя. Но чудовищное признание Троцкого, тем не менее, открывает истину — на более глубоком моральном и психологическом уровне. Подобно героям «Бесов» Достоевского, большевики должны были проливать кровь, чтобы связать своих колеблющихся последователей узами коллективной вины. Чем более невинные жертвы оказывались на совести партии, тем отчетливее должен был понимать рядовой большевик, что отступление, колебание, компромисс — невозможны, что он связан со своими лидерами прочнейшей из нитей и обречен следовать за ними до «полной победы» — любой ценой — или «полной гибели». Екатеринбургское убийство знаменовало собой начало «красного террора», формально объявленного шестью неделями позже, жертвами которого во многих случаях становились заложники, казнимые не потому, что они совершили какое-то преступление, а потому, что, по выражению Троцкого, смерть их была «нужна». Когда правительство присваивает себе право убивать людей не потому, что они что-то сделали или даже могли сделать, а потому, что их смерть нужна, мы вступаем в мир, в котором действуют совершенно новые нравственные законы. В этом и состоит символическое значение события, случившегося в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге. Совершенное по тайному приказу правительства убийство семьи, которая, несмотря на свое царственное происхождение, была на удивление обычной семьей, ни в чем не повинной и стремившейся только к мирной жизни, стало первым шагом человечества на пути сознательного геноцида. Тот же ход мыслей, который заставил

большевиков вынести смертный приговор царской семье, привел вскоре и в самой России, и за ее пределами к слепому уничтожению миллионов человеческих существ, вся вина которых заключалась в том, что они оказались помехой при реализации тех или иных грандиозных замыслов переустройства мира.

ГЛАВА 10

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Террор — это главным образом ненужные жестокости, совершаемые испуганными людьми ради собственного успокоения.

Из письма Энгельса к Марксу[1]

Систематический государственный террор не был придуман большевиками: задолго до них к нему прибегли якобинцы. Тем не менее, различия между большевистским и якобинским террором столь глубоки, что мы не слишком ошибемся, назвав большевиков изобретателями политического террора. Достаточно сказать, что французская революция пришла к террору в высшей точке своего развития, тогда как российская с него началась. О якобинском терроре говорят как о «коротком эпизоде», как об «издержках» революционных событий[2]. Красный террор был с первых шагов существенным элементом большевистского режима. Порой он усиливался, порой ослабевал, но никогда не прекращался полностью. Как черная грозовая туча, он постоянно висел над советской Россией.

Те, кто выступает от лица и в защиту большевиков, как правило, возлагает вину за террор на их противников — и в гражданскую войну, и при военном коммунизме и во многих других сомнительных проявлениях

большевизма. Они полагают, что террор был явлением прискорбным, но неизбежным, что это ответная реакция на контрреволюционные выступления. Иными словами, большевики ни за что не пошли бы на террор, будь у них малейшая возможность его избежать. Типичным в этом смысле является суждение А.И.Балабановой: «К сожалению, обстоятельства сложились так, что большевики вынуждены были прибегнуть к террору и репрессиям под давлением иностранных интервентов и русских реакционеров, стремившихся защитить свои привилегии и восстановить старый режим»[3].

Против этого можно выдвинуть несколько возражений.

Если бы большевики в самом деле ввели террор «под давлением иностранных интервентов и русских реакционеров», они отказались бы от него сразу же после решительной победы над этими врагами, то есть в 1920 году. Но ничего подобного не произошло. С окончанием гражданской войны действительно прекратились повальные массовые убийства, происходившие в 1918–1919 годы, однако законы и институты, сделавшие эти убийства возможными, были полностью сохранены. И когда Сталин стал безраздельным хозяином советской России, все инструменты, необходимые для развертывания террора в невиданных до этого масштабах, оказались у него под рукой. Одно только это доказывает, что для большевиков террор был не орудием обороны, а методом управления. Подтверждением этому служит и то обстоятельство, что главный институт большевистского террора — ЧК — был создан в начале декабря 1917 года, то есть до того, как вообще могла возникнуть какая-либо организованная оппозиция власти большевиков, а «иностранные

интервенты» все еще усердно искали их расположения. Здесь можно сослаться на авторитет одного из самых жестоких руководителей ЧК, латыша Я.Х.Петерса, утверждавшего, что в первой половине 1918 года, когда чекистские эксперименты с террором уже начались, «контрреволюционных организаций… как таковых… не наблюдалось». [Пролетарская революция. 1924. № 10(33). С. 10. Петерс был заместителем председателя, а в июле — августе 1918 г. исполнял обязанности председателя ЧК.].

Как свидетельствуют источники, Ленин, будучи убежденным сторонником террора, считал его необходимым инструментом деятельности революционного правительства. Он был готов ввести террор превентивно, то есть при отсутствии активного сопротивления его режиму. Такая приверженность террору основывалась на глубоком убеждении в правоте своего дела и на нежелании воспринимать политическую ситуацию иначе, как в черно-белых тонах. Теми же мотивами руководствовался и Робеспьер, с которым Троцкий сравнивал Ленина еще в 1904 году. Как и его французский предшественник, Ленин хотел построить мир, населенный исключительно «хорошими гражданами». Эта цель служила для него, как и для Робеспьера, моральным оправданием физического истребления «плохих» граждан[4].

Уже с момента создания большевистской организации (о которой он с гордостью говорил, как о «якобинской») Ленин настаивал на необходимости революционного террора. Его эссе 1908 года «Уроки Коммуны» содержит удивительные откровения на сей счет. Перечислив достижения и неудачи этой первой «пролетарской революции», он указывает на ее главный

просчет — «излишнее великодушие пролетариата: надо было истреблять своих врагов, а он старался морально повлиять на них»[5]. Это замечание является, вероятно, одним из наиболее ранних примеров использования в политической литературе термина «истребление» не по отношению к паразитам, а по отношению к человеческим существам. Для обозначения «классовых врагов» своего режима Ленин обычно использовал термины из лексикона борьбы с вредителями, называя «кулаков» «кровопийцами», «пауками» или «пиявками». Уже в январе 1918 года, подстрекая население к погромам, он писал: «Тысячи форм и способов учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и прочее»[6]. Этому примеру затем последовал Гитлер. Говоря в «Mein Kampf» о лидерах немецкой социал-демократии, которых он в большинстве считал евреями, он называл их «Ungeziefer» — «паразитами», достойными только истребления[7].

Насколько глубокие корни пустила в ленинской душе страсть к террору, показывает эпизод, происшедший в первый же день, когда он стал главой государства. В процессе захвата власти большевиками Каменев обратился ко Второму съезду Советов с предложением отменить смертную казнь для солдат, дезертирующих с фронта, восстановленную в середине 1917 года Керенским. Съезд принял это предложение[8]. Ленин, занятый другими делами, узнал об этом позднее,

и, как пишет Троцкий, «возмущению его не было конца». «Вздор, — повторял он. — Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?»

«Ошибка, — повторял он, — недопустимая слабость, пацифистская иллюзия и пр.»[9]. И это говорилось в то время, когда большевистская диктатура была едва установлена, когда она не встречала еще никакого организованного сопротивления (ибо никто не верил, что большевики продержатся у власти), когда не было ничего даже отдаленно напоминавшего «гражданскую войну». По настоянию Ленина, большевики проигнорировали это решение съезда об отмене смертной казни и восстановили ее, более или менее узаконив, в июне следующего года.

Хотя Ленин предпочитал руководить террором, оставаясь в тени, время от времени он давал понять, что будет глух к жалобам по поводу «невинных» жертв ЧК. «Я рассуждаю трезво и категорически, — сказал он в 1919 году рабочему-меньшевику, осудившему аресты невинных граждан, — что лучше: посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, *виновных или невиновных,* сознательных или несознательных, или потерять тысячи красноармейцев и рабочих? — Первое лучше»[10]. Так он оправдывал массовые репрессии. [Любопытно сравнить это с тем, что говорил в 1943 г. в Познани, обращаясь к эсэсовцам, Генрих Гиммлер: «Умрут или не умрут 10000 русских женщин на строительстве противотанкового рва, интересует меня

лишь с точки зрения того, будет ли построен для Германии противотанковый ров… Когда кто-то приходит и говорит мне: «Я не могу строить противотанковые рвы руками женщин и детей, это негуманно, они умрут», я отвечаю ему: «Ты убийца собственной нации, потому что, если противотанковый ров не будет построен, будут умирать солдаты Германии»».].

Ему вторил Троцкий. 2 декабря 1917 года, обращаясь к новому, большевистскому Исполкому, он говорил: «В том, что пролетариат добивает падающий класс, нет ничего безнравственного. Это его право. Вы возмущаетесь… тем мягким террором, который мы направляем против своих классовых противников, но знайте, что не далее как через месяц этот террор примет более грозные формы, по образцу террора великих революционеров Франции. Не крепость, а гильотина будет для наших врагов»[11]. Пользуясь случаем, он объяснил (повторив слова французского революционера Жака Хебера), что гильотина — это приспособление, которое «делает человека на голову короче».

В свете всех этих фактов нельзя утверждать, что большевики «вынуждены были прибегнуть» к политике террора «под давлением» внутренних и внешних противников, что он был им навязан. Для большевиков, как и для якобинцев, террор был отнюдь не крайней мерой, но служил заменой народной поддержки, которой им не хватало. Чем более теряли они популярность, тем сильнее становился террор. Осенью и зимой 1918/1919 годов он вырос в массовое побоище, невиданное по размаху. [К 1919–1920 гг., по распоряжению Ленина, в тюрьмах сидело много социалистов. Когда друг Ленина, швейцарец Фриц Платтен, выразил против этого протест, сказав, что они заведомо не являются

контрреволюционерами, Ленин ответил: «Конечно, нет… Но именно поэтому они и опасны — потому что это честные революционеры. Что поделаешь…» (Steinberg I. In the Workshop of the Revolution. Lnd., 1955. P. 177).].

Красный террор несопоставим поэтому ни с так называемым белым террором антибольшевистских армий в России, ссылкой на который большевики обычно оправдывали свои действия, ни с якобинским террором во Франции, который они, по их словам, взяли за образец.

Белые действительно казнили большевиков и тех, кто им сочувствовал. Расправы эти были и массовыми и весьма жестокими. Но они никогда не возводили террор в ранг особой политики и не создавали для этого формальных институтов, таких, как ЧК. Обычно такие казни производились по распоряжению армейских офицеров, действовавших по собственной инициативе. Часто они были эмоциональной реакцией на опустошительные картины, которые открывались взору на территориях, отвоеванных у Красной Армии. Будучи вполне одиозным, террор белых армий, в отличие от красного террора, никогда не был систематическим.

Якобинский террор 1793–1794 годов по своей философии и психологии имел много общего с красным террором, но в то же время между ними существовал ряд глубоких различий. Прежде всего, якобинский террор возник в результате давления снизу: его породила улица, голодная толпа, искавшая, на ком выместить свою ярость. В противоположность этому, большевистский террор был навязан сверху — массам, уже уставшим от кровопролития. Как мы еще увидим, Москва вынуждена была угрожать местным Советам серьезными карами за

неисполнение директив о терроре. И хотя в 1917–1918 годы в стране было много насилия, ничто не свидетельствует о том, что толпа требовала крови целых классов.

Далее, два этих наиболее ярких в истории периода террора несопоставимы по своей длительности. Якобинский террор продолжался менее года — из десяти лет, которые, по самым скромным оценкам, длилась французская революция.

В этом смысле он действительно был лишь «коротким эпизодом». Сразу же после 9 термидора, когда якобинские лидеры были арестованы и гильотинированы, террор во Франции закончился. Внезапно и навсегда. Но в советской России он был перманентным, хотя и имел порой подъемы и спады. Несмотря на то что в конце гражданской войны была вновь отменена смертная казнь, по-прежнему, с полным пренебрежением к юридическим процедурам, продолжались расправы.

Глубокое различие между якобинским и большевистским террором лучше всего символизирует тот факт, что в Париже нет ни памятника Робеспьеру, ни улиц его имени, в то время как в столице советской России, в самом ее центре, до 1991 года огромная фигура основателя ЧК Феликса Дзержинского гордо возвышалась на площади, названной в его честь.

Большевистский террор не сводился лишь к массовым казням. По мнению некоторых современников, эти казни, как бы ни были они ужасны, вносили малую лепту в общую атмосферу подавленности. Исаак Штейнберг, свидетельству которого вполне можно доверять, ибо он, будучи юристом по образованию, занимал в правительстве Ленина пост наркома юстиции,

отмечал в 1920 году, что, несмотря на окончание гражданской войны, террор, ставший неотъемлемым элементом режима, продолжался. Массовые расстрелы заключенных и заложников были, по его мнению, лишь «наиболее яркими объектами на мрачном небосклоне террора, нависшим над революционной землей». Они были «его кульминацией, его апофеозом».

«Террор — вовсе не отдельная акция, не изолированное, случайное, — пусть даже повторяющееся, — выражение гнева правительства. Террор — это *система* <…> созданный и легализованный режимом план массового устрашения, массового принуждения, массового уничтожения. Террор — это выверенный перечень наказаний, репрессалий, и угроз, с помощью которых правительство запугивает, соблазняет и принуждает выполнять свою волю. Террор — это тяжелый, удушающий покров, наброшенный сверху на все население страны, покров, сотканный из недоверия, потаенной бдительности и жажды мщения. Кто держит этот покров в своих руках, кто с его помощью держит в руках все население страны без исключения? <…> В условиях террора власть находится в руках меньшинства, печально известного меньшинства, сознающего свою изолированность и боящегося ее. Террор существует именно потому, что правящее меньшинство усматривает врагов во все большем числе индивидов, групп и слоев общества <…> Этот собирательный «враг Революции» разрастается, охватывая саму Революцию <…> Понятие это мало-помалу расширяется и в конце концов включает в себя всю страну, все ее население, «всех, за исключением правительства», и тех, кто с ним непосредственно сотрудничает». [Steinberg I. Gewalt und Terror in der Revolution. Berlin, 1974. S. 22–25. Эта книга

писалась с 1920 по 1923 г. и была впервые опубликована в 1931-м. Речь в ней идет не о сталинской, а о ленинской России.].

В перечень проявлений красного террора Штейнберг включает разгон свободных профсоюзов, подавление свободы слова, создание плотной сети тайных агентов и доносчиков, пренебрежение правами человека, всеобщий голод и нищету. По его мнению, «атмосфера террора», его угроза, разлитая в воздухе, отравляла советскую жизнь даже больше, чем казни как таковые.

Террор вырастал из якобинского убеждения Ленина, что, находясь у власти и управляя страной, большевики должны физически истребить «буржуазию», сосредоточившую в себе все «порочные» идеи и побуждения. Термин «буржуазия» большевики употребляли расширительно, обозначая с его помощью две группы людей: во-первых, тех, кого по своему происхождению или месту в хозяйственной жизни они считали «эксплуататором», — будь то промышленник-миллионер или крестьянин, имеющий лишнюю сотку земли, и, во-вторых, тех, кто, независимо от своего социального или экономического положения, был не согласен с большевистской политикой. То есть человек мог выступать — объективно и субъективно — как представитель буржуазии из-за одних только своих взглядов. Вспоминая время, когда он работал в Совнаркоме, Штейнберг приводит эпизод, ярко раскрывающий кровожадные наклонности Ленина. 21 февраля 1918 года Ленин представил своему кабинету проект декрета, озаглавленного «Социалистическое Отечество в опасности!»[12] Этот документ был откликом на немецкое наступление, последовавшее за отказом

большевиков подписать Брестский договор. Декрет призывал народ вставать на защиту страны и революции. Один из его пунктов предусматривал, по замыслу Ленина, расстрел «на месте» — то есть без суда — весьма широкой и неясно обозначенной категории злоумышленников, в которую входили «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционно агитаторы, германские шпионы». Включая в этот перечень уголовников (спекулянтов, «громил», хулиганов), Ленин рассчитывал получить поддержку декрета в массах, уставших от разгула преступности, но подлинной мишенью были здесь его политические противники, обозначенные как «контрреволюционные агитаторы».

Против этой формулировки выступили левые эсеры, в принципе отрицавшие возможность применения смертной казни в борьбе с политическими противниками. «Я сказал, — пишет Штейнберг, — что эта жестокая угроза перечеркивает весь пафос манифеста. Ленин ответил с усмешкой: Напротив, именно здесь заключен подлинный революционный пафос. Вы что же, считаете, что мы сможем победить, не прибегая к жесточайшему революционному террору?»

Было трудно, — продолжает Штейнберг, — спорить об этом с Лениным, и вскоре наша дискуссия зашла в тупик. Мы обсуждали огромный террористический потенциал этой суровой полицейской меры. Ленина возмущало, что я возражаю против нее во имя революционной справедливости и правосудия. В конце концов я воскликнул раздраженно: «Зачем тогда нам вообще комиссариат юстиции? Давайте назовем его честно *комиссариат социального истребления,* и дело с концом!» Лицо Ленина внезапно просветлело, и он

ответил: «Хорошо сказано<…> именно так и надо бы его назвать <…> но мы не можем сказать это прямо»». [Steinberg In the Werkshop. P. 145. Штейнберг ошибочно приписывает авторства этого декрета Троцкому.].

Главный вдохновитель красного террора, Ленин часто вынужден был обхаживать своих более гуманных коллег, убеждая их в необходимости жестких мер. Однако он правдами и неправдами старался, чтобы имя его никак с террором не связывалось. Обычно он настаивал, чтобы подпись его стояла под всеми законами и декретами, но он избегал этого, когда дело касалось актов государственного насилия. В таких случаях он доверял подписывать документы председателю Центрального Комитета, наркому внутренних дел или какой-нибудь инстанции, например, Уральскому областному Совету, которому была навязана ответственность за убийство царской семьи. Он отчаянно избегал ситуаций, в которых его имя оказалось бы исторически связано со спровоцированными им жестокостями. Как пишет один из его биографов, «он проявлял величайшую осторожность и всегда говорил о терроре лишь отвлеченно, чтобы его имя не ассоциировалось с конкретными террористическими актами, с убийствами в подвалах Лубянки или в каких-то других подвалах… Ленин сумел удержаться на такой дистанции от террора, что возникла легенда, будто он не принимал в нем никакого активного участия, предоставив решать все Дзержинскому. Это маловероятно, ибо он по натуре был неспособен передать кому-либо свои полномочия в решении важных вопросов»[13]. В действительности все решения о репрессиях, касались ли они общих процедур, или уничтожения важных заключенных, требовали санкции Центрального Комитета

(позднее Политбюро), постоянным председателем которого de facto был Ленин[14]. И красный террор несомненно был его детищем, как бы отчаянно он ни пытался отрицать отцовство.

Попечителем этого непризнанного отпрыска стал Дзержинский, создатель и руководитель ЧК. В начале революции ему было почти сорок. Он родился неподалеку от Вильно в патриотически настроенной дворянской семье. Порвав с семейными религиозными и националистическими традициями, вступил в литовскую социал-демократическую партию и целиком посвятил себя организаторской и пропагандистской работе. Одиннадцать лет он провел в царских тюрьмах и на каторге. Это был суровый опыт, оставивший в его душе неизгладимые шрамы, сформировавший упрямую волю и неутолимую жажду мщения. Он был способен на невероятные жестокости, но совершал их не для личного удовлетворения, а из чистой преданности идее. Тощий, аскетичный, он выполнял распоряжения Ленина с поистине религиозным рвением, посылая на расстрел «буржуев» и «контрреволюционеров» с таким же смирением и чувством исполненного долга, с каким за несколько столетий до этого отправлял бы еретиков на костер.

* * *

Первым шагом на пути к массовому террору в советской России была отмена всех законодательных норм — в сущности, закона как такового, — на место

которых было поставлено нечто, названное «революционной совестью». Ничего подобного не совершалось до этого — никогда и нигде: советская Россия была первым государством в мире, поставившим закон вне закона. Это обеспечивало властям полную свободу избавляться от каждого, кто им не нравился, узаконивало погромы любых оппонентов режима.

Ленин намеревался действовать таким образом задолго до того, как пришел к власти. Одним из главных просчетов Парижской коммуны он считал то, что не была отменена система французского законодательства. Этой ошибки он повторять не собирался. В конце 1918 года он определил диктатуру пролетариата как «власть, не связанную никакими законами»[15]. Вслед за Марксом он рассматривал законы и суд как орудия, с помощью которых правящий класс защищает свои интересы: так, в «буржуазном» обществе закон, прикрываясь маской беспристрастности, на самом деле стоит на страже частной собственности. Эту точку зрения ясно сформулировал в начале 1918 года Н.В.Крыленко, ставший впоследствии наркомом юстиции: «Одним из наиболее распространенных софизмов буржуазной науки является утверждение о какой-то особой природе суда, как института, который призван осуществлять некую особую «справедливость», как моральную сверхклассовую ценность, независимую в своем существе от классового строения общества, классовых интересов борющихся групп и классовой идеологии господствующих классов… «Справедливость да царствует в судах» — едва ли можно придумать горшую насмешку над действительностью… Параллельно можно привести еще целый ряд подобных софизмов. Суд есть ограждение «права», подобно «господству», преследует высшие

задачи обеспечения гармонического развития «личности». Буржуазное «право», буржуазная «справедливость», интересы «гармонического развития» буржуазной «личности»… В переводе на простой язык жизненных фактов это означает, прежде всего, охрану частной собственности»[16]. Из этого Крыленко делает вывод, что исчезновение частной собственности автоматически повлечет за собой исчезновение права. Таким образом, социализм «уничтожит в зародыше» сами «психологические эмоции», которые заставляют людей совершать преступления. Иначе говоря, закон, по его мнению, не предотвращает преступлений, а, наоборот, служит их причиной.

Конечно, в период перехода к социализму, считал Ленин, придется сохранить некоторые юридические институты, но они будут служить целям не лицемерной «справедливости», а классовой борьбы. «Нам нужно государство, нам нужно принуждение, — писал он в марте 1918 года. — Органом пролетарского государства, осуществляющим такое принуждение, должны быть советские суды»[17].

Верный своему слову, вскоре после прихода к власти Ленин одним росчерком пера ликвидировал всю систему российского права, сложившуюся после реформы 1864 года. Это было провозглашено декретом от 22 ноября 1917 года, изданным после долгих дебатов в Совнаркоме[18]. Первым же пунктом этого декрета были распущены все суды, вплоть до высшей кассационной инстанции — сената. Далее, были упразднены все должности, связанные с судопроизводством, например, прокурора, адвоката и мирового судьи. Нетронутыми

оставлены были лишь местные суды, которые рассматривали мелкие иски.

Декрет прямо не аннулировал все законы Российской империи (это будет сделано годом позже), но фактически имел именно такое действие, ибо предписывал местным судам руководствоваться «законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию». В примечании, поясняющем эту туманную формулировку, было сказано, что отмененными являются все законы, противоречащие декретами советской власти, а также «программам-минимум российской социал-демократической рабочей партии и партии социалистов-революционеров». По существу, в исках, все еще подлежащих судебному разбирательству, основанием для установления вины становилось мнение, вынесенное судьей или судьями.

В марте 1918 года местные суды были заменены народными судами. Они должны были рассматривать все преступления, совершенные гражданами против других граждан: убийства, телесные повреждения, кражи и т. д. Заседавшие в них выборные судьи не были связаны никакими формальностями в рассмотрении обстоятельств дела[19]. Инструкция, выпущенная в ноябре 1918 года), запрещала судьям в народных судах ссылаться на законы, принятые до октября 1917 года, и еще раз подтверждала, что они свободны от каких-либо «формальных» правил при рассмотрении свидетельских показаний. Выносить приговоры они должны были, руководствуясь декретами советского правительства, а

когда этого недостаточно, — социалистическим правосознанием[20].

В соответствии с российской традицией, по которой преступления против государства и его представителей обычно рассматривались иначе, чем преступления против частных лиц, большевики учредили (тем же декретом от 22 ноября 1917 года) суды нового типа — революционные трибуналы. Они действовали по образцу, выработанному во время французской революции, и рассматривали дела по обвинению в «контрреволюционных преступлениях», включавших также экономические преступления и «саботаж»[21]. Чтобы направить их работу, наркомат юстиции, руководимый в то время Штейнбергом, издал 21 декабря 1917 года дополнительную инструкцию, где, в частности, было сказано, что «меру наказания революционный трибунал устанавливает, руководствуясь обстоятельствами дела и велениями революционной совести»[22]. Как надлежит устанавливать «обстоятельства дела» и в чем именно заключается «революционная совесть», — об этом документ умалчивал. [Даже дореволюционное российское право оперировало такими субъективными понятиями, как «добрая воля» и «совесть». Например, статуты, которые регулировали примирительное судопроизводство, содержали предписание судьям выносить приговор «по совести». Та же формула встречалась и в уголовном судопроизводстве. С критикой этого славянофильского правосознания в юридической системе Российской империи выступал один из ведущих правоведов России Леон Петражицкий (см.: Walicki. A Legal Philosophies of Russian Liberalism. Oxford, 1987. P. 233).].

Поэтому революционные трибуналы с самого начала действовали, как «Шемякин суд», вынося приговор на основе субъективной оценки вины подсудимого. Первоначально революционные трибуналы не могли выносить смертных приговоров, но очень скоро ситуация изменилась, ибо неявным образом была вновь введена смертная казнь. 16 июня 1918 года «Известия» опубликовали «Резолюцию», подписанную новым наркомом юстиции П.И.Стучкой, где говорилось: «Революционные трибуналы не связаны никакими ограничениями в выборе мер борьбы с контрреволюцией, кроме тех случаев, когда законом определены меры не ниже определенного наказания». Эта витиеватая фраза означала, что революционные трибуналы получали право выносить смертный приговор, когда считали это необходимым, и были обязаны делать это по требованию правительства. Первой жертвой нового установления оказался командующий Балтийским флотом адмирал А.М.Щастный, которого Троцкий обвинил в заговоре с целью сдать свои корабли немцам. Его пример должен был стать уроком для других офицеров. Судил Щастного и 21 июня вынес ему приговор Специальный революционный трибунал Центрального исполнительного комитета, созданный по указанию Ленина для рассмотрения дел о государственной измене[23]. Когда левые эсеры выступили с возражениями против возврата к практике смертной казни, Крыленко ответил: «В вердикте не сказано, что обвиняемый приговаривается к смертной казни через расстреляние, а говорится, что Трибунал «постановил, считая его виновным во всем изложенном, — расстрелять»[24].

После изгнания из советских учреждений представителей различных партий — вначале меньшевиков и эсеров, а затем левых эсеров — революционные трибуналы превратились в трибуналы большевистской партии, неубедительно закамуфлированные под общественные суды. В 1918 году 90 % занятых в них были большевиками[25]. Чтобы быть назначенным судьей в революционный трибунал, не требовалось никакой формальной квалификации, кроме умения читать и писать. По данным статистики того времени, 60 % судей в трибуналах не имели законченного среднего образования[26]. Впрочем, как пишет Штейнберг, хуже всех оказывались зачастую не полуобразованные пролетарии, а интеллигенты, которые использовали трибуналы для сведения личных счетов и порой не гнушались брать взятки с родственников обвиняемых[27].

Люди, оказавшиеся внезапно под властью большевиков, попали в ситуацию исторически беспрецедентную. Существовали суды для обычных и для государственных преступлений, но не было соответствующих законов. Судьи, не имевшие квалификации, выносили гражданам приговоры за преступления, которые нигде не были определены. Принципы «nullum crimen sine lege» и «nulla poena sine lege» («нет преступления, если нет закона» и «нет наказания, если нет закона»), на которых традиционно основывалась вся западная юриспруденция (а с 1864 года и российская), были выброшены за борт как бесполезный балласт. Многим современникам ситуация эта представлялась в высшей степени необычной. Как отмечал один наблюдатель в апреле 1918 года, в предшествующие пять месяцев ни один человек не был

осужден за грабеж или убийство, если только он не был расстрелян на месте или растерзан толпой. Куда же запропастились все преступники, спрашивал он недоуменно, ведь в прежние времена суды работали день и ночь[28]. Ответ, конечно, заключался в том, что Россия внезапно превратилась в беззаконное общество. Что означало это для среднего жителя, можно понять из заметок Леонида Андреева, относящихся к апрелю 1918 года: «Мы живем при необыкновенных условиях, еще понятных для биолога, изучающего жизнь плесени и грибка, но недопустимых для психосоциолога. Закона нет, власти нет, весь общественный строй без охраны… Кто нас охраняет? Почему мы еще живы, не ограблены, не выгнаны из дому? Старой власти нет; кучка неведомых красногвардейцев сидит на окрестных станциях, учится стрелять <…> делает продовольственные и за оружием обыски и дает «разрешения» на поездки в город. Ни телефона, ни телеграфа. Кто нас охраняет? Остатки разума; случайность, что не приметили и никто не захотел; наконец, некоторые общечеловеческие культурные навыки, порою просто бессознательные привычки: ходить по правой стороне, говорить «здравствуйте», встречаясь, снимать шапку, а не чужую. Музыка давно уже умолкла, а мы, как танцоры, все еще ритмично движем ногами и кланяемся под неслышную мелодию закона»[29].

К большому разочарованию Ленина, революционные трибуналы не стали инструментом террора. Судьи работали спустя рукава и выносили мягкие приговоры. Как отмечала пресса, в апреле 1918 года трибуналы всего-навсего закрыли несколько газет и осудили нескольких «буржуев»[30]. Даже после того как им

были предоставлены соответствующие полномочия, они неохотно выносили смертные приговоры. В течение всего 1918 года — года, в сентябре которого был официально объявлен красный террор, — революционные трибуналы осудили 4483 человека. Треть из них были направлены на принудительные работы, еще треть — присуждены к уплате штрафов, и только четырнадцать человек — к смертной казни[31].

Это было совсем не то, к чему стремился Ленин. Судьи (теперь уже почти исключительно члены партии большевиков) получили инструкции выносить максимально суровые приговоры и были наделены для этого самыми широкими полномочиями. В марте 1920 года трибуналы получили «право отказываться от вызова и допроса свидетелей при ясности их показаний, данных во время предварительного следствия, и право прекращать судебное следствие в любой момент при признании обстоятельств дела достаточно выясненными. Трибуналы имели право отказывать в вызове в суд обвинителя и защитника и не допускать прений сторон»[32]. Эти меры возвращали российскую процессуальную практику к уровню, на котором она была в XVII веке.

Но даже модернизированные таким образом, революционные трибуналы оказались слишком неповоротливы и громоздки, чтобы стать, по ленинскому требованию, инструментом «власти, не связанной никакими законами». Поэтому он все более и более полагался на ЧК, которой сам выдал лицензию на убийство без суда и следствия.

* * *

ЧК родилась в обстановке исключительной секретности. Решение о создании сил безопасности — по сути, о возрождении царского департамента полиции — было принято Совнаркомом 7 декабря 1917 года на основании доклада Дзержинского о борьбе с «саботажем» (конкретно речь шла о забастовке служащих). [(Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии, 1917–1921 fr. М., 1958. С. 78–79.) Под давлением Крестьянского съезда, который 14 ноября принял соответствующую резолюцию, большевики упразднили военно-революционный комитет (Авдеев Н. и др. Революция 1917 года: Хроника событий. Т. 4. С. 144). Его и заместила ЧК. В недавно открытой секретной части ленинского архива в ЦПА (РЦХИДНИ) обнаружена следующая записка Ленина: «т. Крестинскому. Я предлагаю тотчас образовать (для начала можно тайную) комиссию для выработки экстренных мер (в духе Ларина: Ларин прав). Скажем, Вы + Ларин + Владимирский (или Дзержинский) + Рыков? или Милютин? Точно подготовить террор: необходимо и срочно. А во вторник решим: через снк оформить или иначе. Ленин» (Ф. 2. Оп. 2. Д. 492). Несмотря на то, что эта записка на бланке Совнаркома не датирована, по содержанию ее можно отнести к концу ноября — началу декабря 1917 г. (ст. ст.), «комиссия», о которой в ней говорится, превратилась позднее в ЧК.]. В то время решение Совнаркома не было опубликовано. Впервые его напечатали в 1924 году — в неполном и искаженном виде, а затем в 1926 году — в виде более полном, но также искаженном. Полная первоначальная версия этого

документа увидела свет лишь в 1958 году[33]. В 1917 году в большевистской печати появилось только краткое, в две фразы, сообщение, что Совнарком учредил Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем, штаб которой будет располагаться в Петрограде, на Гороховой, 2[34]. До революции в этом здании находились контора градоначальника и местное отделение департамента полиции. Ни о задачах, ни о полномочиях ЧК ничего не было сказано.

То, что в момент создания ЧК не были преданы гласности ее функции и полномочия, имело поистине страшные последствия, ибо дало этой организации возможность претендовать на такие привилегии, которые вовсе не предполагались вначале. Мы знаем, что первоначально ЧК, созданная по образцу царской тайной полиции, имела задачей расследование и пресечение преступлений против государства. Она не могла применять к гражданам никаких юридических санкций и должна была передавать подозреваемых в революционные трибуналы, которым надлежало расследовать дела и выносить приговоры. Соответствующие пункты секретной резолюции о создании ЧК звучали следующим образом: «Задачи комиссии: 1) Пресек[ать] и ликвидировать] все контрреволюционные и саботажнические попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни исходили. 2) Предание суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними. 3) Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения»[35].

В первых публикациях этой резолюции (1924 и 1926 годов) было изменено лишь одно слово. Как нам теперь известно, в принятом рукописном варианте этого документа слово «пресекать» было написано в сокращенной форме: «пресек.». В первых публикациях это было расшифровано как «преследовать»[36]. Благодаря подмене нескольких букв ЧК оказалась наделена юридическими полномочиями, правом осуществлять правосудие. Этот подлог, открывшийся только после смерти Сталина, позволил ЧК и организациям, продолжившим ее дело (ГПУ, ОГПУ, НКВД) без суда выносить политическим заключенным приговоры в полном спектре принятых наказаний, включая смертную казнь. Лишь в 1956 году советская тайная полиция была лишена этого права, унесшего к тому времени миллионы человеческих жизней.

Большевики, проявлявшие обыкновенно исключительную пунктуальность в бюрократических вопросах, в случае с тайной полицией совершенно изменили этой привычке. Это учреждение, которому впоследствии была доверена охрана режима, долгое время не имело вообще никакого легального статуса[37]. «Собрание узаконений и распоряжений» 1917–1918 годов о нем умалчивало, то есть формально оно как бы не существовало. Такая политика проводилась сознательно. В начале 1918 года ЧК запретила публиковать без собственной санкции какую-либо информацию о своей деятельности[38]. Нельзя сказать, чтобы запрет этот соблюдался очень строго, но он позволяет судить о том, какие представления ЧК имела о себе и о своей роли в обществе. Большевики следовали здесь примеру Петра Великого, который учредил первую в России тайную полицию — Преображенский приказ, —

не издавая формального указа по этому поводу. [Это ведомство было создано под покровом такой секретности, что ученые и по сей день не смогли обнаружить указа о его учреждении и даже не сумели установить хотя бы приблизительно, когда этот указ мог быть издан» (Пайпс Р. Россия при старом режиме М., 2004. С. 183).].

Вначале ЧК состояла из небольшого аппарата чиновников и нескольких военизированных подразделений. В марте она переехала вместе с правительством в Москву, где заняла просторное здание страховой компании «Якорь» на Большой Лубянке, 11. По официальным данным, в этот период в ней было только 120 сотрудников, хотя, по мнению некоторых исследователей, число их, скорее, приближалось к 600[39]. Как признавался чекист Я.Х.Петерс, его ведомство испытывало затруднения при наборе новых сотрудников, поскольку русские, у которых в памяти еще были свежи воспоминания о царской полиции, относились к предложениям о сотрудничестве «сентиментально» и, не слишком различая преследования при старом и при новом режиме, отказывались идти служить в ЧК[40]. [Их смущение может отчасти объясняться тем фактом, что, как свидетельствуют многие современники, сотрудники ЧК, включая тюремщиков, нередко служили в соответствующем ведомстве и при царском режиме.]. В результате среди сотрудников ЧК было много нерусских. Дзержинский был поляком, а в числе его ближайших помощников оказалось немало латышей, армян, евреев. Подразделение, которое ЧК использовало для охраны партийных функционеров и важных политзаключенных, набиралось почти исключительно из латышских стрелков, так как латыши считались более жестокими и

неподкупными. Ленин решительно одобрял привлечение к этой работе инородцев. Как вспоминает Штейнберг, перед русским национальным характером Ленин испытывал «страх», считал, что русским недостает твердости: «Мягок, чересчур мягок этот русский, — говаривал он. — Он не способен проводить суровые меры революционного террора»[41].

Привлечение в ЧК инородцев имело еще и то преимущество, что они с гораздо меньшей вероятностью могли оказаться связаны со своими жертвами родственными узами и их не остановило бы осуждение со стороны русского населения. Сам Дзержинский вырос в атмосфере сильнейшего польского национализма и в юности жаждал «уничтожить всех москалей» — за страдания, причиненные ими его народу. [Пролетарская революция. 1926. № 9. С. 55. Позднее Ленин обвинит его и грузина Сталина в русском шовинизме.]. Латыши глядели на русских с презрением. В сентябре 1918 года, будучи ненадолго задержан ЧК, Брюс Локкарт слышал от охранников-латышей, что русские «ленивые и грязные» и в бою «на них никогда нельзя положиться»[42]. Ленинская политика привлечения инородцев для установления террора среди русского населения напоминала действия Ивана Грозного, который также привлекал в свой террористический аппарат — в Опричнину — множество иностранцев, главным образом немцев.

Чтобы смягчить отвращение к политической полиции со стороны населения социалистической страны, кроме главной, политической функции большевики возложили на ЧК дополнительную задачу — борьбу с уголовной преступностью. Советскую Россию терзали убийства, грабежи и разбой, от которых народ не чаял

избавиться. Возлагая на ЧК ответственность за ликвидацию преступности, в том числе бандитизма и «спекуляции», режим стремился сделать это ведомство более привлекательным в глазах населения. В июне 1918 года в интервью меньшевистской газете, пытаясь подчеркнуть эту двойственную роль ЧК, Дзержинский говорил, что задача его организации — «борьба с врагами советской власти и нового образа жизни. Такими врагами являются как наши политические противники, так и все бандиты, воры, спекулянты и другие преступники, подрывающие основы социалистического строя»[43].

* * *

ЧК было тесно в рамках статуса, определенного при ее основании. В борьбе с политической оппозицией режиму она хотела бы иметь неограниченную свободу действий. Это неизбежно вело к конфликтам с наркоматом юстиции.

С первых дней существования ЧК арестовывала по своему усмотрению лиц, подозреваемых в «контрреволюционной деятельности» или «спекуляции». Пленников под конвоем доставляли в Смольный. Такая процедура не устраивала наркома юстиции Штейнберга — двадцатидевятилетнего юриста-еврея, получившего докторскую степень в Германии за диссертацию о концепции правосудия в Талмуде. 15 декабря он издал приказ, запрещавший впредь доставлять арестованных в Смольный или в революционный трибунал без

предварительной санкции наркомата юстиции. Одновременно всех, кто был к этому моменту арестован ЧК, надлежало освободить из-под стражи[44].

Зная, по-видимому, что Ленин его поддержит, Дзержинский не выполнил этих распоряжений. 19 декабря он арестовал членов Союза защиты Учредительного собрания. Узнав об этом, Штейнберг тут же издал приказ об освобождении заключенных. В тот же вечер спорный вопрос был включен в повестку заседания Совнаркома. Кабинет встал на сторону Дзержинского и объявил Штейнбергу выговор за освобождение людей, арестованных ЧК[45]. Но Штейнберга не остановило это поражение, и он обратился в Совнарком с просьбой урегулировать отношение между наркоматом юстиции и ЧК, представив проект резолюции «О компетенции комиссариата юстиции»[46]. В соответствии с этим документом ЧК запрещалось производить политические аресты без предварительной санкции наркомюста. Ленин и другие члены кабинета поддержали предложение Штейнберга, так как в этот момент большевики не хотели портить отношения с левыми эсерами. В принятой резолюции было сказано, что на всех ордерах на аресты, «имеющие выдающееся политическое значение», должны стоять подпись наркома юстиции. По-видимому, остальные, менее важные аресты были оставлены на усмотрение ЧК.

Но даже и эта довольно сомнительная уступка была почти сразу нейтрализована. Спустя два дня Совнарком, скорее всего в ответ на жалобы Дзержинского, принял совсем другую резолюцию. Подтверждая, что ЧК является следственной организацией, она запрещала наркомату юстиции и другим ведомствам вмешиваться в

осуществляемые ею аресты политических лидеров. ЧК вменялось в обязанность информировать о своих действиях постфактум наркоматы юстиции и внутренних дел. Ленин добавил еще разъяснение, что арестованных надлежит либо направлять в суд, либо освобождать[47]. На следующий день ЧК арестовала центр, руководивший забастовкой служащих в Петрограде[48].

Частью соглашения, заключенного в декабре 1917 года между большевиками и левыми эсерами, было право последних ввести своих представителей в коллегию ЧК. Вообще-то большевики мыслили ЧК как стопроцентно большевистскую организацию, но Ленин пошел на эту уступку, хотя Дзержинский и возражал. Совнарком назначил левого эсера заместителем председателя ЧК и ввел в коллегию еще нескольких членов этой партии[49]. Кроме того, по настоянию левых эсеров утвердили принцип, что ЧК будет осуществлять казни только в случае единогласного решения коллегии. Это давало левым эсерам возможность налагать вето на смертные приговоры. 31 января 1918 года в резолюции, которая не была опубликована, Совнарком подтвердил, что ЧК имеет исключительно следственные полномочия: «В Чрезвычайной комиссии концентрируется вся работа розыска, пресечения и предупреждения преступлений, все же дальнейшее ведение следствий и постановка дела на суд предоставляется Следственной комиссии при трибунале»[50].

Ограничение полномочий ЧК было отменено месяц спустя декретом «Социалистическое Отечество в опасности!»[51] Хотя в этом документе и не было прямо сказано, кто должен «расстреливать на месте» контрреволюционеров и прочих врагов нового

государства, ни у кого не возникало сомнений, что эта обязанность доверялась ЧК. И ЧК подтвердила это на следующий день, уведомив население, что «контрреволюционеры» будут «беспощадно расстреливаться отрядами комиссии на месте преступления»[52]. В тот же день, 23 февраля, Дзержинский, связавшись по прямому проводу с местными Советами, сообщил им, что ввиду нарастания антисоветских «заговоров» надлежит немедленно учреждать на местах собственные ЧК, производить аресты «контрреволюционеров» и расстреливать их на месте[53]. Таким образом, декрет превращал ЧК официально и отнюдь не на временной основе из следственного органа в хорошо отлаженную машину террора. Превращение это произошло с полного согласия Ленина.

В Москве и Петрограде, из-за соглашения с левыми эсерами, ЧК не могла чинить расправу над политическими противниками режима. Пока левые эсеры работали в ЧК — то есть до 6 июля 1918 года, — в этих городах не произошло ни одной официальной политической казни. Первой жертвой декрета 22 февраля стал уголовник по кличке Князь Эболи, изображавший чекиста[54]. Однако в провинции органы ЧК не были связаны такими обязательствами и регулярно расстреливали граждан по политическим обвинениям. Как вспоминает, например, меньшевик Григорий Аронсон, весной 1918 года в Витебске чекисты арестовали и казнили двух рабочих, обвинив их в распространении листовок Совета рабочих представителей. [Аронсон Г. На заре красного террора. Берлин, 1929. С. 32. Таким образом, Г. Леггет неправ, утверждая вслед за Лацисом, что до 6 июля 1918 г. ЧК «уничтожала только

уголовников и щадила политических противников» (Leggett G. The Cheka: Lenin's Political Police. Oxford, 1986. P. 58).]. Сколько еще людей пало жертвой таких самовольных расправ, мы, вероятно, никогда не узнаем.

Взяв за образец жандармский корпус царской службы безопасности, ЧК обзавелся собственными вооруженными формированиями. Первым в ее подчинение перешел небольшой финский отряд, затем появились и другие. К концу апреля 1918 года ЧК имела свой Боевой отряд, состоявший из шести рот пехотинцев, пятидесяти кавалеристов, восьмидесяти велосипедистов, шестидесяти пулеметчиков, сорока артиллеристов и трех броневиков. Именно этими силами в апреле 1918 года ЧК осуществила в Москве свою, пожалуй, единственную популярную акцию — разоружение «черной гвардии» — анархистских банд, которые заняли несколько жилых домов и терроризировали гражданское население. Создание собственных вооруженных формирований было лишь первым шагом на пути превращения политической полиции в настоящее государство в государстве. На чекистской конференции, состоявшейся в июне 1918 года, раздавались уже голоса о необходимости создания регулярных вооруженных сил ЧК и о том, что охрану железных дорог и государственных границ следует поручить чекистам[56].

В первые месяцы существования ЧК направляла значительные усилия на борьбу с обыкновенной коммерческой деятельностью. Поскольку самые обычные розничные торговые операции (например, продажа мешка муки) квалифицировалась как «спекуляция», с которой ЧК призвана была бороться, ее агенты тратили

уйму времени, выслеживая «мешочников», проверяя багаж железнодорожных пассажиров и проводя облавы на черных рынках. Эта озабоченность «экономическими преступлениями» приводила к распылению сил, и в результате чекисты проглядели представляющие гораздо более серьезную опасность антиправительственные заговоры, которые начали созревать весной 1918 года. В первой половине 1918-го их единственной успешной акцией в области политического сыска было обнаружение в Москве штаб-квартиры савинковской организации. Однако этим они были обязаны чистой случайности, и это не помогло им впоследствии внедриться в созданный Савинковым «Союз защиты Родины и Свободы». Разразившееся в июле ярославское восстание было для них поэтому полной неожиданностью. Еще более поразительно, что ЧК не было известно о планах восстания левых эсеров, особенно если учесть, что руководители этой партии фактически прямо заявляли о своих намерениях. Дело усугублялось еще и тем, что заговор левых эсеров был тайно подготовлен в штаб-квартире самой ЧК и поддержан ее вооруженными подразделениями. Такой невероятный провал заставил Дзержинского уйти 8 июля в отставку. Его место временно занял Петерс. 22 августа Дзержинский был восстановлен в должности — как раз вовремя, чтобы испытать следующее унижение: на сей раз его ведомство проморгало почти удавшееся покушение на жизнь Ленина.

* * *

Ни один царь — даже в периоды расцвета революционного терроризма — не опасался так за свою жизнь и не имел такой мощной охраны, как Ленин. Цари путешествовали по России и ездили за границу. Они устраивали приемы и часто, по разного рода торжественным случаям, появлялись в общественных местах. Ленин, съежившись, сидел за кирпичными стенами Кремля, день и ночь охраняемый латышскими стрелками. Когда время от времени он выбирался в город, об этом никому не сообщалось заранее. С того времени, как в марте 1918 года он перебрался в Москву, и вплоть до самой смерти в январе 1924 года он лишь дважды посетил Петроград — место своего революционного триумфа — и не совершал более никаких поездок, чтобы посмотреть страну или пообщаться с народом. Максимум, на что он отваживался, это иногда ездить в своем «роллс-ройсе» в подмосковные Горки, где была специально реквизирована усадьба, служившая ему местом отдыха.

Троцкий выказывал большую отвагу. Он постоянно ездил на фронт, чтобы инспектировать войска и беседовать с командирами. Но и он нередко менял график и маршрут своих передвижений, стремясь избежать возможных покушений.

До сентября 1918 года никаких серьезных покушений на жизни Ленина и Троцкого не было, так как ЦК партии эсеров — партии террористов par exellence [по преимуществу *(фр.)*.] — выступал против активного сопротивления большевикам. Нежелание эсеров прибегать к методам, которые они использовали в борьбе с царизмом, было продиктовано соображениями двоякого рода. Во-первых, руководители эсеров были твердо убеждены, что время работает на них и им надо просто

не сдавать позиций и ждать, когда в России восторжествует демократия. Убийство же большевистских лидеров привело бы, по их мнению, к победе контрреволюции. И, во-вторых, они просто боялись большевистских репрессий и погромов.

Такую точку зрения разделяли не все эсеры. Некоторые члены этой партии были готовы выступить с оружием в руках против большевиков, независимо от согласия или несогласия их Центрального комитета. Одна такая группа начала складываться в Москве летом 1918 года, под самым носом у ЧК.

Большевистские руководители, и Ленин в их числе, ввели в обычай каждую пятницу, во второй половине дня, выступать в различных местах Москвы перед аудиторией рабочих и партийцев. О появлении Ленина обычно не было известно заранее. 30 августа, в пятницу, он намечал посетить два митинга: один в районе Басманных улиц, в здании Хлебной биржи, другой — на заводе Михельсона, в южной части города. Утром этого дня пришла весть, что застрелен М.С.Урицкий, руководитель петроградской ЧК. Убийцей оказался еврейский юноша Л.А.Канегиссер, член умеренной народно-социалистической партии. Как выяснилось впоследствии, он действовал на свой страх и риск, желая отомстить за казнь друга. Но тогда об этом еще не знали и опасались начала террористической кампании. Обеспокоенные домашние уговаривали Ленина отменить выступления, но он, что было ему несвойственно, решил пойти навстречу опасности и отправился в город в автомобиле; за рулем сидел шофер С.К.Гиль, пользовавшийся его полным доверием. Ленин появился на Хлебной бирже, а оттуда направился на завод Михельсона. Хотя собравшиеся там люди предполагали,

что он приедет, полной уверенности ни у кого не было до тех пор, пока автомобиль Ленина не въехал в заводские ворота. Ленин произнес свою обычную заготовленную речь, клеймившую западных «империалистов», закончив ее словами: «Умрем или победим!» Как рассказывал впоследствии в ЧК Гиль, выступление еще продолжалось, когда к нему подошла женщина, одетая в рабочую одежду, и спросила, там ли Ленин. Он ответил уклончиво.

Когда Ленин пробирался сквозь плотную толпу на лестнице к выходу, кто-то за его спиной поскользнулся и упал, загородив проход остальным. Поэтому сразу вслед за Лениным во двор вышли всего несколько человек. Когда он садился в автомобиль, к нему подошла женщина с жалобой, что на железнодорожных вокзалах конфискуют хлеб. Ленин сказал, что распоряжения уже отданы и подобные акции будут прекращены. Он поставил ногу на подножку, и в этот момент прогремели три выстрела. Обернувшись, Гиль узнал женщину, стрелявшую с расстояния нескольких шагов: это она спрашивала его, здесь ли Ленин. Ленин упал. Народ в панике бросился врассыпную. Выхватив револьвер, Гиль кинулся вслед за нападавшей, но она успела скрыться. Находившиеся во дворе дети показали, в каком направлении она побежала. Несколько человек бросилось за ней. Какое-то время она продолжала бежать, затем внезапно остановилась и повернулась лицом к преследователям. Ее арестовали и отконвоировали в здание ЧК на Лубянку.

Ленина, не приходившего в сознание, положили в автомобиль и отвезли на предельной скорости в Кремль. Когда пришел врач, Ленин уже едва мог двигаться. Пульс у него прощупывался слабо, он истекал кровью.

Казалось, он вот-вот испустит дух. Медицинский осмотр показал наличие двух ранений: одного, относительно безобидного, в руку, и второго, потенциально смертельного, в шею под челюстью. (Третья пуля, как потом выяснилось, попала в женщину, разговаривавшую с Лениным, когда раздались выстрелы.)

За последующие несколько часов террористку подвергли в ЧК пяти допросам подряд. [Протоколы этих допросов были опубликованы (Пролетарская революция. 1923. № 6/7. С. 282–285). Как заявил Петере, в основном проводивший допросы, «материалы о покушении, имеющиеся в нашем распоряжении, не отличаются исчерпывающей полнотой» (Известия. 1923. № 194 (1931). 30 авг. С. 1).]. Она была очень неразговорчива. Звали ее Фанни Ефимовна Каплан, в девичестве Фейга Ройдман или Ройтблат. Отец ее был учителем на Украине. Позднее удалось установить, что еще молоденькой девочкой она присоединилась к анархистам. Ей было шестнадцать, когда взорвалась бомба, предназначавшаяся киевскому генерал-губернатору. Эту бомбу анархисты изготовили у нее в комнате. Военно-полевой суд приговорил ее к смерти, но затем смягчил приговор, заменив смертную казнь пожизненной каторгой. В Сибири Каплан встретилась со Спиридоновой и другими убежденными террористами и под их влиянием вступила в партию эсеров. В начале 1917 года, попав под политическую амнистию, она поселилась на Украине, а потом переехала в Крым. Семья ее к этому времени эмигрировала в Соединенные Штаты.

В соответствии с ее показаниями, убить Ленина она решила еще в феврале 1918 года — чтобы отомстить за

разгон Учредительного собрания и предотвратить подписание Брестского договора. Но ее недовольство Лениным имело и более глубокие корни: «Я застрелила Ленина, потому что я считаю его предателем, — сказала она чекистам. — Из-за того, что он долго живет, наступление социализма откладывается на десятилетия». Она заявила также, что, хотя не принадлежит ни к какой политической партии, симпатизирует Комитету Учредительного собрания в Самаре, что ей нравится Чернов и что союзу с Германией она предпочла бы союз с Англией и Францией. Она упорно отрицала, что у нее были помощники, и отказывалась сказать, кто ей дал пистолет. [Пистолет («браунинг») исчез с места преступления: 1 сентября 1918 г. «Известия» (№ 188(452), С. 3) поместили объявление ЧК с просьбой сообщить информацию о его местонахождении.].

После допросов Каплан на короткое время поместили в ту же камеру на Лубянке, где уже сидел Брюс Локкарт, арестованный ЧК среди ночи по подозрению в соучастии. «В шесть часов утра [31 августа], — пишет он, — в камеру привели женщину. Одета она была во все черное. Черноволосая, и вокруг глаз, взгляд которых застыл неподвижно, — черные круги. Лицо ее было бесцветным и непривлекательным, с ярко выраженными еврейскими чертами. Возраст определить было трудно: ей с равным успехом могло быть и двадцать и тридцать пять. Мы догадались, что это Каплан. Несомненно, большевики рассчитывали, что она как-нибудь покажет, что знакома с нами. Ее спокойствие было неестественным. Она подошла к окну и, опершись подбородком на руку, стала смотреть наружу. Так она и оставалась — неподвижная, молчаливая, очевидно

подчинившаяся судьбе, пока за ней не пришли и не увели ее караульные»[57]. Ее перевели с Лубянки в одну из тех камер в подвалах Кремля, где держали самых важных политических заключенных и откуда очень немногие выходили живыми.

А в это время целая команда врачей пыталась спасти Ленина, который находился между жизнью и смертью, однако сохранил достаточную трезвость суждений, чтобы удостовериться, что все занимавшиеся им доктора были большевиками. Состояние пациента не было безнадежным, хотя кровь попала в легкое. При виде страданий Ленина его преданного секретаря Бонч-Бруевича посетило что-то вроде религиозного видения: это «внезапно напоминало мне известный европейский сюжет, изображавший снятие с креста Христа, распятого священниками, епископами и богачами». [Бонч-Бруевич В. Три покушения на В.И.Ленина. М., 1924. С. 14. В последующих изданиях мемуаров Бонч-Бруевича эта фраза была опущена. Клара Цеткин в 1920 г. усмотрела в лице Ленина сходство с Христом Грюнвальда (Zetkin K. Reminiscences of Lenin. Lnd., 1929. P. 22)]. Вскоре такие религиозные ассоциации станут неотъемлемым элементом культа Ленина, истоки которого восходят к рассказам о его чудесном исцелении. В «Правде» от 1 сентября, в благоговейной статье ее главного редактора Бухарина, эти элементы были уже налицо: Ленин был охарактеризован как «гений мировой революции, сердце и мозг великого всемирного движения пролетариата», «уникальный во всем мире лидер», человек, чьи аналитические способности наделяют его «почти пророческим даром предвидения». Высмеивая Каплан как Шарлотту Корде наших дней, Бухарин приводит далее фантастическое описание

событий, последовавших за ее выстрелами: «Ленин, пораженный двумя выстрелами, с пронзенными легкими, истекающий кровью, отказывается от помощи и идет самостоятельно. На следующее утро, все еще находясь под угрозой смерти, он читает газеты, слушает, расспрашивает, смотрит, желая убедиться в том, что мотор локомотива, мчащего нас к мировой революции, работает нормально». Такие образы создавались намеренно: они были обращены к сознанию масс, ибо русский народ верит в святость того, кому удалось избежать неминуемой смерти.

Однако официальное сообщение, напечатанное 31 августа на первой странице «Известий» и подписанное Свердловым, отнюдь не было христианским по интонациям. Не приводя никаких доказательств, власти утверждали: «Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов». Документ, содержащий эти обвинения, был датирован 30 августа, 10 часами 40 минутами вечера, то есть за час до того, как начался первый допрос Каплан. «Мы призываем всех товарищей, — говорилось в нем далее, — к полнейшему спокойствию, к усилению своей работы по борьбе с контрреволюционными элементами. На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции».

В последующие дни и недели большевистская печать (впрочем небольшевистская печать была уже к этому времени ликвидирована) пестрела такого же рода

угрозами и заклинаниями, но в ней на удивление мало сообщалось как о самом покушении, так и о состоянии здоровья Ленина, — если не считать регулярно публиковавшихся медицинских сводок, для простого человека непонятных. Когда изучаешь сегодня эти материалы, складывается впечатление, что большевики сознательно не акцентировали это событие. Они пытались убедить людей: что бы ни произошло с Лениным, власти полностью контролируют ситуацию.

3 сентября в ЧК вызвали коменданта Кремля П.Малкова, бывшего матроса. Ему объявили, что ЧК приговорило Фанни Каплан к смерти, и приказали немедленно привести приговор в исполнение. По словам самого Малкова, он пробовал отказаться: «Расстрел человека, особенно женщины — дело нелегкое». Он спросил, как быть с телом. Ему велели проконсультироваться со Свердловым. Свердлов сказал: «Хоронить Каплан не будем. Останки уничтожить без следа». В качестве места для казни Малков выбрал тесный дворик, примыкавший к Большому Кремлевскому дворцу, где была стоянка военных автомобилей. «Я велел начальнику Авто-Боевого отряда выкатить из боксов несколько грузовых автомобилей и запустить моторы, а в тупик загнать легковую машину, повернув ее радиатором к воротам. Поставив в ворота двух латышей и не велев им никого впускать, я отправился за Каплан. Через несколько минут я уже вводил ее во двор… «К машине!» — подал я отрывистую команду, указав на стоящий в тупике автомобиль. Судорожно передернув плечами, Фанни Каплан сделала один шаг, другой… Я поднял пистолет…» [Малков П. Записки коменданта Московского Кремля. М., 1959. С. 159–161. Во втором издании (1961 г.) этот пассаж опущен. Здесь Малков

ограничивается фразой: «Мы приказали ей сесть в заранее подготовленную машину» (с. 162). Короткое сообщение о казни Каплан было напечатано в «Известиях» 4 сентября (№ 190 (454). С. 1)].

Так погибла молодая женщина, которую в насмешку называли русской Шарлотой Корде. Она была застрелена в спину, без всякой видимости суда, под рев моторов грузовиков, который должен был заглушить ее крики. От тела ее избавились, как от ненужного мусора.

* * *

Подробности террористического заговора, имевшего целью покушение на жизнь Ленина и, как выяснилось, также на жизнь Троцкого и других советских руководителей, стали известны ЧК лишь тремя годами позже. Основные сведения были получены ими от ветерана партии эсеров террориста Г.Семенова (Васильева). Семенов эмигрировал, но потом вернулся в Россию и выдал своих прежних товарищей. Его показания, без сомнения, несколько подправленные, были в 1922 году использованы обвинителем на организованном большевиками суде над эсерами[58].

Насколько нам теперь известно, Боевая организация эсеров возобновила свою деятельность в начале 1918 года в Петрограде. Группа из четырнадцати человек — интеллигентов и рабочих — в течение какого-то времени тайно следила за Зиновьевым и Володарским. В июле 1918 года один из ее членов, рабочий Сергеев, убил

Володарского. Террористическое подполье действовало самостоятельно, без санкции ЦК партии эсеров. Весной 1918 года когда большевистское правительство переехало в Москву, некоторые члены Боевой организации последовали за ним. В качестве первой жертвы они наметили Троцкого, считая, что его смерть нанесет самый значительный урон делу большевиков, ибо он руководил военными действиями. За ним была очередь Ленина. Взяв на вооружение методы, отработанные еще при организации покушений на царских чиновников, члены группы шли по пятам жертв, чтобы определить устойчивые закономерности в их передвижениях. Они выяснили, что Троцкий постоянно ездил из Москвы на фронт и обратно и поездки эти были непредсказуемы. Поэтому (как выразился Семенов, «по техническим причинам») было решено вначале избавиться от Ленина.

Прежде чем осуществить это намерение, террористы попробовали заручиться поддержкой ЦК партии эсеров. К этому времени лидеры эсеров переместились в Самару, но в Москве оставалось отделение ЦК, возглавляемое А.Р.Гоцем. Гоц и еще один из членов ЦК, Б.Донской, не дали добро на покушение на жизнь Ленина, но сказали, что, если это будет «индивидуальная» акция, не бросающая тени на партию, они возражать не станут. Они обещали также, что партия не отречется от убийства Ленина.

Разрабатывая план покушения, Семенов обнаружил, что независимо от него такую же акцию готовила с двумя помощниками Фанни Каплан. Каплан поразила его как непоколебимый «революционный террорист», — иными

словами, как ярко выраженная суицидальная личность. Он предложил ей присоединиться к его группе.

Чтобы проследить за появлением Ленина на рабочих митингах, Семенов разделил Москву на четыре сектора, в каждом из которых действовали два члена организации: один «дежурный» и один «исполнитель». Дежурный, смешавшись с толпой, должен был выяснить, когда и где будет выступать Ленин. Получив такую информацию, он должен был тут же связаться с исполнителем, ожидающим в назначенном месте посредине сектора. Эти приготовления происходили в августе 1918 года, когда эсеры, находившиеся в Самаре и воодушевленные победами чехов, претендовали на захват власти в России.

В пятницу, 16 августа, Ленин выступал на собрании Московского комитета партии, но по случайным причинам дежурному Семенова не удалось вовремя об этом узнать. В следующую пятницу Ленин выступал снова, на этот раз в Политехническом музее. Весть об этом разнеслась широко, и собралось много народу. У заговорщиков все шло по плану, но в последний момент у исполнителя сдали нервы. За это Семенов исключил его из членов Боевой организации. По сведениям Семенова, в следующую пятницу, 30 августа, Ленин должен был выступать в одном или нескольких местах в южном секторе. Чтобы избежать очередного срыва, он поставил на этот сектор двух своих самых надежных агентов: опытного террориста рабочего Новикова, в роли дежурного, и Каплан — в роли исполнителя. Следуя традициям террористов-эсеров, Каплан была готова отдать свою жизнь в обмен на жизнь жертвы: она сказала Новикову, что, застрелив Ленина, собирается сдаться. Тем не менее, на случай, если она передумает,

он нанял пролетку и велел извозчику дожидаться поблизости.

30 августа, во второй половине дня, Каплан заняла свой пост на Серпуховской площади. В сумочке у нее был заряженный браунинг. Три пули имели крестообразный надрез, куда был введен смертельный яд индейцев — кураре. [Это было подтверждено в апреле 1922 г., когда врачи извлекли пулю из шеи Ленина и обнаружили на ней крестообразный надрез (см.: Покушение на Ленина 30 августа 1918 г. / Под ред. П.Посвянского. Изд. 2. М., 1925. С. 64). Однако яд к этому времени, по-видимому, потерял свои свойства, поскольку в медицинском заключении о нем ничего не сказано.].

Новиков выяснил, что Ленин будет выступать на заводе Михельсона. Чтобы убедиться в правильности информации, Каплан поговорила с шофером Ленина, после чего вошла в здание и стала ждать у выхода. (Некоторые источники утверждают, что она ждала во дворе.) Инцидент на ступеньках, ведущих к выходу, был подстроен Новиковым, специально упавшим, чтобы задержать толпу и облегчить Каплан доступ к жертве. Выстрелив, Каплан, по-видимому, забыла о намерении сдаться и непроизвольно побежала, но затем остановилась и отдала себя в руки преследователей.

6 сентября «Правда» поместила краткое заявление, в котором ЦК партии эсеров отрицал причастность свою и членов своей партии к покушению на жизнь Ленина. Это было нарушением соглашения, заключенного Семеновым с Гоцем и Донским, и сильно подорвало боевой дух террористов. Они подготовили еще одно покушение — на Троцкого, которое должно было

состояться во время его отъезда на фронт, но Троцкий сбил их со следа, в последний момент уехав другим поездом. Чтобы поддержать свою организацию, они совершили несколько «экспроприации» советских учреждений, но энтузиазма у них было все меньше, особенно после того, как большевики захватили инициативу в борьбе с чехами. В конце 1918 года Боевая организация распалась.

Ленин выздоровел поразительно быстро. Это объяснялось крепким здоровьем и волей к жизни, однако его соратники склонны были усматривать здесь вмешательство сверхъестественных сил: им казалось, что сам Господь пожелал, чтобы Ленин жил, а дело его торжествовало. Как только к нему стали возвращаться силы, Ленин вернулся к работе, но вскоре переутомился и вновь почувствовал себя плохо. 25 сентября по настоянию врачей они с Крупской уехали в Горки. Там он провел три недели, выздоравливая. При этом он следил за ходом событий и немного писал, однако основной груз ежедневной работы по управлению страной ему пришлось передать другим. Среди немногих посетителей, которым было позволено его видеть, была Анжелика Балабанова, участница Циммервальдского объединения. По ее воспоминаниям, когда она завела разговор о казни Каплан, Крупская «страшно расстроилась», а позднее, когда они остались вдвоем, проливала по этому поводу горькие слезы. Ленин, по ощущению Балабановой, предпочитал не обсуждать эту тему[59]. В этот период большевики все еще чувствовали неловкость, расстреливая своих товарищей-социалистов.

В Москву Ленин вернулся 14 октября. 16 октября он побывал на заседании Центрального Комитета, а на следующий день — на заседании Совнаркома. Чтобы

убедить народ в том, что он окончательно выздоровел, во дворе Кремля были поставлены кинокамеры, запечатлевшие его разговор с Бонч-Бруевичем. 22 октября состоялось первое публичное выступление Ленина, и с этого времени он вновь полноценно включился в работу.

Непосредственным результатом покушения Каплан стала чудовищная волна террора, беспрецедентного по числу жертв и по той неизбирательности и бессистемности, с которой они уничтожались. Большевики были в самом деле напуганы и действовали так, как, по словам Энгельса, действуют люди, потерявшие от страха голову: подбадривали себя ненужными жестокостями.

Но неудачная попытка покушения на Ленина имела и еще одно, в перспективе не менее важное следствие: она положила начало сознательной политике обожествления Ленина, которая после его смерти вылилась в настоящий восточный культ, поддерживаемый государством. Благодаря стремительному выздоровлению Ленина после почти смертельного ранения его подчиненные, и до этого склонные к благоговению перед ним, прониклись просто мистической верой в него. Бонч-Бруевич очень сочувственно передает слова, сказанные ему одним из лечивших Ленина врачей: «Только отмеченные судьбой могут избежать смерти после такого ранения»[60]. И хотя «бессмертие» Ленина эксплуатировалось в дальнейшем для достижения вполне земных политических целей — для того, чтобы играть на предрассудках масс, — не приходится сомневаться, что многие большевики искренне считали своего лидера существом сверхъестественным, Христом наших дней, посланным

спасти человечество. [Об эволюции культа Ленина см.: Tumarkin N. Lenin Lives! Cambridge, Mass., 1983.].

До покушения Каплан большевики говорили о Ленине в общем довольно сдержанно. Однако в личном общении они выказывали к нему порой чрезмерную почтительность, которой удостаивается не всякий политический лидер. Н.Н.Суханова, например, поразило, что в 1917 году, еще до прихода Ленина к власти, его приверженцы проявляли к нему «пиетет совершенно исключительный» и воздавали ему почести, «как рыцари — Святому Граалю»[61]. Уже в январе 1918 года Луначарский, один из наиболее интеллигентных и образованных большевистских светил, напоминал Ленину, что он принадлежит теперь не самому себе, но — «человечеству»[62]. Имелись и другие ранние проявления зарождавшегося культа, и если до поры до времени процесс обожествления не заходил слишком далеко, то только потому, что этому сопротивлялся сам Ленин. Так, он не позволил советским руководителям возродить существовавшие в царской России законы, которые предусматривали суровое наказание за надругательство над портретом правителя[63]. Его тщеславие странным образом растворялось в успехах общего «дела», удовлетворялось ими и не требовало особого «культа личности».

Личные запросы Ленина были чрезвычайно скромными: в том, что касалось жилья, пищи, одежды, он довольствовался самым необходимым. Безразличие к роскоши, свойственное российской интеллигенции, было доведено у него до предела, и даже в годы, когда он находился на вершине власти, образ его жизни был

простым, почти аскетическим. Он «всегда ходил в одном и том же темном костюме с широкими брюками, которые казалось, были ему несколько коротки, и с таким же коротковатым однобортным пиджаком, в мягком белом воротничке и старом галстуке. Галстук, по-моему, в течение многих лет был один и тот же: черный, в белый цветочек, в одном месте слегка потертый»[64]. Эта простота, которой впоследствии подражали многие диктаторы, не препятствовала — и даже в некотором смысле способствовала — возникновению культа его личности. Ленин был первым из числа современных «народных» лидеров, которые, подчиняя себе массы, остаются по своей внешности и по видимому образу жизни неотличимы от рядового представителя этих масс. Это уже отмечалось как характерная черта диктаторов нашего времени: «В современных абсолютистских режимах лидер не отличается от своих подданных, как отличались тираны в прежние времена, но, напротив, являет собой как бы воплощение общих для них черт. Тиран XX века — это прежде всего «поп-звезда», и его личные качества остаются невыявленными...»[65]

Литература о Ленине, выпущенная в России в 1917-м и в первые восемь месяцев 1918 года, на удивление бедна[66]. Все, что было написано о нем в 1917 году, вышло в основном из-под пера его оппонентов, и, хотя большевистская цензура вскоре положила конец этим враждебным выступлениям, сами большевики почти ничего не писали о своем лидере, известном главным образом в их узком кругу. Выстрелы Фанни Кап-лан открыли дорогу ленинской агиографии. Уже 3–4 сентября 1918 года Троцкий и Каменев выступили со славословием Ленину, которое было выпущено тиражом 1 млн. экземпляров[67]. Примерно в то же время Зиновьев

напечатал свой панегирик Ленину тиражом 200 тыс. экземпляров, а его короткая популярная биография вышла тиражом 300 тыс. экземпляров. По словам Бонч-Бруевича, как только Ленин поправился, он остановил это извержение[68], но в 1920 году позволил повторить то же самое в несколько более скромных масштабах в связи со своим пятидесятилетием и окончанием гражданской войны. Однако к 1923 году, когда состояние здоровья заставило Ленина отойти от активной деятельности, ленинская агиография превратилась уже в настоящую индустрию, в которой были заняты тысячи людей — как в иконописном деле в дореволюционной России.

Странное впечатление производит эта литература на современного читателя: ее почтительная, приторно-сентиментальная интонация резко контрастирует с тем грубым языком, которым большевики обычно изъяснялись по другим поводам. Образ Спасителя человечества, снятого с креста и затем воскресшего из мертвых, с трудом сочетается с мотивом «беспощадной борьбы» со всеми его врагами. Так, Зиновьев, который хотел заставить «буржуазию» жрать солому, говоря о Ленине, называет его «апостолом мирового коммунизма», «вождем Божьей милостью» — почти как Марк Антоний, который в речи над гробом Цезаря превознес его как «божество небесное»[69]. Иные коммунисты шли еще дальше, например, один поэт писал о нем, как о «непобедимом посланце мира в терновом венце клеветы». Такие параллели, намеки на нового Христа, были вполне обычными в советских публикациях конца 1918 года. Власти, одной рукой распространявшие

их массовыми тиражами, другой рукой тысячами казнили заложников[70].

Формально советский лидер, конечно, не был обожествлен, но качества, которые приписывались ему в официальных публикациях и выступлениях — всеведение, непогрешимость и, по сути, бессмертие, — не оставляли сомнений на этот счет. «Культ гения», созданный в советской России по отношению к Ленину, значительно превосходил аналогичные культы Муссолини и Гитлера, созданные впоследствии по его образцу.

Почему же режим, стоявший на позициях материализма и атеизма, пошел на создание такого квазирелигиозного культа политического деятеля? На этот вопрос есть два ответа: первый объясняет это внутренними нуждами Коммунистической партии, второй — ее взаимоотношениями с народом, которым она управляла.

Хотя большевики заявляли о себе как о политической партии, в действительности дело обстояло совершенно иначе. Они являли собой скорее орден, объединившийся вокруг избранного вождя. Их сплотила не программа или платформа, — которые могли в любой момент измениться по желанию руководителя, — но сама личность их лидера. Его интуиция и воля — вот что направляло действия коммунистов, а отнюдь не объективные принципы. Ленин был первым политическим деятелем нашего времени, которого называли «вождем». Он был необходимой фигурой, ибо без его руководства однопартийный режим не мог сохранять свою целостность. Коммунисты персонализировали политику, отбросив ее назад к тем временам, когда государство и общество направлялись

человеческой волей, а не законом. Это требовало от вождя бессмертия, если не в буквальном, то, по крайней мере, в переносном смысле: он должен лично вести за собой общество, а после его смерти последователи должны были иметь возможность править от его имени, то есть так, будто он прямо и непосредственно вдохновляет все их действия. Поэтому лозунг «Ленин жив!», выдвинутый после смерти вождя, был не просто пропагандистским трюком, но выражал самую суть коммунистического способа правления.

Этим во многом объясняется необходимость обожествить Ленина, поставить его выше превратностей обычного человеческого существования, сделать его бессмертным. Культ его начался в тот момент, когда мнилось, что он стоит на пороге смерти, и был институциализирован пять лет спустя, когда он действительно умер. Основанные им партия и государство могли сохранять целостность и жизнеспособность лишь в той мере и до тех пор, пока получали вдохновение от Ленина.

Второе обстоятельство, которое способствовало возникновению этого культа, заключалось в том, что большевистский режим был незаконным. Проблема эта не вставала перед большевиками в первые месяцы после захвата власти, ибо считалось, что вся их деятельность является катализатором мировой революции. Но как только стало ясно, что в обозримом будущем никакой мировой революции ждать не приходится и что большевики должны взять на себя ответственность, связанную с управлением огромной многонациональной империей, требования изменились. В этот момент остро встал вопрос о лояльности режиму всего более чем семидесятимиллионного населения страны. Обычными

избирательными процедурами даже видимость лояльности не могла быть обеспечена: в ноябре 1917 года, будучи на пике популярности, большевики получили менее четверти голосов избирателей, а в дальнейшем, по мере того, как иллюзий становилось все меньше, им уже не приходилось рассчитывать даже на это. Конечно же большевики отдавали себе отчет в том, что власть их зиждется на принуждении и что тонкая прослойка рабочих и солдат, на которую они опираются, весьма ненадежна. Они, конечно же, отметили тот факт, что в июле 1918 года, когда мятеж левых эсеров поставил их режим под угрозу, рабочие и солдаты столицы объявили нейтралитет и отказались встать на их сторону.

В такой ситуации обожествление отца-основателя призвано было обеспечить большевикам видимость легитимности их власти и выступить как суррогат народной поддержки режима. Как отмечают историки Древнего мира, на Ближнем Востоке культы правителей приобрели особый размах лишь после того как Александр Македонский завоевал множество различных не-греческих народов, по отношению к которым власть его не могла считаться легитимной и которые не были связаны ни с македонцами, ни друг с другом никакими этническими узами. Александр, и в еще большей степени его наследники, так же, как и римские императоры, прибегали к самообожествлению как к средству удержания власти, ссылаясь на авторитет небожителей, когда жители земли отказывались признавать ее законный характер.

«Македонцы, преемники Александра, должны были удерживать захваченные силой оружия троны иноземных монархов. В этих странах, наследницах развитых

античных цивилизаций, власть клинка — это было еще не все, и право сильного не обеспечивало законности правления. Но всякий правитель стремится к тому, чтобы его власть считалась законной, ибо это укрепляет его положение. И разве не было с их стороны мудрым решением представить себя как титулованных наследников тех, чья власть основывалась на божественном праве и чье наследие они захватили силой? Стать божествами — разве не было это вполне хитроумным способом снискать расположение подданных, объединить под одним знаменем совершенно различные народы и в конечном счете упрочить свои династические позиции?»[71]

«Для династии <…> обожествление означало легитимность, обоснование права на власть, добытую силой оружия. Оно означало, кроме того, что члены царской фамилии оказывались выше обычных человеческих страстей, что их права укреплялись, сливаясь в единое целое с прерогативами их божественных предков, и что во всех концах империи у подданных появлялся символ, вокруг которого они могли бы объединяться на основе религиозного чувства, не будучи в состоянии объединиться на основе чувства национального»[72].

Сегодня трудно сказать, насколько большевики отдавали себе отчет в этих исторических параллелях и насколько они сознавали противоречие между заявлениями о приверженности «научному» мировоззрению и тем, что в своей практике делали ставку на самые примитивные формы идолопоклонства. Судя по всему, действия их в этой области были не столько сознательными, сколько инстинктивными. И если

так, то инстинкт их не подвел, ибо они гораздо больше преуспели в завоевании поддержки народных масс благодаря созданию этого культа, чем благодаря всем разговорам о «социализме», «классовой борьбе» и «диктатуре пролетариата». Для россиян «диктатура» и «пролетариат» были бессмысленными иностранными словами, которые многие из них не могли даже как следует выговорить. Но рассказы о чудесном восстании из мертвых верховного правителя страны вызывали немедленный эмоциональный отклик и создавали между правительством и подданными несомненную связь. Поэтому культ Ленина никогда не ослабевал, даже тогда, когда на время его затмил проповедуемый государством культ другого божества — Сталина. [Несмотря на все внимание, которое советская пропаганда уделяла после 30 августа 1918 г. личности Ленина, не всякий, по-видимому, знал, кто это такой. Анжелика Балабанова описывает случай, происшедший в начале 1919 г. Ленин поехал навестить Крупскую, находившуюся в санатории под Москвой. Машину, в которой ехали Ленин и его сестра, остановили два человека. «Один из них достал пистолет и сказал: «Кошелек или жизнь!» Ленин показал свое удостоверение личности и сказал: «Я Ульянов-Ленин». Нападавшие даже не взглянули на документ и только повторяли: «Кошелек или жизнь!» Денег у Ленина не было. Он снял пальто, вышел из машины и, не отдав грабителям бутылку молока, которая предназначалась его жене, пошел дальше пешком» (Impressions of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1964. P. 65).].

* * *

С первого дня прихода к власти большевики развязали террор и наращивали его по мере того, как их режим набирал силу, а популярность его падала. Арест кадетов в ноябре 1917 года, за которым последовало безнаказанное убийство кадетских лидеров Ф.Ф.Кокошкина и А.И.Шингарева, роспуск Учредительного собрания и расстрел демонстрации в его поддержку — все это были акты террора. Части Красной Армии и Красной гвардии, разгонявшие весной 1918 года в одном городе за другим местные Советы, которые голосовали против большевиков, тоже совершали акты террора. На новый уровень жестокости подняли террор расстрелы, производившиеся областными и районными ЧК во исполнение ленинского декрета от 22 февраля 1918 года: историк С.П.Мелыунов, живший в то время в Москве, выявил только по сообщениям печати 882 случая казней за первые шесть месяцев 1918 года[73].

Впрочем, вначале большевистский террор не был систематическим и в этом отношении напоминал террор белых армий, происходивший впоследствии, во время гражданской войны. Жертвами его зачастую становились уголовники и «спекулянты». Более систематический характер и политический уклон он начал обретать лишь летом 1918 года, когда дела у большевиков пошли из рук вон плохо. После подавления восстания левых эсеров 6 июля ЧК провела первый массовый расстрел, жертвами которого стали члены тайной организации Савинкова, арестованные в предыдущем месяце, и некоторые участники восстания. Изгнание левых эсеров из коллегии

ЧК в Москве окончательно развязало руки политической полиции по всей стране. В середине июля были расстреляны многие офицеры, принимавшие участие в ярославском мятеже. Опасаясь военных заговоров, ЧК начала охоту на офицеров старой армии, которых расстреливали без суда. По записям Мельгунова, в июле 1918 года большевистские власти, главным образом ЧК, провели 1115 казней[74].

Убийство царской семьи знаменовало дальнейшее усиление террора. Агенты ЧК присвоили теперь себе право расстреливать подозреваемых и арестованных по своему усмотрению, хотя, судя по претензиям, рассылаемым из Москвы, местные органы не всегда использовали свои полномочия.

Несмотря на такое усиление правительственного террора, Ленин был все еще недоволен. Он хотел вовлечь в этот процесс «массы», — по-видимому, потому, что погромы, в которых участвовали и агенты правительства, и «представители народа», способствовали их сближению. Он постоянно внушал коммунистическим властям и гражданам мысль о необходимости действовать более решительно, призывал освободиться от всяких предубеждений против убийства. Как иначе могла стать реальностью «классовая борьба»? Уже в январе 1918 года он жаловался на «мягкость» советского режима, призывая к установлению «железной власти»: «Наша власть — непомерно мягкая, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо»[75]. Когда в июне 1918 года ему доложили, что партийные власти Петрограда удержали от погрома рабочих, желавших отомстить за убийство Володарского, он немедленно отправил сидевшему там наместнику гневное

послание. «Тов. Зиновьев! — писал он. — Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, *тормозим* революционную инициативу масс, *вполне* правильную. Это не-воз-мож-но!»[76]. Два месяца спустя Ленин давал распоряжение властям Нижнего Новгорода «навести *тотчас* массовый террор, *расстрелять* и *вывезти* сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. д.»[77]. Это небрежное «и т. д.» давало агентам режима полную свободу в выборе жертв: речь шла о бойне ради бойни, которая должна была стать выражением несгибаемой «революционной воли» режима стремительно терявшего почву под ногами.

В соответствии с политикой правительства, объявившего войну деревне, террор распространялся не только в городах, но и в селах. Мы уже приводили высказывания Ленина, в которых он призывает рабочих убивать «кулаков». Сейчас невозможно составить даже приблизительное представление о числе жертв среди крестьян, старавшихся летом и осенью 1918 года уберечь зерно от продотрядов. Но если учесть, что в этой войне число погибших со стороны правительства исчислялось тысячами, то и со стороны деревни жертв вряд ли было меньше.

Соратники Ленина теперь соревновались друг с другом, пытаясь отыскать наиболее жесткие слова, которые могли бы подвигнуть население на убийства и представить убийство, совершенное во имя революции,

делом благородным и возвышенным. Троцкий, например, как-то предупредил, что, если бывшие царские офицеры, принятые им в Красную Армию, замыслят какое-нибудь предательство, «от них останется одно мокрое место»[78]. А чекист Лацис заявил: «Закон гражданской войны — вырезать всех раненых в боях против тебя», ибо «борьба идет не на жизнь, а на смерть. Ты не будешь бить, так побьют тебя. Поэтому бей, чтобы не быть побитому»[79].

Такие призывы к массовому убийству были невозможны ни для деятелей французской революции, ни для участников Белого движения. Большевики сознательно призывали граждан к жестокости, заставляя их смотреть на некоторых из своих собратьев так, как смотрит во время войны солдат на всякого, кто одет в униформу врага: скорее как на абстракцию, а не как на человеческое существо. Этот кровавый психоз достиг уже чрезвычайного накала, когда прозвучали выстрелы, поразившие Урицкого и Ленина. Два этих террористических акта, — не связанные между собой, как выяснилось позднее, но в то время воспринятые как части единого организованного заговора, — открыли дорогу красному террору в собственном значении этого слова. Большинство его жертв составили заложники, выбранные случайно, главным образом по признаку социального происхождения, материального достатка или каких-то связей со старым режимом. Большевикам нужны были массовые убийства не только потому, что они позволяли устранить конкретные угрозы режиму, но также и потому, что были средством устрашения и психологического подавления граждан.

Красный террор был формально введен двумя декретами — от 4 и от 5 сентября — за подписью комиссаров внутренних дел и юстиции.

Первый декрет узаконивал практику взятия заложников. [Самое раннее упоминание о заложниках содержится в речи Троцкого, произнесенной 11 ноября 1917 г. Он заявил, что пленных юнкеров будут держать в качестве заложников: «Если нашим врагам доведется брать наших пленными, то пусть знают они, каждого рабочего и солдата мы будем обменивать на 5 юнкеров» (Известия. 1917. 12 нояб. № 211. С. 2.)]. Это была варварская мера, восходившая к самым мрачным периодам человеческой истории; международные трибуналы после второй мировой войны квалифицировали ее как военное преступление. Заложников, арестованных ЧК, предполагалось казнить в ответ на будущие возможные покушения на большевистских лидеров или на любые другие действия, направленные против режима. В действительности их день и ночь выстраивали перед расстрельными командами. Эти массовые убийства были официально санкционированы «Приказом о заложниках», подписанным комиссаром внутренних дел Г.И.Петровским 4 сентября 1918 года, за день до обнародования декрета, провозглашавшего начало красного террора. Этот приказ был передан по прямому проводу во все местные Советы:

«Убийство Володарского, убийство Урицкого и ранение председателя Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ленина, массовые десятками тысяч расстрелы наших товарищей в Финляндии, на Украине и, наконец, на Дону и в Чехословании, постоянно открываемые заговоры в тылу наших армий, открытое признание правых эсеров и прочей контрреволюционной

сволочи в этих заговорах и в то же время чрезвычайно ничтожное количество серьезных репрессий и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии со стороны Советов показывают, что, несмотря на постоянные слова о массовом терроре против эсеров, белогвардейцев и буржуазии, этого террора на деле нет.

С таким положением должно быть решительно покончено. Расхлябанности и миндальничанью должен быть немедленно положен конец. Все известные местные Советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен приниматься [так!] безоговорочно массовый расстрел. Местные губисполкомы должны проявлять в этом направлении особую инициативу. Отделы управления через милицию и чрезвычайные комиссии должны принять все меры к выяснению и аресту всех скрывающихся под чужими именами и фамилиями лиц с безусловным расстрелом всех замешанных в белогвардейской работе.

Все означенные меры должны быть проведены немедленно. О всяких нерешительных в этом направлении действиях тех или иных органов местных Советов <…> немедленно донести народному комиссариату внутренних дел.

Тыл наших армий должен быть, наконец, окончательно очищен от всякой белогвардейщины и всех подлых заговорщиков против власти рабочего класса и беднейшего крестьянства. Ни малейших колебаний, ни малейшей нерешительности в применении массового террора.

Получение означенной телеграммы подтвердите.

Передать уездным Советам. Наркомвнудел Петровский»[80].

Этот из ряда вон выходящий документ не только разрешал, но требовал введения повального террора — под страхом наказания за то, что в нем было обозначено как «расхлябанность и миндальничанье», то есть за любые проявления гуманного отношения к предполагаемым жертвам. Советские власти были поставлены перед необходимостью организовывать массовые убийства, — в противном случае они рисковали сами попасть в число «контрреволюционеров».

Вторым документом, официально обосновавшим красный террор, стала принятая 5 сентября 1918 года «Резолюция», одобренная Совнаркомом и подписанная народным комиссаром юстиции Д.И.Курским[81]. В ней говорилось, что Совнарком, заслушав доклад председателя ЧК, принял решение усилить политику террора. «Классовые враги» режима подлежали «изоляции в концентрационных лагерях», а «все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», — немедленному расстрелу.

Советская историческая и источниковедческая наука обходит молчанием вопрос о происхождении этих документов. Они не включены в собрания декретов советской власти. Имя Ленина в связи с ними никогда не упоминается, хотя известно, что он настаивал на необходимости взятия заложников в ходе классовой войны[82]. Кто же тогда был автором этих декретов? Считается, что Ленин в то время был еще слишком слаб от потери крови, чтобы принимать участие в делах государства. Однако трудно поверить, что столь важные

решения могли быть приняты двумя комиссарами без его прямого одобрения. Подозрение, что автором двух декретов, положивших начало красному террору, в действительности был Ленин, подтверждается тем фактом, что 5 сентября он оказался в силах поставить свою подпись под незначительным декретом, касающимся русско-германских отношений. Наличие этой подписи если и не доказывает личное участие Ленина в развязывании красного террора, то, по крайней мере, позволяет оспорить довод о физической невозможности его участия в подготовке текста «Резолюции».

31 августа, даже прежде чем на этот счет были отданы официальные распоряжения, нижегородская ЧК захватила и расстреляла 41 заложника — из числа людей, принадлежавших к «вражескому лагерю». Как свидетельствует список этих жертв, среди них были главным образом бывшие офицеры, «капиталисты» и священники[84]. В Петрограде Зиновьев, как будто во исправление «мягкости», в которой уличил его Ленин, приказал разом расстрелять 512 заложников. В эту группу входило много людей, которые из-за своих связей со старым режимом несколько месяцев провели в тюрьме и, следовательно, никак не могли быть причастны к покушениям на большевистских лидеров[85]. В Москве по приказу Дзержинского были расстреляны несколько человек, занимавших высокие посты в царском правительстве и находившихся в заключении с 1917 года, в том числе бывший министр юстиции И.Г.Щегловитов, три бывших министра внутренних дел — А.Н.Хвостов, Н.А.Маклаков и АД.Протопопов, бывший начальник департамента полиции С.П.Белецкий и один епископ. Никто из них уже давно не представлял угрозы режиму. Невольно складывается впечатление, что их

убийство было актом личной мести Дзержинского, ибо в те годы, когда он находился в тюрьме, эти люди руководили правосудием и полицией. [Пятнадцать лет спустя события развивались аналогичным образом в Германии. Когда нацисты пришли к власти, члены штурмовых бригад часто выбирали для избиений и пыток своих личных врагов, в том числе судей, выносивших им приговоры в период Веймарской республики (см.: Kaminski A. Konzentrationslager 1896 bis heute: Eine Analyse. Stuttgart, 1982. S. 87–88)].

Теперь агенты ЧК получили распоряжение поступать с врагами режима по своему усмотрению. В циркуляре по ЧК № 47, подписанном Петерсом, было прямо сказано, что «в своей деятельности ЧК совершенно независима и может проводить обыски, аресты и казни, отчеты о которых должны быть представлены в Совнарком и Центральный исполнительный комитет»[86]. Получив такую власть и будучи постоянно подогреваемы угрозами из Москвы, областные и районные ЧК по всей советской России энергично принялись за работу. В течение сентября коммунистическая печать публиковала текущие отчеты о ходе красного террора в различных регионах, и каждый день приносил сообщения о новых казнях. Иногда указывалось лишь общее число расстрелянных, иногда назывались их фамилии и род занятий. В последнем случае часто добавлялась аббревиатура «кр.», означавшая «контрреволюционную деятельность». В конце сентября стал выходить «Еженедельник ЧК» — ведомственный орган, призванный путем обмена информацией и опытом помогать в работе чекистской братии. В нем регулярно печатались сводки о казнях,

аккуратно расписанные по губерниям, как будто речь шла о межгубернских соревнованиях по футболу.

Трудно передать, с какой страстью коммунистические лидеры призывали в этот период проливать кровь. Казалось, каждый из них старался доказать, что он не «мягче» и не «буржуазнее» остальных. Позднее, в период сталинизма и нацизма, массовое уничтожение людей сопровождалось попытками соблюсти внешнюю благопристойность. Когда Сталин обрекал «кулаков» и «врагов народа» на верную смерть от голода и истощения, считалось, что эти люди содержатся в «исправительных лагерях». Когда Гитлер отправлял в газовые камеры евреев, это называлось «эвакуацией» или «перемещением». Но большевисткий террор первых лет революции осуществлялся совершенно открыто. Здесь не было никаких уловок, никаких иносказаний, ибо это специально разыгранное в национальных масштабах зрелище должно было служить «воспитательным» целям: расчет был на то, что как власть имущие, так и подданные, разделив между собой ответственность за пролитую кровь, будут заинтересованы в выживании режима.

Вот что говорил через две недели после начала красного террора Зиновьев, выступая на собрании коммунистов: «Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, населяющих советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожать»[87]. Эти слова, произнесенные одним из крупнейших советских руководителей, были смертным приговором для 10 миллионов человеческих существ. «Красная газета» призывала к погромам, безжалостно, беспощадно убивать врагов сотнями, тысячами, топить их в их собственной крови. За кровь Ленина и Урицкого пусть

прольется потоком кровь буржуазии — как можно больше крови[88]. К.Б.Радек, горячо одобряя массовые убийства, признавал, что многие его жертвы безвинны, что они «не принимают непосредственного участия в белогвардейском движении». Однако он считал это справедливым: «Понятно, за всякого советского работника, за всякого вождя рабочей революции, который падет от рук агентов контрреволюции, последняя расплатится десятками голов». Он только сетовал, что массы принимают в терроре недостаточно активное участие: «Пять заложников, взятых у буржуазии, расстрелянных на основании публичного приговора пленума местного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, расстрелянных в присутствии тысяч рабочих, одобряющих этот акт, — более сильный акт массового террора, нежели расстрел пятисот человек по решению Чрезвычайной комиссии без участия рабочих масс»[89]. И таков был моральный климат времени, что, по свидетельству одного из находившихся тогда под арестом в ЧК, статья Радека, призывавшая к участию масс в терроре, была воспринята заключенными (многие из которых сами были заложниками) как человеколюбивый жест[90].

Ни один из руководителей большевистской партии и правительства, включая тех, кого впоследствии называли «совестью революции», не выступил с публичным протестом против этих зверств, тем паче не подал в отставку в знак несогласия с политикой террора. Напротив, все они поддержали эту политику. Так, ровно через неделю после покушения на Ленина, в пятницу, все крупные большевистские деятели разъехались по Москве, чтобы разъяснять народу действия

правительства. Только большевики второго ранга, такие, как, например, М.С.Ольминский, Д.Б.Рязанов и Е.М.Ярославский, выражали озабоченность, неприятие этой резни и пытались спасать отдельных людей. Однако от их мнения мало что зависело. [В ноябре 1918 г. почтенный теоретик анархизма П.А.Кропоткин встречался с Лениным, чтобы выразить протест против террора (Ленин. Хроника. Т. 6. С. 195). В 1920 г. он написал страстное обращение, призывавшее отказаться от «средневековой» практики взятия заложников (Woodcock G., Avakumovic I. The Anarchist Prince. Lnd.; N.Y., 1950. P. 426–427)].

Как это ни странно, красный террор на своей первой стадии никак не затронул членов той политической партии, которую большевики с самого начала считали главным зачинщиком насильственных действий, направленных против их режима, — социалистов-революционеров. То ли Москва опасалась популярности этой партии в крестьянской среде, то ли рассчитывала на ее помощь в борьбе с белогвардейцами, то ли боялась новой волны террористических актов против большевистских лидеров, — как бы то ни было, но угрозы массовых арестов и расстрелов заложников-эсеров не были приведены в исполнение. Во время этих так называемых «ленинских дней» красного террора в Москве был казнен только один эсер[91]. Среди жертв ЧК подавляющее большинство составляли деятели старого режима и просто преуспевающие граждане, многие из которых относились к репрессиям большевиков одобрительно. Есть свидетельства, что консервативно настроенные офицеры и чиновники царской службы, находясь в тюрьме, с энтузиазмом встречали известия о

большевистских репрессиях, будучи убеждены, что лишь такими драконовскими мерами можно вытащить страну из хаоса и возродить ее в качестве великой державы[92]. Мы уже отмечали то одобрение, с которым отзывался о коммунистическом режиме монархист В.М.Пуришкевич, говоривший как о достоинстве о его «твердости» в сравнении с политикой Временного правительства[93]. То, что ЧК выбирала своих жертв среди этих слоев политически неопасных, а в известном смысле даже готовых поддержать режим, — лишний раз подтверждает, что красный террор был нацелен не столько на ликвидацию какой-то конкретной оппозиции, сколько на создание атмосферы всеобщего страха. Поэтому убеждения и деятельность жертв террора имели второстепенное значение. В каком-то смысле, чем более иррациональным был террор, тем он был эффективнее, ибо любые рациональные прогнозы и выкладки в такой ситуации лишались значения и общество оказывалось низведено на уровень стада. Н.В.Крыленко сказал: «Мы должны казнить не только виновных. Казнь невиновных произведет на массы даже большее впечатление»[94].

* * *

В 80-х годах советская политическая полиция испытывала, по-видимому, острую нужду в прославлении своей предшественницы — ЧК.

В литературе, которую она щедро субсидировала тогда — а в известной мере поддерживает и сегодня, четверть века спустя, — чекисты изображаются героями

революции, выполняющими трудную и неблагодарную работу, сохраняя при этом высокие моральные убеждения. Типичный чекист предстает обычно на страницах таких произведений как личность, действующая решительно и бескомпромиссно и вместе с тем глубоко и тонко чувствующая, как некий духовный титан, обладающий редким мужеством и дисциплиной, которые необходимы, чтобы, подавляя в себе врожденную гуманность, осуществлять миссию, жизненно важную для всего человечества. Немногие оказываются достойными работать в ЧК. Читая все это, нельзя не вспомнить речь, произнесенную в 1943 году Гиммлером перед эсэсовскими офицерами, в которой он называет их высшим племенем, ибо, уничтожая тысячи евреев, они сумели подняться выше обычных представлений о благопристойности. Такого рода суждения нужны, чтобы создавать впечатление, что террор более тягостен для его исполнителей, нежели жертв. [Примером такой попытки вызвать к себе сострадание является заявление группы чекистов, написанное в 1919 г.: «Работая при… неимоверно трудных обстоятельствах, где требуются непоколебимая воля и большая внутренняя сила, те сотрудники [ЧК], которые, несмотря на ложную клевету и злорадно вылитые на их голову помои, продолжают свою работу незапятнанными» и т. д. (Антонов-Саратовский В.П. Советы в эпоху военного коммунизма. Т. 1. М, 1928. С. 430–431).].

Как это было на самом деле, какие люди в действительности шли работать в ЧК, можно судить по признаниям чекистов, которые сами перебегали к белым или были захвачены ими в плен.

Как обычно осуществлялись аресты и казни заложников, подробно описал бывший чекист Ф.Другов[95]. По его словам, вначале у ЧК не было единого метода: людей выбирали в качестве заложников потому, что они занимали важные посты при царизме (особенно в жандармском корпусе), были офицерами царской армии, владели собственностью или критиковали новый режим. Если происходили события, которые, по мнению местного ЧК, требовали «применения массового террора», произвольное число таких заложников выводили из камер и расстреливали. Есть данные, подтверждающие это свидетельство Другова. В октябре 1918 года в Пятигорске, где жили, выйдя в отставку, многие видные деятели прежнего режима, в ответ на убийство нескольких советских руководителей, ЧК расстреляла 59 заложников. В опубликованном списке жертв (где не было указано ни имен, ни отчеств) оказались: генерал Н.В.Рузский, сыгравший важную роль при отречении Николая II, С.В.Рухлов, бывший в годы войны министром транспорта, и шесть представителей аристократических фамилий. Остальные были главным образом генералами и полковниками царской армии, — плюс еще небольшая группа людей, среди которых упоминается, например, женщина, обозначенная просто как «дочь полковника»[96].

Более систематический подход в обращении с заложниками был выработан летом 1919 года в связи с продвижением к Москве Деникина и необходимостью эвакуировать заключенных, которые могли попасть в руки к белогвардейцам. В этот момент, по свидетельству Другова, в тюрьмах советской России находилось 12000 заложников. Дзержинский отдал своим сотрудникам распоряжение выработать принципы очередности, в которой, если возникнет такая нужда, следовало

расстреливать этих людей. С помощью некоего доктора Кедрова Лацис и его сотрудники разделили заложников на семь категорий. Главным критерием этой классификации была состоятельность пленников. К седьмой категории были отнесены самые богатые и те, кто занимал высокие посты в царской полиции. Этих надлежало расстреливать в первую очередь.

В отличие от массового уничтожения евреев нацистами, о котором мы знаем почти все в самых ужасающих подробностях, даже общая картина массовых убийств, организованных коммунистами в 1918–1920 годы, остается во многом неясной. Печать нередко сообщала о казнях, но производились они всегда втайне. Наиболее полную информацию об этом можно почерпнуть в обзорах немецких журналистов, работавших в России, в особенности тех, что печатались в берлинской «Lokalanzeiger» вопреки давлению немецкого министерства иностранных дел. Вот выдержка из одной из таких статей, перепечатанных лондонской «Таймс»: «Подробности этих массовых ночных казней сохраняются в тайне. Говорят, что на Петровской площади, залитой ярким светом дуговых ламп, все время стоит наготове взвод советских солдат, ожидая прибытия жертв из большой тюрьмы. Они не тратят времени даром и не выказывают никакой жалости. Всякого, кто по собственной воле не идет к месту казни и не занимает указанное ему место в шеренге тех, кого будут казнить, волокут туда волоком». Это весьма напоминает свидетельства тех, кто прошел через нацистские лагеря смерти. А вот что пишет тот же корреспондент об исполнителях казней: «Рассказывают, что некоторые матросы, которые участвуют в казнях почти каждую ночь, уже пристрастились к этому занятию, и казни стали

для них необходимы, как морфий для морфиниста. Они занимаются этим добровольно и не могут заснуть, пока кого-нибудь не расстреляют». Ни до, ни после расстрела семьям жертв ничего не сообщали. [The Times. 1918. 28 September. P. 5a. В Петровском парке, на месте, где в основном происходили кровавые расправы, впоследствии был выстроен стадион «Динамо». Неподалеку находилась Бутырская тюрьма, в которой обычно содержались пленники московской ЧК, — как правило, около 2500 человек одновременно. Другое место казней было расположено у Семеновской заставы.].

Самые страшные зверства совершались в некоторых местных ЧК, которые действовали без надзора центральных органов и не боялись, что об их делах поведают миру иностранные дипломаты или журналисты. Существует подробное описание работы киевской ЧК в 1919 году, сделанное со слов ее сотрудника М.И.Белеросова — в прошлом студента-правоведа и офицера царской армии, — который давал показания следователям генерала Деникина[97].

Как рассказал Белеросов, вначале (осенью и зимой 1918–1919 годов) киевские чекисты без устали «развлекались» грабежами, вымогательствами и изнасилованиями. Три четверти из них составляли евреи, в основном откровенные подонки, непригодные ни к какому другому делу, утратившие всякою связь с еврейской общиной, однако старавшиеся щадить евреев. [По распоряжению Дзержинского ЧК редко брала заложниками евреев. Но дело было не в симпатиях к ним: одной из целей взятия заложников было желание удержать белых от расстрела захваченных ими

коммунистов. А поскольку считалось, что белые не станут беспокоиться о жизнях евреев, взятие евреев заложниками, по мнению Дзержинского, не имело смысла (см.: Лацис М.В. Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. М., 1921. С. 54). По словам Белеросова (с. 137), такая политика проводилась лишь до мая 1919 г., когда киевская ЧК получила распоряжение «расстреливать евреев» «для целей агитационных» и не позволять им занимать высоких должностей.]. За этим периодом красного террора в Киеве, который Белеросов называет фазой «кустарного производства», последовал в результате давления Москвы «фабричный» период. В пору своего расцвета, летом 1919 года, прежде чем город был занят белыми, киевская ЧК насчитывала 300 гражданских служащих и около 500 под ружьем.

Смертные приговоры выносились совершенно произвольно: людей расстреливали без всякой видимой причины и так же, без видимой причины, освобождали. Заключенные в тюрьме ЧК обычно не знали своей судьбы до той страшной минуты, когда однажды ночью их вызывали для «допроса»: «Если арестованный содержался в Лукьяновской тюрьме и внезапно вызывался в «чека», то сомнения быть не могло в причине этой внезапности. Официально же арестованный узнавал о своей участи лишь тогда, когда обыкновенно около часу ночи (время совершения казней) выкликивался из камеры список «на допрос». Арестованного вели в тюремный отдел — канцелярию, где он подписывал в определенном месте регистрационную карточку, обыкновенно не читая того, что было в этой карточке написано. Обыкновенно после подписи обреченного дописывалось: приговор такому-то

объявлен. Правда, тут было мало лжи, так как по выходе жертв из камер с ними «не стеснялись» и смакуя говорили им об ожидающей участи. Здесь же арестованный получал распоряжение раздеваться и затем выводился для приведения в исполнении казни <…> Для расстрела был оборудован специальный сарайчик — при доме на Институтской № 40 <…> куда перешла с Екатерининской «губчека». В этот сарайчик палач (комендант, его заместитель, иногда помощник коменданта, а иногда «любители» из чекистов) заводил совершенно нагою свою жертву и приказывал ей лечь ничком. Затем выстрелом в затылок кончал со своей жертвой. Расстрелы производились из револьверов (чаще всего кольты). Но ввиду стрельбы на близком расстоянии обыкновенно от выстрела черепная коробка казненного разлеталась на куски. Следующая жертва приводилась тем же порядком и укладывалась рядом с агонизирующей (в большинстве случаев) предыдущей жертвой. Когда число жертв превышало количество, вмещаемое сарайчиком, то новые жертвы укладывались на прежде казненных или расстреливались при входе в сарайчик <…> Все жертвы шли на казнь обыкновенно не сопротивляясь. О переживаниях несчастных невозможно судить даже приблизительно <…> Большинство жертв просило, обыкновенно, дать им возможность проститься и за отсутствием кого-либо другого — обнимало и лобызало своего палача». [На чужой стороне. 1925. № 9. С. 131–132. В Архиве изобразительных источников Гуверовского института хранится коллекция слайдов, очевидно отснятых белыми после того, как они взяли Киев, изображающих дом, где помещалась ЧК, и неглубокие массовые захоронения в саду этого дома, скрывающие обнаженные расчлененные тела жертв. В

декабре 1918 г. белые образовали следственную комиссию по изучению преступлений большевиков на Украине. Материалы этой комиссии хранились в Русском архиве в Праге. После окончания второй мировой войны чехословацкое правительство передало их в Москву, и с тех пор они стали недоступны для зарубежных исследователей. Некоторые из опубликованных отчетов этой комиссии имеются в Архиве Мельгунова в Гуверовском институте (Box II) и в Бахметьевском архиве в Колумбийском университете (Denikin Papers. Box 24)].

Поразительной особенностью красного террора является то, что его жертвы почти никогда не сопротивлялись и даже не пытались бежать: они принимали его со смирением. Быть может, у них была иллюзорная надежда, что, подчиняясь палачам и демонстрируя свою готовность к сотрудничеству, они спасут свою жизнь. И они, очевидно, были не в состоянии понять, — действительно, такую идею с трудом приемлет здоровый рассудок, — что их убивали не в наказание за какие-то их проступки, а исключительно в назидание тем, кто оставался в живых. Но здесь сказывалась еще и определенная национальная особенность. Как отмечал Шарль де Голль, служивший в Польше во время русско-польской войны 1920 года, чем серьезнее опасность, тем более равнодушными становятся обычно славяне[98].

* * *

На втором месяце красного террора стал ощущаться перелом в настроениях большевиков среднего звена. Зимой 1918–1919 годов эти настроения усилились, и в феврале правительство вынуждено было принять ряд мер, ограничивающих полномочия ЧК. Однако эти ограничения остались в основном на бумаге. Весной 1919 года, когда Красная Армия стала стремительно отступать под напором частей Деникина и сдача Москвы казалась неизбежной перспективой, напуганные большевики полностью восстановили полномочия ЧК в осуществлении террора среди населения.

Критика ЧК коммунистическим аппаратом была вызвана не столько гуманистическими соображениями, сколько опасениями, что бесконтрольность ЧК может привести к угрожающим последствиям и для верных коммунистов. Карт-бланш, полученный ЧК в начале красного террора, наделял эту организацию практически неограниченной властью — вплоть до возможности осуществления репрессий в высших эшелонах партийного руководства. Можно себе представить чувства рядовых членов партии, когда они слышали хвастливые заявления чекистов, что, «если захотят», они могут арестовать и Совнарком, и «самого Ленина», потому что не подчиняются никому, кроме «чрезвычайки»[99].

Первым из большевиков, кто выразил эти опасения широких партийных слоев, был член редколлегии «Правды» М.С.Ольминский. В начале октября 1918 года он обвинил ЧК в том, что она ставит себя выше партии и Советов[100]. Работники наркомата внутренних дел, в обязанности которых входил надзор за деятельностью администрации на местах, выражали недовольство, что областные и уездные ЧК игнорируют местные Советы. В

октябре 1918 года комиссариат разослал запрос в областные и уездные Советы, пытаясь выяснить их точку зрения на взаимоотношения с ЧК. Из 147 Советов, откликнувшихся на этот запрос, только 20 считали, что местные ЧК должны действовать независимо. Остальные 127 (то есть 85 %) были убеждены, что ЧК должны находиться под их контролем[101]. Не меньше был обеспокоен и наркомат юстиции, ибо стало очевидным, что правосудие и вынесение приговоров по политическим обвинениям осуществляется помимо него. Возглавлявший его Крыленко, страстный сторонник террора, считал, что казнить надо даже невиновных (впоследствии он был одним из главных обвинителей на сталинских показательных процессах). Конечно же, он хотел, чтобы его комиссариат тоже принимал участие в массовых убийствах. В декабре 1918 года он представил в Центральный Комитет партии проект, предусматривающий ограничение полномочий ЧК ее первоначальными функциями, то есть ведением следствия, и передачу всех полномочий по вынесению и исполнению приговоров наркомюсту[102]. В то время в ЦК положили это предложение под сукно.

Критика ЧК продолжалась и в начале 1919 года. Широкую негативную реакцию вызвала публикация в «Еженедельнике ЧК», без всякого редакционного комментария, письма, подписанного группой провинциальных большевистских руководителей, выражавших негодование тем, что Брюс Локкарт, обвиненный властями в соучастии в покушении на Ленина, был отпущен на свободу, а не подвергнут «самым утонченным пыткам»[103]. В феврале 1919 года вновь полез в драку Ольминский, остававшийся одним из немногих крупных большевиков, которые вслух

выражали протест против расправ над невиновными людьми. Он писал: «Можно придерживаться различных мнений о красном терроре. Но то, что происходит теперь в губерниях, это совсем не красный террор, а преступление — от начала и до конца»[104]. В Москве поговаривали, что лозунг ЧК — «Лучше казнить десять невиновных людей, чем пощадить одного виновного»[105].

ЧК защищалась. Эта задача легла на плечи двух латышей, заместителей Дзержинского, так как сам Дзержинский в начала октября взял отпуск и на месяц уехал в Швейцарию. Прошло всего шесть недель с тех пор, как он был восстановлен в должности. Все это время он руководил «ленинскими днями» красного террора, но вдруг с ним что-то произошло. Он сбрил бороду и тихо покинул Москву. Проехав через Германию, он встретился в Швейцарии со своей семьей, которая жила в советской миссии в Берне. Есть фотография, где он позирует в элегантном штатском костюме, с семьей, на берегу озера Лугано в октябре 1918 года, в самый разгар красного террора[106]. Этот очевидный срыв, неспособность вынести резню, вероятно, лучшее, что мы знаем об этом мастере террора: более он уже никогда не выкажет такой недостойной большевика слабости.

В ответ на критику чекисты защищали свою организацию, но также и шли в наступление. Они называли критиков «кабинетными» политиками, утверждали, что они не имеют практического опыта борьбы с контрреволюцией и потому не в состоянии понять необходимости предоставления ЧК неограниченной свободы действий. Петерс заявил, что за античекистской кампанией стоят «вредные» элементы, «враждебные пролетариату и революции», намекая этим,

что критика ЧК может обернуться кое для кого обвинением в измене[107]. Тем же, кто говорил, что, действуя независимо от Советов, ЧК нарушает советскую конституцию, ответ был дан в редакционной статье «Еженедельника ЧК»: конституция «может осуществляться в жизни лишь после того, как буржуазия и контрреволюция будут окончательно раздавлены». [Правда. 1918. 23 окт. № 229. С. 1. Интересные материалы о спорах, которые велись в этот период вокруг ЧК, хранятся в Архиве Мельгунова (Hoover Institution. Box Z. Folder 6). См. также: Segget. Cheka. P. 121–157.].

Но апологеты ЧК не ограничивались защитой своей организации. Они объявляли ее незаменимым средством обеспечения победы «диктатуры пролетариата». Развивая ленинскую идею, что «классовая борьба» — это конфликт, который не имеет границ, они изображались себя как естественное дополнение Красной Армии. Единственное различие между ними заключалось, по их мнению, в том, что Красная Армия сражалась с классовым врагом за границами советского государства, а ЧК и ее вооруженные формирования противостояли ему на «внутреннем фронте». Представление о гражданской войне как о войне на два фронта стало одной из излюбленных тем ЧК и тех, кто ее поддерживал. Бойцов Красной Армии и сотрудников ЧК стали называть братьями по оружию, которые, каждый по-своему, ведут бой с «международной буржуазией»[108]. Эта параллель позволяла ЧК утверждать, что ее право на убийство в пределах советской территории аналогично праву, даже обязанности военных убивать на фронте

вражеских солдат без предупреждения. Война — это не судебное разбирательство: по словам Дзержинского (в передаче Радека), невиновные умирают на внутреннем фронте точно так же, как на поле битвы[109]. Такой вывод неизбежно следовал из посылки, что политика — это война. Лацис довел эту аналогию до логического завершения: «Чрезвычайная комиссия — это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это орган боевой, действующей по внутреннему фронту гражданской войны. Он врага не судит, а разит. Не милует, а испепеляет всякого, кто по ту сторону баррикад»[110]. Аналогия между полицейским террором и военными акциями была построена на игнорировании их принципиального различия, а именно, что солдат ведет бой с другими вооруженными людьми, рискуя собственной жизнью, в то время как сотрудники ЧК убивают беззащитных мужчин и женщин, не рискуя при этом ничем. Пресловутая «смелость» чекистов была не физической и не моральной отвагой, но — готовностью держать в узде свою совесть. Вся «твердость» их заключалась в том, чтобы, самому не страдая, причинять страдания другим. Тем не менее ЧК полюбила эту сомнительную аналогию, рассчитывая с ее помощью дать отпор критике и победить то отвращение, с которым смотрели на нее многие россияне.

Ленин не мог не сказать своего слова в этой дискуссии. Ему нравилась ЧК, и он одобрял чинимые ею жесткости, однако соглашался, что для исправления образа ЧК в общественном мнении надо положить конец некоторым очевидным злоупотреблениям этой организации. Будучи явно напуган призывом применять пытки, прозвучавшим со страниц «Еженедельника ЧК», он приказал закрыть этот орган, хотя и называл его

руководителя, Лациса, выдающимся коммунистом. [7 ноября 1918 г., выступая на «митинге-концерте», организованном ЧК для своих сотрудников, Ленин защищал эту организацию от критиков. Он говорил о «тяжелой деятельности» ЧК, а жалобы на нее пренебрежительно назвал «воплями». В ряду главных качеств ЧК он выделил решительность, быстроту, но прежде всего «верность» (Ленин. Поли. собр. соч. Т. 37. С. 173). В этой связи нелишне напомнить, что основным девизом гитлеровской СС было «Unsere Ehre Heist Treue» («Наша честь называется верность»).]. 6 ноября 1918 года ЧК было велено освободить всех заключенных, против которых не были выдвинуты обвинения, если эти обвинения не удастся предъявить в течение двух недель. Следовало также освободить всех заложников, кроме тех, «задержание которых необходимо». [Декреты. Т. 3. С. 529–530. Это была реакция на требование президиума Московского Совета, поступившее в начале октября, чтобы ЧК разобралась с многочисленными заключенными, которых держала, не предъявляя им обвинений (Северная коммуна. 1918. 18 окт. № 122. С. 3)]. Мера эта подавалась властями как «амнистия», что было совершенно бессмысленно, так как речь шла о людях, которые не только не были судимы и не получили приговора, но которым даже не было предъявлено обвинение. Впрочем, требования эти остались лишь на бумаге: в 1919 году тюрьмы ЧК были по-прежнему переполнены заключенными, арестованными по никому не известным причинам, в том числе — заложниками.

К концу октября 1918 года правительство скрепя сердце ограничило свободу ЧК, обязав ее к более тесному сотрудничеству с другими государственными органами. В московском здании ЧК появились

представители комиссариатов юстиции и внутренних дел, а местным Советам было дано право назначать и снимать с постов руководителей местных ЧК[111]. Однако единственной по-настоящему осмысленной мерой в борьбе со злоупотреблениями стал роспуск 7 января 1919 года уездных ЧК, завоевавших недобрую славу своими чудовищными жестокостями и процветавшим там вымогательством[112].

Но благодушию властей вскоре был положен конец, ибо признаки явного неудовольствия проявились в Московском Комитете партии, который на собрании 23 января 1919 года выразил решительный протест против бесконтрольных действий ЧК. Возникла даже идея ликвидации ЧК, и хотя она была осуждена как «буржуазная», вопрос повис в воздухе[113]. Неделю спустя тот же Московский Комитет партии, самый влиятельный в стране, проголосовал большинством в соотношении 4 голоса к 1 за лишение ЧК полномочий трибунала и ограничение его функций только задачами ведения следствия[114].

Вынужденный реагировать на это растущее недовольство, Центральный Комитет 4 февраля вернулся к рассмотрению проекта, внесенного Крыленко в декабре 1918 года. Дзержинского и Сталина попросили подготовить доклад. Через несколько дней они представили рекомендации, в которых предлагали сохранить за ЧК двойные полномочия — расследование антигосударственной деятельности и подавление вооруженных восстаний, — а право выносить приговоры по политическим обвинениям передать революционным трибунами. Исключение должны были составить лишь регионы, находящиеся на военном положении, то есть

для того времени значительная часть территории страны: здесь ЧК могла действовать как прежде, сохраняя право выносить смертные приговоры по своему усмотрению[115]. Центральный Комитет одобрил эти рекомендации и направил их для утверждения в Центральный исполнительный комитет.

На сессии ЦИК, состоявшейся 17 февраля 1919 года, основной доклад сделал Дзержинский. [Этот доклад был впервые опубликован тридцать девять лет спустя: Исторический архив. 1958. № 1. С. 6–11]. В течение пятнадцати месяцев своего существования, сказал он, советский режим вынужден был вести «безжалостную» борьбу против организованного сопротивления всех контрреволюционных сил. Но теперь, во многом благодаря ЧК, «наши внутренние враги, бывшее офицерство, буржуазия и чиновничество царское, разбиты, распылены». В дальнейшем основная угроза будет исходить от контрреволюционеров, проникших в советский аппарат для осуществления «саботажа» изнутри. Это требует новых методов борьбы. ЧК более не нуждается в продолжении массового террора: отныне она будет передавать дела в революционные трибуналы, которые станут судить и карать преступников.

Это выглядело как начало новой эры. Некоторые современники горячо приветствовали реформу, принятую 17 февраля ЦИК, видя в ней доказательство того, что «пролетариат», сокрушивший врага, не нуждается уже более в терроре[116]. Однако этому событию не суждено было стать русским Термидором, ибо ни тогда, ни впоследствии советская Россия с террором не распрощалась. В 1919, 1920 и в последующие годы ЧК, а затем сменившее ее ГПУ, продолжали не только

арестовывать людей, но и судить, и выносить приговоры, и казнить заключенных и заложников. Как разъяснял Крыленко, это было оправданно: ведь между судом и полицией не было «качественных» различий[117]. Надо сказать, что разъяснение это было вполне логичным, если учесть, что, как мы уже отмечали, и в 1920 году судьи могли выносить приговоры, минуя обычные юридические процедуры, когда вина подсудимых была «очевидна». Но именно так действовала и ЧК. В октябре 1919 года ЧК учредила собственный «Специальный революционный трибунал»[118]. Не надо забывать об этих неудавшихся попытках реформы, — хотя бы потому, что они показали, что некоторые большевики уже в 1918–1919 годы разглядели в действиях тайной полиции угрозу не только для врагов режима, но и для себя — для его друзей.

* * *

К 1920 году советская Россия стала настоящим полицейским государством, в том смысле, что тайная полиция, превратившаяся в государство в государстве, протянула свои щупальца во все советские учреждения, включая те, которые управляли народным хозяйством. В кратчайшее время ЧК трансформировалась из следственного органа, занимавшегося безвредными политическими отщепенцами, в мощное правительство, не только решавшее, кому жить, а кому умереть, но и осуществлявшее день за днем надзор за деятельностью всего государственного аппарата. Трансформация эта была неизбежной. Взявшись самостоятельно управлять

страной, коммунисты вынуждены были обратиться к услугам сотен тысяч профессионалов — «буржуазных специалистов», которые были «классовыми врагами» по определению и потому нуждались в строжайшем надзоре. Это должно было стать обязанностью ЧК, так как ни у кого больше не было аппарата, необходимого для решения такой задачи. Возложив на себя эту ответственность, ЧК получила возможность проникнуть в каждую клеточку советской жизни. В докладе на сессии ЦИК в феврале 1919 года Дзержинский сказал: «Теперь нет нужды расправляться с массовыми сплочениями, с группами; теперь система борьбы и у наших врагов изменилась; теперь они стараются пролезть в наши советские учреждения, чтобы, находясь в наших рядах, саботировать работу, чтобы дождаться того момента, когда внешние наши враги сломят нас, и тогда, овладев органами и аппаратами власти, использовать их против нас <…> Эта борьба, если хотите, уже единичная, эта борьба более тонкая, и тут надо разыскивать, тут нельзя в одном место бить. Мы знаем, что почти во всех наших учреждениях имеются наши враги, но мы не можем разбить наши учреждения, мы должны найти нити и поймать их. И в этом смысле метод борьбы должен быть сейчас совершенно иной»[119]. Под этим предлогом ЧК проникла во все советские организации. И поскольку она сохранила безраздельную власть над человеческими жизнями, административный надзор стал просто новой формой террора, от которого не мог укрыться ни один советский служащий, будь то коммунист или беспартийный. Поэтому было вполне естественно, что в марте 1919 года Дзержинский, продолжая руководить ЧК, был назначен также наркомом внутренних дел.

В середине 1919 года, в соответствии с новыми функциями ЧК, представители этой организации потребовали, чтобы им было предоставлено право осуществлять предварительный арест любых граждан и инспектировать любые учреждения. Что это означало на практике, можно заключить из мандатов, выданных членам коллегии ЧК, которые позволяли: 1) задерживать любого гражданина, виновного или подозреваемого в контрреволюционной деятельности, спекуляции или других преступлениях, и доставлять его в ЧК. 2) свободно входить в любые государственные или общественные учреждения, промышленные или коммерческие организации, школы, больницы, жилые квартиры, театры, а также в конторские помещения железнодорожных станций и пристаней[120].

Постепенно ЧК присвоила себе роль надзирателя и управляющего в самых различных областях человеческой деятельности, которые обычно не считаются связанными с вопросами государственной безопасности. Во второй половине 1918 года для ведения борьбы со «спекуляцией» — то есть частной торговлей — ЧК установила контроль над железнодорожным, водным, автомобильным и другими видами транспорта. Чтобы сделать этот контроль более действенным, в апреле 1921 года Дзержинский был назначен наркомом путей сообщения[121]. ЧК осуществляла организацию и надзор во всех областях, где применялся принудительный труд, и была наделена самыми широкими полномочиями в отношении тех, кто уклонялся от трудовой повинности или исполнял ее неудовлетворительно. В этих случаях расстрел был обычным делом. Какие методы использовала ЧК для повышения эффективности хозяйственной деятельности, можно понять из

свидетельства специалиста по лесозаготовкам, меньшевика на советской службе, в присутствии которого Ленин и Дзержинский решали однажды, как повысить производство древесины:

«В то время был обнародован советский декрет, который обязывал каждого крестьянина, жившего возле государственного леса, заготовить и вывезти дюжину стволов древесины. Но встал вопрос, что делать с лесничими — чего от них требовать. В глазах советских чиновников эти лесничие были плоть от плоти той саботирующей интеллигенции, с которой правительство собиралась быстро покончить.

На заседании совета труда и обороны, где обсуждалась эта проблема, присутствовал, среди прочих наркомов, Дзержинский… Послушав немного, он сказал: «В интересах справедливости и равенства считаю необходимым: сделать лесничих ответственными за выполнение каждым крестьянином своей нормы; кроме того, каждый лесничий сам должен выполнить ту же норму — поставить дюжину стволов древесины».

Несколько человек стали возражать, говоря, что все-таки лесничие это интеллектуалы, не привыкшие к тяжелому ручному труду. Дзержинский ответил, что давно пора ликвидировать извечное неравенство между крестьянством и лесничими.

«Более того, — сказал в заключение глава ЧК, — если крестьяне не доставят своей нормы древесины, мы расстреляем лесников, которые за них отвечают. Когда десяток-другой из них будут расстреляны, остальные честно выполнят свою работу».

Ни для кого не составляло секрета, что большинство этих лесничих были настроены против коммунистов. Тем

не менее присутствующие в замешательстве умолкли. Внезапно я услыхал резкий голос: «Кто против такого предложения?»

Это был Ленин, неподражаемо положивший таким образом конец дискуссии. Естественно, никто не отважился голосовать против Ленина и Дзержинского. Как бы размышляя вслух, Ленин предложил, чтобы пункт о расстреле лесничих, получивший уже одобрение, был изъят из официального протокола. Это тоже было сделано, как он захотел.

Во время этого заседания я чувствовал себя отвратительно. Я знал, конечно, что уже более года в России идут повальные казни. Но здесь я сам стал свидетелем того, как в результате пятиминутного обмена мнениями были обречены на смерть многие ни в чем не повинные люди. Меня душил кашель, но это был не просто кашель, сопровождавший одну из моих обычных зимних простуд.

Мне было совершенно ясно, что когда через неделю или две казнят этих лесников, их смерть не подвинет дело ни на йоту. И я знал, что это страшное решение было продиктовано чувством мстительной ненависти, терзавшей тех, кто призывал к таким бессмысленным мерам»[122].

Наверное, было еще немало таких же решений, не оставивших следа в официальных документах.

ЧК неуклонно наращивала свою военную машину. Летом 1918 года ее боевые отряды были объединены в организацию, независимую от Красной Армии, — Корпус войск ВЧК[123]. Эти силы безопасности, устроенные по образцу царского жандармского корпуса, выросли вскоре

в настоящую армию, предназначенную для боев на «внутреннем фронте». В мае 1919 года, по инициативе Дзержинского, выступавшего в своей новой ипостаси наркомвнудела, правительство преобразовало эти формирования в войска внутренней охраны республики, которые подчинялись не комиссариату обороны, а комиссариату внутренних дел[124]. В тот момент эта внутренняя армия насчитывала 120–125 тыс. человек. К середине 1920 года численность этих войск удвоилась и составляла уже почти четверть миллиона человек. Этими силами осуществлялась охрана промышленных предприятий, транспортных магистралей, они помогали комиссариату продовольствия добывать сельскохозяйственную продукцию, охраняли трудовые и концентрационные лагеря[125].

Наконец, стараниями ЧК в вооруженных силах был создан Особый отдел, занимавшийся контрразведкой.

Благодаря всем этим функциям и возможностям к 1920 году ЧК стала самым влиятельным государственным учреждением советской России. Так еще под руководством и по инициативе Ленина были заложены основы полицейского государства.

* * *

К числу важнейших обязанностей ЧК относилась организация «концентрационных лагерей». Большевики не были изобретателями этих учреждений, но они вдохнули в них новый и в высшей степени пагубный смысл. В своей развитой форме концентрационные

лагеря стали, наряду с однопартийным государством и всемогущей тайной полицией, выдающимся вкладом большевизма в политическую практику XX века.

Термин «концентрационный лагерь» возник в конце XIX века в ходе колониальных войн. [История этих учреждений лучше всего изложена в «Konzentrationslager» Каминского. Но в целом историки уделяли этому вопросу поразительно мало внимания.]. Первыми такие лагеря организовали испанцы во время подавления кубинского восстания. По имеющимся оценкам, в них находилось около 400 тыс. человек. Примеру испанцев последовали Соединенные Штаты во время восстания 1898 года на Филиппинах, затем — британцы в период англо-бурской войны. Однако кроме названия эти первые опыты имели мало общего с концентрационными лагерями, которые организовали в 1919 году большевики, а затем воспроизвели нацисты и другие тоталитарные режимы. Испанские, американские и английские концентрационные лагеря создавались в чрезвычайных обстоятельствах колониальных восстаний и преследовали не карательные, а военные цели: они были предназначены для изоляции партизан-повстанцев от гражданского населения. Судя по всему, в этих первых лагерях условия были довольно суровыми (считается, что среди буров, интернированных англичанами, погибли 20 тыс. человек). Однако плохие условия не были здесь результатом умысла: страдания и смерть заключенных происходили вследствие поспешности, с которой создавались эти лагеря, и соответствующих недоработок в обеспечении их жильем, продовольствием и медицинской помощью. Заключенные не должны были заниматься в них принудительным трудом. И во всех трех

случаях эти лагеря по окончании военных действий были демонтированы, а их обитатели отпущены на свободу.

Советские концентрационные лагеря и лагеря принудительных работ по своей организации, функционированию и целям были с самого начала совершенно иными.

Во-первых, они были постоянными. Созданные во время гражданской войны, они не исчезли с ее окончанием в 1920 году, а оставались под различными наименованиями, чтобы разрастись в невероятных масштабах в 1930-е годы, когда советская Россия ни с кем не воевала, а, как считалось, мирно «строила социализм».

Во-вторых, заключенными в этих лагерях были не иностранцы, подозреваемые в помощи повстанцам, но русские и другие советские граждане, подозреваемые в политическом инакомыслии. Главной целью этих учреждений было не подавление вооруженного сопротивления колонизированных народов, а подавление политической оппозиции в своей собственной стране.

И, в-третьих, советские концентрационные лагеря играли важную роль в экономике страны. Заключенные были обязаны выполнять указанные им работы, то есть их не только изолировали от общества, но и эксплуатировали как рабов.

Речь о концентрационных лагерях впервые зашла в советской России весной 1918 года в связи с Чехословацким восстанием и призывом в Красную Армию бывших офицеров царской службы. [Наиболее полный обзор деятельности советских концентрационных лагерей

см. в кн.: Геллер М. Концентрационный мир и советская литература. Лондон, 1974.]. В конце мая Троцкий, угрожал заключением в концентрационный лагерь тем чехам, которые откажутся сложить оружие. [Троцкий Л.Д. Как вооружалась революция. Т. 1. М., 1923. С. 214, 216. Геллер утверждает, что это наиболее раннее упоминание о концлагерях в советских источниках (Концентрационный мир. С. 73).]. 8 августа, с целью обезопасить железную дорогу от Москвы до Казани, он приказал построить вдоль нее несколько концентрационных лагерей, чтобы собрать из окрестных населенных пунктов и посадить туда «вражеских агитаторов, контрреволюционных офицеров, саботажников, паразитов и спекулянтов», которые не были расстреляны «на месте» или наказаны каким-нибудь другим способом[126]. Таким образом, концентрационные лагеря были задуманы как место содержания граждан, которым не удалось предъявить конкретных обвинений и которых, с другой стороны, власти по тем или иным причинам предпочитали не расстреливать. Именно в этом смысле употреблял данный термин Ленин, когда телеграфировал 9 августа в Пензу приказ провести против кулаков «беспощадный массовый террор» (то есть казни), а «сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». [Ленин. ПСС. Т. 50. С. 143–144. Заместитель председателя ЧК Петере заявлял, что всякий, кто будет схвачен с оружием в руках, будет немедленно расстрелян, а те, кто агитирует против советской власти, будут помешены в концентрационные лагеря (Известия. 1918. 1 сент. № 188 (452). С. 3)]. Эти угрозы получили законодательное и административное обоснование в «Постановлении о красном терроре», принятом 5 сентября 1918 года,

предписывавшем «обеспечить советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях».

Но, судя по всему, в 1918 году концентрационных лагерей было построено еще очень мало, да и те возникли по инициативе местных ЧК или военного командования. По-настоящему строительство лагерей развернулось лишь весной 1919 года по инициативе Дзержинского. Ленин старался, чтобы его имя не было связано с созданием этих учреждений, и поэтому все декреты об их создании, структуре и деятельности исходили не от Совнаркома, а от Центрального исполнительного комитета и были подписаны Свердловым. Декреты эти проводили в жизнь рекомендации, высказанные 17 февраля 1919 года Дзержинским в связи с реорганизацией ЧК. Дзержинский утверждал, что существующие юридические процедуры не позволяют эффективно бороться с антиправительственной агитацией: «Кроме приговоров по суду, необходимо оставить административные приговоры, а именно концентрационный лагерь. Уже и сейчас далеко не используется труд арестованных на общественных работах, и вот я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного понуждения, или, если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна быть применена мера такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и т. д. Этой мерой мы сможем подтянуть даже наших собственных работников»[127]. Дзержинский, Каменев и Сталин

(соавторы соответствующего декрета) исходили из концепции концентрационных лагерей как учреждений, соединяющих в себе функции «школы труда» и накопителя рабочей силы. По рекомендации разработчиков ЦИК принял следующую резолюцию: «Всероссийской чрезвычайной комиссии предоставляется право заключения в концентрационный лагерь, причем Всероссийская чрезвычайная комиссия руководствуется точным положением о порядке заключения в концентрационный лагерь (инструкция), которая утверждается Всероссийским центральным исполнительным комитетом»[128]. По неясным причинам, начиная с 1922 года вместо термина «концентрационные лагеря» стали употреблять термин «лагеря принудительных работ».

11 апреля 1919 года ЦИК принял «Решение», касавшееся организации такого рода лагерей. Оно предусматривало создание сети лагерей принудительных работ, подведомственной комиссариату внутренних дел, который в то время уже возглавлял Дзержинский: «Заключению в лагерях принудительных работ подлежат те лица и категории лиц, относительно которых состоялись постановления отделов управления, чрезвычайных комиссий, революционных трибуналов, народных судов и других советских органов, коим предоставлено это право декретами и распоряжениями»[129].

В этом декрете, ставшем важной вехой в развитии советских концентрационных лагерей, есть несколько положений, которые нуждаются в пояснении. Концентрационные лагеря в том виде, в каком они были созданы в 1919 году, стали местом заключения

нежелательных элементов всех сортов, осужденных судами или административными органами. Заключению в них подлежали не только отдельные индивиды, но и «категории лиц», то есть целые классы. Дзержинский в какой-то момент предлагал даже создать специальные лагеря для «буржуазии». Обитатели этих лагерей, живущие в условиях принудительной изоляции, составляли резерв рабочей силы, по сути своей рабской, которую советские административные и хозяйственные учреждения могли использовать совершенно бесплатно. Сеть лагерей была подчинена наркомату внутренних дел через посредство Центрального управления лагерей, преобразованного затем в Главное управление лагерей, известное более как ГУЛаг. Во всем этом можно усмотреть черты уже почти созревшей сталинской лагерной империи, которая ничем по существу не отличалась от ленинской, кроме своих масштабов.

Решение ЦИК о создании концентрационных лагерей потребовало разработки более детальных инструкций, которые бы направляли их деятельность. Поэтому 12 мая 1919 года был издан новый декрет[130], разъяснявший казенным языком в мельчайших подробностях устройство лагерей, процедуры их организации, обязанности и мнимые права заключенных. Этим декретом предписывалось создание в губернских центрах лагерей принудительных работ, рассчитанных на 300 и более заключенных. Поскольку в советской России в то время было примерно 39 губерний (число их менялось, следуя превратностям гражданской войны), речь, следовательно, шла о том, чтобы подготовить места за колючей проволокой минимум для 11 400 человек. На самом деле цифра эта должна быть гораздо больше, так как декрет разрешал строить лагеря также и в уездных

центрах, а они исчислялись уже сотнями. Обязанности по организации лагерей возлагались на ЧК, которая должна была затем передавать уже готовый и действующий лагерь в ведение местного Совета. Эта была далеко не единственная в советском законодательстве попытка создать видимость суверенитета Советов. В действительности независимость Советов была, конечно, мифической, ибо тем же декретом «общее руководство» лагерями было возложено на специально созданный для этой цели отдел принудительных работ наркомата внутренних дел, возглавляемого, как мы уже отмечали, тем же человеком, который руководил ЧК.

Делая ставку на принудительный труд, правительство опиралось на давнюю российскую традицию: «Ни в одной стране использование принудительного труда в хозяйственной деятельности самого государства не играло такой важной роли, как в истории России»[131]. Большевики возродили эту практику. С момента создания в 1918–1919 годы первых советских концентрационных лагерей и во все периоды их последующего существования заключенные были обязаны выполнять физическую работу либо на территории самого лагеря, либо за его пределами. «Все заключенные, — говорилось в инструкции, — должны быть назначаемы на работы немедленно по поступлении в лагерь и заниматься физическим трудом в течение всего времени их пребывания там». Чтобы стимулировать лагерную администрацию выжимать все силы из заключенных, а также для экономии государственных средств все лагеря функционировали по принципу полной самоокупаемости: «Содержание лагеря и администрации при полном составе заключенных должно окупаться трудом заключенных. Ответственность за

дефицит возлагается на администрацию и заключенных в порядке, предусматриваемом особой инструкцией». [Поэтому неправильно утверждать, как это делают некоторые специалисты, что первые советские концлагеря создавались исключительно для устрашения населения и приобрели экономическое значение лишь в 1927 году при Сталине. В действительности принцип самоокупаемости и даже доходности для государства труда восходит еще к временам царизма. Так, в 1886 г. министерство внутренних дел разработало специальные инструкции, нацеленные на обеспечение доходности принудительного груда — включая труд заключенных (см.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М, 2004. С. 429)].

За попытку бегства из лагеря полагались суровые наказания. За первую попытку заключенному, возвращенному в лагерь, могли увеличить срок в десять раз. За вторую — его передавали в революционный трибунал, который мог вынести смертный приговор. Кроме того, пытаясь бороться с побегами, власти наделили лагерную администрацию правом вводить «круговую поруку», при которой убегавший из лагеря ставил под удар своих товарищей-заключенных. Теоретически заключенные могли жаловаться на злоупотребления администрации. Для записи таких жалоб в лагерях существовали специальные книги.

Таковы обстоятельства рождения современных концентрационных лагерей — зон, попадая в которые, человек теряет всякие права и превращается в раба государства. Может возникнуть вопрос, чем в сущности отличалось положение обитателей концентрационного

лагеря от положения обычных советских граждан. В самом деле, в советской России ни для кого не существовало прав человека, никто не мог искать прибежища в правозаконности, и всякому можно было приказать, основываясь на декретах о принудительном труде, работать там, где это нужно государству. Граница, отделяющая свободу от заключения, была в то время в советской России действительно весьма размытой. Так, в мае 1919 года Ленин издал декрет о мобилизации трудовых ресурсов для строительства военных укреплений на Южном фронте[132]. В нем было указано, что на эти работы следует направлять «по преимуществу пленных, а также граждан, задержанных для помещения в концентрационные лагери и присужденных к принудительным работам». Однако, если этого будет недостаточно, в декрете предлагалось также привлекать «к трудовой повинности местное население». В данном случае заключенные отличались от «свободных» граждан лишь тем, что их принуждали к труду в первую очередь. Тем не менее между двумя этими категориями людей различия были. Люди, которые находились вне лагерей, жили обычно вместе с семьями и могли восполнять недостатки своего рациона, покупая продукты на свободном рынке. Обитателей лагерей родственники посещали лишь время от времени, и им было запрещено передавать заключенным продукты. Обычные граждане не жили изо дня в день под строгим надзором коменданта и его помощников (как правило, членов партии), которые несли ответственность за то, чтобы труд их подопечных обеспечивал их собственные зарплаты и покрывал расходы на содержание лагеря. И они реже подвергались наказанию за действия других,

чем в условиях лагерной «круговой поруки», где это происходило сплошь и рядом.

В конце 1920 года в советской России было 84 концентрационных лагеря, в которых находились приблизительно 50 тысяч заключенных. В течение трех лет, к октябрю 1923 года, число лагерей возросло до 315, а число заключенных в них — до 70 000[133].

Сегодня мы располагаем лишь отрывочными сведениями об условиях жизни в первых советских концентрационных лагерях. Очень немногие исследователи интересовались этим вопросом[134]. Случайные свидетельства, содержащиеся в письмах, тайно переданных заключенными на волю, и воспоминания тех из них, кто пережил лагеря, складываются в картину, которая вплоть до мельчайших подробностей напоминает описания нацистских лагерей. Сходство это так разительно, что, не будь некоторые из этих источников опубликованы двумя десятилетиями ранее, в них можно было бы заподозрить позднейшие подделки. В 1922 году эмигранты-эсеры опубликовали в Германии под редакцией В.М.Чернова сборник, в который вошли свидетельства людей, прошедших советские тюрьмы и лагеря. В частности, там есть описание жизни в концентрационном лагере в Холмогорах, датированное началом 1921 года. Автор этого описания, женщина, осталась неизвестной. В лагере было четыре зоны, где содержались в общей сложности 1200 заключенных. Жили они в бывшем монастыре, в относительно удобных и хорошо отапливаемых помещениях. Тем не менее автор говорит о нем как о «лагере смерти». Голод был хроническим. Посылки с продовольствием, в том числе от американских благотворительных организаций,

немедленно конфисковывались. Комендант, носивший латышскую фамилию, расстреливал заключенных за самые пустяковые провинности: если, например, во время сельскохозяйственных работ кто-то осмеливался съесть какой-нибудь овощ, его убивали на месте и сообщали, что он пытался бежать. Побег заключенного автоматически приводил к расстрелу девяти других, связанных с ним «круговой порукой», — это было предусмотрено законом. Когда беглеца ловили, его тоже убивали, часто — закапывая живым в землю. Администрация знала заключенных только по номерам: жизнь и смерть любого из них не имели никакого значения[135].

Вот как возникли учреждения, составившиеся фундамент тоталитаризма: «Изобретателями и создателями концентрационных лагерей нового типа были Ленин и Троцкий. Это означает не только, что они создали заведения, называвшиеся «концлагерями»... Вожди советского коммунизма разработали также особый метод юридического мышления, особую систему понятий, уже заключавшую в себе гигантскую сеть концентрационных лагерей, которую Сталин просто организовал технически и развил. В сравнении с концлагерями Ленина и Троцкого сталинские лагеря были не более, чем гигантской формой внедрения. И, конечно, нацисты взяли и первые, и вторые как готовый образец, и им осталось его только усовершенствовать. Соответствующие люди в Германии быстро ухватились за эту модель. 13 марта 1921 г. мало кому тогда известный Адольф Гитлер писал в «Volkischer Beobachter»: «При необходимости можно пресечь развращающее влияние евреев на наш народ, заключив проводников этого влияния в концентрационные лагеря». 8 декабря того же

года, выступая перед членами Национального клуба в Берлине, Гитлер заявил о своем намерении, придя к власти, создать концентрационные лагеря»[136].

Рассматривая многочисленные аспекты красного террора, историк в первую очередь обязан поставить перед собой вопрос о его жертвах. Число их установить пока не удалось и, по-видимому, никогда не удастся, ибо есть сведения, что Ленин приказал уничтожить архивы ЧК[137]. По полуофициальным данным, которые приводит Лацис, в период с 1918 по 1920 год в советской России было казнено 12 733 человека. Однако это число уже подвергалось критике как чрезвычайно заниженное, поскольку, по признанию самого Лациса, в двадцати губерниях центральной России в один только 1918 год было осуществлено 6300 казней, из них 4520 — за контрреволюционную деятельность[138]. Кроме того, данные Лациса не согласуются с известной статистикой по некоторым крупным городам. Например, Уильям Генри Чемберлен видел в Праге, в Русском архиве, отчет украинской ЧК за 1920 год — то есть относящийся к периоду, когда смертная казнь была формально отменена, — где речь шла о 3879 казнях, из них 1418 в Одессе и 538 в Киеве[139]. Расследование зверств большевиков в Царицыне показало, что там было от 3000 до 5000 жертв[140]. По данным, опубликованным в «Известиях», между 22 мая и 22 июня 1920 года только революционные трибуналы (то есть без учета жертв ЧК) приговорили к смерти 600 граждан, в том числе 35 за «контрреволюцию», 6 за шпионаж и 33 за неисполнение долга. [Известия. 1920. 16 июля. № 155 (1002). С. 2. Больше всего людей (273 человека) было расстреляно за дезертирство и членовредительство с целью избежать призыва в армию.]. Сопоставляя все эти цифры,

Чемберлен приходит к выводу, что красный террор унес 50 000 жизней, а Леггет говорит о 140 000 жертв[141]. С уверенностью можно сказать только одно: если жертвы якобинского террора исчислялись тысячами, то жертвы ленинского террора — десятками, если не сотнями тысяч. На следующей волне террора, организованного Сталиным и Гитлером, погибнут уже миллионы.

Для чего была эта бойня?

Дзержинский с гордостью заявлял (и его поддерживал Ленин), что террор и главное его орудие, ЧК, спасли революцию. Это действительно было так, если отождествлять революцию с диктатурой большевиков. Есть убедительные данные, свидетельствующие о том, что к лету 1918 года, когда большевики объявили свой террор, их не поддерживал уже ни один слой в обществе, кроме их собственного аппарата. В такой ситуации «беспощадный террор» и в самом деле был единственным средством сохранения режима.

Террор этот был не только «беспощадным» (впрочем, можно ли представить себе террор «щадящий»?), но и беспорядочным. Если бы противники большевистского режима представляли собой конкретную социальную группу, обозримое меньшинство, можно было бы надеяться удалить их из общества прицельным террором, подобным хирургическому вмешательству. Но в советской России меньшинство составлял сам режим и те, кто его поддерживал. Чтобы удержать власть, диктатура должна была вначале атомизировать общество, а затем подавить в нем всякую волю к действию. Красный террор дал понять населению,

что в условиях режима, который без колебаний казнит невиновных, невиновность не является гарантией выживания. Надеяться выжить здесь можно только став совершенно незаметным, то есть отрекшись от всякой мысли о независимой общественной деятельности, порвав все связи с общественной жизнью и удалившись в частную жизнь. Когда общество таким образом распадается на человеческие атомы, каждый из которых озабочен только тем, чтобы стать незаметным, чтобы физически выжить, тогда уже не важно, о чем общество думает, ибо вся сфера общественной деятельности безраздельно принадлежит государству. Это — единственный путь, следуя по которому абсолютное меньшинство может подчинить себе миллионы.

Но за сохранение режима пришлось заплатить дорогую цену — как жертвам, так и тем, кто остался у власти. Чтобы устоять вопреки желанию почти всего общества, большевики вынуждены были до неузнаваемости извратить идею собственной власти. Террор, может быть, и спас коммунизм, но изуродовал его дух.

Это опустошающее действие красного террора остро подметил И.З.Штейнберг. В 1920 году, когда он ехал в трамвае по улицам Москвы, его поразило вдруг сходство этого трамвая с общей атмосферой, царившей в стране: «Разве не похожа наша страна на теперешние трамваи, которые влачатся по московским унылым улицам, усталые, скрежещущие, увешанные гроздьями людей? Какая здесь давка и теснота, как трудно дышать, — будто после изнурительной битвы. Какие голодные глаза! Посмотрите, как бесстыдно они крадут друг у друга право ехать сидя, как вся эта человеческая масса, случайно сцепленная между собой, утратила всякие остатки

взаимной симпатии, как каждый видит в другом только соперника!.. Слепая ненависть к кондуктору — это выражение чувств случайной массы к правительству, к государству, к организации. Безразличие и злорадство по отношению к тем, кто толпится у двери, надеясь войти внутрь, — это их отношение к обществу, к солидарности. Если смотреть на них более пристально, можно заметить, что в глубине они чрезвычайно близки друг другу: те же мысли, тот же блеск, выдающий родство, в глазах, глядящих враждебно. Их терзает одна и та же боль. Но теперь, здесь они враги друг другу»[142].

Но террор оставил свой след и на палачах:

«Когда террор поражает классового врага, буржуа, растаптывает его самолюбие и чувство любви, разлучает его с семьей или приковывает к семье, терзает его и делает его малодушным, — кого поражает такой террор? Только ли классовую природу врага, свойственную лишь ему и обреченную вместе с ним исчезнуть? Или, может быть, он одновременно поражает нечто общее, общечеловеческое, а именно — человеческую натуру человека? Чувство страдания и сострадания, жажда духовности и свободы, привязанность к семье и устремление вдаль, — все, что делает людей людьми, — эти вещи, в конце концов, известны и одинаковы для *обеих* сторон. И когда террор подавляет, изгоняет и выставляет на посмешище общечеловеческие чувства в одной группе, то он производит то же самое повсюду, во всех душах… Чувство собственного достоинства, поруганное во вражеском стане, подавленное сострадание к врагу, причиняемая ему боль бьют психологическим рикошетом в стан победителей…

Рабство производит одно и то же действие в душе поработителя и в душе порабощенного»[143].

* * *

Мир слышал глухие отзвуки красного террора, узнавая о нем из газетных сообщений, рассказов людей, побывавших в России, и русских беженцев. У некоторых это вызывало негодование, мало у кого — радость, но в основном реакция была безразличной. Европа предпочитала ни о чем не знать. Она только что оправилась от войны, унесшей миллионы жизней, и не чувствовала в себе сил вновь выслушивать рассказы о массовой гибели людей. Поэтому она с готовностью прислушивалась к тем, кто пытался убедить ее, иногда от чистого сердца, а иногда прибегая к умышленной лжи, что дела в красной России не так уж плохи, что террор закончился и что, во всяком случае, к судьбе ее народов он отношения не имеет. В конце концов это была экзотическая, жестокая Россия — страна Ивана Грозного, «подпольщиков», описанных Достоевским, Распутина.

Заблуждаться было легко. Советская машина дезинформации минимизировала масштабы террора и раздувала истории о вызвавших его мнимых провокациях. Это особенно хорошо удавалось, когда в страну приезжали благожелательно настроенные иностранцы, такие, как богатый американский дилетант Уильям Буллит, проскакавший галопом по России в феврале 1919 года по поручению президента Вильсона. Как он сообщил по возвращении Конгрессу Соединенных

Штатов, слухи о кровавом терроре сильно преувеличены. «Красный террор закончен, — заверил он своих слушателей и объявил, что по всей России ЧК казнила только 5000 человек. — Казни проводятся чрезвычайно редко». [The Bullitt Mission to Russia. N.Y., 1919. P. 58, 60. В то время Буллит был сторонником признания советской России со стороны США. В 1933 г. он стал первым послом Соединенных Штатов в этой стране. Позднее, однако, он превратился в страстного антикоммуниста.]. Линкольн Стеффенс уверял, вернувшись из советской России, что «большевистские лидеры выражают сожаление и стыдятся своего красного террора»[144].

Буллит и Стеффенс, хотя и недооценили террор, но все-таки признали, что он есть. А что сказать о таком «свидетеле», как Пьер Паскаль, молодой француз, бывший офицер, который, живя в России, стал коммунистом, а затем был профессором Сорбонны? Он вообще отрицал террор и смеялся над его жертвами. «Террор закончился, — писал он в феврале 1920 года. — Но, по правде сказать, его никогда и не было. Когда я слышал здесь это слово «террор», которое для француза обозначает вполне определенную вещь, меня разбирал смех, потому что я видел сдержанность, любезность и благонамеренность этой ужасной Чрезвычайной комиссии, уполномоченной его осуществлять»[145].

Еще были люди, находившие утешение в мысли, что если в советской России свирепствует один род террора, то Западная Европа и Америка страдают от террора другого рода, но, по-видимому, не менее страшного. В 1925 году группа, называвшая себя Международным комитетом в защиту политических заключенных,

опубликовала подборку свидетельств узников советских тюрем и лагерей, тайно вывезенных из советской России. Никто не сомневался в подлинности этих документов. Однако когда подготовивший эту публикацию известный журналист И. Дон Левин обратился к ведущим интеллектуалам мира с вопросом, что они думают об этих ужасающих свидетельствах, ответы, которые он услышал, варьировали в диапазоне от сдержанного удивления до ханжества и цинизма. Очень немногие, подобно Альберту Эйнштейну, увидели в этих материалах «трагедию человеческой истории, в которой убивают, чтобы не быть убитыми». Ромен Роллан, автор «Жана Кристофа», отнесся к этим материалам пренебрежительно на том основании, что «почти такие же вещи творились в тюрьмах Калифорнии, где мучили членов Всемирной организации промышленных рабочих». Ему вторил Эптон Синклер, выразивший притворное удивление, что с советскими заключенными обращаются «примерно так же, как с заключенными в штате Калифорния». Бертран Рассел высказался еще лучше: он выразил «искреннюю надежду», что публикация этих документов будет содействовать «развитию дружеских отношений» между советским правительством и правительствами стран Запада, так как их деятельность весьма схожа[146].

ПОСЛЕСЛОВИЕ

К моменту окончания первой мировой войны, то есть в ноябре 1918 года, под властью большевиков находилось уже 27 губерний европейской части России, на территории которых проживало около 70 млн. человек, — это составляло половину населения Российской империи до вступления ее в войну. Приграничные территории — Польша, Финляндия, республики Прибалтики, Украина, Закавказье, Средняя Азия и Сибирь — либо отделились и образовали самостоятельные государства, либо были заняты белыми. Сфера влияния коммунистов распространялась на срединные территории бывшей империи, населенные преимущественно великороссами. Надвигалась гражданская война, в ходе которой Москве предстояло отвоевать силой оружия большую часть ее пограничных владений и сделать попытку закрепиться в Европе, на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Наступала новая фаза революции, фаза экспансии.

Первый год большевистского правления не только запугал народ беспрецедентным массовым непредсказуемым террором, он породил в нем глубокую растерянность. Тот, кто выживал среди террора, должен был полностью переоценить все ценности: то, что раньше почиталось за благо и вознаграждалось, теперь считалось злом и было чревато наказанием. Такие традиционные добродетели, как вера в Бога, милосердие, терпимость, патриотизм, трудолюбие, были объявлены новым режимом проклятым наследием обреченного старого мира. Убийство и грабеж, ложь и клевета

поощрялись, если совершались во имя правого дела, как его понимала новая власть. Все теряло смысл:

«Жил человек где-нибудь за Нарвской заставой, выпивал утром положенный ему самовар, в обед опоражнивал полбутылки водки, читал «Петроградский листок» и, когда раз в год случалось какое-нибудь убийство, — возмущался по крайней мере на неделю. А теперь?

Об убийствах, сударь мой, и писать перестали; сообщают, напротив, о том, что за вчерашний день, мол, всего только тридцать человек укокошили и сотню-другую ограбили… Значит, все обстоит благополучно. А что кругом происходит — лучше и в окно не выглядывать. Сегодня с красными флагами идут, завтра с хоругвями. Сегодня Корнилова убили, завтра он воскрес. Послезавтра Корнилов не Корнилов, а Корнилов Дутов и Дутов Корнилов, и все они вовсе не офицеры и не казаки, и даже не русские, а чехословаки, и откуда эти чехословаки — никто не поймет… Мы ли с ними воюем, они ли с нами воюют, убили Николая Романова, не убили, кто кого убил, кто куда сбежал, почему Волга больше не Волга, а Украина не Россия, почему немцы обещают отдать нам наш Крым, откуда гетман, какой гетман, почему у него шишка под носом?.. Почему мы не в сумасшедшем доме?..»[1]

Общие условия были настолько неестественны, здравый смысл и чувство благопристойности подвергались такому надругательству, что в глазах большинства населения страны новый режим становился чем-то чудовищным и непредсказуемым, бедствием, которому невозможно сопротивляться, которое нужно вытерпеть и переждать, которое исчезнет так же

внезапно, как и возникло. Однако, как показало время, надежды эти оказались тщетными. Ни у русских, ни у народов, оказавшихся под их владычеством, в течение десятилетий не было ни малейшей передышки: для выживших и переживших революцию не было возврата к обычной жизни. Революция знаменовала только начало всех скорбей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Принятые сокращения

АРР — Архив русской революции

БиЕ — Энциклопедический Словарь О-ва «Брокгауз—Ефрон»

БК — Борьба классов

БСЭ — Большая Советская Энциклопедия

ВЕ — Вестник Европы

ВЖ — Вестник жизни

ВИ — Вопросы истории

ВИКПСС — Вопросы истории КПСС

ВО — Вечерние огни

ВС — Власть Советов

ВЧ — Вечерний час

ГМ — Голос минувшего

Гранат — Энциклопедический Словарь. Бр. Гранат

Декреты — Декреты советской власти. М., 1957

ДН — Дело народа

ЖС — Живое слово

ИА — Исторический архив

ИВ — Исторический вестник

ИЗ — Исторические записки

ИМ — Историк-марксист

ИР — Иллюстрированная Россия

ИСССР — История СССР

КА — Красный архив

КЛ — Красная летопись

КН — Красная новь

Ленин. ПСС. — Полное собрание сочинений В.И.Ленина в 55 томах

Ленин. Соч. — В.И.Ленин. Сочинения. В 30 т. 3-е изд. М.; Л., 1927-1933

Ленин. Хроника — В.И.Ленин: Биографическая хроника, 1870–1924. М., 1970-1985

ЛН — Литературное наследство

ЛС — Ленинский сборник

МГ — Минувшие годы

НВ — Наш век

НВР — Новое время

НВЧ — Новый вечерний час

НД — Новый день

НЖ — Новая жизнь

НС — Наше слово

НХ — Народное хозяйство

НЧС — На чужой стороне

ОД — Общественное движение в России в начале XX века / Под ред. Л.Мартова. СПб., 1910-1914

Падение — Падение царского режима / Под ред. П.Е.Щеголева. Л., 1924-1927

ПН — Последние новости

ПР — Пролетарская революция

ПРиП — Пролетарская революция и право

РВ — Русские ведомости

РЗ — Русские записки

Революция — Авдеев Н. и др. Революция 1917 года: Хроника событий. М., 1924

РЛ — Русская летопись

РМ — Русская мысль

РС — Русское слово

СБ — Старый большевик

СВ — Социалистический вестник

СД — Социал-демократ

СЗ — Современные записки

СиМ — Страна и мир

СУиР — Собрание узаконений и распоряжений

ЭВ — Экономический вестник

ЭЖ — Экономическая жизнь

BM — Berliner Monatshefte

Forschungen — Forschungen zur Osteuropaischen Geschichte Jahrbucher — Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas

NZ — Die Neue Zeit

RR — Russian Review

SR — Slavic Review

SS — Soviet Studies

VZ — Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte

Глава первая

[1] Хронологический указатель произведений В.И.Ленина / Ин-т марксизма-ленинизма. М., 1959. Т. 1. С. 1–8.

[2] Воспоминания родных о В.И.Ленине/ Ин-т МЭЛС. М., 1955. С. 85.

[3] Об этом см.: Valentinov N. The Early Years of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1969. P. 111–112.

[4] Ульянова-Елизарова А.И. // Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине/ Ин-т марксизма-ленинизма. М., 1956. С. 13.

[5] Молодая гвардия. 1924. № 1. С. 89.

[6] Ульянова-Елизарова А.И. // Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М.; Л., 1927. С. 97; Алексеев В., Швер А. Семья Ульяновых в Симбирске, 1896–1897. Л., 1925. С. 48–51.

[7] Водовозов В. // НЧС. 1925. Т. 12. С. 175.

[8] Valentinov. The Early Years. C. Ill-138, 189–215 — в основу положены беседы с Лениным.

[9] SR. 1934. Vol. 12. № 36. P. 592–593.

[10] Marx K., Engels F. Werke. Berlin, 1966. Bd. 34. S. 477.

[11] См. об этом: Пайпс Р. Струве: левый либерал. М., 2001. Глава 2.

[12] Pipes R.// Revolutionary Russia/ Ed.by R. Pipes.Cambridge, Mass., 1968. P. 32.

[13] Ульянова-Елизарова // Воспоминания родных. С. 29.

[14] Marx, Engels. Werke. Bd. 22. S. 509–527.

[15] Об этом см. нашу статью: SR. 1964. Vol. 23. № 3. P. 441–458.

[16] Ленин. ПСС. Т. 1. С. 105; ЛС. Т. 33. С. 16.

[17] Ленин. ПСС. Т. 1.С. 312.

[18] Радек К. // Рабочая Москва. 1924. 22 апр. № 92 (656).

[19] Потресов А.Н. Посмертный сборник произведений. Париж, 1937. С. 294; Lockhart R. H. B. Memoirs of a British Agent. Lnd., 1935. P. 237; Balabanoff A. Impressions of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1964. P. 123.

[20] Потресов. Посмертный сборник. С. 301.

[21] Michels R. Political Parties. Glencoe, HI, 1949. P. 227.

[22] Потресов. Посмертный сборник. С. 300.

[23] Троцкий Л. О Ленине. М., 1924. С. 6–7.

[24] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 23.

[25] Троцкий Н. [Л.Д.]. Наши политические задачи. Женева, 1904. С. 96.

[26] Tumarkin N. Lenin Lives! Cambridge, Mass., 1983. P. 77.

[27] Горький М. Владимир Ильич Ленин. Л., 1924. С. 9; НЖ. 1917. 10 нояб. № 177 — приводится в кн.: Maxim Gorky, Untimely Thoughts / Ed. by H.Ermolaev. N.Y., 1968. P. 28.

[28] Водовозов В. // НЧС. Т. 12. С. 176–177.

[29] Горький. Ленин. С. 10; Gorki M. Lenine et le Paysan Russe. Paris, 1924. P. 96.

[30] La Grande Revue. 1923. August. Vol. 27. № 8. P. 206.

[31] Wolfe B.D. Three Who Made a Revolution. N.Y., 1948. P. 219–220.

[32] Потресов. Посмертный сборник. С. 296–297.

[33] SR. 1934. Vol. 12. № 36. P. 593.

[34] Gorki. Lenine et le Paysan Russe. P. 64.

[35] Ibid. P. 83–84.

[36] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 346.

[37] La Grande Revue. 1923. September. Vol. 27. № 9. P. 459.

[38] Gorki. Lenine et le Paysan Russe. P. 16–17.

[39] Marx K. Critique of Hegel's Philosophy of Right / Ed. by J. O'Malley. Cambridge, 1970. P. 133.

[40] Ленин. ПСС. Т. 15. С. 296–297.

[41] Тахтарев Н.К. // Былое. 1924. № 24. С. 22.

[42] Петербургскому периоду жизни Ленина посвящена наша кн.: Social-Democracy and the St. Petersburg Labor Movement. Cambridge, Mass., 1963.

[43] Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.Аксельрода. М., 1925. Т. 1. С. 271.

[44] Ленин. ПСС. Т. 1. С. 279–280; Т. 2. С. 433–470.

[45] Там же. Т. 2. С. 84.

[46] Радек К. // Рабочая Москва. 1924. 22 апр. № 92 (656).

[47] Ленин. ПСС. Т. 2. С. 104 — курсив наш.

[48] Там же. С. 84, 101–102 — курсив наш.

[49] Пайпс Р. Струве: левый либерал. М., 2001. С. 320–327.

[50] Ibid. P. 328.

[51] Ленин. ПСС. Т. 4. С. 193–194.

[52] Там же. С. 373.

[53] Подробности этих споров описаны в нашей книге: Струве: левый либерал. М., 2001. С. 371–384.

[54] Ibid. P. 391.

[55] Ленин. ПСС. Т. 34. С. 40.

[56] Об этом см.: Твардовская В.А. // ИЗ. 1960. № 67. С. 103–144; Волк С.С. Народная воля. М.; Л., 1966. С. 250–277; Venturi F. Roots of Revolution. N.Y., 1960. P. 650–653.

[57] Волк. Народная воля. С. 254–255.

[58] Ленин. ПСС. Т. 8. С. 384–385.

[59] Волк. Народная воля. С. 203–212.

[60] Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. Lnd., 1960. P. 49.

[61] Ibid. P. 58–59.

[62] Ibid. P. 61.

[63] Троцкий. Наши политические задачи. С. 93.

[64] Ленин. ПСС. Т. 8. С. 370.

[65] Письмо Карлу Каутскому (июнь 1904 г.) приводится в кн.: Ascher A. Pavel Axelrod and the Development of Menshevism. Cambridge, Mass., 1972. P. 211.

[66] Мартов Л. Спасители или упразднители? Париж, 1911. С. 3.

[67] Zeman Z.A.B., Scarlau W.B. The Merchant of Revolution: The Life of Alexander Israel Helphand (Parvus). Lnd., 1965. P. 76.

[68] ЛС. 1926. Т. 5. С 456–459.

[69] Об этом см.: Anweiler O. The Soviets. N.Y., 1974. P. 76–86.

[70] Менделеев Н. // НЖ. 1905. 2 нояб. № 6. С. 5.

[71] Anweiler O. The Soviets. P. 84–85.

[72] Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 120.

[73] Schapiro. The Communist Party. P. 86, 105.

[74] Сведения почерпнуты главным образом из кн.: Lane D. The Roots of Communism. Assen, Holland, 1969.

[75] Schapiro. The Communist Party. P. 101.

[76] Lane. The Roots. P. 21.

[77] Ibid. P. 44–45.

[78] Ibid. P. 210.

[79] О ранних проявлениях такой позиции см. Pipes R. Social-Democracy and the St. Petersburg Labor Movement.

[80] М[арт]овЛ.//ОД.Т.3.Кн.5.С. 572.

[81] Anweiler O. The Soviets. P. 278.

[82] М[арт]ов Л. // ОД. Т. 3. Кн. 5. С. 570.

[83] Там же. С. 571.

[84] Schapiro. The Communist Party. P. 76.

[85] См. с. 401, 402 нашего издания.

[86] Крупская. Воспоминания о Ленине. Т. 1. С. 107–109.

[87] Keep L.H. The Rise of Social Democracy in Russia. Oxford, 1963. P. 194–195.

[88] Ленин. ПСС. Т. 17. С. 31–33.

[89] Pipes R. Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923. Cambridge, Mass., 1954. P. 31–33.

[90] Ленин. ПСС.Т.2.С.452.

[91] Pipes. Formation. P. 35–49.

[92] Wolfe. Three. P. 261; Schapiro. The Communist Party. P. 88.

[93] Keep. Social Democracy. P. 181–182, 205.

[94] Леонид Борисович Красин («Никитич»): Годы подполья / Под ред. М.Н.Лядова [М.Н.Мандельштама] и С.М.Познера. М.; Л., 1928. С. 142.

[95] Мартов. Спасители или упразднители? С. 22–23. Бибинеишвили Б. Камо. М., 1934. С. 142–143.

[96] Shub D. Lenin. Garden City; N.Y., 1948. P. 101–102; Письма Аксельро-да и Мартова. Берлин, 1924. С. 184.

[97] Мартов. Спасители или упразднители?

[98] Там же. С. 18.

[99] О нем см.: Красин / Под ред. Лядова, Познера; Glenny M. // SS. 1970. № 22. P. 192–221.

[100] Красин / Под ред. Лядова, Познера. С. 236–239.

[101] Shub. Lenin. P. 104–105.

[102] Wolfe. Three. P. 379; Aleksinskii T.//La Grande Revue. 1923. Sept. Vol. 27. № 9. P. 456–457.

[103] Об этом см.: Шестернин С. // СБ. 1933. № 5 (8). С. 155–156; Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. М., 1932. С. 141–142; Geyer D. Kautskys Russisches Dossier. Frankfurt; N.Y., 1981. S. 18–25.

[104] Geyer. Kautskys Russisches Dossier. S. 24.

[105] La Grande Revue. 1923. Sept. Vol. 27. № 9. P. 448.

[106] Падение. Т. 1. С. 315. О нем см.: Elwood R.C. Roman Malinovsky. Newtonville, Mass., 1977.

[107] Ленин. ПСС. Т. 48. С. 133, 140.

[108] Shub. Lenin. P. 117.

[109] Цявловский М.А. Большевики: Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год бывш. Московского Охранного отделения. М., 1918. С. ХШ.

[110] Burtsev V. // Struggling Russia, 1919. Vol. 1. № 9/10. P. 139.

[111] Спиридович А.И. История большевизма в России. Париж, 1922. С. 260.

[112] Burtsev // Struggling Russia. P. 139.

[113] Цявловский. Большевики. С. XIV. См., напр., его речь 7 дек. 1912 г. в кн.: Государственная дума: Стеногр. отчеты: Созыв 4: Сессия 1: Заседание 8. СПб., 1913. С. 313–327.

[114] Падение. Т. 3. С. 281, 286; Спиридович. История большевизма. С. 258; Бурцев // Падение. Т. 1. С. 316. О полицейской инструкции на этот счет см. кн.: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов: Протоколы заседаний Исполнительного комитета и бюро Исполнительного комитета / Под ред. В.Я.Наливайского. М; Л., 1925. С. 312–313.

[115] Спиридович. История большевизма. С. 231.

[116] Об этой организации и ее деятельности см.: Zeman, Scharlau. The Merchant. P. 132–136.

[117] Ereignisse in der Ukraine, 1914–1922 / Ed. by T.Hornykiewicz. Philadelphia, 1966. Vol. 1. P. 183.

[118] Неопубликованные и хранящиеся в ЦПА (ныне РЦХИДНИ) документы, описанные в изд.: Ленин. Хроника. Т. 3. С. 269.

[119] ЛС. 1924.Т. 2. С. 180.

[120] Неопубликованные документы, описанные 8 изд.: Ленин. Хроника. Т.3.С.273.Обэтихсобытияхсм.:Ганецкий//ЛС. 1924.Т.2.С. 173–187; Крупская. Воспоминания. С. 212–216.

[121] Gankin O.G. The Bolsheviks and the World War. Stanford, Calif., 1940. P. 54–55.

[122] Ibid. P. 59.

[123] Ленин. ПСС. Т. 48. С. 155.

[124] Там же. Т. 26. С. 1–7.

[125] Там же. Т. 49. С. 15.

[126] Донесение от января 1915 г. см.: Germany and the Revolution in Russia, 1915–1918/Ed. by Z.A.B.Zeman. Lnd., 1958. P. 1–2.

[127] О встрече Парвуса с Лениным см.: Zeman, Schariau. The Merchant. P. 157–159.

[128] Ibid. P. 158–159.

[129] Germany / Ed. by Zeman. P. 11–13; Шляпников А. Канун семнадцатого года. Изд. 2. М„б. г. Ч. 1. С. 154.

[130] См.: Braunthal J. History of the International. N.Y.; Washington, 1967. P. 47.

[131] Gankin. The Bolsheviks. P. 329–333.

[132] Ibid. P. 333–337, 347–349.

[133] Ibid. P. 422 — курсив в ориг.

[134] Ibid. P. 426–427 — курсив в ориг.

[135] Ibid. P. 461.

[136] О швейцарском периоде жизни Ленина см.: Shub. Lenin. P. 143–153.

[137] Соломон Г.А. Ленин и его семья. Париж, 1931. С. 78.

[138] Wolfe B.D. Strange Communists Whom I Have Known. N.Y., 1965. P. 138–164; Balabanoff A. Impressions of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1964. P. 14.

[139] ШляпниковА Канун семнадцатого года. Изд. 3. М., 11923J.4.2. С. 37–44.

[140] Ленин. ПСС. Т. 30. С. 328.

Глава вторая

[1] Вронский М. // ПР. 1924. № 4 (27). С. 30–39.

[2] Neue Ziircher Zeitung. 1917. 15 Marz. № 458. S. 2; Ленин. ПСС. Т. 49. С. 298–399.

[3] Ленин. ПСС. Т. 49. С. 399.

[4] Там же. Т. 31. С. 491.

[5] Hahlweg W. Lenins Ruckkehr nach Russland, 1917. Leiden, 1957. S. 15–16; Ленин. ПСС. Т. 49. С. 406; Зиновьев Г.Е. Год революции. Л., 1926. Т. 2. С. 503.

[6] Ленин. ПСС. Т. 31. С. 7.

[7] Шляпников А. Семнадцатый год. Изд. 2. М., б. г. Т. 2. С. 99; Бурджалов Е.Р. // ВИ. 1956. № 4. С. 39, сн.

[8] Шляпников А. Канун семнадцатого года. Изд. 3. М, 11923]. Ч. 2. С. 35–42.

[9] Бурджалов // ВМ. 1956. № 4. С. 40; Куделли Н.Ф. Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. М; Л., 1927.

[10] Бурджалов// ВИ. 1956. № 4. С. 41–42; Известия. 1917.6 марта. № 7. С. 6.

[11] Каменев // Правда. 1917. 15 марта. № 9. С. 1; Сталин // Правда. 1917. 16 марта. № 10. С. 2. (Воспроизведено: Сталин И.В. Соч. М., 1946. Т. 3. С. 4–7.)

[12] Шляпников А. Семнадцатый год. М.; Л., 1925. Т. 2. С. 182–186.

[13] Куделли. Первый легальный комитет. С. 50.

[14] Революция. Т. 1. С. 147.

[15] Ленин. ПСС. Т. 31. С. 11–33.

[16] Правда. 1917. 21 марта. № 14. С. 2–3; продолжение см.: Там же. 22 марта. № 15. С. 2; Бурджалов // ВИ. 1956. № 4. С. 49.

[17] Hahlweg. Lenins Ruckkehr. S. 10.

[18] Hoffman M. Der Krieg der versaumten Gelengenheiten. Munich, 1923. S. 174.

[19] Никитин Б. Роковые годы. П., 1937. С. 108.

[20] Zeman Z.A.B., Schariau W.B. The Merchant of Revolution: The Life of Alexander Israel Helphand (Parvus). Lnd., 1965. P. 207–208.

[21] Scheidemann P. Memoiren eines Sozialdemokraten. Dresden, 1930. S. 427–428.

[22] Hahlweg. Lenins Ruckkehr. S. 47. Меморандум датирован 2 апреля (20 марта) 1917 г.

[23] Ibid. S. 49–50. В телеграмме от 3 апреля (21 марта), по-видимому, речь идет о первом «Письме издалека» Ленина, опубликованном в тот день в «Правде». См. также: Ibid. S. 51–54.

[24] Ibid. S. 10.

[25] ЛС.1924.Т.2.С.390;Ленин. ПСС.Т.31.С.498.

[26] Hahlweg. Lenins Ruckkehr. S. 28.

[27] Germany and the Revolution in Russia, 1915–1918 / Ed. by Z.A.Zeman. Lnd., 1958. P. 24; ЛС. 1924. Т. 2. С 390.

[28] Watt R.M. Dare Call It Treason. N. Y., 1963. P. 138.

[29] Platten F. Die Reise Lenins durch Deutschland. Berlin, 1924. S. 56; Известия. 1917. 5 апр. № 32. С. 2; Ленин. Хроника. Т. 4. С. 45–46.

[30] Radek K. Living Age. 1922. 25 Febr. № 4051. P. 451.

[31] Hahlweg. Lenins Ruckkehr. S. 99-100; Gorgen J. //Weltspiel. Berlin. 1987. 12 Apr. № 12632; Ленин. Хроника. Т. 4. С. 45–46.

[32] Zeman, Schariau. The Merchant. P. 217–219.

[33] V.D.Nabokov and the Russian Provisional Government, 1917. New Haven, Conn.; Lnd., 1976. P. 119.

[34] Известия. 1917. 5 апр. № 32. С. 1.

[35] Суханов Н. Записки о революции. Берлин; СПб.; М., 1922. Т. 3. С. 26–27.

[36] Ленин. ПСС. Т. 31. С. 72–78; Ленин. Соч. Т. 20. С. 640.

[37] Правда. 1917.6 апр. № 25. С. 1.

[38] Бурджалов // ВИ. 1956. № 4. С. 51.

[39] Куделли. Первый легальный комитет. С. 88.

[40] Бурджалов // ВИ. 1956. № 4. С. 52.

[41] Germany/Ed. by Zeman. P. 51.

[42] Malaparte C. Coup d'Etat: The Technique of Revolution. N.Y., 1932. P. 220.

[43] Церетели И.Г. Воспоминания о февральской революции. Париж; Гаага, 1963. Т. 2. С. 302.

[44] Письмо Маркса Кугельману от 12 апр. 1871 г. цитируется: Ленин. ПСС. Т. 33. С. 37.

[45] 8 апр. 1917 г. //Ленин. ПСС. Т. 31. С. 91–92.

[46] Ср.: Delbruck H. Geschichte der Kriegskunst. Berlin, 1920. Bd. 4. S. 492–494; Lefebre G. Napoleon. N.Y., 1969. P. 230–231.

[47] Ленин. ПСС. Т. 45. С. 381.

[48] Le Bon G. The Crowd. Lnd., 1952. P. 73.

[49] Canetti E. Crowds and Power. Middlesex, Eng.; N.Y., 1973. P. 24–25.

[50] Лепешинский П. Жизненный путь Ленина. М., 1925. С. 44.

[51] Никитин. Роковые годы. С. 78–79; Katkov G. The Kornilov Affair. Lnd.; N.Y., 1980. P. 54.

[52] Васюков В.С. Внешняя политика Временного правительства. М., 1966. С. 124.

[53] Kerensky A. The Catastrophe. N.Y.; Lnd., 1927. P. 135.

[54] Текст см.: Революция. Т. 2. С. 247–248.

[55] Васюков. Внешняя политика. С. 128.

[56] Заметку о манифестации и заявление Линде см.: НЖ. 1917. 23 апр. № 3.С.1.

[57] Описание его смерти см.: Краснов П.Н. //АРР. 1921. Т. 1. С. 105–112.

[58] Революция. Т. 2. С. 50.

[59] Kerensky. Catastrophe. P. 136.

[60] Бурджалов // ВИ. 1956. № 4. С. 51.

[61] Ленин. Соч. Т. 20. С. 648. Там же (С. 608–609) приводится текст из «Правды» (1917. 21 апр. № 37. С. 1); Ленин. ПСС. Т. 31. С. 291–292.

[62] Куделли. Первый легальный комитет. С. 92–94.

[63] Ленин. ПСС. Т. 31. С. 309–311.

[64] Ленин. Хроника. Т. 4. С. 107.

[65] См.: Голиков Г.Н., Токарев Ю.С. // ИЗ. 1956. № 57. С. 51.

[66] КЛ. 1923. № 7. С. 91. Раскольников Ф.Ф. На боевых постах революционных боев. М., 1964. С. 69.

[67] Ленин. Хроника. Т. 4. С. 106–110.

[68] Милюков П. История второй русской революции. София, 1921. Т. 1. Ч.1. С. 98–99.

[69] Революция. Т. 2. С. 57.

[70] Ленин. ПСС. Т. 31. С. 361.

[71] Там же. Т. 34. С. 216.

[72] Суханов. Записки. Т. 3. С. 299.

[73] Революция. Т. 2. С. 74.

[74] Там же. С. 82.

[75] ПН. 1936. 30 сент. № 5668. С. 2.

[76] Церетели. Воспоминания. Т. 1. С. 135–136.

[77] Революция. Т. 2. С. 95.

[78] Там же. С. 98–99; Т. 3. С. 13–14.

[79] Brinton C. Anatomy of Revolution. N.Y., 1938. P. 163–171.

[80] Ferro M., Elwood R.C, Consideration of the Russian Revolution. Ann Arbor, Mich., 1976. P. 100–132.

[81] Keep J.L.H. The Russian Revolution. N.Y., 1938. P. 163–171.

[82] Резолюцию см.: Октябрьская революция и фабзавкомы. М., 1927. Т. 1.С. 22–24.

[83] Там же. С. 6.

[84] Avrich P. // Jahrbucher. 1963. Bd. 11. № 2. S. 166–168; Революция. Т. 2. С. 231–233.

[85] Малаховский В. // ПР. 1929. № 10 (93). С. 29–31.

[86] Революция. Т. 2. С. 82–84.

[87] Малаховский В. // ПР. 1929. № 10 (93). С. 31.

[88] Революционное движение в России в мае — июне 1917 года: Июньская демонстрация / Под ред. Д.А.Чугаева. М., 1959. С. 488.

[89] Суханов. Записки. Т. 4. С. 289–290.

[90] Шестой съезд РСДРП (большевиков): Протоколы. М., 1958. С. 147–150; ПР. 1923. № 5/7. С. 287–288; Будников В.П. Большевистская партийная печать в 1917 г. Харьков, 1959.

[91] Солдатская правда. 1917. 15 апр. № 1. С. 1.

[92] Germany / Ed. by Zeman. P. 94.

[93] Vorwarts. 1921. 14 January. S. 1.

[94] Kerensky A. The Crucifixion of Liberty. N.Y., 1934. P. 325–326; Никитин. Роковые годы. С. 116–117.

[95] Никитин. Роковые годы. С. 117.

[96] Kerensky. Crucifixion. P. 326.

[97] Никитин. Роковые годы. С. 112–114 (в кн. приводятся и другие примеры). Ср.: Ленин. Соч. Т. 21. С. 570.

[98] Никитин. Роковые годы. С. 107.

[99] Ленин. ПСС. Т. 49. С. 437, 438.

[100] Никитин. Роковые годы. С. 109–110.

[101] Kerensky. Catastrophe. P. 209.

[102] Васюков. Внешняя политика. С. 191.

[103] Wilcox E.H. Russia's Ruin. N.Y., 1919. P. 196.

[104] Ibid. P. 197 (цитируется В.И.Немирович-Данченко).

[105] Kerensky A. Russia and History's Turning Point. N.Y., 1965. P. 277.

[106] Chamberlin W.H. The Russian Revolution. N.Y., 1935. Vol. 1. P. 152.

[107] Революционное движение в России / Под ред. Чугаева. С. 486.

[108] Суханов. Записки. Т. 4. С. 317–318.

[109] Революционное движение в России / Под ред. Чугаева. С. 485–487.

[110] Солдатская правда. 1917. 10 июня. Приводится в кн.: Rabinowitch A. Prelude to Revolution. Bloomington, Ind., 1968. P. 69.

[111] Суханов. Записки. Т. 4. С. 307–310; Церетели. Воспоминания. Т. 2. С. 228.

[112] Правда. 1917. 13 июня. № 80. С. 1. Выделено нами.

[113] Церетели. Воспоминания. Т. 2. С. 52–54.

[114] Cruttwell C.R.M.F. A History of the Great War, 1914–1918. Oxford, 1936. P. 630–632; Россия в мировой войне 1914–1918 годов (в цифрах) / Центральное статистическое управление. Отдел военной статистики. М., 1925. С. 4.

[115] Россия в мировой войне. С. 4; Поляков Ю.А. Советская страна после окончания гражданской войны. М., 1986. С. 99.

[116] Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. М., 1986. С. 17.

[117] Расчет произведен на основании данных, почерпнутых из источников, описанных в сносках 114–116.

[118] Шляпников//ПР. 1926. № 4 (51). С. 59.

[119] Стулов П. // КЛ. 1930. № 3 (36). С. 65–66; Церетели. Воспоминания. Т. 2. С. 270.

[120] Стулов // КЛ. 1930. № 3 (36). С. 70.

[121] ПР. 1923. № 5 (17). С. 6.

[122] ПР. 1926. № 4 (51). С. 56.

[123] ПР. 1923. № 5 (17). С. 7.

[124] Революция. Т. 3. С. ПО.

[125] Раскольников Ф.Ф. // Правда. 1927. 16 июля. № 159. С. 3; 27 июля. № 168. С. 3. См. также: Раскольников Ф.Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. М.;Л., 1925.

[126] Революция. Т. 3. С. 84, 105, 108.

[127] Стулов// КЛ. 1930. № 3 (36). С. 93.

[128] Ленин. Хроника. Т. 4. С. 266; Бонч-Бруевич В.Д. На боевых постах. М., 1930. С. 58.

[129] Никитин. Роковые годы. С. 111. 30 Там же. С. 115–116.

[131] Там же. С. 120, 122–123.

[132] Бонч-Бруевич. На боевых постах. С. 87–90; Никитин. Роковые годы. С. 123–125.

[133] Никитин. Роковые годы. С. 115–116.

[134] Правда. 1917.4 июля. № 98. Приводится в кн.: Знаменский О.Н. Июльский кризис 1917 года. М.; Л., 1964. С. 47.

[135] Правда. 1917. 2 июля. Приводится в кн.: Rabinowitch. Prelude to Revolution. P. 139; Революция. Т. 3. С. 305–306; Владимирова// ПР. 1923. № 5 (17). С. 9.

[136] Революция. Т. 3. С. 305; Знаменский. Июльский кризис. С. 47.

[137] Стулов//КЛ. 1930. № 3 (36). С. 96.

[138] Вейнберг Г. // Петроградская правда. 1921.17 июля. № 149. С. 13.

[139] Trotsky L. The History of the Russian Revolution. N.Y., 1937. Vol. 2. P. 13.

[140] Стулов // КЛ. 1930. № 3 (56). С. 97–98.

[141] Революционное движение в России в июле 1917 г. / Под ред. Д.А.Чугаева. М., 1959; Кочаков Б.И. // Ученые записки Ленинградского государственного университета. 1956. № 205. С. 65–66.

[142] Стулов // КЛ. 1930. № 3 (36). С. 101; Милюков. История. Т. 1. Ч. 1. С. 243.

[143] Шестой конгресс РКП(б): Протоколы. М., 1958. С. 17; см. также: Владимирова//ПР. 1923. № 5(17). С. 11.

[144] Trotsky. The History. Vol. 2. P. 20.

[145] Революция. Т. 3. С. 132.

[146] Революционное движение… в июле / Под ред. Чугаева. С. 90–91. Ср.: Раскольников //ПР. 1923. № 5 (17). С. 53–58.

[147] Революционное движение… в июле / Под ред. Чугаева. С. 91; Раскольников// ПР. 1923. № 5 (17). С. 55.

[148] Владимирова// ПР. 1923. № 5 (17). С. 20–21.

[149] V.D.Nabokov and the Russian Provisional Government. P. 146.

[150] Соболев А. // Речь 1917. 5 июля. № 155 (3897). С. 1.

[151] Флеровский // ПР. 1926. № 7 (54). С. 73–75; Арский Н. // Пережитое. М., 1918. С. 36.

[152] Раскольников//ПР. 1923. № 5 (17). С. 59; ЕловБ.//КЛ. 1923. № 7. С. 101.

[153] Владимирова//ПР. 1923. № 5 (17). С. 13.

[154] Свидетельство В.И. Невского// Революция. Т. 3. С. 135; см. также: Владимирова// ПР. 1923. № 5(17). С. 17.

[155] Rabinowitch. Prelude to Revolution. P. 281.

[156] Революционное движение… в июле / Под ред. Чугаева. С. 19.

[157] Rabinowitch. Prelude to Revolution. P. 174–175.

[158] Ленин. ПСС. Т. 32. С. 408–409.

[159] Rabinowitch. Prelude to Revolution. P. 180.

[160] Революция. Т. 3. С. 140.

[161] Революционное движение… в июле / Под ред. Чугаева. С. 19.

[162] Раскольников // ПР. 1923. № 5 (17). С. 61–62. Данные почерпнуты в кн.: Никитин. Роковые годы. С. 131.

[163] Революционное движение… в июле / Под ред. Чугаева. С. 96. Ср.: Ленин. ПСС. Т. 34. С. 23–24; Флеровский // ПР. 1926. № 7 (54). С. 77.

[164] Правда. 1917. 5 июля. Цитируется: Владимирова В. // ПР. 1923. № 5(17). С. 36.

[165] Раскольников// ПР. 1923. № 5 (17). С. 71; ПР. 1927. № 8/9 (67/68). С. 62.

[166] Революционное движение… в июле / Под ред. Чугаева. С. 49.

[167] НВ. 1918. 16 июля. № 118 (142). С. 1.

[168] Rabinowitch. Prelude to Revolution. P. 195–196.

[169] Революция. Т. 3. С. 151.

[170] Зиновьев // ПР. 1927. № 8/9 (67/68). С. 62.

[171] Раскольников Ф.Ф. // Правда. 1927. 17 июля. № 160(3692). С. 3.

[172] НВр. 1917.9 июля. № 14822. С. 4.

[173] НЖ. 1917. 7 июля. № 68. С. 3.

[174] Революционное движение… в июле / Под ред. Чугаева. С. 290.

[175] Никитин. Роковые годы. С. 153–154.

[176] Бонч-Бруевич. На боевых постах. С. 87–90.

[177] Живое слово. 1917.5 июля. № 51 (404). С. 2. Текст см. также: Ленин. Соч. Т. 21. С. 509–510.

[178] Церетели. Воспоминания. Т. 1. С. 91.

[179] Суханов. Записки. Т. 4. С. 440–443.

[180] Раскольников // ПР. 1923. № 5 (17). С. 72. Ср.: Никитин. Роковые годы. С. 149.

[181] Троцкий Л. О Ленине. М., 1924. С. 58.

[182] НВр. 1917. 8 июля. № 14821. С. 2.

[183] Ленин. Хроника. Т. 4. С. 281–282; Никитин. Роковые годы. С. 515.

[184] Polovtsoff P.A. Glory and Downfall. Lnd., 1935. P. 256–258; Революция. Т. 3. С. 167; Живое слово. 1917. 6 июля. № 52 (406). С. 1.

[185] Ленин. Соч. Т. 21. С. 470.

[186] НВ. 1918. 16 июля. № 118 (142). С. 1.

[187] НЖ. 1917.9 июля. № 70. С. 1.

[188] Строев//НЖ. 1917. 7 июля. № 68. С. 1.

[189] Владимирова// ПР. 1923. № 5 (17). С. 44.

[190] Раскольников // ПР. 1923. № 5 (17). С. 78.

[191] Шляпников// ПР. 1926. № 5 (52). С. 24.

[192] НЖ. 1917. 11 июля. № 71. С. 3; Ленин. ПСС. Т. 32. С. 414–418,424-426; Т. 34. С. 22–23.

[193] Ленин. ПСС. Т. 32. С. 433–434; Т. 34. С. 8–9,459–460.

[194] Зиновьев// ПР. 1927. № 8/9 (67/68). С. 68.

[195] Ленин. Хроника. Т. 4. С. 277.

[196] Суханов. Записки. Т. 4. С. 480–481.

[197] Kerensky. The Catastrophe. P. 240.

[198] Abraham R. Alexander Kerensky: The First Love of the Revolution. N.Y., 1987. P. 244.

[199] Революция. Т. 3. С. 178.

[200] Мельгунов С.П. Судьба императора Николая II после отречения. Париж, 1951. С. 180.

[201] Там же. С. 192–201.

[202] Там же. С. 179.

[203] Троцкий. О Ленине. С. 59.

Глава третья

[1] Kerensky A. The Catastrophe. N.Y.; Lnd., 1927. P. 318.

[2] Kerensky A. The Prelude to Bolshevism. N.Y., 1919. P. XIII; Революционное движение в России в августе 1917 г.: Разгром Корниловско-го мятежа/ Под ред. Д.А.Чугаева. М., 1959. С. 429.

[3] Гиппиус З. Синяя книга. Белград, 1929. С. 152.

[4] Мартынов Е.И. Корнилов. Л., 1927. С. 33–34.

[5] Керенский А. Дело Корнилова. Екатеринослав, 1918. С. 20–21.

[6] Мартынов. Корнилов. С. 36. *1* Там же. С. 34.

[8] Савинков Б. К делу Корнилова. Париж, 1919. С. 13–14.

[9] Там же. С. 15; Милюков П.Н. История второй русской революции. София, 1921. Т. 1.4.2. С. 195.

[10] Керенский. Дело Корнилова. С. 23; Савинков. К делу Корнилова. С. 15; Милюков. История. Т. 1. Ч. 2. С. 99.

[11] Революция. Т. 4. С. 69–70.

[12] Там же. С. 54.

[13] Савинков. К делу Корнилова. С. 15.

[14] Керенский. Дело Корнилова. С. 56–57; Kerensky. The Catastrophe. P. 318.

[15] Савинков. К делу Корнилова. С. 12–13; Katkov G. The Kornilov Affair. Lnd.; N.Y., 1980. P. 54.

[16] Лукомский А.С. Воспоминания. Берлин, 1922. Т. 1. С. 227.

[17] Katkov. The Kornilov Affair. P. 170.

[18] Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 228, 232.

[19] Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 429.

[20] Там же. С. 429–430.

[21] Революция. Т. 4. С. 37–38.

[22] Милюков. История. Т. 1.4. 2. С. 107–108; Трубецкой // Общее дело. 1917.4 окт. № 8. Приводится также в кн.: Мартынов. Корнилов. С. 53.

[23] Керенский. Дело Корнилова. С. 81; Гиппиус. Синяя книга. С. 164–165.

[24] Керенский. Дело Корнилова. С. 56–57.

[25] См.:ДН. 1917.24авг.№ 135. С. 1.

[26] НЖ. 1917. 25 авг. № 110. С. 1.

[27] Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. Таллинн, 1937. Т. 1.4.2. С. 15.

[28] Керенский. Дело Корнилова. С. 62.

[29] Показания см.: Савинков // Революция. Т. 4. С. 85.

[30] Милюков. История. Т. 1. Ч. 2. С. 158.

[31] Протоколы совещания, составленные Савинковым, см.: Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 421–423. Другой протокол, восстановленный по памяти Корниловым и еще двумя генералами, см.: Katkov. The Kornilov Affair. P. 176–178. Воспоминания Савинкова см.: Савинков. К делу Корнилова. С. 20–23.

[32] Милюков. История. Т. 1. Ч. 2. С. 175; Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 422.

[33] Савинков // РС. 1917. 10 сент. № 207. С. 3.

[34] Милюков. История. Т. 1. Ч. 2. С. 178.

[35] Цитируется свидетельство Корнилова, приведенное в кн.: Милюков. История. Т. 1. Ч. 2. С. 202; ср.: Революция. Т. 4. С. 91.

[36] Мартынов. Корнилов. С. 94; ср.: Милюков. История. Т. 1. Ч. 2. С. 202.

[37] Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 238.

[38] Там же. С. 237–238.

[39] Там же. С. 232.

[40] Церетели И.Г. Воспоминания о февральской революции. Париж, 1963. Т. 1. С. 108–109; V.D.Nabokov and the Russian Provisional Government, 1917. New Haven, Conn.; Lnd., 1976. P. 90; Katkov. The Kornilov Affair. P. 85.

[41] Керенский. Дело Корнилова. С. 85.

[42] Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 427.

[43] Katkov. The Kornilov Affair. P. 179; Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 238–239.

[44] Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 238–239.

[45] Савинков // РС. 1917. 10 сент. № 207. С. 3.

[46] Katkov. The Kornilov Affair. P. 179–180.

[47] Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 239.

[48] Там же. С. 241; Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 432.

[49] Революционное движение… в августе. С. 442.

[50] Керенский. Дело Корнилова. С. 88.

[51] Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 443 — курсив наш. См. также: Katkov. The Kornilov Affair. P. 90–91.

[52] Керенский. Дело Корнилова. С. 91.

[53] Милюков. История. Т. 1.4. 2. С. 200; Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 241.

[54] Описание этого собрания см.: Некрасов Н.В. // РС. 19I7. 31 авг. № 199. С. 2; Мартынов. Корнилов. С. 101.

[55] НЖ. 1917. 13 сент. № 120 (126). С. 3.

[56] Революция. Т. 4. С. 98.

[57] Гиппиус. Синяя книга. С. 180–181.

[58] Революция. Т. 4. С. 99; Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 242; Керенский. Дело Корнилова. С. 113–114; Головин. Контрреволюция. Т. 1. Ч. 2. С. 33–34.

[59] Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 242; Революция. Т. 4. С. 100.

[60] Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 242–243.

[61] Полный текст см.: Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 448–452.

[62] НЖ. 1917.29 авг. № 114. С. 3.

[63] Революция. Т. 4. С. 111.

[64] Гиппиус. Синяя книга. С. 187.

[65] Керенский. Дело Корнилова. С. 104–105.

[66] Савинков. К делу Корнилова. С. 26; Головин. Контрреволюция. Т. 1. 4.2. С. 35.

[67] Savinkov B. // Mercure de France. 1919. 1 June. № 503 (133). P. 438.

[68] Abraham R. Alexander Kerensky: The First Love of the Revolution. N.Y., 1987. P. 277.

[69] Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 445–446; Революция. Т. 4. С. 101–102.

[70] Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 446.

[71] Головин. Контрреволюция. Т. 1.4. 2. С. 37.

[72] Революция. Т. 4. С. 109.

[73] Там же. С. 115.

[74] Милюков. История. Т. 1. Ч. 2. С. 162; Керенский. Дело Корнилова. С. 80.

[75] Революция. Т. 4. С. 109.

[76] Лукомский. Воспоминания. Т. 1. С. 245.

[77] Революция. Т. 4. С. 125.

[78] Головин. Контрреволюция. Т. 1.4. 2. С. 71, 101.

[79] Хаджиев Р.В., хан. Великий Бояр. Белград, 1929. С. 123–130.

[80] Головин. Контрреволюция. Т. 1. Ч. 2. С. 71. Записи переговоров между Алексеевым и Корниловым и Корниловым и Керенским по аппарату Юза, состоявшихся 30 авг. — 1 сент. 1917 г., хранятся в архиве Деникина: Denikin Archive, Box 24, Bakhmeteff Archive, Columbia University.

[81] НЖ. 1918.4 июня. № 107 (322). С. 3; НВ. 1918. 19 июня. № 96 (120). С. 3.

[82] Революционное движение… в августе / Под ред. Чугаева. С. 431.

[83] Wilcox E.H. Russia's Ruin. N.Y., 1919. P. 276.

[84] Керенский. Дело Корнилова. С. 65.

[85] Милюков (История. Т. 1. Ч. 2. С. 15) цитирует «Echo de Paris», 1920; «Отечество», № 1; «Последние известия» (Ревель), апр. 1921 г.

[86] Революция. Т. 4. С. 299–300, 370.

[87] НЖ. 1917. 23 авг. № 108. С. 1–2; НЖ. 1917. 24 авг. № 109. С. 4; Rosenberg W.G. // SS. 1969. № 2. P. 160–161.

[88] Революция. Т. 3. С. 122; Rosenberg // SS. 1969. № 2. P. 160–161.

[89] Головин. Контрреволюция. Т. 1. Ч. 2. С. 53–54.

[90] Сокольников // Революция. Т. 4. С. 104.

[91] Там же. Т. 5. С. 269.

[92] Мельгунов СП. Как большевики захватили власть. Париж, 1953. С. 13.

[93] НЖ. 1917. 31 авг. № 116. С. 2.

[94] Там же. 10 окт. № 149 (143). С. 3.

[95] Там же. 12 сент. № 125 (119). С. 3.

[96] Там же. 9 сент. № 123 (117). С. 4.

[97] ПР. 1927. № 8/9 (67/68). С. 67–72.

[98] Цитируется Лениным: ПСС. Т. 33. С. 37.

[99] Там же. С. 116.

[100] Там же. С. 90.

[101] Ленинские статьи: «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (ПСС. Т. 34. С. 151–199), «Удержат ли большевики государственную власть?» (Там же. С. 287–339).

[102] Там же. С. 2–5 — курсив наш.

[103] Ленин. Соч. Т. 21. С. 512, сн. 18.

[104] Революция. Т. 3. С. 383–384.

[105] Вторая и третья Петроградские общегородские конференции большевиков / Ленинградский Истпарт. М.; Л., 1927. С. 77.

[106] Известия. 1917. 5 сент. № 164.

[107] Там же. 12 окт. № 195. С. 1.

[108] Там же. 18 окт. № 200. С. 1.

[109] Ленин. ПСС. Т. 34. С. 239–241.

[110] Там же. С. 245.

[111] Trotsky L. The History of the Russian Revolution. N.Y., 1937. Vol. 3. P. 355.

[112] Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). М., 1958. С. 74. из СД. 1917. 28 сент. № 169. С. 1.

[114] Ленин. ПСС. Т. 34. С. 403, 405.

[115] Известия. 1917.1 окт. № 186. С. 8.

[116] Революция. Т. 5. С. 53; Известия. 1917.14 окт. № 197. С. 5.

[117] НЖ. 1917. 27сент. № 138. С. 3.

[118] Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. Lnd., 1960. P. 164.

[119] Революция. Т. 4. С. 197, 214.

[120] Там же. С. 256.

[121] Протоколы ЦК. С. 73, 76.

[122] Революция. Т. 5. С. 65.

[123] Протоколы ЦК. С. 264; Революция. Т. 5. С. 63.

[124] Rabinowitch A. The Bolsheviks Come to Power. N.Y., 1976. P. 209–211.

[125] Революция. Т. 5. С. 71–72.

[126] Там же. С. 65.

[127] НЖ. 1917. 27 сент. № 138 (132). С. 3.

[128] Революция. Т. 5. С. 78.

[129] Там же. С. 246, 254.

[130] Заявление правительства от 25–27 сент. см.: Революция. Т. 4. С. 403–400.

[131] Известия. 1917.19 окт. № 201. С. 7.

[132] Там же. 18 окт. № 200. С. 1.

[133] Там же. 21 окт. № 203. С. 5.

[134] Революция. Т. 5. С. 109; НЖ. 1917.18 окт. № 156 (150). С. 3.

[135] Операция описана в кн.: Schwarte M. et al. Der Grosse Krieg, 1914–1918: Der Deutsche Landkrieg. Leipzig, 1925. T. 3. S. 323–327.

[136] Революция. Т. 5. С 30–31.

[137] Известия. 1917.7 окт. № 191. С. 4; Революция. Т. 5. С. 37.

[138] Революция. Т. 5. С. 38, 67.

[139] Там же. С. 52.

[140] Там же. С. 52, 237–238.

[141] ПР. 1922. № 10. С. 53–54.

[142] Там же. С. 86.

[143] Документы великой пролетарской революции / Под ред. И.И.Минца. М., 1938. Т. 1. С. 22.

[144] Рабочий путь. 1917. № 33 — приведено в кн.: Революция. Т. 5. С. 238.

[145] Trotsky. The History. Vol. 3. P. 353.

[146] Рабочий путь. 1917. № 35 — приводится в кн.: Революция. Т. 5. С. 70–71; Известия. 1917.14 окт. № 197. С. 5.

[147] утро России — приводится в кн.: Мельгунов. Как большевики захватили власть. С. 34.

[148] Известия. 1917.17 окт. № 199. С. 8; Революция. Т. 5. С. 101.

[149] Известия. 1917.19 окт. № 201. С. 5.

[150] Революция. Т. 5. С. 132.

[151] Суханов Н. Записки о революции. Берлин; СПб.; М., 1923. Т. 7. С. 90–92.

[152] Протоколы ЦК. С. 83–86.

[153] Троцкий Л. О Ленине. М., 1924. С. 70–73.

[154] Там же. С. 70–71.

[155] Протоколы ЦК. С. 87–92.

[156] Там же. С. 86; Троцкий. О Ленине. С. 72.

[157] Каменев Ю. // НЖ. 1917. 18 окт. № 156 (150). С. 3.

[158] Сокращенный протокол см.: Протоколы ЦК. С. 106–121.

[159] Там же. С. 113.

[160] ДН. 1917.11 сент. № 154; 1 окт. № 169. С. 1.

[161] Троцкий. О Ленине. С. 69.

[162] Документы / Под ред. И.И.Минца. Т. 1. С. 3.

[163] Malaparte C. Coup d'Etat: The Technique of Revolution. N. V., 1932. P. 180.

[164] Антонов-Овсеенко В.А. В семнадцатом году. М., 1933. С. 276.

[165] Daniels R.V. Red October. N.Y., 1967. P. 118.

[166] См.: Критика. 1968. Вып. 4. № 3. С. 21–32; Подвойский Н.И. Год 1917. М, 1958. С. 104.

[167] Trotsky. The History. Vol. 3. P. 290–291.

[168] Соболев ГЛ. // ИЗ. 1971. № 88. С. 77.

[169] Суханов. Записки. Т. 7. С. 161.

[170] DzenisO. // Living Age. 1922. 11 Febr. № 4049. P. 328.

[171] Известия. 1917. 22 окт. № 204. С. 3; Революция. Т. 5. С. 144–145.

[172] Подвойский. Год 1917. С. 106–108.

[173] Мельгунов. Как большевики захватили власть. С. 68–69; Антонов-Овсеенко. В семнадцатом году. С. 283; НЖ. 1917. 24 окт. № 161 (155). С. 3.

[174] Петроградский Военно-революционный комитет: Документы и материалы. М, 1966. Т. 1.С. 63. Эта резолюция впервые появилась 24 окт. в большевистской газете «Рабочий путь».

[175] НЖ. 1917. 24 окт. № 161 (155). С. 3.

[176] Протоколы ЦК. С. 119, 269; Революция. Т. 5. С. 160.

[177] Садовский А. // ПР. 1922. № 10. С. 76–77; Революция. Т. 5. С. 151; Мельгунов. Как большевики захватили власть. С. 69.

[178] Революция. Т. 5. С. 163–164; Мельгунов. Как большевики захватили власть. С. 69.

[179] Революция. Т. 5. С. 111–112.

[180] V.D.Nabokov and the Provisional Government. P. 78.

[181] Buchanan G. My Mission to Russia. Boston, 1923. Vol. 2. P. 201; ср.: NoulensJ. Mon Ambassade en Russie Sovietique, 1917–1919. Paris, 1933. Vol. 1. P. 116.

[182] Buchanan. My Mission. Vol. 2. P. 214.

[183] КА. 1933. № 1(56). С 137.

[184] Мельгунов. Как большевики захватили власть. С. 93–94.

[185] Там же. С. 88–89.

[186] Малянтович П.Н. // Былое. 1918. № 12. С. 113.

[187] Революция. Т. 5. С. 164, 263–264.

[188] СД. 1917. 26 окт. № 193. С. 1.

[189] Троцкий. ОЛенине. С. 74.

[190] Малянтович // Былое. 1918. № 12. С. 114. >[91] Там же. С. 115.

[192] Мельгунов. Как большевики захватили власть. С. 84–85; Kerensky A. Russia and History's Turning Point. N.Y., 1965. P. 435–436.

[193] Уралов С. //ПР. 1924. № 10 (33). С. 277. >[94] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 15–16.

[195] Trotsky. The History. Vol. 3. P. 305–306.

[196] Второй Всероссийский съезд Советов Р. и С. Д. / Под ред. К.Г.Ко-тельникова. М.; Л., 1928. С. 164, 166.

[197] Там же. С. 165–166.

[198] Троцкий. О Ленине. С. 77.

[199] Речь. 1917. 26 окт. № 252 (цитируется в кн.: Революция. Т. 5. С. 182).

[200] Там же. С. 189.

[201] Dzenis // Living Age. 1922. 11 Febr. № 4049. P. 331.

[202] Малянтович // Былое. 1918. № 12. С. 129–130.

[203] Резолюцию Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов от 24 окт. см.: Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации /Под ред. А.В.Шестакова. М, 1929. Т. 1.4.1.С.288.

[204] Революция. Т. 5. С. 182.

[205] Троцкий Л. История русской революции. Берлин, 1933. Т. 2. Ч. 2. С. 327.

[206] Революция. Т. 5. С. 284.

[207] AnweilerO. The Soviets. N.Y., 1974. P. 260–261.

[208] Rauzans G. // Cina. Riga. 1987. 7 nov. На эту статью нам любезно указал проф. Эндрю Эзергайлис.

[209] Съезд Советов / Под ред. Котельникова. С. 37–38, 41–42.

[210] Суханов. Записки. Т. 7. С. 203.

[211] Декреты. Т. 1.С. 12–16.

[212] Там же. С. 17–20.

[213] Там же. С. 17–18.

[214] Там же. С. 20–21.

[215] Суханов. Записки. Т. 7. С. 266. О предложении, сделанном Лениным Троцкому, см.: Deutscher I. The Prophet Armed: Trotsky, 1879–1921. N.Y., Lnd., 1954. P. 325.

[216] Революция. Т. 6. С. 1.

[217] Игнатов Е. // ПР. 1928. № 4 (75). С. 31.

[218] Ленин. ПСС. Т. 35. С. 20.

[219] Декреты. Т. 1.С. 18.

[220] Там же. С. 20.

[221] Там же. С. 21–26.

[222] Мельгунов. Как большевики захватили власть. С. 209–210.

[223] Протоколы ЦК. С. 106–107.

[224] Революция. Т. 5. С. 193–194; Т. 6. С. 4–5; Триумфальное шествие советской власти / Под ред. Д.А.Чугаева. М., 1963. С. 500.

[225] Московский военно-революционный комитет: Октябрь-ноябрь 1917 года / Под ред. В.А.Кондратьева. М., 1968. С. 22.

[226] Там же. С.78.

[227] Там же. С. 103–104.

[228] Там же. С. 161.

[229] Среди тех, кто пробовали: Лейкина В. // ПР. 1926. № 2 (49). С. 185–233; № 11 (58). С. 234–255; № 12 (59). С. 238–254; а также: Keep J.L.H.// Revolutionary Russia/ Ed. by R.Pipes.Cambridge, Mass., 1968. P. 180–216.

[230] Троцкий Л. Соч. М., б. г. Т. 3. Ч. 1. С. L.

[231] Декреты. Т. 1.С.2.

[232] Pietsch W. Revolution und Staat. Koln, 1969. S. 68; Ленин. ПСС. Т. 35. С. 46.

[233] НЖ. 1917. 5 нояб. № 173 (167). С. 1.

[234] Там же. 3 нояб. № 171 (165). С. 3. Французский консул Ф.Гренар сообщает о сходной реакции в Петрограде (La Revolution Russe. Paris, 1933. P. 285). О настроениях в провинции см.: Keep // Revolutionary Russia/ Ed. by Pipes. P. 211.

Глава четвертая

[1] Pietsch W. Revolution und Staat. Koln, 1969. S. 140.

[2] Суханов Н. Записки о революции. Берлин; СПб.; М., 1923. Т. 7. С. 266.

[3] Mac Iver R.M. The Web of Government. N.Y., 1947. P. 123.

[4] Frankel E. The Dual State. Lnd.; N.Y., 1941.

[5] Brinton C.C. The Jacobins. N.Y., 1941.

[6] Второй Всероссийский съезд Советов Р. и С.Д. / Под ред. К.Г.Ко-тельникова. М.; Л., 1928. С. 107.

[7] Десятый съезд РКП(б), март 1921 года: Стеногр. отчет. М., 1963. С. 407.

[8] Сталин И. Вопросы ленинизма. Изд. 11. М., 1952. С. 126.

[9] Девятый съезд РКП(б): Протоколы. М., 1960. С. 307.

[10] Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. Lnd., 1960. P. 231; БСЭ.Т. 11.С.531.

[11] Fainsod M. How Russia Is Ruled. Cambridge, Mass., 1963. P. 177.

[12] Суханов. Записки. Т. 2. С. 244.

[13] Авилов Б. // НЖ. 1918. 25 янв. (7 февр.). № 18 (232). С. 1.

[14] Красная газета. 1918. 2 февр. № 7. С. 4.

[15] См.: Документы ставки Е.И.Пугачева, повстанческих властей и учреждений, 1773–1774. М., 1975. С. 48; Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И.Пугачева. М., 1980. С. 122–132.

[16] Тихомирнов В. // ВС. 1918. № 27. С. 12.

[17] Pietsch. Revolution. S. 77.

[18] Bunyan J., Fisher H.H. The Bolshevik Revolution, 1917–1918: Documents and Materials. Stanford, Calif., 1934. P. 277.

[19] М[артов] Л. // Новый луч. 1918. 18 янв. № 10 (34). С. 1.

[20] Pietsch. Revolution. S. 80.

[21] История советской конституции в декретах и постановлениях советского правительства, 1917–1936 / Под ред. С.Студеникина. М., 1936. С. 66.

[22] Декреты. Т. 1.С.20.

[23] Таняев А. Очерки по истории движения железнодорожников в революции 1917 года (февраль-октябрь). М.; Л., 1925. С. 137–139.

[24] Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б), август 1917 — февраль 1918. М., 1958. С. 271; Революция. Т. 6. С. 21.

[25] Революция. Т. 6. С. 22–23. Книга П.Вомпе «Дни октябрьской революции и железнодорожники» (М., 1924), где, насколько нам известно, приводятся протоколы собраний Союза железнодорожных рабочих и служащих, к сожалению, была нам недоступна.

[26] Протоколы ЦК. С. 271–272. По мнению Леонарда Шапиро (The Origin of the Communist Autocracy. 2nd ed. Cambridge, Mass., 1977. P. 74), протоколы этого собрания не попали в официально опубликованные протоколы Центрального Комитета. Их можно найти в кн.: Троцкий Л. Сталинская школа фальсификации. Берлин, 1932. С. 116–131. См. также: Октябрьское вооруженное восстание. Л., 1967. Т. 2. С. 405–410.

[27] Протоколы ЦК. С. 126–127.

[28] Троцкий. Сталинская школа фальсификации. С. 124.

[29] Известия. 1917. 4 (17) нояб. Приводится также в кн.: Протоколы ЦК. С. 135.

[30] Революция. Т. 6. С. 423–424.

[31] Бонч-Бруевич В.Д. Воспоминания о Ленине. М., 1969. С. 143.

[32] Фрайман АЛ. Форпост социалистической революции. Л., 1969. С. 166–167.

[33] Революция. Т. 6. С. 91.

[34] Фрайман. Форпост. С. 169.

[35] Короленко. Протест // Газета-протест Союза русских писателей. 1917. 26 нояб. Копия этой газеты хранится в Гуверовском ин-те.

[36] Ларин Ю.//НХ. 1918. № 11. С. 16–17.

[37] Ирошников М.П. Создание советского центрального государственного аппарата. Л., 1967. С. 115; The Debate on Soviet Power/ Ed. by John L.H. Keep. Oxford, 1979. P. 78–79.

[38] Протоколы заседаний Всероссийского Центрального исполнительного комитета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов II созыва. М., 1918. С. 28.

[39] Ленин. ПСС. Т. 34. С. 304–305.

[40] Там же. Т. 35. С. 58.

[41] Протоколы заседаний. С. 31.

[42] Там же. С. 32.

[43] Революция. Т. 6. С. 73.

[44] Протоколы заседаний. С. 31–32.

[45] Steinberg I. Als ich Volkskommissar war. Munchen, 1929. S. 148.

[46] Пионтковский С. // БК. 1934. № 1. С. 112.

[47] Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. М., 1972; Игнатов Е. // ПР. М., 1928. № 4 (75). С. 34.

[48] Эти события освещаются весьма неадекватно. См.: Антошкин Д. Профессиональное движение служащих, 1917–1924 гг. М., 1927; Профессиональное движение в Петрограде в 1917 г.: Очерки и материалы / Под ред. З.А.Мирецкого, А.Анского. Л., 1928. С. 231–242.

[49] ДН. 1917. 28 окт. № 191, 192; НЖ. 1917. 27окт. № 164 (158). С. 3.

[50] Революция. Т. 6. С. 14.

[51] Воля народа. 1917. 29 окт. № 156. Цитируется в кн.: Bunyan, Fisher. The Bolshevik Revolution. P. 225.

[52] ВС. 1919. № 11. С. 5.

[53] ДН. 1917. 10 нояб. № 191. С. 3. Цитируется в кн.: Bunyan, Fisher. The Bolshevik Revolution. P. 226.

[54] Протоколы II Всероссийского съезда комиссаров труда (1918). С. 9, 17. Цитируется в кн.: Dewar M. Labour Policy in the USSR. Lnd., 1956. P. 17–18.

[55] Революция. Т. 6. С. 50.

[56] НЖ. 1917. 11 (24) нояб. № 178 (172). С. 3; Морозов Б.М. Создание и укрепление советского государственного аппарата. М., 1957. С. 52.

[57] Декреты. Т. 1.С. 27–28.

[58] НЖ. 1917. 16 (29) нояб. № 182 (176).

[59] Осинский Н. // ЭЖ. 1918. 6 нояб. № 1. С. 2–3. См. также: Гиндин А.М. Как большевики овладели Государственным банком. М., 1961.

[60] НВ. 1917. 6(18)дек.№ 6. С. 3.

[61] Там же. 30 дек. № 25. С. 3.

[62] ЛС.Т. 35. С. 7.

[63] Горбунов Н. // Правда. 1927. 7 нояб. № 255 (3787). С. 9.

[64] Там же; Ларин//ТХ. 1918. № 11. С. 16–17.

[65] Liberman S. Building Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 13.

[66] Триумфальное шествие советской власти / Под ред. Д.А.Чугаева. М., 1963. Ч. 1.С. 140.

[67] Троцкий Л. Моя жизнь. Берлин, 1930. Т. 2. С. 65; Ленин. ПСС. Т. 38. С. 198; Liberman. Building. P. 8.

[68] СУиР. Т. 1. № 309. С. 296–297.

[69] Известия. 1917. 6 дек. № 244. С. 6–7.

[70] Там же. 12 дек. № 249. С. 6.

[71] Правда. 1924. 20 апр. № 91. С. 3.

[72] НЖ. 1917. 20 дек. (2 янв. 1918). № 206 (200). Цитируется в кн.: Революция. Т. 6. С. 377.

[73] Ерицян Х.А. Советы крестьянских депутатов в октябрьской революции. М., 1960. С. 143.

[74] Steinberg. Als ich Volkskommissar war. S. 42.

[75] См., напр., выступление Троцкого в Петросовете (НЖ. 1917. 27 сент. № 138 (132). С. 3).

[76] Правда. 1917. 27 окт. № 170 (101). С. 1.

[77] Крупская Н. Воспоминания о Ленине. М., 1957. С. 74; Ленин. ПСС. Т. 35. С. 185.

[78] Декреты. Т. 1. С. 25–26.

[79] Известия. 1917.1 нояб. № 213. С. 2.

[80] Ленин. ПСС. Т. 35. С. 135.

[81] Там же. Т. 34. С. 266.

[82] Scheibert P. Lenin an der Macht. Weinheim, 1984. S. 418.

[83] См.: Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917–1920 гг.). М., 1968. С. 416–425; Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России. М., 1977. С. 300–341.

[84] ДН. 1918.4 янв. № 2 (247). С. 1.

[85] Radkey O. The Election to the Russian Constituent Assembly of 1917. Cambridge, Mass., 1950. P. 15.

[86] Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание. Л., 1976. Табл. 1,2.

[87] Ленин. ПСС. Т. 40. С. 7.

[88] Radkey. The Election. P. 38.

[89] Ленин. ПСС. Т. 40. С. 16–18.

[90] Знаменский. Учредительное собрание. С. 275, 358.

[91] Ленин. ПСС. Т. 40. С. 10.

[92] Фрайман. Форпост. С. 163.

[93] Декреты. Т. 1.С. 159.

[94] Революция. Т. 6. С. 187.

[95] Фрайман. Форпост. С. 163.

[96] Революция. Т. 6. С. 192.

[97] Там же. С. 199.

[98] НВ. 1917. 30 нояб. № 1. С. 1–2; 1 дек. № 2. С. 2; Правда. 1924. 20 апр. № 91. С. 3; Знаменский. Учредительное собрание. С. 309–310.

[99] НВ. 1917. 30 нояб. № 1. С. 2; Революция. Т. 6. С. 225.

[100] Декреты. Т. 1. С. 162.

[101] Знаменский. Учредительное собрание. С. 231.

[102] Протоколы ЦК. С. 149–150.

[103] Ленин. ПСС. Т. 35. С. 106.

[104] Там же. С. 164–165, 166.

[105] Протоколы ЦК. С. 175.

[106] Знамя труда. 1918. 5(18) янв. № 111. С. 3.

[107] Рубинштейн Н. Большевики и Учредительное собрание. М., 1938. С. 76.

[108] Соколов Б.Ф. // АРР. Берлин, 1924. Т. 13. С. 48; Фрайман. Форпост. С. 201.

[109] Бонч-Бруевич В.Д. Три покушения на В.ИЛенина. М, 1930. С. 3–77.

[110] Соколов//АРР. Т. 13. С. 50, 60–61.

[111] Там же. С.61.

[112] Правда. 1918. 5 (18) янв. № 3 (320). С. 4.

[113] Троцкий // Правда. 1924. 20 апр. № 91. С. 3.

[114] Знаменский. Учредительное собрание. С. 334–335; Фрайман. Форпост. С. 204.

[115] Правда. 1918. 4 (17) янв. № 2(229). С. 1, 3.

[116] Вишняк М.В. Всероссийское Учредительное собрание. Paris, 1932. С. 99–100.

[117] Бонч-Бруевич В.Д. На боевых постах февральской и октябрьской революции. М., 1930. С. 256.

[118] ДН. 1918. 4 янв. № 2 (247). С. 2.

[119] Соколов //АРР. Т. 13. С. 66.

[120] Изгоев А.С. // АРР. Т. 10. С. 24–25; Знаменский. Учредительное собрание. С. 340.

[121] Описание см.: ДН. 1918. 1 янв. № 4. С. 2; Грядущий день. 1918. 6 янв. № 30. С. 4; Правда. 1918. 6 (19) янв. № 5. С. 2.

[122] НЖ. 1918. 11 (24) янв. № 7 (23). С. 2; Scheibert. Lenin. S. 19.

[123] НЖ. 1918. 11 (24) янв. № 7 (23). С. 2.

[124] Всероссийское Учредительное собрание / Под ред. И.С.Малчевско-го. М; Л., 1930. С. 3.

[125] Декреты. Т. 1.С. 321–323.

[126] Ленин. Хроника. Т. 5. С. 180–181; Учредительное собрание / Под ред. Малчевского. С. 217.

[127] Bunyan, Fisher. The Bolshevik Revolution. P. 384–386.

[128] Правда. 1918. 6 (19) янв. № 4 (231). С. 1.

[129] НВ. 1918.12 (25) янв. № 7. С. 3//Bunyan, Fisher. The Bolshevik Revolution. P. 389.

[130] Соколов//АРР. Т. 13. С 54.

[131] Троцкий // Правда. 1924. 20 апр. № 91. С. 3.

[132] Игнатов// ПР. 1928. № 5 (76). С. 28–29.

[133] Троцкий // Правда. 1924. 20 апр. № 91. С. 3.

[134] Знаменский. Учредительное собрание. С. 323.

[135] Игнатьев В. И. Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны. М., 1922. С. 8.

[136] Mirsky D.S. Modern Russian Literature. Lnd., 1925. P. 89.

[137] Соколов//АРР. Т. 13. С 6.

[138] Dewar. Labour Policy. P. 37.

[139] Изгоев А.С.//НВ. 1918. 16 июня. № 94 (118). С. 1.

[140] Рукопись Г.Аронсона «На переломе», хранящаяся: Hoover Institution, Nikolaevskii Archive, DK 26589/L2A76, представляет собой лучшее описание событий.

[141] Континент. 1975. № 2. С. 385–419.

[142] НВ. 1918. 9 мая. № 91 (115). С. 3.

[143] Там же. 10 мая. № 92(116). С. 3.

[144] НС. 1918.15 мая. № 23. С. 3.

[145] НВ. 1918. 10 мая. № 92 (116). С. 3.

[146] Там же.

[147] Brovkin V. // RR. 1983. January. P. 47. Подтверждается это и Г.Аронсо-ном («На переломе», рукопись).

[148] Авилов Б.//НЖ. 1918. 22 мая. № 96(311). С. 1.

[149] НЖ. 1918. 25 мая. № 99 (314). С. 4.

[150] Утро. 1918. 3 июня. Цитируется в рукописи Аронсона «На переломе» (С. 15–16).

[151] Аронсон. На переломе. С. 7–8.

[152] НЖ. 1917.27окт.№ 164(158).С. 1.

[153] НЖ. 1918. 27 янв. № 20 (234). С. 1.

[154] Там же. 8 июня. № 111 (326). С. 3.

[155] Аронсон. На переломе. С. 21.

[156] Декреты. Т. 2. С. 30–31; Ленин. ПСС. Т. 37. С. 599.

[157] Rosenberg W.G. Liberals in the Russian Revolution. Princeton, N.J., 1974. P. 263–300.

[158] НЖ. 1918. 16 июня. № 115 (330). С. 3.

[159] Rosenberg W.G. // SR. 1985. July. Vol. 46. P. 235.

[160] НЖ. 1918. 26 июня. № 122 (337). С. 3.

[161] См., напр., Строев // НЖ. 1918. 2 июля. № 127 (342). С. 1.

[162] НВ. 1918. 2 июля. № 106 (130). С. 3.

[163] Там же. 3 июля. № 107 (131). С. 3; 4 июля. № 108 (132). С. 4; НЖ. 1918. 3 июля. № 128 (343). С. 1.

Глава пятая

[1] Ленин. ПСС.Т. 31. С. 310.

[2] Там же. Т. 35. С. 250.

[3] Там же. С. 247 — курсив наш.

[4] Седьмой экстренный съезд РКП(б). М., 1962. С. 171.

[5] Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. М., 1968. Т. 1. С. 647–649.

[6] Russian-American Relations March 1917 — March 1920 / Ed. by C.K.Gum-ming, W.W.Pettit. N.Y., 1920. P. 53–54.

[7] Декреты. Т. 1.С. 16.

[8] Напр.: Революция. Т. 5. С. 285–286.

[9] Fischer F. Germany's Aims in the First World War. N.Y., 1967. P. 477.

[10] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 278.

[11] Там же. С. 108.

[12] Там же. С. 184.

[13] См.: там же. С. 68–75, а также: Fischer. Germany's Aims. P. 483–484.

[14] См., напр.: Rohrbach P. Russland und Wir. Stuttgart, 1915.

[15] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 194–196.

[16] Rohrbach. Russland und Wir. S. 3.

[17] Fischer F. Griff nach der Weltmacht. Dusseldorf, 1967.

[18] Baumgart W. Deutsche Ostpolitik 1918. Viena; Miinchen, 1966. S. 245–246.

[19] Deutsche Politik. 1918. 28 June. № 26. S. 805–806.

[20] Deutscher I. The Prophet Armed: Trotsky, 1879–1921. N.Y., Lnd., 1954. P. 387.

[21] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 153–154.

[22] Там же. С. 66–67.

[23] Там же. С. 59–60; Fischer. Germany's Aims. P. 488 — приведена программа из шести пунктов.

[24] Buchan J. A History of the Great War. Boston, 1922. Vol. 4. P. 137.

[25] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 148–150; Fischer. Germany's Aims. P. 487–490.

[26] Freund G. Unholy Alliance. N.Y., 1957. P. 4.

[27] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 194–197, 208.

[28] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 30.

[29] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 183, 190; Fischer. Germany's Aims. P. 487.

[30] См.: Pipes R. Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923. Cambridge, Mass., 1954. P. 114–126.

[31] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 229; Wheeler-Bennet J. Brest-Litovsk: The Forgotten Peace. Lnd.; N.Y., 1956. P. 173–174.

[32] Hahlweg W. Der Diktatfrieden von Brest-Litowsk. Munster, 1960. S. 375.

[33] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 229–230.

[34] О забастовках января 1918 г. см.: Rosenfeld G. Sowjet-Russland und Deutschland, 1917–1922. Koln, 1984. S. 46–55; Wheeler-Bennet. The Forgotten Peace. P. 196.

[35] Ленин. Соч. Т. 22. С. 599.

[36] Cohen S. Bukharin and the Bolshevik Revolution. Lnd., 1974. P. 65.

[37] Ленин. Соч. Т. 22. С. 599; Erickson J. // Revolutionary Russia / Ed. by R.Pipes. Cambridge, Mass., 1968. P. 232–233; Городецкий Е.Н. Рождение советского государства. М., 1965. С. 406–407.

[38] Ленин. ПСС. Т. 35. С. 243–252.

[39] Там же. С. 324; ср.: Hahlweg. Der Diktatfrieden. S. 48.

[40] Ленин. ПСС. Т. 35. С. 255–258.

[41] Текст см.: Советско-германские отношения. Т. 1. С. 298–308.

[42] Там же. С. 311–312.

[43] Советское заявление см.: Ленин. Соч. Т. 22. С. 555–558.

[44] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 314–315.

[45] Воспроизведены в: VZ. 1967. Jan. Bd. 15. № 1. S. 87-104.

[46] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 278.

[47] Там же. С. 289–290, 318–319.

[48] Протоколы см.: Советско-германские отношения. Т. 1. С. 322–329; см. также: Baumgart. Ostpolitik. S. 23–26.

[49] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 326–327; Baumgart. Ostpolitik. S.25.

[50] Ленин. Соч. Т. 2. С. 677.

[51] Die Aufzeichnungen des General Majors Max Hoffmann / Ed. by K.F.Nowak. Berlin, 1929. Bd. 1. S. 187.

[52] Deutscher. The Prophet Armed. P. 383, 390.

[53] Ленин. Соч. Т. 22. С. 677; ПСС. Т. 35. С. 486–487.

[54] Декреты. Т. 1. С. 487–488; Ленин. ПСС. Т. 35. С. 339.

[55] Steinberg I. Als ich Volkskommissar war. Munchen, 1929. S. 206–207.

[56] Декреты. Т.I. С 490–491.

[57] См. главу десятую нашей книги.

[58] Ullman R. Intervention and the War. Princeton, N.J., 1961. P. 74.

[59] Russian-American Relations / Ed. by Cumming, Pettit. P. 65.

[60] Ullman. Intervention. P. 137–138.

[61] Ленин. Соч. Т. 22. С. 607; Niessel [H.A.], gen. Le Triomphe des Bolcheviks et la Paix de Brest-Litovsk: Souvenirs, 1917–1918. Paris, 1940. P. 277–278.

[62] Sadoul J. Notes sur la Revolution Bolchevique. Paris, 1920. P. 244–245.

[63] Ленин. ПСС. Т. 35. С. 489.

[64] Niessel. Le Triomphe. P. 279–280.

[65] Wheeler-Bennet. The Forgotten Peace. P. 284–285; Sadoul. Notes. P. 262^ 263; Ullman. Intervention. P. 81.

[66] Советско-германские отношения. Т. 1. С. 341–343.

[67] Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). М., 1958. С. 211–218.

[68] Ленин. ПСС. Т. 35. С. 376–380.

[69] Протоколы ЦК. С. 219–228.

[70] Ленин. Соч. Т. 22. С. 558.

[71] Ленин. ПСС. Т. 35. С. 385–386.

[72] Там же. С. 399.

[73] Там же. Т. 36. С. 24.

[74] Niessel. Le Triomphe. P. 299.

[75] Пилецкий Я. // НЖ. 1918.9 марта. № 38 (253). С. 2. См. также: Строев В. // Там же. 12 марта. № 40 (255). С. 1.

[76] См.: Бонч-Бруевич. Переезд В.ИЛенина в Москву. М., 1926.

[77] Hahlweg. Der Diktatfrieden. S. 51.

[78] Пилецкий // НЖ. 1918. 14 марта. № 41 (256). С. 1.

[79] Эти документы содержатся в кн.: Советско-германские отношения. Т. 1.С. 370–430; их анализ см.: Wheeler-Bennet. The Forgotten Peace. P. 269–275.

[80] Wheeler-Bennet. The Forgotten Peace. P. 275.

[81] BaumgartW. //VZ. 1968. Jan. Bd. 16. № 2. S. 84.

[82] Degras J. Documents of Russian Foreign Policy. Lnd., 1951. Vol. 1. P. 56–57. Документ датирован 5 марта 1918 г.

[83] Russian-American Relations / Ed. by Cumming, Pettit. P. 82–84.

[84] Ibid. P. 85–86.

[85] Noulens J. Mon Ambassade en Russie Sovietique, 1917–1919. Paris, 1933. Vol. 2. P. 116. Ср.: Russian-American Relations / Ed. by Cumming, Pettit. P. 161–162.

[86] НЖ. 1918. 16 (29) марта. № 54 (269). С. 4; Francis D. Russia from the American Embassy. N.Y., 1922. P. 264–265; Pears B. How Haig Saved Lenin. Lnd., 1988. P. 15–16.

[87] НС. 1918.15 мая. № 23. С. 2.

[88] НЖ. 1918. 16 (29) марта. № 54 (269). С. 4.

[89] Письмо от 12 апр. 1918 г. см.: Sadoul. Notes. P. 305. О давлении Германии см.: Ленин // НС. 1918.15 мая. № 23. С. 2.

[90] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 3–26.

[91] Ленин. Соч. Т. 22. С. 559–561,613.

[92] КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 1898–1953. М., 1953. Т. 1. С. 405; ср.: Ленин. ПСС. Т. 36. С. 37–38, 40.

[93] Kennan G. Russia Leaves the War. Princeton, N. J., 1956. P. 255.

[94] Russian-American Relations / Ed. by Cumming, Pettit. P. 70.

[95] Декреты. Т. 1. С. 386–387; см. об этом в главе седьмой нашей книги. % НХ. 1918. № 11. С. 19–20.

[97] Russian-American Relations / Ed. by Cumming, Pettit. P. 87–88.

[98] Ibid. P. 91–92.

[99] Ibid. P. 89; русский текст см.: Ленин. ПСС. Т. 36. С. 91.

[100] Noulens. Mon Ambassade. Vol. 2. P. 34–35.

[101] Известия. 1918.4 сент. № 190 (454). С. 3.

[102] См. главу шестую нашей книги.

[103] Известия. 1918. 5 нояб. № 242 (506). С. 4.

[104] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 331.

[105] Там же. С. 340.

[106] Там же. Т.41.С55.

Глава шестая

[1] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 245.

[2] Декреты. Т. 1.С. 16.

[3] Ленин. ПСС. Т. 37. С. 79.

[4] Городецкий Е.Н. Рождение советского государства. М., 1965. С. 402–403; Erickson J. // Revolutionary Russia / Ed. by R. Pipes. Cambridge, Mass., 1968. P. 230–231.

[5] Mayzel M. An Army in Transition: The Russian High Command, October 1917 — May 1918 // Slavic and Soviet Series. Tel Aviv University, 1976. Vol. 1. № 5.

[6] Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1920 гг. М., 1988.

[7] Городецкий. Рождение советского государства. С. 399–401; Erickson // Revolutionary Russia/ Ed. by Pipes. P. 232.

[8] Городецкий. Рождение советского государства. С. 416.

[9] Декреты. Т. 1. С. 342, 356–357.

[10] Там же. С. 588; Известия. 1918. 23 янв. № 17 (281). С. 3.

[11] НЖ. 1918. 13 февр. № 23 (237). С. 1. Ср.: Trotsky L. Revolution Betrayed. N.Y., 1972. P. 210–211.

[12] Ленин. ПСС. Т. 38. С. 139.

[13] Декреты. Т. 1.С. 356.

[14] Каимин Я. Латышские стрелки в борьбе за победу Октябрьской революции. Рига, 1961. С. 27–37.

[15] НЖ. 1918.9 июня. № 112 (327). С. 3; Декреты. Т. 2. С. 440.

[16] НЖ. 1918. 28 мая. № 101 (316). С. 4.

[17] Вацетис И.И. // Память. Париж, 1972. № 2. С. 44.

[18] Декреты. Т. 1.С. 577.

[19] Там же. С. 522–523; Т. 2. С. 63–70, 569–570; Ленин. Хроника. Т. 5. С. 291; Кавтарадзе. Военные специалисты. С. 72–88.

[20] Декреты. Т. 2. С. 63–70.

[21] Niessel [H.A.], gen. Le Triomphe des Bolcheviks et la Paix de Brest-Litovsk: Souvenirs, 1917–1918. Paris, 1940. P. 329–330.

[22] Noulens J. Mon Ambassade en Russie Sovietique, 1917–1919. Paris, 1933. Vol. 2. P. 27. Ср.: Sadoul J. Notes sur la Revolution Bolchevique, Paris, 1920. P. 274, 277; Niessel. Le Triomphe. P. 331.

[23] Noulens. Mon Ambassade. Vol. 2. P. 70–71.

[24] Sadoul. Notes. P. 290–291. Письмо датировано 6 апреля 1918 г.

[25] Russian-American Relations: March 1917 — March 1920 / Ed. by C.K.Gumming, W.W.Pettit. N.Y., 1920. P. 98.

[26] Ibid. P. 100.

[27] Ленин. Хроника. Т. 5. С. 356; Russian-American Relations. P. 130–131.

[28] Ленин. Хроника. Т. 5. С. 452–453; Kennan G. The Decision to Intervene. Princeton, N.J., 1958. P. 217–218; Baumgart W. Deutsche Ostpolitik 1918. Vienna; Munchen, 1966. S. 265–266; Ленин. ПСС. Т. 50. С. 74–75.

[29] НС. 1918.15 мая. № 23. С. 2.

[30] Noulens. Mon Ambassade. Vol. 2. P. 53.

[31] Kurt Riezler. Tagebucher, Aufsatze, Dokumente / Ed. by K.D.Erdmann. Gottingen, 1972. S. 462.

[32] См. его кн.: Bothmer K. von. Mit Graf Mirbach in Moskau. Tubingen, 1922. Ботмер вел дневник, до сих пор не опубликованный (см.: Baumgart W. //VZ. 1968. Bd. 16. № 1. S. 73).

[33] Донесение от 30 апр. 1918 //VZ. 1968. Bd. 16. № 1. S. 77–78. Ср.: Germany and the Revolution in Russia, 1915–1918 / Ed. by Z.A.B.Zeman. Lnd., 1958. P. 120–121.

[34] Kurt Riezler / Ed. by Erdmann. S. 463.

[35] Baumgart // VZ. 1968. Bd. 16. № 1. S. 80. Донесение от 16 мая. Ср.: Germany / Ed. by Zeman. P. 126–127.

[36] Архив МИД Германии: Deutschland, № 131, Geheime Akten, Russland, № 134.

[37] Baumgart//VZ. 1968. Bd. 16. № 1. S. 81–83.

[38] Ibid S. 83.

[39] Kurt Riezler / Ed. by Erdmann. S. 466.

[40] Germany / Ed. by Zeman. P. 130, 133.

[41] Baumgart. Ostpolitik. S. 213.

[42] Baumgart // VZ. 1968. Bd. 16. № 1. S. 88.

[43] Ibid. S. 89–90, 92–93; Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 466–467.

[44] Germany / Ed. by Zeman. P. 138, 151.

[45] Fischer L. The Soviets in World Affairs. Lnd., 1930. Vol. 1. P. 75.

[46] Ленин. Хроника. Т. 6. С. 146; Wheeler-Bennet J. Brest-Litovsk: The Forgotten Peace. Lnd.; N.Y., 1956. P. 355.

[47] ВЖ. 1919. № 5. С 35.

[48] Там же. С. 36–37.

[49] Tiedemann H. Sowjetrussland und die Revolutionierung Deutschlands, 1917–1919. Berlin, 1936. S. 74; Baumgart. Ostpolitik. S. 349.

[50] Baumgart. Ostpolitik. S. 338–341.

[51] ВЖ. 1919. № 5. С 35.

[52] Baumgart. Ostpolitik. S. 262–264.

[53] Кобляков И.К. // ИСССР. 1958. № 4. С. 12.

[54] Текст см.: Gatzke H.W. // VZ. 1955. Bd. 3. № 1. S. 79. Ср.: Baumgart. Ostpolitic. S. 283–284.

[55] Gatzke H.W. //VZ. 1955. Bd. 3. № 1. S. 94. Письмо датировано 8 авт. 1918 г.

[56] См. с. 313 нашей книги.

[57] Ленин. Хроника. Т. 5. С. 318–319; Ullman R. Intervention and the War. Princeton, N.J., 1961. P. 152.

[58] Masaryk T.G. Weltrevolution. Berlin, 1925. S. 197–199, 209.

[59] KJante M. Von derWolga zum Amur. Berlin, 1931. S. 137.

[60] Мелыунов СП. Трагедия адмирала Колчака. Белград. 1930. Т. 1. С. 133.

[61] Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. Таллинн; Париж, 1937. Ч. 3. Кн. 7. С. 67; Klante. Von derWolga. S. 134–136.

[62] Klante. Von der Wolga. S. 100.

[63] Ullman. Intervention. P. 154–155; Baumgart. Ostpolitik. S. 53.

[64] Sadoul. Notes. P. 368; Kennan. Decision. P. 150.

[65] Sadoul. Notes. P. 366; Головин. Российская контрреволюция. Ч. 3. Кн. 7. С. 71.

[66] Максаков В., Турунов А. Хроника гражданской войны в Сибири, 1917–1918. М.; Л., 1926. С. 168.

[67] Baumgart. Ostpolitik. S. 56–57.

[68] Bunyan J. Intervention, Civil War and Communism in Russia. Baltimore, 1936. P. 89.

[69] Ibid. P. 90.

[70] Мелыунов. Трагедия адмирала Колчака. Т. 1. С. 43.

[71] Baumgart. Ostpolitik. S. 345; Bothmer. Mit Graf Mirbach. S. 63.

[72] Декреты. Т. 2. С. 151–153.

[73] Там же. С. 334–335.

[74] НЖ. 1918. 7 июня. № 110 (325). С. 3.

[75] Декреты. Т. 3. С. 108 — 109.

[76] Erickson // Revolutionary Russia/ Ed. by Pipes. P. 248.

[77] Декреты. Т.3. С. 111–113.

[78] Erickson // Revolutionary Russia/ Ed. by Pipes. P. 257–258.

[79] Протоколы заседаний Всероссийского Центрального исполнительного комитета 5-го созыва: Стеногр. отчет. М., 1919. С. 80.

[80] НЖ. 1918.18 мая. № 93 (308). С. 3.

[81] Лелевич Г. [Могилевский Л.] В дни самарской учредилки. М., 1921. С. 9–10; см. также: Ленин. Соч. Т. 23. С. 644; Stewart G. The White Annies of Russia. N.Y., 1933. P. 145.

[82] Kante. Von der Wolga.

[83] Головин. Российская контрреволюция. Ч. 3. Кн. 7. С. 72.

[84] Hogenhuis-Seliverstoff. Les Relations Franco-Sovietiques. 1917–1924. Paris, 1981. P. 65.

[85] Sadoul. Notes. P. 369–371.

[86] Klante. Von der Wolga. S. 178.

[87] Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 711.

[88] Ibid S. 474.

[89] Ibid. S. 81,269–270, 279–280.

[90] Ibid. S. 385–387.

[91] Ibid. S. 74–75.

[92] Baumgart. Ostpolitik. S. 84.

[93] Ibid. S. 110, note 78.

[94] Архив МИД Франции: April 26, 1918, Lavergne, Z 3919.

[95] Baumgart. Ostpolitik. S. 84; Kurt Riezler / Ed. by Erdmann. S. 467.

[96] Известия. 1918. 5 июля. № 138.

[97] Владимирова В.//ПР. 1927. № 4 (63). С. 110–111.

[98] Протокол заседания см.: Красная книга ВЧК. М., 1920. Т. 1. С. 129–130; Гусев К. Крах партии левых эсеров. М, 1963. С. 193–194.

[99] Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 129–130.

[100] Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 467; Paquet A. Im Kommunistischen Russland: Briefe aus Moskau. Jena, 1919, S. 26.

[101] Знамя труда. 1918. 29 июня. № 238. С. 1; повторялось в выпусках от 30 июня и 2 июля.

[102] Bunyan. Intervention. P. 197–198.

[103] Ibid. P. 198–204.

[104] Показания, данные 8 мая 1919 г., см.: Красная книга ВЧК. Т. 2. С. 224–233.

[105] Текст см.: Борис Савинков перед Военной коллегией Верховного Суда СССР. М., 1924. С. 225–226; Kurt Riezler / Ed. by Erdmann. S. 713–715.

[106] Это описание совпадает со свидетельством Рицлера, сделанным в 1952 г. См.: Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 713–714.

[107] Ленин. Хроника. Т. 5. С. 606.

[108] Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 715. Baumgart. Ostpolitik. S. 228, note 71.

[109] Спирин Л.М. Крах одной авантюры. М., 1971. С. 35.

[110] Там же. С. 38.

[111] Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 194.

[112] Владимирова//ПР. 1927. № 4 (63). С. 121.

[113] Вацетис // Память. № 2. С. 19.

[114] Пятый Всероссийский съезд Советов: Стеногр. отчет; 9 июля 1918 г.: 3-я сессия. М., 1918. С. 109.

[115] Дзержинский Ф.Э. // Правда. 1918. 8 июля. № 139. Воспроизводится в его «Избранных произведениях» (М., 1967. Т. 1. С. 265).

[116] Вацетис // Память. № 2. С. 19.

[117] НВ. 1918.10 июля. № 113 (137). С. 3.

[118] Steinberg! [Isaac]. The Events of July 1918- рукопись хранится: Hoover Institution Archive, DK 265. S. 81. P. 20.

[119] Спирин. Крах. С 42.

[120] Steinberg. The Events. P. 122.

[121] Ленин. Хроника. Т. 5. С. 610.

[122] Вацетис // Память. № 2. С. 26–27.

[123] Там же. С. 27.

[124] Там же. С. 28.

[125] Там же. С. 40–41.

[126] Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 715.

[127] Helfferich K. Der Weltkrieg. Berlin, 1919. Bd. 3. S. 654.

[128] Правда. 1918. 27 июля. № 156. С. 1.

[129] Петроградская правда. 1918.24 окт. № 233 (459). С. 1.

[130] Katkov G. // St. Antony's Papers, No. 12: Soviet Affairs / Ed. by D.Footman. Lnd., 1962. № 3. P. 53–93.

[131] Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution / Ed. by W.Baumgart. Gottingen, [1971]. S. 65.

[132] Спирин. Крах. С 80.

[133] Helfferich. Der Weltkrieg. Bd. 3. S. 654.

[134] Steinberg I. Spiridonova. N.Y., 1935; Память. № 2. С. 80.

[135] Спирин. Крах. С. 85; Deutscher I. The Prophet Armed: Trotsky, 1879–1921. N.Y., Lnd., 1954. P. 403; Троцкий Л. Портрет революционеров. Benson, Vt., 1988. С. 268–278.

[136] Ленин. Соч. Т. 23. С. 561, 581–584.

[137] Правда. 1918. 8 июля. № 139. С. 1.

[138] Биографический очерк о нем см.: Мельгунов С.П. // На путях к «третьей» России. Варшава, 1920.

[139] Деникин А.И. Очерки русской смуты. Берлин, 1924. Т. 3. С. 79.

[140] ПН. 1924. Юсент. № 1342. С. 2.

[141] Masaryk. Die Weltrevolution. S. 209.

[142] Савинков Б. Борьба с большевиками. Варшава, 1923. С. 26; Савинков перед Военной коллегией. С. 64; Деникин. Очерки. Т. 3. С. 79.

[143] Ullman. Intervention. P. 190.

[144] Noulens. Mon Ambassade. Vol. 2. P. 108–109.

[145] Архив МИД Франции. № 223. 5 мая 1918 г.; Савинков перед Военной коллегией. С. 58.

[146] Перхуров // Ярославский мятеж: По запискам генерала Перхурова / Под ред. С. и М. Бройде. М., 1930. С. 16.

[147] Grenard F. La Revolution Russe. Paris, 1933. P. 322. Ср.: Kennan. The Decision. P. 436 (Макларен — ген. Пулю).

[148] Савинков. Борьба. С. 24.

[149] Описание структуры организации см.: Савинков перед Военной коллегией. С. 48–49, 51.

[150] Ярославский мятеж/ Под ред. Бройде. С. 17–18; Савинков. Борьба. С. 29–30.

[151] Ярославский мятеж/ Под ред. Бройде. С. 14–15.

[152] Голос минувшего на чужой стороне. 1928. № 6 (19). С. 117.

[153] Савинков. Борьба. С. 28.

[154] Савинков перед Военной коллегией. С. 56–57; Перхуров // Ярославский мятеж / Под ред. Бройде. С. 25.

[155] Савинков перед Военной коллегией. С. 60.

[156] Савинков. Борьба. С. 28.

[157] Перхуров // Ярославский мятеж / Под ред. Бройде. С. 19.

[158] Там же. С. 25.

[159] Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 101.

[160] Спирин. Крах. С. П.

[161] Свидетельство председателя германской комиссии по репатриации лейт. Балка см.: Bothmer. Mit Graf Mirbach. S. 150–154.

[162] Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 106; Bothmer. Mit Graf Mitbach. S. 150–154. i" Правда. 1918. 26 июля. № 155. С. 3; Bothmer. Mit Graf Mirbach. S. 110.

[164] Описание этого суда см.: Савинков перед Военной коллегией; Дело Бориса Савинкова. М., 1924.

[165] Ярославский мятеж / Под ред. Бройде.

[166] Шестнадцать дней: Материалы по историии ярославского белогвардейского мятежа / Под ред. Н.Г.Палгунова и О.И.Розановой. Ярославль, 1924. С. 135–141.

[167] Pacquet A.//Von Brest-Litovsk/Ed. byW.Baumgart. Gottingen, [1971]. S. 66–67.

[168] Baumgart. Ostpolitik. S. 230.

[169] Kurt Riezler / Ed. by Erdmann. S. 474.

[170] Ibid. S. 719.

[171] Ibid. S. 474–475.

[172] Riezler// Baumgart. Ostpolitik. S. 230–231.

[173] Память. № 2. С 43–44.

[174] Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 112–113; Helfferich. Der Weltkrieg. Bd. 3. S. 652.

[175] Деникинский архив. Bakhmeteff Archive, Columbia University. «Из дневника князя Григория Трубецкого». С. 8.

[176] Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 722.

[177] Телеграмму Рицлерасм.: Ibid. S. 732.

[178] Baumgart. Ostpolitik. S. 231; Ленин. ПСС. Т. 36. С. 523.

[179] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 523–526.

[180] Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 467.

[181] Baumgat. Ostpolitik. S. 244.

[182] Черновик документа от 11 июля пересказан в кн.: Baumgart. Ostpolitik. S. 225–226.

[183] Kennan. The Decision. P. 391–404; Ullman. Intervention. P. 192, 195–196.

[184] Ullman. Intervention. P. 240–242.

[185] Ibid.

[186] Baumgart. Ostpolitik. S. 102–104.

[187] Gilbert M. Winston S. Churchill. Lnd., 1975. Vol. 4. P. 224.

[188] Ullman. Intervention. P. 240.

[189] Ibid.

[190] Ibid.

[191] Noulens. Mon Ambassade. Vol. 2. P. 176.

[192] Klante. Von der Wolga. S. 180–181.

[193] Skacel J. Ceskoslovenska Armada v Rusku a Kolcak. Prague, 1926. C 36.

[194] Klante. Von der Wolga. S. 195.

[195] Мельгунов. Трагедия адмирала Колчака. Т. 1. С. 100–101.

[196] Головин. Российская контрреволюция. Ч. 3. Кн. 7. С. 119.

[197] Hetfferich. Der Weltkrieg. Bd. 3. S. 653; Ленин. ПСС. Т. 50. С. 134–135; Rosenfeld G. Sowjet — Russland und Deutschland, 1917–1922. S. 119; Baumgart. Ostpolitik. S. 108–110.

[198] Kurt Riezler/ Ed. by Erdmann. S. 472.

[199] Baumgart. Ostpolitik. S. 239–240. Ср.: Rosenfeld. Sowjet — Russland. S. 119, где впервые опубликован сходный анализ ситуации, сделанный Гельферихом 19 авг.

[200] Baumgart. Ostpolitik. S. 245–246.

[201] Rosenfeld. Sowjet — Russland. S. 106.

[202] Baumgart. Ostpolitik. S. 275.

[203] ИСССР. 1958. № 4. С 13–14.

[204] Baumgart. Ostpolitik. S. 186, 280.

[205] Ленин. Хроника. Т. 6. С. 83.

[206] Baumgart. Ostpolitik. S. 114.

[207] Перехваченное донесение Иоффе в Москву см.: Gatzke H.W. // VZ. 1955. Bd.3.№l.S. 96–97.

[208] Baumgart. Ostpolitik. S. 115.

[209] Europaische Gesprache. 1926. Bd 4. № 3. S. 148.

[210] Gatzke// VZ. 1955. Bd. 3. № 1. S. 96–97.

[211] Baumgart. Ostpolitik. S. 302–303.

[212] Протоколы ВЦИК 5-го созыва. С. 95.

[213] Baumgart. Ostpolitik. S. 317–318.

[214] Кобляков // ИСССР. 1958. № 4. С. 15; Baumgart. Ostpolitik. S. 319–321.

[215] Baumgart. Ostpolitik. S. 321–322; Ludendorff. My War Memoires. Lnd., n. d. Vol. 2. P. 659.

[216] Ленин. ПСС. Т. 37. С. 97–100.

[217] Bunyan. Intervention. P. 151; Протоколы ВЦИК 5-го созыва. С. 251–253.

[218] Baumgart. Ostpolitik. S. 357.

[219] Иоффе // ВЖ. 1919. № 5. С. 38.

[220] Tiedemann. Sowjetrussiand. S. 74; Baumgart. Ostpolitik. S. 365 n.

[221] Baumgart. Ostpolitik. S. 358. Описание этого эпизода в советской литературе см.: Документы внешней политики СССР. М., 1957. Т. 1. С. 560–564.

[222] СУиР. 1917–1918. № 947. С. 2, 207–208.

[223] Wheeler-Bennet. The Forgotten Peace. P. 370–371, 451–453.

[224] Helflerich. Der Weltkrieg. Bd. 3. S. 656.

[225] Debo R.K. Revolution and Survival. Liverpool, 1979. P. XIII.

[226] Pearce B. How Haig Saved Lenin. Lnd, 1987. P. 7.

Глава седьмая

[1] Советская Историческая Энциклопедия. М., 1963. Т. 3. С. 600.

[2] Ленин. ПСС. Т. 43. С. 220.

[3] Об этом см.: Roberts P.C. // Alienation and the Soviet Economy. New Mexico: University Press, 1971. P. 20–47; Malle S. The Economic Organization of War Communism, 1918–1921. Cambridge, 1985. P. 1–23.

[4] Троцкий Л. Что такое СССР и куда он идет? Париж, б. г. С. 16.

[5] СУиР. № 154. С. 152; № 674. С. 743–746.

[6] Там же. № 425. С. 397–398; № 420. С. 394–396.

[7] Там же. № 456. С. 428–430.

[8] Об этом см.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004. В особенности главу 4.

[9] Приводится в кн.: Lorenz R. Anfange der Bolschewistischen Indust-riepolitik. Koln, 1965. S. 85. См. также: Kolakowski L. Main Currents of Marxism. Oxford, 1978. Vol. 2. P. 297–304.

[10] Pollock F. Die Planwirtschaftlichen Versuche in der Sowjetunion, 1917–1927. Leipzig, 1929. S. 33.

[11] Ленин. ПСС. Т. 34. С. 307.

[12] Троцкий Л. ОЛенине. М., 1924. С. 112.

[13] Ленин. ПСС. Т. 34. С. 307–308.

[14] Там же. Т. 35. С. 123.

[15] Ларин Ю.//НХ. 1918. № 11. С. 16.

[16] Известия. 1917.18 нояб. № 229. С. 3.

[17] О нем см.: Liberman S. Building Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 55; НХ. 1919. № 6. С 27–32; Lorenz. Anfange. S. 137–140; Циперович Г. Синдикаты и тресты в дореволюционной России и в СССР. Л., 1927. С. 387–392.

[18] Свидетельство Мещерского см.: НС. 1918. 26 мая. № 33. С. 3; Lorenz. Anfange. S. 138.

[19] Lorenz. Anfange. S. 140; Циперович. Синдикаты и тресты. С. 386–387.

[20] НЖ. 1918.28 апр. № 79 (294). С. 3.

[21] Опубликовано в Германии под назв.: Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die Sozialistische Sowjet-Republik Retten (Berlin, 1919).

[22] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 300.

[23] Там же. С. 255 — курсив наш.

[24] Известия. 1918. 17 апр. № 76 (340). С. 2.

[25] Осинский Н. Строительство социализма. М., 1918.

[26] Там же. С. 46.

[27] Суханов Н.Н. Записки о революции. Берлин; СПб., М., 1922. Т. 2. С. 239.

[28] Taine H. The French Revolution. N.Y., 1892. Vol. 2. P. 13–14.

[29] Приводится в кн.: Malle. Wai Communism. P. 165.

[30] Восьмой съезд РКП(б), март 1919 г.: Протоколы. М., 1959. С. 407–408.

[31] Чуцкаев С. // ЭЖ. 1920. 13 нояб. № 255. С. 2.

[32] НХ. 1920. № 1/2. С. 9.

[33] ЭЖ. 1920.31 июля. № 167. С. 1.

[34] Сагг Е.Н. The Bolshevik Revolution, 1917–1923. N.Y., 1952. Vol. 2. P. 246.

[35] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 351.

[36] Ленин. Соч. Т. 23. С. 18; Т. 36. С. 351 — в этой цитате опущено первое предложение.

[37] Восьмой съезд РКП(б). С. 407–408.

[38] Юровский Л.Н. Денежная политика советской власти (1917–1927). М., 1928. С. 43.

[39] Декреты. Т. 3. С. 454.

[40] Katzenellenbaum S.S. Russian Currency and Banking, 1914–1924. Lnd., 1925. P. 74–75.

[41] Декреты. Т. 5. С. 189–190.

[42] Юровский. Денежная политика. С. 75.

[43] Атлас З.В. Очерки по истории денежного обращения в СССР (1917–1925). М., 1940. С. 58–59.

[44] НХ. 1920. № 1/2. С. 10.

[45] Юровский. Денежная политика. С. 71.

[46] Там же. С. 75.

[47] Malle. War Communism. P. 164.

[48] Scheibert P. Lenin an der Macht. Weinheim, 1984. P. 250.

[49] Юровский. Денежная политика. С. 73.

[50] Katzenellenbaum. Russian Currency. P. 74–75.

[51] Ibid. P. 77.

[52] Девятый съезд РКП(б): Протоколы. М., 1960. С. 426.

[53] Там же. С. 425.

[54] Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М., 1961. С. 296.

[55] Пайпс Р. Струве: правый либерал. М., 2001. С. 182–185.

[56] Bunyan J. Intervention, Civil War and Communism in Russia. Baltimore, 1936. P. 406–407.

[57] Декреты. Т. 4. С. 314–316,457-461; Т. 5. С. 217–231.

[58] НХ. 1920. № 1/2. С. 8–9.

[59] Ленин. Хроника. Т. 8. С. 291. Ср.: ЛС. Т. 24. С. 95.

[60] Yurovsky L.N. Currency Problems and Policy of the Soviet Union. Lnd, 1925. P. 22.

[61] Ленин. ПСС.Т.36.С7.

[62] ЭЖ. 1920. 9 нояб. № 261. С. 1.

[63] Декреты. Т. 1. С. 172–174. Его историю можно найти в кн.: Дробижев В.З. Главный штаб

социалистической промышленности. М., 1966; Циперович. Синдикаты и тресты. С. 373–511.

[64] ЭЖ. 1920. 9 нояб. № 261. С. 1.

[65] Pollock. Die Planwirtschaftlichen Versuche. S. 80.

[66] Liberman. Building. P. 67; Гурович А. //АРР. 1922. Т. 6. С 319.

[67] Гурович // Там же.

[68] О нем см. его автобиограф, очерк в Энцикл. Словаре т-ва Гранат (Т. 41. Ч. 1. С. 272–282) и воспоминания в НХ (1918. № 11. С. 16–23). См. также: Liberman. Building. P. 20–23.

[69] Ларин Ю. [МЛурье]. Письма о Германии. Пг., б. г.

[70] См. его письмо в кн.: Революция. Т. 4. С. 383–384.

[71] Рыков//НХ. 1918.№ Ю.С.31–32.

[72] Miliutin V. La Nationalisation de l'Industrie. M., 1919. P. 8–9.

[73] Декреты. Т. 2. С. 498–503.

[74] Ларин // НХ. 1918. № 11. С. 20; Liberman. Building. P. 24–26.

[75] Ларин // Там же.

[76] Крицман Л.Н. Героический период Великой русской революции. М.; Л., 1926. С. 64, 131–132.

[77] Там же. С. 62.

[78] Швитау Г.Г. Революция и народное хозяйство в России (1917–1921). Лейпциг, 1922. С. 74.

[79] Полный список см.: Крицман. Героический период. С. 103–104.

[80] Ларин // НХ. 1922. № 9/10. С. 40.

[81] См.: Вайнштейн А. // НХ. 1920. № 5/6. С. 54–56.

[82] Милютин В.П. Народное хозяйство Советской России. М., 1920. Прил.

[83] Девятый съезд РКП(б). С. 104.

[84] Литвинов // Правда. 1920. 21 нояб. № 262. С. 1.

[85] Арский Р. // ЭЖ. 1918. 23 нояб. № 14. С. 1.

[86] Кактын А. // НХ. 1919. № 4. С. 16–19.

[87] Вайнштейн // НХ. 1920. № 5/6. С. 54–55.

[88] Гурович А. //АРР. 1922. Т. 6. С. 315–316.

[89] Trotsky. Arbeit. S. 11–13; Ленин. ПСС. Т. 36. С. 380–381.

[90] Гинс ПК. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921. Т. 2. С. 429.

[91] Об этом см.: Carr. The Bolshevik Revolution. Vol. 2. P. 186.

[92] Дробижев. Главный штаб. С. 121.

[93] Напр.:Крумин//ЭЖ. 1919. 15 окт. № 230. С. 1.

[94] Крицман. Героический период. С. 163–164.

[95] Там же. С. 190.

[96] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 326.

[97] Крицман. Героический период. С. 153–154.

[98] Там же. С. 154–155.

[99] Там же.

[100] ЭЖ. 1920. 28 сент. № 215. С. 1; 2 окт. № 219. С. 1.

[101] Струмилин С. // ЭЖ. 1920. 9 окт. № 225. С. 2.

[102] Крицман. Героический период. С. 184–185.

[103] Восьмой съезд РКП(б). С. 407.

[104] См.: Scheibert. Lenin. S. 254–262.

[105] Декреты. Т. 4. С. 491–508.

[106] Крицман. Героический период. С. 113.

[107] Там же. С. 220.

[108] Там же. С. 141.

[109] Декреты. Т. 12. С. 10–12; Т. 11. С. 43–45; СУиР. 1921. № 6. Ст. 47 приводится в кн.: Carr. The Bolshevik Revolution. Vol. 2. P. 260; Malle. War Communism. P. 181–182.

[110] Pollock. Die Planwirtschaftlichen Versuche. S. 70–71.

[111] Ган Е. // Известия. 1920. 30 окт. № 243. С. 1. Ср.: Крицман. Героический период. С. 133.

[112] Крицман. Героический период. С. 140.

[113] Лоситский А. // ЭЖ. 1920. 25 мая. № 111. С. 1.

[114] Крицман. Героический период. С. 139.

[115] Goldschmidt A. Moskau 1920. Berlin,J920. S. 30, 87–88.

[116] Беляев В. Исповедь комиссара. Н.-Й., 1921. С. 8–10.

[117] Крицман. Героический период. С. 140.

[118] ЭЖ. 1920.18 февр. № 36. С. 1.

[119] Carr. The Bolshevik Revolution. Vol. 2. P. 244.

[120] Троцкий Л. Соч. М., б. г. Т. 12. С. 128–129.

[121] Девятый съезд РКП(б). С. 91.

[122] Третий Всероссийский съезд профессиональных союзов: Стеногр. отчет. М, 1921. Ч. 1. С. 87–88.

[123] Там же. С. 89.

[124] Одиннадцатый съезд РКП(б). С. 37–38.

[125] Там же. С. 103–104.

[126] Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. М., 1953. Т. 1. С. 351.

[127] Ленин. ПСС. Т. 34. С. 193.

[128] Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. М., Л., 1928. С. 165.

[129] Декреты. Т. 1.С. 226.

[130] Там же. С. 322; основано на черновике Ленина: Там же. С. 316.

[131] Там же. Т.3.С.461–463.

[132] Известия. 1920. 11 дек. № 279 (126). С. 2.

[133] Dewar M. Labour Policy in the USSR, 1917–1928. N.Y., 1956. P. 174–199.

[134] Троцкий. Соч. М.; Л., 1927. Т. 15. С. 126.

[135] Liberman. Building. P. 19.

[136] Троцкий Л. Как вооружалась революция. М., 1924. Т. 2. Ч. 2. С. 33–36.

[137] Приводится в кн.: Carr. The Bolshevik Revolution. Vol. 2. P. 210.

[138] Dewar. Labour Policy. P. 213.

[139] Liberman. Building. P. 73.

[140] Троцкий. Соч. Т. 12. С. 160.

[141] Декреты. Т. 1. С. 77–85; Malle. War Communism. P. 93.

[142] Brinton M. The Bolsheviks and Worker's Control, 1917 to 1921. Lnd., 1970. P. 16.

[143] Ibid. P. 18.

[144] Первый Всероссийский съезд профессиональных союзов, 7-17 янв. 1918 г. М., 1918.

[145] Второй Всероссийский съезд профессиональных союзов. М., 1921. 4.1. С. 97.

[146] Там же.

[147] Троцкий. Как вооружалась революция. Т. 2. Ч. 2. С. 78.

[148] Гарви П.А. Профессиональные союзы в России в первые годы революции. Н.-Й., 1958. С. 46.

[149] Милонов Ю. Путеводитель по резолюциям всероссийских съездов и конференций профессиональных союзов. М., 1924. С. 61.

[150] Первый Всероссийский съезд профессиональных союзов. С. 367.

[151] Sorenson J. The Life and Death of Soviet Trade Unionism, 1917–1928. N.Y., 1969. P. 37–38.

[152] Крицман. Героический период. С. 165, 186.

[153] Правда. 1921. 11 февр. № 30. С. 1. См. также: Ларин // ЭЖ. 1920. 7 авг. № 173. С. 1.

[154] Крумин Г.//ЭЖ. 1920.3июня.№ 118.С. 1.

Глава восьмая

[1] Das Kapital. Bd. 1. Kap. 15. См. об этом: Mitrany D. Marx Against the Peasant. Chapel Hill, N.C., 1951.

[2] Willets H. // Lenin: The Man, the Theorist, the Leader / Ed. by L.Schapiro, P.Reddaway. Lnd., 1967. P. 212.

[3] Аграрный вопрос и социальная демократия в России // Доклад делегации русских социал-демократов на Международном социалистическом конгрессе в Лондоне в 1896 году. Женева, 1896. [Написан П.Б.Струве.]

[4] Ленин. ПСС. Т. 6. С. 310.

5 Там же. С. 347–348.

[6] См. напр.: Там же. Т. 37. С. 352–364.

[7] Н.Орлов цитируется В.В.Кабановым: ИЗ. 1968. № 82. С. 28.

[8] Правда. 1918. 5 нояб. № 240. С. 2. Подробнее см.: Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М., 1988. С. 22–32.

[9] А.Т. // Свобода России. 1918. 16 мая. № 26. С. 6.

[10] Поляков Ю.А. // История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР. М., 1963. С. 16.

[11] Там же. С. 16; Atkinson D. The End of the Russian Land Commune, 1905–1930. Stanford, Calif., 1983. P. 178–180.

[12] Данилов В.П. Перераспределение земельного фонда России. М., 1979. С. 283–287. Приводится в кн.: Кабанов. Крестьянское хозяйство. С. 49.

[13] БляхерЯ.//Вестник статистики. 1923.Т. 13.№ 1/3. С. 138.

[14] Там же. С. 146–147.

[15] Герасимюк В.Р. // ИСССР. 1965. № 1. С. 100.

[16] О земле: Сб. статей. 1921. *ГЛ. С. 9.*

[17] Пилецкий Я.//НЖ. 1918. 25янв. (7февр.). № 18 (232). С. 1.

[18] Анфимов А.М.//ВИ. 1955. Т. 6. № 1.С. 111–112.

[19] Кабанов. Крестьянское хозяйство. С. 50–51.

[20] Там же. С. 52–53.

[21] БСЭ.Т.50.С.359.

[22] Назаров И.В. // НЖ. 1918. 24 марта. № 50 (265). С. 1.

[23] Анфимов А.М., Макаров И.Ф. // ИСССР. 1974. № 1. С. 85.

[24] Thorniley D. The Rise and Fall of the Soviet Rural Communist Party, 1927–1939. Birmingham, 1988. P. 10.

[25] Герасимюк // ИСССР. 1965. № 1. С. 100.

[26] Там же. С. 102.

[27] Декреты. Т. 1.С. 410.

[28] Герасимюк // ИСССР. 1965. № 1. С. 100.

[29] Atkinson. Russian Commune. P. 185.

[30] Герасимюк В.Р. Начало социалистической революции в деревне. М., 1958. С. 73 — курсив наш.

[31] Кабанов. Крестьянское хозяйство. С. 182.

[32] См. с. 382–384 нашего издания.

[33] НЖ. 1918. 18 (31) янв. № 12 (226). С. 1.

[34] Там же.

[35] НЖ. 1918.15 февр. № 25 (239). С. 4.

[36] Там же. 26 мая. № 100 (315). С. 1.

[37] Brutzkus B. // Quellen und Studien, N.F.Berlin, 1925. № 2. S. 160 — цитируется в кн.: Pollock F. Die Planwirtschaftlichen Versuche in der Sowjetunion, 1917–1927. Leipzig, 1929. S.71.

[38] Поляков // История советского крестьянства. С. 38.

[39] Декреты. Т. 1. С. 406; НЖ. 1918. 3 мая. № 82 (297). С. 4.

[40] НД. 1918.1 (14) февр. № 1. С. 1.

[41] Напр.: НЖ. 1918.14 марта. № 41 (256). С. 4.

[42] Воспроизведено: НЖ. 1918. 10 марта. № 39 (254). С. 4.

[43] Там же. 28 апр. № 79 (294). С. 4.

[44] Орлов Н. Девять месяцев продовольственной работы советской власти. М., 1918. С. 44–45. Этим сообщением я обязан Леониду Херетцу.

[45] НЖ. 1918. 24 мая. № 98 (313). С. 3. [4]«ЛС.Т. 18. С. 81.

[47] Орлов. Девять месяцев. С. 82.

[48] СВ. 1921. 18 марта. № 4. С. 4.

[49] Цюрупа А.Д. // Пятый Всероссийский съезд Советов: Стеногр. отчет. М, 1918. С. 140–141.

[51] Декреты. Т. 1. С. 459–460; ср.: ЛС. Т. 18. С. 78–79. [5] Напр.: Декреты. Т. 1. С. 502.

[52] НЖ. 1918. 20 февр. № 29 (243). С. 1.

[53] Ленин. Соч. Т. 23. С. 542.

[54] Декреты. Т. 2. С. 48–50.

[55] ЛС.Т. 18. С. 92.

[56] НЖ. 1918. 25 мая. № 99 (314). С. 1.

[57] Протоколы заседаний Всероссийского центрального исполнительного комитета 4-го созыва. М., 1920. С. 294.

[58] Цитируется в: НЖ. 1918. 19 апр. № 71 (286). С. 1.

[59] Пайпс Р. Струве: левый либерал. М., 2001. С. 190–191.

[60] Окнинский А.Л. Два года среди крестьян. Рига, 11936]. С. 93.

[61] Об этом см.: Frierson C. From Narod to Kulak: Peasant Images in Russia, 1870 to 1885. Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1985.

[62] Ленин. ПСС. Т. 38. С. 197.

[63] Советы в эпоху военного коммунизма, 1918–1921 / Под ред. В.П.Антонова-Саратовского. М., 1928. Т. 1. С. 131.

[64] НЖ. 1918. 19 июня. № 117 (332). С. 3.

[65] Напр.: Ленин. ПСС. Т. 37. С. 354–355.

[66] Там же. С. 40.

[67] Там же. Т. 3. С. 62; Т. 16. С. 205.

[68] Там же. Т. 38. С. 255.

[69] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1960. Т. 16. С. 419.

[70] Ленин. ПСС. Т. 37. С. 226.

[71] Милютин В.П. Аграрная политика СССР. М.; Л., 1929. С. 106.

[72] Там же.

[73] Декреты. Т. 2. С. 264–266; ЛС. Т. 18. С. 82–88.

[74] ЛС.Т. 18. С. 82.

[75] Напр.: НЖ. 1918.19 апр.№ 71 (286). С. 4.

[76] Keep J.L.H. The Russian Revolution. Lnd., 1976. P. 424.

[77] Декреты. Т. 2. С. 298–301.

[78] НЖ. 1918. 25 мая.№ 99. С. 4; 29 мая.№ 102 (317). С. 3.

[79] Там же.31мая.№ 104(319). С. 1.

[80] Там же. 1 июня. № 105 (320). С. 1.

[81] Ленин. Хроника. Т. 6. С. 313, 369, 507, 542. О принципах комплектования этих отрядов см.: ЭЖ. 1918. 27 нояб.№ 17. С. 1–2.

[82] Декреты. Т. 2. С. 387.

[83] См., напр., речь Цюрупы: Пятый съезд Советов. С. 144.

[84] Декреты. Т. 3. С. 178–180. ss ЛС. Т. 18. С. 93–94.

[86] НЖ. 1918. 9 июня. № 112 (327). С. 3.

[87] Atkinson. Russian Commune. P. 191–193.

[88] Shanin T. The Awkward Class. Oxford, 1972. P. 147.

[89] НВ. 1918.20июня.№ 97(121). С.4.

[90] Керженцев В. Известия. 1919. 22 янв. № 15 (567). С. 1.

[91] Лацис М.Я. Два года борьбы на внутреннем фронте. М., 1920. С. 75.

[92] Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России, 1917–1920 гг. С. 185.

[93] Очерки истории челябинской областной партийной организации. Челябинск, 1967. С. 94.

[94] Дополнительную информацию см.: Окнинский. Два года. С. 128–151; НЖ. 1918. 19 апр. № 71 (286). С. 4; Герасимюк. Начало. С. 84–85; Пензенская организация КПСС в годы гражданской войны / Под ред. Л.Г.Сытова. Пенза, 1960. С. 87–99. ЛС. Т. 18. С. 202–205; Советы / Под ред. Антонова-Саратовского. Т. 1.С. 151.

[95] Френкин М. Трагедия крестьянских восстаний. [Иерусалим! 1987. С. 79, 85–88.

[96] Ленин. ПСС. Т. 50. С. 126–127.

[97] ЛС.Т. 18.С. 145.

[98] Там же. С. 146.

[99] Там же. С. 203.

[100] Декреты. Т. 3. С. 178–180.

[101] ЛС.Т. 18. С. 146.

[102] Keep. The Russian Revolution. P. 462.

[103] Ленин. ПСС. Т. 39. С. 407.

[104] Декреты. Т. 3. С. 224–226.

[105] Советы / Под ред. Антонова-Саратовского. Т. 1. С. 54–56.

[106] Камков Б.Д. // Пятый съезд Советов. С. 75.

[107] Декреты. Т. 2. С. 295, 416–420.

[108] Протоколы… ВЦИК 4-го созыва. С. 398–419.

[109] Герасимюк// ИСССР. 1960.№ 4. С. 122, 125.

[110] Комитеты бедноты: Сб. материалов / Под ред. В.Н.Аверева. М.; Л., 1933. Т. 1.С. 120.

[111] Герасимюк // ИСССР. 1960. № 4. С. 122.

[112] Комитеты бедноты / Под ред. Аверева. Т. 1. С. 183.

[113] Гимпельсон Е.Г. Советы в годы интервенции и гражданской войны. М, 1968. С. 68.

[114] Ленин. ПСС. Т. 37. С. 181.

[105] Декреты. Т. 3. С. 540–541.

[106] Там же. Т. 4. С. 112–119.

[117] Ср.: Гимпельсон. Советы.

[118] Там же. С. 49.

[119] Советы / Под ред. Антонова-Саратовского. Т. 1. С. 264, 405.

[120] Гимпельсон. Советы. С. 54.

[121] Советы / Под ред. Антонова-Саратовского. Т. 1. С. 129.

[122] Там же. С. 439, а также с. 264, 435.

[123] Крицман Л.Н. Героический период Великой русской революции. М.; Л., 1926. С. 155.

[124] Russell B. Bolshevism: Practice and Theory. N.Y., 1920. P. 37.

[125] Meijer J.M.// Revolutionary Russia/ Ed. by R.Pipes.Cambridge, Mass., 1968. P. 268.

[126] ЛС.Т. 18. С 143–144.

[127] Напр., речь, произнесенная 11 дек. 1918 г. см.: Ленин. ПСС. Т. 37. С. 361.

[128] РМ. 1923–1924. № 9 (12). С. 200.

[129] Кабанов. Крестьянское хозяйство. С. 202.

[130] Shanin. The Awkward Class. P. 164–169.

[131] Ленин. ПСС. Т. 37. С. 354 — курсив наш.

Глава девятая

[1] Свердлов в обращении к ЦИК 9 мая 1918 г. См.: Протоколы заседаний Всероссийского центрального исполнительного комитета 4-го созыва. М., 1920. С. 240.

[2] НВ. 1918. 2 апр. № 63 (87). С. 3.

[3] Liberman S. Building Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 56–57.

[4] Джордж Бьюкенен — А.Бальфуру 8 сент. 1917 (Public Record Office. Lnd. F.O. 371 (3015)).

[5] Ленин. Хроника. Т. 5. С. 165–166.

[6] НЖ. 1918. 16марта.№ 43 (258). С. I.

[7] Там же. 26 марта. № 51 (266). С. 3; НВ. 1918. 4 апр. № 73 (97). С. 3.

[8] Ленин. ПСС.Т. 21. С. 17.

[9] НС. 1918. 13 апр. № 1.С.2;НВ. 1918.4 апр. № 73 (97). С. 3.

[10] НВЧ. 1918.22апр.№ 65.С. 1.

[11] Авдеев АД. // КН. 1928. № 5. С. 187.

[12] Lefevre G. The French Revolution. N.Y., 1962. P. 270.

[13] Быков П.М. Последние дни последнего царя // Рабочая революция на Урале / Под ред. Н.И.Николаева. Екатеринбург, 1921. С. 7.

[14] Быков П.П. Последние дни Романовых. Свердловск, 1926. С. 89, 307–308; Bulygin P. The Murder of the Romanovs. Lnd., 1935. P. 203–205; Соколов НА. Убийство царской семьи. Париж, 1925. С. 42–43; Мельгунов СП. Судьба императора Николая II после отречения. Париж, 1951. С. 276–279. Радзинский Э.С. Господи… Спаси и усмири Россию: Жизнь и смерть Николая II. М.: Вагриус, 1993.

[15] Корецкий И. // ПР. 1922. № 4. С. 13.

[16] Gilliard P. Thirteen Years at the Russian Court. N.Y., 1921. P. 257–258; Мельгунов. Судьба. С. 250–258.

[17] Протоколы ВЦИК 4-го созыва. С. 240–241. Ср.: Быков. Последние дни Романовых. С. 89; Иоффе Г. // Советская Россия. 1987. 12 июля. № 161(9412). С. 4.

[18] Иоффе Г.З. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977. С. 148–157; см. также: Урал. 1988. № 7. С. 147–150.

[19] Быков. Последние дни Романовых. С. 90.

[20] Там же. С. 91.

[21] Соколов. Убийство. С. 44.

[22] Авдеев//КН. 1928. № 5. С. 191.

[23] Соколов. Убийство. С. 45.

[24] Яковлев // Известия. 1918.16 мая. № 96 (360). С. 2.

[25] Кобылинский // Вильтон Р. Последние дни Романовых. Берлин, 1923.

[26] Яковлев // Известия. 1918. 16 мая. № 96 (360). С. 2.

[27] Gilliard. Thirteen Years. P. 260–263.

[28] Быков. Последние дни Романовых. С. 99.

[29] Авдеев // КН. 1928. № 5. С. 190, 193; Быков. Последние дни последнего царя. С. 10.

[30] Levin I.D. Eyewitness to History. N.Y., 1963. P. 130.

[31] Касвинов М.К. Двадцать три ступени вниз. М., 1978. С. 454–455.

[32] Яковлев // РЛ. 1921. № 1. С. 152.

[33] Там же.

[34] Sokolov Archive. Houghton Library. Harvard University. Box 67. P. 212–213.

[35] Быков. Последние дни Романовых. С. 97; это подтверждается текстами телеграмм, которыми обменивались Яковлев и Свердлов. См.: Иоффе Г. // Советская Россия. 1987.12 июля. № 161 (9412). С. 4; Яковлев//Урал. 1988. № 7. С. 162.

[36] Авдеев // КН. 1928. № 5. С. 195–196.

[37] Быков. Последние дни Романовых. С. 98.

[38] Там же. С. 100.

[39] Яковлев// Известия. 1918. 16 мая. № 96 (360). С. 2.

[40] Быков. Последние дни Романовых. С. 64–65; Соколов. Убийство. С. 52.

[41] Быков. Последние дни последнего царя. С. 12.

[42] Авдеев // КН. 1928. № 5. С. 199–200.

[43] Там же. С. 197.

[44] Соколов. Убийство. С. 124.

[45] Авдеев // КН. 1928. № 5. С. 203.

[46] Соколов. Убийство. С. 129, 131.

[47] Авдеев // КН. 1928. № 5. С. 203; Быков. Последние дни последнего царя. С. 15.

[48] Бехтеев С.С. Песни русской скорби и слез. Мюнхен, 1923. Т. 1. С. 18; Соколов. Убийство. С. 282.

[49] Запись в дневнике Троцкого за 9 апр. 1935 г. см.: Trotsky Archive. Houghton Library. Harvard University. bMS/Russ 13. T — 3731. P. 110.

[50] О вел. кн. Михаиле см.: Poutianine O. // Revue des Deux Mondes. 1923. 1 Nov. Vol. 18. P. 56–78; 15 Nov. Vol. 18. P. 290–310; Г.Б. // Руль. 1929. 13янв.№ 2472.С5.

[51] Poutianine // Revue. 1923. 15 Nov. P. 309–310 — основываясь на рассказе камердинера вел. кн. Михаила; см. также: Соколов. Убийство. С. 266.

[52] Быков. Последние дни Романовых. С. 121; Соколов. Убийство. С. 266.

[53] Мельгунов. Судьба. С. 388.

[54] НЖ. 1918. 22 июня.№ 120 (335). С. 3; НВ. 1918. 19 июня. № 96 (120). С. 2; НВЧ. 1918. 19 июня.№ 93. С. 1.

Зарубежные отзывы см.: New York Times. 1918. 1 July. P. 5; The Times. 1918. 3 July. P. 6.

[55] НС. 1918. 19 июня. № 48 (согласно отсылке в: НВ. 1918. 29 июня.№ 97 (121). С. 3) было, к сожалению, мне недоступно. Ср.: Ленин. Хроника. Т. 5. С. 552.

[56] НВ. 1918. 23 июня. № 100 (124). С. 2.

[57] Дитерих М.К. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале. Владивосток, 1922. Т. 1. С. 61.

[58] Авдеев // КН. 1928. № 5. С. 202. Авдеев ошибочно называет его австрийцем.

[59] Быков. Последние дни последнего царя. С. 17–18.

[60] Smirnoffs. Autour de l'Assassinat des Grand-Dues. Paris, 1928. P. 14–15, 92–93, 104, 143. Быков (Последние дни последнего царя. С. 18) подтверждает, что Смирнов был арестован вместе с Мичичем (которого он ошибочно называет «Мигич»).

[61] Родина. 1989. № 4. С. 95.

[62] Авдеев // КН. 1928. № 5. С. 202.

[63] Соколов. Убийство. С. 147.

[64] Дневник Троцкого. С. 111 — запись за 9 апр. 1935 г.

[65] Быков. Последние дни Романовых. С. 106.

[66] Декреты. Т. 3. С. 22.

[67] Там же. С. 21–22; СУиР. № 583. С. 611–612.

[68] Sokolov Archive. Houghton Library. Harvard University. Box 7.

[69] Соколов. Убийство. С. 138.

[70] Там же; Вильтон Р. Последние дни Романовых.

[71] Ленин. Хроника. Т. 5. С. 580, 616.

[72] Касвинов. Двадцать три ступени. С. 489; Быков. Последние дни Романовых. С. 114.

[73] Быков. Последние дни последнего царя. С. 20.

[74] Me Cullagh F. // Nineteenth Century and After. 1920. Sept. № 123. P. 417.

[75] Соколов. Убийство. С. 230–238; Огонек. 1989. № 21. С. 30–32.

[76] Соколов. Убийство. С. 224–229.

[77] Огонек. 1989. № 21. С. 30.

[78] Соколов. Убийство. С. 232.

[79] Там же. С. 219.

[80] Там же. С. 222–223.

[81] Там же. С. 254.

[82] Огонек. 1989. № 21. С. 30–31.

[83] Показания П.В.Кухтенко в Соколовском Досье 1 (датировано 8 сент. 1918 г.) — купюра в оригинале.

[84] Соколов. Убийство. С. 261.

[85] Bulygin. The Murder. P. 256.

[86] Jagow K. // BM. 1935. May. № 5. S. 392.

[87] Bauragart W. Deutsche Ostpolitik, 1918. Vienna; Munich, 1966. S. 337.

[88] Jagow // BM. 1935. May. № 5. S. 393.

[89] Ленин. Хроника. Т. 5. С. 642.

[90] Соколов. Убийство. С. 247–249.

[91] Декреты. Т. 3. С. 57–58.

[92] Милютин В. // Прожектор. 1924. № 4. С. 10.

[93] Jagow// BM. 1935. May. № 5. S. 398.

[94] Ibid. S. 399; Bothmer K., von. Mit Graf Mirbach in Moskau. Tubingen, 1922. S. 103.

[95] Jagow // BM. 1935. May. № 5. S. 400.

[96] Bulygin. The Murder. P. 244.

[97] Соколов. Убийство. С. 246, 252–253.

[98] Быков. Последние дни Романовых. С. 113.

[99] Sokolov Archive. Houghton Library. Harvard University. Box 1. № 67. P. 212–213.

[100] Lockhart R.H.B. Memoirs of a British Agent. Lnd., 1935. P. 304.

[101] Bothmer. Mit Graf Mirbach. S. 98.

[102] Цитируется в кн.: Levin. Eyewitness. P. 137.

[103] Окнинекий А.Л. Два года среди крестьян. Рига, б. г. С. 292–293.

[104] Smirnoff. Autourde l'Assassinat. P. 142.

[105] Пагануцци П. Правда об убийстве царской семьи. Jordanville, N.J., 1981. P. 29–30.

[106] Быков. Последние дни последнего царя. С. 3–26.

[107] Правда. 1938. Завг.№ 212 (7537). С. 5; Рябов Г.//Родина 1989.№ 5.С. 2, 12.

[108] Ленинская гвардия Урала. Свердловск, 1967. С. 508; Касвинов. Двадцать три ступени. С. 560.

[109] Запись в дневнике Троцкого за 9 апр. 1935 г. (Trotsky Archive. Houghton Library. Harvard University. bMS/Russ 13. T — 3731, P. 111).

Глава десятая

[1] Marx—Engels Briefwechsel, 1913. Bd. 4. Письмо датировано 4 сент. 1870 г.

[2] Furet F., Richet D. La Revolution Francaise. Paris, 1973. P. 10, 203.

[3] Balabanoff A. My Life as a Rebel. Bloomington, Ind., 1973. P. 183–184.

[4] См. с 16 нашего издания.

[5] Ленин. ПСС. Т. 16. С. 452 — курсив наш.

[6] Так же. Т. 35. С. 204 — впервые опубликовано в 1929 г. — курсив наш.

[7] Kaminski A. Konzentrationslager 1896 bis heute: Bine Analyse. Stuttgart, 1982. S. 86.

[8] Второй Всероссийский съезд Р. и С.Д. / Под ред. К.Г.Котельникова. М.; Л., 1928. С. 94.

[9] Троцкий Л. ОЛенине. М., 1924. С. 101.

[10] Ленин. ПСС. Т. 38. С. 295 — курсив наш.

[11] ДН. 1917.3дек.№ 223.С4.

[12] Декреты. Т. 1. С. 490–491.

[13] Payne R. The Life and Death of Lenin. N.Y., 1964. P. 517.

[14] Liberman S. Building Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 13–15.

[15] Ленин. ПСС.Т.37.С245.

[16] Революционные трибуналы//ВЖ. 1918.№ 1. Р. 81.

[17] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 163.

[18] Декреты. Т. 1.С. 124–126.

[19] Там же. С. 469.

[20] Там же. Т. 4. С. 101.

[21] Там же. Т. 1.С. 125–126.

[22] СУиР.Т. 1.№ 12(1917–1918). С. 179–181.

[23] Декреты. Т. 2. С. 335–339.

[24] Известия. 1918. 23 июня. № 128 (392). С. 3.

[25] Кожевников М.В. История советского суда, 1917–1956 гг. М., 1957. С. 40.

[26] Там же.

[27] Steinberg I. Als ich Volkskommissar war. Munchen, 1929. S. 123–128.

[28] Варшавский С. // НС. 1918. 17 апр.№ 4. С. 1.

[29] СиМ. 1985.№ 6.С.65.

[30] НС. 1918.17апр.№ 4.С. 1.

[31] БерманЯ.//ПРиП. 1919.№ 1 (11). С.70.

[32] Кожевников. История. С. 83.

[33] ПР. 1924. № 10 (33). С. 5–6; ПР. 1926. № 9 (56). С. 82–83; В.И.Ленин и ВЧК: Сб. документов. М., 1975. С. 36–38.

[34] Известия. 1917. 10 (23) дек.№ 248. С. 3.

[35] Ленин и ВЧК. С. 36–37.

[36] ПР. 1924. № 10 (33). С. 5–6; Покровский М. // Правда. 1927. 18 дек. № 290 (3822). С. 2.

[37] Крыленко Н.В. Судопроизводство РСФСР. М, 1924. С. 100. Цитируется в кн.: Leggett G. The Cheka: Lenin's Political Police. Oxford, 1986. P. 18.

[38] НЖ. 1918. 19апр.№ 71(286).С.3.

[39] Софинов П.Г. Очерки истории Всероссийской чрезвычайной комиссии (1917–1922 гг.). М., 1960. С. 21. В кн. «Leggett. The Cheka» (P. 34) говорится о большем числе служащих.

[40] Петерс Я.Х. // ПР. 1924. № 10 (33). С. 10–11.

[41] Steinberg I. In the Workshop of the Revolution. Lnd., 1955. P. 145.

[42] Lockhart R.H.B. Memoirs of a British Agent. Lnd., 1935. P. 333.

[43] НЖ. 1918.9 июня. № 112 (327). С. 4.

[44] Gerson L. The Secret Police in Lenin's Russia. Philadelphia, 1976. P. 27; Leggett. The Cheka. P. 47–48.

[45] ЛС.Т. 21. С 111–112.

[46] Там же. С. 112–113.

[47] Там же. С. 113–114.

[48] Gerson. The Secret Police. P. 30.

[49] Софинов. Очерки. С. 39.

[50] Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. М., 1980. Т. 1.С. 62.

[51] Декреты. Т. 1.С. 490–491.

[52] Известия. 1918. 10 (23) февр. № 32 (296). С. 1.

[53] Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии, 1917–1921 гг. М., 1958. С. 96–98.

[54] Leggett. The Cheka. P. 58; подробности см.: ИР. 1931. 7 февр. № 7 (300). С. 6–9.

[55] Софинов. Очерки. С. 39.

[56] Из истории ВЧК. С. 138. Другие важные решения см.: Leggett. The Cheka. P. 38–39.

[57] Lockhart. Memoirs. P. 320.

[58] Семенов Г. [Васильев]. Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917–1918 гг. Берлин, 1922.

[59] Balabanoff. My Life as a Rebel. P. 187–188.

[60] Бонч-Бруевич В. Три покушения на В.И.Ленина. М., 1930. С. 98.

[61] Суханов Н.Н. Записки о революции. Берлин; СПб.; М., 1922. Т. 3. С. 23, 26.

[62] ЛН. 1971. Т. 80. С. 52.

[63] Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004; Из истории ВЧК. С. 263–264.

[64] Liberman. Building. P. 9.

[65] Monnerot J. Sociology and Psychology of Communism. Boston, 1953. P. 223.

[66] См.: Булгакова Л.В. Материалы для биографии Ленина, 1917–1923. Л., 1924.

[67] Ср.: Известия. 1918. 4 сент. № 190 (454). С. 6–7.

[68] Бонч-Бруевич. Три покушения. С. 103.

[69] Зиновьев цитируется в кн.: Tumarkin N. Lenin Lives! Cambridge, Mass., 1983. P. 82; Cerfaux L., Tondriau J. Le Culte des Souverains dans la Civilisation Greco-Romaine. Tournai, 1957. P. 291.

[70] Напр.: Tumarkin. Lenin. P. 83–86.

[71] Cerfaux, Tondriau. Le Culte. P. 427.

[72] Ferguson W.S. // The Cambridge Ancient History. Cambridge, 1928. Vol. 7. P. 21.

[73] Melgunov Archive. Hoover Institution. Box 4. Folder 26.

[74] Ibid.

[75] Ленин. ПСС. Т. 36. С. 196.

[76] Там же. Т. 50. С. 106.

[77] Там же. С. 142.

[78] Известия. 1918. 30 июня. № 134 (398). С. 3.

[79] Там же. 23 авг. № 181 (445). С. 2.

[80] Там же. 4 сент. № 190 (454). С. 5.

[81] Декреты. Т. 3. С. 291–292.

[82] См. главу восьмую нашей книги.

[83] СУиР. Т. 1 (1917–1918). С. 777.

[84] Известия. 1918. 3 сент. № 189 (453). С. 4.

[85] Там же.

[86] Еженедельник ВЧК. 1918. 29 сент. № 2. С. 11.

[87] Северная коммуна. 1918. 19 сент. № 109. С. 2 — цитируется в кн.: Leggett. The Cheka. P. 114.

[88] Красная газета. 1918. 1 сент. — цитируется в кн.: Leggett. The Cheka. P. 108.

[89] Радек К. // Известия. 1918. 6 сент. № 192 (456). С. 1.

[90] Аронсон Г. На заре красного террора. Берлин, 1929. С. 56.

[91] Чека и материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. Берлин, 1922. С. 80.

[92] Steinberg. In the Workshop. P. 163; Аронсон. На заре. С. 27.

[93] См. главу четвертую нашей книги.

[94] Steinberg. In the Workshop. P. 227.

[95] ИР. 1931.21февр.№ 9(302). С. 8–9.

[96] Melgunov Archive. Hoover Institution. Box 4. Folder 26. P. 9–10.

[97] НЧС. Берлин; Прага, 1925. № 9. С. 111–141.

[98] Venner D. Histoire de l'Armee Rouge. Paris, 1981. P. 141.

[99] Зиновьев// Еженедельник ВЧК. 1918. 27окт. № 6. С. 21; Алинин К. / / Чека. Одесса, 1919. С. 3. О страхах перед ЧК в рядах большевиков см.: Paquet A. Im Kommunistischen Russland: Briefe aus Moskau. Jena, 1919. S. 124–125.

[100] Правда. 1918. 8 окт. № 216. С. 1.

[101] Петроградская правда. 1918. 29 окт. № 237 (463). С. 1.

[102] Голинков. Крушение. Т. 1. С. 232.

[103] Еженедельник ВЧК. 1918. 6 окт. № 3. С. 7–8.

[104] Вечерние известия. 1919. 3 февр. № 161.

[105] Московский Н. // Петроградская правда. 1918. 29 окт. № 237 (463). С. 1.

[106] Зубов Н. Ф.Э.Дзержинский: Биография. М., 1971. С. 80–81.

[107] Эти слова цитирует Н.В.Крыленко (Известия. 1919. 4 февр. № 25 (577). С.1).

[108] Напр.: Мороз Г. // ВС. 1919. № 11. С. 4–6; Зиновьев // Еженедельник ВЧК. 1918. 27 окт. № 6. С. 10.

[109] Leggett. The Cheka. P. 69.

[110] Киевские известия. 1919. 17 мая. № 44.

[111] Декреты. Т. 3. С. 458–459.

[112] Голинков. Крушение. Т. 1. С. 232.

[113] Известия. 1919.25 янв.№ 17(569). С. 3.

[114] Вечерние известия. 1919. 31 янв. № 159; ср.: Крыленко // Известия. 1919.4 февр. № 25 (577). С.1.

[115] Ленин и ВЧК. С. 144–145.

[116] Напр.: Норов Н. // Вечерние известия. 1919. 15 февр. № 172.

[117] Крыленко Н.В. Суд и право в СССР. Цитируется: Melgunov Archive. Hoover Institution. Box 4. Folder 25.

[118] Leggett. The Cheka. P. 216.

[119] ИА. 1958. № l.С. 8–9.

[120] Особое задание / Под ред. И.Поликаренко. М., 1977. Иллюстрации между с. 296 и 297.

[121] Leggett. The Cheka. P. 208–209, 238.

[122] Liberman. Building. P. 14–15.

[123] Leggett. The Cheka. P. 93.

[124] Ibid. P. 210.

[125] Ibid. P. 212–213.

[126] Троцкий Л. // Известия. 1918. 11 авг. № 171. С. 1.

[127] ИА.1958.№ 1.С. 10.

[128] Декреты. Т. 4. С. 400–402.

[129] Там же. Т. 5. С. 69–70.

[13o] Там же. С. 174–181.

[131] Dallin D. J., Nikolaevsky B. I. Forced Labour in Soviet Russia. New Haven, Conn., 1947. P. 299.

[132] Декреты. Т. 5. С. 511–512.

[133] Kaminski. Konzentrationslager. S. 87.

[134] А.И.Солженицын цитируется в кн.: Kaminski. Konzentrationslager. S. 87. См. также: Bunyan J. The Origin of Forced Labour in the Soviet State, 1917–1921. Baltimore, 1967.

[135] Чека и материалы. С. 242–247.

[136] Kaminski. Konzentrationslager. S. 82–83.

[137] Николаевский Б. //СВ. 1959. № 8/9 (732/733). С. 167–172; Leggett G.H. //Survey. 1979. № 2 (107). P. 193–199.

[138] Leggett. The Cheka. P. 464; Лацис М.Я. Два года борьбы на внутреннем фронте. М., 1920. С. 75.

[139] Отчет Центрального управления чрезвычайных комиссий при Совнаркоме Украины за 1929 год. Харьков, 1921 // Chamberlin W.H. The Russian Revolution. N.Y., 1935. Vol. 2. P. 75.

[140] Более низкие цифры приведены в кн.: Алинин К. Че-Ка. Лондон, б. г. С. 65; более высокие в кн.: Leggett. The Cheka. P. 464.

[141] Chamberlin. Revolution. Vol. 2. P. 75; Leggett. The Cheka. P. 359.

[142] Steinberg I. Gewalt und Terror in der Revolution. Berlin, 1974. S. 16.

[143] Ibid. S. 138–139.

[144] The Bullitt Mission to Russia. N.Y., 1919. P. 115.

[145] Pascal P. En Russie Rouge. Petrograd, 1920. P. 6.

[146] International Committee for Political Prisoners, Letters from Russian Prison. N.Y., 1925. P. 2, 15, 13.

Послесловие

[1] Ксюнин А. // ВО. 1918. 22 июня. № 55. С. 1.

Именной указатель

Авдеев Н.Н. — 556, 559, 566

Авилов Н.П. — 212

Авксентьев Н.Д. — 143

Азеф Е.Ф. — 48, 405

Аксельрод П.Б. — 12, 23, 24, 31—33

Аладьин А.Ф. — 152

Александр I — 486, 487

Александр Македонский — 628, 629

Александра Федоровна — 547–550, 552, 555–560, 567–569, 572–578, 580, 584, 587, 590

Александрович П.А. — 260, 393, 397, 398, 402

Алексеев М.В. — 105, 139, 149, 200

Алексей Николаевич — 546, 549, 550, 558, 559, 577, 578

Алексинская Т.Н. — 19, 20, 47

Алексинский Г.А. — 129, 130

Анастасия Николаевна — 558–560, 577, 578

Андреев Н. — 394, 395, 403

Антонов-Овсеенко В.А. — 170, 195, 196, 212, 429

Аракчеев А.А. — 487

Аргунов А.А. — 149

Арманд И.Ф. — 64, 68, 75

Аронсон Г. — 613

Балабанова А.И. — 14, 64, 594, 624

Балтийский А.А. — 355

Бальфур А.Д. — 326

Бебель А. — 55, 56

Бейлис М. — 15

Белеросов М.И. — 641

Белецкий С.П. — 52, 635

Белобородов А.Г. — 542, 555, 556, 584, 585, 591

Бернштейн Э. — 26, 54, 103

Бетман-Гольвег Т. — 73

Бехтеев С.С. — 560

Бинасик М.С. — 92

Блан Л. — 440

Бланк — см. Ульянова М.А.

Блейхман И.С. — 117

Блок А.А. — 390

Блюмкин Я.Г. — 394, 395, 403

Богданов А.А. — 45, 53

Богданов Б.О. — 92

Богораз Л. Г. — 8

Бонч-Бруевич В.Д. — 115, 245, 252, 334, 619, 624

Бонч-Бруевич М.Д. — 354, 415

Боткин Е.С. — 551, 558, 576—578

Ботмер К. — 364

Бринтон К. — 96

Бройдо М. — 187, 188

Брокдорф-Рантцау У. — 73

Брусилов А.А. — 105, 368

Буллит У. — 664

Бурцев В.Л. — 48, 51, 57, 240

Бухарин Н.И. — 270, 308, 309, 316, 332, 399, 447, 449, 451, 453, 457, 487, 619

Быков П.М. — 554, 559, 590

Бэлфур А. — 406

Бьюкенен Д. — 199, 326

Вайсбарт — см. Белобородов А.Г.

Вацетис И. — 399–401, 426

Вебер М. — 461

Верховский А.И. — 199

Вильсон В. — 303, 343, 419

Виссарионов С.Е. — 52

Вишняк М.В. — 276

Войтинский В.С. — 95

Волков А.А. — 558

Володарский В. — 270, 294, 621

Вольф Б. — 19, 64

Боровский В.В. — 311

Ганецкий Я.С. — 55, 68, 73, 103, 130

Гапон Г.А. — 41

Геккер А.И. — 412, 413

Гендрикова А. — 558

Гертлинг Г. — 388, 432

Гиль С.К… — 616, 617

Гиммлер Г. — 639

Гинденбург П. — 307, 313, 321, 322, 388

Гиппиус З.Н. — 160

Гитлер А. — 515, 516, 596, 627, 636

Головин Н.Н. — 423

Голощекин Ф.И. — 542, 571, 588, 591

де Голль Ш. — 643

Гольдман М.И. — 92

Горемыкин И.Л. — 241

Горбунов Н. П. — 251, 252

Горький М. — 18,44,279

Гоц А.Р — 203, 621

Гренар Ф. — 360, 407, 410

Гримм Р. — 74

Гроций Гуго — 299

Грумбах С. — 63

Грюнау К. — 388

Гутов А.Е. — 355

Гучков А.И. — 89, 94, 95

Дан Ф.И. — 109, 142, 190, 203

Дейч Л. Г. — 57

Демидова А.С. — 558, 577, 578

Деревенко В. — 558, 567

Джолитти Д. — 79

Джонсон Б. — 561, 562

Джунковский В.Ф. — 50

Дзержинский Ф.Э. — 236, 260, 397, 404, 599, 602, 610–615, 640, 646–652, 655, 656

Дитерихс М.К. — 575

Дмитриевский П.А. — см. Александрович

Добрынский И.А. — 152

Долгорукий А. — 551, 558, 570

Долгоруков П.Д. — 269

Донской Б.М. — 621

Другое Ф. — 639

Дурново П.Н. — 114

Дутов А.И. — 281,666

Духонин Н.Н. — 302, 354

Дыбенко П.Е. — 212, 268, 281

Егорьев В.Н. — 355

Елена Петровна — 567

Елизавета Петровна — 304

Елизавета Федоровна — 582, 584

Елизарова А. — см. Ульянова-Елизарова А.И.

Ерамазов А.И. — 44

Ермаков — 580

Ермоленко Д. — 129

Жильяр П. — 548

Железняков А.Г. — 126, 281

Завойко В.С. — 141, 163

Зайончковский А.М. — 355

Залуцкий П.А. — 70

Запорожец П.К. — 25

Зарудный А.С. — 135

Заславскй С.С. — 544

Зингвилл И. — 195

Зиновьев Г.Е. — 53, 55, 63, 75–78, 101, 108, 117–119, 131, 172, 173, 192–194, 214, 237, 272, 289–291, 294, 295, 316, 332, 621, 626, 636

Зубатов С.В. — 27

Иоанн Константинович — 567, 582

Игорь Константинович — 582

Измайлов — 289

Иогихес Л. — 587

Иоффе А.А. — 309, 311, 313, 332, 363, 368–374, 426, 427–429, 431-434

Ипатьев Н.Н. — 552, 556

Кайзерлинк В. — 320, 321

Кайо Ж. — 75

Каледин А.М. — 271

Калинин М.И. — 121

Калмыкова А. — 44

Каменев Л.Б. — 53, 70, 71, 78, 108, 117, 119, 131, 133, 134, 169, 170, 192–194, 209–214, 235, 237, 239, 309, 316, 596, 626, 655

Каменев С.С. — 355

Канегиссер Л. А. — 616

Каплан Ф.Е. — 410, 617-6223

Карахан Г.И. — 333

Карелин В.А. — 260

Каринский Н.С. — 116, 129

Карл I — 538, 539

Карлев — 531

Карр Е.Х. — 480

Катков Г.М. — 151

Каутский К. — 497

Кедров — 640

Кейзмент Р. — 75

Кеннан Д. — 303

Керенский А.Ф. — 58, 73, 89, 95, 104–106, 128, 134–136, 139–169, 171, 172, 186, 199, 200, 203–205, 235, 236, 242, 398, 589, 596

Керенский Ф.М. — 8

Кескула А. — 60, 61

Клаузевиц К. — 16

Клембовский В.Н. — 165

Клюзер Г. — 35

Кобылинский Е.С. — 547, 548

Козловский М.Я. — 103, 104, 130, 131

Коковцев В.Н. — 589

Кокошкин Ф.Ф. — 269, 630

Коллонтай А.М. — 71, 170, 447

Колчак А.В. — 575

Комиссаржевская В.Ф. — 44, 45

Константин Александрович — 582

Константин Константинович — 582, 583

Корнилов Л.Г. — 89, 92, 135, 138–151, 154–169, 171, 178, 205, 405

Короленко В.Г. — 240, 241

Красин Л.Б. — 44–46, 64, 347, 373, 374, 427, 451

Краснов П.Н. — 205, 235, 367

Кривошеин А.В. — 368

Крицман Л.Н. — 447

Крупп А. — 372

Крупская Н.К. — 47, 64, 75, 624

Крыленко Н.В. — 212, 316, 354, 356, 359, 541, 542, 603, 606,644, 648

Крымов А.М. — 145, 164. 165, 171, 205

Куйбышев В.В. — 447

Курский Д.И. — 634

Кускова Е.Д. — 26

Кшесинская М.М. — 70

Кун Б. — 401

Кюльман Р. — 74, 102, 304, 310–312, 319, 320, 366, 367, 388-390

Лаверн — 359

Лазимир П.Е. — 189

Ларин Ю. — 240, 241, 252, 344, 440, 443, 444, 448, 451, 454, 455, 457, 462-465

Лассаль Ф. — 15

Лацис М.И. — 397, 398, 404, 632,640, 646, 660

Лашевич М.М. — 123

Ле Бон Г. — 84, 85

Лебедев П.П. — 355

Левин А.Д. — 664

Ленин В.И. — почти на каждой странице

Лепешинский П.Н. — 85

Либер М.И. — 142

Либерман С. — 252, 253

Линде Т. — 88

Лист А. — 427

Литвинов М.М. — 45

Локкарт Б. — 14, 327, 328, 328 406, 589, 611, 618

Ллойд-Джордж Д. — 420

Лоран П. — 115

Лукомский А.С. — 140, 145, 154, 155, 165, 168

Луначарский А.В. — 53, 116, 117, 123, 170, 212, 252

Лурье М.А. — см. Ларин Ю.

Львов В.Н. — 151-162

Львов Г.Е. — 95, 130, 135

Львов Н.Н. — 152

Людендорф Э. — 74, 140, 304, 321, 353, 374, 386, 387, 429, 432

Людовик XIV — 282, 538, 539, 543

Люксембург Р. — 56

Маклаков Н.А. — 635

Макензен А. — 430

Максимилиан, принц — 432

Малапарте К. — 195

Малиновский Р.В. — 48—53

Малков П. — 620

Малянтович П.Н. — 207

Мария Николаевна — 550, 551, 556, 558–560, 577, 578

Мария Федоровна — 590

Маркс К. — 10, 11, 15, 26, 81, 173, 174, 452, 453, 483, 497, 603

Мартов Л. — 24, 27, 31, 39, 40, 53, 54, 56, 68, 95, 110, 127, 133, 210

Масарик Т. — 375–378, 406

Медведев П. — 576, 579

Мейнард — 421

Мельгунов С.П. — 630, 631

Менжинский В.Р. — 249, 250

Мехоношин К.А. — 187,188

Мещерский А. — 444, 445

Миллер Л.Г. — 385

Милюков П.Н. — 72, 87, 89, 95

Милютин В.П. — 193, 212, 237

Мирбах В. — 310, 363, 365–368, 371, 385

Мирбах Р. — 395, 396

Михаил Александрович — 540, 541, 562, 563

Михельс Р. — 15

Мичич Я.К. — 566, 567

Молотов В.М. — 70

Морозов С.Т. — 44

Муравьев М.А. — 385

Муралов Н.И. — 399

Муранов М.К. — 70

Муссолини Б. — 79, 627

Мячин — см. Яковлев В. В.

Набоков В.Д. — 119, 199

Нагорный К. Г. — 558

Наполеон I — 83

Невский В.И. — 70, 107, 108

Незнамов А.А. — 355

Некрасов Н.В. — 130, 146, 162, 274

Немцов Н.М. — 545, 552

Никитин Б.В. — 127, 129

Николай II — 547–560, 567–570, 577, 578, 587-589

Николай Николаевич — 590

Никулин Г.П. — 574

Ниссель А. — 329, 330

Новиков — 623

Ногин В.П. — 108, 193, 212, 237

Нуланс Ж. — 326, 359, 360, 406, 407

Оболенский В.В. — 447–451, 454, 457, 459, 462

Одинцов С.И. — 355

Ольга Николаевна — 558–560, 577, 578

Ольминский М.С — 637, 644

Онипко Ф.М. — 273, 274

Оппоков Г.И. — 212

Осинский Н. — см. Оболенский В.В.

Пайер Ф. — 321

Палей В.П. — 582

Пальчинский П.И. — 200

Панина СВ. — 269

Парвус А.Л. — 33, 34, 54, 55, 58, 59, 73, 75, 76

ПарскийД.П. — 355

Паскаль П. — 664

Переверзев П.Н. — 126–129, 134

Перхуров А.П. — 408, 409, 411, 412, 414

Першинг Д. — 353

Петерс Я.Х. — 595, 610, 636, 645

Петр I — 609, 610

Петр III — 304

Петровский Г.И. — 268, 633

Петровский Л.М. — 333

Петроний — 227, 228

Платтен Ф. — 47, 274

Плеханов Г.В. — 12, 15, 20, 23, 31, 41, 57, 149, 262, 263, 405

Подвойский Н.И. — 70, 91, 122, 123, 275, 356

Поливанов А.А. — 70, 91, 122, 123, 275, 356

Половцев П.А. — 123, 129, 131

Попов Д.И. — 394,402

Потресов А.Н. — 14, 15, 20, 27

Преображенский Е.А. — 447, 453, 457

Протопопов А.Д. — 635

Прошьян П.П. — 243, 398

Пугачев Е. И. — 229

Пул Ф. — 419,421

Пуришкевич В.М. — 283, 638

Пятаков Г.Л. — 447

Радек К.Б. — 14, 63, 75, 403, 447, 637

Ранке Л. — 17

Раскольников Ф.Ф. — 114, 123, 128, 280

Распутин Г.Е. — 586

Рассел Б. — 535, 664

Ремез Ф.С. — 582

Рицлер К. — 363–365, 371, 385, 386, 395, 396, 411–417 Робеспьер М. — 16, 543, 595

Робинс Р. — 327, 328, 339, 345, 346, 362

Родзянко М.В. — 189

Родичев А.И. — 269

Роллан Р. — 664

Ромберг Г. — 73

Рорбах П. — 307

Рошаль С. Г. — 114

Руднев В.В. — 215

Рузский Н.В. — 640

Рухлов С.В. — 640

Рыков А.И. — 193, 212, 236, 237, 451, 463, 464, 512

Рябцев К.И. — 215

Рязанов Д. Б. — 637

Саблин Ю.В. — 403

Савинков Б.В. — 57, 142, 148–151, 161, 162, 404–411, 413

Садуль Ж. — 327–329, 359, 378, 384

Самойло А. А. — 355

Сафонов Ф. — 559

Свердлов Я.М. — 123, 131, 227, 232, 239, 515, 543, 553, 554, 585, 588

Свечин А.А. — 355

Седнев И. — 558, 576

Седнев Л. — 558, 576

Семашко А.Я. — 118

Семенов Г. — 621, 622

Сергеев — 621

Сергей Александрович — 404, 582

Сергей Михайлович — 582, 583

Синклер Э. — 664

Скворцов-Степанов И.И. — 212

Скобелев М.И. — 92

Скоропадский П.П. — 416

Смирнов С. — 567

Соколов Н.А. — 575, 576, 581, 590

Соколов Н.Д. — 92, 277, 278

Сокольников Г.Я. — 235, 236, 332, 333, 461

Соломонсон — 372

Сорокин П.А. — 285

Сосновский Л.С. — 293

Спиридович А.И. — 51

Спиридонова М.А. — 123, 127, 257, 390, 393, 394, 399, 401, 402, 403, 618

Спиро В.Б. — 243, 244

Сталин И.В. — 45, 70, 78, 108, 129, 194, 195, 212, 224, 268, 316, 595, 630, 636, 648, 655

Стасова Е.Д. — 108

Стахеев И.И. — 444

Стеклов Ю.М. — 131

Стеффенс Л. — 663, 664

Стиннес Г. — 372

Стресманн Г. — 374

Струве П.Б. — 9-12, 23, 26, 461

Стучка П.И. — 605

Суменсон Е.М. — 103, 104, 130, 131

Суханов Н. Н. — 76, 451, 625

Сыромолотов Ф.Ф. — 572

Сытин П.П. — 355

Таратута В.К. — 47

Татищев И. — 548, 558, 570

Татьяна Николаевна — 549, 558–560, 577, 578

Теодорович И.А. — 212,237

Терещенко М.И. — 95, 130, 146

Тиссен А. — 372

Толстая З.С. — 560

Троцкий Л.Д. — 15, 16, 32 33 67 109, 111, 116, 117, 119, 128, 137, 172, 183, 187–197 205, 206, 209, 212–216, 226 234–236, 242, 245, 248, 255, 302, 304, 308, 309, 313–315, 316 319 320, 322, 324, 328, 329, 332, 340, 342, 345, 354, 358, 359, 366, 378–380, 384, 389, 423, 437, 446, 447, 463, 468, 471, 475, 482–484, 487, 488, 492, 512, 561, 589, 592, 593, 595, 597, 615, 621, 623, 626, 632, 654, 660

Трубецкой Г.Н. — 416

Трупп А. — 558, 577

Тэн И. — 452

Уилер-Беннет Д. — 337

Уистлер — 6

Ульянов А.И. — 7, 9

Ульянов И.Н. — 6

Ульянова М.А. — 6

Ульянова-Елизарова А.И. — 131

Урицкий М.С. — 171, 214, 243, 244, 268, 269, 540, 616, 632

Фаденев — 251

Ферро М. — 98

Филипповскй В. — 92

Филоненко М.М. — 141, 148

Фотиева Л.А. — 253

Френсис Д. — 326

Фридман М. — 477

Фрумкин В. — 494, 495

Фюрстенберг — см. Ганецкий Я.С.

Харитонов И. — 558, 577, 578

Хаушильд Г. — 426

Хвостов А.Н. — 635

Хельфферих К. — 403, 418, 424, 425, 434, 435

Хильфердинг Р. — 175, 441, 453

Хинце П. — 307, 425, 426, 429, 432

Хоффман М. — 315, 323

Церетели И.Г. — 80, 94–96, 107,108, 110, 126, 129, 130, 142, 285

Циммерман А. — 76

Циперович Г. В. — 493

Цюрупа А.Д. — 44, 253, 476, 513, 520, 526, 535

Чайковский Н.В. — 405

Чаянов А.А. — 457

Чемберлен У. — 660

Чернин О. — 311,312

Чернов В.М. — 87, 95, 96, 126, 144, 235, 257, 258, 281, 659

Черномазое М.Е. — 49

Чернышевский Н.Г. —9

Черчилль У. — 352

Чечек — 422

Чичерин Г.В. — 333, 360, 417, 425, 431, 590

Чудновский Г.И. — 202

Чхеидзе Н.С. — 73, 75, 92, 129, 130, 142

Шейдеманн Ф. — 305

Шингарев А. И. — 269, 630

Шляпников А.Г. — 65, 70, 212, 248, 483

Шмит Н.П. — 46, 47

Шнейдер Е. — 558

Штейнберг И.З. — 245, 260, 541, 600, 601, 605, 612, 662

Шуваев Д.С. — 355

Шукерт — 373

Щастный А.М. — 605

Щегловитов И.Г. — 635

Эйзенштейн С.М. — 207

Эйнштейн А. — 664

Эйхгорн Г. — 404, 418

Энгельс Ф. — 517

Юровский Я.М. — 572–581, 589-591

Яковлев В.В. — 545–547, 550, 552-556

Ярославский Е.М. — 637